Игорь Дедков
НОВЫЙ МИР
Дневник
1953–1994
журнальный вариант

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Дневник выдающегося русского литературного критика XX века, автора многих замечательных статей и книг.

***

В характере Дедкова присутствовало протестное начало; оно дало всплеск еще в студенческие годы — призывами к исправлению “неправильного” сталинского социализма (в комсомольском лоне, на факультете журналистики МГУ, где он был признанным лидером). Риск и опасность были значительны — шел 1956 год. Партбюро факультета обвинило организаторов собрания во главе с Дедковым “в мелкобуржуазной распущенности, нигилизме, анархизме, авангардизме, бланкизме, троцкизме…”. Комсомольская выходка стоила распределения в древнюю Кострому (вместо аспирантуры), на газетную работу.

В Костроме Дедков проживет и проработает тридцать лет. Костромская часть дневника — это попытки ориентации в новом жизненном пространстве; стремление стать полезным; женитьба, семья, дети; работа, постепенно преодолевающая рутинный и приобретающая живой характер; свидетельства об областном и самом что ни на есть захолустном районно-сельском житье-бытье; экзистенциальная и бытовая тяжесть провинции и вместе с тем ее постепенное приятие, оправдание, из дневниковых фрагментов могущее быть сложенным в целостный гимн русской глубинке и ее людям.

Записи 60 — 80-х годов хранят подробности методичной, масштабной литературной работы. Тот Дедков, что явился в конце 60-х на страницах столичных толстых журналов критиком, способным на формулирование новых смыслов, на закрепление достойных литературных репутаций (Константина Воробьева, Евгения Носова, Виталия Семина, Василя Быкова, Алеся Адамовича, Сергея Залыгина, Владимира Богомолова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова, Юрия Трифонова, Вячеслава Кондратьева и других писателей), на широкие сопоставления, обобщения и выводы о “военной” или “деревенской” прозе, — вырос и сформировался вдалеке от столичной сутолоки. За костромским рабочим столом, в библиотечной тиши, в недальних журналистских разъездах и встречах с пестрым провинциальным людом.

Дневники напоминают, что Дедков — работая на рядовых либо на начальственных должностях в областной газете

(оттрубил в областной “Северной правде” семнадцать лет), пребывая ли в качестве человека свободной профессии, признанного литератора — был под надзором. Не скажешь ведь негласным, вполне “гласным” — отнюдь не секретным ни для самого поднадзорного, ни для его ближнего окружения. Неутомимые костромские чекисты открыто присутствуют на редакционных совещаниях, писательских собраниях, литературных выступлениях, приглашают в местный “большой дом” и на конспиративные квартиры, держат на поводке.

Когда у Дедкова падал исповедальный тонус, он, исполняя долг хроникера, переходил с жизнеописания на бытописание и фиксировал, например, ассортимент скудных товаров, красноречивую динамику цен в магазинах Костромы; или, став заметным участником литературного процесса и чаще обычного наведываясь в Москву, воспроизводил забавные сцены писательской жизни, когда писателей ставили на довольствие, “прикрепляли” к продовольственным лавкам.

Дедков Кострому на Москву менять не хотел, хотя ему предлагали помочь с квартирой — по писательской линии. А что перебрался в 1987-м, так это больше по семейным соображениям: детей надо было в люди выводить, к родителям поближе.

Привыкший к уединенной кабинетной жизни, к неспешной провинции, человек оказывается поблизости от смертоносной политической воронки, видит хищный оскал истории. *“Не с теми я и не с другими: ни с „демократами” властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии… Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы <…>”*

…Нет, дневники Игоря Дедкова вовсе не отрицают истекшей жизни, напротив — примиряют читателя с той действительностью, которая содержала в себе *живое*.

Олег Мраморнов.

- Игорь Дедков
  -
  - "КАК ТРУДНО ДАЮТСЯ ИНЫЕ ДНИ!"
  - ОБЕССОЛЕННОЕ ВРЕМЯ
  - А Я ГОВОРЮ ВСЛУХ: КОНЦА СВЕТА НЕ БУДЕТ...
  - ХОЛОДНАЯ РУКА ЦИКЛОПА
  - НОВЫЙ ЦИКЛ РОССИЙСКИХ ИЛЛЮЗИЙ
  - УЖЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ СЧЁТ
- notes

- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44

- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88

- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132

- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176

- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220

- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264

- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308

- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352

- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355

Игорь Дедков
Дневник 1953-1994
(журнальный вариант)

Игорь Александрович Дедков (1934 - 1994) сумел сказать в нашей культуре свое яркое и самобытное слово. Он принадлежал к поколению литераторов, искавших и отстаивавших правду в послесталинскую эпоху. И когда тоталитаризм затрещал по швам, а потом и рухнул, в наступившие новые времена ему не пришлось открещиваться от написанного и стыдиться его - ибо по совести жил и по совести говорил всегда.

Блестяще окончив в 1957 году факультет журналистики МГУ, Дедков не получил возможности остаться в аспирантуре и уехал жить в Кострому. Там, под недреманным оком госбезопасности, перлюстрировавшей его корреспонденцию и осуществлявшей слежку, прошли тридцать лет его литературной деятельности. Так что дневниковые записи Дедкова - это взгляд на жизнь нашу не из окна столичной квартиры или переделкинской дачи, а из российской глубинки; в дневниках упоминаются Чухлома, Макарьев, Солигалич, Нея... Провинция закалила Дедкова, выработала независимый от столичной политической и общественной конъюнктуры угол зрения...

Отказавшись в 1992 году от предложенного ему поста министра культуры, Дедков предпочел свою гражданскую позицию выражать через слово. Судя по поздним, предсмертным уже, записям, мирочувствование Александра Солженицына было близко ему. 11 декабря 1994 года - через месяц с лишним после думского выступления Солженицына - Дедков записывает: "Немало прошло дней, а забыть невозможно... Могли бы ведь и встать, подумал я, когда Солженицын поднимался на трибуну Государственной Думы. Могли бы и подзабыть на минутку свои несогласия, несовпадение взглядов и прочее. Могли бы отдать должное этому человеку, его писательскому таланту и огромному труду, его духовной стойкости и храбрости, его исторической роли в преобразовании России. Могли бы и встретить его приветственной речью председателя Думы. Но до того ли, до таких ли тонкостей?.. Встретили жидкими аплодисментами, слушали с кислыми лицами и проводили теми же жидкими

хлопками. Не Пятая это Дума, Александр Исаевич, а какая - не знаю, да и Дума ли?.." ("Свободная мысль", 1995, No 10).

...Дневниковые записи разных лет были собраны из тетрадей и блокнотов воедино Дедковым в 1992 году. "Для меня,- писал он, шутливо именуя дневники "мемуарами первой половины моей жизни", - там много правды. Если кому-нибудь угодно - личной правды. О действительность можно уколоться, как о булавку. Выступит капелька крови. Потом скатится и засохнет".

О ком бы ни писал Дедков - о Залыгине или Можаеве, Астафьеве или Распутине, Богомолове, Шукшине или о публицистике расстрелянного на глазах детей у Валдайского озера "нововременца" М. О. Меньшикова, - тексты его пронизаны неповторимо теплой, естественной, доверительной интонацией. Но еще ощутимее она - в дневниках, фрагменты которых предлагаются ныне читательскому вниманию.

"КАК ТРУДНО ДАЮТСЯ ИНЫЕ ДНИ!" *Из дневниковых записей 1953 - 1974 годов*

14.4.53.

Большая аудитория Политехнического музея. С рук купил билет[1]. Люди всех возрастов. Председательствует А. Софронов. В президиуме Л. В. Маяковская. Выступают Л. Никулин (довольно слабо), П. Антокольский (о двух встречах с Маяковским - со смаком, с отличным чтением, с "наивно вращающим глаза Каменским", с "очами сапфирными" Белого), А. Первенцев (в общем, умно), Л. Кассиль (остро и эффектно, о памятнике, о кино, о записках), М. Львов (перевод с якутского и старое о прожигающих асфальт шагах), М. Луконин (два стиха: "Поэт и управдом", "Немного о себе"), С. Кирсанов (просто чтение, приятное, отлично). Почему-то не выступал С. Щипачев, сидевший в президиуме. Первенцев сидел и на концерте.

Читали: Аксенов, Першин, Моргунов, Балашов, Сорокин, Попов. Вещи звучат очень злободневно.

Аудитория вечера отличная. Но есть и типы. Слева от меня сидели три сволочи, все ныли и сплетничали.

А мать В. В. еще жива. Ей передавали привет.

15.11.54.

Разве это справедливо? У мен новый дорогой костюм, а у него дешевенький, невидный. У меня позади школа и два курса университета. А у него? У меня впереди жизнь, какая будет - неизвестно, зато впереди. У него - инвалидность второй группы и двое детей. Образование - 9 классов. Будущего нет - учиться не позволяет рана. Разве это справедливо? Он в 17 лет пошел на фронт - я не видел горя. Переворачивается все внутри, когда разница проявляется. Так вчера, во время разговора о костюме, мне было не по себе - стыдно. Разве я имею право жить лучше, чем он сейчас? Нет. У меня нет ничего за душой, кроме будущего.

15.6.55. <На практике в Новосибирске, в областной газете.>

Вторую половину дня был убит горем. Непригодность статьи превзошла все мои ожидания <...>

Сегодня на летучке <...> редактор рассказал о положении в колхозах Новосибирской области. Если жарка сухая погода

продержится еще несколько дней, то яровые неминуемо погибнут. Не стоит, мол, однако, поддерживать разговоры наподобие следующих: дескать, не бойтесь, товарищи, государство, как всегда, поддержит и обеспечит хлебом. "У колхозников всегда есть запасы хлеба, и их будет достаточно на зиму". <...>

Если Октябрьской революции пришлось ломать государственную машину царизма, то это была игра в бирюльки по сравнению с той махиной, которую, возможно, придется убирать с пути будущему. Опирающаяся на сложившееся за 30 лет доверие масс махина советского и партийного аппарата почти не допускает разрушения. Помимо прочего во главе частей ее механизмов стоят люди опытные и поднаторелые. Противопоставить им опыт и знания в должной степени немыслимо. Компенсация должна последовать за счет энергии, смелости, гибкой тактики, дерзких помыслов и трезвого, расчетливого ума. Главная задача перед возможными переменами - вырвать народные массы из-под влияния власти, вселить в сердца смелость и вольность духа, противопоставить интересы правящего и трудящегося <...> Лишенная опоры в народе власть теряет смысл. Я б не сказал, что это рассуждение ново, но в данных обстоятельствах его приходится повторять.

Мы, люди, по сути дела, примиряемся с несправедливостью, с невозможностью равенства людей, примиряемся с различными разновидностями общественного и классового обмана <...>

Если бы у мен не было родителей и родных, я бы жил по-другому. Они мне слишком дороги, чтобы я позволил себе чем-нибудь их сильно огорчить. Ради них и нужно, главное, стараться выбиться в люди, да не просто в люди, а в "большие". Если б было иначе, я бы имел бульшее право на риск...

17.6.55.

<...> Вчера были на "Риголетто". <...> Помещение театра прекрасно. Не то чтобы богато - Театр Красной Армии в Москве богаче, мне кажется, - но много простора и хорошая архитектура. Только вот лестницы, ведущие на ярусы, запутаны. Зрителей мало. Это самый разный народ, от колхозника и парня-ремесленника до солидных людей руководящего вида и лилипутов из приехавшей цирковой труппы. До конца спектакля некоторые ушли. Некоторые просидели все действие за пивными столиками. В результате попадались пьяные. Много школьников. Аплодировали хорошо, вызывали не более раза. Оркестрантам никакого внимания, они вроде чернорабочих при опере.

4.7.57. <Москва.>

Что ж, последние события в верхах можно только приветствовать. Но сколько горечи и сомнений поднимается в душе даже сегодня[2].

Борьба за власть - десятилетия жестокой эгоистической борьбы, тысячи расстрелянных и замученных, тысячи опустошенных и отравленных душ - и все это под прикрытием самых святых, самых человеколюбивых идей.

И это социализм! Без гласности, без доверия к народу. Произвол, держащийся на насилии в разных формах. Где же выход, где же эта проклятая истина? Или же все существующее разумно?

11.7.57.

<...> Иной раз глядишь, глядишь по сторонам - все кажется нормальным, советской власти не противоречащим, и даже наоборот. Вдруг, глас божий, не туда смотришь, не так видишь: явления-то ошибочные, тенденция-то ложная <...>

<...> В Белграде первый съезд рабочих советов открылся. Наш Гришин выступил - неужели это самое интересное на съезде? И вдруг среди прочих вестей - весть: "Новый мир" прищемили, основы подрывал. Батюшки, а я на него, дурак этакий, глупец непроходимый, 84 рубля в пятьдесят шестом году истратил.

<...> И вот сегодня - радостная весть. Даже жалко самого себя стало. До чего глупы, до чего глупы <...> Куда лезем, о чем задумываемся!

А дело вот в чем: "Москву" прищемили. Говоря просто, в "Литературке" стать И. Кремлева "Заметки о журнале Москва"" размером почти в полосу.

<...> Так и просится параллель с 40 - 50 годами, с Гречем, Булгариным и прочими. Не литературный ли доносец?

<...> Кончается статья утверждением, что "Москва" не учла того, за что прищемили "Новый мир", и теперь приходится начинать понемногу прищемлять ее самое. <...>

Какой чудесный барометр общественного мнения наша любезная "Литературная газета".

Почему из нее не уходит В. Овечкин?[3]

12.7.57.

<...> Сегодня в "Комсомолке" передова "В вузы идет новое пополнение". Какое-то двойственное впечатление. С одной стороны - справедливо, с другой поглядишь - грустно. <...> Все было бы ничего, если бы вкрадчивое противопоставление производственной молодежи - школьникам не было бы новым навязанным шаблоном...

17.7.57.

Третий день я в Болшеве (на даче). Жарко. Наверно, редкий человек не имеет сейчас повышенной температуры. А впрочем - какая это чепуха! Я чувствую себя вполне здоровым, и поэтому о болезнях - ни гугу.

У меня какое-то необыкновенное настроение <...> Мне кажется, что иногда я жил и живу вдохновенно, другого слова не подберешь. Это вдохновение - не в пьянящей сладости и легкости дела. Это спорость, непринужденность, дьявольская интуиция, это порыв, это миг откровения.

Лето 1957.

Жертвовать человеком ради интересов организации, - в 20-х годах говорил Узелков <герой П. Нилина>.

Месяц назад это же повторил мне Глеб Попандопуло, зам. секретаря комитета ВЛКСМ МГУ.

Несколько лет назад, в десятом классе, был близок к таким идеям. Хотя как знать, как бы я реагировал на материализацию этой идеи со своим участием.

Теперь я все думаю: может, прав Д. Неру, когда расходится с нами в средствах, ведущих к миру и справедливости. Можно соглашаться в цели и не соглашаться в методах ее достижения.

Но мои сомнения ограничены: я допускаю "социальную солидарность" лишь в немногих странах, где возможно действие силы более значительной и эффективной, чем классовая вражда.

Также мои сомнения не касаютс понятия диктатуры пролетариата в принципе. Но я уверен, что диктатура пролетариата должна эволюционировать.

Да, можно построить государственный социализм, социализм армейский, казарменный.

Там не будет уважения к рядовым людям, они останутся строителями, чернорабочими, их судьбы по-прежнему будут решать члены Святого семейства. Они по-прежнему будут марионетками в руках идеи, не собственной идеи, а идеи, господствующей в их воздухе. И я думаю о том, что человек живет один раз <...>

3.1.58. <Кострома.>

Падает серый утомительно-безнадежный снег. В моем корреспондентском удостоверении появляется цифра 1958. Она мен пугает, она кажется чересчур большой, она старит меня и толкает, спеши, спеши. А куда спешить, что делать? - неизвестно.

<...> Отличная судьба у нашего поколения - духовное

рабство.

4.1.58.

О, какое оживление в нашем редакционном доме. С вечера велено выгладить брюки и побриться. На стены спешно вывешиваются портреты вождей, а у задней стены коридора появляются руководящие стол и трибуна. Сам первый секретарь обкома жалует к нам. Сам, сам Гиппопотам.

19.2.58.

Вот что рассказал сегодня литсотрудник отдела партийной жизни "Северной правды". Вчера к нему зашел товарищ по областной партшколе, работающий в Мантурове, и поведал историю одного человека.

Молодой демобилизованный офицер после войны работал в мантуровском заготзерне. Там его избрали секретарем партбюро. В 1950 году он был арестован. Материалом для доноса, соответственно обработанные, явились три факта:

- как-то раз снабженцы приобрели портрет Сталина, написанный местным художником. Парторг запретил этот портрет вешать, сказав, что в лице не соблюдены пропорции и проч., т. е. что портрет не похож;

- на одном из торжественных собраний парторг в должном месте не аплодировал;

- не пришел на демонстрацию (занимался в это время рыбной ловлей, был в отпуске).

Так или иначе, был арестован и доставлен в Костромское управление госбезопасности. Был брошен в подвал. Следствие вел некий Цибульский. Парторг сказал, что он невиновен. Тогда его на шесть дней поместили в каменный мешок, где он не мог даже сидеть. Можно было только стоять. Но и после этого он не признался. Тогда ему дали еще шесть дней в подвале, в холоде, в одних кальсонах. Спать было нельз - крысы, вероятно, знали вкус мертвечины. После этого Цибульский предложил парторгу подписать написанные им, Цибульским, показания: "Так вы (ты) получите десять лет, иначе ничего не получите". Парторг подписал. После 1953 года он был реабилитирован. Этот молодой человек поседел совершенно. Он вернулся и первое, что сделал, - избил доносчика. Узнавал, работает ли Цибульский. В райкоме сказали: нет. Недавно умер полковник КГБ. Среди подписей под некрологом парторг увидел имя Цибульского...

30.3.58.

Задуматься над тем, как я живу: комната, где я сплю, где под

кроватью чемодан; двери в нее распахнуты; хозяева нас не стесняются, ругаются, шумят - это считается естественным. И никуда не денешься. Как на постоялом дворе. И я должен улыбаться и быть довольным.

Ты не должен поддаваться. Ты небогат временем, тебе скоро двадцать четыре, ты застрял на перепутье. Думай и пиши. Радуйся - сегодня у тебя свободные часы. От слова - свобода. Ты - хозяин сегодня самому себе. Волен думать и мечтать. На службе этого делать нельзя. <...>

5.4.58.

Как в Костромской области создали еще один совхоз. По рассказу И. И. Максимова (редактора "Северной правды").

Несколько раз обращались в Совет Министров, в Цека. Отказывали.

Поехал Флорентьев[4] на сессию. Пошел к Козлову[5]. Звонит ему из приемной. Тот говорит: заходи. Флорентьев заходит. Козлов уже одевается. Тут же, у дверей, состоялся разговор.

Флорентьев: "Ну, Фрол Романович, пока не ушел от нас (т. е. в Совет Министров СССР), помоги последний раз. Дайте нам совхоз". Тот подумал-подумал. "Ладно, - говорит, - дадим". Так и решили.

22.4.58.

<...> Этот человек начинал праздновать в тот момент, когда аэростат с портретом вождя или с красным флагом поднимался в небо. Увидев высоко над городом алеющий флаг, он поднимал первую рюмку.

15.7.58.

Во дворе умер пенсионер Дюдя (Иван Алексеевич, 64 лет). Опился: 14 флакончиков туалетной воды. До революции - приказчик. До войны - грузчик. Вернулся с фронта - жена умерла, трое сыновей погибли. Жил с единственной родной душой - сыном. Пили. Работал возчиком на фабрике. В последние годы получал пенсию 350 рублей. Не мог успокоиться, пока не пропивал <...> "Собачья у него была жизнь", - говорят люди. Развязал руки себе, государству, снохе и сыну. Освободил землю.

1958. <Кострома.>

Улица Чайковского - самая короткая в городе, но самая знаменитая. Одни называют ее проспектом Любви, другие - проспектом Последних надежд. Эта улица берет свое начало на перекрестке, где за витринами магазинов бьют родники

картонных колбас, золотых серег и рисованных ананасов, где отечественные детективы покоряют сердца публики в кинотеатрах со скромными именами "Художественный" и "Малый".

Как учат школьные учебники, Волга начинается на Валдае ключевой водой прозрачней стекла, словно процеженной сквозь поры земли. Новорожденный человек несет в себе достоинства и пороки родителей, и потому эта новорожденная вода чище человека.

Улица Чайковского впадает в Волгу. Летними вечерами людской поток медленно течет вниз, к набережной, пестря берег нарядами, толкаясь, посмеиваясь, забавляясь. Молодые текстильщицы в блузках без рукавов, с шестимесячными завивками, юные няньки в тех же блузках и с теми же завивками, лихие солдаты, ищущие тех текстильщиц и нянек, что попроще и податливее, студентки, мечтающие о хороших парнях и довольные теми [из них], что тоже фланируют по тротуарам с печальными глазами и тоже мечтают - не о Джульеттах, не о Женни Маркс - о стройных ножках и тугих бедрах. Пошлые слова висят над толпой, как полчища комаров над болотом.

Но каждый день, под любым небом, под кустом, в черном зеве подъездов, в ночных смешках и смелых платьях, - среди вульгарности и скотства, - я видел всегда другое, в которое верю - наперекор...

<Без даты.>

Набережная, я пришел сюда на следующий день после приезда вечером как незнакомец и путешественник. Я открыл, что набережная - красивейшее место в городе, в котором я отныне служу.

Волга была спокойной, и заходящее солнце перекидывало через нее наискось багровый, слепящий мост. Гремя музыкой, проплывали теплоходы, населенные счастливыми и красивыми людьми. По крайней мере так казалось с берега.

Я был одинок в те первые пустые вечера в этом городе. Будущее, тяжелое своей неопределенностью, висело над моей головой, было моим небом.

Я не верю, что есть герои, не знающие сомнений. Бывают люди, отшвыривающие сомнения от себя, потому что это неудобно и лишает покоя. Я же отдался им, открыв все закоулки своего сознания: я задыхался в те дни - мне не хватало веры - этой мягкой, неисчерпаемой кислородной подушки человечества.

1959. <Москва.>

Самодовольство плыло по тротуарам густою уличною толпою

- мужчинами, знающими все на сто лет вперед, как писал Пильняк, и женщинами, не похожими на Ларису Рейснер.

В этих улицах, близких и памятных памятью многолетней давности - мемориальными досками мраморными и мемориальными досками жестяными - именами с проспектов, тупиков и площадей; в этих улицах, видевших баррикады и трагедию 9 марта[6], плыло довольство: узкоюбочное, накрашенное, по-цирковому яркое и по-торгашески упитанное, чванное и веселое, - возродившееся племя наплевизма.

Горечь и злоба не знают правил приличия: наползают слова скоморохов и народных трибунов, крикливые и больные слова.

Но в утренний час в очереди за газетами, когда почти физически ощущаешь свою затерянность и незначительность среди миллиардов - так бывает со мной в любой очереди, - я вижу иных людей: в заглаженных до блеска пиджаках с засаленными воротами, груболицых и малословных, с небритыми шеями. Они молчаливы, но глаза их молчаливее языка, в них спокойствие, мужество и самое редкое в наши дни - духовное здоровье.

У Мавзолея, возле многотонной гранитной крышки гроба, толпа командировочных, экскурсантов, гостей. Прикатила провинция - костромская, вологодская, тамбовская, российская, вытащив из сундуков ненадеванное, самое праздничное, мужнины, женины подарки, понабрав десятки заказов, впитав сотни советов и пропустив мимо ушей еще сотни, и вот, раскрасневшиеся и усталые, повязанные платками из сельповского магазина, в платьях с высокими плечиками, будто с забытыми распялками, глазеют вдовы, законные супруги и девки, доярки, свинарки, хлеборобы, и кажется, трещат платья от дьявольской силы их рук, плеч, бедер. Чернопиджачное сословие бабьего начальства - председатели, бригадиры, секретари, торжественные, будто перед базарным фотографом, пялятся на экскурсовода, на Мавзолей, проглотив по аршину, и лишь изредка, вспомнив о медалях и орденах, когда-то святых регалиях, хранимых ныне в укромных уголках рядом с пачками сталинских облигаций, вспомнив о крови и победах в великом несчастье, которое можно назвать героическим и нельзя до конца оправдать, они снова, по-забытому, начинают знать все на сто лет вперед, как знают это рабочие у киоска "Союзпечати", чумаза шоферня в аду чухломского бездорожья, пенсионеры-большевики, доживающие последние дни в скептических диспутах в скверах, похожих на кладбища, и чего не дано знать пижонам у ресторанных дверей, где на шнурке "Свободных мест нет", и другим, благочинным, благопристойным, благообразным народным благодетелям, воскуряющим тот фимиам, которым

окутана наша милая родина.

9.5.59.

Может быть, то, о чем я собираюсь писать, совершенно неинтересно. Особенно для тех людей, которые знают все на свете и уполномочены измерять совесть, ум, преданность, убеждения миллионов таких, как я. Им глубоко безразлично, что творится в одинокой человеческой голове, лишь бы подводная лодка мысли не выплывала на спокойную поверхность моря, лишь бы люди оставались одинокими, когда плачут, сомневаются, ненавидят и мечтают. Полезно только то, что повышает производительность труда. Полезен только тот, кто служит винтиком в машине государства. Вы хотите быть искренним? У вас есть свои соображения? В каком веке вы живете, синьор? Ихтиозавры - вымирающее племя...

Может быть, этот дневник прирастет к моей душе, и я буду аккуратен в записях. Опыт прошлого подсказывает мне, что писать дневник - рискованное дело. У тебя его могут стащить, посмеяться над тобой за глаза и потом сжечь тетрадь. Или еще лучше - превратить ее в обвинительный акт. И все-таки я пишу. В конце концов, есть же у меня друзья, которым захочется понять, почему так трудно, так неумело жил их товарищ. А может, не захочется? Идут годы, и круг друзей рвется. Есть такая быстро вращающаяся плоскость в парках культуры, что за рубль разбрасывает людей со своего полюса в разные концы. Чем быстрее вращение, тем меньше людей удерживается на этом диске. Сколько наших слетело с него, а я зацепился на самом краю, будто ребром своим зацепился, - слечу, грудную клетку к чертям, - вымру. Такова участь ихтиозавров.

5.6.59.

Иногда я прихожу в библиотеку со странным чувством бесцельности. Перебираю карточки каталогов, ищу имена тех, кого здесь не может быть, выдвигаю и задвигаю ящички, и недовольно коситс на меня библиограф. Похожее случается и дома, когда среди десятков непрочитанных или недочитанных книг никак не попадается нужная. И бродишь тогда, как зверь в клетке. В тот вечер я случайно наткнулся на книжицу Волошина о Верхарне, а домой потащил еще Гофмана.

Книжка о Верхарне издана в 1919 году. Я хочу выписать оттуда некоторые фразы. Не в знак моего согласия, в знак уважения и для никуда не годной памяти.

"В наступающие железные времена человечеству не понадобятся больше ни поэты, ни художники".

"Во имя республиканского равенства, дл того, чтобы показать, что художник ничем не лучше чернорабочего, их ставили застрельщиками при атаках, то есть обрекали на верную гибель: равенство всегда обрубает ноги более высокому, так как не может заставить вырасти карлика".

"Когда происходит битва на земле, надо, чтобы кто-то стоял на коленях в своей келье и молился за всех враждующих: и за врагов, и за братьев. В эпохи всеобщего ожесточения и вражды надо, чтобы оставались те, кто может противиться чувству мести и ненависти и заклинать благословением обезумевшую действительность. В этом религиозный долг, в этом Дхарма поэта".

1960. <Шабаново[7].>

<...> Кажется мне, что печально и тихо в русской деревне. Стариной веет, запахом веков, а земля наша кажется больше и прекраснее, и почему-то жалеешь ее сильнее, чем в городе. В городе, думая об атомных бомбардировках, я никогда не представлял себе, как рушатся здания, здесь же я почти плакал, обводя глазами окрестность. Ужасно, если погибнут наши города, но смертельно, если огонь выжжет леса, травы, реки и русские деревни.

Мне кажется, что в деревне легче умирать: здесь больше шансов вырасти хорошей елкой, кленом или кустом орешника. Здесь больше шансов принадлежать всей земле, а не купленному клочку огороженного смердящего пространства. Деревни умирают, как люди: на месте изб - холмики земли, поросшие крапивой и полынью; склоняются над ними потрескавшийся тополь, полузасохшая черемуха или одичавшая яблоня. И проходишь вдоль этого кладбища и думаешь о людях, мелких, обыкновенных, которые жили здесь, а потом ушли куда-то или вымерли, потеряв наследников в войнах и в городах.

Шабаново - не знаменитая деревня. Было в ней до войны 45 дворов, осталось четырнадцать. Похоронки принесли в каждую избу. Сейчас один мужчина пастушит, другой промышляет кротами, третий служит почтальоном, четвертый механизатор. Было еще двое молодых ребят-трактористов: забрали в армию. Хозяйничают на полях женщины, бабы и бабушки. Спозаранок, широко ступая босыми ногами, идут они гуськом в луга, и за их мужскими плечами тускло светятся лезвия кос. <...>

Среди славных шабановских тружениц наша тетя Тася. Все, что написано впереди, это претензия на предисловие к письмам тети Таси. Письма эти не попадут в архивы, никакому историку не придет в голову по ним изучать нашу выдающуюся эпоху, они

не привлекут внимания фольклористов. И все-таки я не могу спокойно их перечитывать. В них печаль и тишина деревни, вечерние слезы и тоска о несбывшемся. В них - суровая жизнь современной крестьянки.

Историки все еще пишут жизнеописания вождей и хронику сражений, без конца твердя о народе - творце истории. Народ они исчисляют семизначными и восьмизначными цифрами: столько-то миллионов погибло в первую мировую войну, столько-то - во вторую, столько-то погибнет - в третью. Будь на свете Господь Бог, взял бы он за шиворот нашу любезную историческую науку и повел бы ее к творцам истории за стол, под черную икону, под фотографии убитых и сказал бы так: здесь ваш единственно верный первоисточник. Вслушайтесь, как дышит этот дом, сложенный много лет назад, вглядывайтесь в морщины хозяйки, в ее отполированные трудом ладони; в ее выцветшие глаза, выпейте с ней вина, выслушайте ее повесть, если она вам ее расскажет. А если не расскажет, то угадайте сами, для чего она живет на белом свете, чего она ждет, о чем думает в новогоднюю ночь, и думает ли о чем, почему плачет над письмами родне, себя ли жалея или всех бедных людей на земле. Проверьте, можно ли убиваться по корове или теленку, и не день, не два, неделями? Можно ли жить, не слушая тарахтения радио и не читая газет? Можно ли десятилетиями помнить любимых, убитых, загубленных и не изменять им, отказываясь от столь ценимого людьми личного счастья, и может ли самая великолепная стратегическая победа восстановить справедливость в глазах такой женщины? Да разве столько вопросов задает жизнь, и разве столько вопросов никогда не находит ответа.

Тетя Тася почти ровесница революции: родилась она в восемнадцатом году. Если бы она появилась на свет десятью годами раньше или позже, было бы для нее лучше. Но, как учат нас всевозможные столпы науки, вовремя рождаются только великие люди: история заранее планирует их приход. Наша тетя Тася в список великих не попала. Видимо, потому, что на ближайшие полвека лимит "великих" был трагически перерасходован, на грани с растратой. Возможно, последнее обстоятельство особенно сказалось на всей жизни тети Таси и многих ее далеких и близких соплеменников. Когда великие мира сего затеяли всемирное побоище, тетя Тася проводила на фронт жениха. В сорок втором она получила похоронное извещение. Другого жениха не искала, хотя и помнила пословицу: перемелется - мука будет. Ничего, однако, не перемололось, разве что через много лет после войны тетя Тася перестала ждать возвращения своего суженого. Теперь она живет в большом и

старом доме-пятистенке вместе с родным братом - Харитоном. На доме, как старый сургучный штамп, жестяной кружок с надписью: "Страховое общество "Якорь", 1886 год". Нельзя сказать, что разрушенной оказалась вся жизнь нашей тети Таси: она бригадирствовала, председательствовала, но для человека этого явно мало. О ней говорили: "Она соблюла себя для мертвого".

Сегодня тете Тасе можно дать 50 - 55 лет, у нее широкая, прямоугольная спина и тяжелые большие руки. Лицо у нее скуластое, строгое и малоподвижное. Я всматриваюсь в него: оно мне кажется непроницаемым и властным. Я немного опасаюсь тети Таси, я жду от нее каких-то резких слов, осуждающих мою интеллигентскую деликатность, но она молчит. Она вообще говорит очень мало, и если мы заводим разговор, то о погоде, о бычке Ждане и корове Марте, о бабе Маше, в сенях у которой уже не первый год стоит гроб и не может дождаться ее кончины.

Мне хочется взглянуть на погибшего жениха, но в рамке под стеклом на месте его фотографии - белый пустой прямоугольник. Рядом новый портрет тети Тасиной племянницы. Когда эта девица была еще девочкой, она жила вместе с двумя двоюродными сестрами, такими же тети Тасиными племянницами, в деревне, и тетя Тася была им вместо матери. Тогда была война, и это чего-нибудь да стоит - возиться с тремя малыми детьми и работать в колхозе. Когда холоднолицая Люс приехала в деревню, ей было шесть месяцев, и никто не называл ее тогда холоднолицей, а когда она уезжала, ей исполнилось девять лет, и никто не думал, что она вырастет холоднолицей.

Теперь Люся - секретарша и машинистка, она живет в большом городе и знает толк в кое-каких вопросах городской культуры и морали. Раз в год она приезжает в отпуск пить парное молоко, ходить по грибы, играть с деревенскими мальчишками в круговую лапту и привозит тете Тасе свои новые фотографии.

Одна из них висит на том самом месте, где много лет сидел-посиживал на венском стуле и раскуривал свою долгую папиросу парень в пилотке. У фотографии была сво история, своя история была у венского стула, у этой солдатской папиросы, потому что была война, и сидел покуривал этот солдат, может быть, после боя, может, перед боем, и, может быть, были на десять солдат один венский стул, одна мирная роскошная папироса и один мирный районный фотограф, и каждый из десяти хотел предстать перед далекой родней, перед далекими девушками в наилучшем виде, в полном благополучии и процветании.

Об этой фотографии мне рассказывала Тома: не о венском стуле, не о папиросе, а о солдате в пилотке, который сидел покуривал, закинув ногу на ногу, и смотрел прямо перед собой,

на всех, переступающих порог избы. Шли годы, вырастали Люси, умирали бабушки, а солдат сидел, покуривал и все смотрел, смотрел, и будто табачным дымом заволакивало его лицо.

Потом тетя Тася вынула солдата из-под стекла и куда-то его спрятала... <Еще> хранит тетя Тася две старые тетради: в одной - молитвенные песни, в другой - песни печальные, слезные, той военной поры. Наверное, лег к ним на покой беспокойный куряка солдат: на дно заветного сундучка, на самое дно души.

Пела ли она эти песни, читала ли про себя, плача и причитая, - дл людских ли это глаз зрелище, для любопытных ли присмотрщиков искушение? Если и были свидетели, то неречистее сумрачной Богородицы в углу под потолком да робкого и стеснительного домового, верного сотрудника страхового общества "Якорь". Домовой, мохнатый старичок ростом с кролика, сидел на полатях, рядом с почтовой сумкой дяди Харитона, и вздыхал на весь дом.

Немало слез было пролито в этом дому, еще больше слез обронено у околицы. Уезжают отпускники восвояси, к своим заботам, работам, к своим сундучкам заветным, где на самом дне своя печаль, своя душевная тайна, закрытая от глаз людских, от анкет, от суда. Плачут у околицы, будто навсегда расстаются, и щемит сердце, как бы ни звала дорога. И оборачиваемся мы и машем рукой, раз, другой, десятый, и уходим все дальше и дальше, а там, позади, у опущенного березового шлагбаума, стоит тетя Тася, простоволосая, угловатая, и машет нам белым платком, и будто уносит нас неотвратимый поезд, а она остаетс на зеленой и тихой платформе с белым платком в опущенной руке. Но вот поворот, и не видно оставленной деревни, и не видно, как закрывает тетя Тася березовый "шлагбаум", чтобы не убежал куда-нибудь в поисках лучшей доли черный с белыми пятнами теленок Ждан и его разномастные братья и сестры.

А потом придут письма, написанные карандашом, письма тети Таси из одного далека в другое далеко.

10.6.60.-22.7.60.

Вот и сюда, в тихое Шабаново, пришла весть о смерти Хемингуэя. Мы мучились с керогазом, он явно не хотел гореть. <...>

Рядом на лавке возле ведер с водой и мотка колодезной веревки лежала газета, сообщившая нам о смерти Хемингуэя. На газету кто-то поставил глубокую тарелку с блинами. Они возвышались розовой круглой башней, по ней стекало масло и капало на газету, расплываясь темными прозрачными пятнами, в которых проступали буквы обратной стороны газетного листа.

Желтое пламя упрямо уползало с черного кольца фитиля. <...>

Мне снова казалось, что живет в нашем мире незримо и потаенно жестокая и насмешливая ирония. Она не любит, когда мы взбираемся на трибуну, а в детстве становимся на стул для декламации. Она не любит, когда говорят высокие слова - в горе ли, в радости. Прислушиваясь к ней, я понимаю, почему скрипит кресло в торжественной тишине зала, где, захлебываясь святыми словами, витийствуют верховные жрецы.

Кому-то в такие минуты становится стыдно. Тихим седым женщинам у дверей с программками в руках? Микрофонам, красной скатерти, скрипнувшему креслу, ускользающему времени? Кому же?

Мой старый товарищ вернулся из Анадыря и подарил мне божка, которого почитают чукчи. Божок размером в спичечную коробку и сделан, выточен из моржовой кости. У него узкие глаза и рот до ушей. Он стоит у нас на книжной полке и смотрит сверху узкими ехидными глазами, улыбаясь лягушачьим добродушным ртом. Мне кажется, что в нашей комнате поселился тайный агент всемирной беспощадной иронии. Наверное, это он меня заставляет оглушительно чихать, когда я в сумерках пытаюсь говорить <...> слова, без которых трудно жить человеку и которые я не устаю повторять.

Теперь я думаю: может быть, он прав? И стоит любить, жалеть и ненавидеть молча?

В тихом Шабанове раскосого божка не было. Он остался охранять дом. Из темного угла смотрела на нас печальными глазами пресвятая Богородица в тяжелой раме из черных, тусклых досок. Под нею было страшно сидеть. Она не умела улыбаться, и в ее печальных глазах не было жалости, когда я читал у нее под носом о смерти великого чужеземца. Мне хотелось бежать из избы и совать всем встречным газету: "Умер Хемингуэй. Вы понимаете, умер Хемингуэй. Это был великий писатель. Без него мы станем беднее, ниже ростом, короче мыслью". Слезы бродили во мне, и было хорошо от этих невидимых слез, от того, что так тронула меня смерть далекого и такого, в сущности, чужого старика.

Я никуда не побежал, а сказал только Томе, которая возилась с керогазом. Мне хотелось поговорить, рассказать про свои невидимые слезы, а пришлось садиться на корточки и тыкать спичкой в проклятый черный фитиль, не желавший загораться. Керогаз выжимал из меня пот, он насмехался надо мной, он не хотел слушать про мои слезы, он скрипел и чихал, будто ему в носу щекотали травинкой. Я разозлился, и керогаз наконец засветился синим пламенем. Я вышел на крыльцо. Избы стояли тихие, будто пустые. За ними в низине колыхались озера голубого

тумана. Пятимесячный бычок Ждан клянчил хлеба, тычась черной мордой в мое колено. У Ждана было необыкновенно ясное будущее: кастрация и мясокомбинат. Лучше бы он был бойцом и умирал сражаясь. Даже сражаясь ни за что.

Пожалуй, очень хорошо, что я не болтал в тот вечер, когда в заброшенную, умирающую русскую деревню пришла весть о смерти самого немногословного писателя земли, знавшего истинную цену человеческому молчанию и мужеству. Может быть, тененто Эрнесто еще в 1914 году услышал насмешливый голос своего божка, умеющего скрипеть, чихать и свистеть, когда в мире звучит аллилуйя, когда микрофоны дрожат от раскатов святых слов, а в братские могилы грузят трупы юнцов, погибших за гроб Господень или еще черт знает за что.

1960. <Кострома.>

Долгое время всякие добрые люди из сослуживцев называли меня "наивным", а я долгое время никак не мог понять, что означает это слово в их устах. Возможно, тем, кого я не вполне серьезно называю добрыми людьми, казалась недостаточной мо осведомленность в роковых и тайных вопросах взаимоотношения полов, и им, людям, умудренным по дамской части, хотелось восполнить некие деликатные пробелы в моем университетском, по их мнению, сугубо непрактическом образовании. Если бы это было так, я бы не удивлялся и не ломал голову, так как добрые люди таким манером лишь подтверждали бы свою духовную и моральную цельность, свободную от предрассудков и от чуждого им болезненного раздвоения личности, когда одну из сторон ее бытия неправомерно объявляют интимной и скрывают от любознательной общественности, жаждущей здоровой и деловой откровенности. Это и было так, но лишь потому, что мо "наивность", как я понял позднее, вмещала в себя по меньшей мере миллион всяких неосведомленностей в проблемах быстротекущей жизни <...>

Я было решил, что "наивность" - это незнание, этот самый "миллион неосведомленностей", и мое сердце сжималось, когда я слышал на собраниях это "стыдное" слово, уличающее меня в профессиональной и человеческой неполноценности. Потом я догадался, что мое незнание какого-то особого рода, ничего общего не имеющее с малограмотностью и моим не трудовым, а школярским прошлым. Из публичных упреков, из раздраженных резолюций редактора на моих корреспонденциях я наконец уяснил, что я не то чтобы не знаю действительности, а просто не знаю, как ее объяснить, и потому толкую ее наивно, незрело. Со временем я смирилс с упреками в "наивности", но не отказался от

превратных толкований, которые казались мне если и не единственно возможными, то, во всяком случае, честными. В эти первые годы моей газетной работы я полюбил слово "наивный", хот очень редко слышал, чтобы оно употреблялось в положительном значении. С тех пор я прямо-таки возненавидел многоопытных "добрых" наставников заблуждающегося юношества, о которых стоило бы написать много резких и презрительных слов, хотя вряд ли изменят их даже самые яростные филиппики.

Случается, и это бывает радостным событием для меня, открывать наново какое-нибудь старое, хорошо знакомое и даже наскучившее слово, содержимое которого вроде бы знаешь, как свои карманы. Может быть, я безнадежно запаздываю в своем развитии, но я продолжаю "открывать" слова до сих пор. В одной их последних пьес Штейна я вычитал, что слово "Совет" родилось от слова "советоваться", и это потрясло меня как откровение. Наверное, по этому "потрясению" можно заключить: от наивности я так и не излечился.

Однажды где-то у Ленина, кажется в "Философских тетрадях", мне попались слова: "наивный значит свежий". По нашим временам не могло быть лучшей защитительной речи для этого "стыдного" слова. Сам я не нуждался в оправдательном приговоре "добрых людей", мне надо было оправдать самого себя перед самим собой без компромиссов с совестью, столь покладистой в наших внутренних делах. Я нуждался в таком оправдании не потому, что чувствовал себ виноватым: кто-то ведь должен говорить человеку, что он прав, кто-то ведь должен быть ему судьей и учителем. Страшно идти одному по пустынной дороге, затыкая уши от шепота и крика: "Ты не прав, твоя дорога никуда не ведет, ты наивен в своем никому не нужном упорстве!" Невеселое занятие твердить себе под нос: "Ты сам свой высший суд!" <...>

31.3.62.

Обеспокоенные райгазетчики толкутс в нашей редакции. Приехал местный писатель Николай Колотилов[8] в потертом пальто, без шарфа. Надел, видимо, лучший свой костюм и белоснежную рубашку с белым же галстуком. У него большая благородная голова, в спокойных, холодноватых голубых глазах - беспомощность. "Наконец-то получил в Нерехте комнату. А теперь снова сниматься с места?" Он не очень-то верит, что его возьмут в межрайонную газету <...> Но Колотилов шутит: "Слава богу! Умирает могильщица великого русского языка!"

Сегодня Колотилов рассказал историю, которую хочется

записать. Было это уже после смерти Сталина. (Вот она - историческая веха, от которой отсчитывают новый календарь!) Довелось Колотилову побывать в какой-то глухой ярославской деревне. Впрочем, это могло быть и в дальнем райцентре. Продавал старик грибы, а женщины его упрекали: дорого. (Или в райцентрах грибами не торгуют? Ну, бог с ним, суть важна!) Старик оправдывался: "На курево надо, бабы. В день уходит осьмушка и еще пол-осьмушки. Да на газету нужно рубль в день". Я удивился, рассказывал Колотилов. Почему рубль? Газета стоит 20 копеек. "Это тебе 20 копеек, а мне рубль", - сказал старик. Колотилов пошел на почту, и девушка служащая расплакалась. Старик жил будто в военное время, когда газеты были дороги и на них трудно было подписаться. Девушка его не разубеждала, ей тоже нужны были деньги, и она брала по рублю. Колотилов решил выписать старику газету без обмана. Но выписать удалось только берлинскую газету, на другие - подписка кончилась. Уже позднее старик очень благодарил Колотилова: ему очень понравилась немецкая бумага. Когда получал газету, то аккуратно разрезал ее на узкие полоски, свертывал их в маленькие рулоны и распихивал по карманам. Из советских газет старик очень не уважал "Советскую Россию": не удовлетворяла бумага. По подсчетам Колотилова, старик этот выкурил за долгую жизнь сенной сарай табаку. Умер старик от курева: отнялись ноги, потом еще что-то стряслось, и кончилась жизнь знатока современной прессы.

8.4.62.

<...> Товарищ мой В. Л. был в командировке в Судиславле. Присутствовал на каком-то заседании председателей колхозов. Там объявили, что нужно в кратчайшие сроки представить списки на бронирование: начальство, лучшие механизаторы и проч.[9]. Великолепная новость. Если вдуматься - мерзейший идиотизм. Всякая подготовка к войне отвратительна. Я боюсь не за себя, я боюсь за сына и за миллионы таких, как он. Люди рождаются, чтобы жить. Если это убеждение - пацифизм, то я - пацифист. А мы всё мельчим и мельчим, подчиняемся служебной суете, тщеславным помыслам, мним себя чем-то. А что мы значим, когда за нас думают, за нас решают, нами располагают. Дети любят играть в оловянных солдатиков. Жаль, что даже престарелые взрослые не отучиваются от этой игры. Не зря марксисты так не любили государство. Чувствуешь себя ничтожеством, потому что нет никаких гарантий.

За окном мерцают ночные огни. Они тоже зыбки, их благополучие иллюзорно.

Я, наверное, рискую, делая такую запись. Илья Эренбург не зря писал, что наше время оставит мало дневников, писем, исповедей. Оно больше время анкет, протоколов допросов, добровольных объяснений, написанных с горечью и отвращением. А я все-таки пишу. То ли я верю в доброту новых времен, то ли я уже ничего не боюсь, потому что верю в свою правоту и невиновность.

Таня Львова[10] рассказывала о наших однокурсниках. Черт с ними. У каждого своя дорога, и каждый оправдывает ее перед собой на сто процентов. Я не завидую им, не осуждаю их, просто что-то потеряно, что-то оставлено позади. И горько от этого и невесело. И главное - не ново все это, совсем не ново. Помню, Лев Тихомиров писал о революционерах, ставших добродетельными чиновниками. Он всех мерил по себе. Так то хоть были революционеры. А мы так... самостоятельно мыслящие молодые люди. Грошовая мы с вами публика, ребята!

Утром сочинял статью о костромских писателях. Замучился. Самому страшно, когда повесть на глазах разваливается на части, из коих была составлена. В радиоприемнике сотни деталей, металлических, стеклянных, пластмассовых и прочих; объединенные в определенной последовательности, они дают потрясающий, сказочный эффект. В плохой литературе факты жизни объединены дурацкой схемой, которая не дает никакого эффекта. Факты и детали погибают, пылясь и плесневея. Вот ведь не берутся встречные и поперечные монтировать приемники. А книги стряпают, да еще оберегают их, как злые цепные собаки.

14.4.62.

<...> Приходил в редакцию маленький молодой мужчина - Вячеслав О., электромонтер. Пришел чумазый, пьяный, искать помощи. У него жена и маленькая девочка, лет трех, что ли. Живут в сыром подвале, очень тесном. У девочки врожденный порок сердца. Возили ее в Москву, жили у знакомых, в железнодорожном вагоне. "Хоть воздухом чистым подышали после подвала". Врачи посоветовали операцию. Скоро повезут девочку оперировать. Сейчас жена в родильном доме. "Роды назначены на двадцатое". А квартиры все не дают и не дают. Вот он и пришел в редакцию за помощью, хлебнув для храбрости. Говорит мне: "Не знаю, что делать, Игорь. Бьюсь, бьюсь, а ничего не получается". А чем я ему могу помочь? Сколько таких, как он, обивает пороги нашего отдела писем? В обмороки падают, плачут. А я ведь Вячеслава знал раньше. Он приносил ультрапатриотические стихи, написанные аккуратнейшим почерком очень ясного человека. Сейчас ему писать некогда.

Жена давно не работает из-за больной девочки, и он после работы ставит счетчики, делает проводку и прочую мелкую работу случайным клиентам. Но мне кажется, что, если он опять притащит мне стихи, написанные все в том же подвале, они будут прежними, ультрапатриотическими. Я назвал его маленьким молодым мужчиной потому, что он очень низкоросл, к тому же горбится, и волей-неволей вспоминаю о пигмеях, целом народе.

<...> Сегодня дочитал "Зиму тревоги нашей" Стейнбека. Великолепный роман, в котором зазр не уронено ни слова. Я бы сказал, что это высокоорганизованный роман. Жизнь сталкивала, сталкивала, сталкивала человека, но столкнуть не смогла. И даже если один огонек добра все-таки зальют водой пошлости, грязи, корысти и предательства, то непременно зажгется другой огонек. Мал и одинок этот огонек, но он еще теплится в человечестве.

Полицейского начальника Скоби у Грэма Грина тоже сталкивали, сталкивали, но столкнуть не смогли[11]. Человеческой подлости он предпочел смерть. А нас не сталкивают ли так же упорно в ту же пропасть? Только толчки эти легкие, бы сказал, обходительные, вежливые, но зато они неотвратимы. В общем-то, человек, видимо, повсюду борется с одним и тем же. С античеловеком в себе и с античеловечностью вокруг. И в 99 случаях из ста, наверное, совсем не борется. Может быть, Веркор прав: многие люди не понимают, кто такой - человек и чем он отличается от прочего живого мира. <...>

25.4.62.

<....> Вчера был вечер поэзии Луговского в библиотеке. Народу было очень мало. Асеев и Межелайтис собирали больше. Говорил и я. Неважно, без подготовки. В углу зала сидел в штатском майор <госбезопасности> и откровенно записывал нужное. Я увидел его сразу, как пришел в библиотеку, но ребятам не сказал, боялся, что начнут нервничать. Когда шли домой, Виктор Бочков[12] спросил, знаю ли я того типа в углу. Я сказал, что знаю. Мы сказали о Лаврове и Мише. Судя по его лицу, он не испугался. А может быть, и испугался. Ему это, кажется, впервой. А я вроде бы давнишний поднадзорный. Пришел домой, настроение испорчено. Зачем он приходил, чего ему надо, чего надо им всем, чего они боятся, кого они боятся? Одна из "непричесанных мыслей" Ежи Леца звучит примерно так: "Входя в душу ближнего, вытирайте ноги". Хотя бы вытирали ноги.

В четвертом "Новом мире" прочитал сегодня Эренбурга[13]. И труднее стало, и легче, мои переживания показались мне микроскопическими. Главное - не надо бояться.

Сегодня Кеннеди отдал приказ о начале наземных ядерных

испытаний. Еще один шаг к концу. Удивительно бесчеловечный век. А ведь время человечности кажется таким недалеким, люди заждались человечности. <...>

23.6.63.

Вчера исполнилось 22 года с начала последней войны. Поколения получили с тех пор жизнь. Они совсем не помнят войну, они изучают или будут изучать ее в школе. А я помню первый день войны, и второй, и третий, и многие, многие другие. Значит, я уже совсем не молодой человек. Помню, в сорок третьем году мы были во Фрунзе, и я каждый день с судками ходил в столовую получать какой-то обед. Верно, это был папин обед, он приехал тогда с фронта учиться в инженерную академию, которую перевели из Москвы во Фрунзе. Запахи этих обедов я помню до сих пор, и иногда они вспоминаются мне посреди улицы, и тогда я замедляю шаги, припоминая, какой это суп мог так пахнуть. Однажды мен сбил велосипедист, ехавший по тротуару. Я пролил суп, мигом впитавшийся в горячий киргизский песок. (Мы жили на Пишпеке, там не было асфальтированных дорожек.) Выпал из кастрюльки и кусок брынзы, выданный на второе. Дома на меня сильно кричал отец, он ударил меня за то, что я не подобрал эту брынзу: ее можно было бы обмыть и съесть. Папины обеды мы ели все вместе - вчетвером. Я многое забыл, но этот кусок брынзы - белый, разомлевший на жаре - я хорошо помню без всякой обиды на отца.

Детство мое в военные годы я вспоминаю как далекий горячечный бред. Лишь немногие картины я храню в себе с радостью, немногие ощущения.

На будущий год мне - тридцать, а я все еще кажусь себе юношей студенческой поры. Я не жалею, что из всех возможных выбрал "костромской" путь. Жаль только, что здоровье, нервы, умственная энергия так часто расходовались на дело казенное, конторское, на три четверти бесполезное, на людей фальшивых, недалеких и самодовольных. Там, на триста семьдесят шестом километре от Москвы, я открыл, что служба требует не ума и творчества, а послушания и ремесленничества. Ум и творчество - это сугубо добровольное и беспокойное приложение к служебной нуде, которое ты делаешь в силу угнездившихся в тебе идеалов...

Здесь каждый день идут дожди. Льет и сейчас, косо, с северной стороны. Коровы, повернувшись к дождю задом, бродят носом в траве на единственной шабановской улице. Домой их еще не пускают - рано. Коровы не бунтуют, они рады, что их не кусают полты, как здесь называют то ли оводов, то ли слепней. Иногда

мне не по себе от здешней тишины и спокойного равнодушия до всего, что не касается этой деревни, хотя эти унылые, особенно в дожде, и замкнутые в себе избы во многом правы, что именно так, недоверчиво и без восторга, воспринимают далекий и суетливый мир, гудящий в радиоприемниках, когда какие-то неизвестные олухи соблаговолят включить в сети электричество. Никто в Шабанове газет не выписывает. Дядю Харитона за это ругают, а он говорит одно: у людей нет денег. Но это и правда. В колхозе уже два месяца ничего не платят, за сдаваемое ежедневно государству молоко - тоже. <....>

Лето 1963 года.

<...> Помню, как меня агитировали вступить в партию. "Зачем ты тянешь: у тебя не будет хода, у тебя такая работа, ты ставишь крест на своем будущем". Мама даже плакала. На службе косились: он что-то затаил; и говорили: тебе пора вступать. А я - ничего не таил. В одиночку - разве доверишь такое! - я примирял противоречия: политическую апатию и несамостоятельность, косность и пошлость окружающих я соотносил с великими идеалами революции, с выношенным образом коммуниста-революционера, мучился, не находя точек соприкосновения, и снова искал эти проклятые точки и, не найдя их, писал заявление, думая о Революции, о Ленине и его соратниках, о многих миллионах коммунистов на всех широтах, борющихся за истинную свободу и братство людей.

Вскоре меня повысили в должности, а через некоторое время попросили зайти в обком партии, чтобы получить медицинскую карточку на себя и на жену для спецполиклиники. Так здоровье жены и мое стало особо важным для партии. Я повысился в своей ценности: до этого события я мог вскочить в шесть утра и бежать в общую поликлинику, чтобы занять очередь за талончиками к зубному врачу. Теперь я могу не стоять в общей очереди рядом со всякими там пенсионерами, мелкими служащими и простыми работягами. Я повысился в цене, раз я лечусь там, где лечатся все городские начальники. Спецполиклиника - романтика исключительности, привилегированности, избранности.

Когда я уходил в отпуск, мне выдали лечебные - для поправки моего драгоценного здоровья. Я могу быть здоровяком из здоровяков, меня все равно наградят лечебными, потому что я - на руководящей работе: заведую отделом.

Странно, что неделю назад, когда еще не был подписан приказ о моем назначении, мое здоровье никого не волновало.

Мелкие фактики нашего скромного бытия! У меня - мелкого служащего, мелкого - на общем фоне огромной лестницы,

уходящей под облака и до последней ступени занятой важными и блистательными лицами, для которых мои лечебные в пятьдесят рублей никогда не могли бы стать событием, как для меня, - вот на таком-то фоне я начинаю чувствовать себя частицей великого живописного полотна, именуемого историей. Просыпается мое разгоряченное первой привилегией воображение. Я неустанно зрю в будущее.

Оно могло бы быть лучезарным: квартира из трех-четырех комнат на троих, служебная машина, казенная дача, бесплатная путевка, зарплата в три раза выше, чем у сотрудников, обязательное место в президиумах. Представляю, как убоги эти мечты, ограниченные провинциальным кругозором. <...>

Высшее проявление демократичности современного руководителя - это путешествие пешком из дома на службу и энергичный мат при общении с рабочим народом. Мат укорачивает расстояние между сердцами, обеспечивает наилучшее взаимопонимание.

1-2.12.63.

Читаю "Дневник писателя" Андре Белого[14] и случайно замечаю, что параллельно с процессом понимания Белого возникает в сознании моем воспоминание о давнем и повторяющемся время от времени сне. Широкая мраморная лестница во дворце, ведущая в верхний этаж - этого верха я не вижу и там не бывал, - а вправо и влево от нее - лабиринт комнат, залов, в которых я раз блуждал, через которые мчался то ли прячась от кого, то ли разыскивая чей-то след и выход.

Странно, когда я стал записывать это невесть откуда взявшееся - совершенно бессознательно - ощущение, я подумал, что оно имеет - по случаю - прямое отношение к прочитанным статьям Белого. И не потому, что мысль его - запутанный лабиринт, - это неправда, и во сне - не лабиринт мне повторялся, скорее что-то, похожее на детскую еще память о таинственных коридорах гриновской "Золотой цепи". Не лабиринт у Белого, а гулкие комнаты - гулкие, как ночные лестничные клетки и как перроны столичных вокзалов, - он ищет в себе человека, свободного от эгоистического индивидуализма, эгоизма социального, но до сих пор никто такого человека еще не вышелушил из нынешней человеческой особи - ни из себя, ни из других.

В "Дневнике" - летяща мысль, она - в самом полете, я вижу, как она летит, сначала будто бы бесстрастно и гулко, философически великолепна, а потом, не выдержав будто высоты, вочеловечивается в искреннейшем прошении писателя и человека

Белого на имя республики и всей общественности: дайте несколько поленцев, дайте быть самим собою!

Мысль бежит сквозь комнаты, саму себя волоча за хвост. За философичностью - человеческая трагедия: да я и сам здесь, кажется, не нужен! И еще: безмерность обреченных претензий. Кажется, что претензии - выше сил его, и не презираешь его за это - жалеешь и понимаешь.

Я, кажется, научился понимать даже то, что не приемлю, - не Белого здесь имею в виду - Розанова, например; эротику Пильняка, программное еретничество Замятина и т. п. Нет во мне возмущения, отрицания, отфыркивания. И потому не понимаю критический, политическо-обвинительный пафос современного литературоведения: по инерции ищут политических врагов, что ли, опасаются реставрации - считают несостоявшимися пособниками несостоявшейся реставрации? Я вижу людей талантливых, мятущихся, - популярное ныне слово, - самостоятельных по праву художничества, особо русского. За прожитое усвоил я крепко, что таких легко ругать, почетно ругать и выгодно, но таким стоит кланяться в пояс, что есть они и были, раз сами быть такими не можем или трусим. Не научился я только прощать, а значит, и понимать политического и литературного торгашества и нахальства, а также непогрешимости, удобно покоящейся на авторитетном фундаменте власти. Может быть, потому что все это - от пренебрежения людьми, от узкополитического подхода к ним, от нежелания знать больше. Вот почему нельзя не уважать меньшинство, какое бы оно ни было. И еще не забыть бы, что самое противное - это физическая сила; власть - та же физическая сила. Силу не хочется понимать, она вне истинно человеческого.

Зачем я пустился в эту абстрактную словесность? Не про то бы писать - не про силу и нахальство, а про ночь и тишину деревни в городе и про завтрашний день, от которого не ждешь ничего хорошего, и про жизнь, которая как песок сквозь пальцы, и про кофе, который не дает мне спать, и про то, как простаивает без надобности кому-либо, чему-либо, зачем-либо моя душа. И не душа вовсе, а весь человек, и бегу я седьмой год по унылым комнатам с гигантскими письменными столами, и мелькают двери, пронумерованные и оприходованные, и никуда не выскочишь, и нумерация кажется бесконечной, осыпается земл под <ногами>, локтями, и ногти болят цепляться, и жалеешь себя, и молишь о чуде, и тысяча услужливых голосов твердит тебе, что дирекция Зоопарка купила тебя навечно, и клетка твоя закреплена за тобой пожизненно, и корм твой никто не отнимет, а потому иди по кругу, и подавай всем лапу, и улыбайс

счастливо, и щерь, щерь свои осыпающиеся зубы, и радуйся небу, и солнцу, и птичкам, и мягкой подстилке...

И не об этом хотел написать я - не обвинительный акт против себя, а печальную правду и светлую доброту, не отрицание, не глумление, а робкое утверждение, тишайшую исповедь, но гордую и смелую, если бывает смелость тишайшая и гордость робкая. О смиренном несмирении написать бы, о честности потаенной, о молчании моем и нашем, и еще о молчании, и еще о молчании и о молчаливой болтовне, и о любви, с которой будто родился, и умрешь не будто, а верно, о верности словно от века, словно вечной и какой-то последней, как последней бывает надежда. И не напишешь потому, что надо сочинять роман, и надо писать разговоры, и надо тысячу ночей, и еще надо талант, а без него не спасут и миллионы ночей и вся жизнь, просиженная над бумагой, и ничто вообще не спасет, и не надо, чтобы что-нибудь спасало: пусть романы пишут другие, а я напишу эту чепуху, эту беготню по комнатам большого дома и больших ожиданий, и никто не слышит, как гулко стучат мои каблуки и как поскрипывает в углах паркет и чуть ли не гнется, как молодой лед, и как хорошо, что все спят и не смотрят на меня, и не слушают, как я иду, и не видят, как дрожат у меня колени, и не видят, как хочется мне идти по одной половице, чтобы никому не помешать и не оступиться, и кого-нибудь встретить в этой пустыне, и найти окно или дверь в сад или на площадь, но в доме нету слуг и камердинера и добрых фей, и нет в нем ни одной знакомой, пройденной комнаты, потому что дороги назад нет и двери позади меня исчезают. И потому пора просыпаться. Всегда просыпаются, когда страшно. Всегда кончают писать, когда писать надоедает и круг завершен.

6.12.63.

"Задача строительства пролет. культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата", - писал В. Плетнев ("Правда", 1922, 24 сентября, No 217). Реплика Ленина: "А крестьяне?" Не ленинская реплика, всецело находящаяся в плену определенной схемы, кажется мне важной, а тот "изоляционизм" (об этом говорил З. Паперный в предисловии к книге "Пролетарские поэты первых лет советской эпохи", 1959), который отчетливо выражается в словах Плетнева, по-современному интересен. И не потому, что как этот случай, так и другие - некоторые программные пункты "рабочей оппозиции" и "троцкизма" и "демократического централизма" - находят свои аналогии, пусть и не прямые, в наше время. Не в случайных аналогиях и "совпадениях" дело, а в некой закономерности, с

которой движется революционное преобразование пролетарского толка. "Изоляционизм" - как сопутствующая болезнь. При Сталине - полная изоляция республики от остального мира (после 1945 года).

Рецидивы можно наблюдать и у нас, и в Китае. Как следствие искаженного мыслительного процесса, как следствие высокомерия и боязни, что сосед или противник окажутся умнее и значительнее. Уроки из минувших исторических периодов извлекаются сегодн робко и очень редко, будто это не задача публициста или даже историка. Двадцатые годы как не до конца проявленная фотография последующей эпохи. Точнее, в них можно обнаружить предпосылки, намеки, предчувствия, прообразы, не до конца проявленную сущность последовавшего за ними трагического десятилетия предвоенного. Вся беда в том, что люди потрясающе забывчивы во всем, что касается прежде всего общественной жизни. Так почему бы им не напомнить, почему бы не напоминать время от времени об истинных героях и об истинных предшественниках?

Даже нынешнее равнение на читателя - рабочего или крестьянина, нынешняя многозначительная поддержка поэта с рабочей специальностью - несколько видоизмененное повторение старой ставки на пролетарскую литературу. Минули десятилетия, изменились лишь масштабы и цель, существо осталось прежним: недоверие к интеллигенции, показное "прислушивание" к мнению народа.

9.12.63.

"Необыкновенная весна" Хена и Лесевича[15]. После польских фильмов я хожу взволнованный и умиротворенный. Будто что-то утолено неутоленное, получено неполученное. Иногда, как сегодня, прощаешь многое, но зато сколько радости, сочувствия, понимания, сколько согласия в понимании доброго и злого, человечного и казенно-риторического. Говорят, что поляки не любят нас, русских. Я не верю этому. Но даже пусть так. Я люблю поляков, их литературу, искусство, их дух. Может быть, это "литературные" поляки, но разве литература настоящая обманывает?

Какие мы все трусы! Это так бесспорно, потому что мы все всё объясняем, стараемся быть умнее самих себя. Все наше существо вопит: "Нет!", а поразмыслив, мы говорим: "Да!" Или молчим. И молчание считаем своей высочайшей доблестью. <...> Мы меряем нынешней меркой, мы укорачиваемся сами, мы пригибаемся, чтобы наши головы не торчали и не возвышались. <...>

12.1.64.

Вот оно какое - время! Увольнение отца[16] я воспринимаю не как неприятный его переход в иную социальную категорию, а как еще один шаг к покою и - как ни страшно это сказать - к смерти. Раньше никогда не задумывался над тем, что родители стареют. Теперь их дни рождени для меня печальны. И эта печаль безысходна. Только в последние годы я понял всю силу неотвратимости <смерти> и невозвратности нашей жизни. Но даже понимая это, я чувствую где-то глубоко в себе веру, а может быть, даже знание - насколько это ощущение не от меня, не от моей чувствительности, - знание, что необратимость будет обратимой или, во всяком случае, не трагической. Когда-нибудь жизнь будет иной и мера ее будет иной, но этого мы не увидим, не ощутим. И тогда, наверное, человек будет дорого стоить... И никто не сможет из года в год снижать на него цены.

29.4.64.

До чего же мы чертовски пропащие парни! Беда в том, что позади у нас ничего нет. Наша ранняя седина не стоит ломаного гроша. Попытки нас сломать остались только попытками, горьким, но не страшным следом. А реальные испытания, через которые мы прошли, не требовали мужества и тем более героизма. Это не были испытания кровью и смертью. Поэтому полномочные представители нашего поколения рассуждают, как питомцы инкубаторов, для которых нет выше трагедии, чем не предусмотренные режимом колебания температуры.

Последние годы я уклоняюсь от любых прямых столкновений. Я не отстаиваю ни слова в своих писаниях. Слова пробиваются сами, и, если они в чем-то преуспели, это их заслуга. Компромиссы стали нашим бытом. И мы же, такие, как я, или худшие, чем я, мним себя почти героями времени - конечно, не героями вообще, а героями ситуации, - во всяком случае, порядочными людьми. Надо, однако, быть глубоким, неисправимым созерцателем, чтобы удовлетворяться этой порядочностью и не завидовать людям более тяжкой и кровавой судьбы, которым выпало действовать и страдать в действительности, на самом деле, а не в воображении. Возможно, я гиблый дурак, но я не могу спокойно слышать о Варшавском восстании, о его участниках, о прошедших концлагеря. Герой повести Е. Ставинского <"В погоне за Адамом">, при всей его недоговоренности, подавляет мен не особенностями мышления, а грузом прошлого, значительностью этого прошлого, перед которым наше фрондерство - школьная неудовлетворенность,

непоследовательная, с верой в хороших учителей, век которых непременно наступит.

Участие в войне против фашизма не всегда, редко было связано с тяжелым решением каких-либо морально-политических проблем. В Варшавском восстании, в Армии Крайовой проблемы нравственно-политического характера занимают важнейшее место. Их решение определяло судьбу людей на долгие годы. Рядом с такими людьми наше поколение кажется мне поколением школяров, послушных "непослушных" мальчиков. Многие имеют позади пять лет войны, бездну орденов и отличий, но героизм военных служак, фронтового братства - извечен и пустозвонен при всей его кровавости. Он не трагичен перед лицом мировой истории, не трагичен, потому что не чреват будущим, потому что соответствует уставу.

22.5.64.

<...> Мне надо бы писать мою "книгу", как я называю про себя работу о Воронском[17]. Но я никак не нахожу нужного тона. Написаны уже четыре куска, но они разностильны и содержат в себе только подступы, рассуждения. Мне недавно захотелось написать не последовательную эволюцию взглядов этого человека, а очень прихотливое сочинение, где были бы смешаны история, наука и лирика. Но вот я не пишу. <...>

10.11.64.

Я сказал сегодня Е., что нужно менять не правительства, а отношение к человеку.

Происходят не изменения, а переименование - или пересаживание музыкантов.

Мы крутимся как белки в колесе.

Но дрессировщики убеждают нас, что в колесе могут крутиться и тигры.

Мы не можем "энегрично фукцировать".

Или это старение, или умирание, но я что-то вспомнил старосветских помещиков. На такой быт плюс современный треп о переименованиях и пересадках согласилось бы немало публики.

Щедрин у Туркова[18] напоминает еще раз, что Россия неисправима. Технический прогресс, образовательный прогресс далеко не совпадают с прогрессом общественных отношений. Щедринская Росси продолжается, "слова, слова, слова" - это бедствие, безобидное по внешности и страшное. Повторю старое: инфляция слов. И не выкарабкаешься. Затяжной кризис.

21.12.64.

Будто мчусь с горы, — все быстрее и быстрее. Время жалеет меня только вечером, когда я дома. А утром все начинается сначала. И куда несет меня, и где та стена, о которую суждено разбиться? Говорят про новый политический климат. Я не верю этим разговорам, странное впечатление производят люди, с одинаковым усердием молившиеся четырем или пяти богам за свою жизнь. После такой гибкости убеждений, после такого примера приспособляемости с уважением думаешь о каком-нибудь монархическом или религиозном ретроградстве или фанатизме. Поневоле думаешь, а есть ли у таких приноровившихся людей что-нибудь неизменное, какая-нибудь постоянная величина — или это только физиологические отправления, во имя которых и свершается великая диалектика великого приживальства. Неужели так было всегда — во все эпохи, и всегда мир сохранял свою нечистоплотность, и всегда партия сильных была самой многочисленной и самой растущей? Горе оппозиционерам — им никогда не бывать в большинстве — они всегда гонимы, их всегда мало, потому что принадлежность к ним — в России — никогда не сулила добра, злата и почестей.

Замятин был прав, когда говорил, что нет чести принадлежать к партии правящей, единственной — правящей. Такая принадлежность сулит льготы, а не тяготы, вознесение, а не изгнание. На свет яркой лампы всегда слетается мошкара и комарье. Это дурной образ, не к месту, хотя есть и в нем своя правда, потому что мошкары и в самом деле гибнет несметное воинство. И в правящем рое есть своя иерархия.

Наверное, Розанов и обо мне мог бы сказать: дайте ему в управление департамент, и он перестанет скулить.

Что толку, если я скажу: неправда. Кто проверит мою правоту и как? Мы жалеем ржавеющие, бездействующие механизмы и машины. Но кто сосчитал КПД современного человека? Самую высокую и честную правду о физиках я воспринимаю как сказку. Потому что физиков, даже если все они чувствуют себя хозяевами департамента, — ничтожно мало. Я думаю о тех, кто всегда шел на удобрения, — вот где большинство, и КПД их ничтожен.

24.7.65. <Санаторий под Рыбинском.>

Даже не верится, что так можно жить. На солнечной поляне в лесу под синим небом витает сама беззаботность, сама бесцельность. Лежим в шезлонгах, вытянув бледные ноги, отученные от солнца. Мы подчинены только санаторному режиму и погоде. Остальное — за пределами окружности, очерченной вокруг нас березами и соснами. Босым ногам хорошо в мягкой траве: ни склянки, ни камешка, ни шишки даже, и голове хорошо

в покойной тишине и тепле солнца. Стрекоза, которой я не чувствую вовсе, приземлилась на мое плечо, страницы книги слепят глаза. И не звенят будильники, не гудят гудки, не мешают жить телефоны — почти рай — рай местного значения, как этот санаторий, — но какой искусственный этот рай! Мы зарабатывали его целый год — разве это не страшно?

Боже, как относительны все ценности мира сего! Для многих такие санатории как место в общем вагоне, а вот для тихой женщины, бледной и худенькой работницы Маруси, которая сидела за нашим столом и так неохотно уезжала, это был рай, неслыханный салон-вагон на одну персону с личным поваром и киноустановкой.

26.7.65.

В 1909 году были “Вехи”, двенадцатью годами позже — “Смена вех”. Написать бы нескольким собратьям “Новые вехи” — вот было бы неплохо. Сижу я в лесу, читаю рассуждения Гершензона о творческом самосознании и думаю: вот чудеса — наверное, во всей России один чудак перечитывает “Вехи” среди сосен, травы, тишины, и мог ли представить себе это Гершензон или Бердяев, что эстафета все-таки продолжается, духовные связи не рвутся, а все длятся и длятся. И пусть я не единомышленник их, но критицизм “Вех” я принимаю охотно, потому что есть в нем не умершая до сих пор правда, но столь же определенно мне чужд их выход из тупика. Может быть, это потому, что нет во мне почтения к религии и нет глубокого ее понимания, которое одно позволяло бы глубоко отрицать, не принимать ее.

Может, я самоуверенно заблуждаюсь, что я один в этот день листаю “Вехи”: мало ли на свете ученых мужей, обличающих период реакции 1907 — 1911 годов! — но что-то заставило меня подумать именно так: ведь длится, живет духовная связь, тянутся невидимые провода духовной общности русской интеллигенции, и в этот июльский день эти провода проходили и через меня.

14.12.65.

Наша критика — мне хотелось бы написать “часть нашей критики”, но я не уверен, что существует какая-либо другая часть, — наша критика как-то очень настойчиво и притом непринужденно, естественно игнорирует трагедию отдельного человека, исторически и физически обусловленную. <…>

Иные бьют Достоевскому поклоны при всяком удобном поводе и не понимают, что он достал до дна, как самый смелый пловец. Никто не хочет из нынешних — разве что Солженицын — попытаться достать до дна. Это как-то не принято; мы вроде бы

выше этого. Мы стоим на твердом незыблемом берегу давно постигнутой истины.

Выработалась привычка к словам “класс”, “пролетариат”, “трудовой народ”, “трудящиеся всей страны”. Даже новомирцы не гнушаются продемонстрировать преданность свою абстракциям: “принцип коммунистической партийности художественного творчества” есть “тот новый эстетический принцип класса, призванного изменить лицо старого мира, которым этот класс практически утверждает себя в искусстве”...

Это нечто мистическое, непостижимое в своей произвольности. Через кого выражает себя класс, каким образом “утверждает себя” — посредством всеобщей подачи голосов?

Вот на эту-то наивность можно великолепно ответить, но весь ответ этот будет игрой слов, издевательством над живой жизнью.

Всякие теоретики (историки, критики) жизнь упорядочивают, причесывают, учат манерам, переодевают, иначе ее не введешь как деревенскую девушку в высокий свет.

Даже поэты призывают: “Вы сумеете сбалансировать минутный сбой и поступь века” (И. Сельвинский). Об этой самой “поступи века” и твердит в большинстве своем наша литература.

В грохоте этой поступи “шум”, производимый одним человеком, неслышен.

Иванов Карамазовых в нашей литературе и жизни вроде бы и нет. Искания русского духа иссякли, — если судить по печатному слову. Смерти миллионов называют “минутным сбоем”. Гибель цвета нации объясняют “печальной необходимостью”, с какой гибнут пограничные части.

Какая бездна философствования там, где кричать надо от горя и страха!

И кричать-то теперь — не кричат.

“О, по моему, по жалкому, земному эвклидову уму моему, я знаю ли то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается, — но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться”! (Иван Карамазов).

20.12.65.

Какие-то чудаки выдвинули Вознесенского на Ленинскую премию. Говорили с Мишей П. об этом. Он хочет писать нечто для газеты <...> Записываю об этом потому, что Миша сказал, что о Вознесенском надо бы написать критический роман. Я ему тут же говорю: а в “критическом романе” есть резон. Почему бы не быть критическому роману? Критика имеет дело с отражением жизни.

Кинорежиссеры и режиссеры театра — тоже, но при этом они чувствуют себя достаточно свободно и порою впадают в произвол. Критику творить насилие не стоит. Но почему бы ему не быть свободнее в обращении с материалом, почему бы ему не возводить свое здание по своим законам? У меня, скажем, свое отношение к жизни, определенное знание ее определенных сторон. Соединенные с материалом каких-то литературных вещей, эти знания и отношения позволяют воздвигнуть необходимое тебе сооружение. <…>

8.1.67.

Опубликованные сегодня тезисы Цека о 50-летии Октября удручающи. Впечатление такое, что мы живем в государстве ангелов, воздвигнутом ангельскими средствами. Прошлое написано как икона, настоящее как икона, будущее — как ослепительный лик земного рая. Не понимаю. Умные люди, что-либо знающие о марксизме Маркса и Энгельса, так писать и думать не могут. Это как бы религиозная система, Ленин выступает божеством. Говорить об этом уже банально. Бердяев все это предвидел и понял давно. И каким языком написаны эти тезисы! Русский ли это язык? Когда я читаю, у меня сохнет в горле. Это безудержная абстрактность — это страшный отлет от земли, там трудно дышать.

21.1.67.

Вот уж В. В. Розанов был “сам собой”, и настроение, по-видимому, им правило. Но хорошо ли это? Настроение (разорвать кольцо уединения) искренне, достоверно, но важно, какова природа человека (этого). За “восприятием” стоит что-то глубокое, почти неопределимое. Ведь может Розанов совершенно искренне подивиться и легонько возмутиться тому, что вот помнят поэтов, а полководцев — нет. (И слава Богу, что не помнят!) Нужна “великая, прекрасная и полезная жизнь!” — Бессодержательное краснобайство.

Насчет вязанья чулка жизни он вроде бы и прав, но человек-то так вязать не может, шея, спина и глаза устанут. Ему надо иногда распрямляться и смотреть в небо. И ничего не поделаешь с этим, и ничего не переиначишь.

“Грибная лавка в чистый понедельник равняется лучшей странице Ключевского” (В. В. Розанов).

А ведь это льстит Ключевскому.

15.2.67.

Алексей Иванович Никитин[19] явился сегодня откуда-то, из

странствий. Рассказывал, что собирает материалы к книге о Волжской флотилии (1918, Раскольников, Рейснер). Говорит, что встретил 70 свидетелей и опросил. И так ругал Рейснер (наркоманка, истеричка, был якобы специальный пароход для ее мамы — плавучий дом отдыха в боевой флотилии). И Раскольникову досталось: делал карьеру, посылая Ленину телеграммы о победах. Правда — не правда, не столь важно. Истеричка, наркоманка — и это еще не страшно. Но поневоле начинаешь думать о легендах и мифах. О том, что ни одно имя не должно произноситься с почтением, восторгом, пока ты не уверен, что на то есть основания. Вообще восторги надо умерять, потому что мифы — не прошлое, мифы окружают нас, подстерегают за углом. Такие приятные и красивые мифы. Сирены, от них надо затыкать уши.

“Осторожно, человечество!” — названа статья М. Лифшица в “Лит. газете”. Там есть одно место, которое не согласуется с ее названием и со всей моей внутренней убежденностью. Вот оно: “Если преступления совершаются во имя истины, добра и красоты, то перед нами глубокое противоречие и есть еще надежда на исправление. Если же они совершаются во имя системы взглядов, которая проповедует “дерзкое неразумие”, т. е. утонченный культ хамства, то здесь никакого противоречия нет, это закономерно”.

И все-таки преступление есть преступление, а потом уже глубокое противоречие; сначала — наказание, а затем — надежда на исправление. В этой М. Лифшицкой философии исчисление тоже ведется на миллионы. Для убиваемого человека даже обиднее, что его уничтожают ради какой-то надчеловеческой красоты, какого-то добра и проч. Это злодейство и ничего более.

21.2.67.

У Кобо Абэ человека неожиданно обступает песок. У Кафки (“Горящий кустарник”) человек попадает в “непроходимый кустарник” (“Будто кустарник внезапно разросся вокруг меня”, “Мне уже не выбраться отсюда, я погиб!”). Песок, кустарник, какая-нибудь трясина и т. п. — все одно. Это стихия чуждого, античеловеческого. Как вата, обступающая, облегающая, душащая в бреду болезни.

<Без даты.>

Очень важно, с какой точки зрения смотреть на мир.

Можно смотреть из окна комфортабельного кабинета в столице.

Можно смотреть из рабочей квартиры в рабочем районе в той

же столице.

Можно смотреть из комнаты служащего в областном городе.

Или из убогого жилья уборщицы в этом городе.

Из крестьянского дома в среднерусской деревне, где на заработки не жалуются.

А можно смотреть из другого деревенского дома, где живут трудно, хотя без работы не скучают.

Можно смотреть из низких окон районного городка или села за тысячи верст от столицы.

И еще можно смотреть на мир тысячами разных способов.

Зачем же монополизировать право на истинное видение и понимание мира за обеспеченными, благополучными и сытыми глазами, не умеющими или разучившимися видеть мир еще тысячью других способов, а значит, не способными сострадать и понимать.

Где же истинная точка зрения? Приводить же точки зрения к одному знаменателю еще никому не удавалось. Для такой цели всех нас нужно было бы переоборудовать в автоматы.

1.3.67.

Иногда пропадают силы. И все литературные упражнения кажутся чепухой. И проступает такая тщета во всем: и в службе, и в критических статьях, которые читаю, и в жажде моей и многих — всяких реформ и перемен. Господи, так ли был глуп Обломов? Не благо ли обломовщина в России?

Правители (редакторы, секретари и проч.) делают вид, что ничего не понимают. Не понимают скрытого (не особенно тщательно) оппозиционного смысла статей М. Лифшица, намеков, скажем, Гусева в статье об Евтушенко (“Лит. газета”, 1.3.67). Кстати, сам факт обнародования и “незамечания” как-то обезвреживает эти сочинения. Тогда-то и приходит мысль о тщете.

3.3.67.

<…> Дни так поспешны, только кофе раздвигает их, что-то оставляет для души и ума, иначе всепобеждающий сон, он не церемонится, и так славно поддаваться ему и оправдывать себя усталостью и всякими подвертывающимися причинами. А нельзя, нельзя.

Надо встать на ноги, не прислоняться к заборам, пора уже, пора, лишь бы успеть.

Или обида во мне на Виноградова, что не оценил, как бы взглядом скользнул; что у Лакшина в глазах ничего не разглядел, кроме равнодушия, — не поток ли писак течет по коридорам? —

и иронии? Единственное, что оправдывает меня, — сама рукопись о Башмачкине[20] — в ней “новомирское” преодолено, уже там не прислоняюсь к заборам.

Крестьянская рукопись должна окончательно утвердить меня в этом — надо писать наперекор идейному правописанию, всему прогрессизму[21].

21.3.67.

Они хотели бы сделать из меня “своего”, чиновника, мною восполнить пробел в своем образовании и неумении быть человечными. Но мне уже поздно жертвовать собой, даже сознавая, что это будет не напрасно: кому-то я помогу, в ком-то восстановлю веру в справедливость власти. Но главное все-таки было в другом, в том, что я стал бы “их” человеком, а это невозможно, я изолгался бы, я бы исфальшивился, истеатралился. Помилуй Бог, и так ложью выстланы полы в наших коридорах власти, в коридорах ее вспомогательных служб[22].

— Поставим на эту темную лошадку, не хватит ли прибедняться?

На темную лошадку — на этот год? Помилуй Бог (как теперь повторяю излюбленно), сколько в нас оптимизма!

2.4.67.

Все читаю А. Григорьева, все надеюсь найти (в книгах!) хоть какой-то выход, решение. Так горько, что ничего нельзя поделать, ничего изменить. Как ни шевелись, ничего в мире не всколыхнется.

“Новый мир” надо преодолевать, расширяя площадь критики, уходя от его ортодоксии.

— Ну-ну, уходи, никто и не заметит.

13.4.67.

Переделываю статейку для “ЛГ”[23]. Мучительное занятие, потому что не смягчать надо, а усугублять. Да и бесполезно, потому что разве угодишь тем, кого ненавидишь. Хвалить надо, хвалить. Вообще “да” больше принято и безопасно в мире, чем “нет”.

7.9.67.

До чего омерзела всепроникающая фальшь — не спрячешься, не укроешься одеялом, — горькое время. Нас опять приучают к Сталину, да нас теперь не приучишь — зато других сколько угодно.

Был бы тот свет, где воздавали бы должное <...>. На земле

избыток преступлений и малая толика возмездия. <…>

Профессиональный революционер не служил, то есть не работал каждодневно в определенном направлении (как хотел Гоголь). Он не имел навыков организатора, не знал ни одной из отраслей хозяйства, не знал административного ремесла. Он не имел привычки созидать: учить детей, строить заводы, изобретать машины. Россия строилась помимо их. В один прекрасный день они сказали, что все было не так, и стали делать то, что никогда в жизни не делали и не умели делать. У них был огромный опыт разрушения и не было опыта созидания. Никто не доверит строительства избы человеку, не бравшему в руки плотницкий топор. Но государству миллионы людей переходят из рук в руки. Оказывается, это проще, чем строить избу. Эта деятельность мнимая, словесная, это “театр”. Профессиональные революционеры пришли к театру. Никто из них не признал своей несостоятельности.

Ю. Карякин, “Правда посюстороннего мира. (К столетию романа Ф. Достоевского “Преступление и наказание”” (“Вопросы философии”, 1967, № 9).

Все хорошо и правда, но Бердяева сравнивает с Достоевским, забывая о том опыте, который знал Бердяев и которого, к счастью, не знал Достоевский. И выдержал ли бы он его (“отвращение к жизни” и т. д.)?

М<аркс> и Эн<гельс> “провозгласили”, и следуют ссылки на первый том. Нам доказывают, что М. и Э. ни в чем не повинны, что они прекрасные мыслители.

Но человечество знает реальный марксизм, уже 50 лет воплощаемый огнем и мечом. Знают дело, а не слово. Откуда же должна возникать любовь к слову? Тяга к изучению и проч.? А статья отличная. Только дураки могут не понять ее направления. А дураков таких мало, сыскной нюх — у всех, так в чем же тогда дело?

24.10.67.

Почему-то в современной драматургии нет непосредственности, естественности, столь заметной в лучших произведениях прозы и поэзии. Постоянно чувствуешь сделанность, ощущаешь расчет, умствование. Постоянно различаешь каркас строения, остов. Или такова природа драмы? Но это неправда, это не касается Чехова, Островского (в лучших вещах).

В литературе всегда часть — реакция (на то-то и что-то), часть — собственное открытие. В каждой отдельной вещи — то же сочетание. Есть эпохи реакции (не мракобесия), эпохи, не

знающие “своего”.

2.1.68.

Насчет пьес я что-то пока не пишу, опять подступило это странное состояние души, когда ни за что не можешь взяться и нет сил <…>[24] Я-то, кажется, знаю, почему так нервничаю: это ускользает время, оно просыпается меж пальцев, и это непоправимо, и надо бы спешить и работать, а я все чаще считаю, оправдывая себя: одиннадцать с половиной часов я живу для других, встаю, спешу, сижу на службе, и что бы ни делал, жизнь зачеркивается, все меньше светлых клеточек впереди, как в игре “морской бой”: и четырехклеточный потоплен, и все трехклеточные, и настал черед двуклеточных, и все вокруг черно от разрывов, и рождается совсем новое умонастроение, когда с очевидностью понимаешь, как мало ты можешь, и как трудно выявить даже это малое, и как относительны все высокие понятия — гуманизм, братство, патриотизм, и что есть одно только главное, к чему можно с достоинством стремиться: духовная свобода и ее ощущение, рождающее новые силы.

Из Белого (“Начало века”): “Он внимал философии жизни, а не испарениям схем” (к веяниям, о которых я писал).

18.1.68.

Современная театральная драма — лишь малое отражение современной живой драмы, она не потрясает. <…> “Полезно, прогрессивно”, — говорим мы, и идем завтра на службу, и повторяем: “прогрессивно, полезно”, и скоро веяние это проходит <…>

Чехову был неприятен Львов, очень честный человек, без конца доказывающий свою честность. Он старался внушить зрителю антипатию к нему — исподволь, незаметно, это не было отрицанием отрицателя, это было преодоление бесплодности прямолинейного подхода к жизни, преодоление попытки “разграфить” жизнь. Смерть Иванова не обрекала нас на отчаяние, оставалось воспитанное, сохраненное писателем — в нас, это чувство не удовлетворялось крайними точками зрения, оно искало нового взгляда на жизнь, более емкого и глубокого, чем процветающие.

17.3.68.

Сколько прошло всего — всякого, и хочется вспомнить и писать, и лень, а может быть, и не лень: буду писать сейчас, и получится хроника, сухая, безжизненная, сторонняя. Обступает другое, сегодняшнее: перемены в Чехословакии, студенческие

демонстрации в Польше, и жаль, что это недоступно нам, у нас немыслимое, хотя и более необходимое, чем там.

Сесть бы к столу, думаешь, и написать бы что-нибудь этакое — смелое и, главное, — справедливое, такое, что неопровержимо.

И. Золотусский прислал свою книжку “Фауст и физики”. Очень жалею, что не повидал его в Москве. Надо было бы всех повидать, хотя робость моя вряд ли сослужила мне добрую службу при встрече.

Сейчас у меня пауза, хотя надо переделывать статью для “Н. мира”. Пожалуй, будь потверже уверенность, переделал бы тотчас, а так — все медлю, и думаю, что бы этакое начать новое — длинное, для души, для воли. Для стола. Пусть даже так.

Верить в эволюцию, в ее мудрость и единственную разумность — надоедает. Рассудок приемлет только ее, а живое чувство противится, желает перемен сейчас, а не после нас. Иногда трудно не быть революционером.

1.4.68.

Вот ведь как — тревожно стало и горько и так трудно поверить, что может вернуться старое, что всякий розыск и дознание вот-вот войдут в силу. Уже сказано одним маньяком, что между моими сочинениями (в газете) и польскими событиями есть связь. Пока я не воспринимаю это серьезно.

28-го Леонид Леонов произнес прекрасную речь, ее испугались. Речь не о Горьком — о назначении поэта. Дай Бог ему здоровья — старый он уже человек, и жалею я его, хотя жалость ему не нужна. Он гордый и мудрый человек. И искренний.

21.4.68.

Происходит “обострение идеологической борьбы”, и необходимо “разоблачение происков”. Незначительная переделка старой формулы “обострения классовой борьбы”.

Меня уже разоблачали, но первая попытка связать мои писания с польскими событиями окончилась неудачно для организаторов сего благородного дела[25].

5.5.68.

Как стало известно (очень деликатная формула, между прочим), перед маем поздно ночью в квартиру Виктора Малышева[26] явились сотрудники КГБ. Увезли его на машине в свое учреждение, предъявили ему какие-то бумаги для подтверждения. Речь шла о некоем А. К.[27], которого знаю и я, и Виктор, и многие другие. Ничего страшного он никогда собой не представлял — особенно для советской власти. Очевидно, что он

в некотором роде аморален. Но в наши дни аморальность порой удачно сочетается даже с членством в компартии. Да и суть не в этом. Беда в этом ночном налете, исполненном в традициях незабвенного 37-го года. Отвратительно всякое возрождение, даже приблизительное, этих традиций! Подслушивание, подглядывание, доносительство — это первейшие признаки слабости и глубокого, не искорененного за полвека недоверия к народу, именем которого клянемся на каждом шагу.

И рядом пример Чехословакии, где наказывают виновных в репрессиях, объявляют преступной систему микрофонов, отменяют цензуру. Некоторым образом это унижает русскую нацию, которая так послушна и несамостоятельна. Жаль, что проходит жизнь — наша жизнь, и другой не будет — и эту могут искромсать и отнять.

Какое счастье читать Толстого! А читаю я “Анну Каренину”, и понимаю, как это необыкновенно, гениально, есть страницы, от которых хочется плакать. Не потому, что они жалостны, а просто оттого, что они хороши.

17.7.68.

Написать бы про “Три сестры”: “четыре беспощадных акта”. Место “высоких слов” в ряду других — обычных. Они (“высокие”) ввели в заблуждение, их надо произносить всерьез, т. е. с болью и верой — раз-другой, остальное — декламация. Обилие этих слов позволяет играть комедию. Драма потому, что все обречены: их движения, перемещения, переезды — попытки вырваться из-под ее гнета, но верит ли кто в их серьезность, действенность? Эта пьеса (вслед за С. Булгаковым) о слабости человека: о традиции слова и традиции безделья.

Драма слов (“Три сестры”). Это надо написать беспощадно: к другим и к себе.

Из “Дуэли”: “для нашего брата — неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах” (Лаевский). К характеристике героев “Трех сестер”.

Идеал Лаевского и Надежды Федоровны вначале тот же, что у Ирины: “На просторе возьмем себе клок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле” и проч.

И я уже здесь одиннадцать лет, и упрямо верю, что моя игра не проиграна. По крайней мере сыграна не напрасно.

А на самом деле, может быть, жизнь нельзя так оценивать (напрасно — не напрасно). То есть можно, но это как-то фальшиво. Говоришь и чувствуешь, что врешь, будто есть что-то более важное (не то слово опять), более истинное, более

согласное со смыслом человеческой жизни, с тем, что мы называем смыслом, имея в виду какое-то оправдание наших действий. Не будь “оправдания”, мы бы действовали все равно, но приходили бы минуты и часы пустоты, и один на один с бездной человек иной (не всякий) не выдерживал бы. Так хочется, чтобы жизнь была прожита не напрасно. Лучше сказать, чтобы она была осенена и не подчинена, то есть сопряжена с извечной нравственной силой. Приобщена к ней. Герои “Трех сестер” это чувствуют, но ничего не могут. Их “жизнь заглушила” — внешняя, пошлая, масса ее, хотя противостоять должна формула “согласия с жизнью, проникновения в ее суть и мудрое живое начало”.

11.8.68.

Скучно сочинял Скабичевский — пересказывал, перекладывал, будто для лентяев или дураков, и как глупо пророчил Чехову подзаборную пьяную смерть — стыдно за русскую критику.

Только для того, чтобы дразнить кого-то, можно вспоминать розановские слова о студенте, мучительно вопрошающем: “Что делать?” Хорошо варить варенье, пить чай с вареньем, топить печь, входить в родной дом с мороза, пить водку с приятелями. Хорошо работать, зная, что это нужно и тебе, и другим, что это согласно твоему призванию истинному, тому дару, которым наделен. Но тот старый вопрос сохраняет свою силу, хотя, может быть, он требует ответа только от тех, у кого нет истинного дела. Надеешься, что это не так, что жизнь и на самом деле требует действия от тех, кто способен к нему, потому что абсурдность, глупость порядка оскорбительны для любого живого ума и совести. Тут и за чаем с вареньем будешь толковать все о том же, и спокойного сна потом не будет, а если и случится, то утро ужаснет и еще раз умалит твою человеческую ценность, унизит тебя новыми вестями и новым насилием, и никакой скептицизм не спасет, не облегчит, не рассеет сомнений. На этот вопрос следует отвечать.

<…> Чехов — это тот случай, когда человек все-таки осмеливается остаться один на один с правдой человеческой жизни (с ее извечным неразрешимым трагизмом, с сегодняшней социальной и нравственной несостоятельностью).

21.8.68.

Исторический день. Войска введены в Чехословакию. Нам стыдно, но мы беспомощны. Таких, как мы, никто не спрашивает. Эти люди знают все. Мы просто подчиненные. Над чехом смеются

и издеваются все, кому не лень, — первейшие обыватели, первейшие рабы, к коммунизму отношения никогда не имевшие. Дождались.

24.8.68.

Печальные дни. Мы возвращаемся к сталинским временам. То, что произошло в Чехословакии, отбрасывает нас к тридцать девятому году. Эти дни указывают всему (в том числе искусству) истинную цену. И она ничтожна.

26.8.68.

<…> Про Чехословакию лучше не писать — тут слова плохие помощники. Тут решается и наша судьба.

1968. <Без даты.>

Идея демократии — это, как ни странно на первый взгляд, — идея совместного действия, а не вражды. Наша интеллигенция ничего не добьется, т. к. ее преследует и мучает мысль о размежевании, точнее — почти мистическая тяга к расколу, к выяснению отношений, к закреплению исключительности одной из групп.

Явление Солженицына оттенило ничтожность массовой литературы, ее стыдность.

События 21 августа оттенили ничтожность нашей радикальной общественной мысли, ее трусость. Большего унижения испытать невозможно. Это как насилие над женщиной, совершенное публично при связанном муже. На площади.

Миллион терзаний и миллион компромиссов.

13.9.68.

Перед лицом неизвестности к кому взывать, как не к судьбе, как не к Богу — надежде на светлую судьбу. И в глубине души, втайне или в открытую, вслух, не скрываясь и не боясь публичности, все равно мы молимся, так или этак, потому что опоры у человека нет, кроме веры.

<…> Боже, как жалко мне себя, семилетнего, давнего, невозвратимого!

У человека одно спасение: не задумываться, не останавливаться, не давать воли воображению. Иначе не то чтобы бездна открывается — а такая полнота живого и, казалось бы, бессмертного переживания, что абсурдом кажется его невозвратность и даже напрасность. И так горько становится, и плач подступает, и ничего не поделаешь, и надо идти дальше, вбирая в душу все сущее, все переживаемое, и все-то она выдерживает, все вмещает — бездонная, горькая душа наша.

9.12.68.

Чехословацкий эксперимент подходит к концу. Развеяна еще одна иллюзия. И никаких надежд. Гиппопотамы торжествуют. Носороги.

<…> Самое ужасное и постыдное для нас и дела, затеянного в октябре семнадцатого, заключается в том, что советская официальная идеология присвоила себе право на провозглашение абсолютной истины. Всех судим, всех рядим, всех поправляем, все итожим, все приводим к единому знаменателю, и в итоге — те, все, бесконечно неправы, мы — бесконечно справедливы и правы. Водительство миром. Несколько человек ведут мир? Кто же они? <…>

14.12.68.

<…> Гуманизм — это вера в свет и святость, заключенные во всяком человеке. И если не свет явлен нам, а темь и тьма-тьмущая, то виним весь мир и весь род людской, именуемые “средой”; если не святость сквозит во взоре, а пошлость и грязь, то верим, что покаяние уже стучится в его сердце и, покаявшись, он будет достоин милости, доброты и восхищения…

На самом деле и гуманизм именует хамство хамством и быдло быдлом, потому что в миг сущий они таковы, а оправдания — это потом…

Сущий миг таков потому как раз, что определен торжествующим, невежественным, самодовольным и бесстыдным хамством, плюющим на всякого человека с чертами благородства,

спокойствия и чистоты.

“Ему важно, чтоб был прогресс, а куда вы прогрессируете, к звездам или к дьяволу, ему абсолютно безразлично” (Г. Честертон, “Бесславное крушение одной бесславной депутации”).

17.12.68.

Ничего не остается, кроме слов... Я не вспоминаю ни музыкой, ни красками, прошлое не звучит, не сверкает, в лучшем случае оно пахнет — по крайней мере так для меня — не музыканта, не художника. Но все сохраняет слово — иногда, кажется, я страдаю из-за него больше, чем из-за нынешнего факта. Слова говорят, что было что-то и до сегодняшнего дня, что там, позади, не темнота, что жизнь была. И ее жалеешь не потому, что она была лучше, — неправда; жалеешь, что она прошла и невосстановима. Для нас она одна, и так горько, что ничего не задержишь, и мгновенья мгновенны. Только слова, сказанные по-особому — случайно по-особому, т. е. как дорогие слова, — восстанавливают прошлое, чтобы болело, сжималось сердце оттого, что это все-таки было, это с нами, и, пока мы живы, это с нами, и уйдет с нами — это как горят свечи — и тепло, и светло, и не погасить их.

Длинный ряд свечей. Счастье и мир души — ее протяженность. Я в зеркале — это ее отрезок, миг. И вглядываться не надо.

Проклятое мужество. Благословенная нежность. И жалость друг к другу — без нее мужество — качество тупых голов и одиноких людей.

Устроить бы революцию, Господи. Так тошно быть мужественным рабом.

20.1.69.

Чешский студент сжег себя[28]. Вчера он умер. Наше радио и газеты молчат. Говорят о чем угодно, только не о Чехословакии. Стыдно жить и делать то, что мы делаем. Наша участь унизительна. Все, что мы пишем, бессмысленно: бездарное, трусливое актерство. И лакейство. И проституция.

“Как чушка — своего порося” (Блок).

Ах, это актерство, актерство — повальное, бездарное — и в жестах, и в голосе, и во взгляде, — на театр их, на театр!

Пересаживаются из кресла в кресло и принимают его (кресла) форму — тотчас, немедленно, не розовея. Они всегда соответствуют, раз надо соответствовать. И руководят исходя из того, что кресло, пост, чин обязали их быть умнее и дальновиднее

прочих. И правят, жуя абсолютную истину и шикарно сплевывая на нас.

Я говорю, что будут трубить трубы, я говорил, вот вернемся за подснежниками.

Ничего не будет. Актеры и фальшивомонетчики учат нас жить. И спасения нет.

Каракозов стрелял в 66-м. Через 102 года стреляли у Боровицких ворот. Неужели мы на дне шестидесятых годов и все только начинается, брезжит заря?

30.1.69.

Иногда я прихожу в отчаяние. Что же мне делать? Мысли о карьере отвратительны, они занимают так недолго, потому что новый чин — это старые занятия в новом ракурсе, а смысл тот же, горечь та же. Почему бы правительству не платить некоторым интеллигентам за то, что они ничего не делают, раз, по мнению правительства, делая, они вредят? Этот опыт уже описан в романе Валё “Гибель 31 отдела” (со шведского).

То, что требует газета (люди, говорящие от ее имени и имени обкома), это тихое насилие: разжимают кулак, и пальцы уже не могут сопротивляться. Стыдно, а выбора нет, хотя последнее — неправда.

Дочитываю “Прекрасный новый мир” О. Хаксли (“Интернац. литература”, 1935, № 8).

20.3.69.

Никакой тебе зари. Никакой тебе надежды <...>.

А на границе с Китаем пальба. Остров 1,5 Ч 0,5 км, а крови уже избыток[29].

Удивляемся “пути Мао к власти”, а чего удивительного? Кто только с кого брал пример — не ясно.

Мальчики мои. Отрада наша, надежда, счастье. Когда болеют, все в них, ничего не хочу знать. Вот и рассуждай, что самое главное для человека. Те, кого он любит. Боже, что будет с нами?

Красные флажки — как на охоте.

15.4.69.

Очевидность.

Не воспринимается, так как нормой признано движение идей-приказов, идей-команд, идей-внушений, идей-поучений — сверху вниз.

Как опекуны при малолетнем или умственно отсталом.

Отчуждение твоего права думать, решать, действовать.

Остается слушать и подчиняться. В конце концов, это даже легче, чем что бы то ни было другое.

Ум, честь и совесть отчуждены простым лозунгом. Следует, что раз они уже воплощены, то к чему какое-то индивидуально исполненное воплощение. От него следует освобождать, тем более не всегда в нем испытывают потребность.

20.4.69.

Правители, которых можно желать, должны были бы согласовывать свои нравственные, этические принципы (рекомендуемые народу) с принципами и идеалами русской классической литературы, потому что в ней более, чем в чем-то ином, выразилась национальная философия, национальный идеал или, лучше сказать, — истина русской жизни. Иначе образуется (образовался) разрыв между тем и другим и первое не выдерживает сопоставления, которое происходит постоянно, незаметно и неотвратимо. Избежать его можно, лишь запретив русскую классическую литературу, что невозможно.

Этот юноша или провокатор, или действительно думающий и мучающийся оттого человек, в чем-то напоминающий мне меня самого образца 53 — 56 годов. Это знакомство для меня опасно, т. к. становится странным, почему они (все такие) тянутся ко мне. Но что поделаешь. Отталкивать таких ребят мне не позволяет совесть, или как угодно это чувство называй. Но я говорю им — двум за последнее время, — надо учиться, заниматься, работать и Боже упаси от объединений, сходок, сообществ и прочего. Этак в духе пушкинской речи Достоевского.

Боже, как он атаковал меня вопросами! Слишком активно, как неофит. <…>

Возрастающая бессодержательность известных слов. Слова-заклинания. (Откупились за неучастие в воскреснике 12 апреля 1969 года. Не можешь — плати дневной выручкой — зарплатой. Такой налог. Такой почин. Добровольный. Вот выдумщики! Вот мастера!)

5.5.69.

Поют песню: “В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей”.

Какие мы беспомощные! Оттого, что не играем в хоккей.

Какие мы податливые! Оттого, что не играем в хоккей.

Значит, спасение нации — в хоккее.

Есть игрушки, которые устроены так, что движутся по кругу. Лошади, послушно “повиливая могучими бедрами”, скачут по

цирковому манежу, музыкально переставляя ноги. Напрасно дети завидуют красоте этих холеных и стройных лошадей. Мы, когда подрастаем, не хуже их, а даже и лучше. Мы легче усваиваем маршрут по самой бровке манежа. <…>

Отталкиваясь от статьи О. Михайлова (“Наш современник”, № 4, 69 г.). Вся эта декламация о патриотизме, корневой системе нации, родословной народа, о духовном подъеме народа в войну — никому, увы, не поможет и никуда нас не передвинет с места, на коем стоим. В декламации о народе всегда упускается, опускается отдельный человек, чья жизнь порою вся выпадает на тот исторический период, который позднее будет признан трагическим недоразумением, искривлением линии, великой эпохой. Но укороченная насильственно жизнь ничего более не означает, кроме самой укороченности. И счет был бы предъявлен, если б это было возможно.

9.5.69.

Печальная повесть Драбкиной о Ленине (“Зимний перевал”, “НМ”, № 10, 68).

<…> От чтения становится тяжелее и тяжелее. И легче только в одном смысле: ты — малая, но частица круга людей, существующих и понимающих, где мы и что с нами… На какой широте, в какой эре, на какой ступени лестницы, под каким номером…

Я чувствую, что отношение ко мне органов госбезопасности переменилось. Заметил я это после рецензии на “Мертвый сезон”. Еще до этого я ответил Хромченко[30] (кажется, ныне капитан), что задавать провокационные вопросы Валерию З.[31] не буду и что насчет времен “культа” говорить и писать следует, потому что это “все было и от этого никуда не уйдешь”. Наверное, запомнили и это.

Во всяком случае, интуиция моя говорит ясно: мы им не по душе. И они могут даже за тобой следить, хотя им должно быть известно, что весь мой “вред” только в том, что я пишу в газете. Но, очевидно, я их не устраиваю.

Важно также, что люди там, которые меня знали, уходят. В частности, не работает больше Епихин[32]. Может, я наивен, но это плохо. <…>

19.5.69.

Обступают мелочи, жизнь в мелочах, они предлагают себя, они выстраиваются — как столбы вдоль дороги, — они мелькают, и мы поглощены ими.

Жанр — бытовая драма, водевиль, лирическая комедия.

Жанр — не трагедия.

Есть хлеб, нянчить детей, спать, получать зарплату, тратить зарплату, получать повышение по службе, получать понижение, радоваться успеху, огорчаться неудаче, влюбляться, разочаровываться, ждать квартиру, платить за квартиру, ходить в гости, пить водку, смотреть футбол, гулять по улице или лесу, ездить в отпуск и командировку, встречать новорожденных и хоронить стариков, мыться в бане и загорать и далее так, и далее так — тысяча вариантов, — и кажется, это и есть главное — жизнь, клейкие листочки, извечное, лишь меняющее внешность, и — минуты сознания, что это длится трагедия, и простирается под ногами земля страха, двоедушия, лжи, и тысяча вариантов содержит тысячу утешений и оправданий, но трагедия остается трагедией, и есть высший суд, высший счет, и потом сосчитают и распашут наши кладбища, потому что пощады не будет.

Не вспомнят, как мы любили, и пили водку, и служили, и славословили, и верили в свою миссию.

Вспомнят, как научились предавать себя и других, как освоили насилие, как поддались дрессировке, как забыли, что человек родится для минут сознания и трагедии.

26.6.69.

Иногда мне кажется, что они ходят вокруг и около. Как у Искандера (“НМ”, № 6): “комплекс государственной неполноценности”.

26.8.69.

Актеры, господа, актеры!

Когда мы работаем молча, это еще на что-то походит. Но когда льются слова, произносятся речи, меня мутит от очевидного актерства. Мне кажется, что все это не всерьез, что это игра, потому что нужно занять как-то время, предназначенное для жизни. Иначе будет скучно.

Какие величественные жесты! Какая в них значительность! А всего-то навсего кувшинное рыло в калашном ряду.

Из меня тоже делают актера. То есть все актерское во мне находит вовне поощрение.

Те актеры серьезны. Их ошикай — тебя поволокут на дознание. Они не прощают, когда им говорят, что они актеры. Они выдают себя за героев. Они настолько талантливы, что играют без грима и в костюмах нашей эпохи.

<…> Михайловский считал “убеждения, выработанные человеком в результате умственных и душевных исканий”, “его духовной святыней, и подчинять их взглядам какого бы то ни

было класса, хотя бы всего народа, по его мнению, значило бы совершать грех против духа, своего рода идолопоклонство” (“Голос минувшего”, 1922, № 1).

Михайловский: “У меня на столе стоит бюст Белинского, который мне очень дорог, вот шкаф с книгами, за которыми я провел много ночей. Если в мою комнату вломится “русская жизнь со всеми ее бытовыми (подробностями) особенностями” и разобьет бюст Белинского и сожжет мои книги — я не покорюсь и людям деревни. Я буду драться, если у меня, разумеется, не будут связаны руки” (“Русское богатство”, 1914, № 1). <…>

29.9.69.

Чехословацкая история завершилась. А пожинать посев еще предстоит. Надо бы плакать, да что толку. Мне жалко тех людей. Они пытались сделать почти невозможное. Остальное время жизни, если ее не укоротят, они будут вспоминать этот год. Ничего зазорного в этом нет. Бездействие — мудро, но действие — свято.

Лицо как маска из папье-маше. За ним пустая кассета. В нее вдвигают нужный диапозитив.

Надо показать новоявленный “аристократизм”, чисто словесное моление на “рабочего и крестьянина”.

Жажда “героя” и — потому борьба с “дегероизацией”.

26.10.69.

Очень печальное настроение. Работа идет туго (статья). Но не потому — печальное.

Лет — 35.

Покорные судьбе и произволу.

Организация “третьей действительности”. Первая действительность пугает. Она дает факты для подтверждения “теории”. То, что не подтверждает, и есть “фактики”.

19.12.69.

<…> Времена такие тяжкие. Стони не стони, да ничего не выстонешь.

Они не хотят видеть и признать очевидность. И потому они строят здание словесно, из слов, словесный коммунизм. Они надеются, что, переименовав, они преобразуют вещи и людские отношения. Слова порождают слова, слова, воспроизводящиеся сами по себе. До людей им (словам) нет дела. Это параллельный

мир, с которым нужно совладать, хотя бы словесно. Не подчиняешься словам — пеняй на себя.

21.12.69.

“Правда” стыдливо отметила 90-летие со дня рождения Сталина. Даже название статье не дали. Не решились. А все одно — пакость. Ответственность, которую несет этот умерший человек, безмерна и беспрецедентна. Увы, от суда он ушел, хотя заслуживал его более, чем кто-либо из тех, кто стоял перед господином Вышинским в тридцатых годах.

<Январь 1970.>

Не нужно, потому что бесполезно и бессмысленно, определять, что такое провинция. Чтобы знать, что она такое, надо в ней жить. Или бывать часто — по любви, приязни, но не по долгу службы.

Провинция, или всеобщий закон:

в просмотровом зале первый секретарь обкома и пред<седатель> облисполкома с супругами, запершись, без посторонних, без “плебса”, смотрят новые фильмы. После них на столике в холле бутылка коньяка (вестимо, уже пустая) и баночка от икры.

(Рассказ об этом я слышал в дни, когда в городе не хватало мяса, в нашей семье оно бывает раз в семь — десять дней. А какой у икры вид и вкус, я уже забыл. Говорят, что икра полезна детям.)

6.2.70.

<...> Я не понимаю, когда возносят бескомпромиссность и справедливость писателя, который умеет стоять на своем, не принимая в расчет интересы и судьбу близких (т. е. жертвуя ими). См. В. Белов о Яшине (“НМ”, № 12). Какая уж тут может быть справедливость! Не пожалеешь близких — кого же тогда сможешь пожалеть и защитить. Вот почему нет для меня первее крепости, чем дом. Сдал ее — ну, тогда — твой черед. А с домом и в доме — все остальное не так страшно.

14.2.70.

Вчера в “Лит. России” странно так, очень случайно как-то наткнулся на меленько набранное и неприметно заверстанное сообщение о том, что освобождены от обязанностей членов редколлегии “НМ”: Виноградов, Лакшин, Кондратович, И. Сац. Назначены Д. Большов, Косолапов, Рекемчук, О. Смирнов, Овчаренко.

Так узнают обычно о несчастиях. Сразу. То, что произошло и что еще произойдет (отставка Твардовского и др.) — собственно, это одновременное, как бы ни хотели отделить Твардовского от других, — это происшедшее еще трудно оценивается, но на душе скверно, как при встрече с неизбежным. Едет огромное колесо — верхнего края обода не видно — и давит. Для меня, столь трудно устанавливающего и поддерживающего деловые журнальные связи, это вообще как катастрофа. Так мало печататься и теперь не печататься вовсе.

Статью о “маленьком человеке” теперь напишу начисто — для себя.

Жаловаться на обстоятельства, на судьбу, на кого-то, что-то даже здесь, на этой бумаге, трудно, не то — неприятно, противно, или — недостойно. И надо бы — чтобы осталось и было прочитано потом мальчиками моими — чтобы знали, как все складывалось, а вот не могу, рука не поднимается. Будто и так ясно. А может, и так будет ясно на самом деле, потому что скажут же правду о наших днях — рано или поздно, а значит, и о нас, живших тогда — или лучше сказать, — не умеющих жить тогда — неприспособленных, бесталанных для этого приспособления. <...>

Во все времена под любым государственным небом писателю может быть задан строгий вопрос: почему вы предпочли такого героя всем остальным, наличествующим? Неужели нет ничего в нашей жизни — более достойного, более талантливого, более значительного? Изображение, скажем, дворника лицом первостепенным (если он не переодетый принц) всегда покажется нарочитым, смещающим установленный порядок. Дворник потому и дворник, что от природы не хватало ума и таланта. Ведь смог же Михайло Ломоносов... Но логика доказательства может быть и иной, менее ханжеской. И дворника литература вправе писать, но ведь в ту же пору здравствовали и трудились на благо отечества морские офицеры типа Невельского, офицеры декабристского толка, чиновники, честно делающие свое дело... Почему не они?

16.3.70.

Раздражающе бессмысленный недельный визит Н. Д. С тяжким трудом, почти с физическим нежеланием написана статья, которую там, в “Комсомолке”, и не подумают напечатать. Писал же и написал лишь потому, что пожалел.

Добрых новостей давно нет ниоткуда.

6.4.70.

А статью-то напечатали, что принесло мне много одобрительных слов от разных людей[33]. Получается, что и на Н. сердился зря. Не настаивала бы — ничего бы не написал.

Ничего записывать не хочется, хотя вроде бы есть о чем. (Речь С. Викулова и т. п.)

Такие люди, как мы, видимо, не нужны нынешним регулировщикам русской жизни.

Спрос на послушных, на поддакивающих, остальные — опасны.

26.4.70.

Ничего обнадеживающего. Только дом всему противостоит, только там светло и оттого просто и ясно. <…>

В редакции плохо. Я вроде бы как постоянно подозреваемый. Это, конечно, не очень способствует моему сочинительству. Стасик Л. сказал точно о глубоком разочаровании после великих иллюзий пятьдесят шестого.

27.4.70.

Статья о фильме “У озера”, — может быть, одна из лучших моих подобных газетных рецензий[34]. Редактор произвел правку — грубую, бесцеремонную, какую я не знал уже лет пять-шесть. Любопытно, что выправлены места, в которых правящие чиновники чувствуют укор и выпад против себя. Эта критика (правка) со стороны Ивановых Иванов Сергеевичей (см. фильм). Это правка с позиций не коммуниста, а функционера правящей привилегированной группы: классовая, этическая, социальная сущность группы уже не имеет значения. Это просто правящие, а флаги и словарь использованы популярные и привычные большинству.

6.5.70.

В этих идиотских сочинениях (Шевцов, Кочнев, Кочетов) надо бы рассмотреть сначала систему ценностей, защищаемых и рекомендуемых (тип человека, нравственные и политические принципы и т. д.). Затем важно само содержание изображаемой действительности (иерархия, противоречия, настроение и т. д.). И, наконец, система ценностей отвергаемых и развенчиваемых. То есть анализ должен не касаться по возможности мнимой “художественности” вещи. Сочинения эти важны как идеологические документы времени.

25.5.70.

Зачем я ходил к Архипову[35]? Зачем я вступаю в разговоры с

начальниками (нечасто), когда все это на разных языках?

Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь.

Я чаще устаю. Старею? Или обстановка недоверия меня доканывает? Недоверия и гнета. Но можно сказать, что я не заслуживаю доверия (имею в виду то, что я на самом деле думаю). Это неверно: то, что пишу, не приносит вреда и не противоречит моим взглядам. Вред наносится некоторым временщикам, хотя их и немало. Но — временщики.

1.7.70.

<…> Вот жизнь, в коей ни воли, ни денег. Унизительно, но последние полгода особенно как-то приходится задумываться о деньгах — на жизнь. (Наверное, это первое упоминание о деньгах в моих записях.)

Вчера нападки за мою статью “Фильм и жизнь” (30 июня): проповедь религиозной морали и буржуазной педагогики.

18.7.70.

Прошла половина отпуска. Скажем так: сегодня мне намекнули, что Чесноков сотрудничает с ГБ. Это делает понятным, откуда берется его уверенность. У собаки хороший хозяин с крепкой палкой. Писать об этом тошно — рука не хочет, но что поделаешь, если в моей практической жизни все эти грязные подробности имеют значение.

Как и 13 лет назад, передо мной стоит проблема ухода из газеты. Но как и куда? Не ждут же на порогах, раскрыв объятия.

Всякий раз, когда пишу в этой тетради, испытываю странное чувство, хочется писать, пока не начинаю писать. Хочется записывать подробно и хорошо, но не могу. Или душа не хочет быть переведенной, или просто, зная нынешние нравы и нынешнее отношение к закону, я не хочу доверяться бумаге. Хотя понадобится — так используют, зачитают, здесь уже много написано всякого. Вольно им. Вот отчего иногда так желаешь Страшного суда. Где-то должно же быть воздано господам!

<Без даты.>

Чего только не пишут о провинции и провинциализме!

Провинцию ругают за провинциализм, за подражание столичной моде, столичному прогрессу, за отсутствие собственных идей.

Провинциала ругают за неумеренную восторженность, за то, что он суетлив и бестолков у московских прилавков, за его образ жизни, за то, что мыслит не концепциями, а их отголосками.

Обличают провинцию в человеке, а не человека в провинции или из провинции.

Укоряют Москву провинцией, а провинцию — Москвой.

Заявляют, что провинции нет вовсе, и слово это умерло. Но вещи и явления надо как-то называть, и тогда изобретают периферию и периферийщика.

Но в слове “провинциал” есть поэзия. Провинциальный и провиденциальный ходят рука об руку. “Провинциальные страсти” — это фельетон, “провинциальная рампа” — прекрасная газетная рубрика.

Наконец, провинция — это все то, что не Москва. Например, Тбилиси. И это в высшей степени справедливо, если Москва — Рим (третий!), а все остальное тогда — провинция.

О провинции легко рассуждать, труднее в ней жить. Но как сказал один крестьянин в Государственной думе: “кто-то должен жить и в Чухломе”. В той самой Чухломе, которую распротакали на всех публицистических перекрестках. Или в Костроме, хотя иной московский русак способен спутать ее с Кустанаем и Калугой. И жизнь эта столь же серьезна и значительна, как и жизнь тех самых публицистов. Не менее.

Я не вижу смысла в суетном подсчете числа книг, проданных на душу населения в той же Чухломе, или же в установлении цифры, означающей, сколько раз в год чухломич ходит в кино. Именно с этой арифметики начинают доказывать, что с провинцией у нас покончено. К счастью, провинция остается сама собой. Общий аршин тут, кажется, не пригоден.

По Ивану Аксакову, провинция интересна не как противовес столице, а как “охранительная” сила, “охранительный упор”.

Современный критик с сожалением отмечает присущий Бунину некий духовный — провинциализм, активный консерватизм вкусов.

Бедный Бунин!

Человек иного мира Ханс Магнус Энценсбергер пишет: “...я предпочитаю называть эту контрсилу, призванную нас спасти, силой провинциализма. Я понимаю это так: провинциализм означает ощущение дома, родины”.

Как бы там ни было, провинция остается провинцией, а ее консерватизм существеннее ее высмеянного запоздалого “модернизма”. “Консерватизм” — это не Катков и Леонтьев, это, может быть, устойчивость быта, близость почвы, удаленность от ветров и веяний, это вообще тормозная система. Но провинция пестра, наши определения ее ненаучны; передовой и могучий Новосибирск, глядишь, и обидится, если усмотреть в нем “охранительный упор”, но все-таки, может, и есть, правда, и вовсе

не обидный смысл в этом “усмотрении”.

Бог с ней — этой пестротой. Вот она, моя провинция — недальняя, поволжская, тихая, с купеческими рядами — с Красными, Мясными, Мучными, с Молочной горой, с Иваном Сусаниным спиной к городу, лицом к проплывающим туристам, к главной улице России; с памятью об Островском, Писемском, Кустодиеве.

12.10.70.

Странно, неприютно чувствую себя в чужих городах, даже угнетенно.

Лишь однажды мне жилось, ходилось, дышалось легко и славно не дома — в Светлогорске. Правда, я там был не один... Может быть, если все будет хорошо, мы поедем уже все вчетвером куда-нибудь, и опять вернется то светлогорское ощущение жизни.

Пока же здесь (в Горьком, на курсах переподготовки. — *Т. Д.)* я чувствую себя, как в ссылке, подневольным[36]. Впрочем, так оно и есть.

<...> Лекции, кои слушал сегодня, в первый день пребывания тут, меня удручили. Это курс политграмоты, от коего я давно ушел. И потому он меня угнетает. Может быть, потому и город кажется угнетающим... Или дает себя знать моя провинциальность, т. е. привычка к маленькому городу, к своему в нем положению, к домашности быта...

14.10.70.

Было ли у тебя такое чувство, что вот сейчас, сию минуту — жить не хочется? Таким отвратительным покажется мир и обступающие люди, что не хочется, и все тут. <...> и притом не в те минуты, когда тебя и впрямь мучают ненавистью, злобой, прямыми нападками на твое достоинство и твою жизнь, т. е. на то, как ты жил и живешь, <...> а в часы, минуты серости и тупого гнета. Вдруг тебя озаряет, что ты теряешь контакт со средой, что ты вроде как здесь вовсе не нужен — и чужой, чужой, как из другого века, другой страны. И приходит сухой такой, тоскливый страх и то самое нежелание быть тут. Да, как из другой — иноязычной страны... Я всегда помню и порою невольно твержу есенинские строки о том, как летит румянец на щеки впалые, и о том, что в стране своей — как иностранец...

25.10.70.

Мне недостает одиночества. Один, молчащий, я бы чувствовал себя лучше. И не слушающий других — тех, кого не хочется слушать. Когда я один, в комнате, на улице, я слышу, как

во мне начинает что-то звучать, разговаривать, рассуждать и даже бывает там — музыка. Тогда я на что-то гожусь, что-то могу, многого хочу. А так, как эти дни здесь, плохо. Бессмысленность и пошлость — рука об руку.

Читал Евтушенко о Вознесенском в восьмой книжке “Нового мира”. Все, что он пишет “прозой”, — статьи его, — гораздо хуже поэзии. И по языку, по словарю даже, они погружены в те дни, что уходят и не остаются. Это какой-то домашний, для издательства отзыв. И в то же время я опять почувствовал, как и они (Евтушенко, Вознесенский и др.) находятся в пределах некоего черного квадрата, из которого нет выхода, и они уже неоднократно натыкались на каждую из четырех сторон квадрата. “Покоя нет, уюта нет, нет спасенья от спасенья, — для поэта”. И верно, и неверно (“покоя сердце просит”), а главное, что спасенье должно быть, и спасенье от него — это игра, театр, экзальтация, вполне допустимая и дозволенная в пределах того квадрата. И удивительное чувство: то, что в статье Евтушенко кажется смелым и на самом деле вроде бы смело и широко, ощущаешь, как ручную, как прирученную смелость. Видимо, настало время, когда дозволенное перестает быть смелым, и единственно смелым остается — недозволенное, то, что вне черного квадрата.

Уже давно приходит мне мысль, что мы все — как в ящике или банке. Открытое пространство только вверху.

Вот идешь, явственно чувствуя, что это не обман, что движение на самом деле происходит, а потом упираешься в стену. Отправляешься в другом направлении — тот же результат. При этом я подразумеваю чисто духовные искания, чисто духовное движение. Поставлены пределы — порою незаметные глазу, утвердиться в их существовании можно только “на ощупь”. Они как стеклянные, эти пределы. Они очень удобны, так как те, что не ищут ничего, думают, уверены, что находятся на свободе. Способ борьбы — личное неучастие в наращивании этих стен, в наращивании и укреплении несвободы: “отказываюсь выть — с волками площадей”.

28.10.70.

Как бездарно все это устроено, без проблеска ума, живого, творческого, без какого-либо уважения к знаниям и опыту слушателей. И так я трачу ежедневно несколько часов жизни — без смысла, без значения: концентрированное убийство месяца жизни. “У нас в запасе — не вечность”, — крикнуть бы этим уверенным и спокойным гражданам-распорядителям. Да к чему это — кричать, возражать? Смысла не было и нет. <…>

29.10.70.

В Горьком я жил на улице Пушкина в общежитии партийной школы. Улица была очень грязная. По ней ходили трамваи. Трамваи тоже были грязные. И ходили плохо. Из-под дуги и колес летели искры. Будто ремесленник точил ножницы на точиле. Дом был населен молодыми и не очень молодыми партийными кадрами, которые и впредь очень хотели быть кадрами и стоять во главе кадров. У этого населения был прекрасный аппетит и сытые лица. А улица все-таки была грязная чрезмерно. Стоит ли описывать грязь. Это была обычная нижегородская грязь. Разве что более жидкая, чем во времена Алексея Пешкова, потому что тогда не было автозаводов и их продукции, а население Нижнего сильно уступало нынешнему...

Из разговора в коридоре партшколы: “Своих руководителей надо одевать красиво, — раз всех так одеть нет возможности”.

Из лекции руководителя курсов, некоего И. А. Макарова, бравого, веселого, холеного: “Ленин учил: надо идти вширь и... (пауза). И что, товарищи? Вглубь. Правильно”.

Он же рассуждает об участии женщин в руководстве: “Так что подумайте, товарищи мужички, как нам тут быть?”

Товарищи мужички веселятся.

28.11.70.

Когда нашему дому грозит болезнь, беда, горести, я хочу затаиться, как мышь, когда ее ищут. Может быть, пронесет... Не заметят. “Всем жертвовать ради таланта...” Талант не талант, но что-то поднимающееся над средним уровнем во мне есть. А вот “жертвовать всем” — не могу. “Всем” — это значит интересами семьи. <...> Это никак не могу. Следовательно, увы, не талант.

17.12.70.

Забастовки, демонстрации, беспорядки, поджоги, стрельба, жертвы в Гданьске, Гдыне, Сопоте. Плюс комендантские часы в Щецине и других местах. Речь Циранкевича по радио сегодня, обращение к народу и т. п.

8.1.71.

Ничего, все обошлось, полный порядок. Впрочем, за 14 лет поляки — сами, миром, народом, — сменяют второе правительство. Польска не згинела. Нам такое недоступно.

“Несвоевременные мысли” Горького, от которых он, вероятно, отказался позднее, или же о них просто постарались забыть, очень точно говорят и о наших днях.

Нами правят — без идей, без дара, без лица, без языка — не

правят, а взнуздывают.

Народ постоянно отвлекают. Если же помнить, что он отвлекается и сам в силу законов жизни (быт и т. д.), то это двойное отвлечение и служит лучшей гарантией нашего общего надежного и — не вечного ли спокойствия и стабильности сущего.

Прославленный в веках русский человек способен скорее избить женщину, чем сказать дерзость начальствующему над ним лицу.

Гордимся терпением, тем, что винтики, что послушны и безответны. В глаза плюют, а мы знай — утираемся и еще спасибо говорим. И хвалим. Хороши же мы.

19.1.71.

Нечто случилось в ночь на минувший понедельник с дверями горсовета. Их взорвали. Вот как! Все было восстановлено к утру. Ночью же, говорят, заседали те, кому следует. Остались только слухи.

Из Якова Акима (“Юность”, № 12, 1970):

Кто-то к истине горькой приблизясь,
Пишет, пишет — и все невпопад.
Вечно он виноват, летописец,
Летописец во всем виноват.

15.2.71.

Анекдот, который я слышал в двух вариантах. <…> Приблизительно. Изобрели живую воду. Заседает Президиум. Кого оживлять? Решили: Ленина.

Оживили. Он заперся в своем кабинете и не выходит. Идут недели и месяцы. Тогда оживили Дзержинского. Чтобы помог. Д. взломал кабинет. Ильича нет, на столе записка: “Эмигрировал в Швейцарию. Начинаем сначала”. (Другой вариант: “Я в Симбирске. Начинаем сначала”.)

Прочитал венгерскую пьесу “По техническим причинам” (Телевизор, средний человекозритель и Христос), а также пьесу Фридриха Горенштейна “Волемир”. Герой — почти “шизофреник”. (Человек из ванной: “Кто-то должен рваться в облака, иначе телега погибнет в трясине”.) Лебедь — Волемир. Правда, он рвется в облака — искренностью, тем, что говорит все. (А пьеса, конечно, талантливая, хотя западные влияния ощутимы.)

Опубликованы очередные Директивы. По этому поводу с утра в кабинете редактора был большой театр.

Жизнь людская разогнана по углам, посреди — большой

Театр. Большой фарисейский театр.

18.2.71.

Без Иосифа Прекрасного заскучали.
Почему бы, однако, не пожалеть человека?
Он так много сделал для всех нас.
Он спал, накрываясь шинелью.
Без него мы бы погибли.

Надо вырыть и сжечь останки, зарядить ими пушку и, повернув ее на Восток, выстрелить, немедля.

Надо бы собрать и издать хрестоматию “Великий Сталин”, где были бы приведены выдержки из газетных статей, речей, из писательских сочинений, а также списки произведений изобразительного и прочих искусств, ему посвященных. Это была бы Розовая книга.

А потом увидела бы свет свой Красная книга.

И обе — они стали бы настольными книгами трудящегося человека. И не было бы на свете ничего поучительнее.

2.4.71.

О Г. Шелесте (из рассказа бывш. ответств. секретаря читинской окружной военной газеты): арестован после возвращения из Испании за агитацию против колхозов. Отбывал десять лет. По истечении срока вместе с большой группой заключенных (жена Косарева, секретарь Саратовского губкома Губельман и др.) был отправлен на барже в неизвестном направлении. Думал, что во Владивосток (из Магадана). Прибыли же в Одессу: по дороге многие умерли. Из Одессы поездом в Среднюю Азию, узнал по пейзажу; там воевал с басмачами. Привезли в зону, а думал, что в ссылку, на поселение. Выкликнули по алфавиту — последним. В комнате, куда привели, увидел полковника. Признал в нем своего бывшего взводного. Обнялись, и тот показал ему бумагу, где ему, Шелесту, причиталось еще десять лет. По старой дружбе получил Шелест подарок в десять коробок “Казбека” и прошлогоднюю подшивку “Большевика” и пошел отбывать новый срок.

У Шелеста была сломана кисть одной руки. Он объяснял так, что руку зажимали дверями и приказывали подписать показания. Он не подписал.

У Губельмана был голый череп весь в шишках. О его лысину гасили папиросы.

Восстанавливаться в партии Ш. должен был в Ленинграде, там, где вступал. Первый его визит в райком был безуспешным:

нужного человека не оказалось на месте. В назначенное время на другой день ему опять ничего не сделали. Тогда он, старый человек, посмел возмутиться и сказал, что ехал сюда шесть тысяч километров и это надо как-то принять во внимание. В ответ одна из дам сказала: “Много тут всяких ходит”. И тогда Шелест сказал, что в такой партии восстанавливаться не желает. Повернулся и был таков. Так и не восстановился.

Вскоре ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. В военкомате его попросили принести шесть фотографий в генеральской форме. Он ответил, что таковой не имеет. Ему посоветовали сшить. Шелест же заметил, что ради фотографирования шить форму он не будет.

Так он и не оформился в генерал-лейтенанты.

При похоронах была растерянность. То ли на лафете везти, как генерал-лейтенанта, то ли попросту. Решили после консультаций с Москвой, что на лафете[37].

13. 4. 71.

Теперь все молодые пишут хорошо, один лучше другого, но от этого ничуть не легче. То есть и не должно быть легче. Должно быть менее одиноко. Каждому.

Беда в том, что молодые герои молодой прозы неинтересны.

Если по-старому относиться к художественному произведению, как к свидетельству о жизни, то свидетельства, представленные молодыми, вызывают сомнения. В этих свидетельствах сильно ощущается элемент организованности, продуманности, расчета. Это свидетельства чрезмерно взвешенные.

27.5.71.

Последние годы показали, что слова, даже те, которых боятся, беспомощны. Они утешают людей, их произносящих. Я среди этих людей, хотя круг моих читателей мал.

Я видел сегодня по телевидению чехословацких рабочих на митинге в честь советской делегации. Это страшное и горькое зрелище; оно напоминает о том, что человек в нашем веке в основных своих общественных проявлениях несамостоятелен. Он опутан, оплетен; его голова затуманена. Против него слова и сила власти. Против таких стихий он бессилен. Он устал, он разуверился, он помнит, что он не один и несет ответственность: за семью, прежде всего.

<Июнь 1971.>

В качестве эталона, чьими копиями мы должны быть, нам

предлагают — с помощью средств массовой информации и массового искусства — человека без воображения.

Выхваченные из Горького слова о том, что человек звучит гордо и надо его уважать, а не жалеть, давно уже употреблены во зло нравственности и психологическому состоянию русской нации и всего советского народонаселения.

Обличения “нытиков”, “маловеров”, “чистоплюев”, “мягкотелых интеллигентов”, бесконечные доказательства “жизнеутверждающего характера” того или иного произведения искусства являются самым поверхностным, но вполне серьезным выражением официального презрения и недоверия к малейшей слабости и дару воображения. Эти “пороки” опасны, потому что за ними скрываются “от всевидящего глаза и от всеслышащих ушей” элементарная самостоятельность мышления, не менее элементарная вроде бы способность видеть и предвидеть, а также самые естественные и самые многообразные реакции на “раздражители” внешней жизни. Именно эта “порочность” мешает превращению человеческих общностей разного толка в стадо крупного и мелкого скота, что наносит вред дальнейшему совершенствованию человеческой породы.

Похороны космонавтов, показанные телевидением всей стране с неутаенными подробностями прощания близких, дали нашему народу не меньше, чем торжественные репортажи о радостных всенародных встречах победителей космоса[38]. Люди увидели, что страдание не отменено, что вся бесчеловечность бесконечного порядка и холодного чиновного актерства, радости и горя по утвержденному сценарию и тексту рушится при одном только прикосновении к живому непосредственному человеческому переживанию. То, что знал, вероятно, каждый, но таил, как свою слабость, вдруг обрело равные и даже б у льшие права рядом с героической стойкостью и безграничным мужеством.

7.9.71.

Сегодня — 14 лет, как я в Костроме. Целая жизнь.

28.9.71.

Мое новое положение началось (зам. редакторство)[39]. И вот уже думаю: а зачем все это? Зачем это молчание при негодовании, при глубоком внутреннем неприятии всех этих бесед, болтовни начальства, недомолвок, подозрительности, мелких злобных чувств? Грустно, тошно, противно. “Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!”

<Лето 1972.>

Лето было жаркое и сухое, — очень жаркое и очень сухое, — удивлялись, как удивляются необычно крепким морозам, ливням, ветрам, и разговоров об этой жаре хватало; они будто потеснили все остальные разговоры, отодвинув даже служебные темы куда-то поодаль; лень расплывалась, как пятно пота.

Погода была под стать настроению великой эпохи: она поддерживала нарастающий в обществе интерес к метеорологическим сводкам. Их готовы были слушать ежечасно.

<Июль 1972.>

Для устойчивости я говорю себе: ты прав, ты хорошо работаешь, ты медленно, но надежно поднимаешься; но приходит миг, и, кажется, уверен, будто глаза открыты, что все не так — не прав, работаешь мало, никуда не поднимаешься — ты обычен и мал и твои писания — не нужны. Потом является другой миг и приносит облегчение. Так и живешь, вслушиваясь то в один, то в другой голос.

17.1.74.

11 января <...> мы возвращались с Архиповым из Галича на машине. Разговаривали о том о сем. Главное было сказано еще там, в кабинете первого секретаря (райкома), которого Б. С. попросил оставить нас одних. И тогда он сказал, что был звонок из ЦК, что все откладывается, но я остаюсь в “резерве”. Архипов прокомментировал это так: “Сами напугались своей революционности”. Он счел, что повинна тайная информация. Я не знаю, что повинно. Такие люди, как я, им не нужны. Бог с ними. На душе у меня спокойно. Тома приняла эту новость тоже спокойно, я благодарен за это. Так легче, и все, может быть, к лучшему[40].

21.2.74.

Оказывается, — вот без радости открытие, — я нигде не жил так долго, как в этом городе: ни в Смоленске, откуда родом, ни в Ухтомской, ни в Москве, ни тем более — в Липецке, Саратове, Фрунзе, — нигде так долго: более шестнадцати лет.

Вот думал: временное житье, затянувшаяся командировка, а теперь ясно: то и была сама жизнь, лучшие ее годы, и здесь вторая твоя родина, наверное, здесь я и умру. В другом месте даже хуже, хотя и говорят, все равно.

В сорок лет поднимать голову? Не пора ли ее опускать. И уж вовсе поздно писать дневник.

Хотел бы я знать, живет ли где-нибудь, скрипит ли пером

какой-нибудь тихий и скромный летописец Новой Российской Канцелярии?

Будущим людям пригодились бы эти свидетельства для того, чтобы всему и всем воздать должное.

Послезавтра — областная партийная конференция. Работникам газеты дали пропуска на вход в здание, но не в зал конференции: для журналистов нет мест, журналисты приравнены к буфетчикам, уборщицам, охране. Так распорядился первый секретарь, что по-старому равнозначно губернатору. Чем он занят в эти дни, не ясно: доклад для него писали другие — так бывает всегда, а сегодня секретарь по идеологии сочинял ему "заключительное слово": это означает, что содержание прений предрешено. Я не нахожу более меткого слова, чем театр, притом ремесленный, но с безупречным знанием текста.

В субботу, 26 февраля, утром Тупиченков то ли по собственной инициативе и глупости, то ли по указанию сверху распорядился добывать отклики на изгнание Солженицына. Старый художник Рябиков на просьбу по телефону ответил согласием, и позднее по телефону был согласован текст. Главный режиссер театра Слюсарев на предложение Александрова откликнуться ответил словами: "Не впутывай ты меня в это дело". Отказался откликаться и Бочарников, сославшись на то, что ему не до того: умирает теща. В те же дни отказался писать о С. для молодежной газеты и Шапошников[41].

Прошло чуть ли не две недели, и вдруг из обкома звонок за звонком. Сначала звонит зам. зав. отделом пропаганды и агитации, затем зав. отделом и, наконец, секретарь обкома. Архипов: как все было? Спрашивают Александрова: как все было? Александров удивляется, он сам этому делу хода не давал, но при телефонных разговорах присутствовал редактор (в субботу других людей в редакции нет). Оказалось, что редактор сначала сказал о происшедшем в обкоме, а потом написал докладную (все это спустя более недели). Работники обкома, которым он рассказал, рассудили так: если он рассказал нам, то может с успехом рассказать и на бюро, тогда будут спрашивать за примиренчество с нас. И они дали делу ход. Сегодня были вызваны в обком Александров, Слюсарев и Бочарников. В свое оправдание Слюсарев стал говорить, что не воспринял просьбу всерьез, т. к. Александров был пьян. Бочарников, спрашиваемый отдельно и ждущий "допроса" в другом кабинете, сказал, что просьба Александрова была высказана ясно и не было похоже, что он пьян. В доказательство своей "невиновности" Бочарников предъявил свидетельство о смерти тещи (специально взял с собой), и это было сочтено уважительной причиной. Объяснения

Слюсарева, явно струсившего, и Александрова (пьяным он не был, т. к. утром в 11 часов он не пьет, а занимается этим позднее) были безобразными. Ирония судьбы в том, что оба человека, “пострадавшие” за Солженицына, никакого отношения к такому кругу идей и взглядов не имеют и попали как куры в ощип. Хотя сам по себе отказ знаменателен: подписывать — признак дурного тона. История пока не кончилась, м. б., Слюсарева еще будут склонять на обл. идеологическом совещании, которое предстоит. Ожидается и обсуждение на собрании писателей Шапошникова, как беспартийного. Он отказался, сославшись на то, что этих книг не читал.

В этой незавершенной истории многое любопытно: донос Тупиченкова, трусость Слюсарева, многоопытная осторожность Бочарникова, порядочность Шапошникова, суета власти.

8.3.74.

К картине нравов.

Недавно в “СП” была опубликована статья по истории гражданской войны (А. Никитина). Вдруг на другой день начальница областной цензуры (обллита) прибегает к тому, кто статью готовил: “Что вы наделали!” — “Что?” — “Там упомянут Каменев”. Пауза. “Но это же другой Каменев. Сергей Сергеевич” (следует пояснение, кто такой). Вздох облегчения.

С тем же испугом тот же вопрос задавал и редактор. Он тоже не знал, что был еще один Каменев, хотя знать следовало бы. Характерен и все же испуг.

Недавно был и другой любопытный случай. На планерке объявили назавтра статью о семье Языковых. Глава семьи был старым большевиком ленинской поры, дипломатом. Младший его сын был репрессирован. Отец вступился за него и тоже погиб. Старший сын в возрасте 20 лет погиб на гражданской войне. Языков-отец был первым председателем костромского горсовета и редактором костромских “Известий”. И вот редактор усомнился в том, что такая статья нужна. И в ответ на мое недовольство разразился глупым и тупым рассуждением (притом показательным) о том, что ежегодно Цека утверждает списки людей, чьи дни рождения (круглые даты) следует отмечать в газетах. Я, конечно, усомнился, опять-таки вслух, на планерке в самой возможности существования такого документа и в его смысле. Но он, как всегда, когда он говорит о чем-либо, исходящем сверху, был значителен и таинственен, но снять статью не посмел. Как потом сказала нам Мария Семеновна Виноградова (вдова Я. Кульпе)[42], статью она отправила в Москву костромскому землячеству, и старые эти люди сожалели, что

статья мала, т. к. Языковых до сей поры уважают и помнят.

11.3.74.

Я записываю все это, чтобы не забыть, и о форме записи не забочусь. Сегодня в редакцию заходила Мария Семеновна Виноградова, напоминала, что в этом году предстоят “юбилеи”, “круглые даты” ряда крупных костромских большевиков: Языкова, М. В. Задорина, Растопчина, Богданова и т. д. В разговоре, который я пытался подвинуть в желанном направлении, было несколько интересных подробностей. М. С. немного рассказывала о встречах в Москве, где она была недавно и разговаривала со старыми друзьями-земляками из костромского “большевистского землячества” в столице. В частности, на обсуждении книги по истории гражданской войны на Дальнем Востоке она встретила женщин, которые работали под ее началом в женотделе при крайкоме партии. Одна из них — фамилии я не запомнил — соавтор, кажется, книги. Два вечера они проговорили. Та дальневосточница рассказывала о горемычной своей судьбе: муж работал в НКВД, судьба известна, ее также, сын погиб на фронте, дочь умерла в детдоме. В этот момент я удивленно спросил: “Значит, воевать все-таки разрешали?” — “А почему нет, — сказала М. С. — Мой сын тоже погиб тогда, в первом же бою” (ему едва исполнилось восемнадцать: в день его рождения они были отправлены на фронт, недоучившись в училище). Далее эту тему в разговоре не трогали. М. С. махнула рукой, дав понять, что вспоминать это тяжело, и стали говорить о наших делах. Зашла речь о диссертациях, которых мы, увы, не пишем. Я к слову сказал о статье Китайгородского в “ЛГ” о театральности, игре, которые налицо в нынешней процедуре защиты. Когда М. С. уходила и сочувственно сказала, что нам, должно быть, трудно здесь работать, то припомнила мои слова о театральности: “Ведь и партийные конференции ныне — такой же театр”. Всплыло и имя Евтушенко (М. С. видела афишу с его именем в Москве). Я сказал, что Евтушенко, не соглашаясь с Солженицыным по многим вопросам, поддерживает критику Сталина и пафос разоблачения его преступлений, о которых не знает, в частности, молодежь. И в этот момент М. С. махнула рукой, потому что этот разговор для нее тяжел и ее отношение к сталинским “подвигам” для нас должно быть ясно.

Любопытным было и ее замечание о том, что в Москве ее старые сотоварищи лишены информации (новой), и ее рассказ об одном старом большевике, который все видит в черном свете и к которому редко кто теперь ходит, так как для споров все реже находят достойные аргументы.

Эти настроения, интонации кажутся мне знаменательными.

17.3.74.

Вот звонили из “Журналиста”: Каменецкий. “Не хотите ли работать у нас: заведовать отделом критики и библиографии”. Я сразу же сказал, что самое сложное тут — житейские проблемы. В ответ услышал, что нужно подумать об обмене квартир и т. п. Разговор закончился тем, что договорились снова созвониться после того, как я подумаю над предложением. Записываю это не для того, чтобы вдаваться в обсуждение предложения: хорошо ли это, принимать ли, соглашаться ли? Опять чувствуешь себя в глупом, унизительном положении. Мы, выехав однажды из Москвы для честной работы, не имеем права в нее вернуться, даже прожив в провинции семнадцать почти лет. Но даже не это более всего задевает: человек должен в своей стране иметь право жить там, где он захочет. М. б., я и не хочу жить в этой — навязшей в зубах — столице, но я должен знать, что я могу ехать туда и жить там и работать, если захочу, хоть завтра. (Вот устройство — дело индивидуальное.)

Входить в рассмотрение того вреда, нравственного и общественного, который приносят подобные запреты и ограничения, характерные отнюдь не для демократического государства, мне не хочется. Этот вред очевиден, но запрет отвратителен, даже если безвреден.

М. б., самая характерная черта нашей общественной жизни — послушная трусость, пытающаяся выглядеть мужественно и прикидываться самостоятельностью.

20.3.74.

Из П. Владимирова (“Особый район Китая”): “Я не смею думать, кто, где и как воспримет мои корреспонденции и доклады. Я должен помнить о тех, кто сражается и погиб. Помня о них, нужно писать так, словно пишешь не чернилами, а кровью замученных и погибших”.

Владимирова — по опубликованному тексту — я воспринимаю как умного, проницательного и честного человека[43].

После этой книги возникают вопросы, на которые существуют самые печальные ответы. “Мы сами вырастили это чудовище — это так” (о Мао).

24.3.74.

Вечером — вечер поэзии в филармонии. Окуджава. Также М.

Квливидзе, Е. Храмов, А. Николаев. Два поэта, один стихотворец-профессионал (Е. Храмов) и стихотворец-комиссар (А. Николаев): кожаная куртка, осуществляет присмотр и уравновешивает своей идейностью “безыдейность” Окуджавы (т. е. другую идейность).

“Молитва Франсуа Вийона”, “Моцарт”, “Полночный троллейбус”, “Ленька Королев”, песня из “Белого солнца пустыни”, “Капли датского короля” (читал), “Вы слышите, грохочут сапоги”. На душе было печально, многое старое поднимается, да и новое с горечью. Знаю, ездит, читает, поет, от Костромы до Австрии. Но трогает до слез. Особенно “Вийон”.

Послезавтра (26) я должен ехать в Москву, а 28-го — в Болгарию: по направлению Союза журналистов (обмен). Никогда и нигде я не бывал, это смущает и стесняет меня, и будь возможность увернуться, я бы это сделал: дома мне лучше. Дурак дураком, но что поделаешь, если так устроен, и с годами эта привязанность к дому, к семье все крепнет. Если ничего не стрясется — поеду: две недели переживаний перед сорокалетием.

30.3.74.

Второй час. София. Вот и мы за границей. <...> Думают, Россия — сверхдержава, а большинство в России — не избаловано, утеснено, утишено, — уважение нормальное, само собой разумеющееся, — нам чуть ли не в диковинку.

Здесь, где я — в гостинице “Балкан” (построена в 1956 г.), — ковры, ванна, радиоприемник, холл метров в двадцать, кровать как на троих.

Мы были в клубе журналистов — сидели, ели, пили. <...> Братья болгары, конечно, добры, но и мы принимаем их так же.

31.3.74.

Был прекрасный день. Мы ездили на водохранилище в Самоковском ущелье. <...> Вечером гулял один более часа по Софии. Это было то, что надо...

27.4.74.

Я думал, что вот-вот вернусь к обычному состоянию, т. е. буду работать, писать, но возвращение происходит трудно и не без горечи. Выбился я из колеи и никак не могу вернуться. И ездил-то недалеко и к “братьям”. Никуда меня нельзя пускать, надо привязать в стойле. Вот апрель так апрель, даром что сороковой, — напереживался, как дурак или как чрезмерно умный. Но если есть в нас душа, то моя душа изболелась, и как ее винить, и корить, и презирать?

И читается плохо. Ничего не идет — все перебираю и

откладываю. Вот только записки Басаргина и Волконской (из сб. “Декабристы в Сибири”) читал потрясенный. Так могли жить люди, мы против них слабые и непоследовательные и несчастные. Они даже не знали, что жили так, что память о них нетленна. Да, да, нынче много дворни, объявившей себя господами положения, жизни, но они остаются дворней неизбежно.

29.4.74.

Мои болгарские миражи вот-вот развеются. Они будто существовали и досуществовывают в другом измерении, пересекаясь с этой жизнью в одной точке, если это можно назвать точкой, — в моей душе. <…> Пусть это отболит во мне, это какое-то прощание — с молодостью, да? с мальчиком во мне? — не знаю, не знаю, но это прощание дало мне новую остроту восприятия жизни, не домашней, общей, и мне кажется, я стал другим. М. б., все дело в том, что во мне после всех сорока с лишком сохранился мальчик <…> — чистая, безгрешная душа, и эта душа так остро и взволнованно откликнулась на незнакомый и добрый мир. То было только соприкосновение с этим миром, только касание и — никакого, по сути, знания, но все дарованное небом наитие, вся смута и смущение неясных ощущений — все рванулось навстречу этому миру, чтобы остаться в его памяти, не промелькнуть, не исчезнуть, потому что это исчезновение показалось, воспринялось кощунством, смертью <…>

14.5.74.

Около двух ночи. Все пишу о Шукшине, даже не знаю, зачем, для кого. Но давно собирался, хочется, вот и сижу, хотя вдуматься, так и не знаю — не сизифов ли труд. Как писал В. Шефнер (“Юность”), катим, катим бочку, закатили наконец, пора торжествовать, а там, на горе-то, бочек полным-полно — тесно и пусто[44].

Как на морском берегу — ничего не остается. Пиши тысячи раз по одному и тому же месту. Ни памяти, ни следа, ни знака. Ничего.

15.5.74.

Около часу ночи. Сегодня пришло письмо Виталия Моева[45]. Я всегда сам перед собой гордился, что умею рассчитывать все варианты, которые возможны при какой-либо перемене. Оказывается, напрасно гордился. Вариант, о котором пишет Моев, прост и естественен, он не приходил в голову, потому что все еще веришь в порядочность и правдивость людей, с которыми имеешь дело. Теперь явилось еще одно подтверждение тому, что фальшь

и страх и ложь растворены в самом воздухе, которым дышишь.

Боже мой, думаю, зачем ты бывал и бываешь искренен и отзывчив, зачем принимаешь за чистую монету — лицедейство, фальшь, игру, — доколе будешь ребенком!

Все-таки горечь после письма осталась, хотя лучше все знать твердо, никаких иллюзий. Голый провод правды.

16.5.74.

Опять за полночь. Будто в подтверждение, что в письме Виталия — правда, сегодня вечером, т. е. вчера, мы с редактором обменялись любезностями, особенно любезен был он, потому <что> таким грубым и хамом быть я не умею. И было вечером тошно и горько, потому что, кажется, я никогда не забуду, что отдал этому городу, в самом же деле, лучшую молодую пору своей жизни и жизни самых родных мне людей — семьи. И выслушивать сейчас всякую хамскую речь — противно.

Чехи формулировали: “социализм с человеческим лицом”. Я бы добавил: с умным лицом, социализм умных людей, а не властолюбцев, не корыстных и трусливых прислужников власти.

14.6.74.

Эта служба все более угнетает меня. Унижение, всегда в ней бывшее, становится все заметнее, очевиднее. Сбежать от нее, из нее, но куда? Вот и ждешь, когда она сама меня исторгнет как чужеродного, бесполезного ей, несовместимого. Тут даже не механизм службы повинен, а управляющие механизмом. Их выбирают будто нарочно — в раздражение, в оскорбление, в унижение — нам, прочим, полагающимся, надеющимся на ум, знания, культуру. Такие, по сути, не нужны.

И писать-то про это тошно. И думать — тошно. Будто жалуешься, но — кому? с какой целью? Оправдаться? Но удел избрал сам, сам и покинь, если больше не можешь.

9.8.74.

Читаю курс русской истории XIX века А. Корнилова (М., 1918, ч. II).

Из адреса государю от московской городской думы (1870): “Да, государь, Вашей воле, — скажем мы в заключение словами наших предков в ответе их первовенчанному предку Вашему в 1642 году, — Вашей воле готовы мы служить и достоянием нашим, и кровью, а наша мысль такова”.

Прекрасно.

5.10.74.

Вчера сообщение о смерти Василия Шукшина.

После Твардовского ни одна смерть так не задевала меня.

Перечитал статью свою о нем и — несмотря на новые обстоятельства — утвердился в мысли, что написал правду.

16.10.74.

Как трудно даются иные дни! Заполненные бессильными, бесполезными разговорами — видимостью дела — требуемым делом, представлением, и жизнь вся кажется напрасной, и страшно от мысли, что отдано семнадцать лет этому месту, будто ни на что лучшее не был годен.

Вечером сидишь, будто тебя выпрягли, и желанная свобода только здесь, за письменным столом, но ведь и сесть за него в такие вечера непросто. Вся вера в себя, в пользу свою для других — пропадает. Сидишь, как на берегу, на высоком, поджав ноги, над черным пространством и смотришь вперед, и только ту черноту видишь — ничего более. Вот и выходит: без надежды.

ОБЕССОЛЕННОЕ ВРЕМЯ

Из дневниковых записей 1976 — 1980 годов

<Без даты, 1976.>

Я давно не смотрел вечерами в это окно, и деревья показались чересчур большими, разросшимися и густыми. Весь день было пасмурно и ветрено, небо и сейчас казалось тревожным и беспокойным. Неожиданно за высокими темными деревьями на другой стороне улицы я заметил полосу огней. Они проглядывали сквозь макушку кроны, словно светился весь верхний этаж какого-то дома... Огни меж тем становились ярче, и уже казалось, что это придвигается какое-то гигантское крыло с огнями по борту. Да и справа, и слева за деревьями и пятиэтажными спящими зданиями тоже стала нарастать какая-то краснота, словно там, дальше, пробивается, захватывает пространство огромный сгусток огня. Я пытался себе объяснить, что это запад и солнце июльское не так давно зашло, а небо очистилось, но огни надвигались и уже совсем не походили на светящиеся окна, и веяло от них жутью какого-то провала, зияния, теперь уже далекого от красного цвета, а скорее — светлого и даже мертвенно-белого, но интенсивного и плотного. На какое-то мгновение я почувствовал, что сердце сжалось с какой-то обреченностью, словно я уже принимал то, что вот-вот со всеми нами случится.

И тотчас я вспомнил, как в другом доме и другой квартире, войдя с улицы в темную нашу комнату, увидел за распахнутым по-летнему окном огромный оранжевый шар в половину оконного проема и вмиг подумал, что настает космическая катастрофа и Луна — я все-таки сообразил, что это Луна, — сейчас или очень скоро врежется в Землю. <...>

Уже давно в одном из научно-популярных журналов я прочел об оптической иллюзии, позволившей мне увидеть гигантскую Луну. Там было какое-то простое объяснение, и все-все в моем случае под него подпадало. Но чтбо я пережил, так и осталось: чувство ужаса и неизбежности.

Хорошо помню теплую июльскую ночь далекого года. Мы с бабушкой стоим на крыльце (не крыльцо даже, две широкие доски) избы. Может быть, даже избушки. Бабушка держит на руках спящую сестру, ей еще нет и двух лет. Это я сосчитываю теперь. Тогда это для меня не имело значения. Я стою

прижимаясь к бабушке и дрожу. Что-то наброшено мне на плечи, кажется одеяло. Мы давно уже спим одетыми — для быстрого подъема и бегства. Мы стоим и смотрим в темное небо. В нем ничего не видно, но оно заполнено гулом самолетов. Бабушка говорит, что они летят на Ельню. А может быть, на Смоленск. Ельня совсем близко. Нам уже говорили, что там разбомбили базар. Мы живем в избушке на краю оврага в тени каких-то высоких деревьев. А перед избушкой большая поляна, теперь — издалека — она кажется мне похожей на футбольное поле. Там я бегаю с другими детьми, стреляю из лука — кто выше. А справа на краю поляны — двухэтажная деревянная школа. Там людно и что-то происходит. Бабушка говорит, что там призывники и немцы могут их бомбить. Кто его знает — может быть, эти самолеты уже знают про школу. Мы стоим и дрожим и смотрим в небо. Слава Богу, гул высокий, но какой же он долгий, как много их летит.

В ту ли ночь или в другую мы смотрим в смоленскую сторону: там по всему горизонту высокое красное, какое-то подвижное, вздрагивающее небо. Это называется зарево.

Наутро из Смоленска приезжает мама. Ее и других женщин их учреждения отпустили с работы. Работа кончилась. Мы укладываем вещи, потому что скоро приедет грузовик и мы побежим дальше. СМОЛКНИСМ — так называлось учреждение, где работал отец.

Эта дрожь во мне началась с воскресенья (22 июня) в самом центре Смоленска, на Блонье, под столбом с черным раструбом, где мы стояли всей семьей, вышедшие погулять. И вокруг стояли такие же, как мы, — вышедшие погулять в теплый июньский воскресный день.

22.12.76.

Читал в утешение Нагорную проповедь. “Истинно говорю вам: они уже получают награду свою”.

Хорошо бы, хорошо бы, если б было так. И я верю, что так.

И. А. Гашин[46] рассказывал в присутствии Томы историю опубликования в “СП” [“Северной правде”] материала под названием “Клеветнику” (или “Ответ клеветнику”). Оказывается, на имя первого секретаря обкома партии была получена тетрадь машинописи с почтовым штемпелем г. Галича. Содержание ее было расценено как клеветническое. Было поручено госбезопасности установить автора, и он был установлен. Не знаю, что уж с ним было, но в “ответе”, написанном полковником госбезопасности Виктором Гавриловичем Лавровым (псевдонимы Викторов, Гаврилов), его фамилия и профессия упоминались

(Потепалов, учитель). Каково-то теперь ему, обратившемуся с письмом, пусть анонимным, в важное учреждение партии, т. е. к высшей власти в области.

Гашин рассказывал также о некоем костромском кандидате экономических наук, обратившемся с письмом к 25 съезду партии, где содержались какие-то соображения (предложения) по экономике. Письмо, вероятно, было задержано. Этого человека вызывали в парткомиссию, потом с ним разговаривал секретарь обкома партии Суслов, но убедить его в неправильности действий — действовал “через голову” и т. д. — не смогли. Наконец его пригласили в госбезопасность, и тогда-то он постиг, что совершил ошибку, и сказал, что больше не будет.

Некий рабочий (строгальщик) из Заволжья написал письмо в “Сев. правду”, жаловался на нехватку продуктов и прочие недостатки. Редактор доложил куда следует, и ему посоветовали вызвать автора в редакцию. Пришла жена, работница детского сада, сказала, что муж болен, а [зав. отделом писем] Гасана Гасановна Васильева стала ее отчитывать: вот вы хорошо выглядите, и одежда у вас какая, мы после войны таких сапожек не носили и не жаловались. А вы избаловались и т. д. Вот так и ушла женщина, а что при этом думала?

29.12.76.

Пенсионерам дают к Новому году талоны на мясо в домоуправлениях (1 кг на пенсионера). Впрочем, не талоны, а “приглашения”. Получаешь “приглашение” и идешь в магазин. Сегодня “Северная правда” отправила своих представителей в магазин, чтобы получить мясо (по 1 кг на работника). Именно так “дают” мясо трудовым коллективам. В магазине же сказали: берите тушу и рубите сами. Редакционные женщины возмутились и ушли. После телефонных переговоров с начальством мясо обещали завтра: и разрубленное, и высшего сорта. Сегодня жена Камазакова, член областного суда, целый день рубила мясо. Этому “коллективу” мясо выдали тушей. Рубили, взвешивали, торговали.

P. S. Перечитал все это. Какой-никакой, а документ. След пережитого. Соединить бы все — “роман моей жизни”.

23.1.77.

Были Грибов Ю. Т. с женой[47]. Вспоминали старую “Сев. правду”, совместную работу. Он рассказывал про нынешнюю свою жизнь, подчеркивая, что он не писатель, а газетчик и в этом своем качестве старается укреплять свое положение (публикации в “Правде”). Все прочее подавалось не без самодовольства, что

неудивительно. Самое занятное из сказанного: там, наверху, — самые обыкновенные люди, если не сказать большего, т. е. заурядные. В устах Г. это признание знаменательное. Когда-то он опасался — когда поднимался. Теперь понял: все те же.

Сегодня я лишний раз понял, что люди, управляющие жизнью, себя не забывают, устраиваются и устраивают своих детей и родню. Идеальное они оставляют на долю таких, как мы. Т. е. следование принципам, которые провозглашены. Захватчики и есть захватчики. (Петелин, кстати, зять Стаднюка.)

22.2.77.

Статья об Астафьеве идет трудно, медленно[48], и как всегда в таких случаях, нервничаешь. Иногда я думаю, сколько же я так смогу выдержать. Одинокий же труд, и работаешь в одиночку, и умрешь в одиночку. И неизвестно — вспомнят ли добром тебя твои же мальчики?

12.7.77.

Все бьюсь над началом (о Быкове)[49] и все читаю (“вокруг” Быкова), и мучаюсь, и буду мучиться, пока все не пойдет как следует. <…>

Прочел огромный роман Энтона Майера “Однажды орел” (1976) — о судьбе профессионального американского военного, прошедшего все войны начиная с Первой мировой и погибшего во Вьетнаме. Имя этого генерала Сэм Демон. М. б., это чересчур обширная книга, но, кажется, честная. И очень горькая. Много горечи, и она захватывает тебя — а какой я вояка? Страшная жизнь.

Вероятно, Оскоцкий обиделся на меня. Я в последнем письме намекнул ему, что скорее всего не напишу о его книге, хотя уже полгода собирался написать. Я честно объяснил ему, почему так и почему мне все это неловко. И отказываться тоже неловко.

А вот о книге Лени Фролова написал[50]. Там дело ясное, и я могу быть искреннее. Предмет книги Оскоцкого мне, по сути дела, неинтересен[51]. Он абстрактен и рассмотрен ортодоксально. То есть истина была известна заведомо. Но каждый волен доказать истину своим путем. Вот он и доказывал. Но истина-то известна и потому банальна и проч.

Показывали фильм о 56-м годе в цикле “Наша биография”. Сделан, как все, бесстрастно и лживо. Двадцать лет прошло. Не пресекли они наше поколение, но воли не дали — и печально, что прошло, прожито столько лет, — и мы прикидываемся благополучными, добившимися своего. В какой бы угол, иногда думаешь, забиться! Нашей жизни не хватает

естественности,
простоты,
здравого смысла,
честности,
прямоты и свободы!

29.8.77.

Про издательские дела: они объявили о моей книге на IV квартал 1978 года[52]. Но ни договора, ни денег, никаких новых вестей. И я думаю, вот толкуют московские литераторы о засилии еврейства. Ни о чем другом говорить не могут — захлебываются ненавистью. Ну, хорошо, вот издательство, кичащееся своей русскостью. Но эта русскость оборачивается самым худшим еврейством: дело зависит от кумовства, от обхаживания начальственных лиц, от умения устраиваться. Я же знаю, как Целищева, сотрудника этого издательства, здесь, в Костроме, обхаживают все, кто зависит от него (он ведет прозу), и льстят ему, и угощают, ни на шаг не отходят. Вот и разберись. А что разбираться? Еврейство — это такая болезнь, которая может поражать русских больше, чем евреев. Или украинцев, или еще кого.

30.9.77.

Повсюду без передышки — по радио, в печати, по телевидению — “мы лучше вас, мы выше вас, мы лучше всех, мы выше всех”. И нет конца этому потоку.

25.10.77.

Говорю дома: пишите дневник, такой быт уходит, не будут знать, как мы жили, что скрывалось под покровом официальных слов, всякой чепухи.

Быт все выедает; все в нем сквозит, все воплощается. Я имею в виду не только быт домашний, но быт конторский, служебный тоже.

<…> в эти дни повсюду по конторам собирают по 7 — 8 рублей (на колбасу и за курицу), чтобы можно было отметить 60-летие родного государства. Сам видел, как в отделе комплектования обл<астной> библиотеки среди стоп новых книг на полу лежали грудами куры и стоял густой запах. Все ходили и посмеивались.

Такая пора: все ходят и посмеиваются.

В эти дни в магазинах нет туалетного мыла.

Нет конфет. Само собой разумеется, нет мяса (на рынке в очередь — по четыре рубля за кг), нет колбасы, сала и прочего.

29.10.77.

В записках, подобных тем, что вел В. В. Каррик (“Голос минувшего”, 1918, № 4 — 6), есть смысл: мало фактов, много молвы, слухов, легенд, анекдотов, но и в них время, действительность, состояние умов, положение человека.

Инструктор горкома партии рассказывал в редакции: однажды Председатель обнаружил, что Москва-река покрыта бетоном. Он вызвал министра обороны: “В чем дело?” — “Зато, — ответил министр, — Аврора” в наши воды не войдет”.

Этот инструктор — аккуратный партийный чиновник, но тогда же он рассказывал о системе льгот, существующих в городском комитете: о “конвертах”, о распределении продуктов строго по рангу и проч. Не знаю, что побуждало его (обида на положение инструктора, на медленную карьеру, на то, что “обошли”?), но это и не столь важно. Важно, что он об этом говорит и даже “распространяет” анекдоты. Я думаю, что двоедушие — один из самых существенных признаков нашей жизни; есть роль — и есть актер, исполнитель, есть некое раздвоение личности. Актеры посмеиваются над ролями.

В редакции обсуждали праздничные номера. Говорили, что торжественная сессия Верховного Совета начнется значительно раньше дня торжеств, и толковали, кто приезжает. Редактор, не называя имени (то ли забыл, то ли плохо помнил и не знал, как правильно выговорить), сказал, что пригласили даже руководителя испанской компартии. И тут же заметил, что заседание назначено так рано потому, что с представителями — гостями из западных партий “надо поработать”. Люди, подобные редактору, недавнему обкомовскому работнику (заведовал отделом агитации и пропаганды), воспринимают все заявления о самостоятельности партий с нашей стороны как тактическую уловку, как ширму для проведения давно заведенной политики, для отношений начальника, старшего, и подчиненных, младших. Точно так же, как прикрытие, как фразу, воспринимают они и все настояния на политике разрядки. И надеются, что под покровом разрядки идет всегдашняя работа и ничего измениться не может.

Позавчера начались занятия в так называемом творческом семинаре по эстетике при обкоме партии для творческой интеллигенции. Лекцию читал преподаватель педагогического института Александров. Слушать я его не слушал, но много раз наблюдал, мы здороваемся на улицах. Массивный, грубоватый человек с большой шевелюрой, был бы хорош в роли матроса-анархиста или боцмана. Он занимает много места, движется энергично и всегда один. Известен как любитель выпить. В пору

стрижки наголо посетителей вытрезвителя был острижен и он.

В лекции Александров много говорил о стране развитого и полного социализма. Художник Сергей Румянцев задал ему вопрос: а как совместить с полным и развитым социализмом устойчивые нехватки с едой в нашем городе и что бы сказали о нашей жизни наши друзья из стран с еще не полным социализмом, доведись им побывать у нас в гостях? И тогда лектор со всем пылом и энергией обрушился на Румянцева за выискивание негативных сторон в жизни, и разгорелся сыр-бор, потому что аудитории “отпор проискам” не понравился, хотя нашлись защитники и у лектора. Едва успокоились. В довершение всем собравшимся объявили, что их на три года записали в вечерний университет марксизма-ленинизма. Писателей по крайней мере записали, не спросив, хотят они того или нет. Конечно, этот фокус не пройдет, но замашки устроителей показательны.

30.10.77.

Читал “Голос минувшего” (1918): записки В. Каррика и московского цензора А. Сидорова (1909 — 1917). Ранее прочел там же записки Н. П. Огановского об Учредительном собрании. Читал “Размышления натуралиста” В. И. Вернадского[53], а также сочинение Г. З. Иоффе “Крах российской монархической контрреволюции” (М., “Наука”, 1977).

У Иоффе использовано очень много эмигрантских источников; по сути дела, без них оно было бы невозможно. Из Вернадского сделаю обширные выписки; приходится сожалеть, что в свое время не смог ее купить. Редакционные примечания, сноски, а также купюры только доказывают, как прав был Вернадский, когда говорил о положении науки и ученого в государстве. Кроме того, примечания и сноски во многих случаях до смешного трусливы.

Виктор Б. уверял меня, что ливерная колбаса ныне переименована в “растительную” (58 и 60 копеек за килограмм). Сегодня впервые я попробовал пить кофейный напиток производства ростовского (ярославского). Состав: ячмень — 75 процентов, овес — 15 процентов, рожь — 10 процентов. Пить можно, но действия никакого. Пахнет зерном.

Мама по телефону говорит, что сердита на меня за письмо. За что? — удивляюсь я. За кур, говорит она. Я смеюсь: так ведь ничего страшного я не написал. Я же написал, что никто не печалится, что все веселятся. Но мама считает, что о таких вещах писать в письмах не следует.

В телевизионном варианте “Хождения по мукам” Деникин,

Корнилов, Марков представлены даже уважительно, зато белые офицеры вышли сплошь мелкими, пошлыми людьми, озлобленными подонками. Творческая смелость В. Ордынского заключалась пока в том, что полностью было исполнено “Боже, царя храни”. Дашу так часто показывают в ночной рубашке, что невольно задумываешься: так какую же часть киновремени мы наблюдаем эти ночные рубашки? В. Ордынский, предваряя фильм, сказал, что пытался прочесть роман как философское произведение. Конечно, его счастье, что он нашел в романе философский смысл. Но в фильме чересчур много уступок антифилософскому, антиисторическому, пошлому мышлению и вкусу.

Художественную выставку, открывшуюся недавно в городе и посвященную 60-летию Октября, решили украсить наскоро сделанным (автор не указан) панно, где изображен Председатель на фоне множества человеческих голов — митинга или демонстрации. В углу полотна надпись: “Это тот основной закон, которого мы так долго ждали”.

Да, забыл, у Иоффе приводится такой разговор Николая II со своим врачом. Царь уже решился на отречение и дал приказ отправить телеграммы в ставку и Родзянке. (Это еще до приезда Шульгина и Милюкова.) В разговоре с врачом царь говорит, что будет теперь жить с сыном Алексеем (по манифесту именно Алексей объявлялся наследником, а регентом — Михаил, брат царя). Но в ответ слышит, что вряд ли правительство разрешит ему это и Алексею придется жить в семье Михаила. Царь крайне удивился и “решительно заявил, что он никогда не отдаст сына в руки супруги великого князя”, и стал ее ругать. Психологически это возможное расставание с сыном стало доводом против отречения. Подействовало, видимо, и что-то другое. Но и это.

31.10.77.

Выпускающий “Северной правды” рассказывает, что ему дано редактором указание не допускать переносов фамилий Брежнева и Баландина (первого секретаря обкома). Вполне возможно, что инициатива в таком своеобразном поддержании авторитета власти принадлежит не редактору, а самому Баландину. В редакции хорошо знают, что этот человек чрезвычайно внимательно следит, каким шрифтом набрано его имя, на каком месте расположена его речь на полосе, насколько полно она дана. До Б. все общеполитические абзацы в речах сокращали до минимума, оставался конкретный, местный материал. Теперь же общеполитическая часть фактически не сокращается.

5.11.77.

Сообщили, что вчера Каррильо уехал из Москвы. Наши не дали ему выступить на торжествах. Все это в нашем государственном стиле. Они думают, что это признак силы, могущества: что хотим, то и делаем; как поступим, то и правильно. На самом же деле запреты такого рода — признак слабости, неуверенности в себе.

Наш знакомый, вернувшись с очередной учебной сессии в Высшей партийной школе, рассказал, что слушателям партшколы теперь уже не продают в киоске (в вестибюле ЦК партии) журналов “Америка” и “Англия”. Чтобы все-таки купить их, он просил об этом преподавателя.

“Неделя” перепечатала из “Комсомольца Кубани” очерк о кубанской крестьянке, посмертно награжденной орденом Отечественной войны первой степени <…> Один из ее сыновей был замучен и повешен в годы Гражданской войны, другой погиб под Халхин-Голом, шестеро не вернулись с фронта Великой Отечественной, и вот Николай умер последним. Когда автор очерка впервые увидел Е. Ф. Степанову, она жила в старом своем доме — мазанке с камышовой крышей, там же, где жила до войны и где росли ее мальчики. Муж ее был одним из энтузиастов новой власти, и дети шли по его стопам, были комсомольцами, активистами, один успел стать учителем, другой — инструктором райкома, третий служил в армии. Т. е. это была семья, верой и правдой служившая новой власти. Вот я и думаю: что означает эта посмертная награда орденом (лет через десять после смерти), что означает дом-музей Степановых в Тимашевске, улица их имени, заложенный в честь Матери памятник? Какое же горе носила в себе эта старая женщина и есть ли слова в нашей речи, способные его выразить? И какое право имело государство взять на войну семерых сыновей из одного дома? И какой же безмерной кровью оплачено все то, что является сегодня нашей российской жизнью.

А писатели обдумывают роль и характер товарища Сталина — те же Стаднюк, Проскурин, наш Корнилов всё опасаются, что обидели, недооценили, возвели напраслину. И такое неустанное и давнее идет благодарение — всем начальственным лицам, что рядом с этой безостановочной хвалой, с этим океаном лести, — доброе слово народу, о народе, о той же несчастной матери едва слышно. И как оно опаздывает, такое слово. Трагедия семьи Степановых — трагедия народная; вот так плата, вот так взнос в победу и торжество. Была война для того же Сталина, война для какого-нибудь маршала и генерала, война для Алексея Толстого или Константина Симонова — и война для жителей Хатыни, для

Януша Корчака, война для Е. Ф. Степановой, и еще многие другие войны, — какие же они могли быть чудовищно разными...

Вчера Тамара была на торжественном праздничном собрании во Дворце текстильщиков. Говорили, что там будут продавать хорошие книги, на самом же деле ничего для нас она не нашла <...> Жены начальства (т. е. секретарей) явились в панбархатных платьях, в таком же платье была и ткачиха Плетнева, уже многие годы сидящая только в президиумах. Старый (80-летний) большевик Хрящев пытался читать свою речь с помощью лупы, но ничего у него не получалось. Тогда Баландин, обратившись к нему на "ты", сказал, чтобы тот говорил без бумаги, но старик сбился и так с горем пополам и закончил свое выступление.

Секретарь горкома комсомола и гость из Болгарии, из города Самокова, начали свои выступления с обращения к Баландину ("Дорогой Юрий Николаевич!") и лишь потом обращались к залу, в котором сидели тысяча двести человек. Это что-то новое в здешних торжественных процедурах, или я просто отстал. Когда в самом начале президиум вышел на сцену, то он долго стоял и аплодировал, и было такое ощущение, что президиум ждет, что зал в ответ тоже поднимется. Но зал оказался недостаточно воспитанным, обученным, и никто не поднялся.

Председательствовал на собрании второй секретарь Суслов, и все аплодисменты на протяжении собрания начинались с него. И аплодисментов было много, их вообще сейчас много, словно шум именно этого рода особенно поднимает самочувствие народных масс. Припоминаю рассказ кого-то из обкомовцев, как в начале своей здешней карьеры, явившись из недр цековского аппарата, Баландин выразил неудовольствие тем, что, когда ему предоставляют слово, в зале нет аплодисментов. И тогда было решено, что инициативу должны проявлять члены бюро (они всегда сидят в президиуме). С тех пор и пошло. Разумеется, Баландин хлопотал о престиже первого секретаря. Но в этом случае аплодисменты должны вовсе не сообразовываться с возникающей на трибуне личностью, выходит, что личности вовсе может не быть, лишь бы было некое физическое тело на этом месте.

8.11.77.

Может, так было всегда? Жизни не хватает здравости. И еще — достоинства и честности. Или надо сказать точнее: жизни общества, то есть всему, что не является частной жизнью. В частной жизни может происходить все, что угодно, но это чаще всего скрыто от глаз, и там свои законы. Да, жизни, обступающей человека и дом человека, не хватает здравости, и никакой

радости от того, что ты это чувствуешь, нет. Это скорее страшно. Нет здравости — нет духовного и нравственного здоровья. И первый признак тому — ужасное обращение со словами. Бесцеремонное. Будто слова полые и не имеют своего давнего смысла и применять их можно как угодно, как заблагорассудится. Вот, например, говорят “великий человек”, но слово — не орден, который можно прицепить на лацкан пиджака и никто не задумается, что он означает, слово требует подтверждения и не позволяет забывать о своем смысле. Те же, кто не беспокоится о “подтверждении”, надеются на положение говорящего и провозглашающего: никто не посмеет, не дерзнет оспорить и перечить. По крайней мере сегодня не посмеет, а до завтра надо еще дожить.

Впрочем, все, наверное, проще: они привыкли, что все сходит с рук, что ответственность слова невелика или же ее вообще нет. И потому со словами можно делать все, что захочешь, все, что нужно. Безобидная была бы игра, но от слов страдают люди, миллионы людей. Конечно, человек вырабатывает иммунитет, возникают разного рода защитные реакции против пустых и плохо обеспеченных слов, и есть словарный запас, не поддающийся девальвации, и все-таки это печально и очень серьезно, когда слова легчают в весе и пусто гремят. Очень громко гремят.

Где взять силы, Ваша честь?..

10.11.77.

На днях из Вильнюса прислали октябрьскую книжку журнала (на литовском языке) “Пяргале” с переводом моей статьи о К. Воробьеве из “Нашего современника”. В бандероль было вложено и очень доброе письмо редактора журнала Ю. Мацявичюса. Было и приятное известие (из “Дружбы народов”) от Е. А. Мовчан о том, что статья о В. Семине принята без правки. Все это, конечно, помогает жить. Человек я не избалованный успехом <...>

13.11.77.

<...> секретаря областного Общества охраны памятников старины и культуры (женщина лет сорока с небольшим, жена архитектора Лени Васильева) заметили в церкви во время службы. Ей предложили подать заявление об уходе с работы по собственному желанию. Она сгоряча было согласилась, но наутро передумала и ничего не написала. Через несколько месяцев ей напомнили. Но она сказала, чтобы увольняли сами, если есть за что. На это начальство не пошло. Сейчас она продолжает работать. Прошли перевыборы, и она была оставлена в прежней

должности. То ли не решились во всеуслышанье объявлять, за что ее желательно устранить, то ли были другие соображения. Изменилось лишь одно: раньше эта женщина показывала достопримечательности города гостям высокого ранга, теперь обходятся без нее.

Из статьи Р. Г. Скрынникова “Загадка древнего автографа” (“Вопросы истории”, 1977, № 9): князя Петра Щенятева “живьем зажарили на огромной сковороде”, а казначей Фуников был живьем сварен в кипятке. Речь в статье идет о правке, внесенной в некоторые летописи времен Ивана Грозного; об авторстве этой правки. В некоторых случаях Скрынников делает вывод о “некомпетентном, властном вмешательстве высокопоставленного публициста в летописную работу”.

У нас не любят аналогий, но без аналогий ничего нельзя понять в том, что происходит с людьми и государством, нельзя уяснить, что унаследовано и от кого и какие силы настойчиво на протяжении столетий пробиваются в этом пространстве и в этом этносе.

Сегодня в “Правде” на видном месте на второй полосе, где обычно размещаются материалы партийного отдела, статья зам. министра внешней торговли СССР Ю. Брежнева. В обзоре газет в девять утра сказали об опубликовании статьи Юрия Леонидовича Брежнева. Обычно в обзорах ни имени, ни отчества автора не называют — не принято. Но вот бывают исключения.

Уже больше недели, а может быть, и дольше в городе нет электрических лампочек <…> У нас в люстре из трех лампочек перегорели две. Так и сидим при включенной настольной лампе. Я шучу: чему удивляетесь? Все идет как нужно. Так было задумано.

15.11.77.

Сегодня еду в Москву: заседание критиков в “Нашем современнике”. К тому же просят быть в издательстве “Современник”. Лучше бы, конечно, никуда не ездить, да и от посещения издательства я не жду ничего хорошего.

Читал вчера вечером рукопись воспоминаний Л. Китициной “Материалы для биографии Василия Ивановича Смирнова (1882 — 1941)”[54] <…> Если будет время, некоторые страницы постараюсь перепечатать на память. Лишний раз убеждаешься, что более всего уважения заслуживает человек работающий, не служащий, не отбывающий номер, не зарабатывающий на кусок хлеба, а работающий с полной отдачей, знающий свое назначение и осуществляющий себя. Читал Китицину, ее очень сдержанный и благородный рассказ, где главное — факты и сведения, и быт

лишь прослаивается, и она не дает ему воли, — и думал, как мало знает современный советский человек о том, как жила его страна в пред- и послереволюционные годы. О том думал, что и по литературе нашей, за редкими исключениями, о двадцатых — тридцатых годах истинного представления себе не сложишь. Вся надежда, что сохранятся такие вот документальные свидетельства и когда-нибудь состоится возвращение в канувшую эпоху и канувшим людям. Какой там материал, какая там бездна. Судьба юных краеведов братьев Вадима и Валерия Беляевых (костромичей), судьба чухломского краеведа Л. Казаринова, самого В. И. Смирнова — сколько горя, беды, сколько стойкости, сколько правды о времени и о человеке в его тисках.

Я часто употреблял в статьях выражение “жизнь большинства” или просто “большинство”. Сегодня вычитал, что это выражение употребил Достоевский, говоря о жизни, остающейся вне пределов романов Тургенева, Гончарова, Толстого. Изменилось, пожалуй, за это время содержание того, что можно было бы назвать меньшинством. Но смысл расхождения и несовпадения остался, по сути, прежним <…> тут не сословный признак важен, для меня жизнь того же В. И. Смирнова, Л. Казаринова и многих-многих других, едва ли не всех, упомянутых в этой книге, т. е. рукописи, и есть жизнь большинства, тоже жизнь большинства. Когда говорят о “толще” жизни, имея в виду жизнь человеческих множеств, то не преувеличивают. Жизнь и вправду многослойна, но ее “толща” расширяется к основанию, как пирамида. Если же сравнивать течение жизни с течением реки, то к “большинству” можно было бы отнести самые медленные, глубинные, то есть самые независимые от поверхностных изменений слои.

Сравнивать бытие разных слоев — значит обнаружить разные миры, разные языки, разные нравственные ценности. Но самое печальное, самое страшное в этом несовпадении, что не-большинству выгодно придумывать и навязывать всем остальным, настоящему и будущему, свое обозначение и объяснение событий и людей, свое истолкование исторического процесса. То, что не выгодно, в расчет не берется; то, что еще хранит частная, отдельная память (той же Китициной или Неймарка, бывшего посыльного при советском посольстве во Франции в 20-е годы; по моему совету он сдал свои воспоминания в архив, а какую-то их часть мы напечатали в “Северной правде”; вскоре он умер — старый, одинокий еврей), не становится общей памятью. И еще мучает: сколь же мала и беззащитна отдельная человеческая жизнь, сколько охотников на свете ею распорядиться, ею управлять, ею манипулировать, и при этом с чувством своей

правоты, своего превосходства, своего могущества, которое не знает предела. Они ведут себя так, словно замещают на земле самого Бога. Не Бога, а дьявола.

Вчера же начал свой спецсеминар по современной прозе на четвертом курсе пединститута. По средам же буду читать спецкурс по той же прозе и еще критике. Это то же самое, что я делал в прошлом учебном году. В октябре, т. е. недавно, я прочел лекций восемь на пионерском факультете. Может быть, к случаю я запишу некоторые впечатления о студентах. Сейчас же я вспомнил об этих лекциях потому, что удивила небрежная организация занятий на этом факультете. Переносы, перемены в расписании там производятся без согласования с преподавателями; во всяком случае — со мной. А когда я пришел на очередную лекцию, оказалось, что студенты отбыли на месячную практику. И заплатить за лекции тоже не позаботились. Деньги там маленькие, но из приличия хотя бы стоило им позаботиться. За них это сделал Ю. Лебедев, зная, что я об этом сам хлопотать не стану.

Вообще же эта запись вызвана тем, что занятия я вчера проводил не в аудитории, а на кафедре литературы, где-то в дальнем и глухом коридоре опустевшего полутемного здания. И было там очень уж неуютно, неудобно, словно сидишь на приставном стуле, и даже подумалось: вот удобное место, чтобы скрытно поставить магнитофон и записывать, что этот давно примеченный нами тип говорит неискушенным студентам. К тому же, едва я начал, зашла какая-то женщина и попросила разрешения что-то взять в своем столе и рылась там. Попросила разрешения — это, конечно, не совсем точно. Она просто сказала, что возьмет нужное ей. Скорей всего, это — мои домыслы, работа уставшего за день, раздосадованного воображения, но и то, что оно склонно работать в этом именно направлении, — тоже показательно. Сколько же этих разговоров о подслушивании происходит в нашей среде, и не потому, что от страха глаза велики, а от будничной уверенности, что все подобное возможно, и если этого нет, то от нехватки аппаратов, от нехватки средств — на всех не напасешься. Во всяком случае, приходится иметь в виду и такой вариант... просто знаю, что все зависит от интерпретации. Просто я приучен к тому (читали же наши письма), что гарантий не существует, и это очень будничная мысль, элементарная[55].

20.11.77.

Вчера около двенадцати ночи вернулся автобусом из Москвы. Шестнадцатого заседали в “Нашем современнике”: члены

редколлегии и авторы критического отдела. В тот же день ездил в издательство (“Современник”) <…> Восемнадцатого встречался с Л. Лавлинским (накануне он разыскал меня на Волгоградском по телефону). Он назвал вакантные должности: заведующего отделом русской прозы и ответственного секретаря, намекнул, что в перспективе он мог бы предложить мне пост заместителя редактора <…>

Я припомнил все прежние случаи, когда что-то грозило перемениться: разговоры (в том числе и с редактором Войтеховым) о переходе в “РТ”; направление на учебу в Академию общественных наук (от которого я отказался); предложение работать в “Правде” и беседу с Н. Потаповым (я послал письмо с отказом, хотя тогда-то квартира была бы обеспечена); предложение ехать в Прагу в журнал “Проблемы мира и социализма”, беседу с К. Зародовым (и неясное по мотивам отклонение моей кандидатуры в инстанции, оставшейся неизвестной; О. Лацис утверждает, что повинен обком партии, давший не ту характеристику моей личности, я же до сих пор не знаю, так ли это)[56]; предложение заведовать отделом в журнале “Журналист” (правда, без квартиры, через обмен жилплощадью), предложение устроить меня в “Московскую правду” к Спиридонову чуть ли не заместителем редактора (исходило от Лени Кравченко, работавшего тогда инструктором ЦК партии; Спиридонов же — бывший секретарь вузкома комсомола МГУ, который меня знал по пятьдесят шестому году, да и я его припоминаю); предложение С. Викулова заведовать критикой в его журнале (пресеклось где-то на уровне С. Михалкова или Ю. Бондарева, для которого я сижу “на двух стульях”; а может, пресеклось где и пониже). Все ли перечислил — уж не помню, да не в том суть. А в том, что все это было, и не раз, и нет во всем этом ничего серьезного. Все пустое. Было бы за чем ехать, давно бы уехал.

22.11.77.

Все-таки в “Нашем современнике” я чужой или получужой. Леня Фролов после заседания говорит мне: “Жаль, разговор скомкали. Ребята собираются (т. е. вокруг журнала) хорошие, умные”. А я в ответ что-то пробормотал ему насчет того, что странные все-таки эти заседания и не знаешь, что и как говорить и насколько подробно. Вежливый я, однако, человек и не могу огорчить человека, который доброжелателен ко мне и не раз это доказывал. А потом я шел по Новому Арбату и думал, что мало хорошего в тех ребятах, во всяком случае в их речах. В отличие от меня, они прекрасно понимали, где выступают и чего от них

ждут.

Лариса Б. вернулась на работу в архив. На собрании секретарь парторганизации рассказывала о том, как была оценена колонна демонстрантов-архивистов на празднике 7 ноября. В обкоме были сделаны такие упреки: когда был провозглашен с трибуны лозунг в честь архивистов, колонна откликнулась недружно и слабо; во-вторых, очень низко несли плакаты и портреты.

Виктор рассказывал о некоем человеке, который пошел работать начальником какой-то конторы, но карьера его не задалась, потому что без особых на то оснований его из Степана Ивановича переделала народная молва в Стакана Ивановича и он ничего не мог с этой молвой поделать.

25.11.77.

“Сов. писатель” дал отсрочку до 1 февраля, а работы у меня еще много, хотя я не ленюсь и спешу. Дни стоят теплые и мокрые, и зима, должно быть, будет лютая. Вчера по телевидению был фильм о Шкловском “Жили-были”; слава Богу, догадались снять старика, прежде чем канет, — ни голоса, ни улыбки. Такие передачи — редкость; видеть живого человека, думающего, вспоминающего при нас, смеющегося довольно, когда удастся сказать точно и метко, рассуждающего так, как он привык и может и считает нужным. И мелькнул даже портрет Мандельштама, и прочел Виктор Борисович несколько строк. Я часто думаю: какие богатства нашей культуры под спудом, какие люди — хранители и преумножатели культуры скрыты от глаз и какие респектабельные манекены болтают перед телевизионными камерами о большой политике, прикидываясь, что говорят умное и свое. Шкловский сказал, что искусство нетерпеливо, но несколькими минутами раньше призвал к терпеливости: вот Горький в голодные годы составлял проспект издания лучших произведений мировой литературы, а дождались мы этого издания через пятьдесят лет. Что ж, мы чересчур терпеливы, всё ждем и ждем и привыкаем ждать, и ожиданье оказывается нашей национальной добродетелью. И вот на радость промелькнул портрет Мандельштама, вот однажды из- дали его стихи, вот мелькнула сегодня статья в “Правде” к 90-летию Н. И. Вавилова. Никто не несет ответственности за то, что их давно нет. Никто не виноват. Издержки производства.

1.12.77.

Зима началась позавчера. До этого было тепло. Чересчур тепло. Сегодня уже морозно, скрипит снег, тянет дымком.

Двадцать девятого было партсобрание. Корнилов объяснял нам устройство жизни: что, отчего, почему. Он может объяснить что угодно. В частности, он сказал, что американцы еще в шестидесятые годы научились управлять климатом, и очень ясно намекнул нам, что все засухи и несуразности в погоде последних лет связаны с империалистическими происками. Я слушал оторопело.

9.12.77.

Приехал И. Сапов из Москвы, где был на выставке "Интерпресс" и ее обсуждении. Рассказывал, что на многих фотографиях представлен наш Председатель. На обсуждении с докладом выступал Гаранин и говорил, что после развенчивания культа личности советская фотография пошла в гору или что-то в этом роде. И тут Сапов не выдержал и с места выкрикнул: "После которого культа?" И разразился общий смех. Гаранин немного смешался, но объяснил, что имел в виду известное постановление и т. д. Сапов рассказывал и посмеивался: думал, говорит, прямо с заседания отведут куда следует.

Он же вечером, накануне похорон Василевского, у Охотного ряда видел, как репетировалась вся процедура похорон: маршировал эскорт, ехал лафет, т. е. бронетранспортер с лафетом (так, что ли?), и засекалось время.

Редактор "СП", этот бледно-розовый иезуит, говорил на редколлегии о происках церковников. О том, что когда руководство (возможно, редактор был в числе) явилось в театр на похороны А. А. Образцова, главного режиссера, то увидело на крышке гроба большой крест. И тогда, сказал редактор, гражданскую панихиду отменили. Вот что значит в наши дни всемогущее руководство. Везде наш пострел — успел. Кстати, Алексей Алексеевич, судя по его речам в театре, по единственному спектаклю, который я видел, был, что называется, большевиком. И крест этот — или знак предсмертной сдачи, или просто воля родни. Впрочем, жена у него была еврейка.

И. Ф. Клеевицкий (начальник облкниготорга) рассказывал мне сегодня о том, как допекают его всякие начальники из-за книг. В том числе секретари обкома. Я говорю Клеевицкому: так они же получают списки новых книг и нужно только вовремя поставить галочки и отослать. Списки-то они получают, сказал Клеевицкий, но галочки часто ставят не там, где нужно, а потом, прослышав, начинают хлопотать. Тупиченков, к примеру, чтоб ничего не упустить, отдает теперь этот список в свой отдел (агитации и пропаганды), и там дружным умом ставят галочки. А как-то позвонил второй секретарь К. И. Суслов и попросил

достать “пять Пикулей” (имеется в виду сборник исторических рассказов Пикуля). Когда же председатель облисполкома К. И. Донцов обнаружил, что когда-то, лет десять, а то и больше назад, он не выкупил какого-то тома какого-то издания, то дал Клеевицкому машину и отправил его в Москву на добывание недостающего тома. Клеевицкий сделал все, что мог, но не добыл. А чтобы убедить Донцова в серьезности своих усилий, он привез официальный ответ от какого-то крупного книготоргового начальника, что достать этот том сейчас не представляется возможным. Клеевицкий жаловался, что все дела теперь приходится устраивать с помощью книг и преподносить книги строителям, автотранспортникам и т. д. Да и в Москву, сказал, приходится возить книги, чему я удивился, а он только подтвердил, что приходится, причем, как я понял, собственному начальству.

Молва о том, как пьют: привезли, говорят, в сельский магазин двадцать ящиков водки, пришли двадцать мужиков и купили по ящику, а когда прибежал двадцать первый, ему не досталось ни бутылки.

Другая молва: запас сахара в стране должен быть трехгодичный, но у нас якобы, после повышения цен на водку, он сократился до одногодичного, так как усиленно гонят самогон <…>

Сегодня шли из института вместе с Юрой Лебедевым. Разговаривали на вечную тему: что будет дальше? Я сказал, что русская интеллигенция еще сто лет будет перетирать веревки.

На обложку новой книги Евтушенко (“В полный рост”, М., 1977) вынесены слова: “С нас многое спросится эпохой и вечностью. Мы — первая просека всего человечества”. Они произносятся поэтом с гордостью, торжественно. Но просека — это коридор, прорубленный в лесу. Если исходить из сравнения с просекой, то выходит нечто отталкивающее: то ли “мы” прорубали “просеку” в человечестве, уничтожая (вырубая) какую-то его часть, то ли “мы” прорубили “просеку” в своем народе, и то и другое — чудовищно. Осталось “просеками” разделить человечество на “квадраты” и установить надежную охрану: пустить “объездчиков”.

18.12.77.

Кажется, позавчера западное радио сообщило о смерти в Париже Александра Галича.

Опять тепло, середина декабря, а температура плюс один.

Печаль, что время спешит. Художники — как птички, слетающие с ветвей на ладони власти, которая подкармливает, и

чувствительно вздыхает, и умиляется. А потом ладонь сжимается — хвать.

22.12.77.

В редакции услышали “туркменскую” поговорку: годы подъема дают много героев, годы упадка — много начальства. В диетическом магазине, где не было ни творога, ни сливочного масла, раздраженный немолодой мужчина обронил: “Не по Леньке шапка”. <…> На областном собрании физкультурного актива представители из районов говорили о том, что нельзя ждать никаких результатов от штангистов, потому что спортсмен в районе, даже в областном центре, не может поддерживать необходимый режим питания. Все запасы пищи, которые я привез из Москвы, закончились; осталось немного корейки. Я понимаю, что все это можно стерпеть. Когда Слава Сапогов огорчился, увидев в продаже только синие лампочки (у него уже в комнатах темно), я ему сказал: “А ты не огорчайся, ты смейся, потому что, может быть, так и было задумано”.

Во время шестинедельной забастовки английских пожарников погибло в огне четверо детей. Пожарников заменяли солдаты, и они не смогли спасти этих детей. Конечно, это случайность, но борьба этих пожарных за повышение зарплаты оказалась ничтожной в сравнении с происшедшей трагедией. Тут даже знак какой-то есть; через детей в мире налагается запрет на многие вещи, и люди, переступающие его, не оправдаются.

28.12.77.

Сегодня я понял, что, возможно, написал бы совсем хорошую работу о Быкове, если бы переписал ее еще дважды. Теперь же я должен завершить ее, переписав один раз. Конечно, я надеюсь написать хорошо, иначе не стоило браться. Но из-за этой работы душа все время в напряжении, легкости в жизни нет.

Близок Новый год. Сегодня подумал о том, что жизнь мимолетна и нам только кажется, что нам повезло больше, чем бабочкам-однодневкам. <…>

Приближение праздника чувствуется во всем: несут елки, в пять вечера на улице выстраивается очередь за маслом, по конторам (служащим) продают мясо по килограмму, низшей категории. Значение пролетариата как авангарда сказывается в том, что рабочим выдают тот же килограмм, но двухрублевый. <…>

Кажется, восстанавливаются наши отношения с Оскоцким. Я на самом деле виноват перед ним: и о книге его не написал, и письмо весной дурацкое ему послал. Что кривить душой: весь

этот популярный ныне антисемитизм мне абсолютно чужд, а я в письме, словно дразня, обронил несколько сочувственных слов о Селезневе, хотя, когда гуляли у “Волгаря”[57], весь разговор Селезнева и Машовца крутился вокруг происков сионизма. Больше разговаривать было не о чем. Что винить себя нам, русским, поищем козла отпущения на стороне. Тем более, что это вполне безопасное занятие и при случае премией Ленинского комсомола не обойдут.

Вот разговор о “еврейском вопросе” в Ясной Поляне, о котором рассказывал Иван Наживин (“Русская мысль”, 1910, № 12, с. 112):

“Врач Льва Николаевича Д. П. Маковицкий подметил, что русская передовая пресса усиленно избегает говорить дурно о евреях, замалчивает даже и заведомые недостатки; это неприятно удивляло его.

— Это очень понятно... — сказал я. — Кроме общего гнета, евреи у нас в России терпят еще гнет специальный, и поэтому со стороны прессы понятна эта деликатность по отношению к ним. Это очень благородно.

— Конечно, — согласился Лев Николаевич. — Побитого не бьют...

— Из ваших слов, — заметил я д-ру Маковицкому, — я вижу, что для вас существует так называемый еврейский вопрос. В чем же его сущность?

— В грубом эгоизме евреев.

— Как же бороться с этим?

— Средство одно: всюду и везде противопоставлять им мягкость и свет христианской жизни...

И Лев Николаевич, и я не могли удержаться от смеха.

— Согласны... Согласны!.. Только не одним еврейским эгоистам, а всем, всем эгоистам!..”

Перелистывал “Русскую мысль” (читал о Толстом) и думал: вот был же возможен такой журнал большого объема и самого серьезного направления. Теперь такой журнал непозволителен; подобного отклонения от стержня партийной политики, близкого отклонению “Русской мысли” от тогдашнего официального стержня, никто сейчас не допустит. Им страшно.

Читал статью Э. Ренана “Несколько слов о состоянии умов в 1849 г.” (Собр. соч. в 12-ти томах. Т. 4, стр. 78), где очень отчетлива мысль о том, что свобода не является условием активной духовной деятельности человека, его борьбы. “Истинная идея не требует позволения, она мало заботится о том, признается ли ее право или нет. Христианство не нуждалось ни в свободе печати, ни в свободе собраний, чтобы покорить мир...”

“На силу интеллектуального развития не оказывают большого влияния ни благосостояние, ни даже свобода, а только вид великих событий, всеобъемлющая деятельность, страсти, развиваемые борьбой. Духовная деятельность будет находиться в серьезной опасности только тогда, когда человечество будет жить в слишком большом довольстве. Но нам нечего бояться, что это время близко от нас!”

31.12.77.

Нельзя осуждать тех, кто рисковал (Радищев, декабристы, народовольцы и т. д.), если ты сам не рисковал. Осуждать как заблуждающихся, недалеких фанатиков. О действующих уместнее (нравственнее) рассуждать действующим, а не умствующим. То есть оценивать можно, но тут есть грань; только отдавая должное, с уважением, иначе будет ложь: всегда можно подумать, что ты оправдываешь свою слабость, свой страх.

(За чтением книги М. Гилленсона “От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей”, Л., 1977, где речь, в частности, идет об отношении к Радищеву — Дашковой, Пушкина. Поразительно, как много неприязни у Дашковой к Ушакову, герою первой книги Радищева, — причем раздраженно-мелкой.)

14.1.78.

Вечером первого января я получил повестку, приглашающую назавтра в военкомат. Некоторые из моих товарищей по начавшимся третьего числа очередным сборам говорили, что получили повестки тридцать первого. Я подумал о том, что в этих повестках был своего рода знак: мы о вас не забываем, не заноситесь, стоит нам захотеть — и вы в наших руках. Подумал же кто-то, чтобы повестки пришли к людям в праздник. Никто никогда не ждет от повесток хорошего; словно нарочно хотели омрачить наши души.

Сегодня я наконец отмаялся: так называемые сборы офицеров запаса — командиров мотострелковых рот — закончились. Занятия проходили в расположении десантного полка. Рассчитаны они были на одиннадцать дней. Первый же день показал, что сборы были подготовлены плохо. В полку до нас никому не было дела. Так называемые лекции, которые нам “читали” офицеры по должности не выше командира роты, в двадцать — тридцать минут умещались и состояли из беглых сведений об оружии (новом), о десантировании и проч. Старшие лейтенанты, как правило симпатичные ребята, смущались и говорили вначале что-нибудь в таком роде: “Мне только что сказали прочитать вам лекцию, и я не смог специально

подготовиться, у меня, конечно, есть конспекты (показывает), по которым я выступаю перед солдатами. Но может быть, будет лучше, если вы зададите вопросы?" Но и таких "лекций" было всего три. Обычно мы уходили домой, отсидев в полковом клубе большую часть времени в ожидании очередного оратора, в половине шестого. Однажды мы ушли вообще никого не дождавшись.

Однако человек, порадовавший нас повестками под Новый год, не дремал. Начальник третьей части военкомата майор Шалаев целую неделю являлся в полк сам и пытался хоть чем-нибудь нас занять. Когда "лекторов" больше не нашлось, он затеял соревнования по одеванию противогаза, чтобы мы укладывались в норматив: семь секунд. И вот господа офицеры запаса (от лейтенанта до капитана) в возрасте от тридцати с лишним до пятидесяти (старшие инженеры, директора предприятий, заместители директоров, преподаватели вузов, музыканты и один рабочий — немолодой грузчик из магазина "Универсам", являвшийся каждый раз с бутылкой за пазухой, — он охотно ее демонстрировал) впопыхах натягивали на себя эти резиновые маски, чтобы получить в журнале майора какую-нибудь оценку. Один из нас — человек лет пятидесяти — ухитрился маску порвать. Вывозил нас майор и на стрельбы (это всегда наиболее организованная часть сборов) в Песочное. Из пулемета я попал в одну мишень из трех, из пистолета — промазал.

Кто хотел, настрелялся вдоволь: патронов было взято на тридцать два человека, таков был первоначальный состав группы, но ходило нас человек двадцать, — майор сказал, что патроны нужно израсходовать все. Ну и расходовали.

Сегодня нам на плацу показывали технику и вооружение полка, а вчера майор придумал для нас прогулку: сопровождаемые отделением солдат и двумя лейтенантами, мы пошагали в лесок за ипподромом, где обычно гоняют мотоциклисты, и там "отрабатывали" развертывание роты с марша при соприкосновении с противником. Треть из нас была в валенках, остальные в ботинках. И вот, разделенные на три взвода, мы развертывались в цепь в глубоком снегу. Дважды. Майор был одет, сообразно задаче, в удобный комбинезон. Я вернулся домой промочив ноги и с мокрыми до колен брюками. Не в том дело, что боялся простуды или в тягость была вся эта прогулка. Плохо, что все сборы от начала до конца носили формальный, символический характер; основное в них — напоминание людям, что они подвластны могучей надличной силе, которая вправе ими распоряжаться как захочет. Захочет — и

погонит через поле, через глубокий снег — без смысла, без пользы; не надеялся же майор обучить нас по-солдатски рассыпаться в цепь в два приема; да и не думал же он, что это такая хитрая премудрость, что мы ее, случись нужда, не освоим тотчас. Но ведь был, должно быть, у него и такой интерес: как же, уважаемые, солидные люди, образованные, многоопытные, а вот повинуются, бегут, даже стараются, никто не задает неотразимого вопроса: зачем все это?

<…> И еще о военных делах. Нам показывали новые автоматы и ручные пулеметы с уменьшенным калибром пули. Эта пуля замечательна тем, что если она попадет в человека выше колена, то смертность от попадания — 90 процентов. Якобы в полку уже узнали ее действия. На учениях молодой солдат прострелил себе ногу и скончался. Эта прекрасная пулька, входя в ткани тела, начинает кувыркаться, и сквозная рана уже невозможна. “Если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой”, — припомнил наш майор и сказал, что песенка устарела. Рассказывали нам и о том, как во время маневров в Средней Азии, в жуткую жару, погибли от теплового удара два солдата полка — крепкие парни, разрядники. Это, как пояснил нам все тот же майор, — предусмотренный процент потерь, неизбежный для армии. Но можно думать об этих смертях и с другого конца — думать об этих оборванных бессмысленно жизнях, о матерях и невестах этих молодых людей. Вот бы майор представил своего сына в “предусмотренном проценте”. А он, кажется, готовит сына к военной доле: таскал этого мальчика-первоклассника на стрельбы и рассказывал, как сын у него тренируется стрелять из пушечки по игрушечному самодвижущемуся парку. Желал бы я этому сыну, чтобы он возненавидел всю эту военную забаву.

Все идет своим чередом. Стасик[58], воспроизведя настроения, распространенные в кожиновском кругу, говорил, что царь, видимо, необходим России. Что осталось делать бедным русским умам — все перебрать, во всем разочароваться и вернуться к убогой мысли о самодержавии. На здоровье. Пусть тешат себя. Эта идея никогда не возродится в народе, она противоестественна, и интеллигентские умы — единственное место, где она может обсуждаться.

<Без даты.>

Захваченная страна; сословие захватчиков; партия захватчиков; если “рабы не мы”, то кто же?

Бедный человек, бедный русский человек, такая короткая жизнь — и уже оприходована: изведут на дело.

Упирайтесь, красные кирпичи великой стройки, выпадайте из ихних рук в мягкую житейскую грязь.

Господи, как прекрасно небо, волна, кленовый лист, лицо сына, взгляд жены, тропа в лесу, ночь за письменным столом,

Господи, как прекрасны мгновенья свободы и любви,

продлитесь,

продлитесь,

растянем кольцо ошейника, выплюнем сахар, сжуем намордник,

положим на рельс виляющий хвост,

сбросим с плеча сосновую иголку и комариное крыло, это уже не наш дом.

23.4.78.

Была пустая или полупустая неделя. Два дня ушло на семинары т. н. областного совещания литераторов. Да еще трижды выступал с лекциями: в областной библиотеке, в школе, на всесоюзном семинаре профсоюзных школьных работников. Все требует трат: времени, нервов, прочего. И отказаться по разным причинам было нельзя, т. е. неудобно.

С возрастом время физически ощутимее и дороже. Впрочем, слово “дороже” бессильно выразить то, что за ним. И “ощутимость” — это не совсем то, что можно было бы определить как ускользание жизни, сокращение шагреневой кожи. Это какая-то возрастающая скорость движения времени. Когда сижу за столом, то со страхом оглядываюсь на часы: еще прошло полчаса, еще час и еще час. И так мало сделано!

Очень горько бывает оттого, что много времени прожито вполсилы, нам просто не дали и не дают жить в полную меру своих возможностей. Они не нужны тем, кто держит в своих руках власть. Могущество же этой власти ни с чем не сравнимо; ей все подконтрольно, она проникла повсюду и все подчинила себе, в том числе и закон. Все недостаточно ей послушное оттеснено и отграничено и ходу не получит. Впрочем, это давно понято, пережито, и послушание в нас не возрастет. Ничего уже не переменишь; выбор непослушания и отказа от карьеры был сделан сознательно. Плохо, что нереализованными остаются возможности множества людей; можно сказать — народа... Боже, не оставь моих мальчиков, помоги им.

9 мая.

Сегодня пришла весть об убийстве Альдо Моро. Это дело рук террористов из т. н. “красных бригад”. Вот какой дальний красный отблеск — “красные бригады”, “красная армия” (ФРГ) —

у нашего “красного дела”. Руководители многих государств выступили с резким осуждением этого убийства. Сомневаюсь, чтобы подобного рода заявление было сделано нашей страной. Притязая быть ведущей нравственной силой в мире (“ум, совесть и честь нашей эпохи”), наше государство избегает нравственных, моральных оценок; это откровенный прагматизм, преисполненный корысти.

Каждый день радио и телевидение передают отчеты о проходящих по всей стране читательских конференциях и “идеологических активах” по книгам “Малая земля” и “Возрождение”. На этих заседаниях выступают партийные руководители соответствующего масштаба: от секретарей райкомов до секретарей Цека. В Костроме на это обсуждение были собраны все секретари райкомов области и города и прочие из того же круга. Едва отсеялись (а может быть, не все еще и отсеялись), как вызвали всех — и уселись расхваливать ценнейшие произведения. Докладчик сказал, что сие — вклад в мировую литературу. Сидящие в зале разговаривали, читали газеты и книги. Если судить по теленовостям, то нет у нашего народа в последний месяц более важного дела, чем безудержная хвала, хуже того — безумная хвала, сочинениям и их автору. Ю. Каюров читает по радио главы из этих сочинений. Очень старается. (Да, конференция в Костроме названа была научно-практической.)

Будучи премьер-министром, Альдо Моро читал курс уголовного права в Римском университете; у нас это кажется немыслимым.

Вчера вечером у нас в гостях была Э. А. Лазаревич, заведующая кафедрой техники печати и еще чего-то факультета журналистики. Она приезжала с туристской группой на автобусе. Вспоминали, что могли... Элеонора Анатольевна говорила, какой я был бескорыстный и чистый тогда, в пятьдесят седьмом; она удивлялась, как долго помнят мне это бескорыстие. Наивное удивление.

Прочел “Неуемный бубен” А. Ремизова, чрезвычайно упрощенно истолкованный Ю. Андреевым в предисловии. Герой повести Стратилатов жил подле церкви Всех Святых. Вчера Виктор рассказывал (он читал дело в архиве) о том, как в начале тридцатых (1932?) разрушили эту церковь, обыденный храм. Секретарь горкома комсомола объявил тот день — Днем борьбы с Богом. Собрались люди, верующие. Секретарь с активистами забрался под купол, сказал оттуда речь о том, что Бога нет, и в подтверждение дважды плюнул в небо, и мир не пошатнулся. Но когда стали подпиливать колонны, чтобы сковырнуть купол, в

чем-то ошиблись, и купол осел и придавил двух героев. Один погиб тотчас, а секретаря горкома прихватило наполовину, защемило полтуловища. Примчавшиеся пожарники пытались его спасти, но не смогли высвободить — хоть рви тело. Тогда разогнали толпу, а несчастный каялся и просил у людей и у Бога прощения, да так и умер. Дело же было заведено на предмет изучения причин гибели: не было ли тут диверсии, не подпилил ли кто те столбы заранее. Эта церковь снесена была до основания — там теперь голое место, что-то вроде спортивной площадки.

19.5.78.

Дошло известие о смерти Виталия Семина “за рабочим столом” (некролог в “Лит. газете”). Трудно было поверить (глаза не поверили), да некуда деться. Заплакал, ходил по комнате, ругался, побежал давать телеграмму. Все непрочно, тонок лед под ногами; ты жив — значит, прав, вот и вся мудрость; написали вслед, какой он был хороший писатель. А ведь его война (и фашизм) дотянулись и забрали. И Лукины руку приложили.

В Костроме большой переполох: белят, красят, метут, подмазывают, разрушают и ставят заборы, латают асфальт. Видел высокий новый забор вокруг старого сарая с поленницами. Поглядел сбоку, а там, за забором, скамеечка и сидит старушка.

В понедельник приедет Косыгин вручать орден Костроме, оттого столько усердия. И деньги ведь сразу нашлись для всех этих побелок и латок. Шел сегодня по нашей улице, маляр красит забор у ветхого дома, и рядом стоит бабка и говорит, что в доме перекрытия ветхие, а маляр отвечает: вот проедут, увидят, что вокруг чисто, и больше ничего не будет, не жди.

Купил книжку стихов Кшиштофа Бачинского (перевод с польского). Родился в 1921, погиб в Варшавском восстании в 1944. Женился в сорок втором; его жена погибла в те же дни, похоронены в одной могиле. Трагические судьбы этого рода сильно действуют на меня. Тем более, что это судьба талантливого поэта. Я чувствую в такой судьбе что-то истинное; мы лишены этого истинного; торжествует умственность, отказ совместить творчество с жизнью, то есть трусость, слабость, безумные успехи в самооправдании.

Написал об Овечкине для Воронежа[59]. Когда-то Мартынов[60] произвел на меня большое впечатление. В том, что точнее всего назвать “грезами” (это не мечты; мечты еще могут сбыться, грезы — никогда), я представлял себя таким Мартыновым после окончания университета: такая была жажда практического дела и перемен, достигаемых с твоей помощью.

4.6.78.

Завтра тот перенесенный понедельник; утром прилетает Косыгин. <…>

Улицу Калиновскую какие-то безумцы выкрасили в бледно-желтый цвет, или, прошу прощения, в цвет детского поноса, как шутят шутники; выкрасили подряд все заборы и многие дома. Выглядело это ужасно — какая-то замазанная, забрызганная желтым улица, словно это какая-то единая казарма или концлагерь. Тем более, что улица эта одноэтажная, деревянная, полудеревенская, скучная, пропыленная. Вчера-позавчера улицу перекрашивали. Организована же вся раскраска-перекраска города так: распределили улицы, по которым пролегает маршрут Высокого лица, между предприятиями и сказали: красьте. Естественно, все было сделано, не без глупостей, но сделано. Работали на улицах и солдаты.

Уже сегодня можно было видеть, как проносился по улицам черный “ЗИМ” с занавесками, опережаемый двумя желтыми автомашинами ГАИ, откуда несся окрик: “На обочину!” Возможно, этот помощник премьера обследовал объекты. Все это похоже на спектакль, и театра вокруг так много, что пора вроде бы и привыкнуть, но и в этом театре хочется видеть более талантливых исполнителей.

Две недели назад, в субботу, Корнилов устроил встречу председателя облисполкома Донцова с писателями. Донцов приехал к двум часам, пили чай с лимоном и печеньем, он говорил, мы слушали, кто хотел — задавал вопросы. Я сидел молча. Донцов держался естественно, просто, он из тех, кто знает — и чувствует, — как себя держать. Толкуя о производстве молока, Донцов увлеченно говорил о том, что соски у коров “бывают различные, как по объемности, так и по выпуклости”. Это, мол, представляет затруднение для машинного доения. Говорил о том, что нередко возникает “стрессовая обстановка для скота”…

Раскладка сил итоговая такая: вот видите, как много, толково мы, руководители, работаем, помогайте же нам, пишите о том же и том же. Так бывает: человек скромен, уважителен, но излучает всезнайство — он знает все необходимые решения, его ничем не удивишь. Разве что у таких решений чересчур абстрактный характер, логически-самоуверенный. Всё-то они знают, это такое разделение труда; они знают и руководят не терпя прекословия; остальные должны послушно подчиняться. Не трогайте этих людей за живое! — иначе они вмиг забудут о своем демократизме и простоте, они тотчас укажут нам наше место — так, чтобы всю

жизнь мы помнили, что однажды на свою голову посмели... Вот ведь герои власти... Все время приходит, не дает покоя годами мысль: почему они так боятся — в своей стране, на своей земле, своего народа? Отчего так быстро носятся по улицам? Зачем огораживают трибуну в дни праздников шеренгой офицеров госбезопасности? Отчего так болезненно нетерпимо воспринимают мысль других? Отчего так оберегают от малейшей критики партийный аппарат, а также руководителей в любых сферах? Чего же они так боятся?

8.6.78.

Косыгин был в Костроме 5 — 6 июня.

Сегодня на исполкоме горсовета отчитывался костромской хлебозавод. Его там за что-то ругали и заодно припомнили, что завод не смог выполнить “спецзаказ” — испечь каравай для Косыгина (как же, хлеб-соль): пятнадцать раз перепекали, но не смогли. Наконец испекли в каком-то ресторане. Еще любопытная подробность: в Заволжье вдоль московской дороги тянутся газоны. Перед приездом Косыгина на газонах обрывали одуванчики — ходили два мужика с ведрами и обрывали. Говорят, что когда в позапрошлом году приезжал Соломенцев, то сделал замечание насчет сорняков (видимо, на газонах); так что теперь постарались. А одуванчики сейчас желтые, яркие, весна поздняя, все только-только раззеленелось, расцвело.

В день приезда, когда состоялось торжественное заседание, Косыгин был нагримирован — заседание телевидение показывало на Костромскую область, — видимо, для телевидения и был наложен грим. Но еще до заседания Косыгин ездил в опытно-показательное хозяйство и прошелся по улице. Грим был заметен, и Косыгин выглядел (цвет лица) лучше всего окружения. Но было в гладкости и розовости что-то физически неприятное. Что-то от благообразия человека, убранного в последний путь.

А вообще писать об этом скучно.

Помню перуанский фильм “Зеленая стена”[61]; давно я смотрел его, да не забывается. Там в параллельном монтаже шли кадры, изображавшие змею, подползавшую к мальчику, беззаботному и прекрасному, и кавалькаду черных лимузинов, несущуюся по дороге и петляющую вместе с ней (кажется, это снято с высоты было и одно напоминало другое). На огромной скорости все это, черное и поблескивающее, несется посреди улицы; какие-то наглухо закупоренные снаряды, стремящиеся к какой-то неведомой цели; только шелест, свист, рев моторов — пронеслось и кануло.

26.6.78.

— Батюшка, Алексей Николаевич, — сказала бабка, выглянув в окошко, — сделай милость, вели снести наш домик, заждалися.

Все давно прошло, а круги расходятся, да и что прошло, случилось ли что, — какое событие, однако? Что упало?

Все бедно, беднота, беднотища, — ничего нет; ничего — шум слов, аплодисментов, звяк орденов, — и ничего: бессодержательное, бессобытийное, бесцветное, обессоленное время.

Одно всемирно-историческое сменяется другим всемирно-историческим. И все происходит у нас, только у нас: монополия на всемирно-историческое. Об этом кричат газеты и дикторы, но устойчивое чувство: ничего не происходит. И ничего не может произойти.

Разве что — событие пьянства, событие болтовни, событие личного обогащения. Или событие холуйства, нового приступа старой болезни. Событий в этом роде — избыток, и скучно перечислять. И небезопасно. Но главное — что скучно. Противно.

В отсутствие некоторых ценностей вообще трудно поверить. Видишь: лица как лица, голоса как голоса, чины, звания, заслуги. А сколько значительности, гордого сознания своей правоты, своей роли, своего превосходства. Как тут предположить, что это мнимые величины или люди, начисто лишенные здравой самооценки, скромности, совестливости. Эти предположения заглушаются в нас непрерывным грохотом слов: человек сам себя перестает слышать. И все-таки, как ни трудно поверить, что попрано элементарное и нормальное, верить приходится. И может быть, острее всего ощущаешь потерю достоинства личности и личной мысли.

Телепрограмма “Время” (последние известия) — наполовину занята тем, что показывает нам людей, на наших глазах теряющих всякое достоинство, и прославляет таких людей. И никому не стыдно — во всяком случае, внешне; достоинство не ставится ни в грош. Самое удивительное, что эти люди не без выгоды теряют достоинство, и к тому же вам никогда не удастся укорить или дождаться их наказания — они нравятся всем правителям, и никогда не дождаться, чтоб их постигла опала. И никому не дадут сказать им правду в лицо.

4.7.78.

Почти пять дней (с 27 июня по 2 июля) мы с Никитой вдвоем провели в Шабанове. Автобус Кострома — Вологда для такого путешествия очень удобен. В Шабанове я не был семь лет.

<…> Перемена одна, от года к году — одна: трава выше,

кусты гуще, тропа незаметнее. Все зарастает, все пустеет. Куда-то перебирается, умирает, скрывается с головой. Во мне осталось как что-то целое, все собой обнимающее: и то, что видел, и то, что слышал и что почувствовал. И землю, по которой ходил, и людей, под чьим кровом ел-пил-спал, и все вокруг. Все зарастает, и нельзя же, невозможно сказать, что дело простое: природа, скажем, зализывает раны, и ей ни до чего нет дела: какая там эпоха и что творится с людьми. Она рада, что ей не препятствуют, вот и зализывает, припрятывая и людей. Однако все не так; человек уходит, унося свое барахло, и сам оставляет природе свою обжитую землю — свое прошлое, смывая его, будто и не было. А оно было, и если бы достало воображения, можно было бы, пожалуй, и ужаснуться: это какое-то обеднение и даже сокращение жизни.

Обе деревни (Шабаново и Поповкино) расположены прекрасно: не на холме, не на возвышенности, вровень с лесом, близко подступающим с одной стороны, но высоко — в другую сторону, на Обнору, и там-то, в заречной стороне, видно на полсвета, и никакого преувеличения в этом “полсвете” нет. Полсвета — это половина окружности, и вся эта половина — амфитеатром поднимающийся, далекий синеватый, туманный по окоему лес. Прекрасно чувствовать — глазу приятно физически, словно утоляется жажда зрения, — прекрасно чувствовать этот простор, эту свободу, эту глубину и даль. Шли от Поповкина к Обноре, и я думал, что когда-то основатели этой деревни увидели эту красоту, почувствовали эту волю, а теперь от нее отказываются, уже отказались, и она будет существовать все для меньшего числа людей, а потом и сама по себе, ничего от того не потеряет, но мы-то потеряем: можно и забыть, какова свобода и как просторна твоя родина.

Когда человек может окинуть взглядом полсвета, в нем непременно что-то происходит, он себя по-другому осознает в мире. И не затерянным ощущаешь себя в таком огромном пространстве — гордым, что ты это видишь и здесь идешь, здесь стоишь. А если живешь?

Ходили на Золотуху, на песчаную гору, что видна от Поповкина. Потому Золотуха, что этот левобережный, высокий, откос Обноры весь день почти залит солнцем и песок золотился. Сейчас не золотится, откос подернулся травой. Под горой, на правом, нашем, берегу, стояла мельница (“мельница на Золотухе”), два полупогруженные в землю жернова по сей день можно видеть. Об остальном (где стояла плотина, где дом мельника?) можно только догадываться, оглядывая землю вокруг себя, все эти ямы и всхолмия, поросли бурьяна, весь рельеф

местности. Но мельница-то была, и была здесь жизнь.

Так мало всего осталось в деревенском мире, но деревня не обходится без трагических событий, и кажется, что их случается здесь больше, чем в городе.

В день нашего приезда в соседней деревне Сомове были похороны. Молодежь отправилась в поход на Обнору, набрав водки и закуски. 24-летний тракторист уже ночью, в два часа, вдруг решил броситься в омут. Потребовал, чтоб ему помогли снять сапоги, и во всей одежде метнулся. На том все и кончилось. Бабушка Тася ходила на кладбище, рассказывала, что народу собралось много, и родни у парня полно, и отец с матерью живы, и начальство совхозное его уважало, и заведующий отделением речь сказал. Правда, говорит, и отец, и мать выпивали, да это же не редкость. На поминках тракторист Веня, дружок, заявил, что раз так вышло, то жить тоже не будет. Завел трактор — и к омуту на Комарихе (там тоже была мельница). Его товарищи тоже — на трактора и следом. Догнали его, когда он с разгону влетел в омут. Ну, они его, конечно, вытащили, да и он, видно, передумал, а потом ныряли, цепляли трактор тросом и всю ночь там мучились. Были мы после них на Комарихе: разворотили они там берег серьезно, а до того, судя по всему, было это заросшее, тихое место, — разве что тропки да кострища рыбаков...

А весной этого года случилась беда и в самом Шабанове: умерла старая женщина — было ей уже за семьдесят, а когда женщины увидели ее тело, то ужаснулись: была она вся истыкана шилом. И все отшатнулись от этого дома, и некому было ее обрядить. А мужа этой старухи, который довел ее до смерти, решили не трогать. И верно решили: через несколько дней он повесился. Был он пьющий и приворовывающий старик, побывавший в тюрьме. Бабушке Тасе он складывал поленницу и унес топор, и она не решилась спросить его о топоре.

Дед Федор убежденно говорит, что до революции и в двадцатые годы самогон в деревнях не гнали и пили много меньше. Жил Федор Яковлевич в селе Исакова Пустынь (там был монастырь), километрах в сорока от Шабанова, в Ярославской губернии. Было в семье пятеро сыновей и четыре дочери. Федор Яковлевич был старшим. “Батраком” пришлось быть, говорит он не без горечи и с обидой на отца. В двадцатые годы эта работящая семья имела свою кузню, ветряную мельничку и все тогдашние сельскохозяйственные орудия, кроме трактора, были у отца и ульи, и многое, видимо, он умел. И даже скрипку сам смастерил. Федор Яковлевич и сейчас подробно рассказывает, из какой древесины надлежит ее делать. Дед Яков сам вступил в коммуну и отдал все накопленное добро, даже мясо-солонину. “Мясо

сожрали”, а все остальное, как выражается Федор Яковлевич, “ушло дымом в небеса”. До революции дед Яков выписывал газеты “Сельский вестник” и “Биржевые ведомости”. А сосед выписывал “Ниву” и журнал “Новый мир” (так говорит Федор Яковлевич), и по вечерам семья собиралась у огня, и он читал вслух, а каждый занимался своим делом: шили, вышивали, вязали.

А к чему я все это? Да к тому, что жизнь была личностнее, что ли. Гуще и пестрее.

8.7.78.

Заходил после поездки в Москву Виктор. Ездил по делам краеведческим. Был у Лесневских, у Чумакова[62], когда-то, в двадцатых, поставившего в Костроме “Крест и розу”, танцовщика, принадлежащего к семье, владевшей Васильевским под Костромой (теперь там колония для малолетних преступников; а как прекрасно на высоком, обрывистом берегу над Волгой стоит барский дом). Рассуждали о выходцах из Костромы, о людях, связанных с ней, о Рязановских[63], о Ковальковских и др. И я подумал, как необходима не история событий, но история лиц. Первые хотя бы пишутся с пятое на десятое, вторых же — нет. И еще подумал, что люди бывают жизнью затасованы, как карты, — не найдешь где и краешком высунется.

19.7.78.

Хотелось бы думать, что поездка не сильно омрачит мою душу, как это часто бывает в Москве, да разве угадаешь.

Сегодня вечером густая черная туча приползла с северо-запада и повисла, а солнце высвободилось из-под нее и осветило сумрак комнаты тревожно и багрово: придавленный какой-то шел свет, словно туча прижимала его к земле, и не было от него светло, и угадывались в природе скрытые угрожающие человеку возможности, которые и здесь, в северной Руси, могут тряхнуть как следует наше существованье.

В Апокалипсисе предсказано, что небо свернется в свиток. Все остальное, что уготовано, кажется мне не столь страшным, как это. И как это — подлинно провидческим.

Смотрели от Малышкова на Кострому, на ту часть города, что по левобережью Волги продолжается за железнодорожным мостом. Панорама старой Костромы с Волги прекрасна; видно, что это — город людей, которые с умом выбрали себе место и с умом строились, не забывая о красоте своего деревянного и каменного становища; новая часть города — нагроможденье каменных строений — безобразна... Я и раньше замечал, когда

бродили по окраинам, как безобразны эти каменные нагромождения заводских корпусов, складов, баз и всей прочей всячины, когда смотришь на них чуть отстранясь — из поля, с пустыря. Если написать эти пейзажи, то они должны внушать ужас своей зловещей обездушенностью, какой-то исходящей от них опасностью — нарастающей.

6.8.78.

Позавчера мы с Никитой прилетели из Москвы. На “Як-40”.

Надо бы записать кое-какие московские впечатления.

Залыгин мне понравился. В нем нет совсем того, что отталкивает меня более всего: напускной значительности, вельможности. Слушать его было тем более приятно, что в его воспоминаниях и рассказе (а он, надо сказать, разговорился) было мало специально-литературного. То есть он выглядел человеком жизни, а не какой-то избранной касты. Это было и в его внешности, и в его манерах, и в интонациях. Потом я вспомнил, как наблюдал однажды на каком-то семинаре Вадима Кожевникова, и еще вспомнил фотографии, распространенные ныне в литературных газетах, с изображением писателей, заседающих, посещающих, вникающих, рассуждающих и как бы выделенных и отделенных от всех прочих, как правило безымянных, толпящихся, осчастливленных...

Ездили с Оскоцким в Переделкино.

Было пасмурно. От прекрасных сосен, бесконечных заборов и асфальтированных просек исходил стойкий дух привилегированности. Наш социализм без этого духа и не представишь. И культуру его тоже.

Были на могиле Пастернака и К. Чуковского.

Неподалеку могилы старых большевиков. Ровные ряды одинаковых надгробий — солдатское кладбище, подумал я тогда. Отсражались, отборолись, отстроились. Этой геометрией для них все закончилось. Они приходили сюда из расположенного поодаль пансионата и привыкали. Некоторые решили напомнить оставшимся и прохожему люду, что они были персональными пенсионерами такого-то значения. Слово “персональный” тоже из социалистического словаря.

Оскоцкие снимают в Переделкине на лето половину дома у какого-то шофера. Это уже вне писательского поселка. Но все-таки рядом, и можно “ездить в Переделкино” после работы. К тому же из Дома творчества привозят обеды.

Переделкино — это пример писательской сосредоточенности не на том и вокруг не того. Сосны прекрасны, участки велики, у каждого свой лес, свой озон, но велика писательская кучность.

Однако им нравится, они за эту геометрию боролись, а ты им не завидуешь. Вот Феликс Кузнецов теперь тоже там, “за голубым забором” бывшей дачи Вирты. Он боролся с вдовой Вирты и, конечно, победил.

Феликса я видел в ЦДЛ. Он энергично шел обедать, но остановился, чтобы пожать руку, и пригласил заходить к нему в кабинет часа через два. Он выглядел бодрым, деловым, довольным и уверенным. И животу его уже было тесно под пиджаком. Я и не подумал идти к нему. Зачем?

12.8.78.

Виктор убеждает меня, что встречал в документах выражение: руинированная церковь.

Дочитал “Кануны” В. Белова. Книга Белова — горькая, но с компромиссами, некоторые — необязательны и заставляют предполагать, что это никакие не компромиссы, а просто он так думает. Если так, то это печально. И все-таки вышла книга о том, как разрушали русскую деревню; отнести это разрушение на счет троцкистов (в 1928 году!) и евреев — невозможно. Несерьезно.

Из Москвы хорошо возвращаться: там чужое мне, разговорный жанр, значительность, тщеславная борьба, литературное чинопочитание, подогреваемый беспрестанно антисемитизм и просто толчея. Все это я переношу тяжело и, разговаривая, чувствую, что не могу быть искренним: что-то мне мешает постоянно <...>

Примириться с состоянием нашей общей российской жизни было бы невозможно, если б не само ощущение продолжающегося бытия, которое мы — многие российские люди — научились ставить и ценить выше всего. Все прочее перед этим ощущением отступает и обретает ничтожность. А ведь всегда было синее летнее небо или клейкие листочки весны, всегда были дети, матери, жены, отцы, всегда ели и пили, ездили на дачи, бродили по лесу и вообще просто жили и не могли не испытывать от этого простого счастливого чувства, и все-таки они отрывались от этой прекрасной чаши бытия, чтобы посчитаться с оскорбителями жизни, с насильниками и распорядителями человеческих судеб.

16.8.78.

Самое могущественное — это количество жизни; это оно примиряет человека с бедами и потерями; человек оглядывается и видит, что все вокруг продолжает совершаться, а он-то думал, что рухнули небесные своды...

Прочел сегодня “Мою жизнь” С. А. Толстой (напечатаны отрывки в “Новом мире” — к юбилею). Читая С. А. Т., я думал о

том, что даже в девяностые годы в России было больше гласности и больше свободы в печати, чем сейчас. Пожалуй, и сравнивать невозможно. И еще думал, какой мы послушный народ, русские, какие забывчивые, какие благодушные. Все это сошло бы за добродетель, не оборачивайся это неисчислимыми жертвами человеческими.

Опять за чтением о Толстом та же мысль об утраченном состоянии народа и общества; оно было более естественным и достойным.

Многие годы — и все интенсивнее — интеллигенция ищет оправдания своей слабости и трусости. И упрекает храбрых — во все времена.

Печальное письмо от Л. Григорьяна. Пишу о Можаеве (“Мужики и бабы”). Читаю Н. Страхова о Герцене.

19.8.78.

С годами все более понимаешь, как коротка жизнь. Это неудивительно; сам организм чувствует свои возможности и как они сокращаются. Это горькое чувство. Но с годами понимаешь и другое: сознательная твоя жизнь совпала с временем мрачным и растворяется в его глубине; и превозмочь эти мрачные силы невозможно, и страшно оттого, что жизнь твоих детей зависит от тех же сил и может пройти под их же деспотией, в царстве фальсификаций, фарисейства, страха.

Откуда же я выписал это: “Симуляция демократии — это комплимент, который тирания делает свободе”?

Как рождается во мне примирение? Страх нарушить или сломать жизнь близких. Но это умственный страх, страх воображения. Повседневно сильнее всего действует другое: небо синее, облака плывут, солнце греет, воздух свежий, рука Никиты в моей руке, и мы идем куда хотим, и нам хорошо. Сама жизнь примиряет. Как же они преодолевали это? Или они вовсе не преодолевали и сама эта жизнь вела их против своих осквернителей?

24.8.78.

Сегодня на исполкоме горсовета слушали о борьбе с пьянством (т. е. о выполнении последнего по времени постановления правительства). Говорили три часа, говорили, что Кострома по потреблению спиртных напитков и по преступлениям, совершенным в пьяном виде, занимает сейчас первое место в республике. В 1972 году выпивалось на 21 млн. руб.; в 1977 году — на 26 млн. руб. Смертность от пьянства соответственно: 378 и 460 человек.

2.9.78.

Сегодня Вячеслав Васильевич Смирнов рассказывал мне (сидели у него в кабинете в Доме книги) о Сергее Плотникове. Когда-то, после войны, когда Плотников ходил в форме офицера МГБ (так, должно быть, тогда называлось это ведомство), они дружили. Дружили настолько, что вот многие годы спустя вдова Плотникова решила навестить Смирновых <…> С этим Плотниковым (он умер в прошлом году, в Москве, куда уехал вслед за женой уже давненько и зарабатывал тем, что вел литературную консультацию при каких-то газетах, где удавалось) я познакомился в 57-м году; к нему-то, в отдел писем, я и попал после приезда в Кострому. Он же, оказывается, за год-два до моего появления был уволен из госбезопасности с выговором по партийной линии. Обо всем этом я узнал только сегодня; к тому же Смирнов не объяснил, за что был Плотников изгнан. Забыл, не знал или не захотел сказать. Но рассказал, что жена Плотникова — особа важная, избалованная давней хорошей жизнью, которая прекратилась, когда ее первого мужа, ответственного работника, расстреляли, а ее выгнали из Москвы, а потом (или последовательность событий другая) арестовали. И вот тогда-то Плотников познакомился с ней и попал под ее чары — или как это называется.

Господи, мог ли я тогда, осенью пятьдесят седьмого, подумать, что этот мягкий, какой-то невнятный, неразборчивый человек с чертами графомана — недавний офицер столь страшного учреждения! Он уехал в Москву, когда жена его получила денежную компенсацию за первого мужа и добилась возвращения пусть не квартиры, но комнаты в коммунальной квартире. Помню, как Плотников заезжал в Кострому, заходил в редакцию, и всегда меня путало странное соединение в нем мягкости и просительности с какой-то непонятной мне твердой уверенностью в своей ценности, что всегда казалось мне безосновательным. Смирнов рассказал, как однажды в цирке на французской борьбе Плотников вызвался побороться с самым могучим из выступавших борцов, пообещав друзьям подшутить над этим Аркашкой Воробьевым (так звали борца). И вот, к удивлению публики, невзрачный Плотников то ли дважды, то ли трижды уложил этого силача, и администрации пришлось вмешаться, чтобы защитить престиж (спасти!) своего борца. Плотников знал приемы — вот о чем хотел сказать этой историей Вяч. Вас.

Когда возвращался домой, то думал: сколько же этих явных и тайных офицеров прошло уже через мою жизнь. А скольких я не

знал! Да и ныне знаю достаточно. Вот Эдуард Прокопьевич Камазаков, которому я своим уходом из редакции открыл “путь наверх”, — офицер запаса госбезопасности; там он и проходит регулярно учебные сборы. На те же сборы вызывают Андрея Протасова, главного редактора областного радиокомитета, человека грубого, злобного, невежественного. Припоминаю, как бывший старший бухгалтер “Северной правды” Михаил Васильевич Логойко, воевавший в Гражданскую войну под началом Якира, предупреждал нас с Володей Ляпуновым против Гашина (заведующего отделом пропаганды редакции), явно намекая на его доносительские склонности или функции. Подобным же образом несколько лет назад осведомленный человек предупредил нас с Тамарой против Е. З., человека уже нашего поколения. И это, я думаю, далеко не все. Общественные начала в этой “сети”, вероятно, развиваются успешно и в наши дни. Я уже не говорю о том, что обилие новых лиц в этой организации заставляет предполагать, что тенденции к сокращению штатов там нет и не ожидается. Вышедшие же в отставку или на пенсию бывшие работники (Епихин, Лавров, а также полковник с японской улыбкой и вставными зубами, который в свое время разговаривал со мной (допрашивал) самым неприятным образом, а потом, уже в нетях, любезно беседовал со мной в пирожковой, оказавшись со мной за одним столиком) то и дело попадаются на улицах, и невольно думаешь, что по крайней мере некоторые из них не забыли своих прежних служебных задач по пресечению и уловительству. Современный общественный быт непредставим без присутствия и участия этой могущественной и тайной организации; без ее представителей жизнь неполна, ее изображение — тоже.

3.9.78.

Коля С. рассказывал анекдот: солдату перед ученьями говорят: “Продай автомат”. — “А как же я буду без автомата?” — удивляется он. “А ты делай: тра-та-та, и все будет в порядке”. Ну, отдал солдат свой автомат за сто рублей, отдал — и бежит в атаку, крича: тра-та-та-та. И вдруг видит: мчится кто-то ему навстречу и изо всех сил завывает: жу-жу-жу! И руки в стороны простерты...

Вот отмечается 150 лет со дня рождения Л. Н. Толстого. Юбилей. В журналах и газетах — высказывания, рассуждения, славословие. К сожалению, ко всему или ко многому примешана фальшь: в сущности, то, чему учит писателя русского Толстой, не пошло впрок; в некоторых устах его имя звучит кощунственно, настолько он далек как художник, мыслитель, человек от того,

чем удовлетворяется наша литература и те, кто мнит себя на вершине этой иерархической чиновной организации. Ни в ком нет духовного, художнического достоинства, которое хотя бы отдаленно напоминало толстовское достоинство и толстовскую духовную независимость и влиятельность. Они говорят о нем, хотя, по сути, они враги ему или абсолютно чужие.

8.9.78.

По телевидению показывали торжественное заседание, посвященное 150-летию со дня рождения Л. Толстого. В Большом театре в первом ряду президиума сидели Брежнев и другие; а также: от Брежнева вправо — Г. Марков, С. Михалков, Л. Леонов, М. Алексеев, А. Сурков, Н. Грибачев, К. Симонов, А. Чаковский (этот, конечно, сидел ближе к центру, я пропустил его). Доклад делал Бердников. Затем выступили П. Зарев (Болгария), Х. Варелла (Аргентина) и представитель Индии, который сказал — единственный — то, что соответствовало духовным заветам Толстого. Секретарь Тульского обкома партии по фамилии Юнак с замашками большого вождя к концу забыл, где он и зачем, и с энтузиазмом превозносил Брежнева и заверял в преданности и верности.

Помню, как на подобном заседании выступал Леонов; это было событием культуры. Нынешнее заседание неизмеримо мельче; в нем было что-то позорное для нашей литературы, для всего общества. Смотреть и слушать было мучительно. Эти самоуверенные, значительные надутые люди превзошли Толстого; он со своими сомнениями и страданиями — малое наивное дитё. Они давно поняли, что совесть, правда, человечность, дух, справедливость — это прежде всего слова и произнесение этих слов — служебная обязанность, которая неплохо оплачивается. Он-то ломал голову, мучился: как же, как же, я живу богато, праздно, мне прислуживают! Нехорошо! Ах, бедный, бедный Толстой, все эти мучения никого теперь не мучают, все это — пустое, мелкое, какое-то детское. Теперь у нас роскошь — трудовая, потому что каждому дают “по труду”, и совесть может спать спокойно. Совесть теперь — из области декламации, одно из самых бессодержательных слов. Если вернуть ему смысл, то оно станет одним из самых разрушительных переживаний для нашего народа.

Пятого сентября совпало: вдовы Семина и К. Воробьева прислали мне книги, сопроводив их добрыми словами. Что-то странное и печальное было в этом совпадении.

22.9.78.

Завтра редакционные едут за картошкой. Как у Чухонцева о маленьком городке: “Он, может быть, и верит в чудеса, но прежде запасается картошкой”. Изменение одно: пожалуй, уже не верит. Я не поеду. Однажды после такой поездки, насидевшись на земле и на мешках, я сильно и неприятно болел. В другой раз, уже будучи заместителем редактора, я поехал на второй день (за первый день не управились), и мы вместе с одним человеком, мужем секретарши, нагрузили и разгрузили, развезя по домам и дворам, полный грузовик набитых под завязку мешков. Я так и таскал, кому до порога, кому до сарая. Да и в первую поездку помню, как женщины звали: “Мужчины, помогите” (и на весы мешки надо затащить, и с весов снять, и на грузовик пошвырять), а откликалось нас четверо-шестеро, и чем дальше — все меньше, и я — до конца, пока пальцы держатся за углы мешков, пока не разжимаются... Теперь у меня и силы, должно быть, не хватит, да и с какой стати?

Начал читать роман О. Михайлова “Час разлуки” (“Волга”, 1978, № 8). Интересно уже потому, что знаю этого человека, а роман откровенно автобиографический. <...> Михайлов пишет о себе с большой любовью и сочувствием; это неудивительно. Удивительнее, что в этом преуспевающем, вольном, даже циническом герое пробивается жалость к себе, потому что ускользнуло что-то старомодно-хорошее, твердое, что-то из старых, осмеянных ценностей. Или так мне показалось.

12.10.78.

Продолжается матч Карпов — Корчной, именуемый “претендентом”. Возможно, его сопровождают многие анекдоты, но я слышал один: “А вы знаете, что Карпов дисквалифицирован?” — “За что? За прием допинга?” — “А как же: у него в одном кармане нашли “Малую землю”, в другом — “Возрождение””.

Сливочного масла нет.

В эти дни, кажется, заканчиваются работы в колхозах и совхозах, в которых участвовали тысячи горожан. Никто и не думает этих людей просить. Звонок из райисполкома (“примите телефонограмму”) обязывает: такого-то числа поставить в такое-то хозяйство столько-то человек. Эта власть давно разучилась уважать своих граждан, она — бесцеремонна. Всякое непослушание, принимающее — даже невольно — политическую окраску, расценивается как худшая из разновидностей непослушания и нарушения порядков. И пьянство, и хулиганство, и прочее понимаются и воспринимаются (и наказываются также) много спокойнее и легче, чем инакомыслие.

На мосту через Волгу был потерян прицеп с кирпичом и простоял там — десять дней. Никто не хватился, и ГАИ не заметило, хотя прицеп стоял, затрудняя движение и способствуя возникновению аварийной ситуации. Подумаешь, грузовик кирпича! Пока Галунина, ездящая каждый день через Волгу на троллейбусе, не начала обзванивать разные конторы, прицеп все стоял. Не будь она настойчивой, он бы так и стоял. А забыли о нем армейские строители. Вот наши нравы.

23.10.78.

В минувшие дни произошло событие: краковский кардинал стал Римским Папой. Впервые за 400 лет Папой избран не итальянец. Думаю, это событие очень не понравилось в нашей столице. Оно укрепляет национальную гордость поляков, а это нам ни к чему. Нашему начальству хочется, чтобы вся жизнь повсюду шла по его планам и указаниям. К счастью, жизнь непрестанно огорчает кремлевских старцев.

Как-то вечером ходил в магазин за хлебом и чаем, подошел к кассе. Впереди меня выкладывал свои покупки мужчина лет пятидесяти: пачку вермишели, буханку черного хлеба, два куска сыра, две банки рыбных консервов и четыре плавленых сырка — “разные”, сказал он кассирше, т. е. разных сортов. И я как-то неожиданно для себя всмотрелся в это богатство рабочего пожилого человека, пришедшего в магазин после работы, и слезы прихлынули к глазам от простой и ясной мысли: это же он после получки пришел и купил что мог, получше, и потому сырков этих плавленых разных набрал, и консервов, и сыра — другого ничего не было. Ах, не о сытости я болею, не о пище, о другом — о справедливости и равных человеческих возможностях...

Реальная жизнь и ее официальное выражение, ее официальные обозначения, определения, расходятся всё более, и уже давно это началось, и хотя ненадолго замедлилось, теперь с новой силой растет это катастрофическое для человеческих душ расхождение, и неизвестно, когда здравый смысл постарается взять свое. <...>

Боже, как же мы не ценим своего уходящего, неотвратимо уходящего, ускользающего времени — времени, общего с дорогими и любимыми людьми, будто оно продлится бесконечно долго.

26.10.78.

В Кострому прибыли 25 молодых азербайджанцев-мелиораторов. “Северная правда” сообщила об их приезде на первой полосе, с фотографией под заголовком

“Интернациональная нечерноземная...” Это нужно понимать так: братья азербайджанцы явились на помощь своим русским братьям. Теперь-то матушка-Россия будет спасена, навалятся дружно азербайджанцы, грузины, узбеки да туркмены, отмелиорируют ее бедные земли на славу, и начнется новая жизнь, новее прежней. Не справиться нам, русским, самим, не суметь, наконец-то дождались подмоги, и газета костромская захлебнулась в восклицательных знаках. И уже в Сусанине строят, спешат ракетчики — отложив какие-то свои дела — 60-квартирный дом для азербайджанцев и тех, кто прикатит следом. А про азербайджанцев уже поговаривают, то ли в шутку, то ли всерьез, что они уже просят барашков и удивляются, почему это в Костроме буквально каждый день — мяса нет.

Галунина рассказывала, как ходила недавно в ресторан Берендеевка. Там обедала группа грузин; какая-то заехавшая в Кострому делегация, а не предприниматели с базара. И вот один из грузин, разговорившись с Аней, сказал, что у вас здесь нет достоинства. У вас нет того и другого, а вы делаете вид, что так и должно быть, что все в порядке. У вас нет достоинства, повторил он и, уходя, сказал: “Подумайте об этом”.

Те помогают нам осушать наши болота, эти учат достоинству. Но лучше всех наши руководители. Они требуют, чтобы их беспрестанно благодарили за их благодеяния.

3.11.78.

Когда иду из Союза писателей по Советской улице к центру, всегда смотрю на новостройку, к которой никак не привыкну. Теперь уже близок день, когда справят новоселье. Была тюрьма (Советская, 88) — и пропала тюрьма. Скрылась за высоким, декорированным по фасаду отнюдь не тюремной решеткой зданием, увенчанным с правого крыла девятиэтажной башней, где вскоре разместится областное Управление внутренних дел. Вот с той башни, с ее этажей, старая, никуда не девшаяся, но укрытая от глаз тюрьма с ее двором будет как на ладони. Уберем с глаз, будто и нет ее. Не видно — значит, нет. Не слышно — значит, нет.

От П. Палиевского была неожиданная открытка, чтобы я выслал свою “последнюю книгу” в Польшу, где ее хотят рецензировать. Что ж, вышлю, когда появится. Занятно это “последнюю”, потому что она “первая” и как бы не стала последней, чего доброго. Это, к сожалению, не вполне от меня зависит.

Вернулся из отпуска Корнилов, собирается к Баландину — разговаривать насчет проведения в мае будущего года в Костроме

выездного секретариата Союза писателей РСФСР. Корнилов говорит, что такой секретариат дорого станет области, потому что приедут заседать свыше ста человек и содержание их основное должны брать на себя костромичи. А зачем, думал я, костромичам это дорогое заседанье? Для того ли писатели существуют, для разъездных ли заседаний с выпивкой и закусками по колхозам, совхозам да заводам? Уж лучше бы обойтись без таких торжеств. Но ради престижа и газетной огласки на что ни пойдешь!

12.11.78.

Арагон о Ницце 41-го года, городе, где “немыслима безысходная горечь, так как от этого защищает само его небо” (Л. Арагон, “Анри Матисс”).

А что — за нашим, здешним небом я знаю такую же — или другую — защитную силу; не за тем густо-синим, навязчиво-южным — с рекламных открыток, а за обыденным, жидко-голубым, чистым небом утренних часов, когда так явственно чувствуешь присутствие солнца и его участие.

Или эта сила — надежда? Новое приглашение к жизни? Призыв к примирению? И ничего не надо, кроме возможности видеть, слышать, идти? Ни революций, ни контрреволюций? Ничего.

Надолго ли?

Надолго ли хватает той защитной силы — от “безысходной горечи”?

Серая земля, серое небо, рассеянный свет. Монотонное, тягучее насилие. У него есть продолжение и нет конца.

Неужели не будет — идти с людьми, со множеством людей, свободно, не толпою, по улице, по улицам, переговариваясь, посмеиваясь, ликуя, что-то выбирая и что-то говоря всем видом этого потока, которого стал частью, частицей, всем этим слитным и свободным движеньем: захотели — и пошли, потому что иначе — не скажешь, не заявишь о своей воле оборвать эту монотонность. Эту бесконечность — самозваную и наглую.

Почему же я думаю о том, что это будет вечером, в покое вечера?

16.11.78.

Водку возят в грузовиках, штабеля ящиков покачиваются, горлышки торчат, жидкость колеблется, прохожие посматривают, привычно примечая, продукция или посуда. Как боеприпасы подвозят, думаю я. Как боеприпасы, которые должны быть доставлены вовремя. Как боеприпасы, которых вдоволь. Никаких

перебоев.

Уууууууу — ревет машина ГАИ и вращает свою вертушку, как ненормальный, зыркающий глаз, и за ней — черные “Волги”, гладкие, сверкающие, отрешенные, летящие, — ах, не отвлекайте их, граждане-товарищи, от великих задач, от научно обоснованных маршрутов, — хорошо еще, что не рекомендуют снимать ваши шапки, замирая в почтении, хорошо еще, что не кричат: “пади, пади”, а то ведь и попадали бы на колени, отчего же не попадать, если все наше с ними — ум, честь, совесть, все права и свободы, все бремя забот, вся тягость исторических трудов, — а мы — налегке и в беззаботном счастье, дарованном, щедром, безоблачном, и дух наш захватывает от благодарности благодетелям, этим великим душам нашей бессмертной эпохи. Но кто расскажет людям будущего о выражении наших лиц, наших глаз и наших губ? О гримасе благодарности и счастья?

19.11.78.

На днях шел по Никитской улице; здесь больше военных машин и вообще военного; наверное, поэтому я сразу подумал, что это — военная машина, и потом жалел, что не взглянул на номер (у военных номер из двух букв). Правда, рядом с шофером в кабине сидел человек в штатском, и, возможно, я ошибся и те два грузовика, что шли следом, с солдатами за рулем, к тому, первому, с портретом Сталина на переднем стекле, не имели никакого отношения. А портрет Сталина был достаточно крупный, не открыточка какая-нибудь, а сантиметров тридцать — сорок по высоте, и достаточно отчетливый, чтобы невозможно было ошибиться насчет, что там промелькнула за личность. Надо же, как я вздрогнул от этого портрета, и сразу почему-то представилось мне, что и следом — колонной — движутся другие грузовики с такими же портретами справа за стеклом, и на какой-то мелькнувший миг стало мне страшно, и повеяло на меня каким-то мгновенно воображенным путчем, новым торжеством какой-то воистину темной силы, нерассуждающей, не желающей ничего знать и помнить и карающей, раздавливающей всякое знание и всякую память. И потом, успокаиваясь, я уже думал о том, что надо бы написать тому шоферу — заметить бы номер да загородили спешащие следом грузовики, — написать письмецо и спросить об одном: да знаете ли вы, чей портрет выставляете с укором и с некоторой даже смелостью, знаете ли, какая кровь, несмываемая, неслыханная, на том человеке? И потом укорял себя: ну и какой вышел бы из всего этого толк, какой смысл? Не пошел бы я к нему объясняться! А сейчас, когда записываю, подумал: а ведь в том гараже шофера сто раз видели этот портрет

и, наверное, обсуждали эту любовь к Сталину, что-то на этот счет думают, — вот что послушать бы. Власть и органы печати давно уже не говорят о Сталине дурно, все сказано якобы, и этого достаточно. Вот и может подняться волна реставрации, темная и мутная, коричневого цвета, и все потому, что преступник не осужден и преступное не названо преступным, т. е. публично не доказана преступность этого человека и его подручных. И пока это не сделано, опасность будет существовать и нависать над миллионами жизней, над всей страной.

23.11.78.

Вчера в половине десятого вечера показывали фильм о Михаиле Булгакове (автор — К. Симонов). Фильм спокойный, все вроде бы обдумано, объяснено, но впечатление — тяжелейшее. Хоть плачь. Напрасно Симонов упомянул слова Сталина и напрасно рассказывал, как Фадеев заходил к Булгакову незадолго до его смерти и какое письмо написал Е. С. Булгаковой. Особенно большое впечатление производит предложение Фадеева (когда жить Булгакову оставалось несколько недель) отправить Булгакова на лечение в Италию, на Средиземное море. И это в феврале или марте сорокового года, когда в Европе (и в той же Италии) торжествовал фашизм. Или Фадеев говорил об этой поездке “просто так”, чтобы “проявить участие”, т. е. болтал. Или же он надеялся договориться со Сталиным, а также с итальянскими властями? Удивительно гуманный человек этот Фадеев. А тяжело после фильма было потому, что Булгаков умер так и не увидя своих главных книг (да и неглавные как явились в самом начале двадцатых, так и не были переизданы, да и сейчас не изданы заново). И такова судьба одного из самых талантливых русских писателей советского времени. Осталось показать фильм об Андрее Платонове, потом о Мандельштаме, о Заболоцком, о Пильняке, о Воронском. И многих других. Хоть оплакать. Любовь и признание нужны людям при жизни. И Симонов, и Бондарев, и Распутин — все хотят всего при жизни, все спешат, чтобы все состоялось при них: и бесчисленные издания, и премии, и слава, и награды и звания, и полный достаток. Или Булгакову, и Платонову, и Заболоцкому ничего этого не было нужно? И было им достаточно знать, что их вдовы всё издадут и дело их жизни, их огромного таланта будет доведено до конца. И они там утешатся и оттуда — увидят.

Прекрасное, великое было время, говорит Шагинян о двадцатых — тридцатых годах, несмотря на трагические ошибки и беды. Характернейшее умозаключение выживших. Точно так же рассуждал недавно в том же “Новом мире” Эрнст Генри. Он тоже — из выживших и уцелевших. И Шагинян, и Генри можно понять. Но истины в их словах нет, потому что существует угол зрения тех, кто не выжил, не уцелел, тех, кто скрыт за словами о трагических ошибках и бедах, и этот угол зрения не учтен, и нужно многое сделать и восстановить, обнародовать, чтобы он был учтен, насколько это теперь возможно. Радость выживших и живущих хорошо понятна. Как нам представить себе и понять отчаяние и муку тех, кто не дожил, кто навсегда так и остался в тех великих временах со своей единственной, бесцеремонно оборванной жизнью. И еще — неизвестно, когда дойдет черед! —

как представить себе судьбы семей, жен, матерей, братьев и сестер, но более всего — детей! — вот где зияние, вот где самое страшное, вот где неискупимые слезы, которые никогда не будут забыты, иначе ничего не стоим мы, русские, как народ, и все народы вокруг нас, связавшие с нами свою судьбу, тоже ничего не стоят, и ни до чего достойного и справедливого нам всем не дожить. Не выйдет. Достоевский знал, что те слезинки неискупимы, он откуда-то знал эту боль, перед которой вся значительность, все надутые претензии, все возвышение человеческое, все самовосхваление власти и преобразователей русской жизни — ничего не значат. Пустое место. Шум. Крик. Безумие. Тщета. Ничто. Сколько бы силы ни было за теми претензиями, сколько бы могущества ни пригнетало нас, ни давило, — все равно ничто, потому что те слезы переступлены и сделан вид, что не было их вовсе. Вот вид так вид: не было. Т. е. было, но все равно не было. Не было. По всем лесосекам давно уже сгнила щепа и поднялись мусорные заросли. Не было. Ничего. Так вырежьте нам память, это самое надежное. В генах ту память нарушьте, и пусть дальше продолжается нарушенная; то-то всем станет легко. И ткнут меня носом и скажут: гляди, это рай, а ты, дурак, думал, что обманем, и ударят меня головой о твердый край того рая, как об стол, и еще, и еще раз — лицом — о райскую твердь, и, вспомнив о безвинных слезинках своих детей, я все пойму и признаю, лишь бы не пролились они, — жизнь отдам, кровью истеку, отпустите хоть их-то, дайте пожить, погулять по земле, траву помять, на солнечный мир поглядеть, — и еще взмолюсь втайне — да сохранится в наших детях память, пусть выстоит и все переборет, и пусть достанет им мужества знать и служить истине, которая не может совпадать с насилием, насилие ничего не строит.

Я верю, что истина не может быть разрушительной, т. е. та истина, закон, которому подчинено развитие человеческого, земного мира. Даже если нас, людей, ждет будущее — через десятки миллионов лет, по Циолковскому (см. беседу с Чижевским), — невероятное, пугающее, лучистое, лучевое, но возможное. Впрочем, до тех ли далей нам, нынешним, до того ли, до таких ли перспектив! Тут вся душа, все сознанье заполнены нынешним и все отвлеченности пугающе конкретны, хотя в конкретном обличье их следовало бы называть иначе, поточнее, и угроза жестокости, насильственного подчинения, массового убийства при помощи новейших научных достижений нависает над нашими головами, и жить изо дня в день позволяет нам, утешая и отвлекая, лишь бессмертное человеческое легкомыслие... Не забыть, как стоял на Бородинском поле полк

Андрея Болконского и как рвались в его рядах шрапнели и падали ядра, а полк смыкал ряды и продолжал стоять, и со стороны это каре выглядело невозмутимо стойким... (Насчет шрапнели я придумал, там были, наверное, только ядра.)

27.11.78.

Вернулась из отпуска Лариса Бочкова. Рассказывала, что в поезде за Харьковом (она ехала в Ворошиловградскую область, в Попасную) в вагон вошли глухонемые парни и продавали портреты Сталина, а также фотографически исполненные буклеты с изображением различных событий из жизни того же Сталина. <...> Никто в вагоне не удивился и не возмутился этой торговлей. Занятно, не правда ли? Попробовал бы кто-нибудь носить по вагонам другие портреты. Да и спроста ли эти глухонемые пропагандируют Сталина, только ли ради денег? Или за ними — вполне разговорчивые люди, да еще с острым слухом?

8.12.78.

Знакомая рассказывает, что некий представитель обкома (хотел бы я узнать его имя; кому же это поручено?) регулярно интересуется поступлением товаров в универмаг и последнее время все (?) джинсы, дубленки, хорошие шапки оставляются обкому. Та же женщина вспоминала, что Скулкова (жена первого секретаря обкома КПСС. — *Т. Д.*) сама откладывала интересующие ее вещи в специальный мешок и выкупала их по мере надобности. Однажды поступили три шубы, видимо достаточно хорошие, и заведующая отделом одну купила сама. Вскоре явилась Скулкова и распорядилась, чтобы одна шуба была продана ей, а остальные — отправлены в районы (тогда в Костроме такая шуба будет только у нее). Но заведующая заупрямилась и, как ни уговаривали ее торговые власти, от своей шубы не отказалась, и тогда Скулкова не стала покупать шубу. Об этой Скулковой в свое время я слышал немало; о том, например, как из одного районного центра, где она была с мужем, гоняли самолет в другой райцентр, чтобы купить там какие-то предметы дамского туалета.

Вчера было т. н. занятие совместно художников и писателей на предложенную мной тему: “временное” и “вечное” в искусстве. От писателей говорил я, от художников — Слава Штыков; нечто вроде докладов. Я же читал отрывки из сочинения, отправленного в “Лит. обоз.” насчет “вечного” и “духовности”, к которым присовокупил некоторые рассуждения, в том числе об “отрепетированности”, “сценарной основе”, которые занимают сегодня столь много места в общественной жизни, о

“предусмотренных”, прямо-таки уже “каталогизированных” реакциях, о значении и исчезновении “неожиданности” как ярчайшего проявления жизни.

На занятии чуть было не разгорелись страсти. Поводом послужило упоминание Штыковым культа личности и имени Сталина. <…> отношение к Сталину (к тому, что сокращенно обозначается этим словом) самым резким образом разделяет людей до сих пор, и, видимо, так будет еще долго. <…> Расчеты со сталинской эпохой (хотя бы в сфере знания и нравственности) не закончены. Это создает ложное положение, и наше общество живет в состоянии неуверенности и неопределенности.

28.12.78.

Двадцатого сидел в Зале Чайковского на пленуме Союза писателей РСФСР. Заседали в честь 20-летия этого Союза. Было очень скучно, ораторы, поминая Леонида Сергеевича (Соболева), то и дело сбивались на Леонида Ильича, и зал оживлялся. Федор Абрамов сказал мне, что этот Соболев (однажды они вместе возвращались из какой-то поездки) был как мешок, полный под завязку грязи. Сидящие в президиуме выходили и возвращались, гордо неся свои животы; поступь сих лиц была значительна. Юрий Тарасович (Грибов. — *Т. Д.*) пробегал по сцене пригнув голову, словно по окопу под обстрелом, словно слыша команду “пригнись”; не привык еще, подумалось мне. Самым большим писателем в президиуме был, кажется, Ю. Верченко; немногим уступал ему А. Софронов, да и Ф. Кузнецов с В. Липатовым стоят на верном пути и вот-вот нагонят ушедших вперед. Софронов заканчивал свою речь, в которой не было ничего примечательного, словами Маяковского: “Я достаю из широких штанин…” Голос его, исторгаемый мощной грудью, гремел, и какие-то дамы зааплодировали. Вот так наследничек у поэта, вот так “продолжатель” дела и традиций; ну и ловки эти люди: всех норовят прибрать к своим рукам, ко всем пристроиться — к Маяковскому, Есенину, Булгакову, Платонову, Твардовскому и т. д. И вот что заметил и что удивило: говорят пустое, разве что повышенным тоном, но хлопки срывают, кому-то нравятся. <…>

И еще можно было бы удивиться — если б к этому давно не приучали, что все произносимое имело самое малое отношение к реальному состоянию жизни и литературы. Разыгрывали спектакль, и актерам важнее всего было распределение ролей, а все остальное — реальная жизнь прежде всего — значения большого не имело. Это было стыдное представление, но актеры, в том числе наш “прогрессист” Феликс Кузнецов, не краснели.

Если б не удалось поговорить в этот день с Федором

Абрамовым (сидели вместе после первого перерыва) и с Троепольским, то день был бы раздражающе пропащим. <…> Разговаривали о разном: о рынках (базарах) в архангельских райцентрах, о “Мужиках и бабах” Можаева (Ф. А. сказал, что конец двадцатых он понимает сложнее, чем Можаев).

Троепольский постарел, ходит с палочкой (после того, как попал под автомобиль, а позднее вдобавок сломал несколько ребер), но выглядит, что называется, импозантно, и фотографы гоняются за ним. Сказал, что год ничего нового не писал и по возвращении собирается садиться за “Колокол”. Извинился, что до сих пор не выслал обещанный экземпляр трехтомника с надписью[64]. Расстались мы тепло.

Возле гардероба, когда я уже уходить собрался, он сказал: “Подожди минутку, я сейчас”, — и устремился к Юлиану Семенову, в руках которого был какой-то сверток. Возвратившись, Г. Н. сказал, что Юлиан купил мыло, которое продавали для членов президиума, и что тоже нужно пойти взять мыло.

Эта подробность ни против Семенова, ни против Троепольского; это просто подробность нашей жизни, ее состояния, общественного быта.

22-го выступал на своем факультете перед студентами разных курсов (было человек тридцать — тридцать пять) из “мастерских” Лазарева и Оскоцкого. “Мастерскими” на кафедре А. Бочарова именуют то, что обычно называют семинарами. Слушали хорошо, спрашивали, и длилось это более двух часов. Сидели мы в шестьдесят шестой аудитории, где 5 марта 1953 года на лекции, кажется по языкознанию, переживали смерть Сталина. Своим выступлением я не очень доволен; кое-что нужно было сказать иначе и совсем не хорохориться.

Вечером того дня вместе с Бочаровым ездили к Оскоцкому; разговаривали, вспоминали.

Москва в эти декабрьские дни наводнена приезжим народом. За мясом и колбасой огромные очереди. Даже выехать из Москвы трудно. Никогда не видел зимнюю Москву такой. Достали и до Москвы продовольственные нехватки. Нина Сергеевна Самарская (из “Молодой гвардии”) нимало не смущаясь сказала мне, что на одной из новых станций метро есть изображения городских гербов из т. н. Золотого кольца и что теперь москвичи говорят: это города, которые “у нас кормятся”. Под мудрым руководством Феликса принято решение раскрепить московских писателей по магазинам. Ради этого решено устроить прием в честь пятидесяти директоров гастрономов, и на правлении Литфонда обсуждали вопрос о выделении денег для преподнесения директорам книжных подарков.

У Феликса теперь красная “Волга”, которую водит его жена.

Лит. разговоры заключаются также в том, что обсуждают, кто на ком женился <…> Очень хорошее выражение: номенклатурные жены, т. е. переходящие из рук в руки в определенном кругу.

Но хватит пока про Москву. Когда сидел у Вяч. Смирнова, пришла какая-то уже пожилая, видно приезжая, женщина. Оказалось, землячка Смирнова, директор Вохомского сырзавода, Герой Социалистического Труда Буракова. Приехала она на областную партконференцию. Очень располагающая к себе, по всему, добрая и умная женщина. Сначала рассказывала, как два вохомских председателя ездили в Голландию и как им там понравились условия сельской жизни. <…>

Настроение у этой женщины было не очень веселое. Молока заводу не хватает. Коровы стоят голодные. “Съездишь на ферму, потом полночи не спишь, всё эти коровы в глазах стоят”. Они уже не способны принести приплод, настолько обессилены. Осенью вручную было выкошено около пяти тысяч га пшеницы, ячменя, овса, из тех, что не взяли комбайнами. Выкосили, сложили в копешки, и все ушло под снег. Под Ростов же погнали грузовики за соломой. Пришли два грузовика с прошлогодней соломой; там согласны дать лучше и больше, но за вохомский лес. Люди пьянствуют; видела она и спящих пьяных доярок, свалившихся прямо на ферме. “Наверное, мы долго не проживем”, — сказала она, и я даже не сразу понял, о чем это она. Оказалось: о войне. Беспорядок, разболтанность, небрежение общими интересами она связывает с войной; народ словно предчувствует, куда все идет. С горечью рассказывала, как ездила в Одессу в связи с экспортом сыра на Кубу. Ее поразило обилие и высокое качество товаров, отправляемых на Кубу, — масла, консервов, сыра и т. д. — и почему своим ничего не остается.

Рассказывала, как пришли обследовать вохомскую среднюю школу, а там в бачке с кипяченой водой — лед. И на уроках ребятишки сидят в варежках: руки мерзнут.

Красиво рассуждать научились, это да, сказала она, а вот дела-то нет.

После московских впечатлений, после писательской болтовни этот рассказ особенно подействовал на меня.

Стоят морозы и напоминают, что это Россия; хорошо дышится, и пробуждается энергия. <…>

О нынешней ситуации в хозяйстве. Такие есть данные: в этом году уже пало крупного рогатого скота: 9886 — в совхозах, 6900 — в колхозах [области]. Теперь понятнее, почему директор сырзавода, вернувшись с ферм, долго не может заснуть. Она

вспоминает, как дрались коровы из-за корма, и как сильные теснили слабых, и какой стоял рев.

В обкомовском буфете клюква стоит три рубля килограмм. Это дороже заморских фруктов.

С Новым годом, с новыми чудесами под нашими небесами!

4.1.79.

Сегодня в редакцию позвонил И. А. Иванов (зам. зав. отделом агитации и пропаганды обкома партии) и сказал, что необходимо выделить трех человек на курсы трактористов. Помню, года два назад мы посмеивались над тем, что редакция купила для летних работ несколько кос. Теперь дело посмешнее, но и посерьезнее. Радиокомитет своих "трактористов" уже выделил. Можно себе представить, какая разнарядка на этот счет направлена на заводы, фабрики и в крупные, многолюдные учреждения. Интересно, обком тоже займется подготовкой трактористов?

<...> Как же велика у нас тайная, сокрытая часть жизни, и станет ли она когда-нибудь явной?

7.1.79.

Читал сегодня М. Бахтина (публикацию в декабрьской книжке "Вопросов литературы") и лишний раз убедился, что значение этого человека не измерить его литературоведческими заслугами; он чрезвычайно много дает и как философ и психолог; никакой стесненности, внутренней несвободы в нем не чувствуется; не верится, что он тоже "сын времени", настолько мысль его, наделенная поразительной анализирующей и обобщающей, сводящей способностью, независима.

Или свобода, вытесненная из действительности, все равно не исчезает и находит, где ей быть и через что воплотиться?

В книге А. Клибанова "Народная социальная утопия в России" ("Наука", 1978) есть глава о макарьевском дьяконе Николае Попове и о его пастве, о его "Любви братства", т. е. его истолковании веры, которое он распространял. Меня заинтересовало, как костромской епископ и вообще церковная власть защищали своего человека от преследования со стороны чиновников Министерства внутренних дел, со стороны государства. Т. е. лишний раз убеждаешься, что структура жизни в старой России — к примеру, в середине прошлого века — была достаточно сложна, чтобы поддаваться безостаточной регуляции сверху. История Попова говорит также о постоянном присутствии в жизни неукротимой силы идеализма, противостоящей беззаконию, темноте, корысти, насилию.

О "Повестях Белкина": "Выстрел", "Метель", "Гробовщик" —

урок и пример нового стиля как инструмента, но наиболее существенное продолжение в русской литературе имел “Станционный смотритель” с его выбором и пониманием героя, всей жизни. Но урок этого стиля, хотя и преподан давно, оказывается, не устарел. Урок рассказывания рассказа, рассказывания про жизнь.

17.1.79.

Письмо и книга от В. О. Богомолова[65], письмо с фотографиями и “Роман-газета” с “Нагрудным знаком” от В. Н. Сёминой. Согласился писать предисловие к трехтомнику Ф. Абрамова. Чрезвычайно интересная статья Л. Н. Гумилева (“Биосфера и импульсы сознания”) в двенадцатой “Природе”. Прочитал несколько статей С. Н. Булгакова (о Н. Ф. Федорове, “Размышление о национальности”, “Церковь и культура”) из второго тома “Двух градов”; проницательнейший был ум. Да и он один ли понял, к чему придет российское развитие. Я начинаю думать, что с года пятого-седьмого даль будущего стала проглядываться чересчур хорошо.

Из “Записок отдела рукописей” ГБ им. Ленина (1978, вып. 39) узнал, что Петерсон Н. П., издатель трудов Н. Ф. Федорова, был отцом профессора МГУ, языковеда М. Н. Петерсона. В 1952/53 уч. году М. Н. Петерсон читал нам “Введение в языкознание”. Времена для языкознания были тугие, объявился специалист Всезнатец и Всеведец, и потому профессор Петерсон читал тихим голосом и извиняющимся тоном. Он словно ждал, что его вот-вот в чем-то уличат, но слушали его плохо, хотя, кажется, и жалели, и никому не приходило в голову уличать. Хотя как знать — за всех не скажешь и все не услышишь. Специалистов по уличенью всегда много; ничего не поделаешь, такое воспитанье.

Моей книжки все нет. Она у них пасынок. Мой черед после Чалмаева, Ланщикова, Толченовой, Глинкина. В самый раз. Вот оно — русское, национальное издательство. Нигде в Москве (в редакциях) я не чувствовал себя так плохо, как у них. Они не умеют уважать людей и не хотят уважать их; они не скрывают своего безразличия к “чужим”, они любят только “своих”, и к этой любви сильно примешана корысть. Вот и все принципы; им бы “кулачное право” вместо всех прочих прав, и тогда бы они навели порядок и выяснили бы ваш состав крови и наличие еврейской примеси.

Появился двухтомник А. Платонова (“ХЛ”, 1978). Читаю “Джан”, сравнивая новый текст с редакцией 1966 г. (“Московский рабочий”, послесловие М. Лобанова). Редактором издания 66-го года был Н. Далада. Правка была произведена бездарная,

трусливая и хуже того — выдающая мелкость души того, кто ею занимался. Этих героев издательского дела не мешало бы называть при удобном случае, чтобы не надеялись, что все сходит с рук.

25.1.79.

Новости такие: <…> прислали сигнальный экземпляр моей книжки и появилось известие о ней в “Книжном обозрении”. Слава Богу, как говорится. Радость была, но быстро прошла; я не обольщаюсь и все время чувствую, что мера всему написанному другая — не через внешние результаты. Ждать — жду, а радуюсь недолго.

В связи с выездным заседанием секретариата СП РСФСР в Костроме (конец мая — начало июня) приезжал секретарь союза Ю. К. Комаров, и нас всех собирали на беседу. То есть он говорил, как сложно проводить такие заседания и что всем нам нужно будет принять участие. Большого энтузиазма я ни у кого не заметил. Рассказывал о новых ставках гонорара в издательствах и пр. Особо подчеркнул, что укрепился бюджет Литфонда за счет того, что содержание аппарата Союза писателей взяло на себя государство. По дороге домой я спохватился: как же так? общественная творческая организация перешла на содержание государства? О какой самостоятельности, независимости может идти речь? Да и вообще это противоестественно; того гляди, переименуют союз в какой-нибудь комитет или главк.

<…> Прочел воспоминания К. Симонова в январской “Дружбе народов”: какие-то они служебные, и хотя, наверное, все это правда, но какой малый процент правды. И кое-что из писем Федина можно было бы не цитировать: отдает неприличием. Воспоминания о какой-то отвлеченной от жизни — жизни: внутрилитературные, служебно-литературные, о многом забывающие или делающие вид, что ничего более существенного не было.

28.1.79.

Пытаюсь прочесть лихоносовский роман “Когда же мы встретимся?”. На удивление раздражающее чтение. И сам автор, и его герои — захлебывающиеся в болтовне, чаще всего — пошлой, — не вызывают к себе ни малейшего уважения. Было бы возможно, вернул бы, забрал бы назад все добрые слова, сказанные или написанные мной об этом писателе.

Стараясь снять вызванное этим чтением раздражение, брался за Писемского (“Масоны”) и Лескова (“Некуда”) и так спасался, спасал душу, возвращался к миру здравому и здравой литературе.

И стыда нет — вот о чем думаю. — Прорыв бесстыдства.

Читая Писемского, вспоминал нынешние разоблачения масонства как тайной силы сионизма — на это, во всяком случае, намекают. У Писемского в романе вся нравственная сила сосредоточена или в героях-масонах, или в тех, кто близок к ним. Разумеется, Писемский не мог оценить, сколь потаенны и зловредны сии жидовские происки.

Шапошников, недавно вернувшийся из Москвы, сказал мне, что привез то ли конспект, то ли выдержки из большой рукописи — “уже набранной” и принадлежащей перу “члена ЦК партии” — о сионизме. Шапошников отозвался об этом тексте как о “потрясающем”. Кстати, дал ему этот текст один из тех москвичей (сотрудник журнала “Искатель”), которые приезжали к Шапошникову некоторое время назад и после визита которых он объявил мне о грозящей победе сионизма к 80-му году.

12.2.79.

Насчет “Некуда”, насчет здравости я, конечно, переборщил; современникам Лескова, особенно некоторым из них, этот роман вряд ли казался здравым; не более, чем мне лихоносовское сочинение. Но с нынешней точки зрения (таков накопленный нашим отечеством опыт) роман Лескова нравственнее и ближе к здравому смыслу, к здоровому пониманию жизни и литературной задачи, чем многие сегодняшние писания. И безусловно — художественнее, хотя нынешние бывают искуснее (но не Лихоносов, кстати).

<…> Читал А. А. Ухтомского о доминанте и думал, что М. М. Бахтин с пользой для себя слушал в свое время этого человека, и дело не только в понятии “хронотопа”; у Бахтина, мне кажется, откликнулось, отозвалось кое-что из внутреннего пафоса и даже стиля Ухтомского; во всяком случае, ощущение незаконченности и беспрестанного свободного, всепреодолевающего движения научной мысли.

1.3.79.

Прочел у Трифонова в “Нетерпении”, как Желябов бросил жену и сына; жена побиралась, а что стало с сыном — неизвестно. Из меня такой революционер не вышел бы, ради жизни сына я бы всякую революцию бросил, ничего не надо, оставьте мне сына, оставьте сыновей, жену, и мне хватит смысла жить.

Во всяком случае, все прочее — потом, во-вторых. Жертвовать можно собой, но не другими. Начни жертвовать другими — во имя революции, справедливости, искусства, осуществления таланта, — и кончится это чем-нибудь отвратительным.

29.3.79.

Теперь у нас есть Библия, новая, издания 1979 года. Читаю ее ежедневно с огромным удовольствием и интересом. Жалею, что так поздно читаю. И стыдно. Надо было бы прочесть в юности или в молодости. Новый Завет я, конечно, читал прежде. Но с азов читаю впервые, и кажется, впервые так чувствую даль времени и библейские истоки заключенного в языке миропонимания. Прекрасное чтение!

Отрадное явление — повесть В. Кондратьева “Сашка” в февральской книжке “Дружбы народов”. Автору лет 57 — 58, и это его первая публикация. На стиле повести заметно влияние “Одного дня Ивана Денисовича”, да и сам характер Сашки с характером Ивана Денисовича из одного, по сути, корня.

На днях сгорела филармония. На глазах у города. Пожар начался около пяти часов дня, и потушить не сумели. Одна из причин — негде было взять воду. В люках краны не действовали. Филармония выглядит так, словно в самую середину ее, в зрительный зал, угодила бомба.

4.4.79.

Авторство, выходит, такое: “Малая земля” — А. Сахнин, “Возрождение” — А. Аграновский, “Целина” — А. Мурзин. И не единой встречи с главным Автором. Сказали: любые документы, любые факты, все шло — по бумагам. Ах, не клевета ли это? Клевета, должно быть, клевета. Но запишем и клевету.

Такую: ветеран войны спрашивает ветерана: ты воевал на Малой земле? Нет, отвечает тот, я отсиживался под Сталинградом.

Пришло в редакцию письмо: читатель сетовал, что многие улицы Костромы не приведены в порядок, и замечал: им никак не сравниться с “костромским БАМом”. <…> костромской БАМ расшифровывается так: баландинская автомобильная магистраль. Именно с постройки этой отдельной дороги на Козловы горы, где обкомовские дачи, началась замеченная костромичами деятельность нового первого секретаря обкома.

30.4.79.

Двадцать шестого должен был быть на Совете по критике, впервые за все время, как меня туда включили. Сборище, на котором я присутствовал затем (совещание руководителей писательских организаций, секретарей парторганизаций и редакторов литературных изданий всего Союза), было малоинтересным, чиновным. <…> Заседание происходило

наутро после того, как объявили о присуждении Ленинской премии Брежневу за его сочинения. Г. Марков и В. Озеров несколько раз от имени собравшихся поздравляли товарища Б., и возникали легкие, короткие аплодисменты. Операторы хроники зажигали свои лампы, но аплодисменты быстро иссякали, и снять аплодирующий зал, видимо, не успевали. И опять завязывались аплодисменты, и опять тотчас вспыхивал свет, и опять, видимо, не успевали, и снова вместе с аплодисментами зажигали прожектора, будто это было как условный рефлекс по Павлову. В заключительном слове Марков призывал изучать жизнь и говорил, как много пользы ему лично приносят поездки по стране в рамках Дней советской литературы. Рассказывал, как побывал в Донбассе, как летал на вертолете над самотлорским месторождением и т. д. Говорил о каких-то записях в своем блокноте, которые ему пригодятся, и т. д. <…> На второй день выступал лектор Цека по фамилии Смирнов, он толковал о международных делах. Этот ухоженный, благообразный, размеренный человек не говорил — пел и явно получал наслаждение. Наибольшее впечатление произвели на меня его некоторые выражения. Так, он сказал, что космические полеты помогают нам “управлять миром и наблюдать за миром”. Выражение, с которым были произнесены эти глаголы, явно говорило, что это не случайные слова… Голос этого велеречивого пастора так и звучит в моих ушах; вот ангелы небесные, а не правители; десятилетиями правят и не ошибаются, и пасторы упоенно славят их деяния как безупречные.

7.5.79.

Перечитал “Хранителя древности”, историю Корнилова и Зыбина. Прекрасный тон; страшное, жестокое, нагло-глупое представлены как ненормальная, абсурдная примесь к нормальной жизни; сила на стороне абсурдного и жестокого, но это не дает ей превосходства над обыкновенной здравой жизнью, тем более — над духовно богатой жизнью. Отсюда то, что мы называем оптимизмом. Какое скучное, однако, слово! Это такой оптимизм: они могут все, а мы ничего не можем, кроме одного: знать, что они — раздувшееся ничто, и из этого знания — исходить.

По телевидению прошел первый фильм из двадцатисерийной “Неизвестной войны”, сделанной для американского зрителя. Для советского зрителя сделать подобную картину никто не сообразил. Когда смотрели, думал, что киноматериал позволяет сделать еще более подробную и серьезную ленту о войне. Но делать ее — объективную и откровенную — не в интересах тех,

кто направляет нашу пропаганду. Были кадры, о которых наш зритель забыл, что они существуют: приезд Риббентропа в Москву, подписание пакта. Несколько раз держали в кадре Сталина. Например, у микрофона 3 июля 41 года. И я подумал, что даже в этот страшный час к нашему народу обращался человек, говорящий по-русски с акцентом.

Картину было очень тяжело смотреть. Всматриваться в лица наших — одного этого достаточно, чтобы расстроиться: худые, уставшие, какие-то обострившиеся лица. И веселые, веселящиеся, смеющиеся немцы... Они бодро шагают, едут, спешат, гонятся... И наши маршалы смотрят в бинокли... И портреты Ворошилова и прочих. И горящие деревни, и дед с мальчонкой, полураздетые, на пепелище, у остова русской печки... Как это все изобразить, как понять, чтоб согласились и мертвые?

13.5.79.

"Заблудившийся автобус" Джона Стейнбека ("Новый мир", 3 — 5) — высокий класс необходимого описания; уверенное, полное знание предмета; отсутствие беллетристики; отчетливость каждого характера, каждого строя речи и мысли, каждого материального предмета; разочарование всеми и каждым, все — заблудившиеся, надежда оставлена — на продолжение, на повторение того, что было до автобуса; доброе и то, что называют светлым, существуют на самом простом уровне: Хуан пожалеет жену, Прыщ растрогается, что отныне он Кит, а не Прыщ, и т. д. Но все равно — люди заблудились; кто-то напишет: заблудившаяся Америка или заблудившееся человечество. Еще лучше — опустившееся, которому блага цивилизации не пошли впрок. Но какая завидная, потрясающая отчетливость — ничего размытого, неопределенного, смазанного, серого и монотонного, всё — отдельно, все — разные, ничего суммированного, типового. Натуральная, но обдуманная жизнь; мысль нигде не отслаивается от изображения и отдельно не существует. Она тоже едет в автобусе и сама — автобус. Художник и есть художник, иногда полезно убедиться, что это так и возможно.

16.5.79.

У Клары Болотиной муж работает главным конструктором завода "Строммашина". Недавно его пригласил к себе директор. У директора сидел зав. фин.-хоз. сектором обкома партии Большаков, бывший председатель Островского райисполкома (я его по этой должности немного знал). Директор сказал, что вот нужно помочь обкому в получении мрамора. Болотин спросил, сколько нужно мрамора и для чего. Большаков объяснил, что речь

идет о строительстве правительственной дачи. Но тогда, сказал Болотин, мрамор вам должны отпустить по госфондам. Большаков пропустил это замечание мимо ушей (это они умеют прекрасно), и просьба была повторена. (“Строммашина” выпускает среди других машин и мраморообрабатывающие и потому находится в деловом контакте с соответствующими предприятиями.)

Видимо, обком собирается строить новую дачу или дачи. Поговаривают, что Козловы горы не устраивают товарища Баландина и отыскали лучшее место.

21.5.79.

Вычитал сегодня, что В. И. Вернадский был активным деятелем земского движения и членом Цека партии кадетов. С какой-то отрадой узнаешь, что в земской деятельности участвовали многие выдающиеся русские ученые и литераторы. Им это было нужно, они этим не гнушались, это была важная часть их жизни. Но как ругана их эпоха, как унижена. А мы-то сами кто теперь? Все отдали: самостоятельность, ум, честь; одна словесная казуистика спасает, надо же как-то оправдаться. Оправдать свое безупречное послушание и покладистость.

2.7.79.

Вот мы и вернулись; кажется, это было вчера; жизнь вернулась в свое русло, будто и не выходила из него и ничего не менялось. А мы-то катали, летели за две тысячи верст, и глаза пытались привыкнуть к другому ландшафту, другой листве, другой траве, другому простору. И губы еще не забыли вкус морской воды. Закрыть глаза — открыть снова, и полная перемена, словно все смыто, и заново прочерчен наш проспект Мира, и заново нарисован и осязаем каждый дом, забор, дерево, памятник, — да, да, знакомое, привычное русло, или так — наше пространство, жизнепространство, угол наш...

Пока совсем не стерлось: балкон на десятом этаже пицундского Дома творчества, где мы с Томой любили сидеть вечерами, перед сном; бледный, постепенно исчезающий очерк берега; звонкий хор лягушек с двух близких озер, не уступающий проносящемуся реву пицундского шоссе; в паузах рева — ресторанная музыка, освещенная лестница и подкатывающие машины, романтическая полутьма, дуновенье и звучанье беззаботности, легкой, прекрасной жизни, забывшей обо всем, что было и будет; ночная гроза и реактивный свист сквозняка — из балкона в балкон, будто летим и зависаем во тьме; все двадцать четыре дня — зависанье, отрыв от дела, от привычек, перерыв, и

уже — с половины — наскучил...

<...> Долго все лица были чужими, из знакомых — никого. Шахтеры, чиновники, еще кто-то. Литераторы — в меньшинстве. Но однажды увидел Юрия Селезнева, перемолвились несколькими словами: когда приехал, на сколько и т. д. Большего и не хотелось, хотя и было некоторое неудобство: все-таки единственный знакомый. В день предварительного заказа авиабилетов Селезнев представил мне стоявшего рядом с ним человека: Байгушев. Вы знакомы? Я вспомнил тотчас: мы виделись мельком в издательстве "Современник". Тогда Байгушев (зам. главного редактора изд-ва по критике) был сумрачен и не выказал ко мне ни малейшего расположения. Скорее, он сдерживал неприязнь, но не скрывал ее. Тогда я уже знал, что он — однокурсник Левы Аннинского и, по словам Левы, ознаменовал свой приход в издательство тем, что задержал книгу Аннинского и вмешался в текст книги, уже набранной и почти готовой к выходу. Еще я помнил критический диалог Левы и Байгушева в "Доне", где был выпад (со стороны Байгушева) и против меня, хотя имени моего там не называлось (выпад касался моей новомирской статьи 69 года). На этом мои знания о Байгушеве заканчивались; впрочем, какие-то смутные воспоминания побуждали числить этого человека за кочетовским направлением (условно говоря). В тот день состоялся наш первый разговор: сидели втроем на скамейке и Селезнев, иногда перебиваемый Байгушевым, рассказывал о том, как сионистские провокаторы пытались дискредитировать его и его товарищей в глазах власти и широкой общественности. Второй разговор произошел в баре, когда Селезнев уже уехал и мы сидели с женами, и был еще тульский писатель Александр Харченков (если не ошибаюсь в написании его фамилии). <...>

9.7.79.

В один из вечеров, уже после отъезда Селезнева, мы сидели в баре. Байгушев предложил выпить за мою книжку и за новые успехи. Потом же стал говорить в таком роде: я хорошо помню твою статью в "Новом мире", она мне понравилась, в ней было что-то свежее, и знаешь, мы уже тогда заинтересовались тобой. Мы изучили твою биографию, узнали все, что хотели, и могли доставить тебе много неприятностей (вот как понравилась статья!), но потом передумали. А скажи-ка, обратился он ко мне вполне по-дружески, много ли ты получил за нее сребреников? И тогда я — тоже по-дружески — сказал ему, что они при всем своем желании ничего мне не смогли бы в Костроме сделать, а во-вторых, вся их пресловутая русская партия сама пронизана духом

еврейства как торгашества, то есть беспринципна, пронизана стремлением к должностям, карьере, заражена куплей-продажей, приятельством и прочим. И что касается сребреников и всякой выгоды, то я чист, и со мной этой партии не совладать. Что-то в этом роде сказал, и разговор сполз на другое. Однако Байгушев успел еще сказать, что книжку мою в “Современнике” мариновали именно потому, что я написал ту статью, и вообще, надо понимать, за мою жизненную и литературную позицию.

Самое любопытное в этом разговоре, как звучало в устах Байгушева это “мы”. Он явно давал понять, что входит в это “мы” и не последний там человек. В свое время Байгушев был зам. редактора газеты “Голос Родины”, и, хотя он подчеркивал, что был там представителем Цека партии, я не вполне поверил. Он слишком старательно отмежевывался от другой организации, имеющей к этой газете самое прямое отношение (я с этим сталкивался, когда ездил в Макарьевский район к некоему Смирнову, бывшему власовцу). Эта старательность выдавала его близость к этой организации.

Из разговоров: “А, этот Юрий Жуков! Старый, закоренелый сионист... Вы думаете, случайно, что Брежневу дали Ленинскую премию по литературе, не по журналистике, что было бы много разумнее? Это тоже дело рук сионистов, они хотят вызвать больше раздражения в народе... Резник — хороший футболист, но у него мне не нравится фамилия”.

22.7.79.

Хорошо бы выбрать время и написать не думая об издателях, об изображении детей в современной прозе, о детях как “увеличительных стеклах зла”. Наткнулся недавно на безобразную страницу в новом сочинении Ю. Семенова (“ТАСС уполномочен заявить...”), после которой желание написать об этом стало еще отчетливее. В глубину мировой литературы я бы не пошел — до дна не добраться, но Достоевский и Толстой помогли бы мне понять происходящее. Может быть, и получится что из этого замысла.

В “Лит. газете” статья Евтушенко — два подвала — о международном фестивале поэзии на одном из итальянских пляжей. Фестиваль проходил в условиях абсолютной демократии. Выступали все, кто хотел, как хотел и в каком угодно виде. Евтушенко рассказал, как он и лучшие из присутствовавших поэтов мужественно противостояли террору толпы и т. д. Я же обо всем этом подумал, что никакого в этом мужества нет и нечего было там — поэтам — делать. Вряд ли на этом пляже бесновались те, кому в жизни приходится тяжело. Выступать там

— значило выказывать распущенной, разнузданной публике — уважение, т. е. косвенное признание ее права таким образом жить.

На днях в Кострому на польские дни (35-летие Народной Польши) приезжала делегация из Варшавы. <…> Любопытно, что в составе делегации был старый польский поэт Станислав Рышард Добровольский, имя которого достаточно известно у нас в стране. Еще любопытней, что никто из костромских писателей не был приглашен на встречу с поляками. О какой-либо встрече с Добровольским не могло быть и речи: она не была предусмотрена. Поляки участвовали в двух собраниях, где они слушали речи и выступали сами. Остальное время их возили в колхоз, на ГРЭС и т. д., и повсюду их сопровождали руководители области, т. е. самый узкий круг одних и тех же лиц. Представить себе, чтобы кто-то из костромских писателей сопровождал гостя-поэта, — невозможно. Все ритуалы подобных визитов в Кострому зарубежных гостей схожи: представителей творческой интеллигенции не подпускают и близко. С ней не считаются, ее — нет.

Читаю журналы 1909 — 1910 гг. Тогда и раньше тоже — русское правительство боялось своего народа не меньше, чем нынешнее. Тому есть много признаков и примет — боязни. Среди них — масштабы деятельности тайной полиции, состояние внутренней и зарубежной информации, в том числе статистики, размах цензуры и т. п.

28.8.79.

Была печальная весть: на 39-м году жизни умер Валерий Гейдеко. Пока не знаю, что случилось. Гейдеко не вызывал у меня большого расположения, был человеком практическим, но ко мне относился хорошо, не знаю, почему. Жаль его, очень уж ранняя смерть. Прерыв жизни…

…Только сейчас, сию минуту, “Голос Америки” около одиннадцати вечера передал сообщение о смерти К. Симонова. Мы же слушали программу “Время”, и там не было сказано ни слова. Вот так — из чужих уст — узнали эту горькую новость. Константину Симонову нужно отдать должное: его развитие в послесталинские годы отмечено благородством. Его военные романы, дневники, его работа на телевидении (“Солдатские мемуары”), его гражданское поведение — все это вместе представило его народу как крупную личность. Попытки алексеевых, стаднюков и других умалить значение этой личности, заместить его, Симонова, как военного писателя собою всегда выглядели жалко. Беда, что крупное исчезает, остается мелкое и

норовит укрупниться любым путем, любой ценой. Опечалятся многие мои друзья — Володя Леонович в Карелии непременно, а вот другие — тот же Бочарников, Шапошников или Стаднюк — может быть, втайне и порадуются: как же, пережили, вроде бы превзошли, вроде бы их сторона берет верх...

На кого надежда в нынешней литературе? На Быкова, на Абрамова, на Трифонова, на Залыгина. На кого еще здесь, в России? Потомки легче примирятся с тем, что какой-то художник был далек от общественных страстей и нужд, современникам такое дается хуже. Да и случись большой художник, ему многое бы прощалось, да нет его. А эти со своим тощим талантом, да и с талантом ли? — со своим лебезеньем пред властью, со своими мелкими страстями хотят, чтобы их чтили и возвышали. Это Олегу Михайлову все едино, про кого сочинять: про Бунина или про Стаднюка. Каково-то Бунину от такого соседства. Нет уж, лучше надеяться на таких, как Быков и Абрамов, тут есть художническая независимость и порядочность, а это безмерно дорого.

В начале августа заходил Володя Леонович. Жить в Сумарокове и покупать там дом ему расхотелось. Что-то не понравилось. Показалось, что много запустенья, бурьяна и что слышно "военное присутствие": леса перегорожены ракетчиками, слышны какие-то команды то ли в рупора, то ли по радио... Словом, раздумал. Жаль. Аля Чернявская потом смеялась: это не военные в рупора кричат, а на лосеферме лосей зазывают, покрикивают. Я был занят статьей об Абрамове, когда зашел Володя, но был рад ему, и мы хорошо разговаривали, и потом я проводил его до центра города. Володя подарил вышедшую в Тбилиси книжку своих переводов из Г. Табидзе.

Прочитал книгу Вяч. Вс. Иванова "Чет и нечет", изданную в прошлом году издательством "Советское радио". Подзаголовок: "Асимметрия мозга и знаковых систем". Очень жалею, что узнал об этой книге слишком поздно, чтобы ее можно было купить. Придется сделать оттуда ряд выписок. Наибольший интерес книга представляет (во всяком случае, для меня) для самопознания. Например, даже для познания особенностей собственного стиля.

3.9.79.

Мир отмечал 40-летие начала Второй мировой войны. Наши телевизионные обозреватели без тени смущения всю ответственность сваливали на западные державы. Обозреватели явно рассчитывали на нашу забывчивость; забывчивость укрепляет устои государства. В мировой опере наша партия такова: мы всегда правы.

Прочел роман Ю. Семенова “ТАСС уполномочен заявить...”. Сей писатель увлеченно доказывает, что все наиважнейшее в современном мире вершится руками “спецслужб”, т. е. тайной полицией и разведкой. Ему, по-моему, даже нравится, что это так. Кто в романе просто шпион, кто — журналист, без конца путается, особенно когда речь идет о советских людях. Налицо популярное совмещение профессий. Скоро, что ни случись в мире, заинтересованная сторона объявит: это дело спецслужб таких-то государств. Уже по одному этому никаких революций уже не будет, никаких тебе порывов к справедливости, все — от спецслужб. Вот двигатель истории — интриган из ЦРУ...

12.9.79.

Объявился тут Виктор Калугин, мой редактор из “Современника” (на машине приятеля некоего Михаила Еремина, ленинградца). Некстати было, да что поделаешь. Устроил их в гостиницу, а наутро они уехали в Сергеево, к Старостину. Михаил был представлен нам как переводчик поэзии (без особого разбора, но в основном среднеазиатской, по подстрочникам). Он говорил о своих переводах как о работе, чтобы можно было жить. Даже как о минимально необходимом заработке. Ничто большее и серьезное его не интересует (в поэзии). Но дал понять, что верующий, что разбирается в иконописи и т. д. Такие пошли теперь верующие: непременно дадут понять, что верующие. Очень хотят, чтобы это им было поставлено в заслугу, очень хотят отличиться. Не понял я этого человека; кажется, он всячески прикрывает свое разочарование самим собой, свою неудачу, нежелание или неумение работать, — а может, я и не прав; по сути, этот человек, возможно, серьезнее Калугина. Виктор — весь приспособление к сильным; Тома сказала, что у него хитрое, лисье лицо. В первый вечер я немного прошелся насчет “русской партии”; Тома потом сказала, что все это зря, и вспомнила, как в Пицунде Байгушев — ну и говорун, однако, — сказал нам, что издательство посылало ко мне не просто редактора (Калугина), но “кагэбэшника”. Честно говоря, я не верю в это качество Калугина, хотя зарекаться ни от чего нельзя. Все эти промонархические разговоры и намеки Калугина и его спутника вполне совместимы с предполагаемой его второй профессией. Это достаточно безобидно. Вот, однако, Калугин сказал, что гонения на “Наш современник” (снятие якобы грозит Викулову) связаны с тем, что нашли у Пикуля намек на салон “госпожи Брежневой”, где, по словам того же Калугина, бывают Арбатов и др., как я понимаю, по терминологии Байгушева и Селезнева, — “сионисты”...

Вчера опять читал лекцию пред пропагандистами области в

Доме политического просвещения. Потом расстроился: слишком искренне говорил. Большая трата нервов, а иначе не получается. И все-таки надо сдерживать себя, не поддаваться чувствам.

Купил “Русскую беседу” (один номер за восемь рублей), вторую книжку за 1856 год, и был очень доволен: статьи И. Киреевского, Ю. Самарина, стихи и проза Аксаковых и т. д. Очень интересны карандашные пометки на журнальных полях, судя по всему, принадлежащие читателю той далекой поры. Если я правильно понял, этот читатель весьма критически воспринимал представленные в журнале славянофильские увлечения и отзывался иронически о “московских ученых педантах”. Я подумал, что для человека, живущего в глухой русской провинции (журнал привезен откуда-то из районов области), это очень здоровое восприятие преувеличенных московских страстей.

Читал “Спасское-Лутовиново” В. Гусева. Я надеялся на лучшее и с сожалением думаю, что и этот человек не замечает, что впадает в какое-то бесперспективное мелкое психологическое копошение. Автобиографическое начало очень заметно, чувствуется “обеспечение собственной судьбой” чуть-чуть закамуфлированной, и бывает просто неловко читать, потому что герой очень нравится себе, но мелкость его натуры, своекорыстие, эгоизм, грубость (не тонкость) чувств — все отталкивает, и чувство неловкости меня не покидает. Прежняя давняя проза В. Гусева мне нравилась, хотя, может быть, тогда я не замечал того, что хорошо вижу теперь: сделанности, рассчитанной, выверенной по самым неопровержимым рецептам литературоведения. (Правда, нужно это дочитать.)

Было очень хорошее письмо от Н. Скатова, и еще — от вдовы К. Воробьева В. В. Воробьевой, которая как бы попрощалась со мной, уезжая на преподавательскую работу в ГДР. Письмо Коли связано с ленинградским резонансом на мою статью о Ф. Абрамове. Не помню, писал ли я здесь о том, что А. С. Рулёва очень высоко ее оценила.

15.9.79.

В костромской госбезопасности смена начальства — прислали генерала, а прежде были одни полковники. Два знакомых офицера не скрывали радости и были неожиданно откровенны: оказывается, Макогина не любили и в последнее время подозревали, что у него не все в порядке с головой. Я подумал: а в чем это, интересно, выражалось? Судя по словам одного из офицеров (ни имени, ни фамилии его не знаю, такой знакомый; может быть, я знал его до его поступления туда? может быть, он бывал в редакции?), коллектив госбезопасности

способствовал уходу Макогина, т. е. это означает, что кто-то что-то предпринимал. А это удивительно для военной организации. Так в чем же тогда выражались отклонения от нормы бывшего начальника? Занятно.

Сентябрь холодный, нескладный. То солнце, то дождь, и бабьего лета, видно, не будет. Посреди дня пошел сегодня в книжный. Небо — синее, трава на газонах зеленая, в листве желтизна, воздух холодный, будто издалека, с севера, тянет зимой. Такое счастье — просто идти по улице: какое-то хмельное чувство.

Прочел роман Апдайка “Давай поженимся”. За исключением нескольких мест — бесперспективное психологическое копание. Кое-что Апдайку захотелось пережить еще раз, в словах, — тоже немалая сладость, не отсюда ли эротический пафос? Странная бесцельность всего сочинения. Такой литературный спорт — пробалтывание, проговаривание, проопределение того, что обычно не определяют для других, для чужого слуха. Хотят, чтобы человек был проговорен до конца, вывернут наизнанку. Апдайку далеко до стейнбековского искусства различать и описывать различных, отдельных друг от друга людей. Здесь людей трудно отличать, они похожи, а я не верю, что даже в наши выравнивающие времена люди похожи настолько. У Апдайка заметнее прочих написаны сексуальные различия людей; возможно, ему это кажется основным. Ну, тогда он недалеко уйдет.

В библиотеке мне сказали, что к сентябрю каждая сотрудница библиотеки уже тридцать раз ездила на работу в “колхоз” и неизвестно, когда поездки закончатся. Такое массовое привлечение людей к сельхозработам всех удивляет: прежде такого не было. А что будет дальше? — спрашивают себя люди.

Л. Колосов и В. Кассис в “Неделе” и других изданиях разоблачают эмигрантов, отщепенцев, предателей. Порою они пишут грубо, грязно, непорядочно. Одно из их сочинений в “Неделе” кончалось каким-то эффектным пассажем, где, между прочим, говорилось (не помню уж, в какой связи) так: мы знаем, что по ту сторону жизни ничего нет, — или как-то похоже, но очень твердо, с мужественным нажимом, что после смерти для человека ничего нет. Я почему-то удивился: откуда они так хорошо все знают, откуда такое бесстрашие? И еще подумал, что раз ничего нет, так ведь это развязывает руки: делайте что хотите, распоясывайтесь...

Возможно, лучший способ жить — не обращать внимания на всю политическую область: пусть творят что хотят. И вообще — не вмешиваться ни в какие решения и методы власти, любой,

самой малой. И при этом заниматься своим единственным, предназначенным тебе делом.

30.9.79.

Заходил Леня Фролов, пробыл в Костроме один день и уехал по районам области собирать материал для очерка о подъеме Нечерноземья. Держался дружелюбно, был искренен, все-таки знаем друг друга не первый год, но не очень-то открыт; чувствовал, что ли, что здесь люди несколько иной веры; как не снял пиджак, так и не снял с себя некоторой осторожности, мне не совсем понятной. Может быть, помнил письма, которые я написал ему по поводу романа Пикуля и предполагаемых мной причин его публикации. Или другое что причиной... Или это в его характере, следствие неизбежной московской дипломатии и настороженности. Об одном он сказал неожиданно прямо и как бы косвенно объясняя, что за многое в журнале не отвечает: Викулов принимает категорические решения, т. е. последнее слово за ним, и спорить с ним бесполезно. Я сказал ему: уходи, проживешь. Он промолчал. Московские неохотно расстаются с должностями, им нужно много денег, да и должности позволяют лучше устраивать свои литературные дела. Другая жизнь.

Прочел, и быстро, книгу Ю. Кудрявцева “Три круга Достоевского”, изданную Московским университетом. Читал я в свое время и другую его книжку: “Бунт против религии”, тоже о Достоевском. Этот Кудрявцев — какой-то родственник (не двоюродный ли брат) Гектора Степановича Шепелева, бывшего директора культпросветучилища, от которого я впервые о нем и услышал. Новая его книга по нашим цензурным условиям — редкая. Вынесенные на суперобложку похвалы в адрес автора, подписанные член-кором и доктором наук, на мой взгляд, лишние и преувеличенные, хотя они, возможно, и прикрывают его вольности. Но в целом книжка очень живая и достаточно свободная; это как бы социологическо-философский комментарий к Достоевскому, чрезвычайно непосредственный и рожденный сегодняшними российскими сомнениями и муками; сама методология отдает схематизмом, четкое различение и обособление трех кругов невозможно; слишком универсальным кажется предлагаемый ключ; стиль очень живой — восходящий в отдалении к А. Белинкову и помнящий о манере Н. Бердяева, — но литературной культуры ему все ж таки не хватает. Но читал с немалым удовольствием, вспоминая тексты Достоевского и радуясь сходству в понимании многих нравственных, политических и эстетических проблем. Редко приходится читать в нашей стране такие откровенные, напористые, широко берущие

тексты. Вся наукообразность отброшена; прочесть и понять может всякий мало-мальски гуманитарно подготовленный человек или любой, имеющий навык к чтению внехудожественной литературы. Если донесут, то у кого-то в издательстве будут неприятности; но дело сделано.

28.10.79.

В нашем СП опять вздор и дрязг. Герои те же: Шапошников, Бочкарев, Кожевников. Послушать со стороны, что читал вызывающе-торжественным голосом насчет профсоюзов — школы коммунизма и дарованных нам Конституцией прав Бочкарев, можно подумать, что дело происходит в какой-нибудь заготконторе, а докладчик — из малограмотных. А повод-то каков: отчетное профсоюзное собрание. Нет, и в заготконторах такое не говорят, Союз писателей — самое место для такой пошлости и глупости. Хоть совсем в этот союз не ходи, так противно. Осваивают жанр кляузы, затем последуют доносы, остальные жанры, разумеется, труднее, дар Божий нужен, а его нет...

Ниоткуда что-то нет мне вестей; все остановилось. Гавриил Николаевич[66] прав: неудачи, беды и прочее в том же роде надо преодолевать работой. Так и стараюсь делать, но приходится читать чужие рукописи, чтобы развязать себе руки. Прочел большой роман неизвестного мне Н. Фомичева “Свидетель”. Он написан в виде записок некоего князя Аристархова, который свидетельствует о первых семнадцати годах нашего века. Судя по всему, сочинен роман человеком молодым, но сильно смелым. Даже бесстрашным. Не писатели пошли — герои. Им все по плечу, никаких сомнений, никакого страха Божия, никакой ответственности. Знай строчат свое, а потом, настрочивши, — в издательство, скажем, в “Молодую гвардию”. И я вот, и еще кто-то сидят, мучаются, читают.

А еще читал сегодня рукопись Л. Б. Шульца для ярославского издательства. Называется: “Общественная сила красоты”. Первая глава из диссертации на докторскую степень; нечто серьезное; все остальное — во имя публикации, преимущественно политическая, оснащенная необходимыми ссылками на первых лиц в государстве, банальщина. Тоже ведь удивительно. Все вроде бы человек понимает, но понимание для себя — это одно, а дело (карьера, успех, престиж и т. п.) — другое. Популярное нынче раздваивание: и туда поглядишь — Янус, и туда — Янус. Вот и разгляди единственное естественное лицо человека.

8.2.80.

С первых дней января очень напряженная обстановка в мире. Говорят, что напряженней не было со времен войны. Некоторые западные обозреватели сравнивают ситуацию с осенью 39 года, когда немцы напали на Польшу. На самом же деле ситуация, разумеется, новая: впервые за последние годы наша страна оказалась почти в абсолютной изоляции. Даже среди соц<иалистических> стран нет былого, хотя бы внешнего единства. И Румыния, и, судя по отсутствию информации из Будапешта, Венгрия не очень обрадованы афганской историей. Да и кто обрадован? До сего дня версия афганских событий подвергается изменениям: пытаются связать концы с концами. История с Амином удивительная. В наших газетах можно было прочитать, что “по свидетельству” такого-то члена ЦК партии, Амин, еще будучи в США, был завербован американской разведкой. Вот и думайте: что значит “по свидетельству”? В присутствии этого члена ЦК? Так где же он был раньше? Что молчал? И несть числа подобным вопросам. Наша международная информация и пропаганда исходит более всего из надежды на нашу полную глупость и забывчивость, едва ли не беспамятство. Они думают, что мы ничего не помним. Вот где вера в неотразимость своих слов.

Недавно в Горький из Москвы выслан Сахаров, а “Сов. Россия” напечатала статью — удивительно бесцеремонную — против Л. Копелева. И тоже — в этой статье — расчет на незнание и забывчивость читателей.

Вот и год активного солнца: человеческая масса волнуется. Но впечатление такое, что более всего волнуемо относительно небольшое число людей — госдеятелей, а уж они-то теребят и тревожат всех, то есть народы, и во всем расчет на ту же глупость и послушание.

Недавно в редакции вернувшаяся с какого-то сборища в Москве Протасова рассказывала о выступлении Цвигуна[67]. Он упоминал о разоблачении в Саратове студенческой группы “радикал-демократов” — о том Протасова и сообщила. И тут редакционная новенькая от души сказала: “Ну что ж, начнем опять, и опять на Волге. Начнем сначала”.<…>

13.3.80.

Вчера вернулся из Шарьи, где выступал на районном съезде специалистов сельского хозяйства. Деваться было некуда, пришлось сидеть в президиуме. Потом еще выступил в педагогическом училище, был приглашен на ужин, устроенный местной властью, и вечером уехал домой. Первым секретарем в Шарье сын Е. Н. Ерохина — 43-летний Владимир Евгеньевич.

Было любопытно наблюдать, да и послушать.

“Мы — люди временные”. “Временные, зато могущественные”, — сказал я. “Могущественные, но при ограниченных полномочиях”, — ответил Ерохин, явно имея в виду свою зависимость от областной власти, от этой жесткой опеки.

В Шарье услышал новую периодизацию российской истории: допетровский период, петровский, послепетровский и днепропетровский.

Публика на съезде была молодая; вспомнил облик Троепольского, облик дяди Володи (Владимира Николаевича Плескачевского), т. е. агрономов старого закала; таких или отдаленно похожих на съезде не было. Ну, то поколение сошло, перевелось, но где же последующие? Словно пропущены, кем-то выбраны. Остались молодые, и ежегодно половина обновляется (одни уезжают, другие приезжают).

<…> 21 — 24 февраля был в Москве: на совете по критике, на правлении издательства “Советский писатель”. Один вечер провел у В. О. Богомолова, и нужно об этом записать как следует. Пока откладывал, так как писал о “Карателях” Адамовича, нервничал, спешил. И отправил без уверенности, что это легко пройдет. Иначе не написалось; скучно писать критику, ограничиваясь фиксированием каких-то формальных элементов литературоведческого толка. Я воспринимаю книгу прежде всего как факт жизни, если она действительно им является. Разумеется, как факт литературы. Но значительная часть эмоционального и прочего восприятия связана именно с этим, с фактом жизни.

16.3.80.

Ю. Нагибин, выступая по телевидению, невзначай упомянул “пайки”, за которые кто-то борется или за которыми кто-то “бегает” (он говорил о личных качествах писателей, о том, может ли человек с дурным характером и малодостойными склонностями быть хорошим писателем и т. п.). Кто-то из телезрителей подумал, что Нагибин вспомнил войну или другие трудные годы. А Нагибин просто проговорился, потому что это сегодня членов СП в Москве раскрепили по магазинам и они в определенные дни недели те магазины навещают. Мне передавали слова Ф. Кузнецова: “Снабжение писателей — дело политическое”. Воистину так.

13.4.80.

Написал рецензию (внутреннюю) на рукопись Д. Дычко о Галине Николаевой. Изд-во “Советский писатель” заключило с

Дычко договор и теперь вынуждено отказываться от этой рукописи. Сочинение Дычко заставило меня задуматься: эта женщина многие годы работала в журнальных и газетных редакциях Москвы, оценивала, правила, отвергала, играла какую-то, пусть небольшую, роль, но уровень ее мышления и представлений о литературе и жизни столь невысок, а стиль столь беспомощен, что поневоле возникает вопрос: как же она ту роль играла? А ведь играла же, и вполне, значит, возможно, что рядом, выше и ниже, были такие же “артисты”. Недаром говорил Черниченко: вы думаете, что там, в Москве, “вверху” (речь шла о государственных учреждениях), работают люди семи пядей во лбу? Неправда, там — самые обыкновенные, зачастую самые заурядные, невысокой квалификации люди. Конечно, я об этом догадывался. Но рукопись Дычко, московской литературной дамы, как-то очень ясно и наглядно представила мне истинное положение вещей. “Столичный уровень” — все это чепуха. Есть уровень людей.

Прочитали с Томой книжку Н. Решетовской. Там упоминается Кострома, где А. И. (Солженицын) учился на артиллерийских курсах в 1942 году. Кстати, где-то в эту же пору или годом позже в Костроме побывал Богомолов, приезжавший в Песочную набирать разведчиков. Вероятно, он кого-то сопровождал из офицеров, потому что сам тогда был крайне молод. <…>

В “ЛГ” появилась рецензия Бориса Баннова на книгу Н. Яковлева о ЦРУ против СССР. Там говорится чуть ли не о том, что ЦРУ сфабриковало, привело в божий вид сырую массу сочинений А. И. Вот уж где расчет на короткую человеческую память! Не сами ли выпускали в свет книгу Решетовской. Этого Бориса Баннова я помню по университету. Он и тогда вызывал у меня какие-то брезгливые чувства. Неприятный был юноша, гладкий, хорошо приспособленный. Ну а про Яковлева — я сразу вспоминаю его слова о приятной тяжести каски на голове, которые есть в его книге о 14-м годе. Ключевые — в психологическом отношении — слова.

Ничего нет, кроме работы. Все это газетное и мнимо общественное, активно-литературное (сборища, декады, дни, секции и пр.) тащит в какой-то омут. Все дурное там замешивается, взбалтывается и плещется через край. Не знать, не слышать, не видеть. Кому нравится — пусть их; образ жизни А. И., о котором рассказывает Р., напомнил мне о Любищеве; высшая правота — в такой отдаче работе, в таком “аскетизме”.

Ну и снег сегодня!

Иногда приходит в голову: роман бы написать. И такая вдруг поднимается в душе надежда, что смогу, что нужно сесть и

писать, но рассудок быстро отвергает: не твое дело, оставь. Но потом снова случается такой миг, и такая же поднимается надежда. Не знаю, не знаю.

Читаю всякую чужую галиматью (рукопись страниц в шестьсот Р. Солнцева), поражаюсь какой-то внутренней бесконтрольности, вседозволенности себе; как же так, думаю, ничего не сдерживает, все нравится автору и все важно, и нет конца словесному потоку. Потоп какой-то.

15.4.80.

Вот штрих к роману о наших днях: доктор наук, заведующий кафедрой литературы возвращается из Москвы в общем вагоне с рюкзаком за плечами. Ездил в министерство. Утром, с поезда, приходит домой, измученный тяжестью и бессонной ночью, и тут же, сразу, в прихожей становится, опускается на колени, чтобы снять с плеч битком набитый едой рюкзак.

Америка приняла решение о бойкоте Олимпийских игр в Москве.

Пока в Афганистане был Дауд, все было спокойно. Наше вмешательство в дела этой страны привело к тому, что Америка и Китай открыли друг другу объятья, под угрозой срыва оказались Олимпийские игры, многие страны отшатнулись от нас; к тому же мы не знаем, каковы потери там наших войск.

28.4.80.

Больше нет старого кладбища в Костроме. Вчера проходили с Никитой мимо, по другой стороне нашего проспекта Мира, и зрелище, открывшееся нам на некотором удалении, поразило нас своей странностью: кладбищенский лес, казавшийся прежде таким густым понизу, вдруг просветлел и стал просматриваться далеко, и в глубине его повсюду что-то делали, во всяком случае присутствовали и как-то даже празднично, разбросанно размещались люди. Это уже явно шла к концу очистка парковой теперь территории от памятников, оград и крестов. На той части кладбища, что соприкасалась с улицей и где похоронены умершие в костромском госпитале воины, работы были в полном разгаре: множество солдат и школьников что-то делали на этой ископанной, исковерканной земле. Я слышал, что мемориал собирались реконструировать. <…> Теперь мы с Никитой увидели, как выглядит это черное, в сущности, дело. Казалось, что пустота, образовавшаяся среди деревьев, связана с тем, что память о множестве людей физически упразднена, стерта. Пока были эти ограды, имена и даты на камнях и железе, казалось, были, присутствовали, не исчезли до конца и люди, носившие эти

имена. Теперь их не стало, словно прошел каток и выровнял место, освободилось пространство. Лес стал разреженным, и было странно, что в нем так просто и легко ходит много людей.

Шел с Аркадием Пржиалковским по улице Ленина мимо конторы костромского горпищеторга. Со двора этого дома навстречу нам дружно вышло много женщин — десятеро или больше, все широкие, плотные, большие и с сумками в обеих руках. Несколько лет назад со двора этого одноэтажного дореволюционного дома был вход в закуток из двух комнат, принадлежавших Союзу писателей. Я еще тогда понял, какое важное, могущественное учреждение трещит пишмашинками и пронзительными голосами за писательскими стенами...

Странно устроена наша общая жизнь, но и к странностям привыкают, когда они длятся долгие годы и постепенно прибавляют в своем удивительном качестве. Я понимаю, почему в новом романе С. Залыгина аристократы (будь то полковник царской армии, противник революции, или рабочий человек, знаток своего ремесла, мастер) противопоставлены нэпманству как силе наглой, низкой, жадной — до еды, барахла, наслаждений, роскоши. Именно эта сила, называемая нынче потребительской, забирает все больше власти в нашем общем быту. Но нэпманы хотя бы умели делать свое дело, были предприимчивы, изворотливы, многим рисковали, многое у них получалось. Нынешняя чернь скорее всего или чаще всего бесталанна; она просто ловко использует свое служебное положение, она кормится сама и кормит тех, кто в свою очередь способен ее подкармливать. Чем больше она кормится, и чем больше кормит, и чем больше получает взамен, тем выше она оценивает свое значение в общей жизни, тем полнее ощущает свою силу и правоту. Она-то того и гляди объявит себя новой и подлинной аристократией, потому что умеет жить и знает толк в жизни, в ее ценностях. К тому же она хорошо знает, при ком кормится и кому обязана своими местами; уж в этом твердом знании ей не откажешь; тут она не ошибается и не ошибется. Впрочем, эта человеческая порода выведена не в последние годы, она всегда берет свое, сейчас же она распоясывается...

Пишу рецензию на повести и рассказы В. Поволяева, предложенные им издательству “Детская литература”. Среди москвичей рецензента, способного отклонить это предложение, видимо, не нашлось. Не портить же отношения с секретарем Союза писателей РСФСР. Я же вот взялся, обещав единственное: напишу, что думаю, — в интересах издательства или нет, все равно. Пожалуй, моя рецензия Поволяеву не понравится, но если он — умный и совестливый человек, то что-нибудь поймет и

примет. После сочинений Солнцева и Поволяева я думаю о недержании речи, которое именуется литературой.

8.5.80.

Сегодня в Белграде хоронили Тито. Умер на 88-м году жизни. Телекомментатор Потапов сказал, что в похоронах принимают участие руководители ряда государств. В этом “ряду” около ста государств мира. Сказать об этом людям наши органы информации не могут. Точно так же не могут они оценить подлинное значение ушедшего человека и его мужественного дальновидного акта сорок восьмого года. <…>

Вспоминаю Йоле Станишича, его ненависть к Тито. Наверное, в его рассказах о репрессиях в Югославии была правда. Идеализировать Тито, обольщаться на его счет — нет нужды. Но история, надо думать, высоко оценит его бунт против сталинского деспотизма, смелость его разрыва со своим могущественным соседом и многолетним политическим руководителем.

Йоле Станишич — высокий, худой, порывистый, глаза черные, пламенные, шевелюра черная, пламенная; ныне он в Ленинграде, член Союза писателей, поэт. А тогда учился в Костромском пединституте, приходил ко мне в редакцию, приносил стихи в переводах Валерия Благово, кажется, однокурсника. Стихи были антифашистские, с проклятиями по адресу извергов и палачей; я не сразу понял, что эти проклятия посылаются Тито. Станишичу казалось, что мы разделяем его взгляды; во всяком случае, не замечал, чтобы он на этот счет сомневался; вроде бы это для него само собой разумелось. Как я понял, Станишич бежал из концлагеря в Румынию, а оттуда перебрался в Советский Союз. Однажды он рассказывал о том, как в лагере расстреливали: построили, выбрали через одного… Другой югославский костромской политэмигрант, Джурович, по сей день работает в Костроме. Он закончил с/х институт и работает на опытной станции, даже стал каким-то начальником. Но в нем и прежде не было той страсти, что в Станишиче. Он, кажется, меньше политик и более приспособленный человек. Думаю, что если в Советском Союзе есть какое-то антититовское югославское “движение”, то Станишич непременно к нему причастен; возможно, теперь он окажется в Югославии, чтобы бороться там, но вот вопрос: за что? За возвращение в лоно той церкви, из которой Тито вышел в сорок восьмом?..

10.5.80.

Вчера, в День Победы, как всегда, на проспекте Мира было многолюдно. Сначала возлагали венки к так называемому

монументу Славы на площади Мира, а потом все шли к воинскому кладбищу, где похоронены умершие от ран в костромских госпиталях. Необычно много вчера было выведено на улицы войск; что-то я не припомню, чтобы был когда в Костроме такой крупный проход солдатских колонн по городу. И училище шло, и десантники, и, возможно, ракетчики... в сравнении с прошлыми годовщинами все меньше на улицах участников войны. Раньше были заметнее и инвалиды на колясках, и старушки, чьи-то матери... Теперь заметнее всего молодые и какие-то обезличенно средние — наши и за нами идущие — возраста... Мир меняется, там, где стояли и шли одни, стоят и идут совсем другие, а тех уже нет совсем. Все происходит незаметно; перемена в фигурах: одних кто-то смахнул, другие пока оставлены...

Почему-то вспомнилось, как вчера мы стояли у здания горкома партии среди многих людей, ожидавших прохода солдат, и вдруг увидели, как на перекрестке, за оцеплением, одна за другой в крутых виражах разворачивались черные, блестящие на солнце “Волги”. Этот разворот одной, другой, пятой, едва ли не десятой машины заметили многие и с любопытством следили: начальство приехало. И верно, пяти минут не прошло, как усиленный микрофоном командирский голос запел: “К торжественному маршу...” <...> Эта кавалькада лимузинов — интернациональное зрелище, вспомни “Зеленую стену”, и цвет у этой кавалькады никак не определить — даже неинтересно, какой флажок трепещет на первой машине. Тут прямо кричат, настаивают, воем впереди мчащейся сирены предупреждают: мы такие-сякие, не вам чета. <...>

21.5.80.

Вчера ездил в Красное. В пять часов пошли к первому секретарю Анатолию Алексеевичу Смирнову. Я заранее попросил Корнилова о содействии, и он написал Смирнову письмо. А просьба моя была такая: помочь в оформлении покупки избы в деревне Демидково. В самой деревне этой из семи изб мало живописного, да и продаваемая (за шестьсот рублей) изба невелика и негорда. Но вокруг поля, леса, воля, в избе — русская печь, чуть в сторонке за двором — банька. Искать другую — значит ездить, бродить, тратить время, которого нет. Вот и подумал: а что? Взять и купить. И Никите радость, и нам отрада. Кажется, просто: договорились, плати деньги и переезжай. Да не тут-то было. Оказывается, продавать горожанам нельзя. Нельзя продавать, закон не велит. В колхозе ли твоя изба, в совхозе ли — все равно. Ничем не может мне помочь первый секретарь. Вы там

с бабушкой этой договоритесь, куплю-продажу как-нибудь оформите, но ни в сельсовет, ни в совхозную контору не обращайтесь. Если же кто будет притеснять, мы заступимся. Нам писатели нужны... Можно было, пожалуй, и не ездить. Это мы и так знаем: обманывайте как можете, сочиняйте дарственные и прочие филькины грамоты.

О Смирнове я слышал прежде, и неплохое. Он не преминул заметить, что понимает творческих людей, поскольку сам... Продолжение было замято, я не стал показывать свою осведомленность: Смирнов пишет стихи и охотно читает, когда попросят. Разговор мне не очень понравился, и я подумал, что "подыгрывать" этому начальнику мне ни к чему. Самое же главное впечатление от этой встречи такое: лицо Смирнова, даже цвет его, все повадки, интонации напомнили мне другие сходные лица, принадлежность к одному клану, касте, как угодно, — проступает, словно это такая порода выведена. Правда, вся эта "породистость" исчезает тотчас, стоит им перейти на пенсионное обеспечение. Но пока они при должностях, с другими — не спутаешь. Если б приехал с такой же просьбой "свой брат", — впрочем, зачем им это нужно, когда есть казенные дачи, — но вдруг приехал бы, то все было бы обеспечено в лучшем виде. А всего-то и надо было, чтобы кто-нибудь предупредил в сельсовете: не препятствуйте, не ворчите, пусть оформляют, как получится. Бог с ним, оставим это.

Пучок редиски (пять штучек) стоит на базаре пятьдесят копеек. Яблоки (там же) — четыре рубля. Шофер из красносельской редакции возмущался по дороге этими ценами. Он хотел купить в Костроме селедку, но не нашел. Вез в Красное (36 км от Костромы) спички, потому что со спичками перебои. Говорит, что масла и сыра в Красном нет, молоко бывает, но лучше всего снабжают водкой. У нас, в городе, опять нет масла, нет муки, крахмала, все реже удается купить кефир, творога нет. Все это в порядке вещей. Можно выдержать и такой порядок, но его нужно признать открыто и равно подчиняться ему всем, не устанавливая и не культивируя привилегии для правящего аппарата.

75-летний Шолохов, давая "интервью" корреспонденту телевидения, не смог сказать ничего связного: случайные фразы, вырвавшиеся из уст больного человека. В честь этого юбилея показывали фильм "Тихий Дон". Кое-что посмотрел и я, и тягчайшие ощущения вызвало это зрелище. По-моему, Никите было страшно это смотреть, не только потому, что много убивают, но потому что русские — русских, и не понять, где же, на чьей стороне, справедливость? А когда это не ясно, то

становится много страшней.

Вчера купил в магазине за десять рублей книгу И. Наживина “Из жизни Толстого” (1911, изд. “Сфинкс”). К И. Наживину отношусь с уважением после его романа “Мэне... Текел... Фарес...”.

11.7.80.

Вчера вернулись после “странствий”. После Пицунды пробыли три дня в Москве, где нас ждал Володя. Возвращались домой впервые за последние годы все вместе — вчетвером.

Со вчерашнего дня прекращен свободный въезд в Москву на время Олимпиады. Пущены поезда типа Адлер — Вологда (мы встретили этот поезд в Александрове) в объезд столицы. В Москву же продают билеты по предъявлении паспорта (прописка).

На дверях почты прочел объявление о том, что на время Олимпиады бандероли в Москву, Ленинград, Таллин, Киев, Минск должны сдаваться в открытом виде (а вдруг бонба!).

В Москве в связи с Олимпиадой полно слухов и кривотолков. Девочек (Таню-Олю), прежде чем распустить на каникулы, предупреждали, чтоб не смели брать-подбирать на улицах, на скамейках жевательную резинку и все прочее, яркое и манящее (все будет заражено!). На каком-то собрании в ЖЭКе, где была мама, рассказывали, что на днях в Москве исчезла целая семья, что какого-то шофера такси какие-то иностранцы убили за несговорчивость, что-то такое прыснув ему в лицо...

Что правда, то правда, милиции в Москве стало очень много; это бросается в глаза; особенно заметно, когда милиционеры с рациями прогуливаются по тротуарам, стоят у каких-то домов.

Совершенно точно, что в дни Олимпиады в Москве и других городах будут действовать “олимпийские” милицейские (из госбезопасности — тоже) команды. Об этом мне говорил один из участников, т. е. член костромской милицейской команды.

Так бояться — зачем было устраивать? Да и не поймешь, кого боятся больше: иностранцев или своих собственных граждан? Своим по привычке — чем дальше, тем больше — не доверяют.

<...> Вчера прочел отвратительную статью Машовца в июньском “Нашем современнике”. В этом журнале не следовало бы больше печататься, а Фролов и Авдеева настаивают в письме, чтобы я прислал им статью о Быкове.

Какая-то злоба и зависть жгут Машовца. Не статья, а лай какой-то. Масоны, обострение борьбы, космополит и сионист Корбюзье и т. д. А вокруг — частокол из правоверных цитат: Ленин, передовицы “Правды”.

Настанет день — и вспомним Михаила Лифшица с его

“закоснелым марксизмом” и признаемся себе, что на тех путях — больше надежды и — гуманности? Надежды на гуманный вариант истории. На тот, который никак не осуществится. Национализм, националистическое мессианство такой надежды не оставляет. В этом случае никакой гуманный вариант невозможен.

Прочел повесть В. Катаева “Уже написан Вертер” (“НМ”, № 6). Такое впечатление, что это инспирированная вещь. В ней есть некое целеуказание: вот кто враг, вот где причина былой жестокости революции. Троцкий, Блюмкин (Наум Бесстрашный), другие евреи в кожанках... Страшные видения некоего “спящего”... Однако это страшные видения глубоко благополучного человека, который наблюдает страдания со стороны (безопасной!) и потому способен заметить, что по щеке терзаемого существа ползет “аквамариновая” слеза. Историческое мышление в этом случае тоже отсутствует; то есть оно настолько подозрительно и нечистоплотно, что все равно что отсутствует... И неожиданная в старике Катаеве злобность, и бесцеремонное упрощение психологии героев (на каких-то два счета)...

Кто только не писал о 70-летии Твардовского: и Е. Исаев, и В. Туркин, председательствовал на вечере в Зале Чайковского М. Дудин...

На том вечере не дали выступить Адамовичу, хотя поначалу поручили сделать доклад, Можаеву, Залыгину...

Судьба мертвых... Судьба поэтов... Сколько было врагов, как ловко травили, теперь все — в друзьях, и тянут руки, и хотят прибрать к рукам: как же, как же, великий, народный, наша гордость...

И расчет на одно: на беспамятность, на то, что новые поколения не знают, не могут помнить и верят их сегодняшним словам, не сверившись, да и не зная, что были — вчерашние, сокращавшие дни Поэта. Убивавшие.

Время какое-то критическое. И в мире, и внутри страны. Уж слишком много откровенного вздора и лжи претендует быть правдой. Уж слишком далеко заходит недоверие к собственному народу и пренебрежение его мнением, какая-то потаенная ставка на глупость большинства, на то, что и эта ложь иль полуправда сойдет.

На обратном пути с нами до Харькова ехал железнодорожник из Читы, человек лет 50-ти или чуть более. Не просто железнодорожник, а даже заслуженный, с большим стажем.

Обычно я сдержанно разговариваю с незнакомыми людьми. Не получается иначе, что-то мешает. Так было и на этот раз. Но, возможно, этот железнодорожник почувствовал, что опасаться меня нечего, что слова его вызывают во мне сочувствие, и он

разговорился. И удивил меня своей твердой, убежденной резкостью, своим неприятием взрослых игр на государственном уровне... Да, подумал я, это уже пошло по здравым головам, это уже складывается накрепко, и величайшее заблуждение думать, что пропаганда достигает своего... И еще подумал: бедные наши русские головы, какой в них хаос... Хочется верить, и, отталкивая, цепляемся... И не за что, и не стоит того, а все-таки...

Валентин (Оскоцкий) прислал в Пицунду телеграмму, чтоб по приезде в Москву позвонил ему, не миновал бы. Не миновал. Но в Переделкино, где он снимает дачу, сразу же решил не ездить, и встретились мы в ЦДЛ. Наткнулись там на А. Нинова, и ужинали втроем. За соседним столиком оказался Юрий Убогий, и он, и я были рады встрече. С Убогим был Карлин, зав. прозой “Нашего современника”. Обнаружив меня в компании с Оскоцким и Ниновым, он хмуро на меня поглядывал и, поглядывая, что-то говорил Убогому. Наверняка наутро в редакции было доложено, что Дедков окончательно продался евреям.

<...> Прочитали рассказ Ф. Искандера “Валтасаровы пиры” (из цикла о Сандро из Чегема). Можно только сожалеть, что он не напечатан. Не хотят печатать то, что расставляет все по своим местам. Именно этого не хочется. Чтобы все встало по своим местам и было названо по именам.

Отмечено 50-летие В. Кожинова. В “Лит. России” по сему поводу заметен С. Куняев. Я бы, пожалуй, так не смог: писать о друге. Мерещится неудобство. Сам же Кожинов напечатал в “Москве” статью о Н. Рубцове в кругу московских поэтов и выразился в ней достаточно откровенно и полно, он уже озаботился написанием истории, включив в нее своих друзей и себя, придав быту — значительность литературного события. Или он думает, что такую историю потом не перепишут? По С. Куняеву, справедливость и добро не совпадают, и Кожинов приводит эти строки; у Кожинова плохо и с тем, и с другим. Он вроде бы стремится к равновесию, чтобы должное было отдано всем (и “Октябрю”, и Д. Старикову и т. д.), но равновесия нет ни в логике, ни в тоне, ни в идеях, а есть расчет с супротивниками, с инакомыслием, и всякий повод (Рубцов ли, современная ли песня и т. п.) для расчета хорош и потребен. И прорывается раздражение.

У Кожинова нет идей для всех. Ратуя за народность, он мало озабочен “всеми” (т. е. народом).

26.7.80.

Мои в деревне, я один. Утром ходил хоронить отца В. Г. Корнилова.

<…> Не в первый раз я думал сегодня о том, что хоронят не человека; человек остается, но на сколько — зависит прежде всего от него самого. Он остается не для себя и как бы помимо себя, но живущие — хотя бы несколько человек — знают, что он остается. На какое время и в какой мере — все от человека.

Вчера западное радио сообщило о скоропостижной смерти Владимира Высоцкого. Ему было сорок три года. Без помощи Лондона об этом, пожалуй, узнаешь через месяц. Дико, но нормально.

<…> Хочется освободить Тому от службы в редакционной конторе. Дальнейшее пребывание ее там становится оскорбительным для нее и меня. Если меня не подведет здоровье, то в ближайшее время мы решимся на этот шаг. Я и так виноват перед Томой, что мы живем здесь так непоправимо долго; обстоятельства же не улучшаются, и негде больше работать, как в “Северной правде”.

Общее состояние окружающей нас жизни, т. е. жизни, внутри которой мы находимся и где истекает наше время, печально прежде всего тем, что множество людей лишено возможности реализовать заключенные в них силы. Лучше всего чувствуют себя те, кто сделал ставку на приспособление и приобретение. На наших глазах эти люди все более развертываются, их становится все больше, и они уже не стесняются. Возможно, это и есть новый человек, которого воспитывает наша власть и обслуживающая ее литература. То есть воспитывает не тем, что провозглашает, а реальными обстоятельствами жизни, своим делом.

Время шустрых людей.

31.7.80.

Читал воспоминания А. Бенуа. Там — жизнь, которая нам и не приснится. Возможно, я читал что-нибудь подобное и прежде, т. е. из сходной жизни. Но только Бенуа заставил подумать о том, что в определенной, даже художественной, т. е. высокосознательной и нравственно чуткой, среде монархизм может быть очень естественным и хорошо понятным убеждением. То есть понимаешь это настолько, что требовать чего-то иного кажется абсурдным.

Однако это не тот монархизм, который точнее всего называть деспотией и чья популярность ныне в иных пусть узких, но влиятельных кругах устойчива и даже растет. Тут представление иное: об устойчивом, традиционном, как бы освященном порядке и иерархии жизни, от которого веет домашностью, счастливой размеренностью и подтверждением твоей избранности. Несомненно, что это связано с богатством или родовой

знатностью; другой мир, другой люд оказываются вне этого круга жизни; глаза не видят того мира и люда как жизни неполноценной, обслуживающей. Понимая монархизм родни Бенуа, я, однако, столь же понимаю и революционную страсть, которая может подняться в человеке этого же круга, но другого зрения, другой чувствительности. <…>

4.8.80.

“Зачем всё?” (А. Адамович, “НМ”, 1980, № 6, 7).

Это тяжкий вопрос, когда спрашивают действительно про все — про войны, неизлечимые болезни, преступления, общественную ложь, всяческое насилие над человеком и т. п. — и тогда, в самом деле, зачем это все?

Трудно отвечать. Нужно долго подыскивать и долго выговаривать ответ. И уверенности, что прав, не будет. Очень может не быть уверенности.

Когда же спрашивают: зачем все? — и имеют в виду: зачем жить, работать, к чему-то стремиться, хотеть чего-то, мучиться, страдать и т. д. — зачем все, когда конец предрешен? И притом конец все уравнивающий, не знающий снисхождения и никого не пропускающий: зачем тогда все, если все так легко перечеркивается, и тебя не станет, и ты сольешься с землей? Вот тут, я думаю, здравый ответ один, и простой.

Все наше — существование, труд, мучения, старания и т. п. — ради продолжения — в детях, в близких, в отзвуке того, чем жил и что делал, как жил.

Быть звеном в цепи — уже оправдание.

“Смысл жизни есть, и именно тот, что каждый должен исполнять волю пославшего, исполнить свое назначение и умереть” (“Прометей”, 12, стр. 248), — так рассуждал Л. Толстой.

Это — про то же самое, но под другим углом зрения.

Насчет “пославшего” можно усомниться; не насчет Того, Кто мыслится за словом, а про то, что трудно счесть каждого — посланным.

Я бы сказал: не пославшего, а оставившего жить.

Раз оставил жить — то зачем-то?

Некоторые, многие считают: развлекаться, брать и брать. Они и учатся, чтобы научиться лучше брать, больше брать, пригребать к себе.

Они тоже, впрочем, рассчитывают на продолжение. Они-то не скажут, что жизнь бессмысленная: зачем все?

Затем хотя бы, чтобы — жить, жить удобно, пить и есть сладко, оставить наследство и т. д.

Впрочем, варианты не имеют большого значения.

Люди находят и утверждают смысл не потому, что слабы, трусливы, прячут голову под крыло... В самой нашей природе уже есть ответ на то самое: зачем все?

Все вопросы этого рода и развивающие их (“как умереть?” — см. Адамович) — ничто рядом с вопросом: как жить?

Вот вопрос, на который вообще не подобрать ответа, его нет — достаточно универсального.

(Без даты.)

Телетрансляция закрытия Олимпиады. На поле стадиона вышло немного спортсменов, значительно меньше тех, кто участвовал в Играх. Но существенно не это.

Вся колонна спортсменов шла как бы обведенная замкнутой белой линией: наши юноши и девушки в белых костюмах образовали движущийся коридор, в котором шли спортсмены. Это было похоже на конвой; не хватало оружия. Удивительна боязнь, одолевающая нашу власть. Боятся чужих и боятся своих. <...>

П. Палиевский в “Прометее” (12) приводит слова Толстого об утрате чувства эстетического стыда. И далее призывает признать, что это чувство пусть не утрачено, но его “не хватает”. Думаю, что деликатность тут неуместна. И во времена Толстого чувство это было вряд ли “утрачено” полностью; но он сказал именно так, понимая, что тут только стоит начать... Даже одного факта, который был снесен обществом, литературой, достаточно. Тут только пустить одного, за ним повалят другие — толпой. С той поры “прогресс в бесстыдстве чрезвычаен”; слова Толстого лучше повторить.

3.10.80.

История из жизни Октябрьского района (столица — Боговарово). В одном из колхозов самая дойная корова в стаде никогда не паслась вместе со всеми и мучила тем пастухов. Пастухи отказались иметь с ней дело, потребовав, чтоб ее сдали на мясо. Но председатель рассудил так: дает больше всех молока, пусть пасется одна где хочет. Так и пошло. Эту корову, столь гордую и независимую, прозвали Парторгом, но не за гордость и независимость. По утрам она вздумала являться к колхозной конторе на раздачу нарядов, присутствует и выпрашивает кусок хлебца. Вообще, говорят, где скопление народа, там и она. Парторг и есть. (Рассказано Сашей Даниловым, собкором “Северной правды”.)

В. А. Старостина мужики спросили: “Что это, Василий Андрианович, в Костроме все пожары да пожары. То цирк, то филармония, то лучший ресторан?” — “Ничего, — ответил

Старостин. — Главное, что Иван Сусанин как стоял, так и стоит”.

В “Лит. России” была такая информация: объединение прозаиков Москвы начало “новый творческий сезон”.

По телевидению показывают кадры кинохроники: горят нефтехранилища, нефтяные промыслы, черный дым во весь горизонт, ползут танки, перебегают вооруженные люди, а гладкий, излучающий мудрое спокойствие господин говорит: нет, мы, советские люди, не считаем, что между Ираном и Ираком идет война, мы называем это конфликтом. И в тот же день слышишь, что военные действия происходят на фронте в восемьсот километров, что в больницах полно мирных жителей и т. д.

Важнейшие перемены продолжают происходить в Китае, однако вся информация оттуда подается в неодобрительном тоне. Если это будет продолжаться долго, то за совершенную ошибку придется расплачиваться, разумеется, не нынешним руководителям внешней политики и теле- и прочим пропагандистам, а молодым поколениям, нашим детям и внукам.

Международный телеобозреватель Анатолий Потапов настолько увлекся обличением и настолько усвоил обличительную интонацию, что даже когда говорит: “Всего доброго”, — то кажется, он и нам, зрителям, желает чего-то пакостного.

“Трибуна люду” по-прежнему не поступает в киоски, хотя в газетах и по телевидению говорят о нормализации положения в Польше. Наш народ так и не получил полной информации о том, что произошло в Польше. То, что сочли возможным сообщить, составляет, вероятно, процентов пять — десять от того, что следовало бы сказать о случившемся.

Прочел “Труды и дни Свистонова” Константина Вагинова (“Звезда”, 1929, № 5). Вещь ироническая, но о психологии творчества — много серьезного.

5.10.80.

Вчерашний разговор в магазине. Покупают ливерную колбасу третьего сорта (60 коп. кг). Одна женщина — другой: “Вот и поедим колбаски ради праздничка”. Та отзывается: “Каков праздник, такова и колбаска”. “И то верно”, — соглашается первая[68].

<…> Очень тяжело было читать воспоминания В. Лакшина о Твардовском (“Октябрь”, 1980, № 9). Они заканчиваются описанием болезни и смерти. По хорошо ощущаемой необходимости воспоминания сдержанные; многое опускается. Такие тексты читаешь с горьким чувством общей нашей с автором

несвободы. Отсутствие Твардовского и его значение я понимаю так же, как Лакшин. В тоне воспоминаний есть спокойное сознание правоты. У наших националистов и прочих нынешних, что в силе, такого сознания нет; они нервничают, злобствуют, ёрничают, иезуитствуют...

Пишу о Быкове для “Нашего современника”. Весной будет номер журнала, где ему будет посвящен целый блок материалов: его повесть, интервью с ним, фотографии, подборка писем читателей, статья о творчестве. Припоминаю номер, посвященный Василию Белову, где, в частности, была удивительно безвкусная, банальнейшая фотография под названьем “Раздумье”. Я еще подумал: как это Белов позволил и согласился. Даже через это сказывается распространенный ныне уровень писательской личности. Думаю, что Быкову не следовало бы соглашаться на такой “рекламный” “блок”. Вот Залыгин отказался, и Леня Фролов говорил: “Мы его еще больше зауважали”. “Сами придумали, — сказал я, — сами провоцируете, а потом, выходит, сами больше уважаете не тех, кто согласился, а тех, кто отказался”.

20.10.80.

<...> Какой непрочный в жизни покой! Всюду много людей, все чем-то заняты, живут, возятся с детьми, рассуждают, на что-то надеются, все благопристойно, и все — зыбко и ненадежно. От этого множества людей, ото всех нас ничего, в сущности, не зависит. В любое мгновение кто-то наверху может распорядиться, и начнется война или что-нибудь равноценное войне, и все мгновенно переменится, если, конечно, успеет перемениться. Но если успеет, то, как бы ни было это ужасно само по себе, самым ужасным будет послушание и покорность этого человеческого множества, его беспомощность, связанность по рукам и ногам, всецелая зависимость от чужой и верховной воли. Ничего страшнее этого — отчаянной этой беспомощности — представить себе не могу.

2.11.80.

Не помню, записывал ли, что из Демидкова перевезли в середине октября два мешка картошки; стало как-то полегче, какое-то время не придется рыскать в поисках картошки: на базаре есть, да нужно приходить вовремя (и дорогба к тому ж!), а в магазинах — небывалое дело — нет.

Когда приезжал Стасик, хотел купить коньяка, но не смог: нигде не было, да и водки не было; мрачные люди стояли у винных отделов, ждали привоза, а услышав, что где-то какое-то

дешевое винишко есть, подхватывались и устремлялись в указанном направлении. Было во всем этом что-то унизительное.

Слышали в автобусе разговор двух молоденьких офицеров — лейтенанта и старшего лейтенанта. Чем-то возмущались — житейским, а потом один из них отчетливо сказал: “Военной диктатурки бы на них...”

Занятно: К. Г. рассказал, как его жена, преподавательница медицинского училища, шила спортивные трусы для сына, студента пединститута. Нужного материала купить нельзя, так выход нашелся такой: училищу выдали красный сатин для новых транспарантов на здание, и стоило лишь немного сузить эти самые полотнища, как прекрасно сэкономилось для желанных трусов.

Вчера отослал в “Наш современник” статью о Быкове. На очереди — предисловие к “Карателям” для “Роман-газеты”.

В прошлое воскресенье начал читать бондаревский “Выбор”; там есть встреча главного героя — преуспевающего, пресыщенного советского художника — в Венеции с другом юности и фронтовым товарищем, ныне — перемещенным лицом, т. е. эмигрантом. Дочитаю до конца, тогда запишу подробнее, но вот что любопытно: в тот же день в свежем номере софроновского “Огонька” наткнулся на поэму Е. Антошкина “Чужие огни”, а в том же номере “Нашего современника”, где начало “Выбора”, обнаружил поэму куйбышевского поэта Кожемякина “Старая ветла”, где все о тех же “перемещенных лицах”, обличение их, патриотический пафос, особенно дурацкий, какой-то озлобленный у куйбышевца. Сколько злой страсти растрачено на обличение таких слов, как “ностальгия” и “волнительно” (дескать, они из салонов “эстетствующих снобов”), и как глупо звучит хвала русской народной песне, под которую не удастся запустить какой-нибудь мультфильм. Праведный гнев таким мелким, убогим не бывает. Гнев выбирает себе более достойные предметы. Не говорю уже о том, что мелкая злоба и поэзия несовместимы.

Бочарников упорно внушает мне при случае, когда идем длинной дорогой по домам после какого-нибудь сборища, что всю войну был в солдатах и что, если бы написал он правду о той, известной ему, войне, никто бы не напечатал. “А вы все-таки напишите, — повторяюсь я, — когда-нибудь да опубликуете...” На этом тема обычно исчерпывается. <...>

Освобожден от обязанностей Председателя Совета Министров А. Н. Косыгин. Официальная версия: по болезни и по личной просьбе. Можно поверить. Но текст выступления Л. Б. на сессии Верховного Совета удивителен: дважды, пересказывая письмо

Косыгина, он упомянул свое имя, полный свой титул, свое значение и не вместил в это выступление приличествующей случаю благодарности по адресу человека, с которым проработал не одно десятилетие.

Впрочем, входить в обсуждение всей этой бестактности, безнравственности, бесцеремонности и прочего, что объединяется словом “ненормальность”, не хочется. Так не обсуждают очевидностей, если дорожат словами.

Неожиданно встретил в книжном магазине Володю Леоновича. В тот день он только что приехал и еще не успел мне позвонить; да и позвонил бы, какой толк, когда телефон отключаю. Володя привез надгробный камень на могилу матери; назавтра вместе с мужем двоюродной сестры он этот камень установил, а вечером зашел к нам. Разговаривали хорошо; при нашем несходстве — характеров, судеб — говорим и чувствуем себя друг с другом свободно и с абсолютным доверием. Жаль, что в последнее время Володя только переводит; только что закончил пьесу с казахского в стихах. Грузинская книжка задерживается; не согласились с расположением текста: оригинальные стихи, переводы, оригинальная проза — в необходимом, одновременном движении, т. е. вперебивку. Возможно, смутило и что-то другое. Теперь рукопись отдана в другую редакцию издательства “Мерани”, и есть шанс при поддержке Г. Маргвелашвили ее наконец вытолкнуть в свет. Было холодновато, сыпался снег, Володя ходил в толстом черном свитере, в узкой и коротковатой кожаной курточке и черном берете; разумеется, в джинсах. “Как же ты живешь? — спросил я. — На что?” — “Сам не знаю, — ответил Володя. — В долги влезаю, не знаю даже и как...”

Я спросил его, не смог ли бы он выступить у меня на литобъединении. Оказалось, что он уже купил билет на автобус на четырехчасовой рейс, а у меня — занятие в тот же день в три часа. Думал он недолго, сдал этот билет, купил — на следующий день и выступил перед моими “учениками”. Длилось это около трех часов, читал он довольно рискованные (правда, таких не много) стихи (особенно о Твардовском), вспоминал о Сергее Дрофенко, Дмитрии Голубкове. Надеюсь, что публике все это понравилось, и еще надеюсь, что доносчиков в тот день среди слушателей не было. Простились мы с обоюдной неохотой. Мы дошли пешком до дома его двоюродной сестры на улице Ленина, уже стемнело, постояли, еще поговорили, расстались.

На заседании областного Комитета защиты мира, где присутствовала Тома, выступал уполномоченный по делам церкви М. В. Кузнецов. В частности, он сказал: “В стране сейчас около 20 тысяч религиозных объединений (церквей, молельных домов,

общин). В нашей области 72 таких объединения: 67 православных церквей, 3 — старообрядческие, две общины евангелических христиан-баптистов, а также общины адвентистов седьмого дня, пятикнижников и др. К сожалению, многие объединения существуют незарегистрированно. Архиепископ Костромской и Галичский Кассиан почти все свои личные сбережения вносит в Фонд мира; ежегодно церкви области вносят в этот фонд около трехсот тысяч рублей, а также 15 тысяч рублей на реставрацию памятников истории и культуры". Для сравнения: все промышленные предприятия вносят всего лишь около ста двадцати тысяч рублей.

8.11.80.

За несколько дней до праздников ехал на троллейбусе и слышал, как разговаривали трое мужчин, стоявших у окна. "Смотрите-ка, — сказал один, — строят новую трибуну, а я не знал". — "Да не какую-нибудь, — отозвался другой, — а из металла". — "Ну, это понятно. Если из дерева, то ведь поджечь могут. Явятся седьмого, а трибуны нет". Все трое смеются, а третий, молчавший, испытующе поглядывает на меня. (Причем тот, кто затеял разговор, двум другим явно не знаком.) Я невольно улыбаюсь. Общее взаимопонимание.

Стояли на Мавзолее. Шел крупный план. Один посмотрел на часы, взглянул на часы и стоявший рядом, и новый премьер, взглянув на многоопытных соратников, тоже быстренько отогнул рукав пальто...

Заметал снежок. На равном расстоянии плыли портреты, как бы соблюдая дистанцию, в ближней к трибуне колонне... Все в том порядке, в каком расставляют имена газеты... Косыгина, разумеется, не было среди имен и портретов. Обычное дело: жизнь для всех — кончилась, то ли был, то ли не было. (Написать статью, дать интервью — невозможно; исключение было для одного — для Микояна.)

21.11.80

Тринадцатого ходил к поезду встречать участников "круглого стола" "Лит. обозрения". Приехали: В. Хмара, В. Оскоцкий, В. Пальман, Н. Олейник, Ю. Куранов, еще казах, имя которого я не освоил, Л. Иванов. Днем появился В. Лебедев, потом вологодец Степанов. На другой день приехал Б. Можаев.

Три дня пришлось отдать этому делу, если это можно назвать делом. Называется это — сопровождать гостей. Будь среди них чужие мне люди, я бы от этого занятия отказался. А так — что ж, хоть повидались, поговорили с Валентином, с Юрой, поближе

познакомился с Хмарой, с Ивановым. Ну и с Можаевым, который был ко мне внимателен и с которым мы много разговаривали. Разговаривал, разумеется, больше он, но это — по-московски. Оказалось, что он обо мне наслышан. Еще бы — Базиль Росляков, написавший роман “От избы до избы”[69] — его друг. Прощальное застолье было в Сосновом бору, в тамошнем баре. Как заведено, все говорили речи, т. е. тосты. Можаев говорил, в частности, что-то вроде этого: “Мой друг Базиль Росляков, первый биограф этого молодого человека, написал о нем роман “От избы и до избы”, как он, значит, жил-был в избе, а потом его выпихнули в зиму...” и т. д.

Мир тесен. Можаев — морской инженер-фортификатор, служил и строил укрепления в Порт-Артуре. Потом работал соб<ственным> корреспондентом московских газет на Дальнем Востоке. В Хабаровске судьба свела его с Всеволодом Никаноровичем Ивановым, питомцем костромской гимназии, человеком сложной и, возможно, запутанной судьбы. В ту пору Иванов был уже стариком, но могучим, рост — под сто девяносто сантиметров. Когда-то он был в окружении ближайшем Колчака; по-нынешнему что-нибудь вроде зав. отделом пропаганды и агитации. Во всяком случае, сибирские газеты были под его началом. Потом — бегство в Маньчжурию и постепенный, а м. б., и совсем не постепенный переход на сторону Советам и служба советской власти — там, в Маньчжурии. Иванов с гордостью рассказывал Можаеву, как его после разгрома Колчака ловили, да не выловили, как ушел. А потом рассказывал, как в Хабаровске, уже после возвращения, один из тех, кто искал его тогда, наткнулся на него на улице и стал выслеживать и, волнуясь, доносил, чтоб брали злейшего врага, да поскорее. Обмишурился.

Остались пять томов неопубликованных воспоминаний В. Н. Иванова. Два из них сейчас у П. А. Николаева, который готовит их к печати. Вот, подумал я, встретиться бы с Николаевым на съезде, взять бы почитать, да ведь двадцать лет не видел этого человека, да и будет ли время читать.

Какое-то время Можаев жил в Рязани. Уже одно это объясняет его знакомство с А. И. (Солженицыным). Юра Куранов поглядел на него, поглядел — как ходит, говорит, как пел в колхозном, чернопенском, застолье, а потом сказал мне: “Знаешь, на кого он похож? На разорившегося помещика. Давно уж разорился, но держит себя, играет, хорохорится. И еще знаешь, под кого играет и на кого еще похож? На А. И.”. Я рассмеялся: “А что — похож. Гоголевский такой помещик, эпизодический персонаж, голову закидывает, бороду оглаживает, глаза голубые, поет как русак неистовый, исконный. А голос, и верно, — тонкий, не крепкий,

нервный (не когда поет, а когда говорит), как у А. И.”.

Посмеялись мы с Юрой, но без зла. Играет маленько, но не бездарно же играет. Хуже, что большой ругатель. Не от Базиля ли заразился? Или тот от него? И меня — впрочем, хороший признак: в глаза, — тоже обругал: за какие-то (не очень-то я понял, за какие) места в статье о Залыгине. Единственный из писателей, о ком он отзывался безоговорочно сочувственно, — Белов, да и то, я думаю, потому, что недавно напечатал статью о нем в “Сов. культуре”. Он привозил с собой и эту статью, и речь свою на секции московских прозаиков, — как я думаю, привозил для меня. Что ж, я этому рад; не столь уж я избалован вниманием. Но думаю, что на отдалении и в чтении я лучше, чем вблизи, потому хотя бы, что долго чувствую себя с новым человеком неловко, несвободно, не вполне самим собой.

Можаев о Троепольском: у него фигуры резаны из жести, так и громыхают все эти короли жестянщиков. О Носове: “Усвятские шляпоносцы”.

Когда ехали в автобусе в Сосновый бор, сидели и разговаривали втроем: Борис Можаев, Юра Куранов и я. Можаев рассказывал о разговоре Ю. Любимова с Демичевым в его присутствии. Демичев высказывал недовольство линией театра, который слишком далеко заходит в критике — насколько я понял — всего, что связано со Сталиным. На это Любимов ответил: “Не мы начали. Не я требовал выноса тела Сталина из Мавзолея”. (Намек на то, что на 22-м съезде партии Демичев, как первый секретарь Московского горкома, выступал с требованием об удалении тела Сталина из святого места.) Демичева, как свидетельствует Можаев, после этих слов перекосило от ярости. После этого Юра рассказал, что Крупин, автор “Живой воды”, служил в Кремле, когда Сталина вытаскивали, и был в ту ночь разводящим караула у Мавзолея. Он сопровождал новую смену, когда у Спасской башни их остановили и сказали, что дальше идти нельзя. Это было потрясением, Крупин пытался что-то доказывать и продолжать движение, но его и солдат взяли под конвой и заперли в какой-то комнате. Крупин рассказывал Юре, что всю ночь они не спали, думали: переворот. Наутро их как ни в чем не бывало выпустили. И дальше Юра сказал, что, судя по тому, что ему однажды рассказывало некое значительное лицо, гроб с телом Сталина был сплющен полуторатонным прессом (что-то я тут прослушал в автобусном шуме, но про “сплющен” и про “полторы тонны” слышал хорошо). Можаев в ту памятную ночь был на площади в толпе. Он учился на ВЛК[70] и предлагал товарищам по комнате идти с ним. Никто не пошел. На площади стояла толпа (т. е. на площадь можно было пройти!), и Можаев

видел, как рыли могилу и как нечто, бывшее когда-то Сталиным, проплыло над людскими головами от Мавзолея в ту сторону. Тут же Можаев сказал, что существует версия о захоронении в той могиле пепла.

Жаль, не приехал Адамович. Перед самым отъездом упал возле дома и сильно ушибся. Видимо, испугался, что сломал что-нибудь, может быть, проверялся. Теперь уехал в Железноводск, в санаторий.

Разговоры о деревне постоянно упирались в 1929 год. Леонид Иванов зачитывал мне из своей записной книжечки сравнительные цифры поголовья скота по 1928-му и 1933-му годам. Сокращение произошло катастрофическое, непоправимое.

На заседании (проходило в зале заседаний обкома комсомола; от обкома партии был В. А. Неймарк; зав. отделом Соколов, как я думаю, из опасения, как бы чего не вышло, от этого смутного дела уклонился) Можаев говорил о русской церкви, о месте, которое она занимала в деревенской жизни и которое по сей день пусто, и это — непоправимая утрата. (Ну, насчет “утраты” — это от меня; но смысл — этот.)

(Чтобы не забыть: встретил недавно Виталия Дьячкова. Он спросил меня, читал ли книжку некоего чеха о Солженицыне? Я сказал, что не читал и никак не соберусь попросить ее в библиотеке Дома политпросвещения. И в свою очередь спросил, не там ли он ее брал. А я, отвечает, был в командировке, и начальник мантуровской госбезопасности дал почитать. Я искренне удивился, что в Мантурове есть такой начальник. Раньше, говорю, был уполномоченный, например в Шарье, — но начальник в Мантурове! Да, говорит, и в Шарье, и в Мантурове, и в Нерехте, и в Буе, и в Галиче, и, кажется, еще где-то теперь как бы кустовые отделения (?), и в каждом помимо начальника (члена бюро райкома!) — три офицера, водитель и автомашина. Вот так, подумал я. Все возвращается на круги своя, а мы и не знали.)

3.12.80.

<…> Сегодня пришло письмо Валентина Оскоцкого. О книжке моей вести плохие. Редактор мой — Е. И. Изгородина — считает, что у меня есть причины для беспокойства. Но ведь ни она, никто другой на мои письма не отвечали, ничего не объяснили мне. Книга должна была выйти еще в первом квартале, верстка же прошла в мае, теперь декабрь, и полная неясность. Вот они, преимущества моей здешней жизни и моего характера. За преимущества и расплачиваюсь. Я словно знал, что будет такая весть, и еще с утра как-то горько жилось и писалось. Отослал сегодня же короткое письмо Еременко. Он-то ответит? Ведь это

издательство даже за рецензию на рукопись Д. Дычко, написанную еще в марте — апреле, забыло мне заплатить. Неплохо.

Вчера “Книга-почтой” прислала переписку В. И. Вернадского и Л. Б. Личкова за 1940 — 1944 годы. Первый выпуск писем (1918 — 1939) у меня есть. Вчера же стал читать. Вот делаю эту запись и помню, что потом опять буду читать эту переписку, и как-то успокаиваюсь: укрепляющее чтение. Сугубо геологическое (очень специальное) я пропускаю, но остальное читаю, и с большой пользой. И с чувством радости за этих людей, за то, что они так жили, думали, держались. (Ну а горечи тут тоже не миновать.)

На днях открыл для себя Льва Кривенко (“Незаконченное путешествие”, послесловие Ю. Трифонова). Начинал читать после Трифонова с легким предубеждением: нет ли преувеличения и посмертной снисходительности? Ни того, ни другого. Может быть, и мало сказал этот человек, проживший 59 лет (две книжки при жизни), но ни в чем не погрешил, говорил свое и по-своему. Тоже читаю с радостью за человека, который смог так трудно и упрямо жить и работать. Одновременно читал бондаревский “Выбор”, книга Кривенко дает мне больше. Это чистый и достойный собеседник, а про того этих слов повторить не могу.

“Выбор” — книга самовлюбленного и переоценивающего себя человека, возможно, немалого эгоиста, пресыщенного и мало кого вокруг замечающего. Рассуждения — малодостойные и примитивные — о смерти, а также картины любви (“усовершенствование” схожих картин в “Береге”), пожалуй, лучше всего указывают на подлинный уровень этого сочинения — уровень тщеты, неподтвержденных претензий, мнимой, какой-то напрасной, самоцельной “художественности”. А ведь превознесут! <…>

18.12.80.

Четырнадцатого числа вернулся из Москвы, со съезда. Виделся, разговаривал с Л. Фроловым, Ф. Абрамовым, Б. Можаевым, С. Залыгиным, Г. Троепольским, А. Турковым, Л. Лавлинским, В. Хмарой, В. Личутиным, В. Афониным, Н. Яновским... На дне рождения у Валентина Оскоцкого познакомился с Д. Граниным, Б. Анашенковым, В. Золотавкиным. Там же был А. Нинов. <…> Виделись на съезде с Феликсом Кузнецовым; перемолвились несколькими словами. О жизни моей он не спрашивал, я также ничем не интересовался, ни о чем не просил. В президиуме Феликс сидел отвалившись на спинку стула, почти лежал-полулежал, как в теплой ванне... Если б не Федор Абрамов, подозвавший меня, когда они с Феликсом

стояли, нам бы и словечком не перебросится. А тут ему пришлось. Вспомнили, что с пятьдесят пятого года знакомы.

Делегатам съезда и гостям выдали талоны в “сувенирный киоск” при гостинице “Россия”. Я бы туда не пошел, да показал дома тот пропуск-талон, и все единодушно решили, что идти непременно нужно и следует брать с собой больше денег. Пришлось пойти, стоять в очереди вместе с Абрамовым, проходить тройной (!) контроль (всюду дюжие молодцы), болтаться в подвальном помещении гостиницы от парфюмерного киоска к книжному, от книжного — туда, где продают рубашки, японские зонты, дамские сумки, лезвия, платки, магнитофоны и т. д. Купил всякой ерунды — всем в подарок. Унизительное, однако, занятие. При входе в последние двери тот пропуск отобрали и порвали, чтобы, не дай бог, по второму разу не пошли... Абрамов выбирал себе галстук и смеялся: “Ты у нас революционер, тебе галстук, конечно, не нужен”. — “Конечно, — отвечаю, — Федор Александрович, не ношу я их, избегаю”. И вообще смягчило это наше дурацкое занятие, что посмеивались друг над другом, пошучивали. Часа два потратил в тот вечер на “сувениры”. А сколько народу сбежалось — едва ли не весь аппарат большого и малого Союзов.

И еще большое впечатление: прием в банкетном зале Кремлевского Дворца съездов. Шли туда вместе с томскими сочинителями Василием Афониным и Вадимом Макшаевым. Корнилов предупредил меня: не приходите раньше времени, ждать — унизительное занятие, когда-то официанты к столу подпустят. Мы так и пришли, минут за пять, и прогадали. Народу толпилось много, и мы стали толпиться позади всех. Зал огромный, а посреди наша оживленная толпа, состоящая из групп и группок беседующих людей. А потом глас под сводами: просим пожаловать — и т. п., и все беседующие, враз перестав беседовать, устремились куда-то вперед, в скрытое от нас, ниже лежащее пространство, по трем спускам — какие-то несколько ступенек, да не будешь же прыгать... Устремились и мы в хвосте толпы, встревоженно вслушиваясь в мгновенно возникший и нарастающий звяк ложек, вилок, ножей, тарелок, рюмок... Тут были знатоки приемов, и не случись на нашем пути Володя Личутин, не знаю, где бы мы и пристали, потому что, казалось, ни к какому столу уже было не приступиться. А Володя, сам приставший к торцу вместе с Дмитрием Балашовым, на уголке стола сам державшийся, нас окликнул, и мы втроем у того же уголка обосновались. И налито нам слегка было, и копченой колбасы отыскано, и Федор Абрамов, неподалеку за тем же столом оказавшийся, нас к тому же опекал, и дело приема пошло

для нас как следует: многого мы и не желали, а с хорошими людьми почему рядом не постоять и лишним словом отчего не перемолвиться? Где-то за рядами голов впереди вдоль сцены, задернутой хорошо видным нам занавесом, стоял стол для высшего начальства, и все наши столы были к нему перпендикулярны. Из-за того стола раза три раздавались какие-то обращающиеся к нам голоса, но мы не очень-то брали в толк, о чем это и кем это там говорится... Помню лишь голос зычный и молодецкий Егора Исаева; уж очень этот голос мне успел надоесть своей настырностью и приторностью. Не раз в дни съезда слышал я слова о “лакеях” и “лакейской” — от разных людей; так вот, в голосе Исаева было что-то от этого ремесла, от угодничества...

Остался я доволен вот чем: Д. Балашова увидел (он, кстати, сказал, что высоко ценит взгляды Л. Н. Гумилева на историю и что можно выписать из какой-то (он-то назвал, да я не мог там записать) люберецкой всесоюзной научной конторы наложенным платежом его главную — т. е. гумилевскую — работу, размноженную ротапринтным или каким-то другим способом в целях научной информации), с Залыгиным увиделся и успел хорошо поговорить, с Федором Абрамовым лишним словом перекинулся, с Амлинским познакомился (он, оказывается, в свое время, в 69 году, читал мою рецензию в “Северной правде” на его повесть об Эрнсте Шаталове, кто-то ему переслал)...

Можаев говорил мне о своей беседе с “большим начальником” насчет меня. “С Феликсом, что ли?” — спросил я. Сначала Можаев отрицал это, но потом сказал, что да, с Феликсом. Он сказал Феликсу, что нужно давать мне квартиру в Москве, нужно мне помочь, как он, Феликс, помог А. Ткаченко и еще кому-то. Я же в ответ сказал Можаеву, что я благодарен ему, но что я не верю в это дело, не верю, что это может состояться.

Вася Афонин, напившись, ругал всех писателей подряд, даже Льва Толстого, который его чем-то не устраивает. Странно, как он устраивает сам себя, ведь устраивает же!

Покупаю по возможности “Трибуну люду”, но приходят номеров пять-шесть за месяц. Видимо, остальные номера нам читать вредно. Уже около двух месяцев не доставляют нам “Пшекруй”. Обязаны доставлять подписчикам, что бы там ни печаталось, — деньги же заплачены, наш договор с государственной организацией, другими словами, заключен, — так нет же! — хотят — доставляют, не сочтут полезным — не будут доставлять. Хоть начинай тяжбу, спрашивай, на каких конституционных основаниях прекращена доставка издания из дружественной социалистической страны? Может быть, и это

нарушение элементарных прав — признак силы нашего государства, признак его доверия к собственным гражданам, веры в нашу идейную стойкость? Наоборот: все это — от слабости и страха.

Два дня назад умер Косыгин. Наше радио и телевидение сообщили об этом сегодня. Мы слышали об этом по западному радио вчера, а сегодня мне сказали, что впервые западные радиостанции сообщили об этом еще позавчера. Так — опять же — как выглядят в этом свете наши отечественные службы информации? Кажется, они сами вынуждают, толкают нас слушать, прислушиваться к тому, что вещает заграница. Сами. А потом кого-нибудь винят. Так всегда оправдываются те, кто виноват сам. Из костромских анекдотов: армянин спрашивает, все ли можно купить в Костроме. Ему отвечают, что, в принципе, все можно. Армянин приезжает, ходит по городу, спрашивает: где такой магазин — “Принцип”? <…>

27.12.80.

24 декабря хоронили Татьяну Шувалову. Руководитель Союза художников А. П. Белых заседал на областной партийной конференции, и его оттуда на похороны не отпустили. Начальство было представлено Ермаковым, заместителем начальника Управления культуры. И все. А ведь прощались с художницей, которой Кострома будет долго гордиться. Припоминаю похороны Е. Ф. Старшинова. Он был членом горкома партии, секретарем писательской парторганизации. Бывший офицер-фронтовик, безукоризненно идейно правильный человек. И помню, мелькнуло в толпе лицо Шевцовой, секретаря райкома по идеологии, и никто, кроме нас, его товарищей, доброго слова о нем не сказал. Да и просто памяти не почтили, у гроба не постояли. Странные нравы в нашем королевстве.

Шувалова умерла, как и Семин, в пятьдесят один год <…>.

Разослали в эти дни сто или чуть больше новогодних поздравлений. Все-таки — праздник, да и черта какая-то, которую переступаешь — миг, и считай себя на год старше.

А Я ГОВОРЮ ВСЛУХ: КОНЦА СВЕТА НЕ БУДЕТ…
Из дневниковых записей 1981 — 1982 годов

5.1.81.

<…>

Вот и отпраздновали Новый год. Уложив Ольгу спать, заходили в новогоднюю ночь Бочковы[71]. Остальные праздничные дни прошли без гостей, тихо и спокойно для души. 31-го пришла телеграмма из “Советского писателя”, поздравили с выходом книги[72]. Может, и правда вышла, думаю я теперь, — настолько устал ждать. Чем дольше не выходит, тем страшнее перечитывать, да и не стану. Ту не перечитывал и эту не буду: не смогу. Собственного — теперешнего — суда своего боюсь.

Пришли новогодние поздравления от Ф.Абрамова, С.Залыгина, А.Адамовича. Тома прочитала письмо Адамовича[73] и расстроилась: показалось ей, что я скрыл от нее какие-то упущенные мною возможности перебраться в Москву. А я, разумеется, ничего не скрыл; все эти “возможности” более всего— разговорные. Да и что такое — нынешняя литературная Москва? “Что имеем, не храним…” — не нами сказано.

Сегодня звонил Ф.Абрамов, советовался: включать ли в третий том статью 54-го года о Бабаевском и прочих[74]. Ему говорят, что статья и сегодня заденет Бабаевского, Е.Мальцева, затронет столь чтимую память критика А.Макарова и т.д. Я посоветовал печатать. Единственный серьезный аргумент против: это стилистическая неровность статьи, в ней — сильная и неизбежная дань тогдашней политической фразеологии. Но умный читатель поймет и простит.

В январской “Иностранной литературе” Селезнев и Кожинов плохо выглядят в споре с Лакшиным и Карякиным о Достоевском[75]. Их узкие и мелкие цели, их пренебрежение к иной мысли, к иной культуре, их настаивание на глобальном и первостепенном — несравненном! — значении Достоевского способно только оттолкнуть.

Кстати, толкуя о Достоевском и “народности”, они обходят простой и очевидный факт: народному миросозерцанию художественный мир Достоевского— чужой. Толстой с народным миросозерцанием считался больше и понимал его лучше; и в конечном счете смог его выразить, проникся им.

8.2.81.

Вчера вернулся из Москвы. Ездил на пленум правления “Советского писателя”. Книжка моя о Быкове появилась в Костроме в середине января: 54 экземпляра на всю область. Я так и не понял, почему одна из работниц базы книготорга (точнее, одна из товароведов) решила сообщить о том, что книга поступила. Но она позвонила, я явился и забрал 44 книжки. Одну подарил этой женщине <…>. Потом я жалел, что забрал столько книг; подумалось, что позднее я бы все равно сколько-то купил бы в Москве, а тут вышло так, что в Костроме книжка в продажу не поступила практически совсем. Да что было поделать — не возвращать же.

Большую часть книжек уже отослал, раздарил. Уже пришли письма от Быкова[76], Лазарева[77], Петра Алексеевича Николаева[78]. Пока не ругают. Давно ничего нет от Богомолова[79].

31 января выступал на межвузовской конференции, посвященной Некрасову. Впрочем, тема конференции была обозначена широко: что-то вроде— Некрасов и литература Верхней Волги; много было краеведческих докладов. Яже обозначил свою тему так: “Провинциальная русская жизнь как источник литературного творчества”. Текст, смонтированный из статей ярославской книжки[80], а кое в чем и новый, я читал, и, кажется, произвело впечатление это мое сочинение, моя взволнованность и прочее.

Почти весь январь ушел на чтение и рецензирование рукописей: некоего Коноплина (по просьбе Ивана Смирнова, ярославского отв. секретаря), потом Г.Баженова (о благосклонности к нему просил Залыгин, но я написал не очень-то лестно), потом С.Трегуба и, наконец, некоего неизвестного, чьи рассказы были переданы мне через Тому ректором технологического института Сусловым (оказалось, что сочинил их сын академика Ильюшина, изобретателя каких-то прекрасных бронебойных снарядов). Так что мало доволен я этим месяцем, столь удачным в прошлом году.

В Москве виделся с Оскоцким, Е.Сидоровым (были на пленуме), а также с Аннинским[81], да и еще с многими, правда, на ходу. Побывал только в “Дружбе народов” и совсем мельком в “Нашем современнике” (брал январский номер журнала для мамы). <…>

10.2.81.

Отправил заявку в изд-во “Советский писатель”, а также повторил просьбу о переиздании “Возвращения к себе”[82]— на

этот раз уже не Байгушеву, а Леониду Фролову[83] (он теперь там, а на его месте в журнале — Ю.Селезнев[84]).

И.М.Сапов, фоторепортер “Северной правды”, откровенничал с Бочарниковым[85]. Рассказывал, подвыпив, как сопровождал в поездках по области Ю.Н.Баландина[86]. Моментом наивысшего торжества Игоря Михайловича, коему сейчас далеко за пятьдесят, было: Ю.Н. отсылает прекрасных девушек и командует: “Пусть подает Игорь!” И наш седовласый Игорь подает: и коньячок, и икру, — Василий Алексеевич захлебнулся, перечисляя... Девушки, прекрасные, разумеется, отстраняются ненадолго... Зная характер Сапова, не сомневаюсь: не врет и не преувеличивает. Проговаривается, но меру, черту знает...

Сапов уже давно обкомовский — придворный — фотограф. Он запечатлевает пребывание московских сановных лиц на костромской земле и в кратчайшие сроки, недосыпая, недоедая, изготавливает к их отъезду альбомы фотографий, где упомянутые лица изображены в своей кипучей разговорной деятельности.

Сапов — человек проверенный. Он не раз намекал мне в прежние годы, что неоднократно выполнял деликатные поручения госбезопасности: фотографировал “пуговицей”.

О Милевском, председателе костромского облпрофсовета, Бочарников, видимо со слов Сапова, сказал, что этот “лидер” профсоюзов занят главным образом обслуживанием Баландина и его окружения.

Об исключительном месте Б<аландина> в костромской иерархии говорит хотя бы такой факт: зам. председателя костромского горисполкома рассказывал Тамаре, как тяжко пришлось ему в пору отсутствия своего начальника; однажды, едва ли не в самые последние дни старого года, случилась большая поломка на хлебозаводе, еще что-то, но главное — сломался лифт в доме, где живет Баландин. Всё в конце концов починили, но второго января злополучного заместителя госпитализировали в предынфарктном состоянии.

Недавно в зале горкома партии проходила встреча интеллигенции творческой с руководителями города. Заранее были собраны вопросы, но можно было спрашивать и с места. Тома там была и рассказывала, как нервничали начальники и как некоторые из них не выдержали и пришли к концу в большое раздражение.

Тома подала там вопрос о молоке. До каких пор, спросила она, в нашем городе будет продаваться молоко <только> пониженной жирности (1,4%)? Ответ был таков: молоко будет таким и впредь. В стране сделано исключение (жирность: 3,6%) для Москвы, Ленинграда, Киева и еще нескольких городов.

Разумеется, никто этому не удивился. Нас уже приучили к существованию привилегированных городов, пространств, слоев и групп населения. Почему московские дети должны жить в лучших условиях, чем большинство их сверстников? Этот вопрос не возникает.

Раньше — думаю, даже еще в послевоенные годы — продукты питания, производимые в России, были дешевле в провинции, чем в столицах. Если нужно было купить что-то подешевле, стоило ехать куда-нибудь вон из большого города и сходить на маленькой станции.

Теперь все перевернулось: со всех маленьких станций, со всей России едут в большие города, но, не найдя и там колбасы, мяса, творога, а то и масла, устремляются в Москву.

Какая-то Ирина знакомая сказала ей, что читала в парижской “Русской мысли” обзор современной советской литературы и там увидела мое имя в числе сочувственно упомянутых имен. Что-то не поверилось мне в это сообщение; не придумано ли, не померещилось ли? <...>

Ф.Абрамов прислал январские номера “Севера” и “Невы” со своими новыми рассказами. <...>

Читал вчера выдержки из “Тюремных тетрадей” Грамши[87]. Это тот марксистский взгляд, которого наши идеологи стараются не знать; они придумали себе нечто удобное, грубое, сильнодействующее и назвали это марксизмом. Марксизм сегодня — это то, что говорит сегодняшнее начальство. <...>

Вспомнил не записанное прежде: на межвузовской конференции сидел рядом с Куприяновским из Иванова. Он специалист по Д.Фурманову. В своем выступлении сказал, в частности, что в первые послереволюционные годы Иваново по издательской деятельности занимало третье место в стране (после Москвы и Харькова), что А.К.Воронский[88], редактируя “Рабочий край”, напечатал там (года за два) свыше трехсот статей и рецензий. Я спросил Куприяновского, остался ли кто из семьи Воронского? Оказывается, жива дочь, которая отбыла в ссылке 17 лет (ей было 23 года, когда она была арестована). Арестована была и ее мать, которая так и не дожила до освобождения.

Прочитал работу Л. Гумилева “Этногенез и биосфера Земли”. Послал в Люберцы, в издательский комбинат ВИНИТИ, просьбу о присылке наложенным платежом всех четырех частей этого не изданного пока гумилевского сочинения[89].

Да, еще из не записанного прежде: в январе приезжала Л.Г.Баранова, сотрудница “Литературной учебы”, я переписывался с нею в связи со статьей о Проханове[90] и подготовкой статьи о Личутине[91]. Она весьма интересовалась

моими взглядами на “лит. процесс”. Когда же, кажется, все было выяснено сполна, она впрямую спросила, а как я смотрю на “национальный вопрос”. Я ответил и на это. Когда же Баранова с Негорюхиным заехали к нам домой и Негорюхин вскоре ушел по своим делам, Лариса Георгиевна достала из сумочки и предложила мне почитать письмо С.Куняева[92] (открытое) в Цека партии о “сионизме”, его происках в литературе (примеры из С.Липкина, Б.Ахмадулиной, О.Сулейменова, А.Вознесенского и т.п.). Потом оказалось, что Баранова хорошо знает Стасика Куняева, и у меня появились основания думать, что она явилась в некотором роде как эмиссар этой “национальной” группы.

14.2.81.

Сегодня поступил февральский номер “Нашего современника”, где в замах у Викулова — Ю.Селезнев и В.Устинов. Номер подчеркнуто правоверный, предсъездовский, но и правоверность могла бы выглядеть поблагороднее. Тут же — заискивание.

Прошли т<ак>н<азываемые> Дни советской литературы на ЗИЛе, о которых широко оповестила пресса. Фотографии писателей в цехах сами по себе чрезвычайно выразительны; от них веет какой-то придуманной жизнью и противоестественностью. Но вот выписка из репортажа о Днях в “Лит. России”: “С особого разрешения радушных хозяев можно было даже принять некоторое участие в процессе сборки. Этим, в частности, воспользовался Ф.Кузнецов[93]. Получив инструктаж, он поднялся на движущуюся по конвейеру машину, и на некоторое время его руки с инструментом погрузились в чрево будущего автомобиля... Конечно, такой момент трудового содружества был зафиксирован вездесущими фотокорреспондентами и операторами, которые умчались затем снимать оживленную беседу А.Кешокова с передовой сборщицей Валентиной Заболотной. А вскоре осветили софитами В.Бокова и Л.Васильеву, крепивших рессоры другого автомобиля” (“Л<итературная>Р<оссия>”, 1981, 13 февраля).

Впору читать с эстрады.

20.2.81.

На улицах вывешены красные флаги — к съезду[94]. В редакции сегодня объявлено, что на дни съезда будет “удвоена охрана”, т.е. будут дежурить два вахтера. В магазинах ближе к вечеру бывает масло — дают по двести граммов. Продают ливерную (шестьдесят копеек) и кровяную колбасу; берут, но без очередей. Зато большие очереди за маслом. На бюро

Костромского райкома партии призывали к бдительности: где-то сожгли грузовик, где-то отравили несколько коров... Шпанченко со слов своей приятельницы, члена бюро, рассказывал об этом как актах “вредительства”.

Появились сведения о том, что на Козловых горах (там — обкомовские дачи) построен гостиничный комплекс стоимостью в полтора миллиона, прекрасно оборудованный, для приема столичных гостей. Поговаривают и о том, что обком начал строительство новых современных дач на Волге ниже Красного. Но все эти сведения нуждаются в уточнении.

“ЛГ” поместила две отталкивающие, грубые корреспонденции И.Андронова о Польше. <...>

Написал письмо в изд-во “Сов. писатель” М.М.Числову о рукописях В.Леоновича[95] и Л.Григорьяна[96].

В декабре к областной партийной конференции был пущен новый блок мощностью в один миллион двести тысяч киловатт (вторая очередь ГЭС[97]). Очень торопились. Обком нажимал. Получили приветствие Брежнева. Показали по телевидению. И вот в канун съезда беда: образовалась в результате возникшей вибрации трещина в вале ротора (кажется, так), блок вышел из строя по крайней мере на год. Ерохин рассказывал, что на городской конференции Баландин перебил выступавшего начальника строительства ГЭС: “Так вы твердо скажите — будет пущен блок к областной партконференции или нет?” Ивот пустили.

Адамович прислал минское, более полное издание “Карателей”[98]. <...>

В февральской книжке “Нового мира” такие стихи Виктора Бокова: “По Спасской башне сверьте время. По съезду партии — себя. У нас у всех одна арена, у нас у всех одна судьба... Мы у мартенов, где гуденье, в цехах и шахтах — тоже мы. Мы коммунисты. Мы идейны, принципиальны и прямы...”

Зима теплая, снежная; наутро после снегопада — бело, чисто, лишь к полудню на дорогах и тропках образуется желтизна, постепенно все более и более темнеющая.

В такие чистые, здоровые дни жить легче.

Прочел у П.Флоренского о “гуманитарном альтруизме”, в основе которого “лежат либо карьера, тщеславие и гордость, либо слабонервность и истерическая внушаемость при виде страданий” (“Страх Божий”, 1918). Ф<лоренский> отделяет такой альтруизм от истинной любви, религиозной. Уязвимое в альтруизме схвачено очень точно. Есть над чем задуматься.

25.2.81.

<…> Сегодня приходил ко мне Алексей Ильюшин, автор двух рассказов и пьесы, которые я прочел в январе по просьбе ректора технологического института Н.Н.Суслова. Читал я его как автора московского, но анонимного, как сына приятеля Суслова, значительного лица. Из этого чтения и моего письменного отзыва произошло следующее: Н.Н.Суслов счел себя обязанным и пригласил нас с Тамарой на воскресную прогулку в Караваево, где у них дача, а потом — на обед. <…>

Алексею — лет двадцать восемь. Он окончил юридический факультет МГУ, три с половиной года проработал в адвокатуре. С апреля прошлого года, как я понял, не работает и пытается пробиться как литератор. Хотя, упоминая родителей, морщится, они, надо полагать, ему помогают, иначе — как бы он существовал на зарплату жены. У Алексея есть машина — купил как-то подержанную “Волгу”. Он спросил меня, что лучше все-таки для него — устроиться на работу или продолжать теперешнюю жизнь. Я ответил, что лучше бы ему работать, потому что теперешнего знания жизни — даже в случае литературного успеха — ему хватит ненадолго. Но еще важнее другое,сказал я, жизнь в напряжении: лучше писать, урывая время у сна, у отдыха, так будет больше получаться. <…> Воззрения Алексея на жизнь я как следует не понял, не почувствовал. Литературные симпатии — в какой-то мере — да, но воззрения на жизнь — нет… Был и тревожный оттенок в одном его рассуждении насчет преуспевающих драматургов на телевидении. Я сказал, что стоит ли им завидовать, если вы твердо знаете, что все это плохо и что это не ваш путь. Зачем вам играть в общую игру? — сказал я. Он вполне искренне ответил: обидно как-то, ведь это они получают деньги…

Поездка в Караваево, а затем пеший ход через караваевский лес на гридинскую дорогу — всего около девяти километров — кое-что дали мне. Не знаю, как Тома (она шла вместе с Зинаидой Васильевной Сусловой, то впереди нас, то отставая), но я разговаривал мало, а был слушателем. Еще в автобусе, когда только познакомились, Николай Николаевич (64 лет) начал рассказывать свою жизнь, со второй половины тридцатых годов, когда он после окончания, видимо, строительного или геодезического техникума работал в системе НКВД на Дальнем Востоке как техник. В ту пору он жил и работал на Сахалине и в Хабаровском крае и повсюду имел дело с зеками, как политическими, так и уголовными. Т.е. у него были бригады рабочих из зеков, с которыми, как теперь рассказывает, он умел ладить. Среди заключенных в ту пору, сказал он, можно было найти всех: от шорника до академика. 37-й год он назвал

“варфоломеевским” годом. Ни тени возмущения, явной горечи, ни открытого неприятия тогдашних порядков. Он вряд ли одобряет их, но во всех его соображениях и тоне есть смирение: это случилось, и расклад сил этих как бы предопределен, каждому — свое, и погибшие, сгинувшие, изведенные в те времена словно в чем-то да виноваты. Неспроста же это все затеяно?

10.3.81.

Прошел съезд. Без перемен. Руководители компартий Италии, Испании, Франции не приезжали.

Накануне съезда лучшие ателье города шили платья и пальто для костромских делегатов съезда.

Сегодня киоскеры города получили указание сдать все имеющиеся польские издания. До сих пор “Трибуна люду” поступала один раз в неделю— дней за пять сразу, но с пропусками. Теперь, вероятно, и этого не будет. <…>

Пишу статью о “московской” прозе[99]. До чего же надоело мне ее читать. Ничего как человек я из этого чтения не вынес. Это самое большое мое разочарование в нашей литературе, испытанное за последние годы.

20.3.81.

<…> Вернулся из Москвы с совещания начальник обллита (цензуры). Собирал подчиненных, рассказывал. По пересказам подчиненных, глава цензуры призывал бдительно относиться к сочинениям Абрамова, Белова, Можаева, Распутина, потому что они считают коллективизацию ошибкой и вредным делом. Об Адамовиче якобы было сказано, что он “оправдывает” карателей. Цензура оживленно разговаривает.

Читал витиеватого, многозначительного А.Кима (пустое занятие), поглядывал на экран (шла программа “Время”) и вдруг подумал, что эти дикторы с их глазами и голосами, с всученными им текстами относятся к нам как к кроликам. В этом они почти не виноваты — разве что только в том, что предоставили свои голоса, свои тела, — так как им передалось существо текстов, их интонации, их логика, содержащийся в них, в каждой строчке, расчет. Расчет именно на “кроликов”, на нашу глупость, податливость, беспамятность, нашу послушность.

В Польше опять тревожно. Задумываясь о будущем, испытываешь яснее всего чувство беспомощности. Сделают все, что захотят.

Аркадий Пржиалковский купил в магазине грампластинок запись рассказа Василия Аксенова в исполнении автора. (Аксенов

месяца два назад лишен советского гражданства.)

22.3.81.

<…> Мое детство я не могу назвать счастливым. Это слово не приходит в голову. Все выжили, все уцелели, не потерялись в той круговерти, с голода не помирали. И все-таки от военного детства и первых послевоенных лет самые ясные и памятные ощущения — ощущения боли и горечи. А радость— оттого, что вот на Пишпеке было что есть: помидоры, огурцы, кукуруза, соленые маленькие арбузы…

Родители не знали и не знают про эту боль. Боль не пересказывается. Пересказанная, она становится неправдой, каким-то преувеличением, жалобой.<…>

Было бы так просто: протянул руку, выдернул вилку из розетки — и отключился. Как любой электроприбор: утюг или телевизор.

А Бог захочет и включит тебя опять.

А может не захотеть. Просто устал и навсегда — отключился.<…>

Такие записи только и делать что в одиночестве. Они и означают одиночество и еще боль — за близких, за себя — тоже.

31.3.81.

В минувшую среду <…> в полдень мы с Никитой пошли гулять. День был теплый, солнечный, таяло, текло, капало, брызгало, сверкало. Мы решили спуститься к Волге и около кинотеатра “Орленок” свернули на улицу Чайковского. На противоположной стороне улицы у магазина стояла очередь; у меня еще мелькнула обычная мысль: за чем? — но Никита о чем-то спросил, я повернулся к нему, и тут раздался этот шум обвала, крик, я оглянулся и увидел, что очередь сокрушена и разбросана по тротуару оползнем снега и льда с крыши этого трехэтажного дома.

Можно сказать, что все случилось у нас на глазах. Суматоха, толпа, бегущие к телефонам-автоматам люди… Я оставил Никиту стоять на месте, сам пошел туда. Кто мог встать, тот встал. Трое женщин лежали неподвижно, двое сидели, их поддерживали. Валялись глыбы льда. Потом одна за другой стали подъезжать машины “скорой помощи”. На сегодняшний день итог таков: две женщины умерли (одна была из Галича, приехала в командировку), еще трое— в тяжелом состоянии. На следующий день состоялся городской актив, по всему городу принялись чистить крыши, опутали тротуары красными флажками…

А очередь была за майонезом. Еще женщины лежали и сидели

на земле, еще ужас был на лицах сгрудившейся вокруг толпы, а очередь за майонезом уже снова стояла, на всякий случай прижимаясь к стене дома, и зрелище случившегося несчастья ее не распугивало. Эти женщины в очереди уже успели привыкнуть к тем неподвижно лежащим в странных и даже безобразных позах, в мертвом безразличии ко всем земным приличиям... Не расходились, стояли... Как они ели потом этот майонез? <...>

15.4.81.

В городе продают индийский лук. Давно уже нет сыра.

Польша еще свободна, собираются перевозить из Англии прах генерала Владислава Сикорского[100], пытается быть мудрым и сдержать страсти Лех Валенса; наши разнообразно продолжают вмешиваться в польские дела (это видно по “Правде” и “Литгазете”); трудно поверить, что обойдется без ввода наших войск; все идет к этому, других аргументов нашей постоянной непоколебимой правоты — нет.

Сегодня Тома была на заседании городского комитета народного контроля. Рассматривались злоупотребления в торговле. Т.е. скрытое распределение всех дефицитных и высокого качества товаров среди начальства, знакомых и т.п. Один из участников заседания сказал: вы дискредитируете нашу власть. Если у нас случится что-нибудь в польском роде, то из-за таких, как вы (обращаясь к торговому начальству). Председатель комитета твердо возразил: у нас такого никогда не случится. Не следует преувеличивать.

Западное радио дня три назад передало сообщение о том, что Максим Шостакович и его сын Дмитрий, находящиеся на гастролях в Германии, решили не возвращаться на родину.

Вчера благополучно завершил двухдневный полет американский космический корабль-челнок “Колумбия”. Он предназначен для многократного использования. Нам показали, как он садился, — как самолет. Наши об этом исключительной важности событии говорят сквозь зубы — в-десятых. Если хотеть действительной разрядки и стремиться жить в мире, то дружеский жест признания этого успеха американской — и общечеловеческой — науки и техники сделать было необходимо. Но наше чванство, гордыня, страх перед успехом других — безмерны. Но стыдно было вчера за телекомментаторов, когда они в двух словах хладно говорили о полете и посадке “Колумбии”. Так же сквозь зубы сообщалось в свое время о беспримерном полете американцев на Луну.

Спесь не величие, а великой стране пристало величие. <...>

30.4.81.

Сегодня отправил Оскоцкому в “Лит. обозрение” статью “Эти наши прорывы” в высочайшие духовные сферы”” (2 п.л.). Что-то с нею будет. <...>

Поляки объявили, что первомайская демонстрация на этот раз пройдет без “почетной трибуны”.

Наши сообщают об этом без комментариев. Они надеются, что этот факт сам по себе вызовет недоумение советского народа своей бессмыслицей: да можно ли без трибуны? Какие-то детские глупости! Уж мы-то до этого абсурда никогда не опустимся! <...>

20.5.81.

<...> Западные радиопередачи глушатся. Глушение возобновилось явно в связи с польскими событиями. В Польше собираются торжественно принять прах генерала В.Сикорского. Чрезвычайно знаменательное событие. В нашей печати об этом не было ни слова. В “Трибуне люду” читал об этом три материала.

Рецензий на книгу[101] нет, но промелькнула доброжелательная заметка в “Огоньке” (без подписи). Вероятно, писал В.Енишерлов[102], т<ак>к<ак> именно он прислал номер журнала.

В утренней литературной передаче по Всесоюзному радио читал стихи В.Леонович. Это хорошо, но надо бы узнать предысторию.

В.Оскоцкий пока ничего не пишет о моей статье. Не шокировала ли она его и редакционных? Было бы жалко; там кое-что есть ко времени и есть резкость, коей не хватает нынешней лит<ературной> критике.

Вообще много печального: обстановка в мире плохая, тревожная; но никто из нас, из десятков и сотен миллионов людей, не способен что-либо предпринять, чтобы не дать войне разразиться; нормальное ощущение жертв или топлива — для костра. Литературное чинопочитание и политиканство продолжают разрастаться; к художественным достижениям это, разумеется, не приводит.

Читаю Л. Гумилева, а в параллель О. Тьерри и книжку Е. Рашковского о Тойнби.

Кажется, решено, что я буду писать книжку о С.Залыгине. Эти исторические чтения мне пригодятся. <...>

Первого мая заходили Виктор с Ларисой. Виктор рассказал интересную историю из студенческих времен. Один из его приятелей (жили они в общежитии), кажется, Роберт Маланичев (это его аппликация “Князь Игорь” висит у нас в комнате),

набросал портрет товарища-студента (ничем особенным не примечательного, не “знаменитого”), и то ли прибил его на палку, то ли холст уже был на палке. Какая-то забежавшая в комнату девушка в шутку утащила портрет во двор общежития, побегала с ним, а потом бросила в кучу портретов, подготовленных для первомайской колонны. И забыла о том, и умчалась. Наутро разбирали портреты, раздавали, кто-то не глядя взял и этот, и потащил, и был остановлен у самого входа на Красную площадь; там есть такие люди, которые лишь за лозунгами и портретами смотрят, такие “специалисты”. Вот они и углядели, и последовало целое дознание, но время было послесталинское, обошлось криком и предостережениями.

48-летнего Гектора Шевелева (ныне он референт обл<астного> общества “Знание”) отправили на месячные воинские сборы в Горький. Это так они готовятся к войне. Смысл подобного — лишь в напоминании гражданам о том, что они всецело в руках государства. И государство в любой день, в любой час дня и ночи может протянуть к ним свои железные руки. Вызвали же Юру Лебедева, доктора филологических наук, заведующего кафедрой института, среди ночи, чтобы он разносил по городу повестки. Так и меня могут потащить куда захотят, и еще будешь благодарить, если только дело ограничится беготней с повестками.

Н.Н.Яновский[103] прислал пятый том “Литературного наследства Сибири” (Н.М.Ядринцев[104]). Так вот, когда были арестованы члены “Общества независимости Сибири” (1865) — молодые люди Ядринцев, Потанин и другие, то следствие шло долго, около двух лет, и подследственные томились в Омской крепости и — придумали же! — испросили себе разрешение изучать сибирские архивы. И дозволили, и они изучали и, сидя в крепости, опубликовали свои изыскания...

Мыслимое, возможное, допустимое, естественное становится немыслимым, невозможным, недопустимым, противоестественным. Это один из путей, которыми идет т<ак>н<азываемый> прогресс.

В принципе, людям все равно, как называется, самоназывается их время. Люди живут однажды, и волнует их существо, содержание жизни, это и есть мера всего. <...>

21.5.81.

Райкомовский шофер то ли в Павине, то ли в Боговарове (рассказчик ссылался на Плюснина, бывшего редактора райгазеты, ныне секретаря райкома партии) был уволен с работы после того, как посмел обогнать на пыльном проселке машину,

где ехал Баландин. Шофер пытался защититься, ходил к прокурору, но бесполезно. (Нужно бы уточнить, но источник надежный.)

27.5.81.

<…> В воскресной “Международной панораме” промелькнул в японском сюжете Лех Валенса; шел по проходу в зале к сцене, улыбаясь, приветствуя собравшихся поднятыми сжатыми кулаками.

Наши газеты перестали писать о Польше. Последний номер “Трибуны люду”, продававшийся в наших киосках, — от 15 мая.

Наконец-то пришло письмо от Лени Фролова. Кажется, никаких обид нет. Любопытно, что Ланщиков[105] уже упомянул Фролова в одной из своих статей (в “ЛГ”) — весьма лестно. Прежде, до того, как Фролов занял крупный пост в издательстве, он, насколько мне известно, его книг не замечал. Припоминаю, как после назначения В.Кочеткова секретарем парткома В.Кожинов тотчас назвал в “ЛГ” его одним из лучших поэтов фронтового поколения. Таковы нравы.

3.6.81.

За эти дни закончил и отправил статью о прибалтах[106], написал рецензию для нашего СП о трех повестях бывшей матвеевской (Парфеньевский район) учительницы, ныне (насколько мне известно) пенсионерке А.А.Избековой. Живет она в Иркутске, оттуда и прислала свои сочинения. В Иркутске, по-моему, преподавала марксизм в высших учебных заведениях. Это обстоятельство наложило на ее “свидетельства очевидца” о коллективизации непоправимый отпечаток. <…>

Негорюхин куда-то тут ездил на экскурсию (в Углич, что ли). Экскурсоводом была женщина, которая сказала, что ее муж погиб в Афганистане. Негорюхин же видел в соседнем дворе — там, где он живет, — странные похороны. Медленно подъехала специальная военная машина-катафалк; прибыл военный караул (?), были отданы воинские почести; он слышал, как кричали женщины. Б.Н<егорюхин> говорит, что тела доставляют в цинковых гробах, но с “окошечками”, чтобы можно было признать: он ли?

7.6.81.

<…> В “Лит. газете” рецензия А.Туркова на моего Быкова[107]. Грибовская контора[108] не спешит, там ко мне отношение сложное. Это пустяки; моя отстраненность их раздражает, и часто — не умом, а чувством — я отчетливо

понимаю, какое благо для моей души, образа жизни, направления мысли — эта отстраненность. <…>

Читаю “Плотину” В. Семина[109]; глубокий был у него ум; а сколько там боли — от ненормальности — болезни — мира, человеческого общества, противоестественности человеческого поведения, искаженного страхом и ненавистью.

14.7.81.

И отъехал, и приехал. И больше месяца жизни прошло. И возвратились на круги своя. Только Володя[110] где-то под Коломной — почтовое отделение “Индустрия” — цементирует со своей бригадой полы в коровниках. <…>

Из Москвы в Сочи вылетал в очень жаркий день; взмок уже в автобусе по пути во Внуково. В самолете рядом со мной сидел парень цыганистого вида с девушкой; он снял туфли и носки, только что не вывесил сушиться; блаженствовал. Тома встречала в аэропорту, и мы помчались на такси: до “Красного штурма” (так называется санаторий, где был Никита)40. Так начались мои две недели в Хосте. Здания санатория оказались по обе стороны дороги, соединяющей Хосту и Сочи (“Красный штурм” — почти посредине). Из спального корпуса в столовую ребята ходят по подземному переходу. Здание, где ребята спят, расположено на выступе горы, как бы на мысу, — лицом к морю. Здание это — бывшая вилла, как рассказывал Никита со слов воспитательницы, принадлежавшая некоему графу, начальнику московской полиции, и построена в году четвертом-пятом. Дом очень понравился Никите, да и мне: три этажа и еще полуподвал; небольшой замок со смотровой (м<ожет> б<ыть>, сторожевой) башенкой, верандой и балконом, обращенными к морю. От угла дома, от балкона, вела длинная каменная лестница к морю; ныне она разрушена; можно подумать, что этим обломкам много веков. К дому сходилось несколько аллей, сейчас остались две; остальные сносятся бульдозерами, так как вокруг идет стройка: детский санаторий доживает свой последний сезон, сооружается санаторий для нефтяников. <…>

Санаторий этот, конечно, в трудном положении: кинотеатра своего нет, пляжа своего тоже нет, душа — тоже нет; вот и приходится возить детей на автобусе в два рейса (детишек около пятидесяти, а автобус маленький) и на мацестинские ванны, и в хостинский городской душ, и на пляж. А дорога извилистая, крутая, узкая, и всякая поездка — бывало три на дню — толика риска. Попали же мы с Томой в автобус (четвертый маршрут), который мчался наперегонки с каким-то автобусом (тоже “четверкой”), старавшимся опередить наш автобус в нарушение

расписания (как объяснила нам кондуктор). В нашем автобусе почти началась паника, когда начался более оживленный участок дороги, и гонщикам пришлось несколько успокоиться. Надо отдать этим страстным водителям должное: в пропасть мы не полетели и распоряжались они своими громоздкими “Икарусами” виртуозно. А разбиться можно было вполне.

Жили мы с Томой в стороне от дороги, почти в ущелье. Во всяком случае, дом этот (фамилия хозяев — Яковлевы; старик, видимо, русский, старуха — осетинка) — на отшибе; сначала по тропе поднимаешься, потом спускаешься; там, кажется, даже климат другой: тенистее, прохладнее, влажнее. После того как целый день лил дождь, две ночи — не преувеличиваю — все шумы покрывал грохот воды в ручье, несущемся с гор. Когда Тома уходила, а я оставался дома, то она исчезала из моего поля зрения в правом верхнем углу окна: туда уводила ее тропа. Огромный старый дуб нависал над домом, давая ему тень со своей высоты, потому что он сам рос тоже в том самом углу окна, когда смотришь изнутри дома. Жить в том доме можно было бы совсем неплохо, но кроме нас (в соседней комнате) там жили еще женщина с сыном и еще одна женщина, которую накануне моего приезда свалил солнечный удар, но она вскоре оправилась и тоже взяла из санатория своего сына-дошкольника. Потом приехала еще женщина с дочкой и была поселена в углу коридора за шторой. Помимо стариков-хозяев в доме жила семья их сына <...>. Немалое народонаселение, но это можно было бы снести, если б не тон, в котором велись в этом доме все разговоры. Кричали и старуха-хозяйка, и ее сын, и невестка и не отставали (главным образом воспитывая детей) наши соседки, тоже — по совпадению — медсестры из Советской Гавани и Хабаровска. Вот так они кричали, что не припомнить мне, когда я в последний раз слышал такой крик, да и слышал ли вообще.

15.7.81.

Самое популярное, что там кричалось — детям ли, друг другу ли: “Не гавкай”. И далее следовали менее литературные выражения. Часа в два-три мы возвращались в свое жилье, чтобы переждать жару. Пытались читать или заснуть, иногда удавалось. Порою, в особо шумные дни, думалось: зачем я хожу среди этих людей, слушаю их голоса, поневоле вникаю в их отношения, зачем пускаю в свою жизнь? в нашу жизнь? И ясно понималось, что все это лишнее, отягощающее, напрасная трата и рассеяние души. Но вечером, когда сидели на скамеечке под магнолией у генеральской виллы и ждали Никиту с ужина, чтобы минут сорок пять посидеть вместе, поговорить, расспросить, все наше

нескладное здешнее бытье немедля получало полное оправдание и объяснение, и все огорчения исчезали, а если и не исчезали совсем, то отодвигались куда-то далеко, где им и надлежало быть по справедливости, по своей несущественности в сравнении с главным.

Все-таки я ухитрился там кое-что прочесть: разочаровывающе слабый роман Юры Куранова “Заозерные звоны”, книжку Б.Шахматова о П.Ткачеве, повести И.Грековой и Н.Евдокимова в “Новом мире”. Особенно полезной для меня оказалась книжка Шахматова. Я и прежде думал, что мы легко стали судить радикалов той эпохи, с неким чрезмерным высокомерием, с чувством превосходства. Шахматову удалось показать, что уровень теоретической (философской, социологической) мысли П.Ткачева был достаточно высоким — для той поры, для его условий жизни, для его возраста. После третирования — понимание; маленькая ли перемена? <…>

Вечером 29-го позвонил Валентину[111]; в СП дали мне не гостевой билет, а просто пропуск на все заседания съезда[112], и это вполне меня устроило. В Москве, когда мы там появились, стояла страшная жара. Мы с Оскоцким договорились встретиться на Библиотеке Ленина (в метро) и взять с собой пиджаки на руку. Так и сделали. В Кремле ходили в пиджаках, потому что там кондиционеры и вполне можно дышать спокойно. Так начались три дня, даже четыре, считая тот, когда я уезжал (третье июля), — три памятные дня. Я наконец-то познакомился с В.Быковым, А.Адамовичем, Г.Баклановым. Кроме того, с Я.Брылем, В.Козько, В.Колесником, Н.Гилевичем, А.Адамчиком, В.Лихоносовым и т.д. Третьего июля днем мы вместе с Быковым ездили к Богомолову. Всем этим встречам я был рад.

16.7.81.

<…> Второго числа после заседания поехали в гости к Оскоцкому: Быков, Адамович, Брыль, А.Нинов, Калесник[113]; Адамович приехал после десяти: провожал жену в Минск. С женой Адамовича я познакомился накануне, на заседании. Она преподает белорусский в Институте культуры. Женщина скромная, похожа на учительницу; не из московских развязных болтушек, очень под стать своему Саше. На съезде впервые, да и сам ее Саша, кажется, впервые. Сидеть, слушая речи, скучно, поэтому и мы, и почти все вокруг разговариваем: “И зачем сюда было ехать?” — “Повидать хороших хлопцев”,— отвечает Саша. На второй день с Адамовичем сидела Нуйкина Галина Владимировна из критики “Нового мира”, и поговорить хорошо не удалось: инициатива была в ее руках. Ну а в первый день мы

все-таки с Адамовичем успели немного поговорить. Он рассказывал о замысле новой своей работы — художественно-философической повести “Не убий”. Адамович — очень живой и в то же время серьезный, сосредоточенный ум. Жанр московского литературного трепа им не освоен, как не освоен и Быковым. Их дело жизни — серьезно, и чувство ответственности их, кажется, не оставляет. Я сужу по тому, что ничего не пробалтывается, словно ни на минуту не забывается: с них есть спрос. Вспоминается то, что было решающим в жизни: цепь поступков; то, чем можно гордиться (не стыдиться), то, что нужно объяснять.

Адамович: я твердо знаю, что убил двух человек: немца и власовца. Но когда вспоминаю и думаю об этом, не чувствую ни сожаления, ни раскаяния, ни ужаса содеянного. Что-то должно со мной произойти, чтобы я испытал этот ужас. Но раз его во мне нет, то для “Не убий” я не совсем готов. (Запись, разумеется, приблизительна.)

На секционном заседании съезда Адамович выступал после Ю.Жукова, который что-то говорил о разделенном мире, о классовом подходе, о неправомочности самого слова “земляне” (видимо, в связи с романом Ч.Айтматова). Адамович начал свое выступление словами: “Дорогие товарищи и друзья! Земляне!” Он все-таки привел письмо своей читательницы, от зачтения которого отговаривала накануне его жена. Краткое содержание письма таково: когда-то я читала книгу по средневековой истории Англии и была потрясена обилием пролитой крови, жестокостью казней и нравов. Я подумала, какое счастье, что в прошлом нашей страны этого нет. Но годы спустя я прочла “Повесть временных лет”, и мне показалось, что кровь стекает со страниц книги мне на руки. После этого я подумала, что никакой народ не должен заноситься перед другим народом и думать, что он всех чище и лучше. У всех у нас страшное кровавое прошлое, и единственное, что мы должны постараться сделать: отрешиться от него, оставить его позади, покончить со взаимными счетами и обидами...

Это письмо включено в текст статьи Адамовича о Достоевском для “Нового мира”, и Г.Нуйкина предлагала его снять, опасаясь упреков за его непатриотическое содержание. Адамович, разумеется, не согласился.

Адамович рассказывал также о том, как он, едва переехав из Минска в Москву, чтобы работать на филологическом факультете МГУ, отказался подписать письмо против Андрея Синявского (то письмо было напечатано “Лит. газетой”, под ним были подписи В.Турбина, Т.Мотылевой, декана [А.] Соколова (он-то и уговаривал Адамовича). Так и не подписал и вернулся в Минск, а в Минске уже не прописывают... (Продолжения истории пока не

знаю.)

О том, как появилась подпись Быкова под письмом против А.С.[114], я слышал прежде. Как слышал, так, оказывается, и было. Разговор был по телефону, согласия не давал, а наутро по радио услышал свое имя, стоящее под только что опубликованным письмом.

Быков выступал на второй день съезда. В Минске его выступлением (текстом) никто не интересовался. Но то ли в первый день съезда, то ли накануне Быкова тронул за локоток зав. сектором Цека А.Беляев и попросил разрешения посмотреть текст речи. Были сделаны пометки против двух абзацев (снять!), и предложено было упомянуть “Малую землю” Брежнева. В гостинице “Россия” мы читали эту речь с пометкой, где следует сделать вставку. Помеченные абзацы Быков снял, но про “Малую землю” не упомянул. Я был уверен, что Беляев ничего ему не скажет; он, Беляев, сделал свое дело, посоветовал, и если с него спросят, то и он спросит. Мне казалось, что тут была своего рода перестраховка, усердие на всякий случай. Но я ошибся: в перерыве Беляев подошел к Быкову и сказал, что он напрасно не последовал его совету. Быков стал объяснять, что он не нашел места, где можно было бы сделать эту вставку, а Беляев повторил свое бесстыдное “напрасно”. И еще добавил, что “ждите неприятностей от маршалов и генералов” (это — за критику мемуаров).

Кто-то сказал, что Ф.Абрамов не давал свою речь читать никому, но не помню кто, а кто-то видел, как Абрамов, взлохмаченный, сидел в комнате президиума с ленинградским секретарем по идеологии, склонившись над листками своей свободной завтрашней речи... <...>

Что меня сейчас мучает, так это то, каким я им показался? С моей отвычкой — незнанием — такой среды, с моей неловкостью... Всегда ругаю себя, да как переделаешься?

18.7.81.

Куда от себя денешься? Другим не прикинешься.

От Ф.Абрамова было письмо: чтобы я брался за статью о нем для “Вопросов литературы” (сегодня Н.Анастасьев подтвердил, что старая наша договоренность возобновляется)[115]. Кроме того, Ф.А. намекнул, что он не прочь, чтобы я написал о нем книжку для “Современника” (правда, оговорился, что слышал о моей занятости другим персонажем /т. е. Залыгиным/). Статью я напишу, но книгу — невозможно. Кстати, пришло письмо из “Сов. России” (издательства) о том, что в августе будет принято решение об издании книги о К.Воробьеве. Спрашивают, не

передумал ли я ее писать? Не передумал.

Г.Бакланов сидел на съезде в президиуме, но в первый день явился в Кремль в длинной светлой рубахе навыпуск. У него был вполне дачный вид. Н. Грибачев, поднимаясь в президиум вслед за Баклановым, заметил ему: “Надо бы пиджачок-то надеть”. Бакланов же сказал ему, что он-то не знал, что придется идти в президиум. <…> В другие дни Бакланов был в пиджаке (стало на дворе попрохладнее) и сразу построжел, стал узнаваемее и обаятельнее. Мы поговорили с ним о возможной будущей книге о нем, и я не раскаялся, что дал согласие писать о нем[116].

Мне это выяснение национальной принадлежности людей осточертело; отвратительное дело, низкие побуждения.

Богомолов, к сожалению, очень втянулся в расследование, связанное с какой-то, видимо центральной, железнодорожной больницей <…>. Об этом рассказал мне Быков; сам же В.О. в подробности не вдавался. “Люблю сидеть, Володя, у тебя на кухне”, — сказал Быков. И вправду хорошо; не потому ли уезжал я из Москвы в светлом состоянии души. Разговаривали о съезде, обо всем, что всплывало в связи с ним; выпили немного водки (к четырем Быкову нужно было идти на заседание съезда: голосовать); В.О. достал из холодильника огурцов, помидоров, прекрасной ветчины, какую-то банку с колбасой вскрыл. Все как обычно: просто, строго, и все безупречного качества (Быков не преминул заметить, что именно это на богомоловской кухне ему очень нравится: все простое, свежее, безупречное). Это не пустяк, это черта характера и образа жизни. <…>

Я спросил В. В.[117], когда сидели у Оскоцкого, издавали ли его в ФРГ. “Акак же, — сказал он, — однажды в Западном Берлине я долго ходил вокруг банка Шпрингера (кажется, так было сказано) и думал, зайти или не зайти за своими деньгами. Так и не зашел, так там и лежат”. — “Наверное, вы не один там ходили, — сказал я. — Вдвоем, должно быть”. “Скорее всего так”, — усмехнулся В.В.

В связи с этим была рассказана А.Н. такая история: после окончания съемок “Ватерлоо” С. Бондарчук (режиссер и исполнитель одной из ролей) должен был получить полагающиеся ему деньги. Ему об этом сказали (он еще находился во Франции), но он тянул, не шел в банк. Наконец его пригласили в наше посольство и напомнили, что нужно получить деньги. Так, дескать, полагается. “Я не знаю такого закона, где это написано”, — якобы сказал Бондарчук. И уехал домой, оставив деньги в банке. В Москве его пригласили в Министерство культуры, напомнили ему о его гражданском долге и прочем. Он заявил, что деньги за границей ему нужны, что<бы> не

выглядеть нищим среди своих зарубежных коллег. И он не намерен изменять свое решение. После этого он выложил на стол журнал “Лайф” и развернул его на крупной фотографии сына Гришина[118], снятого в Кении после удачной охоты на тигра. Под фотографией указывалось, сколько стоила лицензия на отстрел тигра. “Яне хочу, — сказал Бондарчук, — чтобы заработанные мною деньги шли на это. Оставьте это себе, — добавил он. — У меня есть еще экземпляр”. И ушел. И больше его никуда не вызывали. И о случившемся не напоминали.

Что это — легенда? Правда?

Вчера послал Янке Брылю свою книжку о Быкове. Дней десять назад я получил от него книжку 81 года “Рассвет, увиденный издалека”. Он обещал прислать и прислал. Думаю, что прочитаю и потом напишу ему. И Брыль, и его друг Калесник произвели на меня сложное впечатление. Не Адамович нашел их, а они Адамовича для работы над книгой о Хатыни (так объяснил мне Быков). Кажется, я завел разговор о Польше и очень быстро почувствовал, что отношение Брыля и особенно Калесника к тамошним событиям и вообще к польскому вопросу и полякам очень сложное и скорее неодобрительное. По мнению Калесника, то, что происходит в Польше с августа прошлого года, — результат многолетней подпольной контрреволюционной работы. О вине каких-либо руководителей, внедренного порядка жизни и т.п. он вообще не говорил. Неодобрение простиралось не только на Валенсу (он много раз видел и слышал его по телевидению: в Бресте польские передачи общедоступны): “простак”, которого используют стоящие за его спиною люди; малоквалифицированный рабочий и т. д. Брыль был уклончивее и, кажется, мягче. Позднее В.В. скажет, что Калесник прекрасно разбирается в литературе (он учился в польской гимназии — до “воссоединения”, теперь преподает в Брестском пединституте (?), был подпольщиком, потом — в партизанах), но в общественных вопросах — консервативен. <…>

Отношение к Сикорскому у Брыля и Калесника разное. У первого — уважительное, даже почтительное, у второго — жесткое: “Это тот же Пилсудский”.

Тут есть над чем подумать. Но одна встреча и застольный разговор мало что могут объяснить. <…>

Мне предлагают ехать в сентябре в Петрозаводск и Мурманск в составе группы под началом С.Залыгина (приглашены: Белов, Распутин, Лихоносов, Троепольский, Крупин, Астафьев, еще кто-то этого уровня и я) для обсуждения прозы “Севера” и мурманских сочинений. Беда не только в том, что нужно прочесть много сочинений, но и в обилии всяческих встреч и вечеров,

которые запланированы. Поехать — потерять месяц. Это невозможно.

21.7.81.

<…> Было письмо от Л.Аннинского: неужели ты, спрашивает, прочитав мою статью о “Карателях”, смолчишь? Неужели не задело?

Это Оскоцкий сказал ему, что я прочитал.

А я-то журнал привез, да отложил — и не прочел (журнал мне подарил Адамович). И вот тотчас сел и прочитал и сегодня послал письмо в три страницы машинописи.

Опять на магазинах и конторах белеют объявления: “Все в колхозе” — или: “Все на сельхозработах”. Уполномоченный по делам церкви выезжает на заготовку сена через день. Повезло городской библиотеке имени Пушкина: ее отправили пропалывать картофель.

В Антроповском и Парфеньевском районах не хватает доярок. Около двухсот коров оставались недоенными. Придумали: из Куниковской женской колонии (под Костромой) направляют туда заключенных. Те требуют подъемных, пропивают их, потом сколько-то работают, снова пьют, и тогда их сменяют и шлют новых. Когда<-то> Игорь Громов, нынешний начальник областного отдела юстиции, рассказывал мне, какое это жуткое место — Куниковская колония и какие там царят нравы. Если рассказанное (рассказывал человек из бывших предриков, ныне — уполномоченный по церкви <…>) — правда, то — горестная.

При облисполкоме есть буфет, где дают колбасу и т.п. Сокращенно это именуют: УДП. Расшифровывается так: усиленный дополнительный паек, или Умрешь Днем Позже.

Пишу предисловие к сборнику Быкова, который готовит Барнаульское издательство. Предстоит ответить издательству “Советская Россия”: буду ли писать книжку о К.Воробьеве. В августе, видимо, будет принято решение такую книжку издать и встанет впрямую вопрос об авторе. Несмотря ни на что нужно будет согласиться.

С удивлением обнаружил свое имя в интервью Михаила Алексеева (“Наш современник”, № 7). Он называет там тех, кого признает критиками: М.Лобанова, Л. Аннинского, Палиевского, Кожинова, Золотусского и меня. Ряд любопытный. Но любопытнее всего, что я не только ничего не писал об Алексееве, но и не упоминал его никогда. То же самое могут сказать многие из им упомянутых. Да и отношу я себя к другому “крылу” литературы. Вот и пойми, в чем тут дело и “тайна”.

22.7.81.

Видел на съезде В.Распутина. <…>

Стояли разговаривали втроем или вчетвером. Я спросил Распутина: “Ну как там у вас (имея в виду президиум), кондиционеры, должно, посильнее?” Он улыбнулся: “Да что кондиционеры. У нас там буфет посильнее. Я достал кошелек, чтобы расплатиться, бумажки мусолю, а официант смотрит на меня странно, как на какого-то чудака. Оказывается, тут все бесплатно, а я-то, провинциал, а он на меня как на дурака смотрит…”

Бакланов за столом в “России”: “Хотите расскажу, как кормят президиум?” Все охотно прислушались. “Значит, так: выходишь в первую комнату, там посреди стол, а на столе — огромная чашка с черной икрой и вокруг ложки. Каждый подходит и ест ложкой сколько хочет…”

Все рассмеялись, и про вторую комнату он сочинять не стал.

Хорошо встретились на съезде с Б.[А.] Можаевым. На второй день он принимал поздравления: в “ЛГ” прошла его статья на полосу о сельскохозяйственных несчастьях. В первый же день он взял меня за пуговицу и стал толковать о моей книжке. Хвалил за то, за это, а потом стал упрекать, что я никак не заметил той особенности минувшей войны, что впервые в русской истории на стороне врага воевало очень много наших соотечественников. На другой день Б.А. говорил, чтобы я не придавал большого значения этим его упрекам, что книга хорошая и т.д. А я, разумеется, и не придавал.

Читал на съезде листок машинописи — не помню, кто принес, — где две цитаты: одна из очерка С.Борзунова о М.Алексееве (дескать, все знают Ясную Поляну, Спасское-Лутовиново, станицу Вешенскую, а теперь все знают село Монастырское, где родился замечательный наш писатель Михаил Алексеев), другая — из статьи М.Шагинян, опубликованной в прошлом году “Коммунистом Грузии” и перепечатанной в “Вечернем Тбилиси” (там написано о прекрасном городе Гори, где родился великий сын грузинского народа Иосиф Виссарионович Сталин, и далее в торжественных тонах перечисляются его великие заслуги перед советскими народами). Петр Алексеевич Николаев переписал эти старческие бредни, но сказал, что своей Иринке (так, кажется; это его жена) он этого не покажет, потому что она заплачет (у нее репрессированы были родители, сама она, как и П.А., воевала, была ранена)…

Петра Алексеевича я не видел почти четверть века. Но узнал его сразу, да и он говорит, что меня узнал. Разговаривали с ним мало, хотя он весь лучился доброжелательностью и

расположением ко мне. <…>

Опять о костромском быте. На улице Советской, неподалеку от редакции, некоторое время назад открылся “Салон красоты”. Тома заходила туда однажды из любопытства. Руководит салоном жена А.И.Кузнецова, заместителя председателя облисполкома (сама бывшая председатель Кадыйского райисполкома). Большая, яркая, безвкусная женщина — так характеризует ее Тома. Всалоне — все респектабельно, но — ни души. Оказалось, что там можно получить (за три рубля) консультации специалистов: какой костюм вам будет к лицу, какая прическа, какая обувь (“Мода и одежда”, “Мода и прическа”, “Мода и обувь”); итого — девять рублей. И — все. Зато к услугам посетителей— бар; на взгляд Томы, получше пицундского в Доме творчества. Не так давно КузнецоваВ.И. устроила в “Салоне красоты” прием для высшего начальства. Ю.Б.[119] там, видимо, понравилось; <из> салона к автомашине его вели под руки; ноги уже не слушались… “А что, — сказала Валентина Ивановна, — мне еще сына надо выводить в люди”.

Еще о Ю.Н.Б. рассказано, что зимой был пьян, упал и сломал три ребра.

То-то поляки так разошлись, что не могут остановиться. Это их обновление нам поперек горла.

Шел сегодня по улице — вокруг пестрая летняя, очень живая толпа — а думалось: какие мы все послушные и покорные.

Читаю дневники С.Танеева, письма “сепаратиста” Г.Н.Потанина, прочел “За чертой милосердия” Д.Гусарова[120]. Сочинение Гусарова способно сказать внимательному человеку о многом, но сам автор предпочитает сообщаемое не обдумывать. Это не художественная проза; никакого сравнения с романом Богомолова. Прочитал “Записки мелиоратора” С.Залыгина (опубликованы в сб. “Пути в незнаемое”, 1970). Еще раз понял, что этот человек ума глубокого и независимого; интересен его подход не только к конкретной теме, но как бы сама школа его мысли, или иначе — его методология, общий подход.

Втягиваюсь в работу; лишь бы шла да ничего не мешало. Но так не часто бывает. <…>

30.7.81.

Володя отозвался. И телеграмму прислал, и два письма. Заработался. Пишет, что в стройотряде их факультета (работает в Хакасии) погиб второкурсник — убило током. По стране это стройотрядство, должно быть, дорого обходится. “Где сын-то ваш погиб”, — спросят потом, когда-нибудь родителей того юноши. “Да студентом был, на инженера учился, а погиб, когда курятник

за тридевять земель строил”... <...>

Вчера открылось очередное заседание польского сейма, где, в частности, обсуждается вопрос о “вознаграждении” руководящим работникам государства, т.е. о зарплате членов правительства. Представляю себе, как передергивает при чтении сообщений из Польши наших руководителей. До чего дошли, как распустились!

Информация из Польши после съезда в наших газетах отсутствует полностью; западные радиопередачи старательно глушатся; “Трибуна люду” в киоски давным-давно не поступает. Ни одного номера “Шпилек” за этот год наша библиотека не имеет. Это все вместе и называется: полная и объективная, своевременная информация. Кто-то — по какому и где зафиксированному праву— решает, что должен и что не должен знать наш народ. Что полезно ему знать и что вредно. Им-то, разумеется, не вредно, их не совратишь, а вот остальным двумстам с лишним миллионам — вредно и опасно.

Леня Фролов удружил мне, прислав на рецензию, не предупредив, два романа. Один из них — огромный (700 страниц), под названием “Не поле перейти” Ивана Курчавова (Москва), члена СП, — я сегодня закончил читать. Завтра предстоит писать, и думаю об этом с тоскою и даже ужасом. Скажу здесь одно: роман — сочинение внехудожественное, журналистское, но самое главное — написан человеком, тоскующим по великому Сталину. Судя по всему, автор — армейский политработник, и свою правоверность, правильность он не устает демонстрировать. Среди некоторых фактов (роман автобиографический) есть явно подлинные, сбереженные памятью как уникальные. Герой романа работает в годы войны в политическом управлении армии старшим инструктором информации, т.е. сочинителем докладных и донесений о моральном и идеологическом состоянии солдат и офицеров. Он постоянно имеет дело с органами трибунала, прокуратуры, СМЕРШ, участвует в разборе всякого рода происшествий аморального характера. В частности, рассказывается, как в 1943году было прочитано письмо Сталину некоего бойца, который требовал от Сталина отречения и передачи власти сыну Василию. Тут же следует воспоминание героя о некоем учителе московской школы, который принес перед уходом на фронт в Политуправление письма, полученные от Сталина по поводу Василия (он учился у этого учителя). Дескать, в тех письмах строгий отец не называл сына иначе как хамом, негодяем и т.п. Один из персонажей романа считает, что бойца надо отправить в сумасшедший дом, другой — требует расстрела и т.д. Это существует в романе на правах краткого эпизода...

1.8.81.

<…> Прочел рассказы Ю.Трифонова в июльском “Новом мире”. Много горечи и печали; нет ничего, что было бы выше смерти. Ощущение, что все усилия, все достижения призрачны.

Н.Н.Яновский прислал составленную им книжку “шутейных” рассказов Вяч.Шишкова и хорошее письмо.

С пользой читаю В.Зазубрина[121]. Попалась вчера в магазине книжка С.Резника об ученом-хлопководе Г.Зайцеве (1887 — 1929). Прежде читал книжку С.Резника о Н.И.Вавилове. Вчера прочел и эту: выбирает он героев прекрасно; такие судьбы производят на меня огромное впечатление. Мир может безумствовать, исходить в ненависти и злобе, но Вавилов и Зайцев продолжают возиться со своими семенами, посевами, бесконечными кропотливыми опытами… Они работают и оказываются правыми перед людьми, своей наукой, историей…

Многим поколениям десятилетиями навязывали буденных, ворошиловых, калининых, сталиных, забивали голову, извращали воображение. И до сего дня — ворошиловы, буденные, дзержинские и еще, и еще…

А надо бы, чтобы учились у Вернадского, Ухтомского, того же Зайцева, Н.И.Вавилова, им подобных — учились бы тому, что действительно составляет смысл и достоинство человеческой жизни, человеческой работы…

Забыл записать, что 3 июля — день рождения Владимира Осиповича. В этом июле ему исполнилось пятьдесят пять лет. Когда мы пришли к нему, он сказал, что это неправда, что это событие случилось месяц назад и что он вообще после смерти матушки не отмечает больше этого дня, и сказал Быкову, чтобы тот дал отбой задуманной им поздравительной телеграмме от всех друзей и сказал всем, кто собирался ее подписать, что это ошибка…

Собираю В.О. посылочку из книг. Пока не соберу, не стану ему писать. Не знаю, какой бы знак признательности и самого искреннего расположения мог бы я сделать, кроме книг. А хотелось бы…

Из стихотворения А.П.Щапова (1861?): “Совет отживших стариков судьбой народов управляет, совет жандармов-дураков совет народный заменяет” (Потанин Г.Н. Письма.Иркутск, 1977).

12.8.81.

Коля Голоднов вернулся из командировки в Мантурово. Ехал домой на автобусе. При выезде из Мантурово обогнали похоронную процессию. Рядом с Колей сидел агроном

Мантуровского сельхозуправления, и он рассказал, что хоронят 20-летнего парня, убитого в Афганистане. В конце июля, кажется 29-го, в военкомат пришло извещение, чтобы встречали тело. Ждали долго, т<ак>к<ак> тело везли семь дней. Когда сопровождающие гроб солдаты выгружали свой дальний груз из вагона, встречавшие заметили в глубине вагона еще несколько гробов. Хотя гроб был запаян, поспешили хоронить, т<ак>к<ак> запах пробивался. На гробе окошечка не было. Этот юноша должен был скоро отслужить свой срок, и мать уже начала ждать своего единственного сына. И вот дождалась.

Один из костромских комсомольских работников (из райкома комсомола) рассказывал Томе, что теперь военкомат привлекает к организации похорон афганских жертв и комсомольских деятелей. Недавно в Кострому вернулся из Афганистана солдат без руки и ноги. Он лежал в костромском госпитале, когда его навестила девушка, которую он любил. Они собирались пожениться. Будто бы девушка сказала: сейчас не война и мне он такой не нужен. Этот парень покончил с собой.

Сегодня по телевидению показывали фрагменты документального фильма о русской женщине, чей сын сражался в югославском партизанском отряде и похоронен в Белграде. Это был ее единственный сын. Старая женщина сидела перед камерой и вспоминала, как впервые приехала на могилу сына, как припала к каменной плите и стала ее целовать. Тома заплакала.

Комментировал этот фильм Г.Боровик. Он много говорил о горе матерей, потерявших своих детей в годы войны. Я смотрел и все думал, что эту передачу видит, возможно, та женщина из Мантурова. Что происходило в эти минуты в ее душе? Как объясняет она себе то, что случилось? Кого винит? Как понимает и понимает ли, за что погиб ее сын?

Тома передала мне рассказ Голоднова вчера. Вечером была передача о Международном конкурсе пианистов в Вене. Показывали, как играл победитель конкурса, московский студент, армянский юноша лет двадцати. Я подумал, что все это соседствует и происходит в одном мире, где есть разделение труда и судеб: один музицирует, а его сверстник догнивает в цинковом гробу, убитый на необъяснимой, бессмысленной войне, затеянной по чьей-то непредусмотрительности и недальновидности. Во всяком случае, присутствия разума в этой афганской операции не видно.

Когда Тома рассказывала эту мантуровскую историю, я невольно спросил— будто вдруг забыл, а так и было — на минуту забыл: а — сколько лет нашему Володе? — Двадцать один.

— Если бы такое случилось с моим сыном, я бы этого никогда

не простил,— сказал я то, что очень ясно почувствовал. Именно почувствовал, а не подумал или размыслил. <…>

Приехал в Кострому погостить к родственникам Николай Скатов[122] с женой и дочкой. Встретил его сегодня на улице, и проговорили около часа. Обещал зайти. Ссылаясь на Ю.Селезнева (тот якобы сам спрашивал у В.Распутина), говорит, что Распутина пытались убить, и что уцелел он чудом (видимо, решили, что дело сделано), а юные, чуть ли несовершеннолетние убийцы получили условное наказание, и что подобраны они были специально в расчете на безнаказанность. Я сказал Скатову, что Селезнев — драматический рассказчик, но Скатов принялся меня убеждать, что именно так и было, что Распутин вызывал в Иркутске чье-то раздражение. <…>

20.8.81.

<…> Пришла в Кострому моя ярославская книжка[123]. От нее желтит в глазах. Пока купил сто экземпляров, куплю еще сто.

Но еще прежде мы попали с Никитой в Кинешму. Собирались в Ярославль прогуляться и купить масла, но вверх долго не было “Ракет”, и мы махнули вниз до Кинешмы. Шли по кинешемской базарной площади, и у часовенки на лотке я вдруг увидел свою книжку. Еще один экземпляр — последний — купили в магазине. Когда увидел на лотке, то невольно рассмеялся: вот куда пришлось плыть, чтоб увидеть свою книжку! От Ярославля до Костромы много ближе, чем до Кинешмы, да мне потом объяснили, что у костромского книготорга горючего для машин нет, ехать за книгами не на чем. Авернулись мы из Кинешмы, Тома и говорит: так ведь это неспроста! С Кинешмы сорок восьмого года книжка начата, в Кинешме и суждено было мне ее в руки взять. А пошли с Никитой, уже купив книжки, гулять по городу и тотчас оказались у кинотеатра “Пассаж”, куда мы с отцом заходили после поликлиники, в том самом сорок восьмом, когда я руку сломал и мне здесь, в Кинешме, гипс накладывали. Такие вот бывают совпадения.

Рецензию на Курчавова отправил. Как бы он со мной не рассчитался каким-нибудь хитрым, а то и простым макаром. Он, видать, из людей тех еще.

Теперь пишу о романе Ф.Шахмагонова “Не жалею, не зову, не плачу”. Вдругом роде, но тоже печатать невозможно. И опять — член Союза писателей, из Москвы. Вот такой у нас союз. Не знаю, как и благодарить Леню Фролова: столько времени на одно чтение убил.

22.9.81.

<…> Дела в Польше все хуже. Как и в шестьдесят восьмом году, наше Цека отправляет предостерегающие, предупреждающие письма, публикуются резолюции рабочих собраний, проводятся у польских границ маневры и т.д. Вся беда, что когда пар скапливается долго и выхода ему нет, то от прорыва его, от взрыва и взрывов ждать соблюдения “правил”, “приличий” и “норм”— невозможно. Слишком много скопилось… И чистоты, и грязи…

Сегодня в “Советской культуре” про Анджея Вайду написано, что он “полностью скатился в болото врагов социализма”.

Брал в библиотеке горьковскую “Летопись” за 1916 год, искал что-нибудь сибиряка А.Новоселова. Наткнулся на статью К.Левина (“Летопись”, 1916, №1) “А.И.Герцен и Польша”. Хоть перепечатывай — как раз к нашим благословенным дням.

5.10.81.

<…> Газетная быль: в раздевалке в углу — кладбищенский венок. Кому? Бывшему редактору[124] Дмитрию Алексеевичу Смирнову. Как? Его же позавчера похоронили. Общий переполох. Забыли венок отвезти. Редактор поручил своему заместителю, заместитель — заместителю секретаря партбюро, а тот, уезжая по личным делам, наказал, чтобы венок отвез шофер. Ну и остался венок в углу раздевалки. Решили, что отвезут на девятый день. На партсобрании в тот же день, как нашли венок, рассуждали об ответственности за порученное дело. Было невдомек, что никакого дела не было; это продолжало утрачиваться человеческое, разрасталась и приходила к абсурду проформа.

В “Дружбе народов” и “Литературном обозрении” мои статьи. Нравились, ждал, увидел, пустота. Вот радуюсь: эпиграф из Хаксли хорош. Лучшее, что напечатал, — эпиграф.

Оказывается, — это я забыл записать после возвращения из Москвы,— мой прадедушка по маминой линии[125](рассказала папе тетя Наташа) был священником церкви при Смоленской богадельне (возможно, называлось это учреждение иначе), принадлежавшей Ланиным. Папа говорит, что эта церковь сохранилась до сих пор. <…> Еще тетя Наташа вспоминала, как жили в Дорогобуже: сначала в отдельном доме, в прекрасных условиях, потом переехали в домик попроще, поменьше и наконец очутились в казенной квартире, полагающейся акцизному чиновнику Сергею Владимировичу Богдановичу, моему дедушке. Папа связывает этот “спуск” с тем, что Сергей Владимирович был честным человеком. Тетя Наташа говорит, что не помнит, с чем связан этот переезд из квартиры в квартиру.

Читаю Л.Берга (“Труды по теории эволюции”) с большой

пользой. Неожиданно наткнулся на интереснейшую статью Д.Чудинова о крестьянстве в “Сибирских огнях” 1922 года. Читаю А.П.Щапова и о Щапове, об идее областничества и федерации, восходящей к вступительной лекции Щапова в Казанском университете 1861 года. Или к каким-то его статьям самого конца пятидесятых годов.

Поразили меня проводы Щапова в Петербург после бездненских событий[126]. Провожали студенты, набились в комнаты, стояли во дворе, шли по улицам, потом сели в лодки и поплыли по реке Казанке к пристани. Плыли и пели песню. (Приведенный в воспоминаниях текст песни я переписал.) Песня народная, протяжная; ныне, кажется, забытая. Поразила меня и вся картина на реке, и заключенный в песне тон — тон исчезнувшей жизни, для которой эта песня годилась. Не поэзия утратилась, а состояние своей прикосновенности, принадлежности высокому чувству, высоким помыслам. У жизни не было сценария, и она росла наперекор несвободе — свободно и говорила как хотела.

Еще фольклор. Из уст газетного шофера: “Пусть бутылка стоит восемь, все равно мы пить не бросим. Доложите Ильичу, нам и десять по плечу. Ну а если станет больше, будет то же, что и в Польше” (в связи с повышением цен на водочные изделия, золото и т.п.).

Одна за другой вышли три книжки о Гитлере (с польского, с немецкого и наша). Продавщица в книжном магазине: а что, у него какая-нибудь дата?

Москва перевела нас в другой часовой пояс. Надо же создавать впечатление, что в жизни что-то происходит. Почти шучу: отняли час жизни.

19.10.81.

Тома выступала на т<ак>н<азываемом> “дне депутата” (обмен опытом) во Дворце текстильщиков. Там же выступал нынешний первый секретарь горкома комсомола В.Е.Пучков <...>. Он, в частности, сказал, что сейчас в комсомоле состоит лишь 68 процентов костромской молодежи. 2100 человек при переходе с предприятия на предприятие “скрыли свою принадлежность к комсомолу”. 53 процента новорожденных проходят через обряд крещения, половина браков после гражданского акта освящаются церковью. “Мы можем упустить молодежь, — сказал он, — как упустили ее в Польше, где 90 процентов членов Солидарности” — молодые люди до 25 лет”. И еще сказал этот болтливый молодой функционер: у нас тоже есть нездоровые настроения. Пройдите вечером по улицам,

посидите в ресторанах, послушайте разговоры — и вы услышите, что говорят о нашем времени, о партии и т.п. Потом он объявил, что из Афганистана в Кострому вернулся авиадесантный полк, в котором теперь есть и Герои Советского Союза, и награжденные орденами и медалями. Но, добавил он, оказалось, что не вся наша молодежь достаточно закалена физически, а также в волевом отношении.

За последнее время получил письма от В.Кондратьева, В.Быкова, Ф.Абрамова, В.Богомолова, С.Лесневского с поддержкой моей статьи в “ЛО”. Разумеется, это поднимает дух. Но настроение у меня странное: написанное написано и думаю я теперь о будущем, о том, что предстоит написать. Покоя на душе нет, большой удовлетворенности тоже. Впрочем, об “антимосковской” статье не жалею. Это нужно было сказать.

Вчера сообщили об отставке С.Кани[127]. Что бы ни было дальше, что бы ни изобрело наше начальство, мы — в зрителях.

Неподалеку от нас, по проспекту Мира, по соседству с горкомом партии, развернулась прямо-таки кипящая скоростная стройка. На пустыре, на месте снесенной бани (образца конструктивистской архитектуры тридцатых годов), цементируют, бетонируют, выкладывают плитами расходящиеся лучами дорожки... Возводится грандиозная Доска почета. Надо бы узнать, в какую цену она обойдется. <...>

Недавно Виктор Бочков[128] рассказывал, как Ф.М.Нечушкин, его начальник (начальник областного управления культуры), заговорил с ним о том, что он, Виктор, позволяет в своей частной переписке негативные отзывы о внешней и внутренней политике нашего правительства. И что ему, Виктору, нужно над этим серьезно подумать. Виктор сказал, что больше это не повторится. Такого обещания было достаточно; во всяком случае, Нечушкин показал, что он удовлетворен. Виктору было известно, что несколькими месяцами ранее его приятеля Роберта Маланичева (где он живет, не помню) вызывали в госбезопасность, где речь шла о письмах Бочкова. С тех пор Виктор стал аккуратнее, но “дело” было как бы не закрыто, и Нечушкин его “по совместительству” “закрывал”. То-то мне Тома говорит: остерегись. Но я-то в письмах правительство не ругаю совсем. Я о нем и о прочих властях молчу. С какой стати я буду нарушать всем известные правила нашей советской частной переписки.

Пишу текст выступления на 75-летии Сергея Маркова[129]. Отмечать будут в Парфеньеве; туда и должны поехать двадцать четвертого. Читал Маркова не без пользы. И есть что сказать.

11.11.81.

И съездил, и сказал... День тот воскресный для конца октября выдался блистательный: немного тяжеловатые белые облака на синем небе, сверкающие на солнце лужи... Нас возили по Парфеньеву на автобусах, и водители старались причаливать свои машины впритык к дощатым тротуарам. Мы-то явились по-городскому, в ботиночках-туфельках, а в них улицу пересечь трудно, потому что не улицы, а реки жидкой грязи. Ночью, когда нас трясло и мотало на разбитой дороге от Николо-Поломы, я поглядывал в окошко, и сердце сжималось от вида бедности, вдруг вырванного фарами из тьмы, от каких-то сменивших лесное мрачное сплетенье ветвей и стволов, покосившихся заборов, кривых сараев и темных, каких-то нестройно торчащих изб... Потом при въезде в Парфеньево явились вдоль дороги, забелели, застрочили черными строчками призывы и обязательства, вышагивающие нам навстречу на двух прямых ногах, явно показывая, что мы уже в пределах порядка и четкой перспективы и вообще празднично украшенного житья, отмобилизованного и призванного... Но солнце — вот лекарство от тоски и печали! И бедность всего здешнего быта никуда не делась, но словно что-то притупилось во мне, или же успел я уже к ней привыкнуть, или же смотрел теперь вокруг не из бросаемого, прыгающего автобуса, а спокойно— на все мерное и как бы застывшее... Когда же пошли открывать мемориальную доску на доме, где родился Сергей Марков, и я увидел высыпавший на улицы парфеньевский народ, чернеющий и пестреющий вдоль заборов, то я думал уже не о бедности, а какая-то умиленная сердечная дрожь поднялась вдруг во мне... Вот вышли все из домов своих, встали как на выносе, а почему, зачем, из какого интереса? Мало кто Маркова читал, сам он сюда взрослым никогда не наведывался, и никто уже не помнил, как он бегал по этим улицам малым мальцом... И вот высыпали, облокотились на заборы, стоят на крыльцах... Любопытно? Событие в монотонной здешней жизни? Хочется посмотреть на съехавшихся незнакомых, должно быть, важных людей? Так и есть, должно быть. Они смотрят, и мы смотрим. Сумрачные мужики торчат у столовой и магазина, — вот кому тяжко и обидно: понаехали какие-то, а из-за них ни водки, ни какого-нибудь портвейна не купи... Зло на нас поглядывают, а больше прячут глаза. Куда им деваться? Спасет какая-нибудь сердобольная запасливая бабка...

А вот на торжественное заседание в райком партии пришло мало людей: зал был заполнен, пожалуй, наполовину. Интересовались бы тем же Марковым, пришли бы. Но все равно кто-то собрался и даже детишек с собой привел... Вот для них всех я и говорил, но не знаю, что было понято и насколько

оказалось нужно для их ума. Нажим центральный был у меня на былую русскую инициативу, предприимчивость; должно было прослушиваться, что ничего подобного сейчас нет и “короткие тусклые мысли тогдашних начальственных лиц” — не столько про тогдашнее... Боялся, что стану нервничать, задрожит в какой-то миг голос, но трубки дневного света так дребезжали и ныли над головой, что пришлось напрягать голос в опасении, что этот дребезг и треск отделяет его от зала, и потому-то все сказалось гораздо спокойнее, чем думал: физическое усилие отвлекало и гасило чувства.

Чтобы не забыть: в доме, на котором повесили мемориальную доску,— двухэтажный, деревянный, не большой даже, а крупный, дородный среди окрестной нередко трехоконной мелочи, — так вот, в доме этом жил (до Марковых? или одновременно?) А.Т.Виноградов[130], о котором я упомянул в желтой своей книжке; а в послевоенные годы располагалась служба госбезопасности.

На марковский юбилей приехали из Москвы: жена Маркова — Галина Петровна, ее дочь, двое внуков, двое племянников, сестра Маркова, муж другой сестры и еще какие-то родственники, а также старушка, оказавшаяся скульптором Ващенко (весь день она решала главную свою задачу: пыталась заручиться обещанием, что районные или областные власти купят у нее бюст Сергея Маркова), и еще — Евгений Осетров, Валерий Ганичев и отец с сыном, если не ошибаюсь, Мильковы (отец — литератор, сын — фотограф). Из Ленинграда приехал Илья Фоняков с женой, предварительно побывав в Костроме, где предложил театру свою инсценировку “Юконского ворона” (пока не знаю, что из этого вышло). Из Костромы были Юра Лебедев, Аркадий Пржиалковский, Виктор Игнатьев, Ермаков из Управления культуры и Алексей Голубев из обкома партии. Приезжал и оператор телевидения Опельянц (сюжет его, однако, до сего дня не прошел). Словом, “гостей” было человек двадцать пять. Всех нас парфеньевские власти кормили бесплатно завтраком, обедом, а вечером устроили ужин с коньяком и водкой. “Разорили Парфеньевский район”, — шутили мы потом. Ну а в самом деле: на какие это все средства? Тот же коньяк пять звездочек, бывший в избытке? <...> В Парфеньевской столовой нас обслуживали, как мы не сразу, но поняли, не официантки, а учительницы (Ю.Лебедев узнал бывшую свою студентку) и работники райкомов партии и комсомола. Был воскресный день, но весь аппарат райкома не отдыхал: все старались принять гостей (“писатели!”) наилучшим образом. Что ж, они сумели это сделать. Первый секретарь райкома партии А.Е.Викулов, небольшого роста, всем своим обликом здешний крестьянский человек, невзрачной

внешности, был с нами довольно откровенен. Рассказал, что в 1932 году в районе жило 32 тысячи человек, сейчас — едва набирается десять тысяч. Вообще ничем не хвастал. Но манера держаться — знакомая: грудь развернута по-баландински, ноги расставлены, только что не покачивается на носках по-архиповски. Мал мужичок, но когда говорит из-за своего секретарского стола, его будто кто подкачивает, надувает, увеличивает в значении. Вот кто эффектно выглядел— наш Негорюхин: борода как у Маркса, рубаха желтая, волосы длинные. Пожалуй, рубаха да борода, нет — борода да рубаха, — этого вполне достаточно, чтобы что-то значить и обозначать. Больше можно ничего не иметь. “А ему нравится, пожалуй, сидеть в президиумах, слыть писателем или околописателем”, — подумал я, когда выступали в школе. Ничего я против Б.Н. не имею, даже не осуждаю его ни за что, а это подумалось само собой: борода заменяет многое. Любопытно, что в школе все учителя сидели где-то в последних рядах, и когда Г.П.Маркова преподнесла школе стопку книг мужа, то принимать их после явной заминки выслали из задних рядов старшеклассника; ни директор, никто из учителей не решились выйти: застеснялись... Школа — новая, большая, на краю села выходишь, — и как в Шабанове, открывается полукругом окрестность с уходящими к горизонту ярусами леса...

Было приятно побывать в парфеньевской картинной галерее (там открыли в трех комнатах музейную экспозицию, посвященную С.Маркову); после уличной грязи, всей остро ощущаемой заброшенности и бедности, которой, кажется, насыщен сам воздух, входишь в галерею, словно переступаешь порог...

24.11.81.

...какого-то строгого и чистого мира, где поддерживаются другие законы и другой климат. На крыльце ты еще в одном мире, вошел — в другом, и — подчиняйся. Не бог весть какое искусство, но строгость и требовательность — от него: смотрят со стен глаза, сверкает синее небо, всходит над лесом солнце. Шуваловский Сергей Максимов сидит[131] у окна в избе, плотный и монументальный, с бородой как у Фридриха Энгельса.

Помню, заходил ко мне в редакцию московский столяр Ухов со своими стихами; ничего, кажется, я тогда у него не смог выбрать. Был он уже немолод, крупный, рыхлый, благообразный человек, рассказывал, что собирается подарить родине — Парфеньеву — свою коллекцию картин современных художников, сложившуюся из подаренных ему работ. Оказалось, он делает для

художников рамки и прочую столярную работу. Одинок, и вот пришел час думать о том, куда и как пристроить собранное, чтобы не пропало. На мое сдержанное отношение к его стихам не обиделся, словно и сам понял, что вряд ли это увидит свет... Зато картинная галерея свет увидела, и выходит: не зря жил человек...

Ужинали долго, москвичи отправились в Николо-Полому часов в девять, мы сидели до одиннадцати, потом продолжали ужинать в гостинице и еще немного уже в поезде часу в третьем, а то и в четвертом.

Было много анекдотов, но памяти у меня на них нет. И слава богу. Но один запомнил. В Мавзолее Ленина что-то задержался приезжий грузин. Ходит вокруг саркофага, удивляется, под саркофаг заглядывает, что-то ищет. Потом спрашивает у солдата: “Тут лежал такой небольшой, рыжеватый, с оспинками грузин. Где он?” Тот отправляет его наверх: там, у постовых, спросишь. Грузин спрашивает у тех: “Тут лежал такой небольшой, рыжеватый, с оспинками. Где он?” Постовые отправляют его дальше, к Кремлевской стене: там спросишь. Грузин опять спрашивает: “Тут лежал...” и т.д. Ему отвечают: “Его нет. Родственники забрали”. Грузин замолкает, потом говорит: “А у того, что там лежит внизу, что — родственников нету?”

13.12.81.

Сегодня с 00 часов в Польше введено военное положение. Весь день варшавское радио передавало “серьезную” музыку. Эта музыка показалась мне печальной; такую передают в дни государственного траура. Через каждый час— во всяком случае, в первой половине дня — музыка прерывалась и звучала запись обращения Ярузельского к народу. До и после обращения — польский гимн.

Наброшена военная узда.

Если бы это случилось где-нибудь на Западе или в Латинской Америке, то это событие было бы названо военным переворотом, приходом к власти военной хунты.

У Ярузельского нет выбора: чтобы удержаться у власти, он должен подавить оппозицию. Уйти от власти он не может. Это не предусматривается социалистической государственной системой. Оппозиция в такой системе к власти не допускается. Оппозиция вообще не допускается. Ее возникновение и узаконивание в Польше расценивалось в нашей стране как ненормальность, как нечто преступное, требующее подавления.

Непредставимо, чтобы Миттеран, например, почувствовав, что его партия растеряла авторитет и власть из его рук ускользает, решился на аналогичную меру. Ему бы пришлось

уступить свое президентское кресло другому, а самому вернуться в положение лидера оппозиции.

Сейчас около полуночи. Варшава передавала военные марши, а сейчас зазвучали и песни. Сейчас там уже действует комендантский час. Что-то там будет завтра, в рабочий понедельник. Чтобы не было забастовок, рабочих и служащих мобилизуют как “резервистов”. Управлять будут через приказы. Ну вот очередной бравурный марш… Как на праздник.

Секретариат Союза писателей СССР присудил мне одну из четырех ежегодно присуждаемых премий за лучшие литературно-критические работы: за книжку о Быкове и за статьи 1980 года (о Ф.Абрамове и А.Адамовиче). Быков прислал по этому поводу поздравительную телеграмму. В городе литгазетовскую нонпарель тоже прочли и стали поздравлять. Я знал о присуждении премии с октябрьских праздников (пришло письмо от В.М.Озерова)[132], но никому не говорил. Знак этот, конечно, неплохой, но радость быстро прошла: все мысли — о новых, будущих работах. Как и прошлая осень, эта тоже суетна: работаю не столько и не так, как хочу.

Недели две назад часов в одиннадцать дня звонок в дверь. Открываю— Можаев. Оказалось, что у него в Костроме живет брат 54 лет, наладчик линотипов, ездит по районным типографиям, наездился, устал, просится на спокойную службу в отдел кадров и нужно ему в этом устройстве помочь. Вот Можаев и приехал на своей машине, чтобы посетить наши конторы и все устроить. От меня Б.А. поехал в обком, обещав часа в три вернуться. Так и вышло, посидели, выпили чаю, поговорили, а как ехать — образовался сильнейший гололед. К нашей с Томой радости вынужден был Б.А. ночевать в Костроме; за мост-то он проскочил легко, в городе дорога разъезжена, а километрах в двадцати его ждал лед и развернутый поперек дороги грузовик с прицепом, вот он и вернулся. Вечером приехал к нам, и мы о многом поговорили.

На прошлой неделе я прочитал вторую часть “Мужиков и баб” и вчера отправил Б.А. письмо. Потом я сказал Томе, что издать бы эту книгу наряду с некоторыми другими массовым, общедоступным тиражом, сопроводив радио- и телеоповещением, и народное образование значительно бы выросло. Может быть, кое-что прояснилось бы в умах. И “Блокадную книгу” тоже не мешало бы издать именно так, чтобы дошла до большинства. Ну и еще кое-что в целях “просвещения” и знания отечественной истории… Теперь же каждый день почти в каких-нибудь хроникальных кадрах нам показывают физиономию Сталина. Прямо-таки навязывают нам ее: смотрите, смотрите, смотрите…

Исколько превратного, сколько лжи и неправды рассеивает по стране одно это навязывание... Лучше бы, напоминая о сражении за Москву 41-го года, показывали солдатские и офицерские лица (тогда, правда, офицеров не было)... Я снова и снова убеждаюсь в преступной — по сути своей— безответственности инспираторов и “делателей” этой пропаганды.

Книга Можаева, как и “Блокадная книга”, заставила заново думать о “больном” и тяжелом в судьбе и истории нашего народа. Что думать — заново переживать, травить воображение, мучиться беспомощностью, молчанием, безгласностью.

Перепечатал записки костромской жительницы А.А.Макаровой, обратившейся ко мне с неожиданной просьбой прочесть их — “просто так”. Может быть, эта несколько “нетипичная” история из конца 30-х годов мне пригодится, скажем так, для “рассказа”... Хотелось бы мне об этом написать. <...>

Было много хороших писем, в том числе особо важные для меня — от Кондратовича[133] и Буртина[134]. <...>

И.Васильев, очеркист из Калинина, пишет в “Сов. России” о понижении “жизненного тонуса” в народе, о том, что этот тонус нужно “культивировать”. “Культивировать” бесполезно, чепуха какая-то, но про “понижение” верно, и хорошо, что это сказано.

Надо бы написать здесь о “Блокадной книге”, о “Мужиках и бабах”, которые автор еще надеется напечатать. Но рука медлит, легко про это не напишешь. Тома сегодня сказала: “Делают с нами что хотят”. Это верно.

Челюсти государства.

Забыто, что социалисты всегда были антигосударственниками, хотя бы в теории: зло, таимое, заключенное в государственном механизме, ясно осознавалось.

Теперь мы — лютые государственники. Лютее, кажется, нет. <...>

14.12.81.

Ждем вестей из Польши. Западное радио сообщает, что связь со своим корреспондентом поддерживает лишь агентство Рейтер. Остальная связь запрещена. Информация из остальной Польши в Варшаву не поступает. Распущены на неопределенно долгие каникулы школьники и студенты.

1982.

Polska — те же вопросы перед нами... Вот сплелись наши судьбы — невыносимо. Не “вопросы” — мука одна и та же: надо бы поворотить или вывернуть из глубокой колеи вбок, — да

никак; только вывалиться... И не то чтобы впереди обрыв, яма, крах, а просто само движенье, где ты стиснут, вжат, предопределен, — и оприходован, — само это проживанье жизни, нерастраченность, — тяжелы своей непреклонной безвариантностью...

И все летит, и ты летишь, и вздрагивают остающиеся позади государства, и крестятся последние старушки, умеющие креститься...

И все посторанивaются... Так куда же летим?

2.1.82.

Говорят, что это год Собаки. И что он должен мне благоприятствовать как родившемуся в год Собаки. То есть — всем Собакам. Я посчитал, что же это были за годы — собачьи, и оказалось, что всегда в них было много трудного. Таким быть и этому году — после восемьдесят первого, в общем–то благополучного и даже приятного по внешним признакам успеха и признания. Впрочем, какой прок надеяться на силы небесные и ждать благоприятного расклада звездных карт, когда предстоит не начало, а продолжение и всему — тяжелому, трудному, всякому — только и остается — продолжаться.

<...> Мама еще как следует не выздоровела, но стало ей получше. В этом я убедился, когда приезжал на три дня.

За эти три дня был только у своих и у Томиных родных. В “литературный мир” носа не высовывал. Назад ехал в общем вагоне; спасибо Володе, помог занять место получше. В Москве — всюду толпы, очереди, кипение. Была последняя неделя декабря, и русская провинция брала свое. У одного из магазинов увидел толпу, перед толпой стоял грузовик, и какой–то мужчина с грузовика что–то кричал толпе, энергично потрясая руками. “Революция”, — весело подумал я, но подошел поближе. Мужчина выкрикивал цифры по порядку: триста шестьдесят четыре, триста шестьдесят пять и т. д. Магазин назывался “Ковры”. Если бы эту сцену снять кинокамерой и скрыть магазинную принадлежность здания, то все это можно озвучить как уличный митинг. Столько страсти и благородного энтузиазма в том мужчине на грузовике! Да и возвышался он над толпой не один; рядом с ним в живописных решительных позах стояли еще какие–то мужики — соратники по святому делу. <...>

В Польше сохраняется военное положение. Говорят, что арестовано и интернировано более пяти тысяч человек. Какой же из всего этого будет найден выход? Я все еще надеюсь, что “реформация” в Польше не остановлена, не погублена.

Оскоцкий, Адамович и Аннинский написали мне о

декабрьском заседании московской секции критики, где в основном шла речь о моей статье в “Лит. обозе”.

Пишу рецензию для изд–ва “Современник” на рукопись Людмилы Петрушевской (рассказы, датированные 1969 — 1973 годами). Впереди бездна работы: книга о Залыгине, книга о прозе 70-х, статья об Абрамове, рецензия на Кондратьева, статья для “Др<ужбы> народов”, доделка (написать о романе “Время и место”) статьи о Трифонове, да еще три “внутренних” рецензии... Как мне со всем этим справиться...

9.1.82.

<...> Отправил отзыв на рукопись Л. Петрушевской: старался быть веротерпимым.

Тома читала письма Пушкина, я открыл один из томов наугад, а там письмо тридцать первого года и смысл такой: душить их надо. И еще — это наша семейственная распря, и нечего Европе лезть.

Вернадского, помню, открыл почти так же, и там было другое — чувство приязни, уважения и сочувствия.

Из наших газет о Польше ничего узнать невозможно.

Телевизионные комментаторы программы “Время” по международным делам похожи на шавок из подворотен. От них не услышишь ни о ком и ни о чем доброго слова. Чем больше за нашими пределами бед и несчастий, тем лучше. Не щадим даже Китай, поворачивающий к здравому смыслу и нормам цивилизации. Ни слова поддержки. А какие снисходительные, высокомерные или обличающие интонации! Из вечера в вечер: а у них безработица, безработица, безработица, безработица, безработица, безработица... Ну, что–нибудь еще, господа, вы можете сказать, что–нибудь еще... Или это режиссер–постановщик все жмет и жмет на одну и ту же клавишу, и вы совсем не виноваты...

Состояние мое сумрачное. Праздники да домашние тревоги и немного исполненной работы. Какая–то невнятность.

Похвалы, обрушившиеся на меня в ноябре — декабре, тоже странным образом способствовали этой невнятности. <…>

Статья в “Русской литературе” (№ 4, 1981) о Е. Ю. Кузьминой–Караваевой. Наверное, наиболее обстоятельная и достоверная из всех, что у нас появлялись. Но издать саму мать Марию мы не можем; наше государство чего–то, как всегда, боится.

Володя Личутин прислал письмо в защиту души от социальности. Очень было бы интересно написать о “душе” в современной прозе: что за этим стоит и стоит ли что помимо прекраснодушной декламации. Я тоже люблю это слово, оно для меня обозначает что–то помимо ума и характера, но в личутинском подходе и противопоставлении есть, по–моему, бесполезная крайность, словесный шум…

С одной стороны, всё про душу, Володя, про душу, а с другой — тут же — не обижай этих ребят, Курчаткин сидит без денег, этого мало издают… Да о душе ли они хлопочут? Да и полно ли — мало ли издают? Сравним с другими, с теми, кто подлинно о “спасении души” болел, — вот тех, верно, не издавали, да и сейчас не издают…

14.1.82

<…> Из “Трибуны люду” вычитал, что на 5 января в Польше 5069 интернированных. Им разрешено одно свидание с родными в месяц, одна часовая прогулка на свежем воздухе в день с правом неограниченным разговаривать; сообщается, сколько посылок успели получить интернированные и что для них после 13 декабря (день введения военного положения) отслужено 100 месс. Разрешается получать в месяц одну посылку весом в три килограмма и две посылки до трех килограммов по рекомендации врача. Писем можно посылать сколько угодно. Установлена сумма, на которую можно покупать продовольственные и табачные товары. Где, в каких условиях они содержатся, не написано.

В наших магазинах ничего нет. Хотел сегодня купить сыру, искал, не удалось. Появилось в продаже солодовое молоко. <…>

Прочел рукопись А. А. Григорова[135] о его участии в “строительстве БАМа”. Речь идет о 1943 — 1945 годах, когда он в качестве экономиста–плановика работал в строительных “организациях” НКВД на Дальнем Востоке. То ли Григоров предназначал рукопись для печати, то ли на всякий случай, но он ухитрился на 48 страницах убористой машинописи ни слова

впрямую не сказать об особом характере упомянутых “организаций” и о своей подневольной судьбе то ли арестанта, то ли ссыльного. Надеюсь сделать выписки, которые могут пригодиться потом. <…>

Плохо с бумагой, надо где–то добывать. В магазинах попадается мне редко.

Белый хлеб посерел и светлеть что–то не хочет. Московский хлеб поразил меня ослепительной белизной.

Все нормально, говорю я, когда кто–нибудь начинает жаловаться на пустоту в магазинах. — Все идет по плану. Так задумано.

25.1.82.

<…> “Правда” отлучает Итальянскую компартию от коммунизма. Логика знакомая: “Всему миру известно, что… СССР, КПСС” и т. д. Этого, считают, достаточно, чтобы быть убедительными.

Фотография Ариадны и Марины Цветаевой в “Лит. обозе”. Ариадне — 13 лет, светлая, большеглазая девочка. За что, я думаю, эта девочка и вся ее семья прошли через такие мучения и утраты? И кто за это ответил в нашем правовом, справедливом, самом справедливом из государств?

Несколько дней назад западное радио сообщило о смерти Варлама Шаламова[136]. Наши газеты — пока нет. Последние годы его почти не печатали. Его проза (“Колымские рассказы”, кажется, так) у нас не издана. Наше государство обижено на него: плохой гражданин. А за что обижено? Столько продержало в лагерях — и обижено? Нет чтобы чувствовать перед человеком, поэтом вину, — куда там! обижено, оскорблено! Все перевернуто. Все — наоборот. Вверх дном.

Да, еще сказали, что Шаламов умер в доме для престарелых под Москвой. Печальна человеческая судьба.

Справедливости не оказывается. Памяти на всех не хватает. Государство, подчиненное партии, делает что хочет. Один из чиновников облисполкома сказал, посмеиваясь: “Партия — это бог. Я на икону смотрю — что–то понимаю, чувствую. А партию не понимаю. Вот это Бог”.

Что Государству Шаламов? Ариадна Эфрон? Марина Цветаева? Что Твардовский? Что Высоцкий?

Со всеми ними лучше иметь дело, когда они мертвы.

Вообще же лучше, чтобы никого из них не было.

Так и вижу эти глаза 13-летней девочки.

Потом вспоминаю, как она в Туруханском доме культуры работала художником–оформителем.

В Польше продолжается военное положение. У нас продолжается все то же положение, которое невозможно назвать одним словом. Впрочем, конечно, возможно.

27.1.82.

Телепередача к 85-летию В. Катаева. “Смягчение нравов”, — сказал Катаев, — вот “задача литературы”.

75-летие “Северной правды”[137] — мертвое, пустое собрание. Зачем я туда ходил, успевший отвыкнуть и вроде бы думающий, что это прошло и этого нет. А оно все то же. Вот почему я так упорно твердил: жалко жизнь. Они сокращают ее нам. Они отбирают.

Из Васи Травкина[138]: “Все у нас не как у людей. Манька дома — Ваньки нет, Ванька дома — Маньки нет”.

20.4.82.

<…> Были хорошее письмо и книжка от Дмитрия Сухарева[139]. Оказывается, и в самом деле кое–кто меня читает.

Образовалась неожиданная возможность поехать в Югославию на “Загребские международные литературные беседы”. Не знаю, кому этим приглашением обязан. “Беседы” состоятся 10 — 15 мая, тема: “Ирония в современной литературе”, но поеду ли, еще неизвестно, т. к. югославская сторона сократила число гостей от нас с семи до четырех человек. Человек из СП Лазуткин Александр Сергеевич успокоил меня по телефону, что все равно в этом году он меня в Югославию отправит; меня же и успокаивать не нужно, т. к. слишком озабочен текущей своей работой и ехать никуда не хочу. Тем не менее на всякий случай читал О. Хаксли из “Интернациональной литературы” 1935 — 1936 года: рассказ “Утро в Базеле” и отрывки из романа “Прекрасный новый мир”. Хорошее чтение.

В связи с возможной югославской поездкой заходил ко мне в Союз писателей Сергей Сергеевич Павлов, сотрудник КГБ, бывший секретарь Заволжского, т. е. Дмитровского, райкома комсомола. Как–то он позвонил мне домой вечером, поздоровался, сказал, что говорит Павлов. Я же знаю его по имени–отчеству, фамилия как–то на втором плане, встречаемся в книжном магазине, иногда на улице раскланиваемся, я и переспрашиваю с недоумением: какой Павлов? Да из КГБ, отвечает. Вы, говорит, слышно, в южные края собираетесь, так хотелось бы повидаться, у нас к вам просьба есть. Я же ответил, что в ближайшие дни не смогу повидаться, т. к. еду в Москву, ну а после — пожалуйста. Недели через две позвонил опять. Мы, говорит, можем к вам домой приехать, или вы к нам зайдете, или

где вам удобно. Мне, сказал я, удобнее всего в нашем Союзе писателей. Там и встретились, и приехал он один, и я так и не понял, почему он сказал “мы”. Когда он разговаривал со мной по телефону, была однажды пауза (уславливались о месте встречи), тогда–то, наверное, и всплыло, а потом отменилось это “мы”.

Разговор же в союзе был, по сути, формального свойства. Мне сказали, что в Югославии случаются провокации идеологического характера и нужно быть начеку. Сообщил он мне, “что там полностью издан Солженицын, книги Г. Владимова”, и вся эта вяло текущая беседа означала одно: они меня предупредили. Во время разговора в дверь заглянул Негорюхин[140], предупредил меня, что уходит. Когда дверь закрылась, Сергей Сергеевич, мило и очень искренне улыбаясь, сделал вид, что не знает, что делает в наших стенах этот человек и какую должность занимает. Я же знал, что Павлов по крайней мере однажды специально расспрашивал Алю Скворцову, нашего бухгалтера, о Негорюхине: как себя ведет, как приживается и т. д. Я спокойно, кажется, чуть улыбнувшись, объяснил обязанности Негорюхина, но далее вопросов не последовало. На том и распростились. <…>

Сообщено о смерти Константина Зародова, редактора журнала “Проблемы мира и социализма”, с которым много лет назад я встречался в здании Цека. Речь шла о моей работе в журнале. Этот человек произвел на меня хорошее впечатление своей мягкостью и внимательным взглядом. До сих пор не ясно, какая же сила встала тогда на моем пути? И кого мне за это благодарить, так как все вышло к лучшему.

В апрельской книжке “Нашего современника” статья доктора исторических наук Аполлона Кузьмина о книге В. Оскоцкого об историческом романе. Хорошо, что Валентин в Сирии; когда приедет, шум уляжется и, м. б., кто–то уже “заступится”. В статье есть и справедливое, но общий подтекст, а по временам и прямой текст неприятны. Любопытное рассуждение, проливающее свет на тайные побуждения (и даже пафос) автора статьи: “В разные эпохи на первый план выходят либо государственные, либо национальные, либо социальные проблемы, разрешение которых [государством] обеспечивает общественный прогресс. Из взаимодействия этих главных компонентов будет складываться любой общественный организм и в обозримом будущем”. Мне здесь особенно нравятся эти “либо”, а также “любой”. Если же хорошенько подумать, то вся собственно авторская идея сводится к тому, что надо любить свое отечество — “и с запертыми устами, и с закрытыми глазами”, т. е. не по Чаадаеву. И сразу становится скучно, и методология знакомая: что у Валентина, что у Кузьмина, теми же палками размахивают, только что у второго за

спиной — националистический кол. И еще добавлю — любовь таких Кузьминых к русскому народу ничего хорошего этому самому народу не сулит: всегда такие держали сторону князей, государей, начальников и бар. Держали и по сей день держат, хотя и не прочь выдвинуть “на первый план” “национальные проблемы”. Ну и заодно этот Кузьмин проходится и по Л. Н. Гумилеву. Большие хитрецы в “Нашем современнике”, особенно, должно быть, Юрий Селезнев, этот Садко–красавец с курчавой бородой, обуреваемый антисемитской страстью! И Гумилева подцепили — не жалко, и самого Кожинова — вот вам объективность! — задели, — чем не марксистский подход? И заодно Маймонида[141] какую–то изуверскую глупость процитировали, подверстали к Оскоцкому... Бог ты мой, а в ком–то разбудят патриотический зуд до крика! Этого и хотят?

А вот недавно вычитал: “Если бы мне пришлось выбирать между родиной и благоразумием, я без колебаний выбрал бы последнее. Этого требует мой либерализм...” (Ортега–и–Гасет; цит. по книге Гильермо Диас–Плаха “От Сервантеса до наших дней”. М., 1981, с. 119).

Анекдот, ходивший в дни очередного “ленинского субботника”: Брежнев обметает пыль с саркофага Ленина. Ленин приподнимается и спрашивает: “Что это вы делаете, Леонид Ильич?” — “Это у нас субботник, Владимир Ильич”. — “Как субботник? Или у вас все еще не кончилась разруха?”

4.5.82.

Накануне праздников отослал статью о Друцэ[142]. Из “Белой церкви”: “Мы не сосульки, свисающие с застрешья, не куст плакучей ивы, не холм пустой и бесплодной глины. Мы народ...”

В конце апреля было письмо от В. Леоновича: о похоронах Шаламова, о Сухареве, о том, как Володю избили в бане. “Да хранит тебя Бог, — закончил он письмо, — на улице, в бане, в магазине...” и т. д. <...>

8.6.82.

Промокшие, озябшие, пришли с Никитой с футбола. Когда матч заканчивался, выглянуло солнце, и над городом встала радуга. Весь второй тайм сидели под зонтом, и струи с зонта мочили наши колени. Наш сосед — пожилой человек в плаще и шляпе — время от времени наклонялся к сидящим ниже рядом женщинам, что–то оживленно говорил, и вся вода со шляпы, как из стакана, обрушивалась на женщин, выплескивалась. <...>

А в Югославии я все–таки побывал. Одиннадцатого мая вечером на самолете югославской авиакомпании (“Боинг–527”) мы прилетели в Белград, а оттуда сорок минут (“Дуглас–9”) — и мы в Загребе. Нас встречали (худенькая, небольшого ростика — девушка, девочка, — зовут Эмилия), и еще через полчаса (автобус, такси) мы в отеле “Трансконтиненталь”, наши чемоданы погружены на тележку, ключи вручены. “Через десять минут спускайтесь вниз”, — говорит Эмилия, мы оглядываемся, осматриваемся, я начинаю думать, что произошла ошибка, потому что в номере две кровати, но, спустившись, узнаю, что у Юры[143] тоже две и что это нормально, мы отправляемся ужинать, тут же в отеле, при свечах (и при верхнем свете тоже), а потом разбредаемся отдыхать восвояси.

Спал неважно, светает рано, в шесть утра слышал, как звонят в церкви. За окном внизу приотельная стоянка автомобилей, через улицу, думаю я, большая школа (оказалось, гимназия, старое, внушительное здание; вполне можно разместить какое–нибудь важное начальство: облисполком, к примеру, или совет министров какой–нибудь республики из пятнадцати), и за ее оградой футбольное поле и много баскетбольных площадок. Было семь, когда я встал, а на поле уже играли красиво одетые мальчики, и у баскетбольных щитов тоже летал мяч. И нигде не было видно учителей и тренеров, царила непринужденность; может быть, они просто приходят раньше и играют? Зеленое поле, белые футболки, белые трусы, какие–то яркие кеды — чистое, праздничное пространство игры; когда бы я ни выглядывал из окна, там всегда играли с мячом. Я позавидовал тем ребятам — их полю, их одежде, их непринужденности.

Нам всегда не хватало воли и непринужденности. Мы никогда не сидели, и нынешние не сидят на школьных крылечках и крыльцах, не гуляют возле школы — не желая попадаться лишний раз на глаза учителям, завучу или директору, — а тут — повсюду сидят, стоят, бродят, о чем–то разговаривают — свои дела! — и не спешат расходиться, словно здесь их клуб, центр какой–то их автономной от взрослых жизни, и некоторые девчонки даже покуривают, тут же, перед десятками окон, — такие они уже взрослые... И в том, как они одеты, — тоже непринужденность: никакой униформы; и мальчики, и девочки чаще всего в джинсах, в пестрых куртках, рубашках — спортивного все толка, чтобы чувствовать себя свободно и удобно, и потому ребячья эта толпа — празднична и школьное детство ощущается как праздник... Я сознаю, что внутри этой толпы — вся обычная пестрота характеров, настроений, домашних и прочих неприятностей, способностей и прочего, но

это дела не меняет... Внешний образ тоже кое–что значит... <...>

10.6.82.

Вчера до нас дошел Н. Федоров[144]. Сегодня все еще лежал на прилавке. Взял три экземпляра. Как–то неловко, что такая книга ждет покупателя. Хоть еще покупай.

Впрочем, я не испытал никакой радости, когда увидел материалы о Федорове в одном из номеров “Советской России”.

Идеи Федорова жили подспудно, как бы подземно, и это нормально; проговаривать их — в газетах и на площадях — нельзя; они должны — им же лучше — дозревать (ждать своего часа) в “темноте”.

Сейчас они пойдут по рукам; будут делать вид, что они кстати; на самом деле эти идеи — духовная оппозиция устоявшемуся общему, скрепляющему всех, как обручем, мировоззрению.

Что–то остужающее, малоприятное, отдающее пошлостью есть в том, как подхватываются идеи, окруженные и предваренные слухами и молвой; они так дружно подхватываются — бойко, с энтузиазмом, что становится не по себе; словно это товар, который пошел на рынке...

Ну а в Загребе было тепло, солнечно; прилетели из дождя, в дождь вернулись, и было странно, что здесь, в Москве, тоже шли дни и что–то происходило; казалось, здесь все должно было стоять на месте, в этом дожде.

Мальчиком, в сорок восьмом, когда родители купили радиоприемник “Урал” (были тогда только “ВЭФ” и “Урал”; или так мне тогда казалось), я подолгу крутил ручку настройки и на тетрадочном листке в клеточку отмечал, на какой волне, в какой точке работает та или иная станция; ловил наши города и каждому новому радовался, ловил Лондон, ловил Белград... Тито и Ранковича уже рисовали в газетах с топорами в руках; с топоров капала кровь; рукава палачей югославского народа были засучены как у мясников. Меня поражало и странно волновало несоответствие: они — враги, а белградская передача на русском языке начиналась звуками “Интернационала”, и мужественный мужской голос произносил: “Говорит Белград, говорит Белград. Смерть фашизму, свобода народу”.

В Загребе я вспомнил и об этом. Эту поездку я воспринял как некую справедливость по отношению ко мне. Все эти годы я относился к Югославии с уважением и симпатией; пожалуй, эти слова даже слабее того, что я чувствовал и чувствую теперь. В пионерском лагере военно–инженерной академии им. Куйбышева, где после войны заканчивал учебу отец, я был в сорок седьмом,

всего одну смену (и нигде никогда больше), и тогда–то к нам в гости приехали два югославских черноволосых офицера — слушатели академии, бывшие партизаны; они что–то нам рассказывали, и хорошо помню, как они — красивые, в сверкающих наградах — сидели на скамеечке в парке, а мы их обступали и кто–то нас всех фотографировал... Так они и остались в памяти навсегда — очень располагающие, красивые, в блистающих мундирах... Что потом? Потом после восстановления советско–югославских отношений новый интерес к Тито, к Карделю, чтение статьи Карделя в журнале “Коммунист”, чтение цитат из Программы СКЮ в громящих эту Программу наших статьях... <...>

Ну а теперь, тридцать четыре года спустя после далекого, но не забытого сорок восьмого, вышли мы с Юрой Тууликом после ужина вечером одиннадцатого мая из отеля на улицу, постояли, подышали воздухом чужой свободы и хорватской весны и чуть ли не враз сказали, выдохнули: “Хорошо!”

Не скрою: шестнадцатого я уже хотел домой, и Юра тоже что–то говорил насчет того, что хватит, пора возвращаться. Такая скорая ностальгия — общее место в заграничных “дневниках” наших писателей? Нет, просто ясное сознание исчерпанности нашей “программы”, наших здесь возможностей. Дела нет, денег нет, время иссякает. Просто ясно понимаешь: праздник окончен, хорошего помаленьку, отбой. Правда, семнадцатого утром нас пригласили в Союз писателей, где образовались разговоры, и возобновился наш интерес, и возникла надежда на продолжение разговоров вечером, а вечером уже казалось, что не улетай мы — началось бы самое интересное: разговоры в открытую, совсем дружеские, и узнавание того, что узнать не успели и от чего были отодвинуты официальными обстоятельствами... Моя ностальгия могла бы подождать, раскручивалось какое–то славянское чувство, казалось, проглядывало родство, — понимаю, понимаю, и тогда понимал, что все это едва–едва намечалось, сквозило, и утренний самолет уже ждал нас, но все равно хорошо было говорить на дружеском языке и хоть напоследок знать, что страсть и боль у нас близкие, и незачем таиться и прикидываться, и не вздор, а заветные мысли и надежды соединяют нас...

Не обольщаюсь; три встречи с человеком — это не много; но Предраг Матвеевич[145] не скрывал к нам своей приязни с самого начала, и не похоже, чтобы он играл эту приязнь. Он был человеком без галстука, с расстегнутым воротом, с живыми, быстрыми глазами, мягкой и общительной повадки; очень скоро я подумал, что он напоминает мне Адамовича — мягкостью, живостью, естественностью; после утреннего заседания свой

галстук я снял и — с облегчением — больше не надевал; уже и не помню, когда в последний раз — до этого загребского сборища — я пользовался галстуками; надеюсь, освободился опять и надолго. Но это к слову и пустяки... В то первое заседание мы втроем — Козьмин где–то в Москве все дожидался паспорта — чинно уселись за стол и стали нажимать кнопки “Филипса”, но напрасно, русская речь не звучала (потом оказалось, что перевод шел, но до нас не достигал)...

11.6.82.

<...> Со ссылкой на преподавателя по научному коммунизму Володя сказал, что 20 апреля (кажется, именно в этот день родился Гитлер) возле памятника Пушкину в Москве состоялась демонстрация московских фашиствующих молодчиков (свыше ста человек), требующих сильной власти. Я вспомнил, что уже слышал об этом: оказывается, Тане и Оле пришлось слышать рассказ о том же из уст классной руководительницы.

Я всему этому поверил. Ложь нашей общественной жизни может взрастить и это чудовище; стоит подняться ростку...

Тогда, в зале заседаний “Интерконтиненталя”, мы радовались, если звучала сербскохорватская речь; казалось, что хоть что–то понимаем, угадываем тенденцию, пафос... Может, и правда, что–то угадывали, когда слышали: “еретики социализма”, “сталинизм”, “идеологический гулаг” и т. д.

Сегодня рассказывал о поездке в Загреб в Союзе писателей. Мне не понравилось, как слушал В. В. Смирнов, директор Дома книги. Чрезвычайно сосредоточенно и — против своего обычая — безулыбчиво, словно все ждал и ждал чего–то... Дождался ли?

Я им говорю: в сознании вашем укладывается такое: хорватка, родилась в Новой Зеландии, гражданка Австралии, изучает славистику в Загребском университете, вышла замуж за хорвата, чьи родители живут в ФРГ, и сам он прожил там восемь лет, теперь он в том же университете изучает германистику; иногда они на своей машине ездят в Австрию за продуктами; по окончании университета собираются ехать работать в Австралию... Ее, нашу переводчицу, звали, зовут Эмилия, его — Мильвой...

Говорят: не укладывается... Космополитизм какой–то...

Европейский анекдот: прикрываете один глаз ладонью и говорите: Нельсон; закрываете другой: Кутузов; закрываете оба: Ярузельский.

12.6.82.

Неделю назад отправил в “Литгазету” небольшую статью о

“Предтече” В. Маканина[146]. Пока не знаю, пойдет ли она. Возможно, я написал резко и в некотором роде ригористически. Но что делать, если чувствую несообразность такой литературы, ее глубокую, т. е. не явную, беззаботность, ее отстраненность от истинной трагедии современного человека.

Прочел сочинение М. Дитерихса[147] о расследовании трагедии в доме Ипатьева. Как ни обдумывай эту историю, детская кровь и кровь ни в чем не повинных остается. Без всякой мистики — остается, и все. И народ, нация ощущают ее как тяжесть или бремя. Можно не понимать, что это за бремя, но оно есть. Вся другая кровь тоже никуда не исчезла; мы все отягощены ею; не помню, в какой это сказке, поразившей меня еще в детстве, не довоенном ли, про кровь, которую оттирают, отмывают, счищают, а она проступает снова и снова — неотвратимо...

Сегодня читал повесть Г. Грина “Доктор Фишер из Женевы...”. Самое яркое — ужины у Фишера, особенно с овсянкой, и еще прекрасно написано ожидание Анны–Луизы (стихи из “Рюкзака”) и ее смерть. Горы, роман в горах, любовь, описание любви заставили почему–то вспомнить давно читанный и, значит, полузабытый роман Ремарка “Жизнь взаймы”. Наверное, вся обстановка и атмосфера, стиль отношений заставили вспомнить именно эту вещь. <...>

Разговаривал с В. Маловым, часовщиком из Солигалича. Возможно, ему нет и сорока, но выглядит стариком, больным, испитым, ходит тяжело, опираясь на клюшку, согнувшись. Читал его рукопись, в которой есть искренность и жизненная энергия, но надежды на то, что автор достигнет художественного уровня, мало... Что–то я выражаюсь абстрактно: повесть от первого лица, герой — какой–то мыкальщик, влачащийся в основном по дну жизни, но вполне довольный и даже гордый собой, своей свободой и получаемыми удовольствиями и наслаждениями (безделье, водка, женщины), этот эгоцентризм и словесная бойкость быстро надоедают... <...>

Маловы — палехские, но про то, как попали в Кострому и откуда взялся дом в Солигаличе, разговора не было. Возможно, то, что он рассказывал, иногда походило на молву и легенду, но пусть это только молва и легенда, все равно — знаменательно и несет в себе смысл. Например, он сказал, что хозяин одного из соседних домов ходит в шубе, сшитой из бурки, которую солигаличская депутация должна была преподнести в тринадцатом году Николаю II, но почему–то это ей не удалось. И еще: в первые советские годы солигаличане были недовольны притеснением и было восстание; вожаки восстания (из офицеров) были расстреляны на кладбище; на том месте, где они

похоронены, до сего дня кто–то возлагает цветы; на кабинах солигаличских грузовиков можно увидеть нарисованный букетик цветов — это тоже в память о той далекой трагедии...

Думаю, что надо еще написать о Загребе. Но еще не все улеглось, и я, например, все еще не знаю, насколько искренним был с нами Предраг Матвеевич и сколько в этой искренности и дружелюбии было игры и самопоказа? Мне хочется верить, что не больше того, что можно спокойно простить как слабость. Но все равно тут какая–то для меня трудность. И главная между тем надежда, потому что эти разговоры и сам характер общения были самыми светлыми, т. е. не формальными, не мнимыми, а подлинными. Во всяком случае, я воспринимал так.

4.7.82.

<...> После солнечного теплого мая — серый, неустойчивый июнь с перепадами температур и настроения; июль пока ему в тон. Идет мировой чемпионат по футболу; мы с Никитой не пропускаем ни одной трансляции; наши играют в расчетливый государственный футбол, пуще всего боясь уронить престиж нашего великого государства.

Последние недели мир спокойно смотрел, как лилась кровь в Ливане. Наши газеты снабжают читателей полуправдой, по–прежнему считая их недалекими и беспамятными; что ни сболтни — поверят.

По телевидению показывают “митинги протеста” на заводах и в конторах; в каких–то залах или цехах стоят люди, держат транспаранты с аккуратно выведенными буквами (старались! знали, что снимать будут!), замкнутые, ничего не говорящие лица, и с трибуны кто–нибудь чистенький и гладкий читает с листа “гневную речь”, клеймит позором, и все это ежевечерне идет в эфир... Опять проформа, обозначение гнева и возмущения, наскоро поставленные короткие спектакли и горькое ощущение от того, что видишь результат дрессуры... Раньше я был убежден, что все стоящие под теми транспарантами понимают, в чем они участвуют и какова цена произносимым речам, и что они на этот счет не обманываются. Теперь я стал думать, что многие принимают все это за чистую монету; случись что, и такие же митинги примутся осуждать новых “врагов народа” и т. д. Светоний, оказывается, сказал, что убитый враг хорошо пахнет, но еще лучше пахнет убитый согражданин...

Читаю “Народоправство” за семнадцатый год и кое–что (в том числе статью Вернадского о Гос. Совете) из “Культуры и свободы” за шестой год. Это пригодится мне, когда примусь писать о

Залыгине. Должен вот–вот приняться, тем более что этого хочется: пора. Впечатление от чтения: историю революции знаем плохо; т. е. народ наш этой истории себе не представляет; знающие вымирают, новым — достаточно популярной схемы; и еще — там, за текстами, за идеями и страстями, — богатство жизни, ее пестрота, неоднородность состава, явная неприведенность к единому осушающему, измельчающему знаменателю; нечто противоположное “дрессуре”. <…>

“Литгазета” статью о Маканине не печатает и молчит.

Думал о том, что в нашем обществе много нетерпимости (после статьи в “ЛГ” О. Мороза об “экстрасенсах”, где он приводит письма читателей), нетерпимости всякой, притом злобной, даже ожесточенной. Это потенциальная разрушительная сила, способная развернуться… Нетерпимость как–то связана с тем, что люди мелки, души мелки, и при, возможно, значительных целях преследуются цели корыстные и узкие…

11.7.82.

<…> Пытаюсь писать какие–то страницы для книжки о Залыгине. Читаю Мочалова о Вернадском; впервые читаю повести Петрова–Водкина — какая–то утраченная ныне простота и естественность, бережное внимание к истинно существенному; впервые открыл “Материалы к истории Костромы” Л. Скворцова (1913), попросил у Негорюхина; за годы советской власти не было издано по истории Костромы ничего подобного; будто не надо; не говорю уже о том, что книга Скворцова находится по полиграфическому исполнению в разительном контрасте с печатной продукцией Ярославля, бедной и бездарной. Старец Федоров радел об “общем деле”, и многое вокруг ему сильно не нравилось (кладбища при церквах в забросе и т. д.). Мы–то его сейчас издали, т. е. “допустили” в современный российский мир, и он как бы оглядывается в нем… Переносимо ли это для него оглядывание? Про кладбища молчу; храню в памяти давние новосибирские впечатления: гуляем в парке, и знакомый молодой инженер говорит, что под той концертной эстрадой похоронен его дедушка; чтбо кладбища, до них ли, какое “отческое” дело возможно, когда старый русский город — из основных русских городов, старая русская земля лишены возможности издавать книги, хранящие память о предках, о собственной человеческой истории, об “отцах”…

2.8.82.

<…> По Костроме ходит анекдот о “вырезке” из Продовольственной программы.

Вчера пришла верстка из “Лит. газеты” “блока” о маканинской “Предтече”. Я оказываюсь в невыгодном положении; со мной спорят, а мне не возразить; приходится смириться; пусть их... Но по прошествии времени чувствую, что вещь Маканина — проходная; сама плод “кишения” и сугубо нынешней суеты.

Прочел “Дым” (в Шабанове) и “Новь”, чему очень рад. Говорил себе: не читай, нужно читать другое, а оставить не мог. Бесстрашный был писатель: брался за неостывший — куда там! — горячий материал. И какая удивительная для наших дней сосредоточенность на центральных персонажах исторической жизни — к тому же не явной, даже подпольной. И какая свобода в обращении со всеми избранными фигурами — всем “по заслугам”, и никаких обязательств на сей счет ни перед кем! На “Дым” обиделись и справа, и слева и, может быть, были правы, но сейчас ярче всего чувствуешь не это, не об этом думаешь, а о том, какая там кипит словесная невнятица, какая игра и сколь по–современному характерна эта болтовня, эта трата энергии, не ведающей пути, а еще более — и не желающей его ведать; словно хотят что–то выговорить, а не могут. Старое зеркало, а все еще ясное, и нам посмотреться не грех.

Вот были славные дни посреди июля — мы с Никитой съездили на шесть дней в Шабаново, и — вовремя: как раз на уборку сена. Таисия Алексеевна пять утр, припадая на больную ногу, выкашивала овинник, а потом мы всем миром — я, Никита, Наташа и Света — под руководством бабы Таси — переворачивали, сушили, складывали в копны, наутро опять сушили, таскали ближе к дому и т. д., и наконец я забрасывал вилами на поветь. Жаль, не умею косить, а в горячую пору — учиться не дадут, да и неудобно траву портить. Часов в пять каждый день Федор Яковлевич усаживался на табурет и, макая молоток в консервную банку с водой, обстукивал косу, и удивительно: рука не дрожала и била точно по краю. Как же удобно он устраивался, как сподручно все располагал, и это словно придавало ему форму, не позволяя физической слабости брать над ним волю. Во всем чувствовался старый мастеровой, твердо знающий, что и как делать, и в деле своем не ведающий колебаний и сомнений. Такое — всегда идеал работы: так и писать бы надо: твердо и точно оббивать косу, зная, что никто никогда не упрекнет, не будет досадовать и поминать лихом.

Вышли из леса, увидели шабановские крыши, тонущие в травах, и через те травы — до плеч моих, а Никита с головой — поплыли, и хорошо было за полдень, и солнце пекущее, а то быть бы нам мокрыми от росы... Страшно подумать, — а впрочем, не так уж и страшно, привыкаешь так думать, — в пятьдесят девятом

впервые оказался я в Шабанове, и вот тогда — в сравнении с нынешней пустотой — людно все–таки было, и в лугах косили, и торчали стога, и деревенская улица была как выбрита, а на берегу Обноры поливали капусту... Сколько потом приезжал — все зарастало и зарастало, и спилена давно старая черемуха под окнами бубновского, родного мне дома, и вымерзли дочерна яблони, и не на что повесить качели, и знакомые тропы и дороги то ли не узнать, то ли не найти... И девочки боялись спускаться вниз по старой дороге от бывшего Орлова к речке по имени Ельник, а какая веселая, пятнистая от солнца была прежде та дорога, наезженная телегами, нахоженная людьми, а сейчас — без единого человеческого следа, без твердого пятнышка прежней тропы, перегороженная рухнувшими елями и в довершенье пугающая близкими кабанами...

Я еще застал это Орлово, доживающее, а теперь — ни следа, а на месте овинников — веселый молодой березняк. А колодец огорожен: рухнула туда корова, так и не спасли...

Федор Яковлевич говорит: вот устроили коммунары деревню, и тридцати лет не простояла...

В деревне разводят сухое молоко, яиц нет, в магазине — рожкби да водка. Оплата трудов праведных — посылки с почты привезти, крышу прохудившуюся толем залатать — только бутылками; денег не нужно.

Трава выше головы, лопухи гигантские, из всех благ цивилизации — лампочка Ильича, колодец вот–вот обрушится, и ни родничка вблизи, и того нет, и то забыто, а все равно — живо еще Шабаново, особенно в сенокосную пору, и откуда–то съезжаются, слетаются помощники и вымахивают бабкам, теткам их сотки, — для себя ли увезут, совхозу ли продадут (три рубля — центнер), а все одно: не прибрать нельзя, не выкосить овинник немыслимо — хоть чужими нанятыми руками — все одно, иначе не то что стыдно — к смерти ближе...

Да–да, трава, лопухи, пустые избы, — садится солнце за брошенным домом напротив, и красная линия — такие там щели! — очерчивает угол кровли, словно внутри под самой крышей полыхает пожар, — да–да, все это запустенье, отмиранье, пусть, а все одно сижу на лавке после самовара, опираясь спиной на огородную изгородь, остываю, держу на коленях заложенного травинкой Тургенева и, вздрогнув от того закатного пожара и уже привыкнув к нему, тускнеющему на глазах, чувствую, что хорошо мне здесь, вольно...

Неоригинальное, знаю, чувство, и даже повальное, и уж, во всяком случае, литературное, литературнейшее, да не денешься от него никуда, потому что так действует открытое природное

пространство, простор, и твое редкое для тебя свободное в нем положение, когда все заботы отстранены за их здесь неразрешимостью...

Жалею, что мало куда успели сходить — сено придерживало. А надо бы туда, где стояла школа и где чуть дальше — кладбище, и еще надо было бы на Комариху, на место бывшей мельницы, и еще разок на Обнору...

Двадцать с лишком лет знаю этот дом, кряхтит, оседает, и нет силы в Федоре Яковлевиче, как прежде, поднять его хотя бы на те три бревна, на которые поднял когда–то, в шестидесятые, уйдя на пенсию, наезжая из Москвы, и которые теперь почти полностью в землю ушли, а все равно стоит дом, большой, просторный, купленный в начале тридцатых у колхоза за корову, бери, не жалко, от раскулаченных остался, стоит, и живет еще, и дышит, и сколько ни приезжай, ни уезжай, перешагни порог — запах в сенях или на мосту — тот же самый, один и тот же, — от дерева, должно быть, от стен, стойко–прохладный и чистый, будто это дыхание дома, остужающее, успокаивающее, — бывает ли запах простой жизни, насущных простых забот, насущных простых вещей — ведер на лавке, полных воды, сена на повети, связок лука в углу, полуметровых старых половиц, моха в пазах, овечьего тихого, настороженного стоянья в дальнем углу двора под самой горницей...

17.8.82.

На теплоходе “Дм. Пожарский”. Идем сверху от Твери и Москвы. Завтра Ярославль и Кострома (полтора часа). Отца оставил в печальном настроении. Мелькнуло сегодня некое подобие мысли: не “бессмысленность” человеческой жизни должна страшить и мучить, а неотвратимость ее завершения, ее израсходование; и, может быть, даже не столь страшно это, как невыносимо печально расставание, пока, разумеется, жив сам.

Много воды, очень много вокруг воды, словно запасено впрок. Что там затоплено — бог весть. Старушка в угличской картинной галерее сказала, что затоплен был полностью Покровский (так, кажется) монастырь — недовзорванный, так как не поддался. Колокольня калязинская, стоявшая когда–то посреди городской площади, торчит сейчас из воды не на семьдесят ли метров, если верить нашему теплоходному бойкому радиовещателю, — ну а если и ниже она, то все одно метров пятьдесят, — и не наклонилась, не размыло ее, не изъело водой, — вот укор — живой — и некая твердь, несокрушимая, вознесенная над водами, непреклонная глава.

Теплоход как ковчег, все есть, и ублажение происходит,

конечно, не таких, как мы, тихих, спокойных, молчащих, не требующих внимания и развлечений; вся энергия соответствующих лиц уходит на заботу о тех, кому нечем заняться, кому — вдруг! — станет скучно и покажется, что деньги “плочены” не за это и что им недодают. И потому надо пускать радио на полную мощь, и веселить, и забавлять, и читать загадки, предусматривающие разгадку “за два дня”, и призывать к сбору в лесу замысловатых кореньев и к изготовлению поделок и тому подобным забавам. Ну а пройдут годы, что ждет впереди? — и какой расцвет потребительства и иждивенчества, какие пронзительные динамики и какие бессонные затейники! Какое еще чесание пяток!

Как это Борис Михайлович Кустодиев плыл в начале двадцатых по Волге до Астрахани — в третий, в пятый ли, но знал — в последний раз! — и плыл без шума, что само собой разумелось, — если не считать шума пристаней, пароходных гудков, грохота сходен, команд вахтенных, — плыл в тишине... Кому это бывает скучно, господа... Когда?

Когда пусто, господа, когда пусто там, где что–то у человека должно быть...

Бинокль приближает обрыв берега, обнажение породы, щетину травы, деревья, чаек на отмели посреди Волги, но вода какая–то белая, алюминиевая, безжизненная... Берег живет, а вода как нейтральное, ничье, неживое пространство... (Это к вечеру, в смутную, неустойчивую погоду, когда солнце едва и ненадолго пробивается...).

Церковь по правому берегу проплывала на фоне красных размывов заката — отчетливая, как декорация(и) отыгранной трагедии.

С этим покончено; осталась достопримечательность, с которой можно делать что заблагорассудится — до сих пор.

В одной из угличских церквей — лавка керосиновая.

Вчера увидели: кладбища у церкви возле метро “Сокол” более нет. Какой–то полупустырь.

18.8.82.

А как же не делать вида? Как же? Без вида нас неизбежно примут за тех, кто мы есть на самом деле... И что мы есть — откроется...

Дома побыли с полчаса, и назад — по “камерам”. Пришлось сбегать на почту: в двери торчало извещение о бандероли из Ленинграда. Это был третий том — от Федора Абрамова. Без

записочки; “Воп<росы> ли<тературы>” до него еще не дошли[148]. Когда увидел эту сложенную бумажку в дверях, вздрогнул: не телеграмма ли из Москвы вдогон...

Утром сегодня опять побродили по Ярославлю; когда шли по Костроме, подумал: наш город нечто срединное меж Угличем и Ярославлем. В Ярославле старого (особенно церквей) сохранилось больше; у нас поусердствовали, посокрушали. В Ярославле рядом с обкомом — новым зданием — прямо–таки цветет празднично часовня, только что вышедшая из–под рук реставраторов.

Отношение к часовне этой, к церкви, что на площади “правительственной”, как к орнаменту, как к посадкам деревьев, как к украшению. Думают, что это соседство безобидное, но просчитываются...

В Калинине [Твери] новое здание партийной власти не хотело вписываться ни в какой “ансамбль” русской классики; оно рассчитало, что к нему все прочее волей–неволей прислушается и преклонится. Забыли об одном: за спиной здания на Рыбацкой улице дом, где в 1860 — 1862 годах жил Салтыков–Щедрин. Он на все это посматривает, Михаил Евграфович, сравнивает и видит.

Ярославская власть постаралась “вписаться”, и за то хвала ей. И каменный ящик для заседаний не торчит и не возвышается, а спрятан как бы во дворе и тоже — вровень с третьим этажом. Лощенков стар[149], да, видно, это на пользу, хотя бы в таком деле. Вот и выглядит ярославская правительственная площадь благородно, что по нашим временам — достоинство, а не норма.

Читаю с удовольствием Толкиена — о приключениях хоббитов. Читаю Гёте о годах учения Вильгельма Мейстера. Более всего видны ум и искусность. Ум, сведущий в людях и их делах. Искусность, знающая путь к цели. Кукольный театр из детства Вильгельма, обсказанный неправдоподобно витиевато и подробно — вне психологической атмосферы всей беседы и ситуации, — становится (т. е. цель достигается) главенствующим фактом, формирующим натуру Вильгельма и, может быть, предопределяющим многое в его судьбе, складе ума и воображения.

Но все отвлеченности (философствования) блистательны: через них брезжит истина, и не оригинальничающего ума, что–то нащупывающего, а нормального ума, ищущего истины, как магнитная стрелка ищет северную сторону...

Особенно ночью слышно, как вибрирует теплоход: что–нибудь, где–нибудь да дрожит: рама окна, стул под окном на палубе, ограждение батареи отопления под столом, плафон и т. п. Одно затихает, дребезжит другое... Помимо глухого–глухого

гудения внутри теплоходного тела это единственный признак нашего движения ночью. Днем было то же самое, но днем мы смотрим на берега, и днем грохочет динамик, раскатывая звуки над Волгой, будто наше движение кого–то еще касается, кроме нас. И если мы плывем, все окрестности должны знать про это и выслушивать мораль, которую — пусть справедливо — читает наш начальник маршрута, то есть “массовик”, “культурник”, беззаботным родителям, пустившим детей бегать и скакать по палубам и трапам...

Много всюду воды, много всюду жизни... Ощущаешь свою затерянность, малость. Пространства космоса, даже земные пространства, или пространства кладбищ, или пространства человеческого “кишения” — все вместе усугубляет это ощущение. Оно чрезвычайно достоверно, одно из немногих истинных ощущений самого себя, своего здесь присутствия.

Ни о ком не хочу думать, что тот или этот “хуже”, “ниже” меня. И не пытаюсь никогда “утверждать” или “демонстрировать” свое “умственное” превосходство, преимущества в знаниях и понимании чего–то; думаю поневоле единственно о том, что потребление вещей ли, путешествий ли, искусства ли — становится для многих людей тем, что заполняет жизнь и помещается рядом с работой (добывание средств к существованию) и семейными хлопотами. Активное потребление, когда сами ищут что нужно, куда ни шло, почти благо по нынешним понятиям; хуже, когда этот процесс действительно походит на то, как садятся в ресторане и ждут, когда подадут... И отчетливо сознают при этом свое право сидеть, ждать, требовать, брюзжать и привередничать...

М. Лифшиц (читал его статью в сб. “Философия искусств в прошлом и настоящем” по поводу “Реализма” Недошивина в БСЭ) вызывает мое расположение, когда осуждает современную “мистику” (в частности, суету, “делание вида” в связи с идеями Федорова о “воскрешении”). Как ни утешительны “мистика” и всевозможные “верования” и “знахарства”, думаю, что в естественнонаучном взгляде на человека и его судьбу, на землю и ее историческое развитие больше не только смысла, но и человеческой, отпускающей боль надежды... Сказал сегодня об этом Томе...

Невозможно завернуть краны, чтобы не капала вода. Что–нибудь да невозможно. Всегда. Надо бы — сказать, купить, завернуть, отвернуть, заглушить, — но никак...

Это дрожание корабля похоже на то, как налетает на дом ветер и содрогает его...

19.8.82.

Позади Горький. Смутное припоминание, что был здесь, жил сколько–то и как–то, бродил по залитым жидкой грязью улицам осенью семидесятого — беспокойной и печальной. Никуда не хотелось ходить, ничего не хотелось видеть; помню, зашел в художественный музей, и — все. И еще раз — в кинотеатр. А так каждый день — после занятий — по улице Свердлова к кремлю и плутание в прибрежных улицах...

Сегодня прошли по кремлевской, точнее, крепостной стене насколько можно — экскурсии туда не водят, потому там людей немного, даже мало, и так хорошо было нам троим идти и смотреть и чувствовать дух старого кирпича, этой кладки, этой отъединенности от суетящегося вокруг мира. Мы как на мосту. На древнем виадуке.

Прочел рассказы Распутина (“НС”, № 7)[150]. И ему, хотя именно это понятно, хочется чего–то “запредельного”, мистического; понятно, потому что его “прижало”, поставило на край.

20.8.82.

Почему–то растроганно всматривался в здания Казанского университета; даже “примерил” себя к ним, к библиотеке, к старым битком набитым стеллажам, которые увидел в окнах, и пожалел, что этого варианта жизни уже не будет; не из–за Ленина, хотя и о нем помнил; скорее — из–за Щапова[151], которого и о котором читал недавно; и просто от радости, что в глубине России существует этот университет, столь богатый достойной историей и высокими именами. И даже высоким современным зданием, воздвигнутым им, порадовался: и провинция не лыком шита... Впрочем, провинция бедна. Это видно было в Горьком, видно и здесь. Что из того, что есть масло и есть вареная колбаса одного сорта! Наши прилавки пусты, но одиноко лежащий батон колбасы в обширном пустом пространстве под стеклом очень уж печален... А какая закипела схватка, когда привезли молоко в бутылках... Бедность городского бюджета заметна: многие здания давно не ремонтированы, не говорю уже — не реставрированы, в забросе, забыты. Поднимаются новые и, видимо, удобные дома, это так, но общий облик города — или пасмурный день сказался? — показался мне помеченным бедностью...

Подходили к соборной действующей мечети (1796 г.), когда туда со всех улиц собирались верующие. Шли какие–то равно маленького роста старики в бекешах и тюбетейках, иные — в шляпах и плащах, какие–то коротконогие, сосредоточенные, иные

с Кораном в руках. (Тома заметила, как двое встретились на углу улицы, открыли свои Кораны и зашептались; Кораны были изготовлены фотоспособом.) Золотой полумесяц над мечетью, золотые полумесяцы на всех столбах ограды и над воротами. Я почувствовал, что значит быть “неверным”, и подумал, что верующие мужчины много “опаснее” верующих женщин, то есть в них есть некий потенциал, который может выразиться неожиданно и сильно. У калиток, у ворот деревянных домов сидели на корточках столь же сосредоточенные мужчины; мне казалось, что неверные вблизи мечети должны вызывать особое раздражение. Пусть глухое, почти ничем не выраженное, но несомненное. Национальный вопрос сохраняет свою сложность. Есть факты (московские войска штурмом взяли Казань), и с ними ничего нельзя поделать: они проскальзывают в пояснениях экскурсоводов и т. п. И как–то надо сообразовать с ним свое самосознание.

Берега все безлюднее. Велика Россия, и много еще в ней пространства для жизни новых людей. Много пространства, можно бродить, переходить с места на место, не дорожить своим местом и не беречь его... Русские захватили много земель: для чего? Хотелось взять еще из того, что лежало готовым и не требовало повседневного труда; так шло распространение; освоение медлило; даже сегодня мы осваиваем сибирские пространства столь тихими темпами, что готовы были бы привлечь иностранный капитал, будь японцы попокладистее и забудь они о Курилах...

Наша власть нуждается в децентрализации, и федеральное устройство наконец–то должно сбыться, осуществиться. Пока этого не будет, Россия не поднимется повсеместно, не воспрянет, сказано же давно: Москва у всей России под горой: все в нее катится. Можно сравнить и по–другому: из–за московской ширмы хотят всей русской землей и всеми людьми управлять как куклами, а точнее: сверху — как марионетками, накрепко накрутив прочные нити на пальцы...

Рад за Никиту: увидит, представит себе, как велика и хороша его родина, как много в ней всего живого и красивого.

Пытаюсь себе представить, как шло московское войско на Казань — за тридевять земель; как стояли лагерями на ночь, а может, двигались как саранча, не разбирая, где что, и вытаптывая деревни, и каким кислым духом, разогретой, разошедшейся физической силой, каким насильем несло от нее, и на многие версты вперед, тревожа и разгоняя живущий своим чередом люд...

Жестокости хватало всегда (вспомним легенду о Коромысловой башне Нижегородского кремля); прежде она,

возможно, была в большом ладу с обыденностью и самосознанием человеческим; сегодня, да и давно уже, она все заметнее и страшнее, противоестественнее на фоне современного или прошлого века самосознания, отстаивающего ценность — вне каких–либо сравнений — человека. Человека, не сводимого ни к каким величинам, значение которых превышали бы его собственное значение.

Распутин, возможно, надеется, что, вычистив из мира, который он признает достойным изображения, все вздорное и временное, привнесенное насилием и пустозвонством (“порожняк”!), он как бы сберегает свой текст для дальнейшей долгой жизни, полагая, что он заинтересует будущего человека, который будет разрешать схожие проблемы духовного и психологического порядка, и с совершенным безразличием воспримет факты и черты социального бытия с его “театром”, гипертрофированным самомнением, преувеличенной самооценкой и пустыми, т. н. “проклятыми”, вопросами...

Если так, то Распутин может и просчитаться, выживет, возможно, то, что он сам в своем недооценивает...

22.8.82.

В Саратове, кажется, угадал, почувствовал: здесь вот жил... Там, на проспекте Ленина, в этом квартале, выглядевшем вовсе не проспектно, увидел неподалеку от “Химчистки” (была “Химчистка”!) две подворотни аркой и серые, пыльные, невыразительные двухэтажные дома, а рядом в волжскую сторону огороженный перилами ход с улицы в подвал — не там ли была та “Химчистка”?.. Так вот, если под арку, то в глубине двора еще дом и на второй этаж деревянная лестница не внутренняя, а снаружи. И мы там жили, и помню, как стояли у ворот с бабушкой и ждали маму с работы и высматривали ее среди спешащих людей — как теперь понимаю, с волжской стороны, снизу... И разговоры, что бомбили крекинг–завод...

Огромная страна, а еще — Сибирь, север России, Дальний Восток... Какое поле жизни. Поле работы.

Стоит начать плыть, а остальное как бы фатально: плывешь и плывешь...

Происходи это все потише, без массовых мероприятий, с меньшим числом людей — цены бы этим путешествиям не было...

А то спускают на воду новые теплоходы “повышенной комфортабельности”, где умещается около тысячи человек, а в этом уже есть что–то кошмарное.

Воейков[152] писал о пользе речного воздуха — волжского, о его целебности, об успокаивающем влиянии на человека воды...

Наши превратили эти путешествия в массовые развлечения, затенив возможную лечебную сторону.

А я представил себе движение теплохода в полной тишине и чтобы не более пятидесяти человек. Это, конечно, фантастическое предположение. Это осуществимо для людей “элитного” класса.

В Куйбышеве и Ярославле видел в книжных магазинах работу Мочалова[153] о Вернадском, очень достойную. У нас бы она не лежала. Или много привезли? Да у нее–то и тираж–то невелик.

Читаю воспоминания Г. Градовского (“Последнее слово”) в “Моск<овском> еженедельнике” за 1907 год. Он присутствовал на суде над Верой Засулич и сидел рядом с Достоевским. Описание суда и оглашения приговора не очень выразительны, но тем не менее волнуешься: действует сегодняшнее осознание факта: стреляла! а не виновна! Но было. В проклятой царской России было, и был Кони А. Ф., и был адвокат, присяжный поверенный Александров, и присяжные, ответившие на опросный лист “невиновна” — тоже были!

Закон “спирали”, общественного развития по спирали, может быть, и есть закон подлинный; многое говорит в его пользу. Читаю Градовского о 70 — 80-х годах прошлого века, а сколько сквозных мотивов, сколько почти “текстуального” совпадения!

23.8.82.

Все на Мамаевом кургане можно снести, стерпеть, потому что воображение сильнее этих подспорий и память заставляет осознавать, по какому гигантскому кладбищу ходишь, и все эти фигуры принимаешь как пусть приблизительную, но допустимую форму, отклики на факты истории и потребность народной памяти. Но “Родина–мать”, о которой спрашивают, какой длины у нее палец на руке и вообще — “давайте уточним технические данные!” — такая Родина–мать способна только отталкивать, но никак не привлекать, не звать... За нее ни сражаться, ни умирать — тем более — не хочется... Лживая фигура, весь образ, поза, все черты — фальшивы. Через нее, как и через другие подробности мемориала, пробивается, не позволяет о себе забывать официальная, надчеловеческая, холодно–торжественная и наперекор всем народным утратам торжествующая, норовящая забрать свое — сила...

И все–таки хорошо, что мы там побывали. И хорошо особенно, что с нами был Никита и не поколебавшись вышел из ряда у Вечного огня и положил красные гвоздики...

24.8.82.

Сколько хороших у нас городов, — так бы и пожил в каждом, что пожил — жизнь бы прожил, если б можно было прожить ее на несколько ладов и вариантов... Отчего эта глупость — рваться в Москву и тесниться там? Мало–мальски преуспел в чем–то — в начальствовании, в науках, искусствах, — и уже надобно быть ему в Москве... Нет, не глупость это, а такой ум. Славилась Россия непрактическими умами; теперь в ходу практические, и они же тщатся и выкрикивают нечто о российской пользе и славе...

В астраханском родном захолустье чувствую себя лучше, чем на волгоградских проспектах, в царстве правильных и строгих линий. Днем вовсе не кажется, что город густо населен и в нем около миллиона жителей. Улицы узкие, движение спокойное; только под вечер понеслись автомобили потоком — не перейдешь дорогу. Много заброшенных, давно не знавших ремонта домов, много пыли, мусора, но все это знакомо и не страшит. Это обычное для волжских городов соседство: ухоженные, будто напоказ вылизанные места, а за углом — бедная провинция, до которой столетиями не доходят ничьи руки. И есть в этой заброшенности что–то домашнее, спокойное, терпеливое, родное...

Прекрасный белый Кремль, и в нем — белая Успенская церковь. Успенский, правильнее, собор. Осматривали разные черепки и обломки — археологические находки на месте Сарая и Астрахани, и были там чаши (керамика), обломки, осколки чаш из Сарая — какое искушенное было тогда представление о красоте, какое желание красоты... И Кремль, и собор — тоже от желания и знания красоты. Яркая белизна, чистота, строгость, праздничность — все это способно только укреплять и возвышать человека.

Не попали в картинную галерею им. Кустодиева. Закрыта “по техническим причинам”. Обидно. Видели дом, где прошло детство Кустодиева. Дом этот никакой не музей, а жилой фонд. В доме отца И. Н. Ульянова, т. е. деда Ленина, — музей семьи Ульяновых. Мы с Никитой нашли этот дом, рассмотрели. Если Ульяновы жили там одни, то им можно только позавидовать.

Спится здесь хорошо: шумит вода, воздух свежий и чистый. Но просыпаюсь часов в шесть, пытаюсь заснуть еще (подъем в семь часов), но начинаю обо всем думать — сна нет. Особенно тревожно все, связанное с работой, ее обилием и сроками. Ничего не поделаешь. Отложенное существует и напоминает о себе без устали.

24.8.82.

Стоянка восьмичасовая в Никольском. Страсти по Арбузу.

Выглянул в семь утра в окна: стоим, на берегу среди редких деревьев палатки разбиты, а у палаток россыпи арбузов и желтых дынь. Подъезжает “Москвич”, а из него, из багажника, выгружают еще арбузы. В первый миг я ничего не понял: решил, что это туристы запасаются. Оказалось, это разбили палатки и устроились надолго казахи: в основном женщины и дети. Посреди дня, когда наплыв покупателей спал, девочка–казашка улеглась на раскладушку и читала книжку. Конструкция из жердей позволяла взвешивать арбузы на безмене; кое–где над этой конструкцией были устроены навесы. Кое–где возле палаток на веревках сушилось белье. Толпы туристов не просто хлынули, но долго не могли успокоиться перед таким изобилием и все сновали между теплоходом и берегом. Обуяла жадность: хоть все вези. И вроде дороже, чем государственные арбузы и дыни, но все равно дешевле, чем в средней и северной России. И трудно усидеть, когда там это спокойно лежит и никто не берет. И хочется снова и снова бежать и брать и т. д. Мы все–таки остановились вовремя.

Не хватает русского купца; всемогущая централизация мало что может; предприимчивость оставлена обогащающимся, которые не брезгуют никакими средствами; социализм дает волю своим нравственным антиподам; предприимчивость для пользы общества фактически воспрещена. Невозможно, чтобы какая–то провинциальная контора имела свой транспорт и завозила для своей клиентуры те же арбузы и прочее с максимальной оперативностью и, разумеется, выгодой и общей пользой. Чтобы в эти торговые связи государство не лезло, оставим ему одну заботу: следить за соблюдением законов.

27.8.82.

В Саратове стояли чуть больше часа. Успели с Никитой в два ближних книжных магазина. Тома купила ведро яблок. У церкви зеленый садик, там бродил грач, долбил спичечную коробку. Остановилась старушка, достала пирожок, стала кормить: “Он у нас тут с зимы(?) живет”. Люди покупали в церкви крестики и иконки.

Прочел повесть Мати Унта[154] “Via regia” в сб. “Осенний бал”. Чтение занятное как процесс; интересно, пока читаешь, но мало что из всего этого текста складывается. Некая невразумительность как творческая внутренняя цель повествования.

Изобразить бы: “террор” опекунства — принудительного — и давления “подавляющего большинства” и положение “отщепенца”, “отщепенчество” или “несовпадение” с навязанным,

принятыми большинством “правилами”, когда “неучастия” достаточно, чтобы оскорбить “правила” и тех, кто их придерживается.

Когда послушно встали в колонну, разобравшись “по шесть”, и терпеливо ждали, когда привезут венок и цветы, а потом двинулись, — в мегафон на всю улицу прозвучала команда: “Мужчины, снимите шляпы и снимите черные очки”. Я не выдержал, когда команда прогремела еще раз, и сказал: “Детский сад!”, но сочувствия не встретил. Когда звучат команды и идут не просто почтить память погибших и возложить венок, а движутся на “митинг” (вот она, свобода шествий и демонстраций!), то все подчиняются, и поперек не говори! — безмолвствуй.

Мучительно мне мое “простаивание”, все здесь “рассеивает”, не одно, так другое; сосредоточенность невозможна, я чувствую, что это сказывается даже в почерке, в том, как складывается фраза; это может продолжаться недолго, мне уже хватит, пора возвращаться и работать не так, как летом.

Эти профессора (см. книгу Бугаенко “Федин и саратовская земля”) унылы, правоверны и добросовестны в пределах правоверности. Перечислительный стиль.

Блестящее сочинение Курта Воннегута (см. “Неман”, 1982, № 7 — 9)[155] поначалу не чувствовал, должно быть, не вчитался, но “марсианская армия” великолепна в своей безысходности, в “пессимизме” до упора; “беспамятство” как лучшее оружие против человека и человечности, изображенное Айтматовым, было воссоздано в том же роде еще раньше, много раньше, — тем же Воннегутом (конец 60-х годов).

См. также Р.-П. Уоррен, “Потоп” и “Прощание с Матёрой” Распутина.

Никто никого не опередил, никто ни от кого не отстал; кое–что осознается, как обычно, многими. Однако сравнение возможно. Фантастика Воннегута и миф Айтматова тоже годятся для сравнения. Айтматов — аккуратнее, пока он в пределах “мифа” (о манкуртах) — “художественнее”, но у Воннегута преимущество в его прямом обращении к настоящему и будущему; в бесстрашии; художественность от этого не убывает; пожалуй, “черный юмор” Воннегута действует мощнее, чем айтматовская притча, он указывает опасность с бесстрашием, которое спасительно. Он как бы говорит им: нас не проведете, мы все равно догадаемся, что к чему и куда вы всех нас волокете...

Спасительна сама догадка. Само называние того, что возможно, что снится им в их самых сладких снах–надеждах...

Впрочем, возможно, никакие антенны не придется вмонтировать. Обработка человека средствами радио–теле–

газетной и прочей информацией способна создать в мозгу человека, сформировать некое приемное устройство, работающее безотказно и безотказно преобразующее полученные сигналы в четкую, однозначно понимаемую команду или директиву, и это– то будет происходить долго, десятилетиями, уже происходит, и фантастические антенны Воннегут не столько предсказывает, сколько чувствует и знает: их устанавливают, их установили.

Видели вы таких с антеннами? — я видел. Я даже чувствую — всю сознательную жизнь, — как антенна пытается работать во мне… Она словно уже есть, время от времени опробуется; и я с ужасом глушу ее сигналы. (Тут можно было бы привести примеры.)

Это не врожденная “антенна”, это формирующееся в течение жизни (сегодня — с малых лет) устройство, через которое идет сильнейший сигнал, не терпящий помех; за помехи — следует или нависает кара… Воннегут это знает; “антенна” плюс “очищение памяти” — прекрасная гарантия послушания или абсолютной дисциплины, без которой так скучают иные люди на всех широтах.

В саратовском “Коммунисте”[156] интервью с Аркадием Стругацким; очень приличное. Не только потому, что оно в целом хорошо, но более — по оттенкам: упоминание семьи в непривычном контексте и точное определение опасности, заключенной в том, что Стругацкий, как и многие, называет “вещизмом”.

29.8.82.

Ульяновский дом в Симбирске побуждает к вопросу: почему молодые люди, в нем жившие, так стремились к перемене власти, к революции? Этот дом с прилегающей территорией, с садом — по нашим временам для нашей семьи, например, нечто недоступное. Как бы с Тамарой ни старались — такого не будет. Вероятно, тогда, в 70 — 80-е годы прошлого века, так жить было для интеллигенции круга И. Н. Ульянова — нормой. <…>

Все ближе Кострома и с нею обычная жизнь — множество тревог, забот и дел. Начинаю об этом думать — сна как не бывало.

9.9.82.

Давно — с первого числа — дома. И вроде бы чего тут давнего — неделя прошла, но среди миновавших дней — похороны дяди Вити[157] и предшествовавшие им два дня знания о случившемся… До этого я успел прочесть повесть В. Быкова в “Полымя” (на белорусском), и это тоже было событие,

наполнившее время... На похороны я уехал в полдень в понедельник автобусом. Во вторник — 7 сентября — хоронили, восьмого к полуночи я был дома.

Когда–нибудь я про это напишу; в сухости и четкости военного церемониала было что–то успокаивающее и примиряющее; от торжественности и чеканности исходила смягчающая сила: так было, так будет, словно с треском автоматных очередей переворачивалась еще одна страница жизни, и это было неизбежно, потому что так заведено и не переменить...

От отца услышал, что его дядя — звали Дмитрием, — будучи мобилизованным на Первую мировую, покончил с собой, бросился под поезд.

28.9.82.

<...> Вчера отослал Сидаревичу в “Литературу и мастацтво” [Минск] статью о Быкове; писал мучительно долго — до какого–то отчаяния... Подышав Волгой — прямо–таки по Воейкову, — первые дни сентября не ходил — летал, мысль была сосредоточенной, уверенной в себе, в руке — “напор”, — по Владимиру Осиповичу[158], — ну, думал, как хорошо... И все оборвалось: седьмого хоронили дядю Витю, а дома та энергия уже не вернулась... Сегодня легче, написал, отправил... Теперь буду ломать голову: почему не подгоняли телеграммами, не сгустились ли там над Быковым наши серые тучи, или просто–напросто, не дождавшись дальнего чужака, напечатали ближнего своего... Сам виноват; тебя ждали, ты подожди...

<...> Очень хотелось поехать в Литву на Дни советской литературы, были приглашения, но пришлось отказаться. Нет времени, а времени эта прогулка съест много. И еще причина потаенная: это же мероприятие, надо как–то участвовать, играть какую–то роль, а это всегда отнимает у меня много сил, и душа не на месте.

Повесть Быкова очень печальна; из того, на что надеялся народ, ничего не сбылось; червонец, сунутый Червяковым[159] Степаниде, — косвенное признание беды и провала скоропалительного переустройства сельской жизни. Это самая горькая и самая прямая книга последних лет. Упомянутая прямота ничуть не преуменьшает ее художественной значительности и даже тонкости, что вроде несвойственно Быкову, предпочитавшему прежде “крупный штрих”.

6.10.82.

Вчера, когда ехали в Ярославль на заседание тиражной

комиссии и редсовета Верхне–Волжского издательства, Борис Владимирович Вестников, начальник нашего управления по печати, рассказывал кое–что из своей прошлой жизни. В частности, из времени своего председательствования в колхозе “Совет” Шарьинского района.

Однажды позвонил Флорентьев. Слушай, говорит, просьба такая: завтра нужно доставить в Кострому килограммов тридцать живой стерляди. Нужно угостить нашего гостя. (А гость был высокий — Воронов, в ту пору или председатель Совета Министров РСФСР, или председатель бюро ЦК КПСС по РСФСР, или как там это называлось). Тому, что речь идет о стерляди, Вестников не удивился. В колхозе была небольшая рыболовецкая бригада из стариков, и в обкоме об этом знали. Но завтра! Да еще живую? Как это? “Самолет будет завтра в Шарье в двенадцать, — сказал Флорентьев. — Ну а остальное — вы мужики умные, сообразите сами”. Ничего не поделаешь, просьба первого секретаря обкома — уже не просьба, приказ! Вызвал Вестников кого–то из мужиков понадежнее, объяснил, как и что, спрашивает: как же рыбу живой в Кострому доставить? Ему отвечают: давай помощника, за ночь сделаем аквариум. Дал помощника, материалы, люди занялись делом. Затем вызвал стариков–рыбаков, попросил к утру добыть нужное количество стерляди. Те пообещали, успокоили. Но на душе беспокойно: вдруг подведут! К концу рабочего дня собрал колхозных шоферов и тоже дал задание: наловить стерляди. Те уселись на моторку и отправились на Ветлугу, в места чуть пониже тех, где ловили старики. Утром первой вернулась моторка. Рыбы наловили много, чуть ли не центнер, судак, щука, а стерляди — всего три штучки, и те — маленькие. Беда! Тут наконец–то гребут старики. “Я им навстречу по берегу, — рассказывал Вестников, — метров за двести кричу: “Ну, как? Есть ли?” Гляжу, машут руками, успокаивая: все в порядке, дескать”. И верно: оказалось, что поймали огромную стерлядь — килограммов на тридцать, и еще несколько крупных... Вечером звонит председатель облисполкома Баранов: спасибо, говорит, рыба хороша, живая, все довольны...

Через какое–то время приезжают из Костромы работник обкома партии Самарина, и с нею — человек из Цека. Оказывается, рассказывал далее Вестников, какой–то “злопыхатель” (его слово) написал письмо в Центральный Комитет, где возмущался тем, что весь колхоз был поднят на ноги, чтобы наловить высокому начальнику ценной рыбы. В конце разбирательства, в ходе которого стало ясно, что “весь колхоз” никто “на ноги не поднимал” и все трудились спокойно, москвич вдруг говорит: хоть бы показали, что это за рыба такая —

стерлядь, а то говорим–говорим про нее, а я ее и в глаза не видел?.. Посадили гостей в машину, отвезли к рыбакам, те показали: вот стерлядь с ветлужских перекатов, но вчерашняя — вчера выловили... А потом, видя, должно быть, жгучий интерес гостя, спрашивают: а вы когда уезжаете? Завтра? Так к утру добудем и свежей стерлядки. И добыли. Письмо было “закрыто”, расследование закончилось.

Вестников рассказывал все это как нечто любопытное (вот, к примеру, сколько было в недавнее время стерляди!), но абсолютно нормальное, естественное и, разумеется, без тени осуждения и сомнения.

Колхоз “Совет” имел своим центром приветлужское село Ивановское, и я давным–давно там бывал. В колхозную контору к Вестникову зашел неудачно (<он> куда–то уехал), но интересовался я не колхозом, а школой–интернатом и материал собрал хороший. Бродил вечером в старом парке бывшего поместья замечательного человека — Лугинина[160], спускался к Ветлуге, выступал перед учащимися интерната. Что говорил, не помню, хотя кое–что и не забылось: призывал ребят, чтобы мечтали, не отказывались от своих желаний и стремлений... А тогда уже вовсю внедрялась Б. С. Архиповым, секретарем обкома по идеологии, система, навязывающая сельским ребятам узкий выбор, сельские специальности — без всякого учета индивидуальных способностей и желаний. На практике, возможно, многое учитывалось учителями, но пропаганда велась именно таким решительным и поверхностным образом...

14.10.82.

Тома пересказывала содержание сегодняшней “Планеты” (демонстрации в Кракове и Варшаве, слезоточивые газы и брандспойты), и я чувствовал, что если заговорю, голос мой прервется... Уже десять месяцев, как длится военное положение, а Лех Валенса под арестом. (“Планета” — сводка международной информации ТАСС для служебного пользования, передаваемая ежедневно по телетайпу; обычно ее читает редактор, а затем приезжает кто–нибудь из обкома и забирает.) Когда–то читал “Планету” и я; иногда удается прочесть и Томе. При так называемом “взрыве информации” осведомлены мы плохо. Информация дозируется властью как опасное лекарство. <...>

В Лондоне, показывало телевидение, состоялся военный парад, посвященный победе над Аргентиной. Наш комментатор сказал, что бравурные марши и патриотическо–

националистический угар не могут заглушить скорби о погибших и раненых на Фолклендских островах. И даже назвал цифры. Раненых, кажется, семьсот с лишним человек. Я невольно подумал, а сколько же наших — в полной тишине и безвестности, — ни в газетах не пишут, ни по радио не говорят, ни в телевизионных кадрах не мелькнут, — сколько же их на афганской земле полегло или покалечено? Или нашим, как и прежде, нет счету? <…>

Очень интересна переписка Леонтьева с Розановым. Точнее — письма Леонтьева Розанову с развернутыми комментариями последнего (“Русский вестник”, 1903). Как–то я попросил в библиотеке снять мне ксерокопию, мне ее сняли, и я о ней забыл. На днях же наткнулся, стал читать и теперь уже заканчиваю. Чрезвычайно интересен Леонтьев, но не менее — Розанов. И конечно же Розанов ближе, а иногда — удивительно точен. Все вместе — доставляет удовольствие независимо от того, чужое мне это или нет. Это связано, вероятно, с тем, что леонтьевский и розановский углы зрения–понимания по–своему уникальны и независимы. Кроме того, получаешь удовольствие “стилистического” рода, когда читаешь, к примеру, про веревку, намыленную любовью, или про “аксельбанты”, без которых Леонтьев не захотел бы жить…

В Новой Гуте один из демонстрантов, раненный полицией, скончался в больнице. Ему было двадцать лет.

Видел по телевидению фильм Авербаха по сценарию Габриловича[161] из жизни журналиста и писателя в тридцатые—сороковые годы. Главного героя играет Ю. Богатырев. Думаю, что фильм абсолютно фальшивый. Сквозящий автобиографический мотив притязает на что–то значительное, на характерное и типическое. Герой даже рассуждает о том, сколько много его поколение видело и пережило и “мы” не смеем эту память растранжирить. На самом деле герой мало что видел и мало что пережил, и, в сущности, он просто–напросто благополучен (о всяких там репрессиях и всей атмосфере тридцатых годов — ни слова, ни намека), а нам предлагают воспринимать его как фигуру едва ли не драматическую и положительную. Значит, и правда хочется Габриловичу себя увековечить, объяснить, поднять собственное значение. А я припоминаю его воспоминания о том, как жил на одной площадке с М. Булгаковым, и, видимо, жил, презирая этого неудачника, что–то там стучащего на машинке за стенкой… Проходят годы, и благополучие оттеняется чьей–то бедой, несчастьем, действительным состоянием народа, и тогда благополучным, во всяком случае, самым совестливым из них, становится стыдно.

Перечитываю “Анну Каренину”. Как и прежде, читаю и жду глав о Левине. Но какая повсюду — простота и жизненность. Это действительно рассказ о жизни, в котором только жизнь и литература почти не видна. То есть средства настолько скупы и естественны, настолько сами по себе принадлежат жизни, что не отслаиваются и не заметны, словно действует закон природной мимикрии.

На вечере памяти А. М. Часовникова[162], посвященном 70-летию со дня рождения, жена его рассказывала о том, как в костромском издательстве сразу после войны (1947?) была издана поэма давнего товарища Часовникова — Алексея Недогонова[163]. Недогонов приехал получать гонорар, а из бухгалтерии друзья отправились на рынок, где купили Недогонову ботинки, а потом те ботинки, чтоб были крепче, обмыли. Шли по улице, и попадались навстречу — дело в ту пору обычное — люди бедного вида, плохо одетые, несчастные. Увидев женщину с детьми, Недогонов запустил руку в сумку или в рюкзак, не помню, что у него с собой было, и, выхватив горсть бумажных денег, сунул женщине со словами: “Купи им чего–нибудь”. И еще потом, наткнувшись взглядом на бедность и болезнь, лез опять за деньгами, и так — ворохом — раздавал: “купите что–нибудь...”.

18.10.82.

На днях в “Северной правде” напечатано извещение о “гибели” капитана милиции Ермакова Евгения Львовича. Сегодня мне сказали, сославшись на авторитетное лицо (это подполковник милиции, я с ним знаком), что Ермаков погиб в Афганистане при ликвидации одной из банд. Гранатой ему снесло полчерепа. Еще один офицер костромской милиции благополучно вернулся из афганской командировки и вчера выступал перед сослуживцами. Что он там рассказывал (что можно рассказывать?), к сожалению, не знаю.

В воскресенье, шестнадцатого, играли в футбол. Было безветренно, тепло, земля после дождей успела подсохнуть. Хотелось снять рубашку и остаться в майке. Играли в этот раз на поляне в Посадском лесу; наше поле было занято: курсанты химучилища и солдаты какой–то части совершали 6-километровый марш–бросок с полной выкладкой, и по всему полю аккуратными рядами темнели сложенные шинели и ходили–бродили ожидающие старта или уже отбегавшие свое. На старте и финише оркестр играл плясовую, подбадривая, разгоняя устремившихся вперед и поддерживая падающих в изнеможении. Как мы поняли, никакого “индивидуального зачета” не существовало; взвод начал бег, взвод в полном составе должен

финишировать, никого не потеряв. При нас один из взводов финишировал, таща одного из своих товарищей за руки–за ноги, на весу. Потом тому курсанту делали искусственное дыхание, и он долго лежал на земле в окружении то ли сочувствующих, то ли осуждающих. Видимо, у курсантов — свои хитрости; когда мы играли на поляне, чуть в стороне от трассы марш–броска, из кустов выскочил парень с тремя или четырьмя автоматами, быстро осмотрелся и побежал в сторону финиша. Он явно облегчал участь своих товарищей... Мы пришли в одиннадцать, уже гремел оркестр, и очередной взвод с бравым, но нечленораздельным криком, а лучше сказать, воплем бросался вперед по улице, чтобы вскоре свернуть в лес; лишь около двух затих оркестр и смолкли крики на финишном отрезке трассы (“Давай, мужики, держитесь!”, “Молодец, Петряев, своим ходом идешь, молодец, своим ходом!..”). Когда мы уходили, от всего кишения людей и автомашин остался один санитарный фургон, где сидели офицеры и закусывали...

Вчера на город обрушился сильнейший снегопад, закрутила метель, и сегодня весь день лежал снег и стоял шестиградусный мороз. Не хотелось выходить из дому, но был “заборный”, как говорили прежде, день, и надо было идти в контору, чтобы ожидающим своей очереди в буфете братьям писателям было где скоротать время... Давали по килограмму баранины и по восемьсот граммов колбасы.

Пишу о Распутине. Настроение — как на волнах: то легко, свободно на душе, то все кажется неудачным и нескладным и вся сосредоточенность исчезает. <...>

31.10.82.

Вчера вернулся из Москвы. Был на пленуме правления СП СССР, где высидел все заседание, разговаривая с Друцэ и Оскоцким. Наутро два часа провел на совете по критике, выслушав схоластические доклады Новикова и Дзеверина. Потом ушли с Нуйкиной в “Новый мир”, где меня ждало знакомство с Камяновым[164]. Несмотря на малоприятный характер его полемики со мной на страницах “ЛГ” (о повести В. Маканина), я как–то не чувствовал к нему зла и поэтому был вполне дружелюбен в нашем коротком разговоре о Славе Сапогове, которого он знает. Из “Нового мира” поехал в “Метрополь” за билетом (т. е. в кассы ж. д., расположенные в том же здании, что и гостиница, кинотеатр и пр.), затем к Лене Фролову в “Современник”, чтобы взять книжку Высоцкого для Иры. Вечером с семи часов был у Залыгина. Там же были Распутин и Крупин с женой.

После разговора с Леней и Друцэ осталось чувство тревоги в связи с намечающимися изменениями литературной политики Цека. Появление нового руководителя в идеологической сфере уже дает о себе знать[165]. Косвенным образом это подтвердилось в беседе у Залыгина: главы из романа “После бури”, предложенные в “Неделю” и “Литературную Россию”, были отклонены цензурой. Думаю, что проверкой этих новых тревог и опасений станет отношение к “Знаку беды” Быкова. Если эта повесть сойдет Быкову “с рук”, то, значит, страхи преувеличены и жить можно.

Когда увидел Залыгина в ЦДЛ, то первым его вопросом было: как вам моя статья в “Литгазете”? (Статья напечатана две недели назад; в ней довольно резкая полемика с Бочаровым и Лакшиным, будто бы не признающими самостоятельного значения за литературой 70-х годов.) Залыгин явно переживал, что отношение к статье разное, что обрадовала тех, кого он, думаю я, не собирался радовать, и огорчила некоторых людей близкого ему круга. Эту встревоженность Залыгина почувствовал и Оскоцкий. Правда, на другой день вечером, дома у Залыгина, к статье не возвращались. Сам Залыгин разговора на эту тему не заводил; вполне возможно, что обходил молчанием неприятное. Весь разговор в тот вечер направлялся самим хозяином. Он рассказывал, а мы в основном только слушали. Рассказывал о прототипах героев нового романа (“После бури”), о генерале Болдыреве особенно и вообще о типах сибирской интеллигенции, старой профессуры, подробно вспоминал поход по Алтаю, совершенный им вместе с одноклассниками в 28-м году, и, наконец, о прошлогодней поездке в Мурманск и Петрозаводск, в которой должен был участвовать и я, но не поехал, хотя ездили сплошь именитые: Астафьев, Белов, Распутин, Лихоносов и т. д. Некоторым образом это рассказывалось так, чтобы я имел основания пожалеть о своем отказе от той поездки. <…>

Крупин показался мне человеком не очень глубоким и скорым на обобщения, как правило, сомнительного свойства. Распутин располагал к себе полностью и безоговорочно, хотя был молчалив, но в этом искусстве и я ему не уступал. Некоторая настороженность моя по отношению к Залыгину, не знаю, впрочем, на чем рациональном основанная, к счастью, не оправдалась. Никаких неприятных ощущений и серьезных сомнений его беседа и все его обхождение с нами у меня не вызвали. Промелькнула какая–то давняя неприязнь к Лакшину, отвергшему когда–то залыгинскую работу о Чехове (все–таки лакшинская “епархия”, и ревнивое чувство у Лакшина могло возникнуть; оттолкнуть же могла сама свобода залыгинского повествования), с явным неодобрением (это “выдумка”, “ложь”!)

было сказано о воспоминаниях Алигер о Твардовском, где она написала, как однажды А. Т. признался, что увлекся Пастернаком и на время “забыл” Некрасова. Любопытно, что Залыгин обронил фразу о всяких мемуаристах, берущихся вспоминать Твардовского, не имея на то, по сути, права, — “всякие там собутыльники вроде Шугаева”. Обращаясь к Распутину, я сказал, что это же ваш друг? Распутин решительно сказал, что нет, никакой не друг, и мы покончили с этой темой.

7.11.82.

Исчезли портреты Кириленко[166]. Ни над трибуной, ни над колоннами. Нигде. Как не бывало. Над трибуной портреты сдвинуты влево, освободившийся прямоугольник пространства заполнен холстом с изображением серпа и молота. Не скажи мне вчера Шелков по телефону об исчезновении кириленковских портретов, мы с Томой, возможно, ничего бы не заметили. Может быть, не заметили многие; во всяком случае, разговоров на эту тему на площади мы не слышали, ну и сами не заводили. Ни к чему, да и не с кем. Было холодно, народу на трибуны собралось не густо, да и рядом, там, где мы обычно стоим, было совсем не тесно. Баландин со сподвижниками появился на трибуне без малого в десять, когда войска замерли по команде “смирно” и командующий парадом полковник изготовился к рапорту начальнику гарнизона. Минутное впечатление было такое, что все замерло, встречая губернатора, и именно ему, а не кому–то другому, была оказана эта почесть торжественной тишиной, дружной изготовкой к церемонии, ожиданием дозволения начать... Едва члены бюро взошли и расположились по заведенному ранжиру и приветственно вскинули руки, как грянул оркестр и замер, оборванный взмахом белой перчатки, и пронеслась команда,

и пожилой полковник, печатая шаг и чуть взлетая при взбрасывании левой ноги, двинулся навстречу генерал–майору, приземистому и уверенному в себе, начальнику химического училища, и праздничное действо началось по своему выверенному, железному распорядку... Когда пошли солдаты, изрядно замерзшие в ожидании, с одинаково серыми, посиневшими лицами, никто не мешал смотреть, не отвлекал разговорами, и я хорошо разглядел, как много в этих солдатских шеренгах низкорослых, нескладных ребят с какими–то понурыми, невыразительными, иногда убогими лицами. То ли это были строительные батальоны, но от курсантов училища, от сводных офицерских колонн, от десантников, виденных здесь однажды после участия их в московском параде, отличались они

разительно, выдавая своим видом что–то оттесненное и печальное, что–то глубоко левофланговое, обиженное судьбой, как тот маленький щуплый солдатик, что шагал в последней шеренге последним слева в огромной, наползающей ему на глаза и уши фуражке, которую он силился удерживать нахмуренным лбом и поднятием бровей... И мы с Томой изрядно продрогли, и, возможно, мое лицо тоже было серым и понурым и маловыразительным, и это неудивительно, и я смотрел на солдатские лица без высокомерия или какого–нибудь превосходства; разве что — с жалостью, с острым чувством неблагополучия, словно солдаты должны быть какими–то другими, да и вообще молодые люди этих лет — тоже другими, более здоровыми и более красивыми, что ли. Все было спрятано в этих лицах, кроме покорства этой холодной и взнуздывающей их минуте. Торчали из–под фуражек носы и подбородки, взлетали полы шинелей от усердного парадного шага, дружно взмахивали и дружно замирали — после единогрудого взводного хриплого счета и взрева, — замирали прижатые к бедрам руки, и колонна за колонной смещались вправо от нас, а следом надвигались другие, и было интересно смотреть, как браво шли молодые офицеры, с особой непринужденностью — не донося ладонь до козырька — отдавая честь, и что удивительно, чем плавнее и легче они маршировали, тем больше, казалось, в них свободы и достоинства, словно эта площадь, превращенная в плац, и этот неустающий, будоражащий оркестр, командующий движением всех членов тела, и это слитное единовременное подчинение всех командирской воле — были все вместе их родной стихией, где им все знакомо и где их место. Конечно, я упрощаю, но хотелось видеть и это, во всяком случае, думать, что есть и такое: бравада и достоинство... Когда, выдержав короткую паузу — пока оркестр смещался на тротуар, — двинулась колонна руководителей города и передовиков — длинная шеренга руководителей и чуть поодаль густая плотная фаланга героев труда с широкими красными лентами через плечо, — когда двинулась медленной и, стало быть, величественной поступью пролетариата, гегемона и хозяина жизни, то мне вдруг эта нарочитая неспешность показалась смешной, словно задающий тон хору сразу же сфальшивил и не почувствовал фальши. Слава богу, ждать было недолго и “поступь” быстро сменилась естественным энергичным движением демонстрации, у которой никакая проформа не могла отнять жизни и живой пестроты. Так река может течь в бетонных или даже стальных берегах, но не перестанет быть рекой, внутри которой свое движение и свое содержание. Правда, в то же время казалось, что эти берега слишком высоки, чтобы перехлестнуть

через них. И слишком прочны, чтобы подмыть их.

11.11.82.

Еще вчера вечером мы почувствовали, что в Москве что–то случилось. Был т. н. День милиции, и телевидение обещало транслировать концерт, посвященный этому празднику. Все последние годы он транслировался с неизменным успехом; Таня Львова, причастная к организации концерта, рассказывала нам не раз всякие занятные пустяки о занятых в нем именитых артистах. Вчера вместо концерта без всяких объяснений объявили фильм “Человек с ружьем”, а после программы “Время” пустили объявленные на завтра “Солдатские мемуары”. Стало ясно, что ни торжественного заседания милиции, ни концерта не было. Когда же наутро услышали программу телепередач, то в ней все вечернее время заняла симфоническая музыка. И хотя накануне западные станции не передали ничего особенного из Москвы, стало окончательно ясно, что кто–то из высоких чинов умер, и скорее всего умер Брежнев. Масштабы подготовки и скрываемого потрясения привычного распорядка жизни говорили именно об этом.

Сел утром работать, оставив в Никитиной комнате радио включенным. После долгой торжественно–траурной музыки в одиннадцать часов зачитали короткое сообщение о смерти Брежнева вчера в восемь тридцать утра. В час дня передали обращение Цека и правительства к народу, в три часа — состав правительственной комиссии во главе с Андроповым. С утра же в редакции стали распространяться слухи о приостановке железнодорожного и авиационного сообщения с Москвой (позднее, разумеется, не подтвердились), говорили, что бюро обкома заседало в два часа ночи. Ничего более серьезного не распространялось. Днем опять заседало бюро, и, вернувшись оттуда, редактор призвал сотрудников к бдительности и дисциплинированности, к отпору всяким зловредным измышлениям и выступлениям. Вечером же в городе начали проводить траурные митинги. Печальное событие, по моим наблюдениям, никак не сказалось на уличной толпе. Большинство доносящихся уличных разговоров — о своем, лишь раза два донеслось до меня — о Брежневе. Днем, правда, забегала соседка–пенсионерка: “Слышали? Очень его жалко. Очень его жалею”.

В редакции, в Союзе писателей, где застал Корнилова, Гуссаковскую[167] и Негорюхина, разговоры, разумеется, о событии, о возможном преемнике Брежнева. И наши разговоры, и соображения западных комментаторов сходятся на Андропове,

Черненке и редко — на Гришине. Я шучу: как жили по Брежневу, так и будем — по–прежнему. А впрочем, дело серьезное. Не касаюсь личности и способностей “претендента”, но есть этическое, скажем так, неудобство в том, чтобы партию коммунистов, а не какую–нибудь другую, и страну, не какую–нибудь, а называющую себя социалистической, возглавлял человек, пятнадцать лет руководивший государственной политической, преимущественно тайной полицией. Но все возможно, и по этому поводу придется помалкивать, потому что иного выхода нет. Вчера в письме в Барнаул И. И. Березюку[168] я написал о том, что, кажется, климат суровеет и это печально, потому что жизнь и так коротка.

Еще события дня: польское правительство обещало в ближайшие дни выпустить на свободу Леха Валенсу; в Штатах в четвертый раз взлетел космический корабль многократного использования “Колумбия” с четырьмя космонавтами на борту. Наше телевидение ни о том, ни о другом событии не сообщило, потому что знать об этом нам не обязательно. Лично я предпочитал бы услышать об этом из Москвы.

Н. Н. Яновский прислал книжку Г. Гребенщикова[169]. Очень кстати, очень интересно, и я благодарен ему. Книжки о Барнауле и быковский сборник с моим послесловием[170] прислал И. И. Березюк. Сегодня отправил Березюку письмо и московскую хорошо иллюстрированную книжку о Щелыкове. А чем благодарить? Когда–то еще выйдет что–нибудь мое. От Оскоцкого пришел номер “Московского литератора”, где речь Феликса Космического об обострении идеологической борьбы с предусмотрительно вставленной цитатой из нового идеологического руководителя. Так, так, Феликс, вертеться так вертеться, соответствовать так соответствовать. Выбор сделан. Удивительно удобная позиция, да не нова, еще самодержавию хорошо послужила: все дурное — с Запада, оттуда вся зараза, мы же сами по себе почти белоснежны; наши пороки — уже не наши, какая бы грязь ни заводилась — оттуда! Западные моды виноваты, ихние вокально–инструментальные ансамбли, коммерческие фильмы, а сама наша “машина” ничего дурного, боже упаси, не вырабатывает. Двадцать лет назад в показаниях для госбезопасности я писал, что мои взгляды возникли не под тлетворным влиянием западной пропаганды, а при чтении марксистской литературы и под впечатлениями жизни. Как же нам улучшать нашу собственную жизнь, если она непорочна и ее пороки лишь из–за того, что стена меж системами и лагерями недостаточна высока. Уточнил бы, кстати, бедный Феликс, кто из советских людей, из каких социальных групп, чаще всего и

свободнее всего ездит по заграницам и вывозит оттуда что захочет? Пустые, однако, мои сетования... В праздничном репортаже с Красной площади седьмого ноября Феликс в огромной шубе и мохнатой огромной шапке, едва помещаясь в кадр, посверкивая очками, вещал торжественным голосом о необыкновенных исторических успехах нашего отечества и, думаю, своим барским видом и тоном оскорблял тот самый демократический дух, которому в этом отечестве следовало бы торжествовать по самой его, этого отечества, природе.

Гуссаковская сказала сегодня, что из книги А. Шастина (Иркутск), подписанной к печати в "Современнике", снята повесть, уже четырежды изданная, из–за нескольких страниц, где упоминаются события тридцать седьмого года.

Когда обсуждали возможные перемены вверху, Корнилов сказал, что ему тревожно. Он сказал это с такой интонацией, что я поверил ему и подумал, что вот человек с большим опытом и жестокой судьбой тревожится о том, о чем он не должен бы тревожиться в последовательно социалистическом государстве, но он вынужден тревожиться, он этому своим как раз опытом научен...

Всякий раз во времена смен "караула" обнаруживается, что надежного правового механизма преемственности власти у нас нет. Отсюда — тревоги разного рода и нарушение общественного равновесия; выражается это также в том, что жизнь многих людей совпадает со временем всевозможных по–разному объясняемых ошибок и недостатков, а жизнь у них одна, и зачастую она проходит нереализованной, ущемленной, а то и оборванной... Печальная особенность нашего образа жизни, способа существования.

29.11.82.

Похоронили, назначили, разжаловали, утвердили... Подхватили, продолжили, потащили дальше... Положения и выводы одного, положения и выводы другого... Это всё события в заоблачной сфере. Задрав головы, наблюдаем, как там и что. Чей сын куда сбежал, а отец захотел отдохнуть и уступил место рядом, сойдя в густую тень; и кто–то по всей стране умер, и бокс в больнице Четвертого управления опустел, и уже собрались, понурив головы, образовывать очередь в Колонный зал, а он, померший, — жить ему, должно быть, и жить — вдруг сошел в президиум очередной сессии Верховного Совета как с небес, и притом как ни в чем не бывало, и задумчивый взгляд его поверх тех, кто ниже рядом, словно опершись вбеками на мощные затылки сподвижников, устремился в глубокий зал, в бездну

впитывающих его глаз, подтверждая: да, это я, несомненно я, вот так–то, не следует спешить и верить западной пропаганде... Если вы думаете, что я — это мой двойник, так я сейчас прикажу, двойник выйдет вон, а я несомненно останусь... А впрочем, все мы сильно старые люди, и уж, во всяком случае, не новые, и давно уже, кто как, витаем в поднебесье, тела тяжелы, а дух легок, и нас, должно быть, приятно рассматривать в сильные бинокли... Народу приятно сознавать, что жизнь может быть такой длинной, а работа такой ответственной... <...>

Председатель Президиума Верховного Совета не назначен. Единственный пока признак, что наверху, в поднебесье, не все голоса слились в единый дружный хор.

Двадцать лет Ивану Денисовичу[171]. Хорошо помню тот день, когда с Володей Ляпуновым раздобыли тот номер журнала еще до того, как он поступил в киоски. Был ноябрь, но помню как весеннее время.

3.12.82.

Читаю Вознесенского. Интересно: люди с мировыми и всероссийскими именами. Но в элитарности есть что–то утомительное. И нет величия души. Он пишет, как бы говоря: это моя опера, а до ваших мне дела нет. Он человек определенного этажа. Переделкинского. Он очень хорош, когда прост и забывает красоваться.

Отослал 24-страничную рецензию на рукопись С. Баруздина[172]. Для “Современника”. Для Баруздина она явится полнейшей неожиданностью. Но покривить душой я не смог. И отказаться писать было невозможно. Самое удивительное, что повести, поразившие меня своей беспомощностью, уже напечатаны, причем имеют лестные рецензии. В который раз я получаю невольные подтверждения тому, что наверху литературной (другие вряд ли лучше) пирамиды находятся мнимые фигуры. Сколько же там этой мнимости — кто скажет? <...>

Отправил в “Сов<етский> писатель” внутренние рецензии Семина (около 140 штук) со своей рекомендацией[173]. Чтение — три вечера допоздна — было отрадой и некоторым образом — утешением. Он умел хорошо думать и быть точным — неотразимо — в выражении мыслей. <...>

16.12.82.

Одиннадцатого, сразу наутро после областного совещания сочинителей, уехал на автобусе в Москву. Под Загорском нас ждал гололед, а в самом Загорске — красные флаги на улицах,

стрельба из пушек и фейерверк. Короче, это называется салютом, но в чью честь, по какому поводу, шофер наш так и не выяснил. Какой–то старик пожал в ответ плечами: “Стреляют чегой–то”. Но бабушка, выходит, сказала правильно: Загорску — двести лет. (Посмотрел в “Энц<иклопедическом> словаре”; так и есть — 200 лет.) Из Москвы вернулся опять автобусом поздно вечером в понедельник. Падал снежок, подтаивало, но льда на дорогах не было. <...>

На совещании нашем было скучно[174]. Я выступал на общем заседании с часовой речью про современную литературу. Процитировал Нодара Думбадзе о том, что людей надо ценить по их качествам, а не по национальности, и еще о том, что в каждом народе есть герои и негодяи и т. д. Вечером в семинаре, где заседали вместе с Шапошниковым[175], Бочарниковым, Беляевым и т. д., Шапошников не смог скрыть раздражения моей речью и, как потом оказалось (назавтра сам он об этом сказал), цитатой из Думбадзе. Удивительное дело: хочет прослыть верующим, религиозным человеком, носится с сочинением В. Сидорова и индусской мудростью, но сколько озлобленности, раздражительности, лютой нетерпимости, антисемитского пыла. И Виктор Лапшин ему под стать: “Авантюризм, — припечатывает своих товарищей. — Это не поэзия! Нет чувства родины! Безответственность! Любви к родине нет!” Да, подумалось, дайте таким волю: евреев изничтожат, за каких–нибудь татар да калмыков примутся — очистят Россию от инородцев... Ну а как же Великие Учителя Индии с их призывом к терпимости, радости, мягкости, с их отрицанием раздражительности, сумрачной озлобленности как разрушительной силы? У этих “борцов” концы с концами никогда не сходятся. Помню, В. Семин в письме высказался кратко: какая у них может быть программа, кроме: “Бей жидов, спасай Россию”.

Мама отдала мне фотографию девятисотого года дедушки моего Сергея Владимировича Богдановича. Там он молодой, в какой–то форменной тужурке, с “польским”, как показалось мне, лицом. Когда я сказал маме, что в фамилии Богданович есть белорусское начало, она вроде бы даже возразила: не белорусское, а польское. Кто его знает, добиться трудно, может, так и есть. Все забываю, что братьев Богдановичей было четверо: Александр, Сергей, Павел и Иван. Видел впервые фотографию, где все четверо братьев (трое стоят, младший, Иван, на первом плане рядом с сидящей на стуле матерью), совсем юные, стройные, головы гордые. Видел и Александра с женой в ролях на сцене Большого театра (в т<ом> ч<исле> на почтовых карточках)[176], и отдельно брата Павла, очень строгого, с бородкой, в

безупречном, как говорят иногда, костюме. Спросил у мамы, кем он был. “Не знаю”, — говорит. А как поверить этому незнанию, когда дочь Павла бывала у нас на Первой улице Октябрьского поля. Знаю, говорит мама, что жил он во Львове. Вспоминается, что дедушка Иван говорил о поездке к брату во Львов. Вот так–то, попробуй узнай свою родословную! Хорошо, что папа сейчас занялся сбором сведений, но глубоко, дальше бабушки отца, моей прабабушки, смоленской домовладелицы, дело пока не заходит, да и, пожалуй, не зайдет. Есть фотография бабушки Варвары Николаевны совсем молодой, в пору, как считает мама, когда бабушка училась в Пансионе благородных девиц (ныне ЦДСА). А может быть, это заведение называлось иначе.

Читаю книжку Честертона о Диккенсе — вот ему — книжке этой — можно и позавидовать. Но главное в том, что мне близок дух книги — само трепетание пламени, удивительного, — с нашей, дальней точки зрения, — для Англии шестого года. И прекрасно там о Французской революции, о молодости демократии. Хожу и читаю вслух.

21.12.82.

Год — к концу. Сегодня в Москве торжества в связи с 60-летием Советского Союза. Доклад Андропова выдержан в сдержанных и здравых тонах. Есть небольшое количество относительно новой фразеологии. Дело противопоставлено громким словам. Это тотчас подхвачено в телевизионных комментариях. Под относительно новой фразеологией подразумевается упоминание “иллюзий” и “ошибок” при характеристике развития социалистических стран. Есть некоторые располагающие нюансы при оценке наших внутренних национальных проблем. Несколько иным, чем обычно, был торжественный концерт. Не было торжественных песнопений и хоралов во славу партии; была допущена даже эстрада. Лишь ансамбль Б. Александрова спел нечто торжественное и прежнее. Финальная оратория во славу дружбы народов была выдержана в духе церковного праздничного песнопения — во всяком случае, так мне показалось. <…>

Дочитал Честертона. Огромное удовольствие. Вот так бы писать мне, грешному. <…>

Дней десять — двенадцать назад как–то вечером заходил Александр Шпикалов из “Журналиста”, спец. корреспондент при секретариате, фотограф. Хваткий, настойчивый, очень живой. Что–то пытался извлечь полезное из меня (какой–нибудь “диалог” о “духовности”, “провинции”, “патриотизме”/?/), но я пока отговорился. Сегодня звонил, собирается завтра зайти.

Поговорить можно, но “дела” никакого делать не будем.

Пишу о Залыгине. Пока длинновато; думаю все–таки, что есть смысл сказать правду о ранних вещах не только Залыгина, но едва ли не поколения, вступавшего в литературу в конце сороковых — начале пятидесятых. Косвенно это будет характеристикой духовно ограниченного, приниженного времени. Надо только соединить краткость с общепонятной доказательностью. Надо, чтобы читали все, помнящие и не помнящие тексты Залыгина, и всем было все понятно. <…>

25.12.82.

Декабрьские лужи, оттепель, все чего–то ждут, и я, ничего хорошего не предполагая, чувствую, как во мне на самом дне тоже шевелится какая–то надежда, сама же сознающая, что — детская, призрачная, сказочная.

А я говорю вслух, что конца света не будет, что еще у Пушкина сказано: “Снег выпал только в январе”, но тетя Шура, вахтерша редакционная, вдруг поднимает заинтересованное лицо и говорит: “А насчет конца света верно! А то говорят…”

Я, сообразив — про что речь, не про погоду, про всю жизнь нашу, — бодро говорю, что прежде люди тоже ждали конца света, собирались! — но не состоялось.

И сейчас отложат! — бодро говорю я.

Оптимист.

30.12.82.

Сегодня от Оскоцкого письмо и несколько номеров “Моск<овского> литератора”. У него все в порядке, много работы, выступлений, жалуется, что последнее время тяжело писалось, грозит старческое бесплодие, надеется умереть “на лету” и т. д. От некоторых новостей и слухов, от газетки (от этой газетки — всегда) повеяло чем–то неприятно–тревожным… <…> Ну а слухи о возвышении М. Алексеева, о замене Феликса Залыгиным и т. д. Хорошо, что живем, обо всем этом не ведая, не участвуя, не обзвани<ва>я друг друга по вечерам… Газетка же в своем обыкновении: жизнь Союза писателей предстает суетой большой, строго иерархической конторы с обильными заседаниями, отчетами, докладами, комиссиями, комитетами, штабами, проверками, семинарами и т. п. С обязательным упоминанием, какие чины партийного и писательского аппарата присутствовали и т. д. Стиль газетки по–прежнему соответствует стилю учебных пособий для практических занятий по стилистике на факультетах журналистики… Хоть Валентин и оправдывает

свое цитирование из моей статьи (ст. Оскоцкого в “Неве”), но мне оно представляется некорректным, упрощающим мое истолкование прохановского романа (“Место действия”). Кстати, появилась шестая книжка “Лит<ературной> учебы”, и там в статьях Коробкова и Е. Сидорова опять склоняют мое имя. Далась же им моя “литобозовская” прошлогодняя статья — ведь прошло уже больше года. Ковский в “В<опросах> л<итературы>” причислил меня к народническим критикам. Ладно. Но к каким причислить самого Ковского и многих других, предсказанных Блоком (“и стать достояньем доцентов”)?

Новая и быстрая шутка: “Знаете ли вы, что Цека КПСС больше нет?” — “Как нет? А что есть?” — “Есть Чека КПСС”.

Шутка пока построена на формальных основаниях. Министр внутренних дел сменен работником госбезопасности; новый зам. председателя Совета Министров — с сорок третьего года, более двадцати лет, служил в органах безопасности Азербайджана, начиная, видимо, с лейтенантских должностей (после окончания Бакинского университета).

В залыгинской моей рукописи сейчас 60 страниц; придется переделывать их еще раз: сокращать, добиваться большей емкости каждой фразы. Задумываясь над теми годами (послевоенные, до смерти Сталина) и проглядывая кое–что из напечатанного тогда, встаешь перед вопросом: должны ли мы все написанное тогда в газетах, журналах, в книгах — забыть? Сделать вид, что ничего этого не было, или признать все это неизбежностью и о вине и ответственности за те нагромождения прекраснодушных, услужающих слов не говорить, не помнить...

ХОЛОДНАЯ РУКА ЦИКЛОПА
Из дневниковых записей 1983 — 1984 годов

4 января 1983 года.

Живем дальше. Тридцать первого утром поставили с Никитой елку, нарядили, повеселели, прогулялись; Новый год встречали втроем, Бочковы пришли во втором часу; опять пили шампанское, утомительное дело <…> в одиннадцать с Никитой смотрели, как позорно проиграл “Монреаль”[177]. Второго на душе было полегче, ну а третьего жизнь вернулась в свою колею. Пришли поздравления от Теракопяна, Огнева, Лазарева, Бакланова, Скатова, Афонина, Друцэ, Мазурина и др. Тридцать первого часов в одиннадцать звонил Б. А. Можаев.

У Виктора[178]опять несчастье, завтра похороны его тестя.

Опять втягиваюсь в работу над Залыгиным[179]. Пока написанное меня устраивает мало; но надо писать дальше, как бы “пробить штольню”; отделка будет потом: “крепление”, то да се. Иногда по вечерам читаю статьи Станюковича 70 — 80-х годов; знал его как автора “Морских рассказов”, открываю теперь заново: статьи есть блестящие; ну а какова свобода слова? нам и не приснится. Однако не зря встречал имя Станюковича у Кеннана; иногда терпение власти истощалось. Понемногу читаю прозу Пастернака; он мог то, чего никто не сможет; проза Вознесенского с нею несопоставима; у Вознесенского есть мелкая суета, он все время чувствует себя на ярмарке литературного тщеславия; почти нигде он даже не берется за решение тех задач, которые ставил себе Пастернак. За подобные, — скажем так, — задачи. Описания улиц, домов, деревьев, времен года у Пастернака уникальны; это не просто наблюдательность такая, это качество зрения, качество ощущения — воздуха, дождя, снега, света, шелеста листвы, раскачивания фонарей и т. п. Чтение “Кощеевой цепи” Пришвина иногда доставляет большое удовольствие; несомненна выработанность и устойчивость стиля, хотя это из ранних (не по возрасту) вещей; интересны типы, нравы, разговоры; несмотря ни на что вызывает расположение Козел (Розанов)[180]; или накладывается сегодняшнее знание и уважение к его писательству? Иногда начитаешься — сон вылетает, ну а если еще участвует кофе, то полночи, а то и вся ночь насмарку; вчера в такую ночную пору, видимо, еще под впечатлением сообщения Виктора вдруг пронеслась мысль о

смерти, и напугался ее как в детстве, хотя вроде бы давно с нею свыкся и даже какое-то противоядие в душе нашел; слава богу, пронеслась — исчезла; потом еще даже удивился — чумная, ночная голова, не нужно ее мучить.

В Польше приостановлено действие военного положения; пока Польша праздновала, что же будет дальше? Приостановленное легко возобновляется. Мы же живем по-прежнему. В. Г. Корнилов[181] ожидает полного и повсеместного порядка. Порядок — это вроде как идеал общественного устройства. Другого слова, чтобы его обозначить, не находится. Можно и получить порядок — этого в XX веке хватало.

7.1.83.

“Что ни говори, а главного героя мы немного связываем с собой”, — писал Виталий Семин. Какой я романист, но такого, связанного со мной, главного героя очень бы я хотел выпустить в свет. И посмотреть хотел бы, как бы он себе жил. И как бы прожил.

Меня удручает обилие <в современной прозе> каких-то странных главных героев. Если Семин прав и связь существует, — а “немного” звучит полуиронически, и значит, связь крепка и надежна, — то каковы те, думаю я, с кем главные герои в такой родственной близости?

Я не собираюсь выпускать своего главного героя кому-нибудь в укор. Просто я думаю, что и ему пора вернуться в жизнь — пусть призрачную, фантастическую, однако кишащую и громкоголосую, и пусть он просто засвидетельствует, что *теми* жизнь не кончается, что есть еще много других или совсем других, и они со своими тихими голосами и скромными повадками еще не утеряли своего значения в глазах жизни, где они были и есть и где шли своею дорогою.

8 января.

Быков прислал книжку и письмо. “Знак беды” снят в “ДН” цензурой и после читки “выше” передвинут на май. <...>

Продолжаю писать, но собой не доволен: не то; не так... Настроение по временам тяжелое. И празднование Нового года, и похороны Викторова тестя, большевика с 1919 года, работе не “способствовали”.

Впрочем, не стоит искать оправданий.

Встретил учителя Меренкова, ныне (он на пенсии) — слесарь при домоуправлении, точнее — при котельной, где он в последнее время работал оператором. Смеется над беловским “Ладом”[182]: ну какой там, в русской деревне, “лад”? Не было, не

бывало и нет. Спрашивает меня, читал ли я письмо Ломоносова о “размножении русского народа”. Говорю, нет и не знаю про такое. Он мне рассказал, ну а я дома нашел то письмо, прочел. И верно, к “ладу” отношение имеет, ко всякой идеализации собственного народа — прямое.

Из меренковского разговора: “А зачем попу наган, если поп не хулиган”.

Никаких рождественских морозов. Три градуса тепла.

Статья П. А. Николаева в “ЛГ” против М. Лобанова, в основном и главном справедлива; опять взялся за “Драчунов”[183], надо прочесть. Очень любопытно место, занимаемое в этом сочинении главным героем; если проследить внимательно, обнаружится немалое самодовольство и вера в свою значительность. Стиль рыхлый, с обильными длиннотами; как будто хочется наговорить больше слов. Как можно больше. Заметны и психологические просчеты, тоже характерные, связанные с внутренней неправдивостью; идея проводится с усилием, с искусственным усердием и навязчивостью.

Нарастают — по телевидению, в газетах, — разговоры о трудовой дисциплине и порядке. Возможно, они приведут к чему-то положительному; меньше станет прогулов, хождений по магазинам и т. п. Но, в сущности, это предусмотрено законами Паркинсона: новый начальник начал борьбу за совершенствование распорядка рабочего дня во вверенном ему учреждении. В. Семин писал, что надежда на новизну и свежесть очередного начальника имеет место при “катастрофическом способе ведения хозяйства”. <...>

Честертон своими рассуждениями о Французской революции[184] помог мне утвердиться в своем отношении к Октябрю. Да, эволюция лучше революции, — меньше крови, но революция случилась. “Если демократия разочаровала вас, пусть она запомнится вам не как лопнувший мыльный пузырь, а как разбитое сердце, как старая любовь. Не смейтесь над временами, когда вера в человечество переживала медовый месяц; взгляните на них с тем уважением, которого достойна молодость”.

В такую слякоть, как сегодня, город настолько неприятен, — к тому же суббота, толпы людей слоняются по магазинам, черные муравьи, — что я вдруг чувствую всю напрасность своей здешней жизни, ее глубокую заброшенность, свою затерянность. И иду рядом с Никитой к дому, старательно перебарывая в себе это совсем не новое ощущение, потому что, к счастью, он ощущает все окрестное иначе, светлее, и я вовсе не хочу, чтобы он догадывался о моих настроениях: пусть он верит в мою силу и в мое значение. В сущности, отбросив хандру и печаль, как всегда

качающую меня как на волнах, нужно признать твердо: меня трудно счесть побежденным. Невозможно признать процветающим, но столь же невозможно — побежденным.

19 января.

Сегодня от Левы Аннинского “Лесковское ожерелье”[185] и письмо, и тронувшее меня и даже как-то подстегнувшее меня (сидел за машинкой). Чуть-чуть доброты, господа, и понимания, и живется много легче, и пишется свободнее.

Виктор привез письмо Лакшина Залыгину (около трех страниц). Несколько дней назад послал письмо Залыгину в некоторой надежде поддержать его, не зная, впрочем, нуждается ли он в том. Пока от него — ничего. Лакшину и Залыгину не пристало бы “выяснять отношения”; дурные люди радуются, более того — пользуются этим в своих нечистых целях.

Изменения в газетной фразеологии (официальной) незначительны. Я начинаю думать, что они отражают калибр и глубину происходящих изменений.

Анекдоты о “чукчах” сменились анекдотами о бандеровцах. Странно, но так. Из последнего “цикла”, что сумел запомнить. Бандеровец (бывший, разумеется), называется какое-то украинское имя, берет в детском доме ребенка на воспитание (своих детей нет). Приводит домой. Жена потрясена: “Да вин же черный!” — “Какая тебе разница! Зато не москаль!”

Весь январь теплый; средняя температура должна быть плюсовой. Основное, что обсуждает народ: наращивают дисциплину, начальники хмурят брови и устрожают голос. Редактор разговаривает, будто все в чем-то провинились. Замечательно. На уровне правительства и Цека обсуждали сначала производство запасных частей к частным автомобилям, сейчас — время работы магазинов, прачечных, ателье и мастерских. Это и есть крайности цивилизации, ее, по сути, безумства.

6 февраля.

<…> Идут разговоры об “облавах” в дневные рабочие часы в универмаге, в продуктовых магазинах (винных отделах), в книжном магазине: ищут “прогульщиков”. Маляр из соседнего подъезда (любимое присловье: “Здравствуй, хлеб, четыре булки!”), который иногда захаживает ко мне за тремя рублями, дня три назад жаловался, что его самого задержали в магазине двое мужчин и, проведя воспитательную беседу, отпустили. Он же жаловался на повышение цен на крепленое вино, на то, что в отрезвителе увеличили плату (до 70 рублей) и деньгами не берут,

требуют отработки. Очень огорчался, что “рабочего человека” “прижимают”.

Пока у нового руководства одна новая идея, предложенная народу: на работе — работать. Произошло также очередное необъявленное повышение цен: на вино, газ, стройматериалы, почтовые отправления, установку телефонов и еще на что-то, что мы узнаем постепенно.

Еще новое: “Комсомолка” завела рубрику: “Служба в Афганистане”. Ну а остальное — старое. Материал Пржиалковского[186] о Высоцком для “Молодого ленинца” окончательно похоронен. Разговоры Аркадия с работниками отдела пропаганды и агитации обкома (Прокофьевым, недавним районным газетчиком, и Рыбалкиным) показали, что для них до сего дня имена не только Высоцкого, но и Окуджавы, и Ахматовой, и Пастернака, и Булгакова — имена вредных людей, которых лучше не упоминать. В материале Аркадия стихотворение Ахматовой было перечеркнуто не в московской цензуре, а в костромском обкоме. Про авторов высказываний о Высоцком, собранных Аркадием по московским журналам и газетам: Крымова, Карякин, Вознесенский, Любимов и т. д., — было сказано, что это все одна компания.

И эти трусливые болваны учат людей, как жить <…>

29-го января, как и два года назад, выступал на научной межвузовской конференции в пединституте. Мои идеи, возможно, не всем по душе, но если смотреть в наши дни из будущего, то я прав. Я говорю не об утопии, а о норме, которая попрана. Говорю о противоестественном распределении реальных возможностей для людей, о неравенстве столиц и провинции.

Пишу о Залыгине, читаю рукопись книги А. Бочарова, прочел Левину книгу о Лескове и статью о Рыбакове (“Новый мир”, № 1). Это действительно хорошо и в значительной степени свободно. Все равно за всем углядеть они не могут. Очень точна статья о Рыбакове; тут Левины идеи я разделяю полностью. Вот буду писать ему.

“Юристы” Хоххута[187] заставляют вспомнить о наших юристах, которые не были наказаны никак за преступления против общества и народа. Вот вопросик оттуда: “Сколько же нужно вынести смертных приговоров, чтобы забыть каждый в отдельности?”

Андропова по радио и телевидению не называют иначе как по имени и отчеству. Поэтому только и слышишь: Юрий Владимирович, Юрий Владимирович…

Корнилов решил устроить встречу братьев писателей с Баландиным[188]. Вроде бы в принципе договорился. Это привело к

тому, что его самого я застал пишущим для обкома справку о наших успехах, меня приглашал Неймарк, чтобы расспросить, как костромские сочинители пишут о деревне, и был удивлен тем, что я пришел с пустыми руками, ничего для него не написав (он намекал мне на какой-нибудь обзорчик по телефону); наконец, обл. библиотеке было поручено собрать отзывы о наших книжках... Вот такая идет подготовка, такая суматоха. Напросились. Еще неизвестно на что — напросились.

28.2.83.

В “Колибри” отвалилась буква “о”, будто я сильно “окал”. Дневник не печатаю. Распространяется молва о задержании людей в парикмахерских, в магазинах в рабочие часы, о “поимке” командированных в ГУМе и других московских магазинах. Якобы ставятся на командировках “штампы”, препятствующие их оплате. ДОСААФ расшифровывают как Общество содействия Андропову, Алиеву и Федорчуку. <...> Я пишу о Залыгине, недовольный тем, что получается. Но надеюсь на чистовой текст, который будет мало походить на черновик. Черновик как проходка без закрепления — заваливает, но идешь, чтобы пройти до конца.

2.4.83.

К часу дня ходил прощаться с Георгием Александровичем Гаушем. В газете о смерти не сообщили. Некому. Было ему 82 года. Последние четыре года ноги ему отказали совсем. Ходил за ним то ли дальний родственник — молодой человек, то ли просто участник художественной самодеятельности, знавший его и за что-то ему благодарный. Когда-то Г. А. был моим автором и писал на старости лет просто хорошо — с ясным умом и чувством стиля. Отец его — художник из “Мира искусств” — Гауш — жил и работал в Ленинграде, был репрессирован. В Костроме Г. А. участвовал в создании КЭБа (концертно-эстрадного бюро), работал во Дворце пионеров. Сегодня среди провожающих говорили, что он жил в свое время в Париже. (Никогда об этом не говорил.) Помню, что рассказывал, как учился в Кенигсберге в какой-то “немецкой” гимназии. Хоронить было некому. Мало было народу в старом костромском дворе (Островского, 16). Лежал совсем маленький старичок.

Вчера заходил Р. А. Семенов. Купил дом в деревне под Галичем. Рассказывал о брате. Брат — 1922 года рождения. На фронте — саперный офицер. Разжалован после выхода из харьковского котла. Попал в штрафной батальон. Был приказ — идти минировать поле днем. (Обычно, т. е. всегда! минировали ночью.) Взял в обе руки по мине и пошел. Попадет пуля в мину —

все. А попала — в колено — разрывная. Остался без ноги. Четыре года назад отняли и вторую. Брат говорит, что Сталин (называет его Иоськой) хотел убрать всех свидетелей харьковской катастрофы. <…>

Вечером — фильм об Анне Маньяни. Потом разговаривали с Томой о нашем искусстве, где всякая чушь вроде “Премии” или “Дней советской литературы в Первомайском районе города Москвы” (сегодня отчет и фотографии в “Лит. России”).

10.4.83.

Завтра день рождения. Сегодня — уборка квартиры, покупка коньяка, вечером “Красавец-мужчина” в исполнении Малого театра[189]. Днем — подгоняющее письмо из изд-ва “Современник”; приглашение в Минск и — на удивление — обозначение моей темы (они там придумали сами, не спросясь) — “Белорусская военная проза глазами русского критика”. Как все успеть!

Читаю Е. Кушкина (ЛГУ) “Альбер Камю. Ранние годы” (1982).

Подумал вот о чем: духовная атмосфера (обстановка), в которой проходила юность — моя, нашего поколения, — была бедной, однородной, способствующей бедному, сжатому мышлению — в узком диапазоне.

То есть вырваться за пределы этой навязанной обстановки — было можно (через библиотеку, через каким-либо образом совершавшееся ориентирование), но это было индивидуальным актом.

Обстановка к этому старалась не побуждать.

Надо бы дать ясное представление о кругозоре и миропонимании юного человека конца сороковых — начала пятидесятых годов — именно ясное, т. е. как бы обвести контур и беспощадно описать то, что в нем, т. е. все содержание.

Пора бросить умиляться таким добродетелям, как “чистота”, “вера в высокие коммунистические идеалы”, “патриотизм” и т. д. Пора и пожалеть тех, т. е. нас, — за бедность и однолинейность нашей судьбы.

Сергей Сергеевич Павлов, капитан госбезопасности, на все спектакли ходит с “дипломатом”. Тома спрашивает меня: зачем? Зачем ему даже в воскресенье (не с работы же!) в театр — с “дипломатом”?

17.4.83.

Отъезд в Москву автобусом… Отъезд в Минск (22.00) вместе с Лазаревым[190] и Кондратьевым[191].

18.4.83.

Минск. Утро у Быкова (с 10.30 до 14.30) вместе с Лазаревым и его женой. Днем просмотр тел<евизионного> фильма “Формула гуманизма”. Вечером — все вместе у Адамовича.

19.4.83.

С утра заседание[192]. Были Гранин, Кондратьев, Галлай, Анфиногенов, Гусаров, Еременко, Адамович, Быков, Гилевич, Чигринов, Брыль, Ю. Карякин. Мое выступление во второй половине дня. Банкет. Несчастье с Быковым[193]. Ночные беседы с Ю. Карякиным.

20.4.83.

Утреннее заседание с выступлением А. Савицкого. Ответ Адамовича[194]. Поездка в Хатынь. Проводы. Ирина Михайловна![195]

21.4.83.

Смоленск. Весь день с отцом по городу. Родные места. Могила деда. Воспоминания о детстве. Вечером отъезд.

10.5.83.

Сломалась “Колибри”, пишу теперь редко, что-то привычное нарушилось. И про Минск записал в “загребской тетради” бегло, едва обозначил, кто был и что было. А люди там были интересные, ко мне относились хорошо и рассказывали иногда любопытные вещи.

Ехали в двухместном купе фирменного поезда “Белоруссия”, скорый; ехал им и назад вместе со всеми, в одном купе с В. Л. Кондратьевым. В 2.45 ночи сошел в Смоленске, тихо, не разбудив его.

Когда отчалили от Москвы, перезнакомились, Кондратьев достал фляжку с коньяком, но себе налил на донышко и не притронулся, и пошли разговоры...

Тут надо записать, что Лазарев рассказывал под свежим впечатлением о своей стычке в цензором Сологдиным (о нем как-то рассказывал и Можаев; с ним он вел переговоры об издании второй книги своего романа) — из-за переписки Твардовского с кем-то, которую “Вопросы литературы” собрались опубликовать. Меня потрясла, рассказывал Лазарев, та ненависть, с которой Сологдин говорил о Твардовском. Он припомнил Твардовскому все, вплоть до главы о Сталине в поэме “За далью даль”. Тогда, сказал Лазарев, я напомнил ему, что Ленинская премия за поэму, кажется, не отменена. Но в глазах Сологдина прегрешений за Твардовским было и без того избыточно. Я понял, сказал Лазарев,

как жутко они его, Твардовского, ненавидят — давней ненавистью.

На обратном пути уже подвыпивший Еременко, директор “Советского писателя”, рассказывал о своих встречах-разговорах с Твардовским в ту пору, когда он, Еременко, служил в Цека, курировал “Новый мир” и “Октябрь”. В частности, он рассказывал, как однажды он звонил А. Т., приглашая его в Цека для очередной беседы. А. Т. в таких случаях молча выслушивал приглашение, переспрашивал иногда, когда и к какому часу, потом говорил: “Хорошо, буду” — и вешал трубку. Он был человеком дисциплины, и ему не приходило в голову, что голосу из Цека можно не повиноваться, возражать. “Хорошо, буду”, приходил, выслушивал, что ему наговаривали, прощался, уходил, иногда сказав что-нибудь вроде того, что вы все-таки не все поняли верно, не во всем разобрались, но это говорил спокойно, со вздохом, сожалея больше, чем возмущаясь.

В тот же день Еременко позвонил Кочетову и тоже пригласил его. Кочетов стал спрашивать, какова повестка заседания, кто докладчик. Я сказал ему, рассказывал Еременко, что своими вопросами он нарушает партийную этику, но, что, идя ему навстречу, я могу сказать, что повестка такая-то и докладчик такой-то... “Вы все защищаете Новый мир”, — сказал в ответ Кочетов, — и я не приду”. Последовало, видимо, что-то возмущенно-удивленное со стороны Еременко, и тогда Кочетов заявил, что он болен и прийти не сможет. Такое разное поведение этих людей Еременко считает характерным; сказывались два характера; во всяком случае, очевидное благородство А. Т.

Еще Еременко рассказал, как однажды он сидел в кабинете Твардовского в ожидании начала партсобрания редакции “Нового мира”, на которое он пришел, — всегда, видимо, ходил. Вдруг в дверях появился молодой Егор Исаев и стал просить разрешения прочесть стихи. Твардовский не отказал; м. б., ему было неудобно при постороннем отказывать. Он помялся и разрешил. Исаев приступил к своему священнодействию. Выслушав, А. Т. попросил: “Дайте что-нибудь почитать глазами”. Прочел несколько листков и твердо сказал: “Это не поэзия”. И никогда в своем журнале Е. Исаева не печатал.

Вот и май; во второй раз истекает срок моего договора на книжку о Залыгине с “Современником”. Весь апрель ушел на то, чтобы отрецензировать присланные издательством рукописи (проза некоего В. Евдокимова, гл. редактора “Московского рабочего”, а также критика А. Бочарова и В. Пискунова, общий объем около 60 п. л.), а затем — поездка в Минск. Начерно написал о Залыгине 350 страниц машинописи, но там ни слова о

романе “После бури”. В сущности, надо переписать, сократив до 12 п. л. и добавив об этом романе. Буду просить об отсрочке — противное дело, а еще ждут предисловие к Распутину (переделка), рецензия на “Знак беды”, предисловие к Афонину[196], статья для “ЛГ”; конца нет. И нет покоя. После Минска работалось хорошо; лишь бы удержаться. Как можно дольше *удержаться*.

Надо бы, конечно, обдумать то, что говорил Адамович в своем докладе.

В. О.[197] говорит, что все эти “глобалки”, т. е. глобальные проблемы (угроза ядерной катастрофы, экологические опасности и т. п.), обсуждать столь интенсивно — бессмысленно, т. к. каждый из нас лишен возможности действовать и что-то значить в “решении” этих проблем.

30 мая.

Вот так вот: долгий перерыв <…> Записи об этих днях, в том числе о поездке в Минск и в Смоленск, в каких-то тетрадях, да и сделаны наспех — “пунктирно”.

Анекдот, привезенный из села Красного, — там на площади памятник Ленину стоит лицом к райкому партии и спиной к какому-то заводу (не помню, какой там завод? ювелирный, что ли? допустим, что есть такой). Вот рабочие и спрашивают Ленина: “Почему ты так стоишь, отвернувшись от нас?” Ленин отвечает: “Я вам доверяю, а вот за ними нужен глаз да глаз”.

Печальное событие случилось две недели назад: умер Федор Абрамов. Надо было бы мне поехать на похороны, но в те же самые дни (18 мая) мы здесь хоронили Евдокию Ефимовну Павлову[198]. <…>

Занят сейчас рецензией на “Знак беды” [В. Н. Семина] для “Нового мира”. Мои статьи прошли в майских номерах “Журналиста” и “Нового мира”. В Костроме отклики на первую очень хорошие. На вторую — разозлятся братья русопяты. Бог с ними, как хотят, их заботы — не по мне[199].

31 мая.

“Знак беды”, Салмов[200], письма от Леоновича[201], Я. А. Горбовского[202] и А. А. Макаровой, приславшей мне однажды историю своего сгинувшего в тюрьме брата. В “желтой” книжке я писал о Горбовском, думая, что его уже нет в живых. Теперь, не год ли спустя после того, как я послал книжку его сыну, явилось это письмо. Все происходит медленно: сын, видимо, не спешил сказать отцу, что о нем плохо ли, хорошо ли, но написано. Что ж, теперь все прояснилось, слава богу, я рад, что этот человек живет.

Володя Леонович хлопочет о судьбе северных рек. Это благородно, слов нет, но прилива гражданской энергии я что-то в себе не чувствую. Я не то что знаю, но чувствую, что все это (поворот рек и т. п.) во-вторых и в-третьих. Решается более важное, и оно требует от нас сосредоточенности; у нас не хватает мужества сосредоточиться. (Это сказано неточно и туманно; я просто думаю, что под шум одних проектов проходят другие, более страшные для человека. К тому же я не уверен, что писатели достаточно компетентны в той области, в какую хотят вмешаться. Когда Залыгин боролся против строительства Нижне-Обской ГЭС, он был компетентен. Вообще же сфера писательской компетенции — человек, его судьба, возможности, удел.) <…>

Дочитываю "Весну священную" Алехо Карпентьера. Уж очень старательно прочерчивает он в романе правильную политическую линию, словно чувствует за спиной любознательно склонившегося внимательного читателя. Самое интересное: исторические и культурные реалии, связанные с республиканской Испанией, Парижем, докастровской кубинской жизнью, т. е. автобиографическое. Интеллектуальную насыщенность не стоит преувеличивать: пестрота картины сводится в конце концов к двуцветности, к схеме. Осталось чувство, что погибший француз, муж героини, предшественник Энрике, был талантливее, просто интереснее главного героя. Может быть, так было и с прототипами?

Жарко. Тепло было в апреле, жарко в мае. Сухо. Температура выше двадцати и двадцати пяти. В Европе и Северной Америке ливни и наводнения; Корнилов бы сказал, что идет метеорологическая война, он в этом уверен.

Художники шагу не ступят без натуры; складки на рубашке и те важны, — воображение и проницательность включаются потом; а романист хороший — разве…

17 сентября.

…не так же собирает по мелочам? (Это ли я хотел написать в тот далекий теперь майский день?)

Надо бы припомнить важное из летней жизни, но прежде — этот самолет, сбитый в ночь на первое сентября. Ныне это называется так: "пресечение полета". Оно произошло: погибли 269 человек: американцы, южнокорейцы, тайванцы, индусы, канадцы, шведы и другие. Среди них были дети. Самолет летел из аляскинского аэропорта (не помню названия) в Сеул. Почему, думаю я, это сделала наша страна? Если это провокация американской стороны, то почему мы на нее поддались? Если мы действительно не знали, что это гражданский самолет, то почему

не заявили, что*потрясены*случившимся? Предпочитая без конца повторять, что это был самолет-разведчик, самолет-враг, мы даем понять, что нам все остальное (гражданский не гражданский) — безразлично. И наконец, даже допустив, что кто-то на самолете собирал информацию о наших секретных объектах, можем ли мы признать, что она*дороже*269-ти человеческих ни в чем не повинных жизней? Возможно ли предположить, что у американцев нет других действующих более эффективных способов собирать информацию об этом районе? Что они, должно быть, и делают. Нет, повторяю я, почему это совершила наша страна? <…> Нам хотят доказать, что наше государство превосходит другие единственным — своей несокрушимой, постоянной, неизменной и даже тотальной правотой, о чем бы ни шла речь.

Так и стоит в глазах лицо Замятина, когда он на пресс-конференции (показана по телевидению в наглом монтаже, полном всяческого пренебрежения к телезрителям), раздраженно кривя большой рот, отчитывал западногерманского корреспондента, заметившего несоответствия между четырьмя последовательно поступившими официальными советскими заявлениями о судьбе самолета. “Вы плохо разбираетесь в русском языке! — кричал он. — Все, знающие русский язык, с первого сообщения ТАСС поняли, что полет самолета был пресечен”. Он громко лгал, этот человек, потому что мы, читающие по-русски не хуже его, не нашли в том тассовском заявлении ничего, кроме невнятицы и темных оборотов речи. На что рассчитывал Замятин, когда говорил это? Или он весь наш народ принимает за глупцов?

Позорная история. Не могу думать о ней спокойно. Никита вычитал в “Комсомолке”, как в Горловке группа школьников (восьмиклассники и пятиклассники) убили одного за другим (в разные дни) двух местных бродяг и пьяниц (53-х и 57-ми лет). Убили, можно сказать, сознательно: специально пришли *бить* беспомощных, пьяных, ну и — добили. Страшная история… вот коров в Индии объявили священными животными, а разве когда-нибудь у нас в школе говорят, что человек тоже священен и нельзя поднимать на него руку? Разве это будут говорить?

В наши времена человек не меньше, чем в прошлые времена, игрушка в руках государства. Мы смертны и уже потому слабы, и мы не можем себя защитить, и, если подумать, мы — такая же собственность государства, как земля и недра. Рука незрячего циклопа шарит и шарит, а ты жмись к стенке пещеры, авось обойдется другими? До чего же это все печально!

Этот Проханов возмущался провокацией с самолетом на

первой полосе “ЛГ”. Было это послание заверстано так, что буквально лезло в глаза своим возмущением и подписью. Верно я почувствовал этого сочинителя, догадался, каков он. Еще бы разок пройтись — и уже с полной беспощадностью, держа в уме и этот факт, и его “заграничный” роман!..[203]

Мы с Никитой с первого сентября одни: Тома на курсах газетчиков в Горьком. Приезжала на два дня неделю назад; нам не очень-то весело, но справляемся. Было совсем плохо с едой, кончилось масло, но теперь полегче. Тома привезла из Горького масла и творога, а два дня назад мама со знакомыми передала для нас большую сумку с продуктами. Но по магазинам я успел походить и опять хорошо прочувствовал нашу костромскую бедность. Но это не имеет значения, особенно с московской точки зрения, не правда ли? <…> …Да и почему целый месяц нашей короткой, в сущности, жизни мы должны жить порознь ради какого-то придуманного московской тупой властью мероприятия?

Пишу чистый текст работы о Залыгине, вчера начал печатать (по вечерам) текст рукописи для “Совписа”. Назвал: “За живой водой”. Но одного названия еще маловато, пошла бы только вечерняя работа![204]

Да, надо бы еще вспомнить, как тот толстый и сытый бойкий репортер телевидения, специалист по космонавтам, брал интервью у наших героев-пилотов и как стало абсолютно ясно, кто из них двоих — “пресек”. Широкое лицо черноволосого крепкого человека спокойно смотрело в камеру, и повторялось слово, решившее судьбу 269 человек: “враг”.

Этот человек — военный, и он выполнил приказ. Но зачем нам видеть его лицо? Я пишу сейчас эти слова, отчетливо понимая, что с еще большим успехом, — стоит только распорядиться, — можно делать так, чтобы никто никогда не увидел чье-то лицо — мое ли, твое ли, любое, которое не понравится…

26 сентября.

Сегодня — двадцать шестой день, как приключилось несчастье с самолетом. Эта тема — вынужденно, как я понимаю, — не сходит со страниц наших газет. Ничего нового нет; число погибших нашему народу не сообщено. Вижу по телевидению, как сидят министры и другие чины и ведут переговоры, и веселы, и благожелательны друг к другу, и всячески демонстрируют товарищескую теплую обстановку, а я смотрю на их лица и думаю о погибших. Когда топчутся два гиганта, задирая друг друга, то сколько они при этом надавят всякой мелочи,*мурашей,*— совсем не в счет… Накладные расходы исторического прогресса и

исторической справедливости.

Прочел рукопись А. Адамовича для “Сов. писателя” [205] . По меньшей мере на одну треть она состоит из цитат — из Брыля, Семина, Гердера и американца Шелла, автора книги “Судьба земли”, переведенной “Прогрессом”, но, видимо, для служебного пользования [206] . Рукопись носит откровенно публицистический антивоенный характер; в былые времена ее назвали бы пацифистской, но, думаю, в наших условиях это слово потеряло почти всякий смысл. Текст рукописи — это тот случай, когда тебя пугают, но тебе не сильно страшно. Испытываешь чувство беспомощности и обреченности, потому что сознаешь, что от тебя ничего не зависит и эта ядерная война всего лишь синоним смерти или смертельно опасного несчастья, из которого не выкарабкаться, и по поводу чего утешаешься надеждой, что еще помедлит, отсрочит, пока пронесет... Особенно остро почувствовал едва ли не мнимую пользу книги после случая с самолетом. Двести шестьдесят девять человек, или 269 000 человек, или 269 000 000 человек, — объяснения обеих сторон будут подобными теперешним, и виноватых — не найти. Когда читал Адамовича, думал, что наверняка военные и прочие высокого масштаба руководители надеются выжить (их ум не допускает, что их могущества не хватит для этой задачи решения), и вот тогда я представил себя тоже выжившим и поджидающим их выхода-выполза из бункеров, чтобы из какой-нибудь зловонной, смердящей, отравленной ямы, доживая последнее, встретить их длинной пулеметной очередью...

Прочел вчера заново “Хаджи-Мурата”, рассказы “За что?”, “Что я видел во сне...”, “Песни на деревне”, — из последних толстовских вещей. Всякий раз читаю его и радуюсь, что думать с ним вместе легко — о Польше ли и поляках, о добровольном воссоединении кавказцев с Россией, о царе-батюшке... Самое же главное, что мучит читающего в “Хаджи-Мурате”, — это какая-то заведенная — не остановить — безжалостная жестокость жизни, всего ее “порядка”. Глава о Николае — прекрасный пример для любителей изображения высочайших особ; заметим, что это писал старый, мудрый человек, более молодых способный быть объективным и к тому же всю жизнь находящийся в стороне от “партий”. И если он так пишет и уравнивает эту фигуру по уму, чувствам, культуре с человеком самым дюжинным,*низкого*полета, то — ему виднее. До чего же пала наша литературная братия (или лучше — челядь), если пытается разжигать тот же самый пламень патриотизма, что всячески поддерживался и поощрялся при царизме, и снова в ходу — антипольские пакостные настроения, антисемитская злоба и сладкие мифы о нашем обхождении с

покоренными народами окраин.

В связи с этим вспомнил о прочитанном в “Московском литераторе” отчете про партийное собрание писателей Москвы, посвященное идеологическому пленуму. Вот нечто из речи Н. Шундика: “Как говорил Л. Леонов, достоин внимательного и почтительного изучения наш человек, взявший на себя подвиг — на своей собственной судьбе показать человечеству все фазы, случайности, опасности и возможности на пути осуществления древней мечты. Именно так надо рассматривать советского человека по всем законам марксистско-ленинского диалектического подхода к жизни” (“МЛ”, 19 августа 1983 года). Остается Н. Шундику и Леонову, если он тут в самом деле замешан, ответить на простой вопрос: это кто же “взял на себя” такой подвиг — быть подопытным существом? и, кстати, в чьей лаборатории и кто эти пытливые эскулапы? Говорят и пишут, и не понимают, какая бесчеловечная глупая декларация прет из этих уст, до какой “героической” малости низводится здесь человек!

Занятно и то, как Виктор Кочетков, некогда обещавший мне “карт-бланш” в “Волге” (оставалось занять его место в отделе критики), ныне один из идеологов*русских,*устроил в своем докладе демонстрацию объективности и широты воззрений, в том числе интернациональных, упомянув в “положительном” контексте Пастернака, а в другом месте — сочинения Чивилихина, Стаднюка, М. Алексеева, Проханова (афганский роман) и Н. Яковлева (“1 августа 1914 года”), отозвавшись о последних, присовокупив к ним А. Крона и В. Крупина, так: “Названные авторы выступают не только певцами (это Яковлев-то — певец? или Стаднюк?), но прежде всего исследователями жизни, ее сложностей, ее неожиданных поворотов, ее не всегда справедливых пристрастий... Мы должны учиться на таких книгах” и т. д. (там же). И не спросишь ведь, что такое — “не всегда справедливые пристрастия жизни”, особенно применительно к перечисленным книгам.

Великий наш поэт, похожий на вполне порядочного коренастого плотнотелого советского чиновника, Юрий Кузнецов сказал в том собрании, что “сегодняшние обвинения в адрес поэзии несправедливы в основе, ибо за точку отсчета берут 60-е годы...”. Но признал, что “молодежь иногда отходит от подлинно гражданского, государственного пафоса...”. И это, насчет пафоса, говорит российский поэт! Все думаю, от кого они наше государство защищают, все боятся, не обидели ли? От народа, от какого-нибудь нынешнего Башмачкина, от героя “Медного всадника”?

Бог помиловал меня и дозволил мне все это только читать, да

еще в изложении, а не видеть, не слушать, не участвовать во всем этом нервном, подпольно злобном словоговорении...

И чего ты, Тома, не едешь?

6 октября.

С первого числа мы опять все вместе. Тома рассказывала о курсах. В частности, о лекторе из горьковской ВПШ с явно просталинскими симпатиями. Наилучшее впечатление оставили университетские преподаватели. По вечерам в общежитии (партшколы) было неприятно; многие пили. Тома с Людой Кирилловой ходили по театрам, старались возвращаться попозже. В общежитии регулярны кражи; к ним привыкли; подозревают девиц из комсомолок — слушательниц партшколы. Публика на газетных курсах — чванная, надутая; все-таки — в своих городах и весях — избранные, причастные власти. Среди костромичей была кологривский редактор Бурнасова. Она рассказывала, как к ней приходил работник госбезопасности, показывал рукописную листовку, в нескольких экземплярах расклеенную по заборам. Там были две частушки; одну из них она запомнила: “Кулиш играет на гармони, Куимов пляшет трепака. Весь район разворовали два заезжих дурака”. (Кулиш — предрайисполкома, Куимов — первый секретарь райкома.)

Тома пересказывала кое-что из услышанного на лекциях. О новых видах оружия, об их стоимости, о масштабах пьянства, о росте смертности по стране за последние годы, о нашем отставании, отставании, отставании, о необходимости военной подготовки молодежи и прочем. Я подумал, что если все эти факты, особенно военного характера, т. е. об орудиях убийства, воспринимать в полную меру чувств и ума, то жить не захочешь. Еще я подумал об ученых людях, которые изобретают это оружие, как о тех, кому нет оправдания. Хотят убивать светом, звуком, отравой — и всё против кого? — против таких же рабочих, крестьян, мелких служащих. Угнетающая, бессмысленная, абсурдная реальность.

Единственный способ жить — ее не замечать. Пока не наткнешься, да?

По городу бродят туристы с последних теплоходов. Со всего нашего бульвара к театру сгребли вороха листьев, чтобы закрыть асфальт: Рязанов продолжает снимать “Жестокий романс”.

8 октября.

Состояние неважное: нужно сделать очень много. Если бы утреннего энтузиазма хватало на вечер!

В понедельник, послезавтра, Никите идти в поликлинику по

направлению военкомата: скоро “приписка”. Думать об этом печально. Наш мальчик начинает знакомиться с государством.

Холодная рука государства.

Бойкие московские сочинители (Киреев, Маканин) пишут так, будто помимо мелкого скандального вздора и отношений полов ничего не существует. Например, нет проблемы государства и общества, и это-то во времена Афганистана и т. п. Для человека, героя литературы, этой проблемы, выходит, нет[207].

Говорить о “социальной зоркости” Маканина — после книг Ф. Абрамова, Б. Можаева, В. Семина, В. Шукшина, Ю. Трифонова — несерьезно. Кое-какая социологическая — возможно: коллекционирование редких “экземпляров”.

Читаю Шервуда Андерсона: там, в “Уайнсбурге, Огайо”, “нелепые люди”, но это живая нелепость — какие только деревья не растут в лесу или старом парке. Эта человеческая “нелепость” (“пестрота”, “кривизна” и т. п.) обычно фиксируется обыденным массовым сознанием, но редко (в случаях преступления закона) интересует общественное мнение и государство. “Странности” — личное дело граждан, пусть они оставляют свои “странности” при себе; государство и общество вправе пренебречь ими как несущественностью. Наша литература в немногих случаях, и то непоследовательно — например, Шукшин, — “опускалась” до “нелепых” людей, “чудиков”, “психопатов”, “нервных” и т. п. Кроме того, Андерсон чувствовал и передавал томление и растерянность человека перед жизнью, обилие смутных и чистых мотивов, их вытесненность, искаженность, иногда несбыточность, а порою — и причудливое воплощение (“Человек с идеями”). У Андерсона жизнь людей поистине жизнь, то есть нечто естественное, колышущееся, непредсказуемое, взрывающееся, выплескивающееся через край... Это что-то трудно себя сознающее, сбивчиво выражающее свои желания, путанно их осуществляющее...

Валенсе дали Нобелевскую премию мира; по литературе — У. Голдингу.

Наткнулся в “Отцах и детях” на фразу: “Нигде время так не бежит, как в России; в тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей”.

23 октября.

Сырой, серый день; совершил после работы свой круг по городу; не по лучшему маршруту (возвращался по шумной и грязной Калиновской), но все же... Шел и думал: деревня и есть; поубирали заборы, дворы раскрылись: длинные поленницы, сараи, сарайчики, помойки, лавочки, дощатые уборные... Под солнцем и это празднично, летом — сквозит поленовское, от

московского, или общерусского дворика, зимой — кустодиевское... Осенью сквозит одними задворками, бедной окраиной, захолустьем... Когда мальчиком жил в Ухтомке, в коммунальной квартире — без канализации и водопровода, где в “ванной” комнате, то есть в чулане, благоухали помойные ведра, прикрытые фанерками, — годились и для ночной нужды, — тогда всю эту бедность и грязь я не замечал, ничего иного, лучшего, не зная и себе не представляя. Если с чем-то свыкаешься, то не замечаешь — ни тех ведер, ничего другого. Когда на лето приезжала погостить из Липецка бабушка Варвара Николаевна, уже старенькая, но еще учительствовавшая, то ходила она в уборную, неся с собою “сиденье”, или как это, запамятовал, называется. Я не сразу сообразил тогда, что это она с собою носит. А проходить нужно было вдоль фасада дома, и не в тихую, а в оживленную сторону двора, потому что там была калитка на улицу, а у нашего и второго подъезда (всего два) обычно сидели люди, играли дети. Дети, увидев бабушку со смешным предметом в руке, посмеивались; про взрослых ничего не скажу, не знаю, судачили ли на эту тему они. У бабушки были седые прямые волосы, откинутые назад и скрепленные большой гребенкой; старая учительская прическа. И нос с горбинкой, и чуть навыкате глаза, и какая-то благородная линия старчески дряблого подбородка все еще сохраняли черты породы, породистости. Когда-то бабушка училась в пансионе благородных девиц — там, где теперь Центральный дом Советской Армии. В школе она преподавала немецкий и французский. Помню, позднее, когда уже жили все вместе на Октябрьском поле, она переводила мне в “Леттр франсез” (?) статью о Фолкнере в память... Так вот — моя бабушка-дворянка, ни на кого не глядя, не замечая никого, шествовала вдоль дома по дорожке к той грязной, поистине общественной уборной, закрываемой на вертушку и часто стоявшей распахнутой настежь... Но привычка могущественна, это было, но словно не было, потому что тысяча вещей и обстоятельств была важнее... Стоит только обжиться, и, когда нет выбора, человек назовет домом и хлев, и звериную нору, и угол на нарах в теплушке, и всякую щель, сохраняющую ему жизнь... Так вот — о привычке: я подумал о ней сегодня, в этот серый, холодный день, когда — не в первый, сказать по совести, раз — подумал, что привык в этом городе многого не замечать, как не замечал тогда в Ухтомке или много позднее, когда жил на частной квартире — у Магницких (правильно: Магнитских; их сын, учитель истории Михаил Павлович, возмущался, когда его фамилию писали через “ц”) или у Людмилы Вячеславовны (фамилию забыл). Если же освободиться от привычки, *скинуть* ее,

то окажется: бедность, еще раз бедность, заброшенность российской провинции, старого русского подворья.

Обычно спрашиваю у Никиты, было ли что интересное в школе. Как-то недавно спросил, чем занимались на военном деле. (Теперь называется: начальная военная подготовка). “Подлостью, — ответил неожиданно Никита. — Проходили*убойную силу автомата*Калашникова”. Вот что его поразило: “убойная сила”. Теперь его приучают к мысли, что никакой подлости тут нет, что это все нормально; он переписывает в тетрадь из учебника все эти данные: скорострельность, дальность стрельбы и т. д., — то есть*привыкает,*чтобы впредь не удивляться.

Система общественного воспитания есть воспитание*привычки.*К правопорядку, к государству, к власти, к иерархии, даже к способу выражать мысли. И ко многому другому.

Жизнь обучает нас вот чему: какую-то экономическую организацию (структуру) общества можно счесть “прогрессивной”, более “справедливой” и “нравственной”, но из этой “прогрессивности” и т. п. автоматически не следует столь же “прогрессивное” политическое устройство. Увы, оно, возможно, и существует в старых, знакомых пределах: от демократической республики до единоличного правления монархического или диктаторского типа, до диктатуры фашистского образца. Если признать отсутствие “автоматизма”, то есть закономерности, обязательности в складывании, формировании политической надстройки, то это в некотором смысле раскрепостит умы, позволит освободиться от привычки этого рода. Исчезнет одна из самых существенных иллюзий нашего “воспитанного” сознания.

26 октября.

Наши размещают новые ракеты в Чехословакии и ГДР; те довольны, никаких демонстраций. Американцы собираются с первого ноября монтировать — или как там это называется — свои “крылатые” ракеты в Англии, Германии и других странах. Наши меры — ответные. По всей Европе — волна демонстраций; в них участвует по двести — четыреста тысяч человек. Но эти сотни тысяч беспомощны; две державы в лице своих лидеров уперлись лбами, и никто не хочет уступать.

Нас без конца потчуют цифрами: число ракет, ядерных зарядов, бомбардировщиков и т. д. Хотят, чтобы мы были “в курсе”; мы давно уже “в курсе” многих специальных проблем: надоев молока, урожаев, капиталовложений и т. д. Но сколько бы ни были “в курсе”, как бы ни преуспевали в познаниях этого рода, все это бессмысленно и бесполезно. Наши голоса и наши

суждения не значат ничего. Я еще не думаю, что они дружно спихнут мир в пропасть. Но им почему-то выгодно балансировать на краю, а это опасно и страшно. Дж. Шелл в своей “Судьбе земли” говорит точно: бессмысленно ставить идеологии, доктрины, концепции впереди жизни; впереди надо ставить жизнь; мы дожили до времени, когда нужно сделать этот выбор.

Английское радио вчера и сегодня сообщает о том, что пропавший в Италии журналист-международник Олег Битов, брат Андрея Битова, обнаружился в Лондоне, получил временное убежище и сделал заявление для печати. Первая публикация “ЛГ” об исчезновении Битова хотя и упирала на его возможную гибель (может быть, его труп скрыт в водах венецианского канала), но хитрым образом заранее обговаривала все другие возможные исходы этого происшествия, упоминая коварные методы иностранных разведок по психологической и прочей обработке людей, попавших в их руки. Выходит, это было сделано не напрасно.

Виктору Бочкову сократили обычные для него выступления по линии Общества охраны памятников старины. Якобы сделано это по указанию сотрудника госбезопасности. Не Сергея ли Сергеевича Павлова, любителя книг?

Недели две назад В. Шпанченко рассказал мне, что жена его нашла у сына, ученика четвертого класса, записку, отпечатанную на машинке, с нарисованным одноглавым орлом и свастикой. Текст был приблизительно таким: “Дорогой друг, становись в наши ряды, приходи туда-то к таким-то часам, приводи своих друзей...” Жена Володи, кажется, ходила к месту сбора, но никого там не видела. Шпанченко уверял меня, ссылаясь на знакомого работника милиции, что уже дважды или трижды в апреле “неонацисты” собирались около кинотеатра “Дружба”, а обычные их сборища проходят в поселке “Первомайский”, т. е. на окраине города.

30 октября.

С туристским автобусом приезжали Кузьмины — Володина[208] родня. Вчера вечером сидели у нас, ужинали, разговаривали — обо всем понемногу. Есть разница в возрасте, разные профессии, — это неизбежно мешает более короткому контакту. Привыкать трудно, но постепенно привыкаю.

Людмила Семеновна вспоминала молодость, первые послеуниверситетские годы, когда она и другие девушки работали на урановых рудниках — маркшейдерами. Было это на Украине[209], некоторые потом были переведены в Восточную Германию. Девушки потом болели, но даже врачам не говорили,

откуда у них эта хворь. “Не работали ли вы с рентгеновскими аппаратами?” — спрашивали врачи. “Нет”, — отвечали, т. к. были засекречены и боялись. Рудниками занималось тогда ведомство Берии.

Кузьмины чтят Сталина; критицизм распространяется на последующие времена, которые чтить вождя народов не хотят.

В споры я не вступал; Тома — тем более; были взаимотерпимы, хотя в политику старались не вдаваться.

Вчера-сегодня на площади у каланчи — т. н. “ярмарка”: “Осень-83”. Понаставили вокруг круглого сквера (“сковородки”) торговых киосков и лотков, поводружали на палках разных зазывных надписей в народном стиле, поднакопили товаров: от шашлыков — до детских одеял, — и выбросили в торговлю. Народу — черная туча; Иван Кожевников рассказывал, как прельстился шашлыком, выстоял очередь, но ему не дали, заявив, что без “ста грамм” — никаких шашлыков. Тома говорит верно: ярмарки устраивались от изобилия товаров, наша “ярмарка” — от недостатка товаров. Традиций так не восстановить, да об этом всерьез и не думают. Используется старое слово, а содержание его подменяется; главное — видимость. Как бы ярмарка. Как бы праздник. И многое еще — как бы.

Шпанченко ездил в Павино в командировку. Зашел вечером в магазин купить хлеба — не продали: по талонам! Буханка на человека. Попросил у инструктора райкома немного картошки. Она не поняла: мешка три-четыре? Он объяснил: несколько картофелин, чтобы сварить на вечер. В столовой ему поесть почему-то не удалось; кажется, была закрыта. Сварил картошки, что делать!

Негорюхин и Пашин совершили набеги на библиотеку умершего старого врача-психиатра Шайновича. Кое-какие пустяки Негорюхин отдал мне: несколько номеров газет и партийных журналов 30 — 40-х годов. Из интересного там есть речь Молотова на сессии Верховного Совета СССР осенью 39-го года и, например, заметка в “Правде” (1940): “51-я годовщина со дня рождения Адольфа Гитлера” и т. п.

Отыскали они у Шайновича и стенографический отчет о процессе (1931) над меньшевиками. Чтение поучительное. Прочел часть текста, относящуюся к Кондратьеву и Чаянову (косвенно).

Западное радио прекратило все сообщения о судьбе О. Битова. Не выдали ли они желаемое за действительное? История темная.

11 ноября.

<…> За несколько дней до праздников отправил В. О.

<Богомолову> бандероль с путеводителем, старыми костромскими открытками и со справками (составил Виктор) по госпитальным костромским зданиям[210].

Сегодня впервые слегка присыпало тротуары снежком. А восьмого было тепло, и мы с удовольствием поиграли в футбол на обычном своем месте у Посадского леса.

За исключением “Писем незнакомке” прочел сборник публицистики Андре Моруа. Там и политика, и история, и мемуарные записи. Несколько странно, что это у нас издано. Настроения и ситуация во Франции и Англии перед Второй мировой войной и в самом ее начале выглядят иначе, чем в нашем официальном освещении. Например, Моруа дважды или трижды пишет, что французские рабочие, находившиеся под влиянием коммунистов, саботировали после августа 1939 года (заключение советско-германского пакта) работу военных заводов. С явным неодобрением пишет Моруа о внутренних раздорах во Франции перед войной, возлагая часть вины на Народный фронт. Неожиданным для меня был портрет Чемберлена. Но самое удивительное — как проглядели! — толкование политической свободы, критика тоталитаризма, рассуждения о необходимости оппозиции и т. д.

Прочел пьесы О. Кучкиной “Синицы в октябре” и Л. Петрушевской “Три девушки в голубом” (“Совр. драматургия”, № 3). Петрушевская <...> твердит об одном и том же: стержень всего — инстинкты пола и связанная с ними неудовлетворенность. Талантливое у нее — какое-то теснимое, гонимое; чуть только вздохнешь — опять тот же “пунктик”, какая-нибудь знакомая — по той рукописи прозы, что ли, — фразочка выплывает... И вообще после нее, да и после Оли Кучкиной — тяжелое чувство. Будь у меня время, написал бы: “Что делать с этим ужасным миром?”, “И почему вы его так настойчиво демонстрируете?”, “Если поверить, что мир таков, жить невозможно”, “И вот странность: почему вы однообразны, монотонны и не впускаете в ваш мир *иного* человека?”

О. Кучкина идеологически расчетливее: она ввела бабу Феню — Арину Родионовну, домработницу, светлое пятно, народный корень. Она ввела столько этой бабы Фени, что явно переборщила. Но хотя бы она может отбиться: вот у меня положительный герой, здоровая струя.

А все-таки жаль, что литература обратилась в эту сторону.

Увы, эти герои из испорченного инкубатора — сами виноваты в своих несчастьях. В сущности, они не знают ни настоящих несчастий, ни настоящих трудностей существования. Они сладострастно лелеют свои беды и не хотят никаких перемен. Это

клиническая картина неврастении в острой хронической форме. Раньше все это стыдились выносить на люди.

25 ноября.

Сегодня в “ЛГ” Л. Петрушевская объясняет, что она стоит за правду.

Господи, дай мне силы справиться с Большими рукописями, и тогда я кое-что от души напишу о “новой драме”, еще раз об “экстрасенсах” и т. д.

Отправил в “ЛГ” по “заказу” С. Селивановой две “поздравительные” страницы к юбилею Залыгина. Жанр тяжелый.

Два письма от Бакланова: первое о болезни дочери, второе — комментарий к моим цитатам из Честертона.

У Никиты в школе сегодня читал лекцию сотрудник госбезопасности. Призывал не слушать западные радиопередачи. Тотчас после уроков мальчишки из Никитиного класса отправились в кабинет физики послушать, что же там такое говорят.

Сообщено о том, что мы ушли с женевских переговоров[211]. Сегодня по телевидению читали Заявление Генерального секретаря Андропова. Не припомню, чтобы были “заявления” людей в этом же ранге, даже Сталина. Почему не Заявление правительства?

После отзыва Аннинского в “Новом мире” прочел “Свет на горе” В. Тихвинского, человека поколения Семина; на фотографии — лицо раввина со многими печалями в глазах. Пожалуй, это одна из самых значительных книг года. Она явно написана после семинского “Знака”, но по материалу и способу рассказа — совсем иная. Глазами подростка — невнятица оккупационного быта, необычный образ “подполья” и его борцов. Обыденность и неотчетливость мужества.

О ракетах, “холодной войне”, о растущей и разжигаемой напряженности писать не хочется. Как писать о безумии?

Никита с одноклассниками ходил на мед. комиссию в военкомат. К десяти утра вызвали мальчишек из трех школ города. Никита пришел домой в пять часов. Их школа оказалась в очереди третьей. Несколько часов сидели, слонялись, слушали грозные команды прапорщика. Вопрос: зачем военное ведомство, которое должно отличаться строгим и разумным порядком, образовало эту слоняющуюся толпу? Может быть, нарочно, чтоб*привыкали* к крику командиров, к запахам этих казенных коридоров, к обстановке долгого ожидания и подчинения? Вам не нравится? Ничего, посидите, потерпите. Вами распорядятся. Начальство знает, что делает. Хоть несколько этих часов, но мы

дадим вам почувствовать, что вы сейчас уже не принадлежите себе и своим семьям, а — государству.

— Ну и как тебе, понравилось? — спросил я Никиту.

— Не очень, — ответил он, достаточно выразительно произнеся эти слова.

25 ноября.

Сейчас Лондон сообщил о смертном приговоре бывшему директору “Елисеевского” магазина в Москве. Должно быть, он и в самом деле был проходимец, но стоит ли убивать, если он никого не убивал и не организовывал убийств? Чтой-то, помнится, Короленко писал насчет смертных казней, и Толстой тоже, и Вернадский. Пустое дело. Все забыто напрочь. Вообще все эти писатели-ученые много глупостей понаписали-понаговорили. Утописты.

Ходил сегодня по улицам, — тепло, легкая метель, сумерки, — среди прочего думал о том, как можно было бы начинать “роман” автобиографического типа. О том, что можно утром не зажигать свет, не смотреть на часы (будильник бездействует, в продаже давно нет батареек), потому что ровно в семь, спускаясь с пятого этажа, возбужденно тявкает собачка, а в семь часов пять минут выходит на площадку соседка, и что-то весело щебечет ее маленькая дочка: они спешат в детский сад. Вот и подъем... Повествование должно быть очень подробным, особенно в области быта — домашнего, служебного, уличного, прочего; все детали этого рода не стоит драматизировать — чем обыденнее, спокойнее, тем лучше; это *привычное;* если кому-то покажется дичью, абсурдом, то это не наше дело — не героя, не автора.

В “Новом мире” В. Карпов (“Полководец”), пожалуй, продемонстрировал некое свободомыслие. Во всяком случае, по отношению в Верховному он настроен явно критически. Кроме того, рассказал историю своего ареста в 39-м, т. е. напомнил об атмосфере сыска, доносительства и репрессий.

Хорошие впечатления от знакомства с Леонидом Поповым, бывшим геологом, ныне сотрудником райгазеты на своей родине (Вохма).

11 декабря.

Девятого числа я уже опять работал, ночью вернувшись автобусом из Москвы, с дня рождения С. П. Залыгина (70-летие). <...> Залыгин пригласил меня по телефону, сказав, что будет человек восемь, и подробно объяснив дорогу к переделкинской даче. День рождения Томы пришлось отметить 4-го, и впервые, кажется, в нашей домашней истории я отсутствовал шестого

декабря. Отказаться от приглашения Залыгина было невозможно, особенно если вспомнить, что я регулярно уклонялся (дважды по крайней мере) от участия в проводимых им лит. мероприятиях. Подарки я повез сугубо провинциальные: акварель А. Мухина “Дом Акатовых”[212] и поделки из бересты. Не разворачивая, отдал жене Сергея Павловича. В это как раз время талмудисты из Цека комсомола на втором этаже дачи зачитывали свой приветственный адрес. Я волокся со своей картиной и цветами в ранней декабрьской тьме, приближаясь к цели, когда эти деятели догнали меня на черной “Волге” <…> Оказалось, что калитка четвертого дома — перед нами. Мы туда так и двинулись втроем; я — догадываясь, — по их папочкам под мышкой, — откуда они, из каких кругов. Пройдя лишь несколько шагов, встретили Залыгина, спешащего с помойным ведром (“Женщины послали!”), и, когда, дожидаясь, стояли у дачи, один из молодых незнакомцев спросил меня, не Дедков ли я? Оказалось, что он участвовал в семинаре сочинителей Нечерноземья, который проходил в свое время в Костроме. <…> Залыгин угостил их рюмочкой и быстренько от них отделался. Оказалось, что для приема поздравлений было отведено время с 12-ти до 4-х дня. Первыми появились венгры из посольства, сообщившие о награждении Залыгина орденом Лаврового венка третьей степени. Делегация “Лит. газеты” во главе с Е. Кривицким привезла поздравление, исполненное в виде большого телеграфного бланка, где под текстом расписались многие сотрудники газеты. Привезли и “ЛГ” — завтрашнюю, за 7-е число, где наши с Быковым поздравления юбиляру. Были, как потом мне сказал Распутин, “молодогвардейцы” Десятерик и Машовец. И спросил, не встретился ли я с ними?

Оказалось, что двухтомник Распутина выходит не с моей статьей, а со статьей надежного Овчаренко. Я же этого даже не знал: не соизволили сообщить. Впрочем, я как-то не расстроился.

Следом за мной появился Крупин, приволокший старинный небольшой письменный стол (на одной ножке), купленный совместно с Распутиным и Беловым. Мы втащили его в гостиную на втором этаже, где он встал к стене так, будто был здесь всегда и его просто на время выносили. Вскоре пришел В. Утков, друг-приятель залыгинский с 30-х годов: знакомы без года полвека. Потом образовалась пауза, и мы втроем сидели в гостиной, и Утков с Залыгиным вспоминали предвоенные, в основном сибирские, истории. В частности, Драверта, Л. Мартынова, Г. Вяткина. С. П. очень интересно рассказывал о студенческой поре. (Жена его училась с ним в одной группе, хотя была и моложе, т. к. Залыгин пришел в институт после техникума и

работы). Говорил, что отношения студентов и профессуры были совсем иные, чем теперь, да и вообще в послевоенную пору. Рассказывал, как, прогуляв всей группой ночь — с гитарой, веселые, бесшабашные, заявились под утро к дому своего профессора гидрологии, под его окна, и, наученные и вдохновленные одним энтузиастом-весельчаком, стали выкрикивать хором: “Товарищ профессор, примите у нас экзамен!” Перебудили весь дом, жильцы возмущенно высовывались, а встрепанный профессор отнесся к их просьбе всерьез, зазвал к себе, дал им задание, велел готовиться, а сам удалился на рыбалку. Его “мщением” было долгое отсутствие, а наградой за дерзость — пятерки всем, т. к. ответы на вопросы были аккуратно переписаны из учебников. Единственную четверку получил самый честный: он отвечал не заглядывая в учебники.

Залыгин, нужно отдать ему должное, очень высоко отозвался о двух своих тогдашних товарищах, охарактеризовав их способности и познания как выдающиеся. С сожалением добавив, что их судьба не сложилась, как это часто случается в провинции. Учись и живи они в Москве, добавил он, они наверняка добились бы очень многого. А так — самый талантливый из круга залыгинских друзей не поднялся выше преподавателя в Кустанайском техникуме. Позднее Залыгин пытался “перетащить” его на свою кафедру, но тот не согласился.

13 декабря.

У Залыгина были: Крупин, Распутин, Белов, Адамович, Утков. Стол был накрыт на первом этаже в небольшой столовой. Всей компанией выпили бутылку водки под названием “Золотое кольцо”. Прекрасный английский (индийский) чай запили шампанским. Сибиряки (хозяин, Утков, Распутин) пытались показать класс в потреблении пельменей, но большого энтузиазма не было. Пили умеренно, разговорчивость была тоже умеренной. Более других говорили С. П., Белов, Адамович. Обсуждали вчерашнюю передачу: затянули сцену из спектакля, актер (Бочкарев) мало подходит для роли Устинова[213], хорошо, что удалось сказать о Твардовском. Адамович жалел, что сократили, вырезали его сопоставление мужиков у Залыгина и Абрамова: выходит, с годами поглупели и т. д. Вспоминали Твардовского и “На Иртыше”. Белов убеждал, что сегодня в таком виде не напеча<та>ли бы. Посмеивался, что имя Ю-рист показалось бы подозрительным из-за этого “Ю”. Кто-то, кажется Крупин, говорил, что вместо “русский народ” цензура советует писать: “наш народ”. Выходит, они хозяева, а это их народ. В

какой-то момент Белов философически заметил, что жизнь и смерть одно и то же, как и капитализм с социализмом. Чуть не всю Европу проехал, сказал, а разницы не заметил, не углядел. По поводу жизни и смерти Адамович спросил: так что же социализм при таком сравнении — жизнь или смерть. А ты сам ответь, сказал Белов. Две стороны одной медали, ответил Адамович.

Залыгин вспоминал приезд Твардовского в Новосибирск вскоре после появления “На Иртыше”. Залыгин болел, лежал в больнице, и Твардовский решил его навестить. Когда же появился на трапе самолета, увидел, что С. П. его встречает. Твардовский был подвыпивши, заворчал: знал бы, что на ногах стоит, не полетел бы. Спустился, предложил сходить в буфет, выпить коньячку. Залыгин тогда твердо заявил: едем домой, есть пельмени и коньяк, или же я ухожу. Твардовский подумал, подумал: коньяк, говоришь, будет? Тогда едем.

Когда в тот приезд пришли с визитом вежливости в обком, Твардовский спохватился, что нет курева. Тогда секретарь обкома вызвал помощника, попросил сходить за сигаретами. “Купите Ароматных””, — наказал Твардовский. Вернулся помощник смущенный, мнется чего-то. “Ну, купил? Давай!” — говорит ему секретарь. Тот как-то нерешительно лезет в карман, неловко вытягивает маленькую пачку. Эти? Он необычайно удивлен, что именно эти, чуть ли не самые дешевые, и такой большой человек курит! А Твардовский все последние годы курил только “Ароматные”.

Пока Залыгин поджидал в аэропорту Твардовского, там же был первый секретарь обкома партии Горячев со свитой: ждали прилета Воронова[214]. А пока топтались, переминались с ноги на ногу, такая у Залыгина с Горячевым вышла беседа. “Ты скажи честно, — сказал начальник, — это Твардовский тебе заказал написать “На Иртыше”? Небось по телефону все объяснил, что там должно быть, план подсказал?” Залыгин, разумеется, стал удивленно его разубеждать. Тогда Горячев подозвал свою свиту и, посмеиваясь, обратился к ней: “Смотрите, своих не выдаёт. Учитесь. Небось дойдет до вас дело, так меня с потрохами и продадите”.

Вспоминал С. П. и последние (ходили с женой) посещения больного Твардовского, когда он уже не мог говорить, а руки дрожали так, что писать было невозможно. От облучения волосы вылезли, сидел с пушком на голове, пытался что-то объяснить, попросить, нервничал, Мария Илларионовна пыталась угадать желание, не получалось, он гневался, она плакала. Сунула сигарету в угол рта, успокоился, посветлел. А Залыгину показывал, что жует что-то, “пельмени вспоминал”...

Белов сказал, что Солженицын написал о Твардовском плохо, неблагодарно.

Адамович вспоминал, как в зале Чайковского Союз писателей проводил вечер, посвященный Твардовскому (какая-то была круглая годовщина). Перебирали кандидатуры докладчиков, почему-то неожиданно остановились на Адамовиче, Мария Илларионовна одобрила. Адамович удивился, но согласился: большая честь. Когда приехал в Москву, узнал, что доклада он делать не будет. То ли совсем без доклада, то ли кто-то другой найден. В тот день Адамович побывал в “Новом мире”, в “Дружбе народов”, спрашивал, идут ли на вечер. Никто нигде о вечере не знал. Единственное скромное объявление увидел у входа в Зал Чайковского. В фойе толпилось много солдат, какой-то учащейся молодежи. Писателей не было. Потом чинно, с папками под мышкой прошли “Гертруды” (Герои Социалистического Труда. — Залыгин, кажется, слышал это “сокращение” впервые!) во главе с Марковым[215]. Зал не был заполнен, солдат не хватило, Залыгин сидел в президиуме, готовился выступать, что-то черкал: он еще не знал, что слова ему не дадут. С наибольшим триумфом выступал Е. Исаев. Лакшину слова не дали тоже. После окончания этой томительной процедуры Мария Илларионовна за кулисами говорила Маркову: “Я вам этого никогда не прощу”. Будто они нуждались в прощении.

Залыгин рассказывал, как ездил с Айтматовым в Вену: кажется, по издательским делам; да, по приглашению небольшой издательской фирмы.

24 января 1984 года.

Пятого января я закончил 388-ю, и последнюю, страницу рукописи о Залыгине. Теперь жду, что скажут эти подозрительные издатели из “Современника”. Странно, но Залыгин не откликнулся на мои новогодние поздравления, можно подумать, что он за что-то на меня обиделся. На мои юбилейные отклики в “Лит. газете” и “Дружбе народов”? За то, что недостаточно юбилейны?

Самому мне то, что я написал (рукопись), пока нравится. Во всяком случае, это много сильнее, — так я чувствую, — первых двух книжек. Но захотят ли это заметить?

Уже в январе переделал и дописал на треть статью о Распутине для “Нового мира”. Написал рецензию для ярославского издательства (Г. Никифоров). Сегодня правил и дописал статью (фрагмент статьи) “По ту сторону жанра”. Корнилов увез в Саратов; вроде бы “Волга” собирается отметить мое 50-летие.

Это несчастное 50-летие! Куда мне деваться, как ускользнуть, не отмечать, не собирать сборища в библиотеке, где проходят эти наши процедуры!

Пока гоню все это из головы. Говорю себе: еще успею, не до этого.

Вот-вот “Сов. писатель” напомнит мне, что им-то рукопись я не отправил, и тогда-то я возьмусь за сочинение слезного прошения — о продлении и проч., и проч.

Надо дописать оборванную предыдущую запись: Залыгин рассказывал, что Айтматов держал себя в Австрии с чрезвычайным достоинством. Когда после сочинения Айтматовым какой-то дипломатической бумаги (удачного) С. П. сказал ему, что он, Айтматов, мог бы быть послом, тот пренебрежительно спросил: “Здесь?” Любопытно, что в аэропорту Айтматов очень искал комнату для парламентариев. Долго ходили, до отлета, не нашли. Жаль, сказал Айтматов, нет времени, все равно бы нашел.

С удовольствием читаю Карла Поппера. Кажется, образуется интересная переписка с Т. Руллисом (Рига)[216].

В недавно вышедшей книжке В. Леоновича “Нижняя Дебря” мне посвящено стихотворение о волжском буксире, воющем и кричащем у брегов Костромы.

Надо бы записать о том, как Кожинов и Ю. Кузнецов провозгласили галичанина Виктора Лапшина, когда-то поддержанного и впервые замеченного мною, — едва ли не гением.

Повеяло крепким духом мафии.

Остальная жизнь еще более замечательна.

Я тщусь все успеть и не замечать, сколько мне лет. Чему-то внутри, кажется, нет сноса, а все остальное изнашивается.

Сегодня впервые немного рассказал Никите об университете в 56 — 57 годах. Совсем немного.

29 февраля.

<…> Ну а потом умер Андропов. И появился новый выдающийся руководитель — Черненко.

Три дня все гадали: кто же? Кто будет? и чьи же “выводы и положения” следует нам отныне “класть в основу”?

Все устроено так, что преемственность не обеспечена. На место президента не встанет вице-президент и т. д.

В таких случаях предпочтительнее “автоматизм”. “Автоматизм”, узаконенный конституцией и признанный народом.

А так — что ж… Небольшая группа профессиональных руководителей решает, не спрашиваясь у народа, *кого* объявить

“выдающимся”, “несгибаемым” лидером и вождем.

“Автоматизм”, правда, есть и тут: первое лицо в партии автоматически становится первым лицом в государстве.

Мнение народа в распределении власти, таким образом, не учитывается.

И нам это неудивительно.

За это время отправил статьи о Быкове (“Север”), Распутине (“Новый мир”). Корнилов отвез статью “По ту сторону жанра” (по сути, фрагмент статьи) в “Волгу”. Это была его инициатива, чтобы что-то в “Волге” появилось к 11 апреля, но я не очень-то верю в это появление. Пока насчет всех этих статей (во всех трех — полемический уклон) — неопределенность.

На днях — событие: позвонил после нескольких лет молчания Игорь Виноградов. Это он получил от меня очередные тома Достоевского с открыточкой, где было: “Уж очень сурово ты молчишь”. Вот он и отозвался. Я этому обстоятельству рад.

Теперь костромская культура — без Коли Шувалова. Он замерз вечером 25 января недалеко от дома, возвращаясь после обсуждения выставки Каткова. Говорят, что это был Татьянин день, и что теперь они с Таней опять воссоединились, и что он предчувствовал свой уход... сердце его уже не было прежним упрямым сильным сердцем акробата и строптивого художника...

У нас в моей комнате висит его картина молодой поры, где лимон на синем подоконнике на фоне белоснежных гор. Однажды, помню, девятого мая Коля с Таней зашли к нам и сидели на старом нашем диване под этой картиной. <...> Был какой-то славный, трогательный день, и мы разговаривали о наших детях. Теперь их Колюша — взрослый, женатый человек, столяр в Худфонде и — пьющий... А когда-то Коля говорил мне, что их Колюша видел с балкона летающее блюдце... И что сам смастерил электрическую гитару...

Звонил П. Ульяшов (“Лит. Россия”), спросил, не против ли я буду, если газета отметит наше с Л. Аннинским 50-летие публикацией нашего “диалога” в виде фрагмента из нашей переписки, который Лева взялся подготовить. Я опрометчиво сказал: если Лева считает, что это возможно (т. е. возможно подготовить), то я на него полагаюсь и не против... Но теперь я задумался: а что из этого выйдет? Приличное ли что выйдет? Не получится ли к тому же нечто похожее на запись шахматной партии, где белые начинают и выигрывают?..

Из чтения миновавшего месяца: “Вечный город” Проханова, новые повести Маканина и Гранина в “Новом мире”, повесть Н. Катерли в “Неве”, фантастический роман А. Богданова “Красная звезда” (для выступления в библиотеке о фантастике), “Агнец”

Мориака, “Равновесие” В. Портнова (Баку), Л. Яновская “Творческий путь Михаила Булгакова”, “Проделки Скапена” Мольера, шестой том А. Твардовского, повесть Р. Киреева “Ладан”, рассказы Г. Абрамова и — особо важно! — статьи Питирима Сорокина в “Экономисте” (1922) о влиянии войн и голода на состав и судьбы народов, прежде всего — русского. И еще — К. Поппер, и новые китайские повести, и книжка Н. Котляревского “Девятнадцатый век” (1921) и т. д.

Из почты: интереснейшие статьи из Симферополя от И. Т. Шеховцова, письма от Т. Руллиса, В. Леоновича, Л. Лазарева и др.

Через это — преодоление костромского одиночества и “отшиба” — ощущение своей “нужности”.

Совместное с Никитой чтение “Военно-исторического журнала” за 1964 год, где множество свидетельств о временах сталинских репрессий (журнал взял, чтобы прочесть воспоминания Энгельгардта “Потонувший мир”; о них узнал из переписки Твардовского).

Во второй половине дня — уже весна. Течет с крыш. Снега совсем мало. Метели бушевали над Америкой. У нас стояло бесснежье. Ослепительное солнце; вылезаешь на волю — слезятся глаза; прекрасная пора — в самом воздухе, в блеске дня, в синеве неба — бодрость, хожу и глубоко дышу...

6 мая.

Первый весенний дождик, деревья в легком зеленом тумане, воскресный день, томительный от долгого чтения и неписанья; из-за дождя сорвался футбол, и мне кажется, я чувствую эту нехватку движения.

Не думал я, что с 11 апреля свяжется столько переживаний, но после нашего возвращения из Москвы с похорон Людмилы Семеновны Кузьминой начались... приезд гостей, моих родителей, Володи, Оскоцкого с Ниной, Анфиногенова, Стасика Лесневского, Тани Львовой, Саши Шпикалова, празднество, проводы, переживание того, как все произошло, полученных поздравлений и т. д.[217].

Кажется, все было неплохо, восстанавливать подробности я не буду, остаются телеграммы, газетные вырезки, письма — этого достаточно для памяти, есть и фотографии; остается сберечь подробности иного рода: на вечере в библиотеке присутствовал Сергей Сергеевич (Павлов) из госбезопасности (подошел, поздравил, сидел в зале), был и любитель словесности — бывший начальник отдела, полковник госбезопасности в отставке Виктор Гаврилович Лавров <...>; ну, еще подробность: вечером, то есть к вечеру десятого, в союз позвонили из обкома и раздраженно

спросили, почему до сих пор не представлен план (сценарий) проведения завтрашнего вечера в библиотеке; наутро Бочарников, которому поручили быть ведущим, отправился в обком, чтобы представить требуемое; вечером же десятого в секретариате “Северной правды” появился Тупиченков[218], чтобы “посмотреть” полосы (в номере шел мой текст и несколько слов обо мне <…>).

Словом, областное начальство выдало свое ко мне отношение, оказав мне тем самым добрую услугу: юбилей прошел таким образом, что мое несовпадение с “официальной линией” оказалось заметным, и думаю, в глазах собравшихся это меня никак не уронило, а скорее наоборот — вызвало расположение и лишний раз подтвердило мою здешнюю репутацию; впрочем, и без этой “услуги” ход вечера (с воспоминаниями Анфиногенова[219] о пятьдесят седьмом годе — и моими) подтвердил бы то же самое: некоторую трудно добытую мною независимость.

Огромное впечатление — работа Светланы Алексиевич “У войны не женское лицо”. Все остальное (из прочитанного) — ниже и слабее, то есть идет по разряду “ремесла”; и — не мастеровитого.

Понадарили часов, всюду часы — глаз натыкается, — словно смотреть и вздрагивать: время уходит, иссякает, торопись, не транжирь.

Два недавних выпускника Никитиной школы тяжело ранены в Афганистане, лежат в госпиталях Москвы и Ленинграда; один — убит, его мать написала письма в инстанции, что школа о ней не заботится, ничем не помогает; а школа ответила: откуда мы могли про это знать, мы ничего не знали, не ведали; теперь об этом узнали все старшеклассники.

И это потери — известные, не скроешь — всего лишь в одной школе Костромы.

8 мая.

Сообщили, что от участия в Олимпиаде отказываемся; решение, разумеется, принято единогласно.

Сегодня по телевидению, в канун дня Победы, показывали фильм сорок второго года “Антоша Рыбкин”; не впервые ли показывали?

Веселая разухабистая война; повар Антоша Рыбкин (Борис Чирков), переодетый в немецкую форму, заманивает вражеских солдат в реку, они плывут за ним как бараны, а он, усевшись в лодке, кричит им: “Хенде хох!” — и палит, палит из автомата, и хохочет, и веселится, пока не исчезают последние поднятые вверх

руки.

Эта комедия сочинена режиссером Юдиным; никак не удается забыть, что в титрах: Алма-Ата, сорок второй год. Враги изображены придурками и идиотами, наши веселятся, а в атаку идут, спрыгивая с грузовиков; их подвозят на поле боя, как косцов на луга.

К Люде Кириловой в отдел писем[220] приходил житель села Неверова Нерехтского района, принес благодарность, просил напечатать, благодарил за то, что помогли похоронить сына, убитого в Афганистане, поставить памятник. Люда объяснила, что напечатать невозможно, разговаривала участливо и услышала рассказ, как этот человек попросил солдата, сопровождавшего цинковый гроб, приоткрыть крышку; отец увидел в гробу только половину тела, сильно обожженного. Рассказывал он с подробностями, но Люда их Тамаре не повторила. Теперь он жалеет, что посмел взглянуть; теперь он не забудет увиденного, думаю я, до конца своих дней, и ничто уже не смоет в его памяти этой картины. Он увидел то, что было его сыном.

Недавно в доме, где живет Люда, в Черноречье в один день хоронили двоих молодых людей: один, строитель, спьяну разбился, вывалившись с восьмого этажа строящегося дома; другой — погиб в Афганистане. Люде рассказывали, что работники военкомата с этим страшным известием приходят поздним вечером, часов в десять — одиннадцать, непременно с медсестрой и врачом. Приходится “откачивать” матерей и других близких; объявляют, что сын погиб, прибыл цинковый гроб, могила уже подготовлена, похороны завтра во столько-то часов; памятник заказан.

Был случай: в редакцию прислала письмо мать погибшего юноши, возмущенная тем, что памятник сыну привезли домой и оставили, не позаботившись о дальнейшем.

Заодно, разговорившись, обычно молчаливая Люда рассказала о своих братьях, родном и двоюродном, первый — танкист, участвовал в событиях 68-го года в Чехословакии; взрывом какой-то гранаты обожгло глаза, сейчас инвалид, но частично зрение сохранилось; ему пишут письма товарищи по госпитальной палате, все они постепенно ослепли. Двоюродный брат оказался на полуострове Даманском. Участия в бою не принимал, но пригодился при захоронении трупов. После демобилизации женился, сейчас двое детей. Не очень давно заболел: ночные военные кошмары. Поставили на учет в психиатрической лечебнице.

Народ велик, на это надежда и расчет; можно успокоить себя, сказав, допустим, что погибает не больше, чем при

автомобильных катастрофах или при эпидемиях гриппа. Действительно, народ настолько велик, что даже массовые репрессии как бы “пощипали” его; царапины, небольшие, быстро затягивающиеся ранки. Все эти потери в людях сносимы, терпимы, если ты твердо уверен, что тебя и твоих близких они не коснутся. Поскольку люди, ведущие всю эту большую политическую игру, *твердо уверены,* играть они могут достаточно долго. Не думаю, что воображение у них сильно развито. Воображение — удел слабых и малозакаленных.

Темь и тайна, в которую погружены наши потери, — *наше несчастье,* — говорят о том, что это нечистое дело боится света и гласности. Надо иметь в виду и то, что родители, имеющие сколько-нибудь власти, влияния, связей и вообще хоть какое-то общественное положение, делают все, чтобы обезопасить своих сыновей. Другие родители бессильны что-либо предпринять, они твердо усвоили, сколь малы и беспомощны они перед государством.

Вьетнамскую войну сопровождала гласность; были протесты, были “отказники”, попадавшие под суд или бежавшие в какую-нибудь Швецию; потери обнародовались; цинковые гробы прибывали при свете дня; печать не обходила ни войны, ни потерь молчанием.

Не надо меня поправлять; я знаю, какова разница в этих войнах; разница несомненна. Многие годы мы живем в условиях безошибочной внешней политики нашего государства; во внутренней политике (экономической и прочей) бывали просчеты и тому подобное; внешняя, судя по внедренной в наше сознание оценке, безупречна. Если дело обстоит так, то наши афганские потери исторически необходимы, исторически оправданы. Но стоит допустить, что за объективную необходимость порой выдается обыкновенный человеческий просчет, скоропалительное, плохо обдуманное решение одного или нескольких человек, а то и вообще чья-то глупость, то вся эта политическая и военная неизбежность предстает в ином свете: может быть, выпускник 32-й школы Зотов (имени пока не знаю) и многие другие русские юноши погибли потому, что какие-то афганские ррреволюционеры и их наши советчики переоценили свои силы, возможности, расположение к социализму афганского народа и решили ускорить ход этой чересчур *медленной истории*. И ускорили, и, поубивав друг друга в борьбе за власть, стали ускорять дальше. Я смотрю на Бабраля Кармака или Кармака Бабраля, или как там зовут этого выпускника ВПШа, и думаю, с каким чувством читает он сводки советских потерь? Представляет ли он себе, как плачут в России и Средней Азии и на Кавказе

матери и невесты? Считает ли он, что слова “интернациональный долг” — исчерпывающее, исцеляющее объяснение? Что-то не попадалось мне сравнение (в газетах) Афганистана с Испанией; <…> там воевали с фашизмом, и дальнейший ход истории показал, как они были правы, воевавшие там! Туда ехали воевать со всего света; наши солдаты умирают в Афганистане одни; а что, если они защищают собой просто-напросто несостоятельных политиков? И хуже того — политиков, не знающих, как исправить допущенные ошибки? Людей, не умеющих переводить политические отвлеченности в человеческие жизни, выражать их — в жизнях; не умеющих или не желающих *так* считать?

Существует версия: в этой пограничной с нами стране нарастало американское влияние. Но вспомним, что Афганистан — первое государство, установившее с нами дипломатические отношения, вспомним, что послевоенные, особенно после смерти Сталина, наши отношения развивались благополучно, что король Афганистана не раз наезжал в Москву и москвичи выстраивались вдоль улиц, приветствуя его. Кто скажет, нарастало ли на самом деле американское влияние, и если нарастало, то в результате чего? наших ли промахов, нашего ли усердия в поддержке Тараки? наших ли более сложных интриг? Кто, через сколько лет скажет, что оттолкнуло от России афганского короля? Может быть, он предчувствовал, что его убьют? Убьют при негласной, а может быть, и явной поддержке тех, с кем он долгие годы был дружен? Говорят, что шоссе до Кабула от нашей границы построено при короле?

Тяжело обо всем этом думать; тем тяжелее, что при пресловутом “информационном взрыве” знаем мы по-прежнему мало, ничуть не больше, чем знали десять, двадцать, двадцать пять лет назад, назвать цифру тридцать не могу: там было много хуже.

Читаю “Записные книжки” Петра Андреевича Вяземского (1883), восьмой и девятый тома собрания сочинений, наткнулся на замечательные рассуждения о Польше, о стихотворениях Пушкина и Жуковского на “польскую тему”, помеченные 1831-м годом; надо бы сделать выписки.

18 мая.

Сон-то не к добру, а приснилось — утром за чаем рассказывал, — как мы с Никитой вдвоем в какой-то деревенской избе то ли отсиживаемся, пережидаем, то ли обороняемся, а перед нашими или только моими глазами план местности, сначала будто бы рисованный, а потом — похоже — на каком-то экране, потому что вдруг спокойствие на нем нарушается и с

неожиданной для нас стороны, с тыла, стремительно движется какая-то сила, что-то страшное, невнятное, темное прочерчивает этот “экран”, и я потрясенно выхожу из комнаты, чтобы взглянуть во двор; за окном — по всей деревне пламя, и чей-то голос неподалеку произносит: “Горим!” — я наклоняюсь к стеклу, и понизу по стене вроде бы действительно огонь; я спешу возвратиться к Никите и просыпаюсь; причем отчаяния нет, ум холоден, рассудителен, ищет выхода, но все равно тяжело, и просыпаюсь, выходит, чтобы лучше обдумать; шестой час, лежу обдумываю, вспоминаю, как было, кто там прорвался и чем вооружены; кажется, оружие у нас какое-то фаготообразное; это вчера были на концерте Эстонского симфонического оркестра, и фаготы были приметны.

Теперь-то я понимаю, что главное в сне: опасность заходит с тылу.

После обеда приносят Володино письмо: мама-папа, не беспокойтесь, но забирают в армию на два года, весь выпуск; подал прошение об отсрочке в связи с тем, что ждем ребенка <...>.

Я был дома один, писал о Трифонове, ходил по комнате и ругался, твердил: “гады, гады”.

Газеты, радио и телевидение нагнетают напряженность; все — в одну дуду. В “Правде” интервью с каким-то американским музыкантом: отношения наших стран достигли критической точки. А ведь люди читают, вздрагивают, готовятся к еще худшему, привыкают.

При такой обстановке легче объяснять наши жертвы в Афганистане; вообще легче управлять.

В газетах прошло сообщение из Кабула: решено создавать “отряды самообороны” на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.

11 августа.

Четвертый день, как мы вернулись домой после поездки в Дубулты; на обратном пути задержались в Москве, что позволило повидать родителей, побывать у Володи и Светы, у Богомолова, Бакланова и у Лесневских. Да, застал в издательстве, в директорском уже кабинете Леню Фролова, что тоже было кстати; в “Дружбе народов” виделся с Сашей Руденко и Лидией Абрамовной Дурново. Если все сложить, то получится активная литературная жизнь; если на уровне разговоров, то — да, активная; но надо же иногда вылезать из норы.

Если вспоминать наши дни на взморье, то записать нужно многое: экскурсии и разговоры Талрида Руллиса, разговоры с

Граниным, впечатления от Иосифа Герасимова, Станислава Долецкого, Виталия Михайловича Озерова и тому подобное (имена-отчества, столь тщательно здесь воспроизводимые, означают лишь то, что машинка все еще не починена и не хочется в инициалах вместо точки ставить запятую; пустяк, но вот не хочется).

Как и в прошлом году, брал машинку с собой; отправлял в Ижевск предисловие к богомоловскому “Ивану”; больше не пригодилась; благодаря Талриду отдых был безмерно активным и содержательным; оба определения скучны, но суть выражают точно; с нашим пицундским распорядком жизни — ничего общего.

Но прежде чем излагать нашу июльскую прибалтийскую жизнь, нужно вспомнить кое-что из предыдущего: как не поехал на юбилей Быкова, как в три часа дня пятого июля закончил 20-листную рукопись для “Советского писателя”, а утром следующего дня положил ее на стол Марии Яковлевны Малхазовой; как в ночь на 30 июня Слава Штыков[221] облил себя растворителем (красок), поджог себя и был отвезен в больницу с поражением 48 процентов кожи; он мучился и боролся за жизнь неделю; третьего августа были похороны, и я говорил на кладбище; <…> из Карабанова приехала старенькая, худенькая, какая-то обугленная мать Славы; отношений с ней он почти не поддерживал; я этого не знал. Мне объяснили, что Слава не мог простить ей отказ от отца, инженера-текстильщика, репрессированного и погибшего в лагерях; якобы она учила сына писать в лагерь письма обличающего характера; из-за чего все случилось, разве кто скажет; придя в сознание, он говорил: что я наделал? Бедный Слава, — и всё спьяну, спьяну, — вот беда, старое несчастье <…>; легонький прополз слушок: по политическим мотивам, в знак протеста, — если б хоть так, все легче б было.

Ах, Даниил Александрович[222], может быть, вы и правы и мне следует писать вовсе не критику, а заняться стоящим делом — чем-нибудь художественным или полухудожественным, вольной какой-нибудь эссеистикой, — да кто меня отпустит иль как мне себя самого отпустить от поденного моего и любимого — разве не так? — дела, а ведь хотелось бы, хочется — “отпуститься”, оказаться по ту сторону жанра, потому что нет утоления тому, чем занята мысль и от чего нарастает ощущение беспомощности и напрасности.

Когда что-то доброе говорили о “Пейзаже”[223] другие, более близкие мне люди, это было одно, а тут — Гранин, воспринимающий меня, как мне казалось по прежним встречам (у

Оскоцкого, в Минске), настороженно или недоверчиво (к тому же я ничего о нем не писал), и вдруг он говорит: “А вы, Игорь, прекрасно пишете”.

И я, 50-летний человек, что-то бормочу в ответ благодарное; конечно, я знаю, что пишу прилично, и мне хочется что-то написать поверх своих статей, но именно тут мне недостает уверенности, что я смогу. И когда я слышу: сможешь, я начинаю опять собираться сочинять какой-нибудь “Футбол в половине десятого по воскресеньям”.

Или эти мои уклонения от критики связаны с мрачными впечатлениями от современной бойкой беллетристики?

Нет, более всего — с теми же впечатлениями от разворота общественных событий, от всего хода и направления нашей российской жизни. Нельзя же, говорю я себе, жить и писать так, чтобы все это совершалось, а ты только терпел, молчал и разве что иногда невнятно, сквозь зубы, сквозь профессиональные отвлеченности пытался что-нибудь промолвить; какое там — намекнуть, дать понять, подтолкнуть чью-то мысль в нужную сторону.

Преуменьшаю возможности; наверное, преуменьшаю и реальности, — или это тоска по “прямой речи”?

<…> Еще несколько слов о Богомолове: он почти или совсем (скорее так) закончил роман объемом 40 печатных листов и постепенно готовится к борьбе за него. Пока же готовит историю публикации “Августа”, то есть собирает в одно место (в “досье”) все цензурные замечания (некоторые мне показывал и зачитывал), исключительные по своей глупости, недоброжелательности, непониманию литературы, бесцеремонности; “цензурные” — это, пожалуй, неверно, так как они принадлежат крупным чинам комитета госбезопасности, в том числе — одному генерал-лейтенанту.

Как бы ни были эти замечания страшны и угрожающи (“это клевета”, “антисоветщина”), все они были отклонены Богомоловым, и ни одно из них не было им учтено.

В “досье” включена фотография, на которой пятьдесят (и это не все) изданий “Августа” на многих языках, что по мысли Богомолова должно доказывать, что его “вредная” книга не только не принесла вреда, но, наоборот, — завоевала широкое признание и так далее.

Логика тут будет простой: не повторяйте прежних глупостей, научитесь на этом примере хоть чему-нибудь. Но Владимир Осипович напрасно надеется, что сработает именно эта логика. Верно, про машину можно сказать: самообучающаяся; но про некоторые системы человеческие этого не скажешь;

“самообучения” не происходит.

24 августа.

В прошлую субботу заходили Бочковы; обмен новостями; мы о Латвии, а Виктор — о приключении в знакомом и печальном роде. Два дня в кабинете начальника управления культуры (тот где-то отсутствовал) с ним беседовали сотрудники комитета госбезопасности Анатолий Михайлович Хромченко и Сергей Сергеевич Павлов. Беседовали, накопив “факты”, то есть доносы разных лиц (сами назвали Женьку Голубева, какую-то женщину из слушательниц Викторовых лекций, бывшего институтского друга Роберта Маланичева), и просили объяснить, как и что. Зачем, к примеру, нужно было говорить на лекции, что на балконе костромского Чека стоял пулемет и не бездействовал? Зачем в разговоре с Голубевым стал сомневаться в некоторых подробностях героической смерти Юрия Смирнова? И еще что-то... сочувствовали интеллигенции, которая по природе своей все воспринимает критически. Наконец, попросили написать и подписать бумагу, которую чуть ли не сами продиктовали, где Виктор обязался быть осмотрительнее в высказываниях, а “содеянное” объяснял тем, что его профессия (историка-краеведа) побуждает его критически относиться к документам, фактам, и потому, видимо (такая, должно быть, логика), возможны были с его стороны неоправданные высказывания. Да, вспомнил: в укор было поставлено знакомство с “ярым антисоветчиком” Бабицким, на что Виктор, разумеется, ответил, что в последнее время контактов с Бабицким у него не было и что Бабицкий, насколько ему известно, уехал в Москву[224]. Виктору дали понять, что все это им известно и, что Бабицкий бывал у Штыкова, тоже известно, но тем не менее сочли нужным попенять на неосторожное знакомство.

Дойдет черед до меня — тоже попеняют. Но буду ли я писать оправдания на этот раз — еще вопрос.

На этой неделе, а точнее в минувшее воскресенье и вторник, отправил в “Литгазету” восемь страниц текста и свою фотографию с автографом; поддался этой заразе, хотя поначалу думал отказаться. Подействовало на меня то, что согласился написать обо мне Адамович. Что ж, сказал я Селивановой, раз так, придется попробовать, деваться некуда. Дня два назад Адамович прислал свой текст, но я пока его не прочел: неловко, не хочется, едва успел забыть свой текст и связанные с ним размышления, как опять возвращаться в тот же круг. Тома прочла, а я медлю.

Продолжается мощнейшая пропагандистская компания в

связи с соревнованиями спортсменов социалистических стран под названием “Дружба” (без Югославии, Румынии, КНР, Вьетнама и других, помельче, вроде Эфиопии). Результаты постоянно сравниваются с результатами, показанными на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Необыкновенной по интенсивности была также критика атмосферы и хода Олимпиады. С возмущением сообщалось даже о падении какой-то спортсменки после финиша (вот до чего довел смог). Несколько недавних дней большой шум был поднят средствами пропаганды по поводу шутки Рейгана, вышедшей за пределы радиостудии, где готовились записывать его очередную речь, и он для радиопробы сказал, что сенат объявил Советский Союз вне закона и что он, Рейган, отдал приказ начать бомбардировку СССР. Эта чушь просочилась в газеты, и произошел скандал, не утихший до сих пор, хотя Рейган в каком-то интервью сожалел, что он это брякнул.

Уже несколько месяцев идет лютая идеологическая схватка. Подобных на памяти не было. Что бы ни сделала одна из сторон, чтобы ни предприняла — все абсолютно не нравится другой стороне, и конца этим взаимным упрекам, угрозам, предостережениям — нет и нет.

Задумываться над этим невозможно. Здравый смысл в этом очередном акте мировой драмы не участвует.

Идут дни, опять работаю, иногда думаю, что содержание моей жизни сводится в основном к работе. Ну, еще беспокойство за близких, иногда теснящее все остальное, даже работу. Но в конце концов, если равновесие восстанавливается, работа опять заполняет все. А жизнь проходит.

Надо бы записать еще кое-что из латышских впечатлений: как ездили на хутор Руллиса в 65 километрах от Риги в московском направлении в сторону Огре поблизости от местечка Сунтажи, как три с лишним часа бродили по рижским кладбищам и целый день по старой Риге, как ходили на матч СССР — Австрия в рамках теннисного Кубка Дэвиса, как побывали в Шяуляе, как оказались к концу отдыха в безденежье и как тяжело, что поделаешь, переживал я это непривычное, неловкое положение.

На кладбищах, в том числе на Братском, наибольшее впечатление произвели не латышские обычаи, а разнообразно пробивающийся драматизм не отлаженных до сих пор властью отношений с прошлым, и прежде всего с буржуазной Латвией. Казалось бы, проще признать кое-что из сделанного буржуазной республикой, “принять” в свою историю, сгладить противоречия, может быть, в какой-то мере “наследовать” чему-то — так нет, поддерживается, судя по разным признакам, непримиримость и естественный интерес к “буржуазному” прошлому

рассматривается как нездоровый. Это способно породить только раздражение.

Пока ездили, пока я в Дубултах не читал “Литгазеты”, то есть отключился от литмира и ничего “литературного” не знал, умер Алексей Иванович Кондратович[225]. А когда уже были в Москве, скончался после инсульта Тендряков. В “Правде” появился некролог, подписанный “высшими”; отдали должное, подчеркнули значение, а в конце прошлого года в день 60-летия наградили Почетной грамотой Верховного Совета. Зато Алексин недавно награжден орденом Ленина.

Шестого июля, когда мы были уже в Москве, приехали Боков, Алексей Марков, глубоко отдаленный родственник Некрасова — Некрасов и еще кто-то, — на некрасовские праздники. Негорюхин сопровождал их на заводы и в поля-луга. Под Шодами Боков играл на балалайке и пел похабные частушки перед косарями (“Мне не нужны Жигули”, мне не нужна Волга”, а нужна такая штука...” — и так далее).

За ужином у Корнилова Боков рассказывал, как однажды на чествовании Самеда Вургуна[226] выступил Павел Антокольский и дружески-весело попросил руководителей республики не утруждать большой лирический талант Вургуна описанием трудовых подвигов нефтяников и других; тогда поднялся Багиров и грозно сказал: “Товарищ Антокольский, встать!!! Сесть — Встать — Сесть — Встать — Сесть — Встать!!! — и наконец: — Мы не позволим вам учить Советскую власть”.

12 октября.

Что же самое важное? У нас теперь есть внучка по имени Людмилка. Названа в память о Людмиле Семеновне <...>.

Что еще важного? После Дубулт прошло два месяца, заполненных работой. Даль, когда оглядываешься, глухая, воспринимается как расстояние, как заполненное пространство, хотя, можно сказать, не сходил с места. Из написанного в этом “пространстве” наиболее волнует судьба восьми страниц, отправленных в “ЛГ” для предпринятой Селивановой затеи. Затея, как все затеи, суетная, но в моем здешнем положении она имеет кое-какой смысл, тем более что текст при отправке мне нравился (с тех пор не перечитывал). Пишу большую статью для “Нового мира”; если б успел, могла попасть в первый, юбилейный, номер (60 лет журналу), но не удалось.

В прошлое воскресенье опять играли в футбол на своей поляне; со второй половины воскресного дня полил дождь, льет с короткими паузами до сих пор. Ранняя тьма, лужи, зонты, молчание, с каким хожу по улицам. Улицы так привычны, что

много ли я замечаю, когда иду — все равно что по натоптанной тропинке в ночном поле. В голове вертятся фразы, убеждая, какие они хорошие. Иногда их забываешь в каких-то частях или полностью и тогда досадуешь. Бывает, что вспоминаешь или не забываешь вообще, но утренний ум быстро разгоняет этот вечерний возбужденный хоровод. Кое-что может пригодиться, хотя никогда — окончательно обдуманная — “написанная” фраза, выверенная, казалось, до словечка. Словно в сумерках разум не столь разумен. Есть истинность чувства, но не слов. Вечером слова спутаны чувствами, а утром слова сами по себе, и лишь обрывки тумана стелются понизу.

Чтение Борхеса (“Юг”): это не фантастика; автор, как создатель этого не столько сложного, сколько изощренного в сложностях и усложнениях мира, мне мало симпатичен. Если б можно было прочесть больше этой книги — все книги! — то игра его стала бы понятной. Заставляет задумываться о том, что художественный мир, достигший автономии, то есть не признания отдельности и границ, а глубокой, мирообразующей индивидуальности, единственности, присутствует в литературе и шире — в ноосфере — не как количественное, а как качественное изменение, вносимая поправка, предполагаемая вариация, значение которой определяется со временем. Борхес предлагает некую поправку, ее можно не принимать, но она существует: в ней, в частности, заключен опыт значительного отстранения от каждодневного потока действительности. Автор размещается даже не на берегу, он устроился много лучше — в кабинете директора Национальной библиотеки; ее можно представить себе где-то в конце длинной и запутанной вереницы комнат, словно в самом дальнем углу тупикового лабиринта. Там можно даже не запираться на ключ от сотрудников и посетителей, и не нужно держать секретаршу, хотя бывает и страшно, особенно когда пишешь о головорезах-поножовщиках из Буэнос-Айреса или — о детях сна, порождающих детей сна, чьи ноги не обжигает самое яростное пламя. Чувствуется латиноамериканизм — само собой как самосознание и культурная целостность, но особенно как угол зрения, под которым европейские, скажем, проблемы, реальность, духовная культура, но более всего — исторический опыт осознаются, воспринимаются как нечто отдаленное, как некая данность, расположенная поодаль, которую можно хладно разглядывать, замерять, обсуждать: то есть ощутимо расстояние. Европеец, думаю, не смог бы ввести в рассказ газовую камеру смерти так, как сделал Борхес. Вообще его опыт кажется ограниченным: страшное и жестокое принадлежит по преимуществу прошлому: он рассказывает подхваченные истории:

он скорее всего разработчик историй, интерпретатор, и притом — изобретательный, глубокий и свободный. Эта свобода хорошо чувствуется: его ничто не стесняет, или же ощущение это обманчиво: его не стесняют наши рамки, но есть свои, а их мы не чувствуем, не узнаём. Любопытно, в каких отношениях находился Борхес с Пероном и перонизмом?

В одном из рассказов есть замечание о государственном управлении как публичном патетическом спектакле (“Гуаякиль”). Очень интересны “ветвящиеся дорожки” сада времени (сбывающиеся варианты, причем сбываются одновременно: ветвятся и расходятся всё далее).

Государство вырабатывает в гражданах не дисциплину, а привычку повиновения; дисциплина — буже, она охватывает время работы, службы, учебы, да и то в разной мере и с разной категоричностью. Привычка примешана к жизни человека постоянно (я не касаюсь личных привычек и склонностей), она может властвовать в чувственной и умственной сферах, регулируя все восприятие и истолкование человеком как реальных фактов, так и их отражений в массовых средствах пропаганды и информации. Эта привычка обволакивает все сколько-нибудь существенное в действительности, и этот туман распространяется на все новые и новые области жизни. Даже люди, сохраняющие способность критической оценки, постепенно подпадают под власть той же привычки; их реакция слабеет, они вроде бы видят всё ясно, но это только так кажется: они втянулись в этот спектакль в нашем “железном театре”.

Чтение материалов судебного процесса над “первомартовцами”, изданного в 1906 году; удивительная для современного восприятия, для*накала*той страсти, культура судопроизводства: достойное поведение всех представителей государства; выразительное, выдающее особый характер и склад мышления поведение Желябова; откровенность всех объяснений с обеих сторон. Материалы дела опубликованы спустя четверть века (может быть, и раньше, а я просто не знаю); думаю, что печатались в газетах.*Какие*дела, несопоставимые по масштабу преступления, мы обнародовали за двадцать пять и пятьдесят лет? И чтобы был виден сам ход судебного разбирательства? Опасения, мешающие подобной публикации, связаны с недоверием к народу; власть тяготеет над законами и их осуществлением: власть догадывается, что ее нажим будет увиден; эта неуверенность власти при ее абсолютном бескрайнем могуществе выдает какую-то глубоко спрятанную слабость и фальшь. Парадокс в том, что спрятанное и перепрятанное постоянно себя обнаруживает: надежной глубины не находится;

да и все скрытые помещения до отказа забиты тайнами и “совершенно секретным”: хранить скоро будет негде.

16 ноября.

Уже в сумерках третьего ноября шел по Смоленску. Отец прилег отдохнуть после бессонной ночи в поезде, да и после дневных хлопот и переживаний тоже, а я решил поблаженствовать — побыть одному на улицах родного города. Вечер был теплый, пять градусов, шел в пальто, без шапки, отчего-то разгорячась, голову остужало плотной осенней прохладой. Дорогу помнил с того приезда, сворачивал не ошибаясь, а под самыми часами какой-то солдатик из Средней Азии спросил, сколько времени, и я, улыбнувшись, поднял глаза к часам, и солдатик тоже улыбнулся. От собора я пошел через Блонью на улицу Дзержинского, туда, где стоял когда-то дом, где мы жили и откуда в июне бежали, — мне кажется, я точно знаю бывшее место дома, словно помню, как стоял на крыльце наутро после бомбежки, то есть, вероятно, двадцать четвертого числа, и глаза, глядя влево, к повороту дороги, хранили и до сих пор хранят расстояние до поворота, и мне впору сейчас отмерить его шагами. Возвращался мимо серого углового дома, где ныне много контор, во всяком случае, один из подъездов обрамлен вывесками, а другой — принадлежит УВД, а тогда он весь был домом энкавэдэ, и я, семилетний, это знал, и знал, что от странного этого слова веяло страшным и опасным. Я подошел поближе и удостоверился в том, что предполагал: глубокие подвальные окна темнели в своих ямах, огороженные от дождевых потоков асфальтовыми брустверами.

В полдень третьего ноября мы с отцом, его двоюродной сестрой тетей Зиной и другой двоюродной сестрой, тетей Верой, ходили на Тихвинское кладбище, где похоронен отец отца и мой дед Семен Семенович и еще человек восемь из других ветвей Дедковых. Пришли еще, кажется, троюродный племянник отца Саша Дедков и старый, лет семидесяти, то ли двоюродный, то ли троюродный брат Петр Дедков (Иванович?), бывший машинист. Так мы отметили пятидесятилетие со дня смерти Семена Семеновича — постояли, помянули, положили цветы.

Когда возвращались по Витебскому шоссе, я шел, чуть обогнав отца, вместе с тетей Верой. Видел я ее впервые, ничего о ней прежде не слышал, и разговор поэтому был очень обыкновенный и сдержанный; но как-то незаметно он коснулся войны, и я понял, что тетя Вера, отправленная вместе с другими студентами рыть окопы под Красное, могла из Смоленска не выбраться, и тогда спросил: “Так вы были в оккупации”? Она

ответила утвердительно, и я сочувственно сказал, что это обстоятельство, отмечаемое в анкетах, вероятно, сильно мешало потом жить. Да, сказала она, когда я нашла хорошее место в школе, меня туда не взяли, и пришлось пойти на завод (как я понял, в счетные работники). И еще она добавила как-то неопределенно, что, как говорила ее (мачеха? мать? бабушка?): “В голод — намремся, в войну — навремся”. И эта неопределенность, намекавшая на что-то тяжелое и непростое, мне запомнилась. Тем же вечером тетя Зина рассказала, что Вера летом сорок первого должна была закончить учительский институт по математическому факультету; дипломы вручены не были, началось рытье окопов. Когда пошел слух о приближении немцев, преподаватели и студенты из сельских местностей быстро исчезли, а смоляне группами двинулись к городу. Вера шла с подругой и Павлом Рабиновичем, братом мужа тети Зины; их задержали немцы, девушек отпустили, а Павла отправили в Монастырщину (там было создано областное гетто), и больше никто никогда его не видел. Муж тети Зины — Натан — погиб на фронте. При входе в город девушки были снова остановлены немцами и отправлены ими на работу в госпиталь. Так они стали санитарками; когда появилась возможность сбегать домой, Вера узнала от мачехи, что отец эвакуироваться не успел, так как работал на телеграфе и последние дни находился там под страхом наказания безотлучно. Когда же он наконец прибежал домой на Витебское шоссе и стал зарывать в саду вещи, то был убит разорвавшимся в саду снарядом. Жена его, Верина мачеха, тут же, в саду, его и закопала, без гроба; Вера этого никогда не простила. Далее с Верой было так: госпиталь куда-то перевели, а ее вместе с другими девушками передали какой-то воинской части, где она работала посудомойкой. При отступлении немцы потащили с собой и весь обслуживающий персонал; уже в Германии всех пленниц выставили на “аукцион”: разбирали их в батрачки германские крестьяне. Когда же настал черед бежать из родных мест и бауерам, девушки русские попрятались; хозяева покричали-покричали, сели на повозки и уехали. Когда пришли наши, начались проверки, должно быть, малоприятные; наконец Вера в Смоленске, и тетя Зина, уже вернувшаяся из эвакуации, устраивает ее, отчаянно бедствующую, бездомную в сапожную мастерскую приемщицей. Там Вера знакомится с сапожником-евреем по фамилии Письмен, выходит за него замуж, родятся две девочки, но живет семья плохо: Письмен пьянствует, бьет Веру. Видимо, где-то в эту пору приезжает в Смоленск мой отец и с помощью профессора Даниила Ивановича Погуляева выправляет Вере диплом об окончании института; однако этот документ

лишь немногим облегчает Верину жизнь; на своем заводе она дорабатывает до пенсии и одна воспитывает дочерей; сейчас она подрабатывает на своем заводе, как я понял, выходя в смену обычной работницей; любопытно, что, когда мои родители этим летом приезжали в Смоленск, тетя Вера встречи с ними избежала, но на этот раз пришла; я очень сожалел, что поговорить с ней больше не удалось. Кстати, по словам тети Зины, Вера, видимо, в дни, когда была на окопах, видела, как по направлению к Катынскому лесу ехали грузовики с людьми — с польскими офицерами. Вообще я понял, что смоляне склоняются к мысли, что поляки убиты нашими.

Еще подробность: когда в 20-е годы власти решили реквизировать церковные ценности, в день изъятия, на соборе ударили в колокола, и народ побежал защищать свой храм. Тогда-то на ступенях собора был ранен отец Петра Дедкова (или Веры? надо уточнить), так как милиция или солдаты открыли стрельбу.

22 ноября.

Неожиданно в минувшую субботу позвонили из “Северной правды” — семнадцатого числа, — сказали, что пришел указ о награждении меня орденом “Знак почета”. Я удивился, да что делать: с фактом приходится считаться. А несколько дней назад, услышав по телевидению о званиях и награждениях в связи с 50-летием Союза писателей, я посмеивался: героический союз. Теперь принимаю поздравления; Ш. и А. сделали вид, что ни о чем таком слыхом не слышали; ну а я обычный держу вид: все идет своим чередом, ничего особенного не произошло; веселую телеграмму прислал Артем Анфиногенов.

На следующий день после новости заходила жена Юрия Петрякова — Нина. Она здешняя, у нее здесь еще остались родственники, раз в пять лет собираются десятиклассницы образца 49-го года; работает она в общественно-политической редакции “Прогресса”; разговор был интересен, когда касался общих знакомых. В который раз я повторял: мир тесен.

Кто-то обмолвился: пятилетка пышных похорон — три “П”.

Читаю Борхеса: том из серии “Мастеров современной прозы”. Стимулирующее действие. Интеллектуальная игра? Может быть, но она очень далека от литературных тщеславных и корыстных забав. В ней, по крайней мере сейчас и вдалеке от родины автора, не ощущается спекулятивного момента.

Пишу рецензию для “Современника” о романе Николая Воронова “Похитители солнца”. Нечто фантастическое, но угадывается за борьбой хватугаев и наивняков — “борьба” евреев и русских. Маскировка соблюдена, но по временам именно

маскировка демаскирует. И это — автор “Юности в Железнодольске”?

Предстоит ехать в Москву для окончательного обговаривания текста статьи в “Новом мире”. Не хочется, да статьи жалко[227].

В цензуру пришел список авторов, подлежащих изъятию из библиотек: то ли в подтверждение прежнего, то ли, как говорится, с дополнениями: Аксенов, Войнович, Владимов, Копелев, Орлова, Любимов, Тарсис, еще кто-то.

На литературном объединении обсуждали пьесы Петрушевской: долго и бурно. Не помню, записывал ли, что с месяц-полтора назад более двух часов рассказывал на занятии об Александре Воронском.

Виктор Александров, сын русских эмигрантов, француз русского происхождения, американский гражданин, в годы войны — офицер американской армии, после войны — журналист, писатель, сценарист, приватно ведущий расследование нацистских преступлений. Читаю его книгу, изданную “Прогрессом”, — “Мафия СС”. Думаю, что его отношение к нацистской верхушке более здравое и последовательное, чем у Юлиана Семенова; или просто: беспощаднее, без литераторских штучек и литераторского кокетства. Александров помнит запах, стоявший в нацистских концлагерях, когда их только что освободили; Семенов ничего в этом роде не знает. Он тщится увидеть в подонках людей; но что это были люди, мы не сомневаемся, а вот разглядеть в людях — подонков — по нашим временам как раз бы. И так ореол званий, чинов, должностей, известности делает свое дело: на скольких по-рабски смотрят поныне снизу вверх, даже на врагов прямых и чужих. Что же говорить о врагах доморощенных, титулованных, прославленных “от моря и до моря”?

НОВЫЙ ЦИКЛ РОССИЙСКИХ ИЛЛЮЗИЙ
Из дневниковых записей 1985 — 1986 годов

1985 год. 30 января.

Много всего пропущено. И невосполнимо. И две поездки в Москву (вторая — на Совет по критике и на заседание правления “Советского писателя”), и отклики на публикацию в “ЛГ” полосы, мне посвященной[228], и смерть в январе Аркадия Пржиалковского[229]. И еще всякое, что думал и переживал.

Газетная волна прославления афганских героев отчего-то схлынула; одна из особенностей нашей жизни: всегда кто-то невидимый дирижирует, и никто не знает, какую и почему музыку прикажут играть завтра; но оркестранты таковы, что сыграют любое.

Несколько лет не ходил в кино, а тут посмотрел “Льва Толстого” (Сергей Герасимов) и “Мой друг Иван Лапшин” (Алексей Герман по повести своего отца Юрия Германа). О Льве Толстом написал для “Северной правды” (не печатался в ней тоже несколько лет, но просила Тома, да и захотелось кое-что сказать). Следовало бы написать и о фильме Германа, но то, что хотелось бы, напечатать невозможно. В фильме — тридцать четвертый год, мрачная страна, погружающаяся во что-то, еще более мрачное и темное; большие портреты вождей, гремят духовые оркестры, бедность, резкость и жесткость всех человеческих отношений, бандитизм как выход наружу какой-то общей болезни; песня Буша, которую поют герои, звучит так, будто дело происходит на родине певца. Стилистика фильма напомнила мне польское кино конца 50-х — начала 80-х годов (“Кто он?” и так далее).

Прочел “Отчаяние” и “Подвиг” Владимира Набокова, изданные Е. Ш. с предисловием и примечаниями; а также составленный им же сборник набоковской поэзии[230]. Прочел также “Приглашение на казнь”. В предисловии приводятся “политические” взгляды Набокова: портреты вождей печатать только на почтовых марках; никаких казней.

Прочел роман Анатолия Приставкина (повесть?) “Ночевала тучка золотая”. Бог весть, когда это будет издано[231]. Детдомовцы в конце войны; их новое, несчастное жительство на Северном Кавказе (чеченцы, ушедшие в горы, кровавая резня; “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство”).

За это же время прочел две большие рукописи Зиновия Паперного и Алексея Кондратовича (рецензирование для Комиздата и “Советского писателя”).

После публикации в “ЛГ” обрушилась новая волна переписки; появились новые корреспонденты; некоторые требуют немалого внимания (например, старый уже человек, бывший танкист, архитектор Георгий Викторович Ключарев). Прочел его книгу “Конец □зимней грозы”” — нечто документально-художественное, восстанавливающее правду, нарушенную в “Горячем снеге” Бондарева. Были письма и трогательные, лестные, но я в этом смысле — какой-то “непроницаемый”: на самооценке не сказывается, — те же вечные сомнения, желание иного уровня работы. Правда, жить после таких писем как-то легче и даже веселее. А что, думаешь, где-то, выходит, тебя читают, чего-то ждут?

Недавно выступал на электромеханическом заводе; “по линии книголюбов”, как теперь говорят. Устраивал все это заводской энтузиаст из “книголюбов” Нариман Васильевич Янгосоров, бывший — давно — чемпионом Союза по гребле, но оставивший спорт и перешедший на завод рабочим. Когда возвращались, шли к автобусной остановке, он рассказал, что его отец, работавший в Грязовце в системе Заготскот, был репрессирован и расстрелян. Нариман и его младший брат были отправлены в *разные* детские дома, и братья оказались разлученными на семнадцать лет. “Обо мне, — рассказывал Янгосоров, — частенько писали в “Советском спорте”, и я надеялся, что брату попадется на глаза моя фамилия, но он не отзывался”. Позднее оказалось, что брат живет под другой фамилией, которую ему дали в детском доме (своей он по малости лет не знал).

То хоронили бывших фронтовиков, а тут подряд — Штыков[232] и Пржиалковский — ушли дети расстрелянных. Оба — даровитые люди, но много пившие и многое хорошее в себе пропившие. Ранняя, да еще такая, безотцовщина и все сопутствующее могли ли способствовать чему-нибудь хорошему? А если приплюсовать к прямым жертвам сталинского правления эти косвенные — последствия для семей, женщин и детей? Сочтет ли кто и эту адскую цифру?

По телевидению прошла получасовая передача, посвященная творчеству Семена Гудзенко (в рамках цикла, связанного с 40-летием Победы). Не были прочитаны, может быть, самые известные стихотворения: “На снегу белизны госпитальной”, “Когда на бой идут, поют”, “Мы не <от> старости умрем, от старых ран умрем”. Впечатление было такое, что этот драматизм не устраивает, хотелось чего-нибудь поправильнее, поблагостнее,

и конечно же преуспели. Да и читали в основном бездарно, не понимая *этого* поэта.

Высшая политическая жизнь в нашем отечестве, судя по газетно-телевизионным отражениям, замерла: отсутствует Черненко, ну и, значит, остальные не выглядывают. На наш век этой политической игры, по недоразумению называемой, вернее, относимой к “развитому социализму”, хватит.

Толстой учил, что существует только настоящее, в котором — все наше; такое малое, короткое настоящее. И вот мы добровольно уступаем значительную часть нашего настоящего, нашего живого времени всякому вздору, обману, лжи, проформе. Все-таки я достаточно отчетливо написал об этом в статье для “Нового мира”, но теперь эта определенность снята усилиями многих, и я не знаю, как будет воспринята эта статья?[233]

Сегодня купил — и очень рад — сборник публицистики (эссе) Честертона. Прочел первые страницы — о детстве[234], и вдруг подумал: и этот человек с таким ясным и светлым умом умер? То есть за этой моей неожиданной, невесть откуда взявшейся мыслью стояло что-то вроде того, что его не нужно было забирать отсюда, во всяком случае, так рано!

“Игра” Бондарева — продолжение спуска; Кондратьев[235] в письме назвал это сочинение “бульварным романом”; а попроще сказать — барахтание в словах, претензии и ложь; вот где нет ни света, ни блеска истины, ни подлинного чувства, все — натуга, плоский пессимизм, скрытое угодничество перед властью и — вот что еще отвратительно — снобизм, высокомерие, отсутствие интереса и уважения к обыкновенному человеку, большинству народа; “из грязи в князи” — это не только про героев Бондарева; да и “княжество”-то дутое.

8.2.85.

В адвокатуре. После моего выступления разговор в кабинете у Громова[236] об отношениях адвокатуры и государства. И. Г. говорит, что участились случаи злоупотребления властью органами милиции, да и вообще местной властью. И что подобного раньше не было. В составе милиции становится все больше (с возрастанием численности) малоподходящих людей. Возражения против злоупотреблений не нравятся: старшая власть из всех сил защищает младшую власть.

14.2.85.

Тома ездила на открытие нового здания Дома ребенка. Новоселье стало возможным после опубликования год назад в “Северной правде” статьи Томы о жалком состоянии Дома

ребенка. Статья вызвала множество откликов в газету и писем в горисполком. Теперь выплыла наружу и такая подробность. Прочитав статью, Баландин[237] отбросил газету со словами: “Заметка для ЦРУ!” Не о детях подумал — о ЦРУ, т. е. о себе, о том, что, не дай бог, выползет сор из избы.

“Я хотел бы, чтобы любовь к моей родине была совместима с любовью к справедливости. Я не желаю моей родине любого величия, не желаю величия, которое зиждется на крови и лжи. Я хочу служить моей родине, служа справедливости...”

“Мы боремся из-за оттенков, определяющих самого человека. Мы боремся из-за оттенка, который отделяет веру от мистицизма, энергию от исступления, силу от жестокости, и из-за еще более тонкого оттенка, который отделяет ложное от истинного и человека, на которого мы уповаем, от гнусных идолов, которых вы чтите”.

А. Камю, “Письма немецкому другу”. 1943. (“С Францией в сердце”. М., 1973, стр. 236, 239).

1 марта.

Позавчера вечером пришла жена Аркадия Пржиалковского, рассказала, что к сотруднице областного радио Люсе Андреевой накануне пожаловали два сотрудника госбезопасности (один — Сергей Сергеевич) — после работы, домой, было уже поздновато. Сославшись на Аркадия (очень удобно — нет в живых), уличили ее в размножении повести Булгакова “Собачье сердце” в количестве пяти экземпляров (Люся — бывшая машинистка) и предложили способствовать им в сборе всех этих экземпляров. Что они еще ей говорили, неизвестно, но предложили позвонить Татьяне (жене Пржиалковского) с тем, чтобы она отыскала и отдала экземпляр, сделанный для Аркадия, а то ведь случайно Аркадий-младший может заинтересоваться и увезти с собой в училище, а это вызовет большие для него неприятности. Татьяна зашла к нам посоветоваться, как ей быть. Я сказал: ищите свой экземпляр и отдайте его, иначе не отвяжутся. При этом я вспомнил, что недавно (мне рассказывал об этом Николай Муренин[238]) какой-то человек отпечатал 50 экземпляров какого-то сочинения в том же роде (чем-либо нежелательного), и пришлось Сергею Сергеевичу рыскать по городу, чтобы изъять из обращения все пятьдесят.

“Новый мир” напечатал мою статью, изрядно пощипанную. Имя Юрия Бондарева в конце статьи вписано в последний момент Карповым[239]. Опротестовывать, когда я узнал, было поздновато. Будь статья в полном варианте, я бы ею гордился, а сейчас не

ясно, что же в итоге вышло и какой будет реакция, да и будет ли.

Рукопись в “Современнике” движется, прошла верстка, но, как и в прошлый раз, сменился редактор (Евграфов уволился, вместо него — неведомая мне Коновалова, пока мы разговаривали с нею нормально), и что будет дальше — трудно предположить[240].

В “ЛГ” появилась рецензия Георгия Семенова на “Игру” Бондарева — под стать роману мнимой значительностью и фальшивым пафосом.

Читаю стенограммы Второй Государственной думы: меня вся эта “говорильня” задевает и волнует; это те самые заседания в Таврическом дворце, что описаны Шульгиным и знаменательны обрушением потолка.

Прошел вечер в театре, посвященный памяти Николая и Татьяны Шуваловых[241]. Выставка из частных собраний и само заседание (в рамках так называемого призрачного Клуба — бездомного — творческой интеллигенции) происходили в фойе на втором этаже. Играли камерный оркестр музыкального училища и пианистка. Среди выступивших был и я. Я сказал о том, что любить и чтить художника нужно при жизни. Сослался на слова Ариадны Эфрон о том, что лучше бы книги ее матери — Марины Цветаевой — вышли вовремя (в России), то есть при ее жизни. (Ариадна Эфрон сказала это в ответ на вопрос корреспондента, рада ли она выходящим книгам ее матери, ее популярности). Вечер вышел печальным, но по общей атмосфере и всему распорядку, думаю, не уступал подобным же столичным и вообще подтвердил существование этой пресловутой интеллигенции, которая все-таки существует.

10 марта.

Посреди мартовского дня какая голубая была у меня тень! И у сугробов по сторонам — такие же голубые! Да что там — нежно-голубые! Сколько уже живу, сколько читал про синие и голубые тени каких-нибудь елей, сколько тех теней на картинах художников, а сам — не видел! Синие — видел, а вот чтобы такой голубизны, легкой, нежной, — нет — плохо, должно быть, смотрю вокруг; мало вижу. Я об этом уже задумывался: если слишком сосредоточен на внутреннем — плохо видишь внешнее, окрестное. Но одно дело, задумавшись, пройти улицу, улицей и ничего вокруг не разглядеть, не запомнить. И другое дело: всю жизнь так ходить. Впрочем, это я на себя наговариваю.

От голубой тени, что шла чуть-чуть впереди меня и слева, стало вдруг празднично и весело на душе, будто случилось что-то хорошее.

Снежная была зима: горы снега вдоль улиц, — бульдозерами разворочен, поднят на дыбы, и на глазах — под мартовским солнцем — чернеет, вытаивает вся грязь городской зимы: большая будет вода.

Вчера были на премьере “Филумены Мартурано” в постановке Шиманского[242]. Вернувшийся после странствий (стажировка у Товстоногова, попытка найти место главного), Шиманский был, думаю, счастлив: у входа спрашивали лишний билетик — это-то у нас, где на спектаклях бывает меньше ста человек, — да и прием с аплодисментами по ходу действия был прекрасным.

Статья моя в “Новом мире” появилась, но откликов — за исключением звонка Юрия Дмитриевича Черниченко — пока нет.

Появились статьи Г. Семенова и А. Овчаренко о романе Бондарева (“Игра”); я был им даже рад: они такие, какие следовало ожидать; разве что они восторженнее, чем следовало ожидать; они выдержаны в такой интонации и в такой фразеологии, что поневоле подумаешь: кто-то сходит с ума: или ты, или эти люди. Среди наших знакомых — недоумение; несовпадение в ощущениях читательских и в этих восторженных, поддакивающих умствованиях — полное, более того — удивляющее, вызывающее мысль о попрании здравого смысла и всех эстетических мерок.

Я же думаю, что это на наших глазах растет наглость, охватывающая все публичные сферы жизни; пользуются тем, что имеют возможность сказать, объявить (в газетах, по радио, по телевидению, в брошюрах и книгах), и думают, что настойчивость высказанного, его повторяемость обеспечивают не какое-то там простое усвоение-запоминание, а ощущение*истинности*, более того — самой *истины!* Им дела нет до того, что мы кое-что еще помним, кое-что еще соображаем и знаем сами, — помните? так забудьте! спрашивать хочется? помолчите-ка лучше! выкрикнуть что-то желаете? не перекричите! — вот до чего дожили! Попрание здравого смысла, элементарной умственной добросовестности, порядочности — продолжается; статьи Семенова и Овчаренко кажутся своего рода пределом, до которого может дойти потерявшая себя, погрязшая в словоговорении, в подлаживании к “сильным мира сего” мысль. Да и само качество мысли каково! Не свидетельство ли это того, что наглость и падение уровня мысли связаны, что вседозволенность разрушительна для мысли?

Большое впечатление произвело сочинение об Испании[243]; самое поучительное и дорогое там — угол зрения, разрушающий стереотипное “каноническое” мышление; да и лучше понимаешь, какой опыт стоял за восемьдесят четвертым годом и между чем и

чем делался выбор Оруэллом.

11 марта: сообщение о смерти Черненко; избрание Горбачева, выпускника МГУ 1955 года (юридический факультет); на наш век этого избрания, без сомнения, хватит; к власти пришел человек нашего поколения (1931 год); начинается очередной цикл российских иллюзий. Еще осенью в Москве рассказывали — подчеркнуто, — что семья Горбачева попросила провести экскурсию по цветаевским местам Москвы, а затем экскурсия была повторена для самого Горбачева.

С утра я твердил нечто в стиле бондаревских сентенций: смерть — это социалистическая демократия в действии.

“В стиле”, но, надеюсь, не в духе этих претенциозных сочинений.

Сегодня вечером позвонил Борис Андреевич Можаев, поздравил с новомировской статьей; судя по оговоркам, не понравилось, что хорошо отозвался о повести Гранина (“литературщина” в изображении Жанны[244] и т. д.); насчет “литературщины”, думаю, Борис Андреевич не прав: другие слабости есть, но все-таки не эта.

Любопытно, что от своих костромских собратьев не услышал ни единого отзыва на свою статью; молчит и Корнилов, возможно, обиженный тем, что я отнес его к “менее известным”.

Неожиданные книги от Тимура Зульфикарова[245].

Из второго письма “немецкому другу” Альбера Камю (в кн.: “С Францией в сердце”. М., 1973):

“Ваши жертвы не имеют значения, потому что ваша иерархия ценностей порочна” (с. 242).

Если кто-то принимает это на свой счет, то с этим связаны огромные разрушительные разочарования: то есть вы думали — это подвиг, геройство, самоотречение, а на поверку выходит — напрасная трата сил и даже жизни, какой-то пустой номер.

Андрей Битов в “Литературной Грузии” (из “Грузинского альбома”) — эссеист, а не художник; изощренная форма твердого, даже вызывающего инакомыслия.

Из книги Мазуркевича (Киев, 1958) вырастает удивительная фигура Ивана Гавриловича Прыжова; ныне — в сущности — позабытого (всплывает в “Другой жизни” Трифонова)[246].

Читаю “Слово” Сергея Алексеева в “Нашем современнике”: проклятия христианству, утверждение и прославление “языческой письменности”, что должно доказывать некое русское первородство; в сущности — глубокое безбожие, тенденция,

подчинившая себе талант или то, что теперь вместо него.

Поистине самое время заняться ниспровержением христианства на Руси; поищем виноватых на стороне, в тысяча первый раз поищем и таким образом очистимся и вознесемся выше всех других народов: Россия, как известно ныне и по бондаревской “Игре”, — “совесть мира и человечества: спасение — от нее”.

Бондарев не задается вопросом: а захотят ли все эти малые народы — спасаться?

24 марта.

Не думай о себе, не думай о себе, не думай о себе.

Вчера Никита на турпоезде поехал по маршруту Киев — Одесса — Кишинев — Львов. Я провожал, ездил на вокзал... Смотрел на ребят...

В который раз задумываюсь о разрастающемся могуществе государства, о присвоенном им себе праве распоряжаться человеческими жизнями, особенно молодыми. Ты родился — и ты уже не свободен, пронумерован, взят на учет — и дайте срок! — переучтут еще, не ускользнешь! Обязанный родителям, природе, ты — от рождения — становишься более обязанным не им, а государству. Ты родился, и отныне родители теряют право на твою жизнь, и вообще никто не смеет посягнуть на нее, ибо такое посягательство преступно, но вот парадокс: это право — распоряжаться твоей жизнью — захватывает государство: оно может вырвать тебя из круга твоей семьи, друзей, твоих занятий, твоей работы, когда ему заблагорассудится, и, не спросясь твоего согласия, может отправить в какой-нибудь Афганистан или даже в Африку, и, если тебе там снесут голову, оно и не подумает воспринять это как трагедию или — что ближе к истине — как преступление.

Как это было в “тридцать седьмом”, думаем мы: неужели поверхность жизни оставалась спокойной и ни о чем подспудном ни по каким признакам нельзя было догадаться? Или, когда продергивают густую морковь, это незаметно? Ну а когда дерут пучками — тоже? А чего ломать голову — теперь, в годы афганской войны, это стало понятнее: поверхность жизни, если считать за нее ту идеологическую пленку, которой она не то чтобы “подернута”, а поистине —*задернута*, остается спокойной и даже — невозмутимой; невозмутимость ныне — особая, коренная доблесть: все как следует, все прекрасно, все идет единственно возможным и, значит, должным образом; одинокому материнскому плачу этот радиотелевизионный и газетный грохот не пронзить, не пробиться, и если я что-то слышу, то только

силой воображения и сочувствия;*тогда* драли “пучками”, но не спазмами ли страха и растерянности надо объяснять — вдобавок! — тогдашнее официальное, видимое-слышимое, навязываемое благополучие?

Яркое мартовское солнце, еще не набравшее чистоты синего цвета утреннее, бледноватое небо, чернота оттаявшей мостовой, отчетливость деревьев, рисунка ветвей на последнем снегу, еще не сползшем с крыш сараев, еще посверкивающем бодро в развороченных, разбросанных лопатами сугробах; проносятся автомобили, прохожие пересекают мой заоконный пейзаж, — разве, кроме этого, еще что-нибудь*происходит*? Разве об этом, происходящем, можно догадаться? Разве этот невозмутимый покой может быть нарушен? Разве прилично его нарушать? Я уже не говорю о том, что нарушать его непозволительно!

Стараюсь не думать о том, сколько мне лет; но случаются напоминания: то на фотографиях, то еще как-нибудь.

Неожиданно предложили ехать в Польшу: в составе какой-то “сборной” делегации Союза писателей — в апреле, на восемь дней. Опять заполнял, собирал, относил, — какое-то непривычное, малоприятное занятие. И не поймешь — хорошо ли, что едешь, или лучше бы сидеть дома — со своими и своей работой?

Новомировская статья получила пока мало откликов, то есть — в письмах; на ту, давнюю, восемьдесят первого, было больше. Я об этом не горюю, но отзвук какой-то хотелось бы слышать. Впрочем, это не так уж и важно. Сейчас для меня важнее начать новую работу, по возможности полно отвечающую моему теперешнему настроению и ходу мыслей; и тут есть над чем задуматься.

28 апреля.

Вернулся не из Польши — из Москвы. Польша отложена; в Инкомиссии сказали, что документы мои выездные запоздали и что поеду с очередной делегацией. Я и обрадовался <...>. И еще любопытно: до предполагаемого дня отъезда остается меньше недели, а мне ничего не сообщают — еду, нет ли? — пришлось звонить самому, тогда-то и узнал, что документы не послали. А как там было на самом деле, бог весть? Что-то сомнительно насчет документов. Одно хорошо вне сомнения: не оказался в одной группе со Стрелковой; эта дама-воительница не вызывала у меня расположения ни вблизи, ни вдали; кроме того, как мне сказали в эту московскую поездку, в свое время означенная дама написала донос на Юрия Домбровского; словом, с польским вопросом пока покончено. А я ведь в порядке подготовки прочел

роман нынешней руководительницы польского Союза писателей Галины Аудерской “Варшавская Сирена” (совсем неплохая книга) и очень полезное историческое сочинение польского профессора Велиховского (издана в Киеве) о борьбе с реакционным подпольем в 45 — 48 годах, с тщательно прослеженной предысторией. Чтение было ненапрасное.

В Москве обговаривал окончательный текст рукописи в “Советском писателе”[247] с Еленой Ивановной Изгородиной, сокращал статью о Трифонове для “Нового мира” (опять не повезло: Нуйкина легла в больницу, и статью будет вести Койранская, которой как-то не доверяю; старая, утомленная, строго исполняющая волю нынешнего новомировского начальства — так, во всяком случае, я ее воспринимаю). Если в издательстве все вроде бы благополучно, то в журнале выйдет ли что — пока не знаю[248]. Высказанные Литвиновым[249] пожелания (чтобы учел их при сокращении) носили исключительно идеологический характер: не слишком ли плохо выглядят в статье современные герои Трифонова. Я пожал плечами: какие они у Трифонова, такие же — у меня. Так я и уехал, не зная, как восприняты мои сокращения. В “СП” последняя преграда перед запуском рукописи в производство, то есть перед засылкой в набор, — желание Дианы Тевекелян (она — в главной редакции) прочесть рукопись. Причем она сделала вид, что я сам просил ее об этом; я же при встрече в декабре просил лишь о поддержке в случае каких-либо неблагоприятных обстоятельств. Придется, видимо, написать ей небольшое письмецо, чтобы не случилось от ее чтения какой-нибудь беды.

Виделся с Викторией Николаевной Семиной; привез с собой семинские рукописи (письма, внутренние рецензии); издательство хочет, чтобы я был составителем книги; я же предложил, чтобы составителей было двое: Виктория Николаевна и я[250]. Встретились мы хорошо, взаимопонимание было полное: ничего разочаровывающего, как иногда бывает, я не испытал. Остановилась Виктория Николаевна у старого друга семьи — Льва Левицкого, чье имя мне, конечно, было известно, ну, хотя бы как автора книги о Паустовском, как составителя воспоминаний о нем.

Побывал в “Дружбе народов”, виделся с Дурново, Игруновой (новой, совсем молоденькой заведующей отделом критики), с Аннинским, с зашедшим к нему Болдыревым и так далее; разговаривал с Наташей Воробьевой насчет книги о Константине Дмитриевиче[251]. Много толков о моей новомировской статье. Включили ее в рукопись книги, для чего издательство пошло на увеличение объема на два с половиной листа. Говорят разное (о

статье), но в основном хорошо и более того.

Среди почтовых откликов на статью — от Залыгина, Нила Гилевича (это неожиданно), от Елены Ржевской.

Ездил в Переделкино к Оскоцкому. Он живет на даче Василия Смирнова (“Открытие мира” и так далее) до середины мая. То ли ему эти сосны по душе, то ли само присутствие в Переделкине дорого —*греет душу.*Во время прогулки встретили Катаева. День был сухой, теплый, он шел высокий, в темном пальто, худой, глядя прямо перед собой и чуть-чуть вверх, никого не замечая: он догуливал, доживал, и робкое “здравствуйте” Валентина истерлось на полувзлете. Шел человек — очень старый, но достаточно уверенно, без палки, погруженный в себя, — самое точное, что можно сказать, и я подумал, что вот он живой еще весь, но вся жизнь его сейчас в голове — в этих последних попытках найти смысл в прожитом и примириться с концом, со своим уж теперь — не других — исчезновением.

Прошли мимо пустующей дачи Пастернака, смотрящей окнами в поле и вдаль; семье она больше <не> принадлежит, и теперь вопрос в том, кто решится стать ее хозяином. Открыв, приподняв щеколду на калитке, вошли на дачу Чуковского: никого, на стене сарая силуэт, кажется, сурка, стоящего на задних лапах, на веранде — расписание работы музея, который тоже, вполне вероятно, доживает последние дни; идет суд, СП забирает дачу себе; участок кажется огромным, потому что не видно забора: высоченные, старые сосны, не дача — лесовладение; по-весеннему сыро, трава под ногами хлюпает, и мы не пошли на поляну, где Корней Иванович жег костры для детей.

Я не сведущ в этих делах, но выходит, что Пастернак и Чуковский не выкупили свои дачи у Литфонда: может быть, надеялись, что за их заслуги перед литературой и отечеством Союз писателей сохранит дачи за их семьями. Ярославец и Секретарь Союза мечтаниям не предавался: он выкупил свою дачу, и теперь в двух домах, стоящих на участке (плюс гараж), может прекрасно располагаться вся его семья. А в ненужное им время за сто сорок рублей в месяц — семья Критика — “полукровки” Валентина Оскоцкого (а товарищ Смирнов в национальном вопросе был щепетилен чрезвычайно!). Это не важно, что никому не приходит в голову затевать здесь музей, да и само имя бывшего Лауреата и Секретаря в истории нашей литературы упоминается все реже — впрочем, в детстве его “Открытие мира” мне нравилось; да что я про историю — в истории, хоть мельчайшей нонпарелью, но отпечатается, — важнее сегодняшняя память, сегодняшний отзвук, а их-то и нет; но эта дача не опустеет, других хозяев у нее не будет. Хорошо

быть писателем с такой собственной дачей — простым смертным писателем: не чета всяким бессмертным с их глупыми надеждами на благодарность потомков; да и денег смертные не жалеют: все, что нужно, выкупают при жизни, вкладывают, реализуют, — слава им, умеющим жить!

Валентин рассказывал, что зашел как-то к Евтушенко (в том же Переделкине); тот предложил гостю чтение из новой работы. Последовали страницы из сценария о трех мушкетерах. Хозяин поделился сомнениями: он не знает, где бы ему лучше снимать свой фильм (и играть д'Артаньяна) — то ли в Голливуде, то ли в Париже; лично он все-таки склоняется к Парижу. Валентин ушел от великого поэта и творца в некотором недоумении, хотя относится к Евтушенко с большим почтением.

Ваши бы нам заботы, господин учитель, — могли бы сказать миллионы людей. А впрочем, его дело, какие у него заботы, — только не надо бы привлекать к ним внимание тех самых миллионов. Ну разве что на уровне журнала "Советский экран", на уровне какого-нибудь актера Проскур<ина> или Збруева: над чем работаете, кого мечтаете сыграть?

Валентин немного пощипал мою статью, но серьезного в его доводах было мало. Если в ней есть хорошее, то не в частностях (в том или ином разборе), а в общем направлении и духе.

<...> Что такое человек для государства? — вот о чем хотелось бы спросить; вот о чем должна бы спрашивать литература всегда, не уставая, спрашивать и переспрашивать и снова повторять: что для государства человек? "Государственники" Александра Проханова — это баловни государства, а "державность" у Кожинова и его соратников — это сытость, благополучие, барство и "аристократизм" на новый лад; этих — не убивают в Афганистане, этих не облучает где ни попадя, эти не страдают от нехватки масла, творога или молока, этим не надо тратить время на то, чтобы купить себе обыкновенный приличный пиджак; возможно, их дети или внуки тоже страдают, но — от пьянства отцов, а не от очередных глупостей "исторического процесса".

Еще до поездки в Москву услышал от Коли Муренина такую историю: среди откликов на статью "Комсомолки" о "двойниках" (юные "неонацисты" из Белой Церкви) появилась и заметка из Костромы, подписанная инициалами. Судя по содержанию, писала какая-то старшеклассница. Стоило газете появиться в Костроме, как возник вопрос: кто скрывается за теми инициалами. Сначала вопрос возник у товарища Тупиченкова[252], следом — разумеется — у обкома ВЛКСМ на уровне секретарей. На другой день к Муренину явился Сергей Сергеевич, тот самый

светловолосый, ясноглазый, что почтил своим присутствием и заседание литобъединения, посвященное Воронскому, и мое 50-летие. Явился и проверил списки “школы молодого публициста” при редакции: нет ли подобных инициалов. Увы, не совпали. Тогда он попросил Колю позвонить в “Комсомолку” и узнать, известно ли там, кто скрывается за инициалами. Коля ответил ему, что это неэтично, и тот вроде бы отвязался. Надо будет спросить, увенчалось ли “дознание” успехом? А ведь о чем хлопотал, чего желал товарищ Тупиченков? Чтобы в школе, где учится эта вредная особа — а она явно продемонстрировала свою идеологическую неустойчивость, — было проведено необходимое собрание. Пока же было дано указание обсудить эту заметку, роняющую честь Костромы, на собраниях в других школах. Точнее, написать: “Бросающую тень на идеологическую работу Костромской областной партийной организации”. В этом-то секрет всего расследования: а вдруг заметку прочтут в Цека? И что при этом подумают? Про того же товарища Тупиченкова, нашего красавца и актера? А?

И еще история из нашей провинциальной кипучей жизни: перед самым моим отъездом по городу пронесся — по всем общественным горизонталям — слух: три ученицы 38-й средней школы избили десятиклассницу у нее дома так, что она попала в реанимацию. Били ученицы 8, 9 и 10 класса: самая старшая из них — дочь председателя облисполкома Горячева (до недавнего времени работал вторым секретарем обкома партии); другая девочка — дочь полковника-ракетчика, как мне потом любезно сообщила наша соседка, находящаяся в родственных отношениях с этой семьей, того самого полковника, что некоторое время назад получил партийное взыскание за то, что в пьяном воинственном воодушевлении откусил кусок уха некоему неугодившему ему человеку; третья из нападавших — дочь начальника какого-то ремонтно-строительного треста. Постепенно по городу распространились подробности: девочка была избита (били и утюгом), волосы ей обрезали ножом, поливали каким-то химическим бытовым препаратом (то ли против тараканов, то ли против моли или еще против чего). Затем вдруг новая волна слухов: девочка умерла! С утра — в предполагаемый день похорон — у дома, где жила девочка, стала собираться толпа; пришлось разъяснять, что девочка жива и через день придет в школу; одновременно весь город обсуждал, что Горячев явился к родителям девочки, просил не возбуждать дела, иначе он — якобы — застрелится у них на пороге. Дочь же свою он якобы немедленно отправил в Никольскую больницу. Жильцы обкомовского дома говорили, что эта дочь известна тем, что

кричала на отцовского шофера и так далее. Чуть позже — когда я уже вернулся — стало известно, что райком комсомола не утвердил решение школьного комсомольского собрания об исключении этой юной садистки “из рядов”, сославшись на ее малую сознательность, на детскую незрелость.

Как быстро возмущение случившимся приняло “антиначальнический” оттенок! Порочность девицы тотчас оказалась связанной с порочным изобилием (обилием) власти в руках нескольких лиц, чьи нравственные качества, тем более — преимущества, никому не известны, скрыты, как бы подразумеваются, но никогда не явлены, а доступны обычному наблюдению лишь их отделенность, вознесенность, кастовость, надутость, что автоматически вызывает неодобрение и подозрительность в большинстве. В слухах и комментариях публики в конторах, в автобусах, на улице были все оттенки, не встречалось лишь сочувствие Горячеву.

Наконец, еще история: в отдел писем “Северной правды” к Люде К. пришла женщина и рассказала, что ее сын, студент 3-го курса Технологического института, не захотел идти в армию и куда-то уехал; женщину неоднократно вызывали в милицию, допрашивали, но она ничего не могла сказать сверх того, что уехал, а куда, не сказал. Наконец, сегодня, то есть как раз в тот день, когда она пришла в редакцию, ее опять вызвали в милицию и объявили, что получен от прокурора ордер на обыск в ее квартире. Вот она и пришла в редакцию за защитой. Люда даже растерялась, потом пошла в другой кабинет и позвонила в милицию; ей там сказали, что обыск уже произведен и студент найден в шкафу, где прятался уже несколько месяцев, скрываясь от призыва. Люда, вернувшись, ничего, конечно, женщине-просительнице не сообщила, а стала успокаивать, побуждая идти домой. Но женщина словно чувствовала, что что-то произошло, и долго не уходила из редакции. Потом все-таки медленно и тревожно пошла. Ее ждали взломанные двери и распахнутый пустой шкаф. Что скрывалось за этим отчаянным поступком юноши — кто скажет? Он не был религиозным противником армии, и с психикой, вероятно, все было в порядке. Старший его брат, благополучно пройдя армию, работает где-то в Костроме инженером. Что теперь будет с этим юношей? Какую роль сыграла в его решении мать? Какую — Афганистан? В одном можно не сомневаться: наше государство не забудет ему этого шкафа до конца его дней. А если “не забудет”, то и конец дней придет скорее обычного, — милосердия ждать не приходится, да и гласности в суде и наказании — тоже.

3 мая.

Даже если сильно не праздновать, праздники утомительны; сбиваешься “с шага”. Первого мая ходили на площадь; те же голубые мундиры, голубые фуражки, те же девятеро — перед трибуной. Юра Останин, ныне подполковник, бывший студент пединститута, увлекавшийся когда-то фотографией и занимавшийся у меня журналистикой, на этот раз охранял вход на трибуну, рядом с телефонной будкой (всегда устанавливается за спиной трибуны рядом с дверью, через которую проходят члены бюро обкома). Как всегда, над трибуной возвышались портреты высших руководителей, исполненные нашими костромскими художниками. Их пиджаки — вот новость! — не сверкали геройскими Звездами; у Горбачева нет, и у них как бы не стало; странная, однако, логика руководила теми, кто отдал по стране это распоряжение: закрасить на портретах ордена.

Людей было много, в глазах от этой быстро движущейся реки рябило, и казалось, чуть дольше не отводить глаз — закружится голова. И я отводил глаза. Григорий Григорьевич выкрикивал лозунги, в микрофон, — провозглашал, но в паре с кем-то и меньше обычного: не иначе, сочли, что начальнику областного управления культуры это занятие не вполне подобает. Опять думал о том, что люди одеты бедно, что интеллигентные лица выделяются и как-то приятно их видеть, хотя иногда они болезненны и в них — мерещится, должно быть, — запечатлено какое-то неудобство: оттого, что нужно тащить какой-нибудь флаг, картинку какую-нибудь, как-то отзываться на провозглашаемые призывы и лозунги, спешить, догоняя впереди идущую быструю колонну.

Я люблю повторяемость: ходить одной и той же дорогой, встречать одних и тех же людей, в одно и то же время садиться за стол и так далее. Но в этом празднике на площади всегда есть что-то скучное; кажется, на глазах исчезает содержание; или всякая ритуальность связана с убывающей — неизбежно — содержательностью. Сегодня одна немолодая женщина-врач сказала, что она прошла мимо трибуны, глядя прямо перед собой: ей неприятно смотреть на эти надутые, мрачные лица. Разумеется, не все лица надутые и мрачные, кто-то, как всегда, улыбался, махал рукой, но однажды ей открылось несовпадение между ее настроением и настроением тех, и она — отвернулась. За ритуальностью и внутри нее может быть живое, не спорю, но всё вместе, где живое и мертвое, формальное, тайная идея проформы, как бы нейтрализуют друг друга, это образует некое действо, вдруг повлиявшее на меня самым угнетающим образом: повеяло какой-то бессмыслицей или, лучше сказать, силой,

обессмысливающей жизнь.

Иногда имеешь дело с тем, что убивает интерес к жизни, обесценивает ее, и тогда вдруг — это бывает внезапно и не является результатом обдумывания — испытываешь готовность умереть: ничего вдруг не жаль, все тускнеет, нечего с*этим*совмещаться, быть рядом и заодно. Я не имею здесь в виду нынешнюю демонстрацию, но — что-то подобное; нужно себя подловить на этом ощущении бессмыслицы и запомнить, в связи с чем оно явилось (тут речь не о том, что жизнь вообще “бессмысленна”, что мы — мельчайшие частицы живого вещества, затерянные на мельчайшие доли времени в мельчайших пространствах).

Читаю письма Виталия Семина; не испытываю при этом никакого неудобства: словно читаю “произведения”, словно так и надо и даже более того — необходимо, что<бы> прочло их как можно больше людей. Сколько адресатов — столько Семиных; скажем, восемь адресатов — восемь граней личности; компромисс — небольшой — проглядывает в письмах к Лавлинскому (Семин очень благодарен ему за публикацию “Нагрудного знака” в “Дружбе народов”), но все остальные различия связаны вовсе не со степенью компромисса, а с личностью, образом жизни, индивидуальностью адресатов. Это естественно, так обычно и бывает, но у Семина это при чтении подряд очень заметно; тут открываются как бы разные “слои” его характера, ума и так далее, и ясно видишь, где он — “худший” и где — “лучший”, и как это, да и многие оттенки соединяются воедино, и как “лучший”, истинный, берет верх над всем прочим, словно “служенье литературе” — велит, словно мусор остается всегда внизу, и поднятая пыль все равно оседает.

Пришли вчера на наше футбольное поле, а оно за зиму превращено еще в одну городскую свалку: видно, лень была шоферне на самосвалах ездить далеко.

Нет, праздники не по мне: какая-то остановка.

11.5.85.

Корнилов[253] и другие обрадованы тем, что Горбачев в докладе упомянул Сталина. Аплодисменты в зале и в самом деле были длительными. Не важно, что Сталин не назван Главнокомандующим, важно, что вообще назван. Хотя наше общество именуется обществом развитого социализма, я думаю, что истинно социалистического в нем мало. Общество под стать многим прочим. И государство — под стать... То есть мы похожи или тем же миром мазаны... Отсюда — утверждение общих ценностей, уравнивающих с другими государствами, особенно

жестокого строя. Я не против — сочтем былые надежды за утопии, — но: не будем злоупотреблять социалистической терминологией, будем называть все своими именами.

15 мая.

Вчера я согласился принять участие в телевизионной передаче “Писатель и жизнь” вместе с Феликсом Кузнецовым (разговаривали вчера по телефону). Очень не хотелось, но поддался уговорам женщины с ЦТ. А сегодня утром уже думал о том, чтобы не ехать. Очень огорчил сегодня разговор с Еленой Ивановной Изгородиной, она сама позвонила, чтобы сказать, что Диана Тевекелян сделала много неприятных (перестраховочных и вкусовых) замечаний по моей рукописи. Или это она так отреагировала на мое письмо, где я просил ее быть терпимой? Завтра вечером буду звонить Изгородиной, чтобы узнать, чем закончились ее переговоры с Дианой. Вот удружила давняя знакомая! А впрочем, не того ли следовало ожидать? Если подумать, то мы в понимании жизни (по судьбам и опыту) и не можем с ней сойтись. Остальное — отсюда.

Пробую писать о так называемой “новой волне” в драматургии (для альманаха “Современная драматургия”), но настроения что-то нет, да и эта телевизионная затея переходит статье дорогу.

Сообщение в газете о гибели в Пакистане группы наших военнопленных, попытавшихся освободиться из рук афганцев; сколько их погибло — не сказано, имен нет, соболезнования близким нет тоже.

Кондратьев в письме объясняется на близкую тему: оправдывается.

Отмечали в Союзе[254] 9 Мая. Шапошников не пришел — сажал картошку; подвыпившая Гуссаковская рассказывала о своей родне: ее дед был последним вице-губернатором Костромы, мать в 13-м году, будучи девочкой, приветствовала царя во время торжественной церемонии; среди мальчиков-гимназистов царя приветствовал Федя Трухин, будущий генерал-лейтенант, кавалер ордена Боевого Красного Знамени (за Гражданскую войну), заместитель генерала Власова; этот Федор был влюблен в мать Гуссаковской и не раз бывал у них дома. Ольга Николаевна припоминает — насколько сама или по чьим-то рассказам? — что в тридцать седьмом году Трухин приезжал к ним (в ту пору он учился в какой-то академии?) и говорил, что чувствует себя одиноким деревом, а вокруг то ли озеро, то ли топь.

Виктор Елманов рассказал, что его отец был арестован в 49-м году и пропал без вести; на запросы было отвечено, что о судьбе

его ничего не известно. Когда Елманову была предложена должность секретаря Белорусского ВТО, он ходил на собеседование к Петрашкевичу, тогда работавшему в Цека; ныне — драматург, член СП. Когда Петрашкевич услышал историю отца (не реабилитирован?), то назначение не состоялось.

В связи с избиением десятиклассницы 38-й школы приезжала корреспондент “Комсомольской правды”; первый секретарь обкома ВЛКСМ просил не выступать в газете по этому поводу; была встреча и с Горячевым; в “Молодом ленинце” убеждены, что статьи не будет.

Вчера Блянк[255] сказал мне, что отвез письмо на имя Политбюро Цека (по всяким общим вопросам, в поддержку курса на “порядок” и тому подобное, но с выпадами против местного начальства). Когда спросил на костромской почте начальницу отделения, отправит ли она такое письмо дальше, та ответила: мы отправим, но какие указания на этот счет имеют на сортировальном пункте, я не знаю. То есть косвенно она дала понять, что гарантий нет. Вот Блянк и сдал свое письмо в одном из подъездов здания на Старой площади.

Звонила Селиванова (“ЛГ”), сказала, что говорила обо мне (о новомировской статье) в ТВ-передаче “Круг чтения”, но я этого не знал и передачи не видел.

В СП — спор о Сталине; Корнилов с Жанной Павловной оказались в одиночестве, Корнилов сильно занервничал, и я, готовый подбросить еще полешко в тот костер, увел разговор в сторону.

28 мая.

Вернулся из Москвы в субботу вечером, то есть 25-го; а в среду, 23-го, вместе с Золотусским и Лесневским под управлением Феликса Кузнецова участвовал в съемке ТВ-передачи “Писатель и жизнь”. Беседовали-рассуждали мы с двенадцати до трех часов; наговорили всякой всячины, не знаю, выйдет ли что из этой затеи. Мне было хуже всех, потому что перед камерами я сидел впервые и кое-какие излишне резкие словечки с языка сорвались; то есть стилистического совершенства в моей речи не было. Ну а намеренные резкости вряд ли пройдут в эфир, хотя хотелось бы. Еще понял, что при известном навыке и опыте на ТВ вполне можно говорить спокойно, без лишних переживаний. Ну а в этот раз без переживаний не обошлось.

Познакомился с Владимиром Соколовым; он знает обо мне от Кондратьева. После долгого перерыва разговаривали с Золотусским...

Борьба с пьянством выразилась, в частности, в том, что в ЦДЛ прекращена продажа спиртного; говорят, шесть официантов подали заявление об уходе. Говорят также, что на секретариате Московской писательской организации Владимир Гусев выступил с протестом по этому поводу.

Познакомился также с Юрием Томашевским; оказывается, он поступил на факультет журналистики после службы в армии в пятьдесят седьмом году. Рассказывал о своих хождениях в Госкомиздат (к Чикину: “Широкая комсомольская улыбка, все знает, все понимает”), о борьбе за 4-томник Зощенко.

...Какое доброе и щедрое письмо пришло от Василя Быкова!

Речь Горбачева, переданная по ТВ, в газетах не напечатана; но вышла брошюрой[256]. Речь хороша многими сторонами. Во всяком случае, с времен Хрущева с народом, то есть со всеми нами, так не разговаривали. В Москве распространяются легенды, долженствующие показать явный и обнадеживающий интерес нового лидера к искусству (посетил “без предупреждения” “Дядю Ваню” во МХАТе, а потом позвонил Ефремову, поблагодарил) и литературе (позвонил Исаеву, спутнику по поездке в Англию, и поблагодарил за книгу, которую тот ему прислал).

Ожидания ожиданиями, но страх в редакциях и перестраховка — прежние. Диана Тевекелян, работающая в главной редакции “Советского писателя”, причинила немало вреда моей рукописи, взявшись ее прочесть. К тому же сказала всем, что я ее об этом просил. Чудеса! Объясняю ее вмешательство только желанием перестраховаться.

Народные умы расшифровали фамилию Горбачев так: “Гораздо Образованнее, Работоспособнее Брежнева, Андропова, Черненко; Его Время”.

Вот уж поистине в духе наших вечных умильных надежд!

Еще подробность из нашего быта: вологодские власти потребовали у нашего театра (выехал в Вологду на гастроли) около ста пригласительных билетов и были очень раздосадованы (до скандала), что костромичи выделили для гостей 4 — 6 ряды, тогда как надо было дать 6 — 9 ряды. В чем дело? Оказывается, вологодское высшее начальство привыкло сидеть в шестом ряду, все же начальники поменьше должны сидеть позади, а не впереди. Костромичи невольно нарушили этот заведенный порядок и вызвали неудовольствие. Вот вам и Вологда — оплот русского народного духа.

9 июля.

Провел в Москве без малого две недели; выступал на Совете по критике, разговоры разговаривал, прочел роман Дудинцева

“Неизвестный солдат”...[257] На редсовете “Современника” Фролов[258] объявил, что моя книжка о Залыгине “выскочит” через несколько дней. Когда же я зашел к нему в издательство, <узнал>, что ничего подобного, что она в плане четвертого квартала, но в Главлите она уже подписана; и это улучшило мое настроение. Разговаривал с Залыгиным, Черниченко, Личутиным и так далее. Впервые выступал на Совете по критике; лишь Черниченко да я сорвали аплодисменты. Многие спрашивают, когда же я окажусь в Москве? А мне — совсем не хочется там оказаться. Случись такое — не будет у меня душевного покоя, и тысячи мелочей меня погубят.

Литературная среда полна разговоров о переменах в идеологическом аппарате Цека. “У нас республика, а не помойное ведро”, — якобы сказал Янош Кадар, услыхав о назначении послом в Венгрию Стукалина. Однако пока все на постах, в том числе и Стукалин. А вот нашего Баландина наградили орденом Ленина, и послезавтра ожидается приезд в Кострому Воротникова[259] на какое-то республиканское совещание по мелиорации. Город выметен, вычищен, дома и заборы в свежей краске и так далее. Неужели, я думаю, люди баландинского типа по-прежнему будут занимать высокие посты? Или достаточно переменить-обновить фразеологию, а командовать как обычно? То, что происходило на Правлении СП СССР, да и на Совете по критике, показывает, что люди, на протяжении трех последних лет цитировавшие — упоенно и громко — поочередно — трех вождей, ничуть этим не смущаются и благополучно занимают свои высокие посты. Они преданны заранее любому курсу политики — старому, архистарому или новому. Закрадывается мысль, что им все равно, чему соответствовать, важно — своевременное, максимально полное и непременно — громкое — соответствие.

Впервые слышал выступление Левы Аннинского; впечатление разочаровывающее: ...пьем, потому что работать не умеем; работать не умеем, потому что пьем; и где-то подспудно — узды не хватает; еще немного, и пожалеем начальников — тоже из любимых и старых Левиных мыслей.

Статья Гуськова и Скопиной в “Комсомолке”[260] вызвала отпор со стороны Михалкова и Феликса Кузнецова. Стеной готовы встать — не дадим в обиду Бондарева, а может быть, за этим еще и опасенье, что того гляди — всем достанется от критики: и лауреатам, и секретарям, и гертрудам[261].

Пришла рецензия на рукопись Баранова, поддержанная редактором: предлагается вычеркнуть из дневников мальчика все, связанное с репрессиями, с финской войной, с выборами в

Верховный Совет. Рецензент не может поверить, что так мог думать и, главное, — на самом деле так *думал* — этот буйский школьник. Я эту рецензию перепечатаю себе на память, а сокращения делать — откажусь[262].

10.7.85.

Возвращался из Москвы (6-го июля) автобусом. После Петровска сзади меня на сиденье оказалось двое. И разговорились. Первого я приметил чуть раньше. Он вошел необычно громко: “Здравствуйте. Где я могу тут устроиться?.. Нет, мне лучше в серединке автобуса”. Потом подсел к какой-то девушке, что-то толковал про кино и телевидение и вообще говорил бойко, каким-то киноголосом и был явно пьяненький. Когда же рядом с ним сел новый пассажир, завязался разговор. (Первого назову Киноартистом, второго — Механизатором.)

*К.:*Ты чего, с работы едешь?

*М.:*Да я сачканул. Еще часа два надо бы работать.

*К.:*Сачканул? Нехорошо ведь. Как это вообще “сачканул”?

*М.:*Да как? Выпили по две бутылки красного и еще два с половиной литра водки.

*К.:*Рассказывай, кем работаешь?

М. отвечает, что послан с производства, работает механизатором.

*М.:*А ты где работаешь?

*К.:*Не могу сказать.

*М.:*Как это?

*К.:*Не могу — и все.

М.(после паузы): Не дело говоришь. Скажи приблизительно.

*К.:*Это дело, связанное с космосом. И вообще я из-за границы еду.

М.(после паузы): Не дело говоришь.

Тема заграницы не получает развития. Молчание.

*К.:*Я в Ростов еду. К отцу. Люблю Ростов.

*М.:*А я в Семибратово. Люблю Семибратово.

*К.:*Меня в Ростове все знают.

*М.:*Меня в Семибратове тоже все знают. Я их не знаю, а они все здороваются.

М.(после паузы): Жаль напарника. Завтра будет за меня вкалывать, потому что завтра я не вернусь. Должен же быть у меня выходной. А он будет вкалывать и меня ждать.

*К.:*Значит, переживаешь? Да?! Замечательно. Вот мы, бывало, за границей вспоминаем Россию и думаем о таких, как ты. Они же переживают! На них Россия держится!

М.(после тяжелой паузы): Не дело говоришь.

К. предлагает выйти в Ростове и выпить.

*М.:*У меня денег нет.

*К.:*Я тебе налью рюмочку.

К. по мере приближения к Ростову про обещанное угощение забывает.

Ростов, и К. отчаливает.

12 июля: один; вчера до двух ночи возился с письмами <…> Будет ли время, чтобы перечитать хотя бы часть, что-то припомнить, может быть, что-то взять из своих сочинений; много там чувств, и даже чересчур много, да ведь правда — стыдись не стыдись, а таким был. Просматривал вчера же свое сочинение про “футбол по воскресеньям”, с этого и началось, и полез в эту пыль, и поднялась эта душевная смута и горчайшее сожаление, что столько всего прошло; тогда же подумал, что если напишу, смогу написать что-то сверх критики, то оно должно вместить всю оставшуюся*за*критикой мою жизнь и мысль, именно всю, что вместится, потому что ни на что другое не будет уже ни сил, ни времени. То, что я хотел бы написать, должно было бы соединить жизнь, реальных (переиначенных) людей, литературные и прочие книжные впечатления и знания, то есть все, чем живу, чем живет моя память и мое сознание.*Все*вообще выкладывать плохо, ненужно и даже невозможно, но хватит сил — попробую написать хоть про часть всего. Договорить бы то, что недоговаривали всю жизнь: историю наших дней все равно будут потом переписывать — и не по газетам! — может быть, пригодится и что-нибудь наше.

Какой-то ярославский рецензент насторожился, как это школьник Юрий Баранов удивлялся первым выборам в Верховный Совет: одного депутата — из одного кандидата. И вообще не понимает, как этот мальчик смел так думать: о выборах, Сталине, об аресте отца. Кажется, этот ярославский ясновидец думает, что Баранову все это приписано; Старшиновым, что ли, или мной? Меряют по себе, дикие, испорченные люди, и еще боятся, не устают бояться и пугать других! Вычеркивать я ничего не буду — пусть как хотят.

В пять вечера пошел прогуляться; на улицах, особенно на перекрестках, полно милиции (в парадной форме) и дружинников. В Костроме сегодня началось какое-то крупное совещание по проблемам агрокомплексов Нечерноземья. Несколько раз, пока я гулял, с истошным воем проносились машины ГАИ, а за ними колонны интуристских автобусов, замыкаемых пустым автобусом и машиной “скорой помощи”; при этом все остальное движение машин и пешеходов под свистки и крики в мегафоны останавливалось, и толпа взирала на

проносящиеся кортежи. В автобусах сидели одни мужчины, чинные, строгие, лысоватые, неподвижные, как манекены, ни улыбки, ни жеста, мы, на тротуарах и обочинах, должны были испытывать почтение и, может быть, страх; во всяком случае, мы должны знать: вот проносится мимо нечто высшее, решающее судьбы, не вам, граждане, чета!

12.7.85.

См. Пушкин, т. 10, с. 176 (“государственная безопасность”). Вспомни, как Архипов рассказывал, как читал *наши* письма. И родителей тоже[263].

У пожарников, когда учат на пожарников, читают лекции о пожарном деле, истоках, началах, о ДПО и т. д. Откуда есть и пошла… Где, когда, в каких источниках упомянута.

Историкам КГБ вполне можно использовать Пушкина. В таком-то томе (10, 176) упомянута “гос.безопасность”. Можно ведь изучить вопрос, упоминал ли, применял ли кто это выражение *до?*

Изучают же, кто первым написал: “русская интеллигенция”.

14.7.85.

Когда напечатают этот роман, окажется, что полстраны — “неизвестные солдаты”. И Феликс Кузнецов — тоже, и страшно подумать — сам первый секретарь. Но тогда встанет вопрос: а кто на *высоком берегу?* Кто там засел?[264]

Сегодня необыкновенный утренний сон, где-то около семи: как был у Михаила Алексеева и он меня расспрашивал, и чем больше я ему рассказывал (очень, помню, здраво), тем больше он тускнел и отстранялся. А народу в его кабинете было много. И все чинные крупные люди с пугающе-значительными лицами, огромного роста. “Вот и Самсонов пришел!” — сказали, и вошедший военный историк стал вдруг объяснять явившиеся на стене какие-то картинки, намекая на присутствие в гитлеровском окружении нашего человека и указывая даже на него в толпе каких-то людей, видимо фашистской верхушки.

(Почему-то эти люди у Алексеева напомнили мне тех, в автобусах с мчавшейся впереди машиной ГАИ, проносившихся вчера по городу…)

14.7.85.

Ненормальное давно и незаметно стало нормальным. Мы молчаливо допустили, что обойтись можно без молока каждый день, без хорошего чая, без масла. Без какой-нибудь ваты, без электрических лампочек. Без батареек. Без свободы выбирать

одного из двух. Без свободы писать письма, огражденные от перлюстрации. Без многих других свобод. И несвобод.

Допускали, что все нормально. Потому что мы имели в виду возможные худшие варианты. И только поэтому мы говорили: все хорошо!

15.7.85.

Одна бабушка у меня была липецкая, а другая — смоленская. “Пишет тебе смоленская бабушка”.

Одна бабушка — дворянка, другая — пролетарка.

Каково?

В Липецке, когда прибежали туда в 41-м, видимо в августе — сентябре, смоленская бабушка Ольга Григорьевна работала посудомойкой в какой-то столовой. Потом с этой столовой она эвакуировалась на Урал, в Копейск. (Дядя Дима из госпиталя приедет туда, к ней. Впрочем, переписываю и думаю: а так ли? Может быть, было так, что дядя Дима лежал в госпитале в Копейске и она приехала туда к нему?) Липецк в памяти остался через парк, старый, тенистый, пропахший лечебными грязями и водами, с какими-то пахучими канавами, с мостками через них...

Но тот мостик, где окликнула и нагнала меня бабушка Ольга Григорьевна, был вроде в другом месте, будто через какую-то маленькую речку, и, нагнав меня, поцеловав и что-то наскоро, невнятно нашептав мне в ухо, она — почти воровато — сунула мне в руки какой-то кулек с чем-то неприятно сырым и темным. “Съешь, съешь котлетку!” — дошло до меня. И тотчас она поспешила дальше, оглядываясь, не видел ли кто.

А оглядывалась и боялась одного: мамы моей, а еще пуще Варвары Николаевны, липецкой бабушки. Боялась осуждения, что вот пихает что-то ребенку, и вообще это лишнее, пустое.

И, многое позабыв, это помню: как — опять же воровато — и еще брезгливо — вот что важно! — уронил я тот кулек с котлетами в воду под мостик. И не потому, что сыт был, перекормлен, а от какой-то уже усвоенной инерции брезгливости и с одновременной жалостью к доброй своей бабушке, которую любил.

Словно эта брезгливость была сама по себе и бабушки не касалась, а только — ее вечных каких-то суетливых всучиваний всякой бедной съедобной всячины.

Так, так — бедной!

Не собранной ли со столов?

Не это ли подразумевалось, когда учили: не бери!

И это ведь тоже память о 41-м годе.

Не со столов, конечно; бабушка всегда — и долгие годы

потом, в Москве, на Хорошевке и позже на Полтавской — отделяла от своего: не станет есть, припрячет, прибережет, придет внучек — угостит. И обычно тогда, когда не видит дядя Витя, а то рассердится: “Ну что ты все припрятываешь, ничего не ешь, неужели всем не хватит”... Конечно, хватит, но от своего — надежнее и, может, приятнее, да и много ли старому человеку надо...

16 июля.

Перепечатываю кое-что из старых дневниковых записей, какие попадаются под руку. Когда я остаюсь один да долго, почему-то начинаю рыться в бумагах... Иные записи глупые — спалить! — но документ; не стоит делать себя лучше, чем был. Так или иначе, а я как-то из этой душевной смуты выбрался, выработался — чего тут лукавить?

В один из недавних дней в Москве, возвращаясь домой с Воровского, я вдруг поверил, что смогу написать*прозу;*то есть я шел — и все время во мне что-то завязывалось, обдумывалось, и, кажется, из всего вокруг исходили какие-то толчки, и я радостно ловил в себе: и это годится, и это! надо запомнить! Как наваждение какое было! И ведь наутро, проснувшись, проверил себя, запомнил ли, и оказалось, да, помню! (Это были наблюдения над собой и над людьми из толпы, и кое-что из этого я уже записал и еще запишу). Теперь уже не первый одинокий свой вечер я все примериваюсь к чему-то неуловимому, прислушиваюсь к себе, все жду, что прорвется какая-то фраза, слово, с чего и начнется или продолжится, а все никак, напрасно.

Семин в письмах жаловался, что по вечерам ничего уже не может писать. Даже читать бывает трудно. Он выматывался, изводил себя за день.

Страшно хочется сесть с утра — такого никогда не бывало! — и попробовать.

Удивительно: в “Былом и думах” Герцен, по сути,*пропустил*четыре университетских года, то есть написал о них с превеликой краткостью, упомнив кое-каких преподавателей, студентов, но без особых подробностей насчет “университетской науки”.

Когда он вспоминал время молодости, ум его был уже сосредоточен на другом.

Мне хотелось бы написать об университете, с года пятьдесят пятого; остальное — в каких-то проблесках памяти, и все, разумеется, в подчинении не хронологии и не ради изображения учебного процесса и научных интересов, а в зависимости и подчинении — созреванию политических взглядов,

самостоятельной мысли.

(До чего корявая фраза сложилась!)

Сегодня на партсобрании пели чуть ли не в унисон: мы поддерживаем “новый курс”, но ему будут сопротивляться; будем верить, что он победит, и будем тому способствовать.

Вообще-то ситуация странная: в Москве выдвигают новые идеи, а здесь — тихо и глухо. Верит ли сам Горбачев, что руководители, занимающие свои высокие посты не одно десятилетие и воспитанные на послушании и повторении всего, сказанного высшим начальством (помнишь: “Положения и выводы, выдвинутые товарищем...”?), и повторяющие это сейчас, могут вдруг перестроиться, переродиться, начать *другую* жизнь и мыслить по-новому, по-революционному?

Такое может случиться с единицами, если вспомнить, кстати, судьбу Хрущева. Но те решения, которые он вынужден был принять, и те факты, что послужили их основой, сами по себе были огромным потрясением, и здесь “перестройка” совершалась сама — не по указанию сверху. Нельзя начать мыслить революционно по приказу. Тем более, если не знаешь, что это такое, и всю жизнь только и делал, что такую и подобную мысль притеснял и искоренял.

Селиванова из “ЛГ” долго объясняла по телефону об интригах против нее со стороны Гусева и Бочарова, обиженных за ее отчет с Совета по критике, и оказалось, что таким образом она хочет предупредить, что статья моя отодвигается и пройдет после статьи Гусева, иначе Гусев еще пуще разобидится, сочтя, что Дедкову опять отдают предпочтение, и так далее.

19.7.85.

Если писать героя с себя, то можно начать с болшевского лета. С раскладушки в ненадежной тени яблонь. Подсунув руку под голову — так на фотографии, — ты лежишь и читаешь. Ты очень молод, и худ, и бледен. Фотография, передающая чью-то бледность, — редкостное явление. Но призрак туберкулеза легких бродит в нашей семье, и это он отправил меня в Болшево и уложил на раскладушку под тенью яблонь. Я читаю Александра Грина и Юрия Олешу и сочиняю мысленно романтическую историю в их духе, если можно представить себе их дух в совмещении. По субботам-воскресеньям ты ждешь, что тебя навестят. То есть ждешь всю неделю, что тебя навестят. Ожидание способствует бледности. Итак, ты молод и бледен.

А время кажется долгим. Будто все лето ты провалялся на раскладушке. Но этого не могло быть. Не провалялся и не все лето, потому что седьмого сентября ты уже был в другом городе.

И был практически здоров.

Диплом, молодость, бледность — и это, ты думал, все, что имеешь? Ты ошибся. Ты имел много больше, но не знал. Зато знали другие.

Лето 1985 года. <С отдельной страницы.>

Будто кто-то когда-то придумал поиграть в Москву: “Малый” напротив “Художественного” через улицу наискосок[265]. Подъезд у “Малого” украшен изогнутыми цветами в стиле модерн. Но “Малый” почему-то снесли — должно быть, сильно скрипел: был замаскированной деревянной двухэтажной хибарой.

А. И.[266], может быть, приходил сюда и, дожидаясь сеанса, поднимался на второй этаж, где были столики с журналами и газетами веером, и читал сводки информбюро.

Человек проходит, рассекая воздух, и в воздухе остается его след. Потом идете вы и тоже качаете эту невидимую массу, и вы — взаимодействуете.

Надо было объяснить, откуда явились эти мысли[267]. Предполагалось зловредное влияние западной буржуазной пропаганды, вероятно, имелись в виду радиоголоса. Но в пятьдесят шестом — пятьдесят седьмом, — и раньше, само собой, — я ни от кого никогда не слышал ни слова, — во всяком случае, не помню, — о том, что говорит Би-би-си или Голос Америки. Нам некогда было это слушать. Не приходило в голову. Я написал *им,* что мысли явились под влиянием Франца Меринга, когда он написал, что история после Маркса шла не совсем по Марксу: не были угаданы реальные судьбы рабочего класса западных стран.

“Проза — это способ любой ценой выразить мысль” (Ж. Кокто).

Какую мысль, господа?

Есть ли мысль?

2 августа.

Вчера утром около девяти позвонил Афонин; оказывается, на теплоходе “Советская Россия” он плывет до Астрахани[268]. Я пришел на пристань, увидел отборную, холеную публику с этого корабля, дождался Василия Егорыча, или просто Васю, и мы пошли к нам домой, где и просидели за ромом до двенадцати. Тем же теплоходом плыла и Тулякова-Хикмет, недавно нас навещавшая, и я имел возможность засвидетельствовать ей свое почтение. <…> Разговор с Афониным был, что называется,

исполнен взаимной приязни, но ничего существенного не содержал.

Статья в “Литгазете” прошла, но вымарано все, что касалось Бондарева и Проскурина (о “масонах”, поработивших всю западную жизнь)[269]. Объявлено о телевизионной передаче с моим участием 8 августа.

В Москве проходит фестиваль молодежи. Вспоминаю удивительные, неожиданные прямые телепередачи с фестиваля пятьдесят седьмого года. То, что в обрывках, в вечернем монтаже показывают по вечерам, насквозь политизировано, а сегодняшний так называемый гала-концерт советской делегации подавлял огромным количеством участников, одновременно присутствующих на сцене, официальным и парадным характером режиссуры и всего содержания. С горечью думаю, что никакой подвижки к лучшему в идеологической сфере не происходит: никаких примет.*Никаких!*Ольга Михайловна, хохлушка из областной цензуры, вернувшись с какого-то кустового семинара, гордо сказала мне, что строгости нарастают, что в докладе указывалось на ошибки в очерке Распутина и что вообще московские цензоры в своей работе пользуются уже не официальным “перечнем” <запретов>, а, так сказать, преимуществами своего более высокого политического сознания.

Читаю “Былое и думы”. Прочел “Пожар” Распутина, нечто скорее очерковое, чем художественное, с напрасными рассуждениями о душе, теле, духе, то есть с “обязательным” ныне набором неглубокого мудрствования.

Пробую кое-что писать для себя — не для печати: под влиянием Герцена. Простительно? Или в мои лета пора бы писать — без влияния?

По телевизору идет фестивальное обозрение (Фесуненко и Масляков): то афганцы поют, то сальвадорцы, то ансамбль из Никарагуа: нажим сильнейший, звучат одни политические песни, и комментаторы не дают передышки ни себе, ни нам; не знаю, смотрит ли кто эти однообразные по своей тональности, акцентам и содержанию передачи?

30 августа.

Вечером двадцать седьмого мы с Никитой автобусом вернулись домой.

За эти две недели побывал у Германа и Жанны Воробьевых в Ухтомской — теперь Москва[270], у Нуйкиных (попал на день рождения Андрея, 54 года), у Можаева, у Владимира Осиповича; снялся в передаче о Трифонове (прошла в эфир двадцать восьмого августа).

Дни стояли жаркие, оттого московская жизнь была мучительнее обычного, жаркое постоянное, непреодолимое многолюдство <…>

Неожиданно добрые отзывы на телепередачу от 8 августа; зато литературное начальство, говорят, недовольно. Неприкасаемые. Они и в самом деле чувствуют себя начальством и защищают свое положение. Если помнить, что речь идет о русской литературе, то все это иерархическое сооружение выглядит как нечто глубоко противоестественное и вымороченное.

Незадолго до моего отъезда в Москву у меня был Вася Афонин. Плыл на теплоходе “Советская Россия” вниз по Волге. Оказалось, что теплоход принадлежит <?> Четвертому управлению, то есть на нем плывут люди особо высокого достоинства и к тому же бедные; именно поэтому путевки для них приблизительно в два раза (165 рублей) дешевле “общенародных”. Что эта публика повышенного достоинства и что жизнь ее ценится выше всякой прочей жизни, я понял сразу, явившись на причал: очень уж холеные граждане сходили с теплохода. Среди них были и Юрий Бондарев с супругой. Там же оказалась и Тулякова-Хикмет, видимо способствовавшая Васе Афонину в получении места на этом высоком*борту*. Васю я посетил в каюте сестры-хозяйки, отданной ему и более удобной, чем та одноместная дорогая каюта, что была у нас на “Дмитрии Пожарском”. К тому же при мне Васе была обещана начальницей рейса новая “квартира” повыше, так что наш простой пролетарский парень из Томска явно доказывал, что он — не промах и “права качает”, да и от недооценки своего значения и литературных возможностей не умрет.

Хотя уже было Первое июня, мы с Васей прикончили бутылку кубинского рома, разделив остатки с Верой Владимировной и теплоходной начальницей, и я отбыл на берег в свое одиночество.

“Московский вариант” не исчезает, но приобретает все новые и неожиданные очертания. Я не жду от этих вариантов ничего хорошего: это будет для меня страшная трата душевных сил. И уйдут они вовсе не на главное дело.

Очень хочется продолжать те 19 страниц, что написал перед отъездом в Москву.

16 сентября.

Все вроде бы стихает — полоса тишины; хорошо бы, но как заноза: ехать во Владимир, потом — на вечер памяти Трифонова в Литмузей и, наконец, вместо Польши — в Чехословакию. А по мне: никуда бы! Волна писем и отголосков сошла, самое время — не суетиться, не обольщаться, не надеяться, а сидеть за столом, —

вот и пытаюсь, а душа неспокойна, и я говорю себе: какое смутное было лето, и смуту эту так просто не забудешь.

Империя: националисты и империалисты сходятся в одном пункте, славя державность и государственность.

“Служить державе!” — гордо сказал Виктор Лапшин[271], по просьбе Корнилова формулируя смысл и цель своей поэзии.

Я высмеял, а зараза осталась.

Обязанные революции всем, революцию же и поносят.

ВРОЦЛАВ. 2.10.85.

Солнце бьет посреди окна. Я сплю, выходит, лицом к Востоку. Песенка польска по радио. Нашептывает...

Чтение из “Контекста”[272] возвращает к своему, домашнему, российскому, прочно, сразу, будто ступаешь, переступаешь в другие воды и чувствуешь мгновенно — то твое, здесь — недоступное легкому, быстрому, внешнему — взгляду, и потому при всей твоей расположенности, сочувствии — чужое.

Да они и не нуждаются в сочувствии. Они погружены в свое; и что интересно — резкого отрицания — опережающего — к “Солидарности” — нет.

Когда я спросил, не тронул ли кто воинское кладбище в дни “Солидарности”, мне ответили, что нет, это было в других местах, руками мальчишек, и вообще в “Солидарности” было много хороших людей.

Это, может быть, по-польски: не вступать в Союз писателей из-за недостаточной авторитетности возглавляющей его личности.

Наш вроцлавский “гид”: о том, что немцы лучше всего чувствуют себя во время порядка, поляки — во время беспорядка. Во время порядка поляки теряются, в беспорядке — находятся...

Смотришь в растерянности: как увидеть, запомнить, сохранить, — молчу о том, что — понять бы! — и успокаиваю: ты же не можешь запомнить хорошую книгу в деталях, построчно, тебе нужно ее прочитывать и перечитывать заново, а тут хочешь, чтобы сразу — по Рубцову: “Взглянул на кустик — истину постиг”.

Не выходит. Ни с кустиком, ни с чужим городом, ни с чужой жизнью. А “нет, друг, всякая власть есть царство, есть тот же синклит и монархия” (А. Платонов).

Не гастроли нужны, а пожить спокойно и с тем, с кем тебе хочется, подольше: тогда все преобразится...

Бог мой, а как снуют по магазинам... — вот где печальный уклон человека.

Соскучился по дому — это так называется, и с неприязнью

думаю, что нужно вскоре ехать во Владимир.

Плохо жить без своих.

Выловил в приемнике Москву — играли гимн, и только сейчас понял: там уже 12-ть и, значит, — ночь.

Бог везде, а Папа был везде.

18 октября.

А Польша — с синим и теплым небом — уже позади! Вот как, вот как! Двадцать пятого утром, в девять, я уже был там, а поздним вечером пятого октября — в Шереметьеве; *там* — в Варшаве!

Как признаться *стране* в любви? В той самой любви, что смутна и нечленораздельна? В той, что, как всякую любовь, не выговоришь, не объявишь? Она накапливалась во мне с 56-го, наращиваясь потом стихами Тувима и Броневского, прозой Ясенского, сатирой Мрожека и Леца, фильмами Вайды, Мунка и Кавалеровича, книгами Брандыса, Брезы, Ставинского, Выгодского, Лема, музыкой радио Варшавы, наконец, поэзией Ружевича и Бачинского, долетающими фразами кардинала Вышинского, легендами о Варшавском восстании и еще — позже всего — тремя крестами, вставшими памятником в Гданьске.

Я еще много чего пропустил, много кого... Ивашкевича и Сенкевича, и даже службу моего дедушки в Варшаве в Первую мировую, и приезд к нему в гости бабушки: без детей, что ли, ездила, налегке? Или еще не было дяди Вити и был только мой четырехлетний отец?

Я и пошутил перед отлетом: вот и погляжу, где вы там жили?

Я же не мог там сказать: я люблю вашу страну! Или мне некому было это сказать? Нет, пожалуй, и было: Лешеку Маруте в Кракове или Мечиславу Стасевичу во Вроцлаве. Было, но — и минута какая подходящая нужна была! А вокруг наши панове — пан Цирулис, пан Меляев, пан Ребро, выродившийся потомок запорожцев! Ходило то Ребро день-другой, ходило, да оповестило довольно: “Не вижу никакого социализма!” Но еще день-другой, и обменяло Ребро припрятанные две сотни у какого-то краковского гражданина на злотые и повеселело, хотя щедрее не стало, и все бегало, бегало по магазинам и даже торчало в очередях за антисоциалистическими шмотками. И приобрело, и вдавило в чемодан, и покончило с этой шляхетской республикой. И, наконец, поделилось хлебом — экономить больше было незачем!

А! Пустое! Память выбросит всю эту пену на берег, и она, шипя, уйдет в песок, оставив лишь слабый бледный след. А вспоминать буду другое: как спускался к Висле, как бродил по вечернему Кракову, как шел по вроцлавскому мосту через Одер, отыскивая в сумраке университетскую арку, чтоб перейти прямо к ней и вернуться к “Полонии” знакомой теперь дорогой, мимо Фехтовальщика, мимо упрямых надписей мелом: “U.W.P.” (“Свободу политическим узникам!”).

А первый день было чувство: как запомнить все, что сейчас вижу? И как понять! Но главное — запомнить: все, что вбирали глаза! Успокаивал себя так: читая прекрасную книгу, хочешь того же: запомнить, и — не можешь! Но какое успокоение: книгу можно перечитать и потом перечитать еще, а Варшаву, Краков, Вроцлав — перечитать ли когда?!

Я думал, что Висла шире, и лучше бы она была шире, и та желтая под солнцем полоска песка на том берегу лучше бы была уже и дальше, и чтоб не разглядеть фигурок, и белых плавок и шортов, и мальчика, бегущего вдоль воды. Если б — дальше, было бы спокойнее душе, хотя ведь не смог же я *увидеть*, как всю ширину реки покрывают взрывы снарядов и бомб, не получилось, и не было же меня тут осенью сорок четвертого, и не мне бы пришлось *форсировать* водную преграду. Но надо было бы вообразить, и — не мог, словно то, воображаемое, было менее страшно, чем думалось. И я говорил себе: фронт выдохся в наступлении, силы иссякли, переправа была невозможна! Я отворачивался от темной и быстрой воды и смотрел вверх на Старо Място, господствующее над рекой, и — опять не видел того, что было бы нужно: развалин, огня, дыма, примет упрямого, отчаянного сопротивления. Оно же *господствовало*, прикрывало хоть сколько-то, но разве это было важно тогда и разве солдат наших тогда жалели? Но как все смыто, как надежно исчезло! Исчезло, чтобы жить дальше в книгах и в наших безумных головах!

<С отдельного листка, **осень 1985 года**.>

Провинция сумрачна, это так; в <октябрьский> промежуток между осенью и зимой, дождем и снегом, водой и льдом, грязью и тающей, затаптываемой белизной и Москва не красавица. Но провинция сумрачна и беспомощна. Именно в такую пору — будто загнанный в угол, темный, неопрятный, — отсиживаешься. Расплывается мутным пятном. Но к ней привязываешься; мудрено ли, если она стала твоим домом...

23.11.85.

Такая славненькая, дрянненькая, угнетающая тоска.

Все бросить, остановиться, ничего не делать, сидеть на берегу.

Включаться и отключаться, отключаться.

Чтобы написать длинную историю, нужна сила в руке. Другая сила, чем та, чтобы выжимать гирю. Или та же самая?

Богомолов как-то пожелал в письме: силы в руку. Или я забыл и это сейчас придумал.

Писать что-то, уводящее в прошлое, — значит отвлечься от себя сегодняшнего.

Я умею отвлекаться и без этого, но как легко и быстро — мгновенно! — я возвращаюсь. Правда, быстрее всего — не к себе.

Заземление тревожное, но это что-то настоящее. Не игра.

Мы что-то значим, пока живы. И если даже ничего не значим, то тоже — пока живы.

Жить мешает воображение.

Жаль последнего таракана с его неразделенной любовью. Жаль кошку, собравшуюся родить и жадную до еды.

Жаль людей, но если на этом сосредоточиться, жить невозможно.

Конкретные лица на улице и в очереди убивают эту жалость. Жалость свободнее, когда отвлеченнее. Но это я о других — чужих. Бывают другие — свои. Там лица только усиливают воображение.

Семнадцатого ноября.

И книга вышла, и уже прислали десять штук (издательских), и восемь успел разослать, и успел огорчиться (неважная, блеклая обложка, опечатки) и более-менее успокоиться[273].

Самое лучшее — ждать; радость коротка и перекрывается тревогой: а хорошо ли то, что казалось тебе хорошим?

В какой-то мере это прояснится позднее.

Вчера весь день (ушел в десятом часу, вернулся около восьми) заседал: на Свердловской районной партконференции.

Никакой надежды. Как шло, так и идет: те же речи, интонации, те же лица, те же слова; кажется, что девяносто процентов прочитанных речей (а читают по написанному все!) написаны-отредактированы одним человеком. Было немало знакомых, но чувствовал себя одиноко — поистине отщепенцем.

А. А. Голубев[274] рассказал, что недавно на совещании в облисполкоме на него напустился Горячев, доныне председатель. Надоели, дескать, ваши приставания насчет машин, сами возите своих артистов; “мы не обязаны возить всяких артистов!”. Голубев попытался объяснить, что не всяких, а Михаила Ульянова, Андрея Миронова, Георгия Товстоногова, Евгения Лебедева, Алису Фрейндлих. (Они действительно несколько раз выступали двумя группами — ленинградцы отдельно — во Дворце текстильщиков: ходили Никита и Тома). Вместе с Томой мы ходили на встречу с Товстоноговым в наш театр — набилась полная комната ВТО. Товстоногов произвел на нас самое хорошее впечатление: тоном, манерами, тем, что говорил. Разумеется, до Горячева сказанное Голубевым как бы не дошло. Эти местные цари держатся тем, что

от своих слов не отступают; если жмешь — жми до конца, до упора. На этом и держится их “авторитет”, царствие их в этом и состоит!

Но как печально было вчера! Без надежды жить плохо, и вроде бы есть, пусть не совсем очевидные, основания для надежды, но как реально они опровергаются, те основания.

Взял на конференцию и сумел прочесть страниц тридцать из книжки Рене Андрие “Стендаль, или Бал-маскарад”, а там: “Ливреи уже не те, но лицемерие не исчезло”, и все прочитанное, и —*вокруг*— на эту тему: в подтверждение.

Выступал перед комсомольскими политработниками в воинской части. Лейтенант, который проводил этот семинар, — или старший лейтенант? — сказал мне, что в воспитании патриотизма им очень годится Пикуль, и даже что-то патриотическое из него процитировал на память.

Алексиевич прислала “Последних свидетелей”[275].

Говоря недавно об этой книге, я спросил аудиторию, в основном женскую: а до каких пор наши дети — наши дети? Или, к примеру, только до 18-ти, а дальше они принадлежат государству, а мы, родители, где-то сбоку, что-то вспомогательное? Не знаю, поняли они, про что это я?

А литература остановилась.

1986 год. Третье января.

Взял в поликлинике справку, что ехать в Индию можно[276]. А можно и не ехать, но тут словно ты заведенный и запущенный: заполняешь, пишешь, ходишь, просишь, носишь, но что-то я медлил, оттягивал удовольствие и лишь теперь, чтоб не стало совсем поздно, зашевелился. А в чем дело? — спросить бы себя. А легкости нет, вот в чем! Легкости, чтоб побросать все мигом, накануне, в чемодан и двинуться! А тут надумаешься, что бросать, в чем там ходить, и все несчастье, что не зайдешь, не забежишь в магазин платья, чтоб сразу взять все нужное, а — набегаешься, нахлопочешься, а то и накланяешься, если сильно прижмет, чтоб костюмчик какой подходящий, плащик, туфли такие-сякие устроили! — вот где тоска, вот где выворотень какой-то жизни, нелепость ее и глупство, как сказали бы сябры, если не путаю.

Да новость ли это?

Вот новость доподлинная и чаемая: завтра пленум обкома партии, ожидается смещение Баландина и Горячева[277]. То-то народ будет дивиться: две недели назад лучшие люди партийной

организации области на своей отчетно-выборной конференции всех местных вождей оставили на местах, и вдруг такой фокус: вместо них — новые или полуновые лица! И никто — вот долгожданная гласность! — не удосужится через газету хотя бы объяснить: почему так? что произошло за эти две недели? какие новые факты обнаружились? и почему не там, где было бы самое-самое место, не на конференции?

Все, как всегда, в тумане, но все равно хорошо. Наш всеобъясняющий, почтительнейший к партийным чинам Владимир Григорьевич, лавреат новый, только что обнародованный[278], как-то выйдет из щекотливого положения? — хотел бы я знать? Но все одно: объяснит, и мы поймем, что все идет как надо и Баландин пятнадцать, что ли, лет правил с нарастающим хамством, потому что так нужно было стране, социализму и всем нам купно и порознь, и все его прихвостни были с ним и вокруг тоже по высшей государственной необходимости, которая, будучи познанной, и есть синоним свободы!

Сидит, должно быть, дома, дожидается с нетерпением завтрашнего дня, уже сейчас готовится объяснять нам, грешным, как оно все хорошо и правильно было вчера и как еще правильнее стало сегодня: то есть живем при разных стадиях правильности, при ленинской, сталинской и так далее. Таков, скажут нам, закон развития!

Это не важно, граждане, что жизнь у вас одна, жизнь ваша — бесконечно малая величина, едва узримая, если смотреть с высоты упомянутой необходимости, и это, граждане, нормально!

Эка раскипятился Михаил Лазаревич Нольман[279], прочтя мою книжку о Залыгине: нет-нет, он не согласен насчет «вариантов», это все утопии и продолжение утопий, а торжествовала «равнодействующая» исторических сил, то есть нечто единственно возможное. Мне показалось, что он несколько испугался самой мысли о возможности другого варианта исторического пути, самого допущения этой, по-моему, освобождающей наше сознание мысли. Весь смысл — не в «переигровке» же исторических эндшпилей, а в этом «допущении», обращенном в сегодняшний день: не отдавайте, не вручайте право на историческое творчество кому-то, согласно чинам, амбициям и присвоенной государственной силе, помните, что не за тем разгорелась революция, чтобы жизнь шла под старую дудку властвующих, что социализм под нее не пляшет. Одежды можно пошить какие хочешь, и звезды чтоб, и красные банты, и кожанки, и «духом окрепнем в борьбе», и буденовки, и красные косынки, и слезами зальемся от умиления и разученных

наизусть воспоминаний, но это будет всего лишь карнавал, и Маркес, с отрадой наблюдающий кубинский вариант социализма (с «карнавалом»!), просто не подозревает, насколько изощреннее наш собственный карнавал!

Боже, куда ускользают наши дни, да ведь точно-точнехонько, ускользают — песок сквозь пальцы, и ведь не спиной к будущему стоишь, а непременно в будущее смотришь, и чем больше о нем думаешь, тем быстрее оно приближается, тобой же невзначай поторапливаемое. Вот в чем мне эта Индия — помеха, в делах моих, в лучшей жизни моей — в работе, спокойной, каждодневной, неперебиваемой, когда мучаешься, себя проклинаешь, но действительно движешься, живешь, потому что хоть что-нибудь да придумаешь свое, и оттого лучшее вспыхивает самоощущение: не зазря, не напрасно, прорвалось ведь словечко, явилось, выговорилось.

Исполнилось шесть лет ввода наших войск в Афганистан (Афган — так говорят в народе); для подтверждения лозунга «гласности» надо было бы назвать число наших потерь (убитых и раненых) и объяснить, благодаря чьим ошибкам, неверным прогнозам, неточным сведениям, недальновидным расчетам мы оказались втянутыми в эту — оплачиваемую молодыми жизнями — авантюру? После такого объяснения продолжение этой траты народной крови стало бы невозможным.

На съезде писателей на эту тему — ни слова, ни вздоха, ни намека[280]. Самые смелые речи против проекта о повороте северных рек, но в сравнении с афганской проблемой это не смелость, это абсолютно лишенное риска занятие! Люди, которым можно рискнуть (обеспечены, имена их «изъять» из обращения, из литературы трудно и так далее), допущенные к трибуне, мнящие себя «народными заступниками», все-таки боятся, и сильно, и невосстановимо!

12 января.

Мне сказали, что звонили из обкома (Ермаков), просили к понедельнику представить обязательства костромских писателей на какой-то срок. Придется завтра, в понедельник, объяснить, что этого не было и не будет. Не новый ли секретарь по идеологии начал действовать?

На наше собрание, посвященное итогам писательского съезда, Корнилов зачем-то (для поддержки?) пригласил полковника в отставке Лаврова. Что-то о нем я записывал прежде; он ныне председатель совета ветеранов и возглавляет на всех площадных праздниках колонну участников войны, выступая впереди в парадном голубоватом мундире ВВС, грудь в блеске

орденов-медалей, сам высок, импозантен, в бороде, взгляд орлиный. Во время войны служил на аэродромах по техническому обеспечению полетов, за аса себя не выдает, но активен, любит говорить речи, обличает особенно (задним, разумеется, числом) брежневские времена и так далее. На наше собрание опоздал, но слово успел вставить: о том, как перечитывал недавно стенограмму 18 съезда партии, как много нашел там поучительного, особенно по кадровому вопросу, и тут-то и напомнил нам, что «кадры решают все» и что «писатели — инженеры человеческих душ», а начал с невнятного рассуждения о песнях, из которых ныне без зазрения совести выбрасывают слова. Это Корнилов позвал сталинского сокола, и сокол прилетел. Представляю, какой разгорелся бы пожар, вспыхни при нем антисталинская спичка. А тут она уж отгорела, потому что речь евтушенковскую про «незавещанного наследника» Ленина[281] я пересказал еще до Лаврова.

Прислал книжку Виктор Петрович Астафьев: получил мои и тотчас откликнулся. Любопытно мне, как отнесется к моему письму и книжке Распутин: что-то существенное тут должно проявиться, проясниться насчет не наших взаимных отношений, а чего-то большего, коренного, касающегося и его личных качеств, и его сегодняшних страстей и настроений; поглядим.

В местных властях — перемена: Баландина взяли в Москву заместителем председателя Агрокомплекса СССР. Я было подумал: повышение, но сведущие люди говорят, что взяли «на кадры», а это явное понижение. Тем не менее — не сняли же! и преемника подбирал себе он сам: изведавшего все лабиринты власти районного и губернского масштаба — Торопова. Откуда быть переменам? Торопов и нынешний «идеолог» Малышев в свое время рука об руку работали в Островском райкоме партии, теперь они поднялись на новую высоту. Миша Пьяных пишет о «тихой революции»; так и вымрем с этими детскими иллюзиями[282]. Выработано столько взаимозаменяемых кадров, что они надолго обеспечат «статус-кво», обновляемый не более чем мебелью — старая комната. Тем не менее — страна в ожидании. Самое острое и стоящее в речи Евтушенко в газеты не попало, зато вдосталь обмусолено по западному радио. Наши идеологи уже давно предпочитают этот вариант более естественному и честному, не понимая, что снова и снова обнаруживают страх перед собственным народом и его мыслью. Кажется, наши идеологи сделали за последние двадцать лет (да и в 30 — 50-е годы тоже потрудились изрядно) все, чтобы социализм как система нравственных и социальных ценностей был лишен привлекательности и опрощен, опроизирован и

предстал перед миром в усеченном виде, как «реальный», то есть чуть ли не как единственно возможный, единственно посильный человеку и человечеству, а прежде всего, нашему народу. Одно дело: дом — в проекте и другое: реальный, выстроенный дом; и при этом делают вид, что иным этот дом быть не может, что это единственный вариант и выбора не было, нет и не будет. Слово «реальный», если не обращать внимания на его мужественный оттенок, означает лишь одно: принимайте все как есть, примиряйтесь, другого (это и твои вздорные идеалы, Миша, и ваши попранные, Александр Константинович Воронский) не будет, не дождетесь, и что самое важное: не мешайте нам! не путайтесь под ногами! Иначе — наше могучее великое государство как-нибудь с вами справится! И не вздрогнет наш локомотив, и не зазвенит хрусталь на ваших столах, не качнется лампа, когда пискнет, скрипнет под колесами песчинка чьей-то опрометчивой, неблагоразумной жизни.

«Комсомолка» (Инна Руденко) опять пишет о судьбе тех, кто вернулся из Афганистана живым. Если верить Руденко, они воевали там за «чистоту» революции, а дома наталкиваются на всякую ложь, несправедливость, и им приходит в голову, что нужно навести порядок, напомнить о «чистоте». Тут все вызывает понимание и сочувствие, кроме исходного пункта, самого исходного: насчет той, их революции.

Вот приходят к вам в дом сильные, вооруженные люди, и на дворе их толпится много, и на улице, и по радио они говорят, и с телеэкрана, и газеты заполонили, и вот приходят на ваш порог, садятся за стол и говорят — через переводчика: неправильно живете, не те обычаи, Бог не тот, не так думаете, не туда смотрите, не те портреты чтите, а надо бы давно понять, что старший сын ваш прав и учит вас верно и надо идти за ним следом, а всем остальным — пора подчиниться и жить — по-новому, иначе добра не ждите. И это — принесенная «правда» — уже правда, и чистота, и революция? Правда, даже если она трижды и четырежды — правда, но ходит рука об руку с силой и оружием, с чужим языком, с чужими богами, — разве она не растворяется в самом способе своего нового существования — до исчезновения? Хотя бы потому, что сила, и особенно сила оружия, сила государства, всегда виднее всего остального, даже главного и главнейшего, и разглядеть это главное — а уцелело ли оно, не слилось ли, не подчинились ли? — все труднее и невозможнее!

Медленно, без особого рвения собираю бумажки для Индии; качусь, как шар по наклонному желобу.

Прочел книжку уругвайского писателя Эдуардо Галеано «Дни и ночи любви и войны»: нечто похожее на дневник, хроника

убийств, пыток, хищений, политического террора и любовных утех; какая-то выравнивающая то и это натуралистическая откровенность, часто жестокая. Чистый свет оставлен, остается в детстве, с поправкой на все тот же инстинкт, который вроде бы нуждается в проговаривании без пропусков и еще остается — в работе, в издании газеты, журнала, в написании книги, в людях, соединенных такой бесстрашной работой, а она поистине требует мужества и бесстрашия, потому что тот пресс, под который она попала, то изничтожение и на нас, кое-что ведающих, производит несравненное впечатление: это и есть подлинный прием в писатели, в журналисты. Правда, сам тип писателя, проступающий в книге, для нас странен: политический скиталец, человек не одной страны, а целого континента — Латинской Америки, «политический цыган», но не добровольный, гонимый, но тем интереснее как далекий, но понятный человеческий опыт.

24.1.86.

Взгляд на Рихарда Зорге. Преподаватель в радиоклубе, где занимается Никита, рассказывал, что Р. Зорге среди наших разведчиков-радистов первый по количеству переданных знаков. Он где-то, где учился, видел стенд о наших разведчиках, и там под каждым портретом было указано число знаков.

Зорге передавал больше всех вынужденно — ему не верили, а чем больше передаешь, тем быстрее попадешься. Так и было. Он передавал документы полностью. Больше, дольше всех.

Все не в счет!

24 марта.

Третий день, как вернулся из Москвы. В пятницу, 21-го, в одиннадцать вечера должны были вылететь в Дели, но оказалось, что визы нам не даны. И я благополучно в тот же вечер отбыл поездом домой. Сказано, что улетим не ранее очередной пятницы. Оставив у своих тяжеленный чемодан с рубашками, легкими брюками, тремя бутылками водки и подарочными книгами, я вернулся домой налегке и был даже счастлив, что путешествие за три моря отложено. Возвращаться всегда лучше, чем уезжать. В Москве после бессонной железнодорожной ночи и длинного дня в разговорах и передвижениях я попал в пять часов на телецентр, где до десяти «записывался» и «снимался» для передачи об Абрамове. Говорил этим девицам: снимите меня завтра с утра, я буду лучше соображать и лучше выглядеть, но они то ли спешили, то ли завтрашняя работа их не устраивала, и, я думаю, у нас мало что или вообще ничего хорошего не получилось. Запись шла со множеством помех и всяческих перерывов: то что-

то случилось с электропитанием (или как это у них называется), то кто-то не вовремя заглядывал в студию, то чем-то гремели в коридоре, то кончалась пленка и так далее.

Наиболее важным московским делом стало обсуждение статьи[283] с Анастасьевым, Лазаревым, а потом, в присутствии еще и Осетрова, с Козьминым[284]. В итоге пока статья движется без потерь, даже с усилением за счет включения абзаца из публикации бондаревских ответов на вопросы из газеты «Советская Россия» за 11 октября прошлого года.

В «Вопросах литературы» Кацева[285] демонстрировала «Нойес дойчланд» с отчетом о похоронах Пальме (полторы полосы в отличие от наших стандартных прокочевавших по всем газетам двухсот строк) и с 36-ю фотографиями с Хонеккером. Оказывается, этот полированный немец очень любит фотографироваться, и газеты, ему подвластные, это учитывают.

Скоро месяц, как состоялся Двадцать седьмой съезд партии. Наиболее интересными его материалами являются отчетный доклад и речи Лигачева и Ельцина. По масштабности и демократизму съезд уступает Двадцать второму. И по значению — если не наберет в ближайшее время — тоже. Критицизм в докладе и некоторых речах получил какой-то благодушный отклик. Съезд еще шел, а им восхищались сами делегаты по радио и телевидению. Свои достоинства лучше как бы не «осознавать», не называть, здесь же — была невероятная поспешность в осознании. Опыт показывает, что превознесение происходящего на высоком уровне (съездов и тому подобного) — своего рода норма, и в этом смысле новизны никакой нет. Новизну следовало бы замечать в интонациях и акцентах, но и акценты можно расценить как обычное колебание флюгера. Критика в почете — будем славить критику. Отрезвляющее воздействие на всех, кто связывал с этим событием чрезмерные надежды, должен был оказать лигачевский окрик по поводу неназванных выступлений «Правды» и других неназванных органов печати. Волгоградский секретарь обкома процитировал одно из читательских писем, опубликованных в «Правде» (речь там шла о «вязком», «инертном» слое партийно-административном, который ни на что живое не способен), и тем самым обнаружил знакомое раздражение «аппаратчиков», партийной бюрократии, сгубившей в свое время Хрущева. Чрезвычайно неприятным было и выступление от работников театра ленинградского Игоря Горбачева: оно было выдержано в духе 63-го года, когда разжигали пламень идеологической борьбы. Словом, пора от иллюзий избавиться окончательно: чудес не бывает; многие актеры заменены, проворовавшиеся изгнаны,

но труппа та же, и школа — та же, и пьеса, в сущности, старая. А главное: по-прежнему партия, ее руководящий аппарат, именно аппарат, воспринимают себя, осознают, именуют и славят как некий патронат, патронаж, как благодетелей, а от всех прочих, от большинства ждут послушания, подчинения, участия в намеченных работах и мероприятиях; мы все — ведомые и на большее рассчитывать не должны; они знают, а мы следом за ними, они понимают, а мы — за ними, истина принадлежит им, и это необходимо затвердить. Приходит к нам в Союз на собрание новый секретарь по идеологии Малышев, бывший первый секретарь Островского райкома партии, и он — заведомо, непонятно, каким мистическим образом, — лучше нас всех знает и понимает не только хозяйственные дела, но и задачи литературы, и пути ее движения и готов нас поправлять, направлять. Выступая в театре, он вместо «постановок» говорит: «поставок», и это звучит в таком контексте: увеличить число «поставок» спектаклей.

Баландин оставлен в членах Центрального Комитета, и это тоже заставляет задуматься. Якобы, отъезжая, Баландин сказал (шоферу): вот был генерал-губернатором, а ставят — писарем (новая должность Баландина — заместитель председателя Агропрома СССР, вроде бы по кадрам).

Апрель сместился в март, и первые пятнадцать дней вполне можно было спутать. Сейчас похолодало, и ехать мне никуда не хочется.

4 апреля.

Опять уезжал — на день рождения мамы, и вчера вернулся автобусом. Окончательно решилось насчет Индии. Если верить Мариам Львовне Салганик, консультанту иностранной комиссии (по Индии), то повинно в случившейся неразберихе с нашим приглашением советское посольство в Дели. Теперь поедем поздней осенью, если все будет хорошо. Сейчас ехать поздновато: там жарко, и всякое промедление сулит еще большую жару. В сущности, я рад, что так случилось: на душе стало много легче, и снова есть возможность нормально работать. Индийский гость лучше татарина.

Теперь буду заниматься Виталием Семиным.

В рецензии на спектакль в театре Марка Захарова «Диктатура совести» (автор пьесы Михаил Шатров) Свободин в «Литгазете» пишет о том, что «наше общество переживает будоражащее время перемен» (2 апреля). Об этом же самом пишут и говорят (по телевидению) без конца; восхищаться начали делегаты съезда еще в дни заседаний. Не терпелось и не терпится назвать, какое

замечательное время настало. Так бывает и в плохой литературе: автор без конца поясняет, что герой что-то сказал «с любовью», «искренне», «с глубоким чувством» и тому подобное. Автор не верит, что мы сами без его помощи почувствуем эту искренность и любовь. Говорим ли мы в юности, как хороша наша юность, или в молодости — как она прекрасна? Когда спешат назвать, то это знак неблагополучия. В 56 — 62-м годах были ли в ходу подобные восторги? Чуть позднее стали говорить о «великом десятилетии», но до этого — самовосхищения, по-моему, не было. В одном случае — плохая литература, в другом — плохая история и плохая политика. Когда живут в полную силу, то не спешат определять свое время и свои дела. То есть — не до этого. Достаточно самого факта такой, а не иной жизни. В литературе достаточно изображения истинно художественного.

Необычна речь Родиона Щедрина на съезде композиторов: критика комсомольского начальства, заместителя министра культуры, но главное — помпезных многолюдных торжественных концертов.

Звонила московский корреспондент болгарской газеты «Народна култура», предлагая принять участие в «круглом столе» литературных критиков, посвященном «Пожару» Распутина, «Печальному детективу» Астафьева и «Фуку» Евтушенко. Я отказался, тем более что заседание назначено на 10 апреля.

Получил книгу от Крутиковой-Абрамовой[286]. Астафьев прислал «Записки» Басаргина[287].

Статья о Бондареве перемещена под давлением внередакционных кругов на август. Лишь бы прошла — подождем!

Наткнулся у Хлебникова на прекрасные строки: «А пока, матери, Уносите своих детей, Если покажется где-нибудь государство. Юноши, скачите и прячьтесь в пещеры И в глубь моря, Если увидите где-нибудь государство» («Воззвание председателей земного шара»).

Сколько же человек бывает свободным? Девять месяцев в чреве матери? Наше государство амбициозно и вездесуще; ему хочется присутствовать в жизни человека как можно больше и неотвратимее, чтобы человек не переставал ощущать, как государство двумя железными пальцами держит его за голову, поворачивая туда-сюда. Отпускает под старость, когда человек сам автоматически повторяет все заученные маневры, твердит все те же правила.

В «Памятниках отечества» (1985, № 2) прочел маленькую статью Распутина о «Слове». Думаю, что Распутин увлекается,

преувеличивая роль «Слова». В таком же духе преувеличивают роль Пушкина, не зная, какие бы еще слова произнесть в его честь. Нашу «национальную духовность» Распутин возводит к «Слову», Пушкину и Достоевскому. Толстому места не находится. И все это на удивление произносится жестко. Национализм — как умственная болезнь, патриотизм — один из симптомов. И отчего это многие наши писатели ударились в риторику и все ищут и ищут, на что бы растратить побольше прекраснодушных слов?

Лев Толстой для них слишком свободный художник и мыслитель.

11.5.86.

Струение воздуха (над землей, когда безветрие и жарко). Струение человека.

Помаши-ка ладонью.

Кто-то помашет ладонью.

Хотел написать, что можно жить на три (пять и т. д.) счета, но подумал, что это грамматически неправильно. Правильно: какое-нибудь гимнастическое упражнение сделать на три счета: раз, два, три. Я же хотел о другом: прихожу в контору и живу по закону конторы (один счет). Но в пределах той же конторы продолжаю жить согласно своей человеческой сущности — иногда по крайней мере (другой счет). И опять же, в тех же служебных границах вспоминаю о своей партийной принадлежности, вернее, о внешних признаках принадлежности и — при надобности — демонстрирую их (третий счет).

Тут пробивается схематизм; к тому же про это же могут сказать, что проще называть такое — ролями. Одна, другая, третья, и — вперебивку, разом, в смеси. И эти три и еще сколько угодно ролей — бывает же, попадаются великие лицедеи на безвестных подмостках. Но я — не про актерские способности — про три (и тридцать три) счета в противоположность одному.

Подразумевая под ним — одним — «правильный» счет. Следование ему — оставим пока в стороне саму проблему «правильности» — опирается — должно же на что-то опираться, не иначе, — на неосознанную надежду на какую-то поддержку, — что воздастся где-то в конечном итоге жизни или (за ее пределами?).

В Афганистане Министерство государственной информации = Министерству государственной безопасности.

Как совместить: профессор Минин, руководитель Московского камерного хора, много и красиво говорил по ТВ о музыке, о народных ее истоках, о памяти на прошлое и тому подобном, — и в том же контексте об Александре Матросове как о

доказательстве живучести русской души.

Магазин под горой, на волжском откосе: «Мертвые — живым»[288].

14 мая.

Я спрашиваю, какое число, а мне хором отвечают: пора бы знать. Сегодня нашему Володе 26 лет, он в командировке в Даугавпилсе. Я отвечаю, что я чту цифру двадцать семь, а двадцать шесть — тусклое, промежуточное число, хотя какой-то час назад я чуть было не расстроился, припомнив, как давно это было и сколько нам самим было тогда лет. Ничего не поделаешь, хоть залейся слезами. Когда поднимаешься, вернее, лезешь по лестнице — какой-нибудь пожарной, — то нельзя смотреть вниз, нужно только вперед и вверх. В какую-то пору, вероятно, есть смысл отводить глаза от прошлого и смотреть вперед, в будущее, хотя там остается все меньше. Нет, это неверно, я думал об этом иначе: думай о той работе, что делаешь, — и печаль отвяжется. Да, да, всего-навсего — об очередной своей статье и еще о той, что будет после, — и этого достаточно... Но, говоря о сосредоточенности на работе, я имел в виду спасение от иных мыслей и от лицезрения бездны.

Сегодня по ТВ выступал Горбачев: речь шла о катастрофе на Чернобыльской АЭС под Киевом. Видимо, то, чего боялись, удалось предотвратить, стало полегче, и Горбачев смог выступить. Впервые (беда случилась 26 апреля) было выражено правительственное соболезнование потерпевшим и семьям погибших. Впервые с 26 числа были названы имена тех двух, что погибли сразу во время взрыва. Молчали долго, твердили: двое, двое, а не тысячи, а обходились без имен: не по-людски. На сегодняшний день умерло еще семеро, и в госпиталях с лучевой болезнью — 299 человек. Произошла, может быть, миллионная часть того, что случилось бы в результате ядерного конфликта, а какова паника, каковы последствия для населения и хозяйства! Речь Горбачева была сдержанной и разумной. Но есть пункты, в которых мы упорствуем: что бы ни делали, все правильно и хорошо. Если что-нибудь и не хорошо, то это можно будет признать как-нибудь потом, много позже. Почему невозможной оказалась фраза о том, что, пожалуй, мы не лучшим образом составили наши первые извещения о катастрофе, скрыв или затушевав серьезность случившегося и объективные данные об опасности. Закон известен всем: чем меньше информации, тем чудовищнее слухи. Но мало ли известных законов, которыми пренебрегают, прекрасно сознавая, что все видят это пренебрежение, и спокойно, не дрогнув, глядя в глаза этим всем.

Всем этим умникам и детям, дожившим до седых волос. (О детях в 50 хорошо в письмах Семина.)

А рукопись Семина я отослал с неделю назад со своей вступительной статьей. Вышло много (455 страниц), а изд-во хочет ограничиться 16-ю листами.

Отправил заявку в «Советский писатель» на переиздание книжки о Быкове. Все-таки лауреат свежеиспеченный Ленинской премии, а формальные основания важнее всех прочих[289].

Сохраняется чувство, что литература остановилась. И писать — не о чем, не о ком. Хотят ускорять социальный прогресс и совершать другие чудеса, не трогая сферы идей и отрезав себя от прошлого, не понимая, что энергия очищения и нравственного расчета есть одновременно величайшая энергия созидания и инициативы, направленной в будущее.

В «Неве» — документальная повесть Юрия Помпеева о Кирове «Хочется жить и жить» (№ 3, 4). В главе о 1 декабря 1934 года рассказано, что за время отсутствия Кирова (сначала вместе со Сталиным и Ждановым в Сочи работал над замечаниями к конспектам учебников по истории, затем по поручению Сталина ездил в Казахстан) его кабинет в Смольном переменил местоположение, сместившись от главного входа в левое крыло здания. Так и написано: «Пока Сергей Миронович отсутствовал, переменилось местоположение его кабинета в Смольном» (с. 34). Это заставляет предположить, что первый секретарь Ленинградского обкома, хозяин в Смольном, был не волен в выборе комнаты для работы. Кабинет переместили, и все, а он подчиняется. Убили Кирова в половине пятого, когда в коридорах Смольного было много людей, но в том коридорчике левого крыла — как раз ни души, хотя там же помимо кабинета второго секретаря был и вход в столовую. Так вот — ни души, и охранник почему-то отстал: вроде бы заговорился с кем-то на втором этаже (а это третий). Когда люди выскочили из кабинета второго секретаря, услышав выстрел, то увидели в коридоре лежащего с папочкой (для бумаг) в руках Кирова и неподалеку бьющегося в истерике человека. Взять пистолет из его «расслабленной руки» было нетрудно; в кармане убийцы нашли записную книжку (подробностей насчет этой книжки у Помпеева нет) и пропуск в Смольный на имя Леонида Васильевича Николаева. Николаев охарактеризован автором как бывший служащий РКИ, «отщепенец», «обыватель и склочник», «исключенный из партии за карьеризм, слякотный, тщедушный человечишка», принадлежащий «к породе шептунов (это слово вразрядку), ненавидевших Кирова и все, что он олицетворял». И далее: «Было видно невооруженным глазом, что он психически болен, страдает

манией преследования, на эти свойства недалекого, неудавшегося (!) человека и рассчитывал политический противник, вложивший в руки убийцы заряженный (!) револьвер» (39).

Очень все интересно; концы с концами сходятся плохо, но тем-то и интереснее. Упоминаются «противники-оппозиционеры». Говорится, что у «противников он вызывал прямо-таки животную ненависть: подумаешь, праведник» (39). Животная ненависть у политических противников, у оппозиции? И при чем тут «праведничество»? Праведничество раздражает неправедников, а они вовсе не обязательно в оппозиционерах. У политических оппонентов обычно находятся более веские причины для борьбы. Да и вообще эта дозволенная информация о трагическом событии должна быть хорошо рассчитана, но к какому выводу подталкивает нас этот расчет? Или — к двоякому выводу: кому как нравится и кому как ближе?

В Норвегии к власти пришло социал-демократическое правительство во главе с женщиной. По нашему ТВ мелькнуло: стоят веселые, молодые женщины с цветами в окружении фоторепортеров. Комментатор промолчал, что в правительстве — семь женщин. Это я уже услышал по западному радио. Не та, выходит, информация. Информация — не та, когда подталкивает мысль в нежелательном направлении. Вполне можно задуматься над тем, как представлены женщины в наших высших органах власти.

26 мая.

Опять побывал в Москве: отвез в «Советский писатель» рукописи Семина (те, по которым работал), взял там сигнальный экземпляр своей книжки[290]; побывал в «Новом мире», «Вопросах литературы» и у Богомолова. Десятитысячный тираж книжки (по плану 20 тысяч) меня огорчил; никто заранее мне о такой возможности не сказал. «Разбогатеть» мне так и так не удастся, ничего не поделаешь. Зато книжка существует, и этого уже достаточно. А какая она, я пока думать не могу. Пока я надеюсь, что стыдиться мне нечего. Вычитал и отослал верстку антибондаревской статьи (планируется в седьмой номер). Если ее не постигнет судьба статьи о Трифонове, то мне есть чего ждать.

Сложнее обычного впечатления от встречи с Богомоловым. Что-то почти неуловимое было иначе, чем всегда. Не внешне, а в круге, затронутом разговором. Не в первый раз заметил совпадения некоторых выражений и фактов с письмами Бакланова. На этот раз: «сорок первый год» (в связи с катастрофой на АЭС)...

Я и прежде думал, что строго судить Быкова не все имеют

право. Бакланов тоже не раз шел на компромиссы, и я помню это.

Москва полна пестрых толков и слухов о Чернобыльской трагедии. Уже толкуют о диверсии и шпионе <…> Впрочем, наши костромские телевизионщики (то есть собкор по Костроме Женя Житков и его жена), разумеется, повторяя московское, говорят, что это — их ответ на несчастье с «Челленджером». Даже ходит анекдот, что в оперативном освещении драмы «Челленджера» советские газеты опередили американских коллег: объявили за трое суток до того, как это случилось.

2 июля: позавчера вечером, в воскресенье, вернулся автобусом со съезда[291]. Произошли некоторые события: я оказался избранным в правление СП СССР и в секретариат. В список правления я был включен заранее, в секретариат попал по предложению Бакланова. Выборы правления — тайные: против меня — 9 голосов. Женя Сидоров попал в секретариат по предложению Ваншенкина. Что-то во всем этом было приятное и неприятное. Напрасно пошел вслед (вместе) за Быковым и Баклановым на приеме за поперечный стол (для секретариата?). Переживал, что там оказался. Увидел вблизи Верченко — что-то жирное, большое, мясистое.

Все ближе осень и с нею — армия. Попадет сын в университет или не попадет, итог тот же: армейская униформа. До революции студентов брали в солдаты за провинность. В сегодняшнем нашпигованном ядерным оружием мире армию держат огромную, и никому из управляющих нашим государством не приходит в голову, что обществу и народу надо объяснять (и доказывать) и это: почему забирают в армию студентов?

На съезде я чувствовал себя хорошо и выступил на комиссии по критике, кажется, удачно. В первый вечер сидели в номере у Адамовича с Быковым и Распутиным. Еще один вечер у Оскоцкого: Быков и Брыль. Еще вечер у Оскоцкого: корреспондентка софийской «Народной культуры» брала у нас с Валентином интервью. Может быть, я и совершил ошибку, но вечером 28-го не пошел к Богомолову (поздно вернулся от Володи), хотя там должны были быть: Карпов, Поройков и Бакланов. Быков на приеме при мне заговорил с Вороновым (заведующий отделом культуры Цека) о том, что вот, дескать, вам редактор «Нового мира». Воцарилось неловкое молчание, и я, не выдержав, пробормотал с улыбкой, что это «сложный вопрос», и разговор свернул в сторону. Потом я себя ругал: какой тут «сложный вопрос», когда просто «нос не дорос». Но в оправдание себя подумал: а разве Карпов — в уровень Твардовскому? Я по крайней мере сделал бы все, чтобы приблизиться именно к этому

уровню. Когда же в присутствии Баруздина, Видрашку, Бакланова и еще кого-то стали обсуждать, что меня нужно поставить на место Озерова[292], подавшего в отставку по болезни, я гораздо удачнее дал понять, что отношусь ко всем этим разговорам как к чему-то «теоретическому», так как ни о чем подобном речи не шло, да и мне все эти должности — не с руки.

Вроде бы и статья об «Игре» увидит свет, хотя лучше подождать, пока не придет журнал. Статья может вызвать взрыв негодования бондаревских сторонников.

3.7.86.

Секретарь Союза — чушь какая-то. Несерьезно все это.

«Чудовищная лотерея поколений», — хотел я написать, думая о судьбе героев «Карьера» (В. Быков).

М. б., это и правомерно — так написать, все-таки исключительные обстоятельства.

Но, читая рукопись К. Щербакова (много о театре, о постановке классики — Островского, Чехова, Щедрина), я подумал, что он чересчур мрачно изображает (оценивает) ситуацию XIX века (70 — 90-е годы). Я понял, что была нормальная жизнь и так она и воспринималась изнутри.

5 июля.

Меня избрали одним из 62 секретарей Союза писателей СССР. Все это вместе, и мое избрание в частности, какая-то чепуха. С оторопью вспоминаю Верченко. Разворачиваясь, он даже толкнул меня за тем столом. Он занимает место на трех человек.

Шутливый разговор с Черниченко: «Квартира у вас хорошая?» — спрашивает он меня. «Средняя». — «А дача есть?» — «Нет». — «Машина есть?» — «Нет». — «Убеждения есть?» — «А это есть».

Убеждений всегда было вдоволь; вдосталь.

По телевидению показывают торжественное открытие игр Доброй воли. Нечто ослепительное, всеохватывающее, всеотражающее, многотысячное, пестрое и богатое. Это мы можем. Мы это всегда могли. Вспомни парады физкультурников при Сталине. Теперь мы можем это еще лучше. С живыми картинами во всю трибуну стадиона: «Три богатыря», к примеру. Никто не спрашивает, сколько это стоит, и никто не подумает об этом сообщить. Это и есть воля государства.

Наши дни проходят, а все это остается неподвижным.

Октябрьская революция представляется мне столь же фантастическим событием, как и полет американцев на Луну. Все это отодвигается, и начинаешь думать: а было ли?

Особенно трудно себе представить семнадцатый год начиная

с февраля, когда ходишь по многолюдным улицам, среди спешащей толпы, снующих автомобилей, в магазинах. И, конечно, особенно летом.

Поистине мы терпеливый и покорный народ, и лишь наше искусство, наша литература выдают наше нетерпение и наше непокорство.

8.7.86.

На Лавровской звонили, было шесть вечера[293]. Что за праздник, он не знал. В звоне не было чистоты, и оборвался он с какой-то небрежностью. Все равно приятно, что звонят. Правда, ему мешало, что походило на то, как бьют в большую консервную банку. Не хватало уверенности, что то, во что били, колокол. Недостаток ощущался то ли металла, то ли удара и раската.

8.7.86.

Так все просто, садись и пиши: «Мы вступаем в жизнь внутренне свободными и раскованными, не признавая никакой слепой веры в авторитеты...» (К. Щербаков).

Ты не вспоминай себя, — сказал он себе и вдруг вспомнил — в рифму — на серой, рыхлой бумаге, — потрепанную, зачитанную Историю Векапебе, насквозь прочерканную, продранную цветными карандашами (в четвертой главе). Что-то было манящее в ней, особенно там, где начиналась оппозиция, и хотелось перечитывать и перечитывать: так что же тебя там манило, юный друг?

Проступал захватывающий сюжет, и сердце настигалось каким-то глухим, но волнением...

После просмотра «Огонька» 1939 года (тираж 300 000).

Можно было жить и всего этого не знать — не читать (газет и журналов, брошюр и школьных учебников), не слышать (радио, речей на собраниях), даже не видеть (портретов, лозунгов, флагов, военной формы), но все это вторгалось в жизнь каждого или почти каждого человека.

Ну а как они всё это читали?

Представляю себе, как Вл. Ив. Вернадский на досуге перелистывает этот журнал.

Чернобыль — одна из разновидностей полыни, а в Апокалипсисе: взойдет звезда Полынь, и воды рек станут горькими.

«Быть знаменитым некрасиво». Это что!

Быть богатым — вот что отвратительно и бесперспективно.

Наша литература помешалась на геройстве, почестях, чинах и богатстве.

Когда-то Чаплин сказал: я заработаю побольше и стану свободным. Наши художники слова заработали достаточно, но свободы не захотели.

23 июля.

Все вышенаписанное — после пастернаковской строки — пустая риторика: не в тон моему настроению, тому, о чем думаю, — ночная дребедень. Что толку обличать этих людей? Ты живешь по-своему — вот и живи. Тебя будут мерить по тебе, по твоим делам; другие тут ни при чем. Хорошо бы, если бы был Бог: человеку не хватает этой высокой инстанции. Этой надежды, что и будучи самым малым, самым беззащитным, и он — в счет, и он на что-то нужен, если всерьез ищет достойной и праведной жизни!

К чему я веду, к чему?

Бывают минуты, когда чувствуешь свое бессилие, будто натыкаешься на что-то твердое и неподвижное, и — не своротишь, и не объедешь. <...>

Ездил на первое заседание секретариата. Залыгина назначают редактором «Нового мира», и он предложил стать его первым заместителем. Сидели в кафе ЦДЛ, и Залыгин выяснял мои позиции. В этом выяснении мне понравилось не все: особенно некоторое противопоставление «русской» литературы (Астафьев, Распутин, Белов) всему остальному. После войны, сказал Залыгин, когда были Эренбург, Симонов, Казакевич, мне (ему) казалось, что русской литературы вообще нет, кончилась. Теперь она есть. Было поставлено что-то вроде условия: согласовывать предметы своих критических выступлений. Мелькнуло что-то недоброжелательное по адресу Бакланова как некоего знака, обозначения «противоположных» сил. Примирило меня обещание следовать традициям Твардовского и даже ввести в редколлегию кое-кого из новомировцев (в частности, Лакшина). И был обозначен критерий, также меня устраивающий: превыше всего — художественный уровень произведений.

Бакланова ставят на «Знамя». То ли правду он мне сказал, то ли любезность, что готов взять меня заместителем, но понимает, что мне лучше идти в «Новый мир», и он Залыгину об этом говорил.

Чует мое сердце, что все эти предложения-предположения в высшей степени сомнительны. Сейчас, после публикации в «Вопросах литературы» антибондаревской статьи, против меня поднимется высокая и темная критическая волна, и не дай Бог Бондареву прослышать о намерениях Залыгина! Тем более, что в разговоре со мной Залыгин признал, что питает на Бондарева

известные надежды. Что ж, будет видно: хорошая статья дороже хорошей должности. Если Залыгин поддастся, то, значит, есть силы посильнее разных там принципов и добрых намерений.

После секретариата сидели в номере «Москвы» у Быкова и Гилевича, вместе с Лазаревым. Потом все вместе поехали на Белорусский вокзал. Бондарев успел сказать Быкову, что статью Дедкова подстроил и инспирировал Лазарев. Мы посмеялись: инициатива была моя, и — давняя. Статью заказывал и вел Анастасьев.

На другой день ездил к Богомолову: жаль, но примирения с Быковым нет. Отсюда — повторы в разговорах, уличающих примерах. Богомолов читал главу из романа: о том, как вскоре после конца войны бывшая чемпионка страны по толканию ядра, ныне госпитальная медсестра, пытается «соблазнить» девятнадцатилетнего, целомудренного юношу, героя романа. Рассказывал также о другом своем герое — сначала сталинском охраннике, а потом генерале госбезопасности — Круподерове. Много интересного. Роман будет больше 40 листов. Приглашал заходить вместе с Тамарой.

25.7.86.

Очередные испытания нашей семьи на выживаемость и пригодность ко времени — подходят к концу.

Поставят ли меня заместителем Залыгина на «Новый мир» — под большим вопросом. <…> Зачем ехать в этот город? Чтобы ввязаться в эту противную, нечистую литературную борьбу, истратить на нее многие силы, втянуться в столичную круговерть — и лишиться нынешней своей свободы, своей независимости? Лишиться сосредоточенности: на работе, на семье?

В литературе считается только то, что ты написал. Все остальное — суета, речи, заседания, борьба за должности — в счет не идет.

Сюжет: где-то перед войной, в 37—38 гг., его обязали (это превосходит безмерно — «уговорили») сотрудничать с НКВД, т. е. сообщать сведения о руководителе организации (учреждения), где он тогда работал. Он хорошо относился к своему начальнику и ничего плохого не сообщал. Однако было давление, неприятные и тревожные минуты на этих тайных встречах: дома, в скверах, на кладбище, на стадионе. Война освободила от этого шпионства. Но на фронте к нему пришли с тем же предложением. На этот раз он отказался, сославшись на то, что и так честно на гражданке работал для них… После войны его вынудили к сотрудничеству снова. Особенно унизительны были для немолодого человека эти тайные встречи.

Июль 53 года. Слезы освобождения.

Еще 15 лет, и снова те же сети.

В какой-то пьяной компании он слышит: «сексот», и ужасается: они знают, все знают!

А он никому не принес вреда: посредники, связные менялись, но формалистов было больше, чем ретивых псов.

Самая большая ложь государства —

наличие привилегий,

отчуждение гражданских прав, т. е. они — за нас решают; это же в ином ракурсе: «разделение труда»,

иерархия не только должностей, но семей, социальных слоев.

Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи, — формула на удивление сбывшаяся, формула отчуждения ума, совести и чести, —

т. е. мы передоверяем государству, т. е. правящей силе, думать за нас и т. д.

В другой стране люди пикетируют ракетные базы, АЭС. У нас — ничего этого не нужно, т. к. верх всегда и наилучшим образом, т. е. самым разумным образом, выражает потребности низа, т. е. всех, кто ниже, т. е. всех нас.

Вопросы 86-го года.

1. Подотчетна ли армия народу?

2. Если да, то каким образом?

3. Если нет, то почему?

4. Если не народу, то кому же?

5. Если государству, то в какой мере государство воплощает народный интерес?

6. Если партии, то в какой мере тот интерес — ее интерес?

1. Каким образом народ контролирует органы КГБ?

2. Или народ не имеет на это права?

3. Или не имеет для этого органа власти или наблюдения?

4. Или сначала надо объяснить, что подразумеваем мы под «народом»?

5. То есть что такое народ?

6. Не определить ли сначала, что такое народ, который собирается «контролировать»?

7. Не превышаются ли (при любом определении) при этом права народа?

8. Повторяю, что такое народ?

9. Существует ли он?

1. Что такое народ?

2. Если вы об этом спрашиваете, значит, вы сомневаетесь, что он существует?

3. Не сомневаюсь, но надо бы уточнить.

4. Народ — это мы все вместе.

5. Но как выявить волю всех нас вместе?

6. Референдум.

7. Но вы говорите о контроле. Значит, народ должен иметь что-то, что способно контролировать.

8. А надо ли контролировать? Нужен ли такой орган? И нет ли уже существующих органов, достаточных для этой задачи?

9. Самый простой ответ, что все давно уже есть и беспокоиться нечего.

10. Не менее прост ответ, что, создав секретную организацию, народ должен держать ее в секрете и защищать ее секретность.

11. Но эта организация не более чем государственный комитет, т. е. министерство? И надо бы знать, во что оно обходится, каков его бюджет?

Надо написать вопросник из самых простых вопросов. Они должны исходить из здравого смысла, и только.

Разросшиеся безмерно права армии и госбезопасности.

Чем больше на их стороне прав, тем меньше прав соответственно — у народа.

Права не могут расти у тех и этих. У одних больше, у других — на столько же меньше.

Государство в существующих формах отвратительно. Оно норовит заполнить все пространство жизни, оно хочет сочиться сквозь поры.

Государство, сочащееся сквозь поры.

«Власть отвратительна, как руки брадобрея».

Государство занимает очень много места; ему не помешало бы потесниться; людям хочется дышать свободнее.

Сколько же мы прощаем нашей Конторе! А прощаем?

27 июля.

Сегодня, играя в футбол, повредил левую ногу. На неделе дважды ходил на корт — опять теннис лет через двадцать: большого же искусства я достигну.

Новостей из Москвы никаких; Кожинов в «Литгазете» ухитрился еще до выхода «Вопросов литературы» обругать мою статью (Стасик говорит, что «ВЛ» послали в «Литгазету» протест[294]).

Много читал в последние дни. Когда за что-то переживаешь, читать легче, чем писать. Хотя и пытаюсь писать (продолжать прошлогоднее) о нашем Левиафане. Смесь воспоминаний, домысла, публицистики.

Смотрел телерепортаж о пребывании Горбачева во Владивостоке; на этот раз беседовал он с людьми (с толпой,

размещенной поодаль; и как столбы — высокие, примелькавшиеся телохранители) получше, поестественнее, чем обычно. И вдруг после этих кадров и роскошного военно-морского парада-представления отчетливо подумалось: слишком много места занимает в нашей жизни государство и все норовит еще больше оттеснить людей. Оно хочет быть главным в человеческой жизни, а надо бы ему держаться поскромнее, «позастенчивее», не лезть в душу и судьбу человека с такой безапелляционной убежденностью в своем праве. Оно хочет быть в центре нашего внимания и более всего стремится — подчинять и властвовать. «Умаляться», то есть «отмирать» оно и не думает.

После семнадцатого года сфера жизни, заполненная государством, росла беспрестанно, не зная преград и удержу. В значительной мере это достигалось благодаря практическому сращиванию государства и партии, то есть подчинения государства партийной власти и превращению партии в первейшую государственную силу.

Прочел книгу о Бехтереве[295]. Автор — врач, преподаватель медицинского института, это слишком заметно, добросовестность (профессиональная) очень заметна, и, по сути, нет попытки понять целостно личность Бехтерева и его философию. Но все равно ощущение масштабности личности сохранено, передано, и многое, говорящее о нашем прошлом (о студенчестве, о достоинстве русской профессуры, об инициативности и независимости ее лучших, крупнейших представителей), волнует до слез. Как же много мы утратили — хотя бы в той же гласности, с какой обсуждались даже до Февраля важнейшие проблемы состояния и здоровья народа, общества, их прав и так далее.

Душа, говорят, кровью обливается. Не знаю, кровью ли, но бывают мгновения, что-то в грудной клетке становится горько и тепло, и все заполняется этой горькой, щемящей теплотой.

8 сентября.

О статье было слышно — звонили еще раз Богомолов, потом Бакланов, Можаев, писали Адамович, Брыль, Михаил Пархомов из Киева, Тимур Зульфикаров из Москвы и так далее.

26 августа в восемь утра с Томой встречали на пристани Гранина. Они с женой Риммой Михайловной на теплоходе «Александр Ульянов» плыли от Ленинграда до Плеса и назад — через Кижи и т. д. Мне удалось взять в «Молодом ленинце» черную «Волгу», и мы — а шел дождик — проехались по городу, побывали в Ипатии, заехали к нам. Вроде бы приняли мы наших гостей хорошо. Гранин был простужен, да и Римма Михайловна чувствовала себя неважно, — вот машина и выручила.

Разговаривали хорошо, Гранину антибондаревская статья понравилась. По поводу недавнего выступления «Правды» по Черкассам[296] Гранин сказал, что «внутренняя борьба», происходящая у нас, его волнует больше международной политики. Рассказывал подробности, связанные с черкасской историей. В июле Гранины, как всегда, были в Дубултах, там же отдыхал Анатолий Софронов: уже после того, как перестал быть редактором «Огонька». Новое положение Софронова, видимо, смущало; видимо, с ним стали не столь предупредительно здороваться, и вот однажды он при встрече по пути в столовую — из столовой сказал Гранину: «Почему вы, Даниил Александрович, со мной не здороваетесь?» — «А я с вами никогда не здоровался», — ответил Гранин. «Ах так, — сказал Софронов с некоторым облегчением, — а то теперь со мной многие перестают здороваться, вот я и подумал!» На том и расстались. «И что же? — спросил я Гранина. — Вы стали с ним теперь здороваться?» — «Зачем же?! — ответил Гранин. — Все осталось по-старому».

Сожалею, что не расспросил Гранина о его новой повести (о Тимофееве-Ресовском), которая пойдет в «Новом мире»[297] и о которой чуть позже хорошо отозвался по телефону Залыгин. Когда были в Музее изобразительных искусств и смотрели в запасниках Честнякова, я спросил, имел ли Гранин кого-нибудь из художников в виду, когда писал «Картину». «Лентулова», — ответил Гранин. Кострома понравилась, и Гранин сказал, что они с Риммой Михайловной подумывали пожить несколько лет в провинциальном городе, да что-то не вышло. Подходила бы Старая Русса, но после войны из старой застройки почти ничего не уцелело: здания три-четыре, но в том числе — дом Достоевских. Расспрашивал Гранина о Василии Андрееве и Добычине, которых он упомянул в речи на съезде. Оказывается, оба они сгинули в конце тридцатых. По-моему, первый из них, если верно запомнил, был со Сталиным в Туруханской ссылке, и, когда посреди тридцатых обнищал — возможно, и пил, — то обратился к Сталину с письмом о помощи. В каком виде была оказана помощь, неизвестно, так как Андреева больше никто не видел. О «Плахе» Айтматова Гранин отозвался плохо, как о сочинении во многом искусственном. Спрашивал, собираюсь ли я перебираться в Москву. Что мне было ответить? — сказал, что продолжения разговора с Залыгиным, состоявшегося перед секретариатом в июле, не последовало. И ошибся: последовало — Залыгин позвонил 5 сентября и подтвердил свои летние намерения-обещания. Что ж, подумал я, будем ждать, а ждать придется, если вообще суждено чего-либо дождаться. С Вороновым Залыгин разговаривал, но тут нужно начальство

повыше (видимо, Яковлев[298]), а оно в отпуске, — так что переговоры по «кадровым вопросам» продолжатся недели через три, как сказал мне Залыгин сегодня по телефону: я звонил ему, чтобы сказать свое мнение о романе Кондратьева «Красные ворота». Залыгин думал, что Бакланов отклонил роман — вдруг — напрасно, а я подтвердил, что не напрасно, по делу, да и «Дружба народов», вероятно, отклонила еще раньше, хотя кому бы, как не им, печатать продолжение «Встреч на Сретенке». К сожалению, роман написан бегло, даже небрежно и оценка сталинской деятельности неточна и недостаточна. Прекрасное знание цен, московских забегаловок и ресторанов — годы сорок седьмой — сорок восьмой — и крайне приблизительное описание художнических мастерских, институтов и тому подобного, что выходит за пределы быта. Жаль, но дело обстоит именно так: может быть, Кондратьеву писать романы противопоказано.

Телепередача об Абрамове с моим участием выходила в эфир в августе дважды, но оба раза я нарочно не смотрел. Отзывы против ожидания были хорошие: и в «Литгазете» (В. Розов, Е. Сурков, О. Верейский), и в письмах (в частности вдовы Абрамова — Крутиковой Людмилы Владимировны), а также Залыгина и Брыля.

Слухи о нашем отъезде распространились по Костроме (это после приезда Грибова на 25-летие нашей писательской организации — и Фролова), кое-как отговариваюсь: темное дело, говорю, ничего конкретного пока нет.

А вернулся я из Москвы третьего сентября (после папиного дня рождения, после начала Никитиного учебного года в университете), гулял по Костроме и думал: после Москвы — словно в теплой воде хожу, легко на душе, словно будто воздуха вокруг больше, воли и покоя больше.

Богомолову моя рецензия (в «Известиях») на «Карьер»[299], конечно, не понравилась, но я к этому был готов: жаль, но пришлось привыкнуть к этой никому не нужной печальной размолвке — состязания на чистоту (принципов, поступков) в наши дни, пожалуй, никому не выиграть... надо бы помнить о главном, соединяющем — о верности себе в творчестве, в книгах, а тут, пожалуй, Быков чист, как редко кто.

22 ноября.

Как-то шел по вечерней улице и, не помню, что толкнуло, стал вспоминать пятьдесят седьмой: как приехал сюда, как глотал паск и фтивазид (так ли называю?) — бумажный мешок паска, — ну, не мешок, конечно, но хороший, плотно набитый пакет, и один, и второй, и еще как по утрам, стоя у стола, опрокидывал в

себя два сырых яйца и спешил на службу, а вечерами, если возвращались к ужину хозяев, бывали угощаемы водкой, так как с водкой в этом доме было хорошо; средний сын Павла Михайловича Магнитского работал экспедитором ликеро-водочного вагона, то есть сопровождал вагоны с водкой. Портрет Павла Михайловича с шашкой на боку — Гражданская война! — посматривал со стены на наши пиршества. Сын-экспедитор, как открылось позднее, был героем боев на Малой земле, и в пору ее наступившей славы о нем стали писать костромские газеты.

В эти дни я вспоминаю пятьдесят шестой и пятьдесят седьмой, нашу молодость. История сделала виток в тридцать лет и пусть иначе, но возобновила старые надежды. У нас ли или у тех, кто моложе, еще один шанс. Для нас это несомненно — последний шанс. Только что смотрел вторую возобновленную передачу КВН; она хороша не столько сама по себе, сколько напоминанием и возвращением. Именно этим она снова взволновала меня.

Я подумал, что если все будет хорошо и доживу до мая, то поедем с Томой на факультетский вечер выпускников — впервые за тридцать лет (это я), именно потому, что завершен круг, и если виток к маю не закончится и не начнется реакция, то 30-летие нашего курса можно будет отметить как праздник.

Вчера и позавчера последовали звонки от Залыгина и Богомолова. Залыгин говорит, что дела «наши» обстоят плохо, но небезнадежно. Богомолов говорит, что Залыгин лукавит и что первым замом он хочет взять Кривицкого из «ЛГ». «Наш современник» под управлением Викулова напечатал против меня статью Федя; многие говорили мне, что статья гнусная[300]. Я еще не читал, а может, обойдусь и без чтения. Владимир Осипович возмущен и собирается что-то предпринимать. Он рассказывал, что чуть ли не пятьдесят сочинителей из так называемых «сорокалетних» под руководством Бондаренко написали куда-то письмо против того, чтобы я вернулся работать в Москву.

Вчера ТВ снимало у нас дома сюжет для передачи о Сергее Маркове. То есть я сидел у своего стола и наговаривал пять-шесть минут. Вечером были у меня Ионас Мисявичюс и его молодой коллега Максим Иванников, студент Литинститута (семинар Евгения Винокурова). Может быть, я был откровеннее, чем следовало, но такое было настроение и доверие.

Настроение у меня этой осенью неважное. Я устал отвечать на вопрос (в том числе в письмах), уезжаем ли мы в Москву. Слух разнесся, без преувеличения, от края и до края. Хочу я или не хочу, но обсуждение этой темы меня задевает. И не потому, что я жажду этого возвращения. Со времени съезда я написал Залыгину

единственное письмо, где интересовался, есть ли еще надежда. Да и письмо было, в сущности, вынужденным: Богомолов и Бакланов уговаривали меня, чтобы я «развязал» себе руки и мог бы пойти заместителем в «Огонек» к Коротичу. Для меня, разумеется, вариант с «Новым миром» лучше, но люди хлопочут обо мне, и я попробовал прояснить свое положение. Остался при той же неясности.

Журналы печатают то, что было невозможно напечатать несколько месяцев назад (воспоминания Трифонова о Твардовском, роман Бека, стихи [Вл. Н.] Корнилова, повесть Никольской). Отсюда — тоже возбуждение, и снова — память о 56-м.

23 ноября.

Этой осенью, а точнее с конца августа, я переживаю все сильнее обычного.

Перепишу-ка я записку Гуссаковской, переданную мне в Писательской конторе. Тут же был и Бочарников, и еще кто-то, а она сидела писала, отдала мне. Бочарников заметил, полюбопытствовал, но я вслух не прочитал. Правда, спустя полчаса Корнилов спросил, слышал ли я, что обо мне сообщила Би-би-си? Я удивился: «Это вам Гуссаковская сказала?» Он подтвердил, что «да», а я удивился: так, думаю, она растрезвонит всем. А записочка ее была такого содержания (дословно): «В пятницу (14 ноября) в 23.30 Би-би-си в последних известиях передала такое сообщение (утром не повторяли): Последний по счету главный редактор самого престижного в Советском Союзе литературного журнала Новый мир” Сергей Залыгин взял (под давлением извне скорее всего) вторым заместителем продажного литературного чиновника поэта Владимира Кострова. Первое место он упорно держит для неподкупного критика Игоря Дедкова, который живет в недоступной для иностранных журналистов Костроме с тех пор, как его исключили из Московского университета как защитника чешского освободительного движения”».

Кстати сказать (вспомнил Корнилова), недели с две назад у нас с Корниловым прошло «выяснение отношений» (он — любитель таких процедур). На партсобрании мы с ним перекинулись — неожиданно для обоих — резкими суждениями (я — в ответ), и вот теперь — «выясняли», отчего такое произошло? Весь этот вздор вспоминать не хочется, но он сказал, что я переменился (стал резче, категоричнее и еще что-то) после съезда: чит<ай> — избрания секретарем. Я очень удивился, но он стал уверять, что это ему сказали несколько человек. К

сожалению, он не знает, что в этом смысле я не способен меняться, хотя иногда думаешь, что не мешало бы. Я думаю, что в его новой реакции на меня замешаны три «фактора»: мое избрание (малоприятное для него), моя статья против его друга — Бондарева и, наконец, новая политика в области литературы и идеологии вообще; в частности, допущение антисталинской литературы.

«Московский литератор» напечатал изложение речи Феликса Кузнецова на пленуме правления Московской писательской организации; заключительная часть речи, где выражена тревога по поводу публикации Набокова и Гумилева, а также в связи с возросшей ролью в нашей литературной памя<ти> таких писателей, как Пастернак, Булгаков, Ахматова, Мандельштам и другие (почему не Горький, не Фадеев? и так далее). Судя по этой речи, Феликсу пора покинуть свой пост, его игры в «либерала» и «демократа» закончились, то, что он сказал, позорно.

В «Москве» — статья Кожинова о ленинском понимании «национальной» культуры; <...> рассудительности ему хватило лишь на четверть статьи, дальше же понесло в обычное узкое и поганое русло: передержки, антисемитизм, ложь. И — аккуратнейшим образом выгораживает Сталина, сваливая все зло на троцкизм и забывая напомнить читателю, что троцкизм кончился к двадцать седьмому году. Продолжавшаяся после революции политическая борьба, затрагивающая все области жизни, в том числе и литературу, — характернейшая для всех революций, — изображена им как травля евреями всего русского, и прежде всего русских «святынь», точнее — уничтожение. Кожинов думает, что у его читателей нет памяти. Как евреи, так и русские, так и все прочие национальности были по обе стороны, если их было две; они были по все стороны, сколько бы их ни было.

26 ноября.

Запишем и это: в Калькутту я сегодня не вылетел; дал телеграмму: «Выехать не могу по состоянию здоровья». Обманул, хотя, может быть, и не так много в этом обмана, как кажется. Сегодня в «ЛГ» нападки на статью Кардина в «Вопросах литературы», а начато с моей статьи: «негативная, тенденциозная». Да, круговую оборону они держат хорошо; дружно и подловато. Приходят письма с выражением поддержки: все меня утешают, а утешать меня незачем: я и так не горюю, я ведь этого ожидал, это же норма. В Союзе писателей в результате бурного съезда ничего не переменилось, и нравы, и политика руководства — прежняя. Пропади они пропадом.

Статья для «Науки и религии» идет туго; есть во мне какая-то растерянность: видимо, треволнения из-за московского «варианта» все-таки сказываются. Нет-нет да и задумаешься.

Часто звонит Богомолов. По его просьбе Лазарев звонил Быкову, рассказывал московские новости, то есть о «литературном терроре» (выражение Богомолова) против меня и других.

Землю едва припорошило, неприятные, резкие ветры, что-то вокзальное, непрочное, временное. Вспоминаю пятьдесят шестой год, рассуждаю об историческом витке в тридцать лет, поднимается какая-то подзабытая молодая радость, но остужается то тем, то этим, и главное — откуда во мне взяться прежней молодой вере? И все-таки — чуть-чуть больше надежды, и эта вера, и прежний энтузиазм поднимутся, возродятся.

Иногда на улице, в книжном магазине, на почтамте встречаю Виктора[301]. Когда замечаю его раньше, чем он меня, ловлю себя на желании отвести взгляд, не смотреть, пока совсем не сблизимся, пока он меня не увидит. Виктор болеет, и эта штука, носящая имя Паркинсона, упрямо делает свое дело, и ему все труднее совладать с руками, а скрыть от посторонних взглядов вообще невозможно. «Бедные, бедные мы крестьяне», — как говорил наш Никита в детсадовскую пору.

В ноябрьской книжке «Октября» прошли стихи Набокова с предисловием Вознесенского. На этом возвращение Набокова приостановлено. Этот железный, жестяной псевдодемократ Феликс напрасно думает, что он надолго окажется в победителях...

Об этом обо всем должно быть стыдно думать: не стоит того, это даже не суета, а хуже, ниже суеты.

И меня ведь в нее включают, не оттого ли и скверно на душе?

УЖЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ СЧЁТ
Из дневниковых записей 1987 — 1994 годов.

1987. 2 января.

Вместо Индии были Новгород и Старая Русса. Пришлось прочесть книжки Балашова, Б. Романова и Слипенчука, — за тыщу страниц, и присоединиться к «экспедиции» Залыгина. В ее состав вошли Крупин, Сергей Есин, Руслан Киреев, Г. Кострова (как представитель изд-ва «Молодая гвардия»), Т. Полторацкая (от Союза писателей РСФСР) и Жора Елин (от «Литературной России»). Днем позже нас в Новгород прилетел Василий Белов. Официальное название нашей экспедиции: выездное заседание Совета по прозе СП РСФСР (возглавляет Совет Залыгин). Тема заседания: проза новгородских писателей: кроме мной перечисленных — Марк (?) Колосов и Десятсков. Над одной из центральных улиц Новгорода был протянут плакат: «Привет мастерам российской прозы». Ходить пешком нам не давали, да и времени свободного не было: то соборы, то выступления и встречи. Ни разу прежде не ездил я в такие писательские путешествия, хотя Залыгин звал и прежде. Вот съездил, буду теперь знать и вряд ли когда соберусь еще. И компания оказалась неплохой, и возможная «несовместность», — или несовместимость, — не успела обнаружиться, все равно: нагрузка для души неоправданная. То, за чем ехали, уместилось в четыре часа разговоров (заседали в просторном каби-нете директора областной библиотеки; библиотека расположена в здании бывших присутственных мест, где какое-то время служил Герцен; парадный вход оказался почему-то закрытым; вместо дверей было приспособлено окно, благо окна не нынешние, и в окно — по заснеженным мосткам, пригибая голову), — разговоров не очень-то, на мой взгляд, обстоятельных, хотя именно из-за них, надо думать, переживали новгородские литераторы. Крупин не постеснялся мне сказать, что приехал, не прочитав романа Балашова, но свое выступление начал именно с этого романа, продемонстрировав знание первого десятка страниц и еще нескольких наудачу — из середины книжки. Хуже того, он и других авторов, видно, читал выборочно, поскольку говорил бегло и неопределенно. Вот чего не знаю, — заметил ли Залыгин эту едва-едва прикрытую «легкостью слога» недобросовестность? Будь обсуждение обстоятельнее, конкретнее, не заметить — было

бы невозможно. А так, — что ж, — сошло с рук. И до объективности оценок — тоже было далеко. Сама обстановка и состав участников обсуждения (местные журналисты, представители обкома партии и т. д.) не располагали к полной откровенности. В итоге — обтекаемость, хотя разговор-то мыслился (кем? устроителями? такими «несведущими», как я?) профессиональным. А как говорить правду, когда наши оценки могут сказаться на дальнейшей жизни писателей в родном городе? Вот и возникала недостаточная конкретность, округлые рассуждения. А надо было бы услышать правду о своем романе тому же Борису Романову, мурманскому крепкому морячку, большому патриоту и человеку самоуверенному. Но обошлось, а он даже намек на возможную критику роману воспринял болезненно, хотя роман разваливается даже при самом чутком критическом прикосновении...

4 января.

Потом Романов был пьян, крепко, на удивленье, в автобусе, по дороге на Валдай мы сидели с Залыгиным, а он — через проход, и все зависал надо мной и пытался что-то выговорить, — знал, помнил, что мы с Крупиным сегодня уезжаем, — и спешил высказаться, — подмывало его сильно, но язык не слушался, и связ-ности хватало на самое начало фразы, а потом — заклинивало: «Говорят, что вы — главный рупор...» — и заедало, взмахивал рукой и замолкал, а потом опять собирался с силами: «Насчет романа не могу, не согласен...» — и опять — взмах рукой и падает на свое сиденье... Когда приехали в ресторан, где нас ждал обед и посуда местных — каких? керамических, стеклянных (?) фабрик, — Романов исчез; потом мы узнали, что он отключился, и по распоряжению сопровождавшего нас зав. сектором печати обкома его погрузили в милицейский «газик» и отвезли к матери, живущей где-то около Валдая, куда вся экспедиция и должна была после обеда отправиться, но уже без нас с Крупиным...

Насчет «рупора» надо, видимо, понимать так, что я стал «чужим» рупором — «сионистским», должно быть. Правда, намеков в этом роде больше я не слышал. Когда выступали в монастырских стенах (бывший монастырь св. Антония) Новгородского пединститута, мне прислали записку с вопросом, как я отношусь к реформам Петра I? Я ответил, что отношусь «спокойно» и к т. н. «славянофилам» себя не причисляю. Конечно, Романов и Балашов — националисты, но разные, и Белов, к примеру, охотно толковал с Романовым и мурманским писателем (тоже бывшим моряком) Масловым и с Крупиным, но с некоторой

настороженностью относился к Балашову, зная, что он исповедует «веру» Л. Н. Гумилева. То есть сходство воззрений не было абсолютным и о теории гумилевские спотыкалось. Однако, когда в застолье начиналась критика современных порядков, нравов, искусства, системы просвещения и всего прочего, образовывалось единство, и я вдруг испытывал редкое чувство какого-то неудобства. При всем своем критицизме я не хотел почему-то присоединяться к обличеньям, в них угадывалось что-то привычное, почти профессиональное, хоровое, что-то легкое и чрезвычайно часто — неубедительное... Подумалось: сделали общим местом поношение нигилистов прош-лого века, а сами ведь хуже их, ниже их, потому что «корень зла», вами открытый, — задолго до вас открыт и многими уже рублен-искромсан, да толку нет, хоть и загублены миллионы жизней... Конечно, они ужаснутся, если укорить черносотенцами и продолжателями позднейшими, но у всякого явления такого рода есть своя логика: продлите центральные идеи до завершения и практического во-площения, и вы получите хорошо знакомые результаты...

А разговор с Залыгиным выяснил одно: наверху, то есть в Цека, против меня ничего не имеют, то есть — поддерживают, но в дела Союза напрямую вмешиваться не хотят (звонить, распоряжаться и т. п.). Вот и упирается все в конторщиков Союза, а они то ли темнят, то ли откровенно сопротивляются... Завел Залыгин разговор (и прежде, летом, была попытка в этом роде) об отношении моем к московским «партиям»... Ведь у них в руках, сказал Залыгин, журналы «Знамя», «Огонек», «Литературное обозрение»... Я помолчал, скрывая удивление (откуда мне знать, что Коротич и Лавлинский относятся к «ним» и каков у Леонарда Илларионовича состав крови с расовой точки зрения?), а потом сказал, что в детстве для меня не имело никакого значения, кто какой национальности, — просто не приходило в голову. Залыгин подхватил: «И для меня тоже, но, знаете, в Москве это так важно». Я постарался свернуть с этой дороги, потому что для меня и по сей день это не важно.

Из шуточек Елина, когда говорили о Павлике Морозове (Балашов сказал, что Павлика убил дед, и имел на это право, как и отец: право прервать свой корень, и поэтому истинный герой этой истории — дед!): Павлик Матросов — кто это, чем знаменит? А Павлик Матросов закрыл амбразуру телом своего отца.

23 апреля.

Столько всего наверчивается-накручивается, а я — не пишу,

пропускаю: зачем? почему? Второго апреля разговаривал с Залыгиным в его новомирском кабинете, с шестнадцати до семнадцати, у него теперь все расписано по часам. Милая, славная беседа: знаете, не пойму, почему против вас в Союзе, никто — прямо и конкретно, но как доходит до дела — остановка; наверху (вот был на днях у Яковлева — все в порядке) — дают добро, здесь — ничего не пойму; то ли 56 год вспоминают? (в этот момент я думаю, а не прибавляете ли вы, Сергей Павлович? Экая чепуха этот 56 год!), то ли еще что? (Что-что? — хочется мне спросить, вздор все это, и только вздор!) А потом вдруг спрашивает: а зачем вы опять Белова трогаете? (Это о статье в «Знамени».) Я отвечаю: а затем, что и герой моей статьи тоже тронул бы. Кто? Да Александр Иванович Герцен, отвечаю[302]. И еще — с прорвавшейся откровенностью: а книгу о Бакланове — пишете? Не пишу, отвечаю, но в объяснения — почему? — не вхожу. Не говорить же, что если не пишу, то не потому, что чувствую несовместимость таких занятий с возможной службой в «Новом мире». Так и расстаемся на том, что нужно ждать. В состоянии — физическом и умственном — Залыгин в хорошем, насколько могу судить.

От него пошел в кабинет Нуйкиной, там были Сергей Костырко, Белорусец, отчаливающий из «Нового мира» (он и ушел во время разговоров), потом появились Стреляный и Татьяна Толстая (вместе с женщиной из отдела прозы, с которой я знаком, но имени не знаю), чуть позже ненадолго зашли Владимир Корнилов с женой. Общая была беседа и знакомство. Стреляный показался мне человеком «безоглядно наступательного склада»; в таких случаях некоторые слова «прови-сают» под тяжестью своей нереальности. Толстая — красно-черная и крупная, и чувствующая, и стряхивающая свою крупность, — резкая и крепкая на слово, — произнесла целую речь (в ответ на какой-то вопрос Стреляного) о тараканах, о таракане-«дедушке», о том, что они живут миллиарды лет и могли бы дать пожить и нам, и даже изобразила, как «дедушка» простерся у стены за радиатором парового отопления, и разъяренный нож человека-убийцы напрасно ходит взад и вперед вдоль распростертого. И еще что-то — про ловушки и разные подвохи. И так далее.

Теперь появился еще один вариант московского устройства: позвонил Борис Семенович Архипов[303] и сказал, что есть возможность взять меня политическим обозревателем «Коммуниста» (по вопросам искусства) и что речь об этом уже шла на уровне Фролова[304] и Лациса (теперь он — заместитель главного редактора)[305]. Не знаю, какое это будет иметь продолжение.

В последние месяцы во всех устных выступлениях я поддерживаю новую, то есть задержанную, литературную волну и вслух обсуждаю все проблемы, связанные с нашим прошлым. Не знаю, чем все это кончится. Корнилов (костромской)[306] произнес на пленуме обкома партии отвратительную речь — писателю не пристало бы, — и я счел необходимым несколько раз ее публично прокомментировать.

Я и в самом деле думаю, что время решающее: или социализм будет возрожден в нашей стране, или — похоронен на долгие десятилетия или навсегда; отношение к сталинскому прошлому — это отношение к настоящему и будущему. Можно только сожалеть, что ни в одном из официальных документов партии нового периода начиная с апреля 1985 года не упоминаются впрямую решения XX и XXII съездов партии, имена Сталина и его присных; все это как бы отдано журналистике и литературе. Что за этим? Всегда есть — оставлена за собой — возможность сказать: мы этого не говорили. С другой стороны, это можно воспринять как тактику: пусть это все происходит постепенно, то есть очищение; пусть этим занимаются литература, наука, журналистика, а у нас дел хватает. Однако я думаю, что приближается момент, когда руководство партии будет вынуждено нарастающим расхождением в обществе высказаться напрямую, и всякая аморфность, «взвешенность» в этом высказывании может снова отбросить нас назад. Горький наш общественный опыт побуждает нас ждать именно этого варианта. Что говорить, — счастье, если суждено обмануться.

Апрель к концу, а холодно, шел снег, мело и заметало; Тома уже больше трех недель в больнице, я один, кормлюсь кое-как, настроение неважное, потому что, кроме постоянного давления делаемой и несделанной работы, нет ничего надежного: <…> что будет с этими осточертевшими московскими вариантами? да и стоит ли на них соглашаться? — вот тоже вопрос, ответа на который во мне нет. Вернее, есть и сводится к тому, чтобы остаться здесь. (Впрочем, стоило мне написать «здесь», как что-то во мне снова дрогнуло: тоже ведь страшно.) Да ведь надо думать не только о себе и собственном покое, это-то я понимаю.

Нет, не могу ничего писать и об этом: что будет в мае, как я буду готовить книгу для издательства «Искусство» (неожиданно оттуда поступили прекрасные предложения)[307] и так далее. Дай Бог мне сил справиться со всем, что мне и нам предстоит!

В связи с болтовней Бондарева на секретариате о «Сталинградской битве», о том, что нужно давать отпор нашествию варваров и лжеякобинцев, Богомолов как-то по телефону пошутил: то-то говорят, что вы похожи на Гудериана, —

шутка не без смысла: раздражение этого человека против всего инакомыслящего света началось с моей статьи.

Хорошие письма от Ржевской и Борщаговского...

10 июля.

В ночь на 9-е вернулись с Томой из Москвы. Чувство такое, будто мы в чем-то виноваты, будто предали сына. <...> Проводили мы Никиту седьмого июля в восемь утра от дома культуры «Высотник» (это недалеко от его общежития, то ли улица Раменки, то ли район Раменки)...[308] Тяжело это все и горько. То ли в тюрьму отправляют, то ли в ссылку. Родственники, провожающие образовали коридор от дверей дома культуры до автобуса, внутри коридора встали цепочкой милиционеры, и пошли по одному в автобус наши стриженые мальчики. Государство чувствует себя в полной силе, когда подавляет в человеке личность, и потому с этого начинает, когда призывает юных к исполнению «священного долга»: с подавления! И длится это десятилетиями без перемен, будто ничего в народе не меняется, будто все с теми же рекрутами имеет дело государство, называемое социалистическим. Пишу это и все чувствую: не то, не те слова, не те доводы <...>

Два года — это два года его жизни и два года нашей; если понимать ясно, что жить мне остается недолго, то два года без сына — это удар и по мне, и по Томе; дожить ведь теперь нужно до возвращения и молить Бога, чтобы вернулся живым и здоровым.

«Все служат» — это не довод. Он не был доводом и для Толстого. Толстой лучше всех российских писателей понимал опасность и глубокое, заложенное в его природе бессердечие, бесчеловечие государства.

Нормальная наша жизнь закончилась: скоро будем оглядываться назад как на счастье.

20 июля я должен выйти на работу в «Коммунист»: должность — политиче-ский обозреватель по вопросам культуры и литературы. Сначала меня отвезли в «лес» на встречу с Биккениным (он сидит на правительственной «рабочей» даче — кажется, на ждановской — и участвует в сочинении каких-то документов)[309], затем утвердили на редколлегии.

Думать о дальнейшем не хочется: как я там буду работать, когда дадут жилье, как вообще будем жить в Москве, когда буду писать, если день станет тратиться на службу, — не знаю.

Сегодня проводил Виктора и Ларису[310] в Киев: у них тоже — тревожная, тяжелая пора: Виктору предстоит операция. Болезнь Паркинсона его извела, и он говорит, что согласен на все, что

будет ему там предложено. <…>

Теперь свобода, особенно если сравнить с тем, что было. А разве не идея свободы жила в душах моих друзей в далеких теперь костромских шестидесятых? И в 70-е — разве мы ее предали?

Кому повезло, дожили, дождались. Не дожили: художники Николай и Татьяна Шуваловы, Ярослав Штыков, журналист Аркадий Пржиалковский, режиссер Владимир Шиманский, писатель Леонид Воробьев, искусствовед, поэт и книжник Альберт Кильдышев.

Мы-то дожили, но отчего радость, которая перехватывала горло, все чаще мерк-нет и подступает тревога? Или не та свобода? Или тревога напрасна? <…>

27.8.87.

Уже поздний вечер, прочел статьи к завтрашней редколлегии, стало грустно, да и давно было грустно, — вот и решил написать.

Дни рождения родных мешают мне приехать домой, а очень хочется. Вроде бы недавно был, а кажется, давно. И трудно поверить, что не прошло еще двух месяцев, как Никиту проводили в армию. Тоже давно было, такая даль.

Бакланов в «ЛГ» сказал, что я пишу для «Знамени» обзор. Как припер к стенке, деваться некуда, — я все чаще стал задумываться над этой статьей. Но надо еще кое-что прочесть[311].

Ходил сегодня в магазин. Внес за август 50 руб., а талонов получил на сто. До 5 сентября надо выкупить — выбрать. Всего же за месяц платишь 70, а талонов — на 140. Такие вот игры. Испытываешь странное чувство. Как за границей.

Хоть бы скорее решилось с квартирой. Были бы вместе, все стало бы легче. А так — плохо. Бездомье.

Очень непривычно целый день ходить в костюме. Душно, тяжело.

Возвращался с работы по улице Фрунзе. Навстречу семья: мужчина, женщина и ребенок. Отец объясняет: «А это служащие идут с работы. Шесть часов». И в самом деле — валом валят: офицеры, штатские, сплошь — с дипломатами. (И я среди них.)

Относятся ко мне с некоторым любопытством. Не знаю, что они там думают.

Читаю Вс. Н. Иванова («Дальний Восток», № 7) о Костроме конца века. Трогает это меня, да и знакомое узнается. И еще понравилось: ощущение государства с детства — как мое. На всю жизнь оторопь и неприязнь.

Если бы только мне писать… Не хочу в партчиновники, буду писать. <…>

4.11.87.

Эта Москва тяжела, будто хожу в чем-то тяжелом на ногах и все зависаю, теснюсь в какой-то густой массе.

Политические игры-маневры хороши, и некая благая дрожь приобщенности сопутствует им, но — недолго, как нечто пустое, мимоездное-мимоходное, будто все главное, незыблемое где-то оставлено и существует.

14.11.87.

<…> Что за жизнь! Здешняя суета, вздор, какая-то рассредоточенность — и милый, исчезнувший покой дома…

Жизнь, остановись! — надо было орать тогда, когда мы были все вместе; ну хотя бы втроем, как в последние годы.

Что эта Москва, мельтешение, подчинение, включение, — зачем?!

Жалею, видит Бог, жалею, горюю, устал.

<…> Утром сегодня, когда брился (после зарядки и душа), потемнело в глазах. Сидел ждал, когда пройдет. Встал, опять не то, опять сидел. Потом гулял, и сначала едва заметно заболела голова, а во второй половине дня — сильно. Вроде бы помогла таблетка анальгина. Но боль была свирепая, намучился.

6.1.88.

Волынское. С вчерашнего дня. Лацис, Колесников, Ярмолюк, Антипов, профессор-психолог Зинченко Вл. Петрович. Пять корпусов, мы во втором, комната моя — 202-я, на втором этаже. Широкое, высокое окно. Сосны, безлюдье, горят фонари на прогулочных дорожках. Сегодня, гуляя, видели зайца. Рядом бывшая дача Жданова; там, бывает, сидят такие же, как мы, — работают: сочиняют для кого-нибудь тексты (речи, статьи, доклады). Тихо, вечерами сижу за столом при настольной лампе и радиомузыке. Почти как дома, но в одиночестве. Но временами возвращается сосредоточенность, от которой отрывает служебная трата времени.

7.1.88.

Ездил в университет по просьбе Г. Пескова[312]. Много вопросов, но публика чересчур пестрая. Вечером приехал — наши смотрят «Декамерон» Пазолини. Успел на вторую половину. Насмотрелся того, без чего Пазолини мог бы обойтись. Остальное: толпа, соборы, художники, — прекрасно. Крупные планы — портреты в живописи. <…>

11.1.88.

Все уехали, остались Зинченко и я. Еще цековская машинистка, но она где-то в другом конце нашего дома. Почему Зинченке здесь лучше — не знаю; мне же не хоте-лось возвращаться к своим. Здесь я свободнее и сам себе хозяин. Здесь даже светлее — такой вроде бы пустяк. И нет этой духоты, из-за которой сегодня почти совсем не спал. Побыть одному — благо. Жаль, что сегодня не выяснилось насчет нашей дальнейшей работы. Мне очень хочется уехать домой — и два дня — счастье.

Зинченко рассказывал, что группа старейших академиков ходила к Горбачеву, возражая против назначения Марчука и проча «во владыки» Велихова. Тот якобы ответил, что согласен с ними, что Велихов — лучше, но не хочет вмешиваться в дела Лигачева.

Он же рассказывал, что Пельше под старость, хватаясь за телефон, говорил: «Слушаю, Иосиф Виссарионович!»

Из старых анекдотов:

Брежнев гуляет на том свете. Много знакомых, все здороваются. Среди них Крупская. Тоже здоровается. Он медлит. «Вы не узнаете меня? Я — Крупская». — «Как же, как же, помню, хорошо помню вашего мужа — Крупского».

Жесткий анекдот о Ленине. Рабочий: «Вы — рубль».

[Б. д.] [313].

Здесь, в Волынском-2, незаметно и беспричинно, без каких-нибудь резких знаков я почувствовал, как зыбко то, что происходит и называется «перестройкой». Вспомнилось похожее — чехословацкое, польское: как рядом с лидером всегда на втором плане торчало твердое лицо московского слуги. И приходил его час. И прелести либерализма увядали. И твердое лицо заполняло исторический экран.

Демократия в таком государстве, как наше, должна начинаться с недемо-кратических действий. Иначе отсчет демократического века не начнется никогда. А если начнется — прервется! Взгляните в это мрачное, едва скрывающее раздражение, широкое здоровущее лицо второго человека. Нагоняющий, подстерегающий — как на треке — в лучшей позиции. Это всем известно. Осте-регись! — готов я крикнуть. — Остерегитесь!

Они — злы, а это самая темная страсть!

27.1.88.

Опять Волынское, неожиданно, сразу после возвращения из Костромы. Не знаю, к худшему, к лучшему ли или — все едино.

Не знаю, что со мной. Или выбит из колеи, и это мучительно, как-то невосстановимо, или все-таки — болею. Не хочется об этом думать; тем более что и к врачам ходить нет возможности. То одно, то другое. Разъезды, труды-хлопоты...

Вечер, двенадцать, буду читать про Чаянова (в «Октябре»)[314].

Всерьез описывать здешние впечатления пока не хочется.

28.1.88.

Написал 4+10 страниц, включая переделку прежнего своего текста. Вряд ли это устроит — не та, думаю, концентрация мысли. Нужна абстрактная, я же все время помню, что это устная речь и к тому же не доклад. Ну да Бог с ним! Завтра подведем итоги, и на этом конец.

Колесников опять заказал фильм определенного толка («Мадам Клод», Франция). Одно и то же и много раз — скучно и пошло, ни проблеска таланта. Развращение человека средствами кино и ничего более. А каково актрисе, и каковы актрисы, и трудно представить, что у них есть какая-то нормальная человеческая жизнь: семья и т. п.

А фильм заказывали по рекомендации предыдущей «команды», работавшей на даче Жданова (строение 4). И Фролов сидел с нами: а куда деваться, сбегать? И я бы сбежал, как наша машинистка, но вот сидел как дурак.

Все разъехались по домам, завтра — на редколлегию, потом опять сюда.

Читаю Гроссмана[315], написал слезное письмо с извинениями в Ленинград, где ждут мое предисловие к Гранину.

Вот с чем я столкнулся, что почувствовал, когда И. Т.[316] вспоминал 60-е годы; ясное-ясное представление: он где-то поверху, я где-то внизу, он — о «Вопросах философии», о Капице, Лысенко, Кедрове; я — о чем? — о «Северной правде», о каком-нибудь Грише Илюшко, пьянице Комракове, о Леньке Воробьеве и так далее. И что же следует: жизнь одного сорта, жизнь другого, низшего, но вот — надолго ли? — перекрестились дороги. Да и не в перекрестке дело, а в том, что та жизнь, вроде бы низкая, пытающаяся подняться, но не могущая, — с тою, высокой, все-таки вровень. Если бы в романе — роман бы уравнял; там и там — жизнь, только разные персонажи, а существо — одно, и единый для них, над ними — закон.

23.2.88.

Все писанное впереди, «дачное», к «даче» относящееся, — глупости, т. е. пустое. Это тоже жизнь, но не та, какую хочу и к какой привык. Вот уже семь месяцев, как живу нежеланной

жизнью.

Если б я решал только за себя и о себе думая, я бы никогда этого не сделал. Сидел бы на месте, в Костроме.

Квартира, которую дают, — вот красная партийная цена мне (моему уму и проч., и проч.). *Их* цена.

При всем моем благорасположении к Н. Б.[317], и он к установлению цены имеет отношение.

Чем выше начальник, тем выработаннее у него скользящий взгляд.

Но когда доставал этот блокнот, думая, что что-то запишу, мысль моя и воображение были заняты другим, не тем, что записалось. Я думал о сыне, о нашей прошлой, счастливой жизни и о возможной будущей, в которой хотелось бы многое сохранить от старой.

Есть оттенки московских нынешних переживаний, связанных с родителями и проч., которые бы хотелось записать (выразить): но для этого нужны некоторые условия, начиная с приличного освещения, бумаги...

27.2.88.

Подумал, что если повезет, то окажемся в Замоскворечье, и Тома тогда как бы вернется в родные места и, м. б., будет проходить по знакомым улицам и думать, что вернулась. Годы, конечно, прошли; второго круга не будет, но то, что называем душой, остается прежней и даже молодой, и душа отзовется этим улицам, воспоминаниям, и это тоже ведь будет неплохо, каким-то благом.

Нет, я не могу сказать, что тридцать лет провинциальной жизни — зря, неполноценны; это примешивается нынешний вздор, будто присоединяющий меня к какой-то более высокой и значительной жизни, чем та, что у меня была, но это неверно, это — иллюзии, миражи, это тоже напрасное возбуждение ума, морок, который рассеивается.

Когда я дома, в Костроме, все возвращается: и не хочешь ничего, кроме того, чтобы остаться здесь, дома, навсегда.

Надо собирать камни, а я разбрасываю, разбрасываю, а понимаю: спасение — в сосредоточенности.

12.3.88.

Читая Авижюса («Лит. Литва», 1988, № 2).

Происходит заполнение всего объема жизни; и здесь, и в других книгах; абстрактное, приблизительное, мифологическое, частичное, выборочное или оттесняется на подобающее место, или дезавуируется, или входит в состав вровень со своим

подлинным значением. Зато заполняется каждая кубическая клеточка объема, пустоты сокращаются. Когда восстанавливается конкретность на этом уровне, жизнь в литературе восстанавливается как жизнь; ее характеристики — былые! — самые уверенные, — нуждаются в уточнении, переделке, они становятся неудовлетворительными: определения — не накладываются! Когда при чтении это чувствуешь, то возвращается даже другое ощущение всей жизни, своей, давней, недавней, — тоже.

Частный случай оказывается важнее объявленного правила. Он — выпадает из привычной логики и торжествует как фантом жизни, нет, как истинная ее сущность.

14.3.88.

К вечеру приехали наши: Колесников, Ярмолюк и Володя Кадулин[318]. В третьем и втором корпусах — полно; наши говорят: у вас как на вокзале. По сравнению с нашим январским житьем-бытьем здесь (сначала нас было шестеро, потом трое) действительно так: вокзал, толпа чиновников, хотя среди них есть и ученые люди (президент ВАСХНИЛ Никонов).

Наших поместили «у Жданова»... я к ним, уже в одиннадцатом часу, зашел. Любопытно все-таки.

Среди обилия комнат на втором этаже, нависая над крыльцом, сторожка — узкая комната метра два длиной — встать-сесть — с телефоном на столике — для охран-ника. Комнат множество, отделаны деревом. Дом Островского в Щелыкове (сравниваю: оба бревенчатые) много беднее: здесь за внешней обыкновенностью свободная и богатая территория жилья. Аскетизм, говорят? Может быть, может быть, но я-то не верю: под сдержанной и форменной одеждой, как под серым покровом, кто знает, что было. При любом желании могло быть исполнено все, — или они утолялись, насыщались безраздельной властью?

Прочел «Век XX и мир» № 2, где обсуждение возможностей перестройки. Этот «круглый стол» вызвал неудовольствие наверху. Я думаю, что эти речи не столько неверны или вредны, сколько напрасны и несвоевременны. А более всего имеют, как ни странно, отдаленное отношение к действительности. Вот статья т. н. Нины Андреевой, химика, — это самая что ни на есть действительность, угрожающая и тем самым «круглым столам», и вообще надеждам на выход из тупика. То, что встает и стоит за статьей, ни много ни мало силы заговора. Рухнет прикрытие, как ворота, сорванные с петель (или просто неза-крепленные, как деревянный щит), и они ворвутся.

Тогда-то и будет тарарам. И конец. Так зачем я здесь? Вот вопросик!

Борюсь за жизнь. Уже восемь месяцев длится эта дурная приснившаяся жизнь.

Ватикан? Лабиринт Тадеуша Брезы. Вам бы написать еще один Лабиринт![319]

— Ты заметил, Б-н после обеда не курил?

Многозначительный обмен взглядами.

— Нет, он просто спешил.

— Может быть...

Но я-то знаю: наблюдение верное: Б. уехал после обеда «наверх»: м. б., хозяин того кабинета не любит запахов? Или, в самом деле, это только спешка? Но — заметили: не курил.

Дело художника отстраниться: выпасть из игры. Т. е. придерживаться старых правил, не зависящих ни от прежних обстоятельств, ни от новых. Продолжение «линии»; это и будет объективная поддержка лучшего из того, что происходит...

Н. Б. понимает ли, как это все нелепо и как мне непросто?

Или при определенном ракурсе все это мелочи в сравнении с «высотой», на которую я поднят (поднялся?)?

Все вздор, и все утешение: я свободный человек, и вот вскрикну, и сверну...

Куда?

А сам-то все надеюсь, что мои будут жить вместе и хорошо (уходящее время не будем считать. Так?).

[Б. д.]

Эти сосны уже знакомы, и повороты тщательно расчищенной асфальтированной дороги в снегу — тоже. И вид из окна на сосны — тоже. Скажи мне кто-нибудь летом, что я буду сидеть перед этим окном, что пройдет уже почти восемь (!) месяцев ожидания квартиры, что буду заниматься политикой вместо литературы, — я бы не поверил. Боже, какая ирония судьбы и времени: вернуться в Москву, чтобы участвовать в политической жизни, да на каком уровне! Тщеславию тепло, но недолго, да и другая надежда греет сильнее: это должно пройти, миновать, прекратиться, я же другого хочу, за другим ехал! Поздновато уже, верно? да и стиль, что называется, все-таки не тот. Тон не тот, книжности много, ораторские замашки остались в 56-м или 57-м...

И все-таки поднимаешь голову, и неподвижные высокие сосны, почти не остав-ляющие неба в огромном окне, успокаивают. Та жизнь существует. Та, где все просто: сосны, снег, сумерки, покой сырого марта... Если б я согласился на ту квартиру, мы бы уже, наверное, въехали... Впрочем, начинаю об

этом думать — такая вязкая почва, так топко, неприятно... Неприятно напоминать, напоминать, напоминать...

Целый день писал, потом еще перепишу, сейчас уже есть десять страниц; м. б., напишу еще столько; кто знает, что из этого пригодится? Но пишу и стараюсь получше формулировать; это такая уже болезнь: когда пишешь, хочешь писать лучше — в достижимую сегодня силу. А насчет «формулировать» — именно так: пытаешься сложное загнать в какие-то фразы попроще, от которых отвык.

Народу здесь необычно много, а когда-то в январе мы были здесь втроем, а Фролов наезжал четвертым. Сейчас — человек двадцать: три группы, у каждой — свое.

Сейчас вернулся после «Холодного лета 53 года». Много убивают, но редкий случай — не жалко. Вышли, я говорю Володе Кадулину: «Таких бы еще фильмов десять. Ну, не совсем таких». Он закивал, тоже был взволнован. Н. Б. тоже за фильм, смотрел второй раз. «Им полезно, гадам, пусть смотрят», — то ли я сказал, то ли он. Звуков одобрения не слышали; некоторые расходились весело или сумрачно.

Я еще когда в понедельник выступал, после бессонной ночи, всем существом чувствовал реакцию аудитории: вот это принимают (вон там), здесь (слева) нет, ворочаются, шушукаются... Кончил, в одной стороне зааплодировали. Предыдущему лектору — не было, отзвонил, и с колокольни. Но как я чувствовал — и в каких стенах! — внутренний протест (вслух опасаются; мало ли что!) — не всех, конечно, но многих. Подумал: слишком пестра публика, пропагандисты. Потом понял: сидели бы другие, было бы похоже: тот же расклад. Все зыбко...

15.3.88.

«Холодное лето 53 года». Приемыхов — на месте: есть глубина; сто раз все перегорело; в разговоре с героем Папанова публика должна почувствовать (в какое-то мгновение), что такое для человека — десять лет лагерей, т. е. жизни отнятой, изуродованной... Не «Покаянием» можно пробить эту глухую стену, эти ватные матрацы, — только прямыми ударами вроде этого. Чтобы — дыра и дымились обугленные края.

В этот раз почувствовал, какая она другая может быть здесь публика. Был среди своих, из журнала, да еще Иван Тимофеевич; казалось, так и должно быть. Нет, неправда, оглянулся, обманулся — реальность посерьезнее, да и откуда ей быть иной — не проточная же вода, а стоячая, лишь взбаламученная. (Вспомни рассуждения о крымских татарах; смысл: нет, не напрасно, не просто державная воля: было за что.) А тот

аккуратист, с малоподвижными, внимательными глазами, во всем иностранном, со знанием дела рассуждающий о действиях группы захвата...

(А. Пушкин)

— Это по поводу публикации Карамзина в «Москве». Забывчивые мы люди. Самовластья хочется, кнута. Потом дешевого пряника. И опять самовластья. И так без конца.

16.3.88.

Поговорил со всеми по телефону. Утешился. Контакт. <...> Странная у меня изоляция. Был бы дом — мог бы на ночь уехать. Некоторые уезжают. У меня дома нет. Ярмолюк говорит, что в бумаге на имя Кручины (управделами Цека) написано, что «по согласованию с Яковлевым»[320]. Я этого не заметил, когда читал. Или плохо читал, обрадовался!

Читаю Гроссмана, есть прекрасные страницы, но тяжело безмерно. Литература, или возвращение отринутой, раздавленной, загубленной жизни. Литература как возвращение этой жизни и муки.

Фролов про Н. Б.: сидит как Будда. Что-то недоволен журналом. Белорусскую карикатуру из «Вожыка» обещает показать М. С. Пусть. На благо.

17.3.88.

Теперь я все вспомнил, как вспоминают расположение фигур на шахматной доске в прерванной партии.

Тот же самый дом, и вслед за помощником я поднимаюсь по той же мраморной лестнице и иду тем же коридором, по которым хожу сейчас в свою комнату — двести тринадцатую.

Тогда я был напротив, в двести четырнадцатой, мы разговаривали с Н. Б., и я видел в глубине двести тринадцатой человека, сидящего за пишущей машинкой. Конечно, это я оговорился: это сейчас я знаю номера комнат, тогда я их не видел; наверное, я слегка волновался, т. к. вообще не сразу узнал, что уже был здесь. Самое веселое, что, если бы тот человек, сидящий в противоположной комнате с распахнутой дверью (июль, начало), обернулся, он мог бы оказаться мною.

Он не был похож на меня, в каком-то свитере или джемпере, абсолютно чужой.

Но вот он оглядывается: это я.

И я тот, из июля 87 года, спрашиваю себя, этого, из марта 88 года: что ты тут делаешь? что я тут делаю? что это значит? зачем это?

21.3.88.

(После чтения «круглого стола» в «Огоньке», № 12.)

Допустима, нужна ли «моральная оценка» (сталинской деятельности и проч.).

Оценивая эту пору, можно усвоить взгляд, подобный тому, каким смотрели на эпоху Петра или Грозного.

Не важно, что это близко. Преспокойно усваивают.

Моральная оценка — это не обязательно взгляд моралиста.

Литература почти с неизбежностью такой взгляд в себе заключает, если устраивает человеческий суд эпохе.

В конце концов, человек не обязан входить в положение властителя, государства, правящей группы. Его критика, неприятие абсолютно законны.

Его интересы законно могут расходиться с устремлениями государства, рвущегося в великие и мировые державы. Он явился на свет — жить, а не соревноваться в государственных мероприятиях, и пошли они все к черту.

Минувший год — с уходом Никиты в армию, с моим согласием на москов-скую службу и этим бездомьем — словно отнял у меня принадлежность к прожитой жизни, оставил ее за чертой и вместе с нею — непрошедшее чувство моло-дости. В эти восемь месяцев я постарел, я отделил себя от чего-то, или они дали мне почувствовать, что прежнее ощущение жизни невосстановимо. Еще брезжит какая-то надежда, что это ощущение пройдет, но вполне призрачной может быть надежда.

22.3.88.

Все отлетает назад и уменьшается. Если мы помним что-то вдвоем, то мы друг другу поможем. А если никого уже не осталось, кроме тебя, от того далекого дня в кабинете директора библиотеки, когда среди белого дня, посреди работы, мы слушали Окуджаву, и это было открытие, московская новость, дуновение дерзкой свобо-ды.

Сегодня Тома сказала, что хоронили Андрея Селиверстовича Морозова, директора библиотеки в ту пору, когда я появился в Костроме. А пленки с Окуджавой привез тогда Коля Попов, методист библиотеки, и его тоже нет, и очень давно.

Теперь я сижу на даче Цека, вечер, и «Маяк» передает Окуджаву. И Окуджавы давно много, почти сколько хочешь, он победил, и вроде бы мы победили, наше строптивое поколение.

Но полной веры в победу нет. Нам бы ее пораньше. (Нет, ты скажи: нам бы ее подарили пораньше. Наша заслуга только в том, что не все растеряли, не все разменяли. И кое-какие силы сохранились.)

Отлетай назад и уменьшайся, роман прожитой жизни.

24.3.88.

Б. Н. Билунов (отдел науки ЦК) рассказал, что Л. Леонов по телефону просил поддержать выдвижение Ю. Бондарева в члены-корреспонденты академии. Ему сказали, что поздно, выдвижение уже прошло. Леонов настаивал, объяснял, что был в отъезде. Пришлось обращаться в академию, но там это предложение отклонили.

Еще рассказал, что при голосовании кандидатуры Феликса Кузнецова на общем собрании академии распространялась «листовка», призывающая голосовать «против». Такое на собраниях АН было впервые. Кузнецова в «листовке» обвиняли в поддержке русофильских кругов.

25.3.88.

Разговаривали за завтраком обо всем на свете: от СПИДа до национальных отношений. Н. Б. вспомнил, как Федоров (хирург, глазник), выступая на «круглом столе» в «Коммунисте», сказал о 50 тыс. долларов, на которые он будет производить закупки оборудования. А присутствующий врач из райбольницы сказала: а у нас и 50 рублей нет, чтобы купить необходимое!

И тут меня как кольнуло: и представилась та далекая конкретная жизнь в каком-то селе, городке, снег, крыльцо, люди, сбивающие снег с валенок... То — жизнь.

Восемь месяцев московской жизни. Я бы отступил, да куда? Если б обойтись без костромских писателей, костромского обкома, а жить абсолютно част-ным лицом — хорошо! да невозможно. И вот терпим и ждем. Я произвожу здесь, должно быть, мрачное впечатление. За обеденным столом — разговоры; когда прогуливаемся — тоже, я все молчу. Редко-редко что-то скажешь, и то неохотно. И люди вроде бы располагающие, но все-таки чужие, другой клан, другие воспоминания у них. С другого этажа. И я — с другого, не с их.

Ну, рассказать ли мне что-нибудь про Леню Брежнева? Или вот про Байбакова[321]: заседала комиссия (экономическая) по борьбе с алкоголизмом. Было создано несколько комиссий, одна из них — экономическая, и в ней заседал Г. Саркисянц (он и рассказывал). Так вот, посреди разговоров слово взял Байбаков, предварительно выставив на стол бутылку водки, какого-то особого изготовления. И принялся — старик был, не в тон уже говорил! — хвалить ее: и голова не болит, и пить приятно... Ну и пошла бутылка по рукам: рассматривают, что за чудо... А закончилось заседание, хватились, а бутылка-то и исчезла... Как

же, голова не болит... Не пропадать же добру. Тот же Байбаков на каком-то заседании неожиданно и долго расхваливал «магнитную воду».

Или поговорим на тему, как Джуна лечила Райкина, а потом — прочих. И даже самого...

Или про то, как подавляли волнения в Орджоникидзе: прислали полк, экипированный по всем правилам: со щитами и дубинками. И двинулся полк на тысячную толпу, разбившись на несколько колонн по одному... И врезался в толпу, рассек- ее и обрушил дубинки на тех, кто оказался между теми движущимися колоннами по одному... А командовал генерал Малахов, и донесся до него вскрик возмущенный какого-то недалекого милицейского капитана, и приказал генерал раздраженно: дайте-ка ему как следует, и дали...

Почти анекдот: в ЦК пришла жалоба из Еревана. Человек обижается, долго ждал, а дали квартиру в Афганистане (так называют район Еревана, неудобный и плохо устроенный). В Москве прочли и положили резолюцию: дать квартиру на территории Армянской ССР.

Оказывается, десантная дивизия МВД высадилась в Армении и Азербайджане — 6000 человек (из Пскова).

27.3.88.

Сталин вызвал Митина и Юдина. Те были тогда в Институте красной про-

фессуры (аспирантура?). И сказал им, что думает назначить их академиками. Юдин засомневался: справится ли? Они вышли от него: Митин — академиком, Юдин — член-корром.

Минц[322] кому-то рассказывал, как был направлен для переговоров или еще зачем-то в штаб Махно. Был он молод, худ, неказист. Его привели в штаб к Махно и, видя его невзрачность, предложили тут же с ним и покончить. Махно их остановил и налил Минцу кружку самогона. «Пей».

Тот выпил. Еще налил. «Пей». Выпил и вторую. «Ну как, — спрашивает Махно, — можешь разговаривать?» А тот вполне членораздельно отвечает: «Могу». Махно удивился: «Что ж, поговорим».

Н. Б., работая в «Вопросах философии» вместе с Митиным (редактор журнала), однажды ехал с ним в Ростов-на-Дону. Зашли в вагон-ресторан, и Н. Б. робко предлагает: «Может, выпьем по рюмочке (или стопочке)?» Тот отвечает: «Нет, товарищ Биккенин, это было бы ошибкой», — и Н. Б. обомлел. «Это было бы с нашей стороны ошибкой. Надо взять бутылочку».

Якобы при допросе Василия Сталина, когда следователь

упомянул об ответственности его отца за убийство Кирова, Вас. Сталин сказал, что об участии отца в этом убийстве ничего не знает, но помнит, как однажды отец на даче метнул бутылку коньяка в голову Ежова с криком: «Ты, гад, и Кирова мне не уберег!»

А. Н.[323] отрицательно отозвался о статье Н. Андреевой в «Сов. России». Н. Б. считает, что Валя Чикин[324] просчитался и не удержится. «Правде» поручено выступить против публикации в «Сов. России». Посмотрим, что будет.

28.3.88.

Рассказывал, как сидели на даче — писали Алиеву доклад о трудовых коллективах. Он прочел, понравилось, сделал замечания, пообещал угостить коньяком. И действительно, прислал две бутылки азербайджанского коньяка «Наири» и несколько бутылок вина.

Если сказать: этот человек прекрасно информирован, то это равнозначно тому, что определить его принадлежность к госбезопасности. Наш Анат. Алекс. знает бездну всяких фактов: как штурмовали захваченные самолеты, подробности ареста секты скопцов.

Читая «Лит. Россию»:

Они в этих заседаниях — секретариатах, советах, комиссиях, юбилеях — как рыба в воде (Алексин и проч.).

Так и переплывают: из протоки в протоку, из озера в озеро, и так без конца.

Феликс Кузнецов сидел (прежде) в президиумах, как в теплой ванне, — откинувшись и развалясь.

«Красное копыто» (штамп цековский на бумагах). <…>

Никогда я так не ощущал многоэтажности, многослойности жизни, как в эти дни. Отвлеченность живет за счет конкретности. Плавание в разных водах.

У Флоренского вычитал прекрасные слова по поводу отвлеченностей и отвлеченных обобщений. Только один путь: через конкретное к всеобщему, т. е. не покидая конкретного.

Это в тон тому, что я думал.

Флоренский — из «Вопросов истории, естествознания и техники», 1988, № 1. Сегодня мне сняли ксерокопию: там Вернадский и в связи с ним — Флоренский.

Хочется писать, но поздним вечером нет собранности. Как у меня бывает, настроение сменяется, как волна волной, живу как на волнах.

Я чувствую, что писать — слишком серьезно, и надо касаться

всего самого серьезного и главного, и в этом одном — уже что-то пугающее.

29.3.88.

Огорчаюсь так, что не могу читать: не переключаюсь никак на «Живаго»[325] и Антиповых, а у них уже пошла своя семейная жизнь, дети, и мелькают годы. Читаю отстраненно, занят своим... И вырваться хочу отсюда, вырваться, все одно: их аппаратный слог и склад ума мне не освоить, они мне чужие, и, комбинируя с текстом, разумеется, они предпочитают свое (аппаратная солидарность), а не мое, хотя в отличие от их идей мои идеи резче, новее и обращены опять-таки не к аппаратной и казенной логике восприятия, а к людям широкой мысли и культуры.

Поехали с Н. Б. в Академию общественных наук к 16 часам: должен был выступать Яковлев. Оказалось, что не приедет, перенесли на 18 часов, но очень неуверенно. Когда вернулись, Н. Б. позвонил помощнику Яковлева, тот сказал, что идет беседа с Океттой у М. С.[326]. Таким образом, послушать не удалось и почувствовать реакцию слушателей — тоже.

Рассказывают, что вчера после торжественного заседания, посвященного Горькому, Горбачев, разговаривая с теми, кто был в президиуме, сказал, что статья Андреевой в «Сов. России» плохая. (Так как Лигачев эту статью на совещании редакторов (только-только Горбачев и Яковлев уехали, один — в Югославию, другой — в Монголию) хвалил и некоторые областные газеты ее перепечатали, то это не просто суждение, а некий выбор, сделанный главой партии.)

Записал все это, но «температуру» души не сбил: та же горечь и острое чувство напрасности: что я тут делаю? Зачем? Время — думать и писать, — как всегда, в одиночку, время — сосредоточиться, отойти от старых приемов письма и переналадить мысль: то, за что ратовал, многое осуществилось, становится общим местом; нужно продолжение, нужно другое направление...

Это надо уметь: надо поджаться, меньше чувствовать, потушить воображение, не давать воли мысли.

Надо сидеть себе, как в танке. И катить. И чтобы все отскакивало и отлетало. И тебе все нипочем.

Можешь ты это?

Я не могу жить собою. Я пытаюсь, меня вынуждают, чего-то от меня хотят, и я стараюсь, пробую.

Это все от бездомья. Дома можно успокоиться, прийти в себя. Какое было счастье, — хотел написать: непонятое, потом

подумал: неправда, понятое, почувствованное! — когда я сидел за столом в своей комнате... Чудеса, чудеса, счастье!

Прочел же ты у Флоренского: необратимость времени — вот доказательство его существования. Время проходит сквозь нас, проносится, струится, и сердце болит, чувствуя именно это бесконечное движение.

А наверное, это точно: из тех лет, объем души, мысли, чувства.

Лидия Корнеевна — даты под! — как смогла?! Она уже тогда отрешилась от всего этого, она все поняла — тогда![327]

29.3.88.

Что значит видеть? Писал в письмах, глядя в окно: сосны в снегу. А вышел пройтись, а сосен-то и нет: стоят елки, а рядом березы, а перед другим окном другого коттеджа, где я жил в январе и где тоже писал в письмах: сосны в снегу, — то ли липы старые, то ли еще что — не пойму, но никак не сосны...

Куда смотрел? Себе под ноги или — скорее всего — внутрь себя? И — переживал необычность обстановки, занятий, незнакомых и значительных людей?

Наверное, так и есть. Когда смотришь внутрь себя, когда — переживаешь, видишь вокруг мало и даже теряешься, как бы плутаешь.

И раньше это замечал: помнишь свое состояние и предполагаемое тобой состояние других и как бы общее состояние жизни, но остальное обступает как второстепенное, как пространство: ты пересекаешь его и мало что помнишь, только — бедность его или богатство, или сам дух, владеющий им или выражающий его суть.

Теснение души — так это называется, или — томление, или сам трепет жизни, колеблемой, как свеча ветром...

Вот еще про что думаю: вот я ушел в 76-м из газеты и уже лет пять до этого мучился в ней и понимал: ничего уже ни прибавить, ни изменить, и наконец ушел на волю, — слава Богу, была возможность... Еще раньше — отказался от Академии общественных наук (1968), т. е. от очевидного карьерного выбора... Стал заниматься литературной работой, — непросто, трудно распрямлялся, но опять-таки себе не изменял, не прилаживался, не угождал власти...

То есть такие, как я, как Тома, как многие другие, как Виктор Бочков, например, ничего не делали для карьеры, для поднятия авторитета в глазах власти.

Наоборот, сколько себя помним, со студенчества, — на подозрении, на полуподозрении, на самой грани позволенного.

И вот время перемен. Хорошо, поднялись снова такие люди, как Буртин[328], доныне как бы отсутствующие. И еще другие, похожие на грибы, пошедшие в рост после дождя.

Но вот я смотрю вокруг: большинство — те, кто поднялся и удерживался на своей высоте во времена Брежнева и Черненко. Они делают вид, что понимали все всегда, а теперь просто дают выход своему пониманию. Вопросов им не задавайте, они были правы тогда, правы и теперь.

Они вроде бы ждали этого времени и ему — в уровень.

Точнее бы сказать: они служили тогда, служат и теперь. Просто условия службы чуть смягчились.

Правда, чохом их не охарактеризуешь. Не все радуются переменам: я это понял, когда выступал перед некоторыми представителями этого клана.

Впрочем, мне все равно, хотя эта формула: они правы были тогда, и правы теперь — меня задевает.

Их правота неизменно подкреплена силой власти.

В этом отличие от правоты другой, не подкрепленной ничем, кроме чувства исторической справедливости, кроме чуткости к времени и человеческому состо-янию.

Ели за окном напоминают ели на бухаринском пейзаже в «Огоньке». Мартовское солнце лежит на ветвях...

Аля Чернявская как-то сказала (недавно), что вам... никогда не везет до конца. Т. е. все в конце концов складывается неплохо, но что-то всегда мешает, все дается трудно — я готов написать эти слова печатными буквами... Хотя, опомнившись, говорю себе в сотый раз: не гневи Бога, не гневи...

Через какие муки прошли люди в революцию, в 30-е годы, в войну, да и потом, — сколько ушло их времени, сколько жизней, а если выживали, то как измерить пережитое ими в лагерях, ссылках, в бесконечно долгом отсутствии, в изоляции от близких и родных... Как? Какую изобрести единицу измерения горечи, страданий, боли?! Я догадываюсь, что многие из них жили уже одни, совсем одни, не считая время, т. е. считая — с единственным ориентиром, — пока не обманут, — на истечение срока...

Попробуй представь себе, что будет с пальцем, если сунуть его во вращающуюся мясорубку.

Попробуй представь себе, что было бы с тобой там, и в полной неизвестности остались бы самые дорогие тебе люди...

29.3.88.

Смотрел фильм «Конец ночи» (кажется, так), советский, из новых. История из начала войны: советский танкер спасает

команду и пассажиров немецкого парохода, не зная, что война началась. Потом немцы захватывают судно и т. д. Вся новизна и вся философия перестройки — в очередных раздеваниях и постельных сценах. Их необязательность, их приправочная задача (специи) очевидна. Абсолютно. Дешевка, что называется; а режиссер — Нахапетов. Чепуха, господа, чепуха это всё. Ни красоты, ни храбрости, ни мысли. Ремесло, и притом второразрядное.

30.3.88.

Опять сказал Н. Б. о квартире, просил, чтобы он позвонил в Цека; обещал. А. Н. рассказал ему, что на последнем Политбюро М. С. сказал, что вот Наиль («Вы его знаете, редактор "Коммуниста"») передал ему слова писателей после появления статьи Андреевой: «А что, у нас Генерального сменили?»

Что было дальше — не говорилось. На Е. К. Лигачева неловко было смотреть.

Все произошло после того, как Н. Б. передал эти слова В. О. Богомолова Яковлеву.

Н. Б. озабочен: прямым упоминанием своего имени в таком тексте и прямыми указаниями М. С. и А. Н. о проведении идеологического «круглого стола» и написания к конференции передовой статьи («с последующей перепечаткой в республиканских изданиях»).

Разговоры за ужином об ошибках в составлении официальных бумаг, а также об их хранении. Всего-то была записка от Б. Пономарева с пожеланием заменить в докладе слова «сфера услуг» на «непроизводственная сфера», но потеря ее (а была подпись: секретарь ЦК и соответствующие штампы) грозила разными карами, и чтобы отыскать ее, уже собирались вытрясать все сейфы отдела. Такое — поиск по всем сейфам — в порядке вещей.

5.4.88.

Простаивание мысли.

Что в Китае пытка, в Люберцах шутка.

31 отдел, хорошо бы — не гибель[329].

5.4.88.

Сходит снег со здешних полян, темнеют летние тропинки и дорожки под деревьями, проступили клумбы, площадки для настольного тенниса, лохматая серая кошка, долго мяукавшая

под деревьями, пришла на наш зов и стала поочередно тереться о ноги всех нас.

Мальчишка перелез через забор, а выбраться назад не может; над краем забора показалась ругающаяся голова женщины, испуганной таким нарушением и шествием солидных начальников по аллее; я подсадил мальчишку, он скрылся, но скоро высунулся снова и закричал: «Пронесло!» (Видимо, мать не сильно его ругала.)

Сегодня фильм «Терминатор» (Кибер-убийца) — жуткая американская фантазия насчет будущего, завоеванного взбесившимся, вышедшим из повиновения роботом.

В «Правде» статья против «Сов. России» с резкими абзацами, написанными, видимо, А. Н. «Патриоты» и «сталинисты» будут недовольны. В «Сов. России» сегодня партсобрание, и Валя Чикин там, думаю, оправдывается. <…>

7.4.88.

Выступали (Н. Б., Колесников, Гайдар[330] и я) в Академии общественных наук на курсах председателей госкомитетов радио и телевидения, редакторов лит.-художественных и партийных журналов страны. Виделся с Жорой Радченко (работает в Магадане на ТВ), с С. Законниковым и А. Вертинским (Минск).

Потом вернулись. Здесь, конечно, спокойнее. В «Правде» изложение статьи в «Руде право», где отвергается сходство программы «правых сил» 1968 года и советской перестройки. Заметка начинается с имен: Шик, Млынарж, Дубчек. Бросается в глаза возможная параллель происходящего в стране с даваемой в статье оценкой послеянварской ситуации в Чехословакии. Существенно, что с Млынаржем М. С. учился в одной группе в университете и в последующие годы встречался с ним.

Заметка о возвращении к диктатуре пролетариата появилась на первой полосе «Соц. индустрии». Там же говорится о происходящей сейчас в партии борьбе «большевиков» и «меньшевиков».

Ностальгия по сталинизму поддерживается на страницах некоторых газет едва ли не целенаправленно. Любопытно, что впервые не дается изложение очередной речи Лигачева (на совещании по художественному воспитанию народа).

Правда, это поправимое дело — еще могут дать.

Вот жизнь: шутка ли, девятый месяц, как нет у меня привычной, нормальной жизни. Будет обидно, если это все кончится как-нибудь печально.

Первый весенний дождь. Проезжали мимо университета,

мимо общежития Никиты. Надо ему об этом написать.

[Б. д.]

<…> К вечеру — усталость от суеты, от рассредоточенности — на то, на это…

Адамович[331] вернулся из Парижа — он любит эту деятельность. А я — нет.

Даже если б была ее возможность — уклонялся бы. Просто все разные…

В Москве лужи, мокрый снег. Иногда едешь в метро, думаешь, проезжаешь свою остановку. Возвращаешься.

[Б. д.]

Я ловил себя на том, что вот этот поворот головы не мой, и движение вздернутого влево подбородка не мое, и ногу на ногу забросил чересчур знакомо, повторяя отца, — и вот, дивясь сумме этих движений, я думал, а где же мое? А если и остальное — не мое, то тогда — чье же? Каких неизвестных мне предков-предшественников? И чьи сюжеты в своих снах я досматривал? В чьих домах там хожу и живу?

Иногда я смотрю на людей — на улице и т. д., чувствуя, что смотрю давний, молодой, и вижу в молодом ровню или, все равно, близкого…

Не знаю, как дотянуть до времени, когда снова сяду за свой стол и буду работать по-старому.

Меня вовсе не увлекает возможность включиться в общий хор (Карякин — Нуйкин — Клямкин — Ю. Афанасьев и др.[332]). Но я человек того же направления, и я жалею, что отстранен от всего — другого такого времени может не быть.

18.6.88.

<…> Вместо Замоскворечья — Ленинские горы, но улита едет — когда-то будет. Про все эти хлопоты и треволнения не хочется и писать. Это то, что не жизнь, а пауза.

<…> наладься наша прежняя жизнь, и я тотчас повернусь в сторону литературы, политики и всех прежних занятий. Но пока — настроение такое: грустное, печальное и т. д.

13.5.89.

<…> В промежутке совсем уж нерегулярно от руки не раз что-то записывал: в Волынском, на Октябрьском поле. Надо бы свести воедино, но тратить на это время кажется недопустимой роскошью.

Почему я не записывал?

Не в том состоянии была душа. Никакого покоя. И радость была, и светлые минуты, и разные события, которые бы удержать в памяти, но помимо отсутствующего покоя останавливало что-то еще, словно я боялся нарушить какое-то зыбкое равновесие своей — нашей — жизни. В этом было что-то суеверное; Тома в Костроме, Никита в армии, — как об этом писать, чтобы не повредить тому, что есть и пока вроде бы хорошо. Будто слово мое, никому не ведомое, могло что-то стронуть с места. А как было записывать свое самочувствие на Октябрьском поле? Изливать свою горечь? Зачем? Достойно ли? Вот и носил в себе то и это, надеясь, что горечь рассосется, радостное не исчезнет. А большая политика, российские потрясения, нежданные-негаданные перемены, все новые и новые непривычные степени свободы!.. Вот это-то следовало фиксировать — в мелочах, в смене надежд, страхов, разочарований и новых очарований! И тут нечего винить душу и ее неустойчивые состояния. Тут сам ход моей жизни был против: долгая история с получением квартиры, бессчетные поездки домой, в Кострому, и обратно. Да и зачем, кому я объясняю свое молчание? Молчал — значит, была причина, изъяснить которую, наверное, можно, но во многих словах, которые кажутся лишними. Не хотелось ничего писать — ни после обретения московского дома, ни после Италии и Нью-Йорка[333], — выходит, мешало что-то. Сама жизнь мешала, оттаскивая меня от машинки или — растаскивая меня по всем московским надобностям и поводам. Жизнь лишила меня сосредоточенности, а в Костроме она у меня была... А впрочем, не буду копаться в причинах-мотивах. Попробую постепенно, если ничто не помешает, восстановиться и вернуть себе свое прежнее состояние. Бог мне в помощь!

Надо бы, наверное, кое-что вспомнить из этих двух лет. 20 июля 1987 года я действительно вышел на работу. Очень скоро, не прошло и месяца, как Биккенин ввел меня в редколлегию, получив поддержку А. Н. Яковлева. Вернувшийся из отпуска Архипов был чрезвычайно удивлен, если не потрясен, скоростью моего утверждения секретариатом.

28.11.89.

Чего я боюсь? Я боюсь, чтобы мы оба не оказались в больницах, хотя понимаю, что и это еще не худший из вариантов.

Жили, жили — и дожили. И надо как-то вывернуться, а чувство такое, что шел-шел и наткнулся на что-то трудно преодолимое. На препятствие.

(Надо бы писать медленнее: слова подводят, чувство,

ощущение не узнают себя.)

30.11.89.

Нет, похоже на правду или близко. Перемешавшаяся жизнь, остановившаяся.

Боже, как мы устали надеяться!

И уже стыдишься мгновений прихлынувшего энтузиазма.

Волынское. Конец мая — июнь 1990.

Состав: Шахназаров Георгий Хосроевич; Остроумов Георгий Сергеевич; Биккенин Наиль Бариевич; Дедков Игорь Александрович; Ермонский Андрей Николаевич; Ястржембский Сергей Владимирович. Вместо Остроумова работал Черняев Анатолий Сергеевич.

[Б. д.]

Березы во все окно, голубое небо в просветах листвы, птички поют, зеленые лужайки, яркая майская трава, ждановская дача в два этажа, белые скамейки перед домами, где никто никогда не сидит, — сверкающая листва, а дача зеленая с обилием окон, с жалким подобием фонтана, т. е. круглой чаши, опять же зеленой, заполненной прошлогодними листьями.

4.6.90.

Утром Шахназаров и А. Н. Яковлев плюс Петраков, и мы: Н. Б., Андрей Ермонский[334] и я. А. Н. («не для записи», была стенографистка): «Марксизм — это теория классовой борьбы. От нее пора отказаться». Прозвучала мысль (А. Н.) об отсрочке съезда[335].

27.6.90.

Вчера остались одни с Андреем. В первую половину дня ездил в город (я — в редакцию, Андрей — в свою контору). После обеда — читали и ждали. Ч. и Н. Б. весь день пробыли в Ново-Огарево. Поздно ночью, когда мы еще смотрели футбол, вернулась машинистка А. С. Черняева[336] и сказала, что тот заедет утром. Распространились слухи, что съезд будет перенесен, но, судя по рассказу машинистки, работа над текстом продолжалась.

Накануне, в понедельник утром, когда я явился, приодевшись и надеясь на отъезд (конференция советско-американская), появился хмурый Черняев и сказал, что в воскресенье была передиктовка и нужно садиться за работу.

Так оно и было. Никто никуда не поехал. Все сорвалось, и я, получается, обманул людей. Сидели до третьего часа ночи.

Вписал кое-что новое (по истории и реабилитации крестьян, раскулаченных).

В субботу шла шлифовка и ожидание, т. к. все съехались.

28.6.90.

Клод Лелюш, Бельмондо и Френсис Лей в фильме «Баловень судьбы». После «Драки» и прочей нашей дряни — и здешней политической скуки и оторванности от грешной земли — так было приятно видеть и слышать нечто, говорящее о человеке в его лучших возможностях, почти сказочное.

Начальство в отсутствии, а мы с Андреем как позабытые часовые. Или — точнее — как отдыхающие в доме отдыха.

(Пишу все это — и чувствую, как все это далеко от состояния душевного и умственного. И если хочется что-то писать, то совсем другое, очень далекое от здешней жизни, в сущности, унизительно-служебной.)

Из «Записок консерватора» (А. Проханов, «Наш совр.», 1990, № 5): «пятилетка великого ренегатства». Образ СССР как летательного аппарата, чье управление в неком центральном отсеке, где «сокровенные недра партии», т. е. Центр управления там. Но Сталин ушел, «забрав с собой ключи, отсек не открыть, и к рулю прорвались пассажиры» («изначальный чертеж» он тоже забрал).

Так вот — удастся ли вырвать руль у «спятивших пассажиров»?

«Слушая, как трещат и ходят ходуном межреспубликанские границы, они (государственники) вспоминают славу Суворова, Ермолова, Скобелева».

«Пусть везут свой изюм и урюк на рынки Ирана и Турции, а мы наполним прилавки Урала морковью».

Виктор Кочетков («Наш современник», 1990, № 5):

Это я выписываю в пятницу, 15-го числа, в ожидании опять же то ли указаний, то ли отпущения нашего восвояси. Здесь все в полном составе — в том же, какой я уже отразил в записках. Есть во всем этом что-то печальное, не-обязательное и вынужденное. Но роль-то надо доигрывать...

Явился Лацис, и в нем я опять заметил то, что обнаружил раньше: довольство, наращиваемое со временем; надутый он стал, важный. <...>

30.12.90.

Кажется, опять пытается лечь снег. Метет. Вчера шли через Красную площадь по мокрой брусчатке, мартовской или апрельской, и я отметил про себя, как бугриста здесь земля: словно она напирает, а камень ее сдерживает. Наверное, маршировать марширующим неудобно, а вот танкам — все равно. Я уже привык и к этому возвращению из столовой через Красную площадь и Александровский сад, как и ко всему прочему, связанному с моей московской службой. Привык как к повинности или как к содержанию играемой роли: это то, что входит в роль, и от чего легко отказаться, если необходимость ее исполнять исчезнет. Не нужно будет, и слава Богу. Лишь в последнее время, а точнее — в последние дни и недели, я подумал о том, что уход мой из журнала на полную свободу выглядит теперь сложнее, даже тяжелее, чем прежде. Это связано с тем, что дальнейшие события в стране трудно предсказать: рост инфляции и цен, вероятно, неизбежен, а переход к военному или полувоенному правлению реальнее, чем когда-либо прежде, отсюда — ощущение нестабильности и полнейшей неуверенности, а в таких условиях гарантированный заработок (зарплата) кое-что значит. Хотя не настолько много значит, чтобы остановить меня, если придется принимать какое-то решение из-за поворота (вынужденного!) политического курса журнала (как следствие общеполитиче-ского поворота руководства страны). Не хочется писать о политических событиях и впечатлениях последних дней, они все чаще вызывают какое-то пустое раздражение, то есть, раздражаясь и досадуя, понимаешь, что все это впустую и не стоит того. Много разных людей мы видели на советском верху, но откровенного пошляка (Янаева) нам предложили в начальники впервые. И благодарить приходится Президента. Даже думать об этом персонаже и его покровителе кажется каким-то компромиссом с пошлостью. Великая затея пошлеет на глазах. Или это — возвращение в старую колею. Во всяком случае, последний выдвиженец Горбачева вполне в духе брежневских времен.

Нарастает ощущение, что реформирование страны наталкивается прежде всего на психологически тяжелое состояние общества. В который раз я думаю, что человеческое сознание чрезвычайно податливо ко всякого рода обработке, и результатом такой пропагандистской обработки становится нарушение психического равновесия, разрушение здравого смысла и массовое отклонение от нормы в сторону всякого рода социальных, национальных и прочих безумств. Это такой поворот «логического винтика» (Короленко), что вся резьба летит к черту

и вразумление становится невозможным. Разве что кровопролитие способно протрезвить свихнувшиеся умы. Когда Олег Хлевнюк рассказывает о вычитанном в архивных бумагах (он смотрит сейчас документы 37-го года, партийные и хозяйственные), я думаю о том, что безумие, его приступы, массовое безумие захлестывало страну не один раз: только безумием (основанием могло быть разное: тогда, допустим, и страх, сегодня — злоба, озлобленность, мстительность, ненависть, разбуженные и востребованные в разных целях, и т. п.) можно объяснить тогдашнюю коллективную бесчеловечность, забвение, отказ от здравомыслия, от элементарной человеческой логики. Поразительно, что на недавнем Съезде народных депутатов Союза чуть ли не решающим аргументом во время переголосовывания по кандидатуре Янаева стала апелляция к чувству единства перед угрозой раскола. Например, вот что говорил Назарбаев, восходящий казахский лидер, вовсе не входящий в категорию послушных политиков: «Предлагаю продемонстрировать перед лицом всей страны в этот критический период, перед лицом всего мира нашу поддержку Президента» (много лет назад была необходимость продемонстрировать, опять же перед лицом всего мира, мирового пролетариата и мирового империализма, единение вокруг партии, Сталина и т. д.).

3.5.91.

Читаю Солженицына («Март Семнадцатого») и Троцкого («Моя жизнь»). В промежутках — Марка Алданова («Истоки»). Далее — еще Алданов («Самоубийство») и воспоминания Милюкова. А когда-то брал в костромской нашей библиотеке «Армагеддон» Алданова, поражаясь, как уцелел, антиленинский, антиреволюционный, открывая собой старый тематический («русские писатели») расклад библи-ографических карточек в главном каталоге. А еще читал Алданова в Ленин-ской библиотеке, не в семьдесят ли пятом, когда был на «курсах» литкритиков при Литинституте и заходил почитать что-нибудь эмигрантское, и было уже кое-что возможно: тогда же читал Ремизова «Подстриженными глазами». А к чему вспоминаю все это? Чтобы еще раз подивиться, что сегодняшнее чтение стало возможным и обыденным? За этим? Но и дивиться уже наскучивает: что-то другое встает за этой новизной, более глубокое. И неизменное.

Лучше всего я чувствую это, вспоминая Кострому. Или побывав там, как это было недавно. Но мало побывав и как-то скоро и занято. Вдобавок шли дожди, и посидеть на берегу Волги не удалось. И даже дойти до берега. Но все равно: эти улицы я

воспринимал как часть своего всегдашнего, неотъемлемого уже мира, как будто это все то же пространство, где я живу, нет, родное, обжитое пространство, просто не каждый день имеешь возможность туда до-браться, дойти, и вот наконец идешь, идешь и добираешься, и встречаешь знакомые лица, и все так, будто и посейчас принадлежишь всему этому, знакомому до мелочей. Правда, все, кого давно не видел, постарели, и, глядя на них, догадываешься о себе. И стольких я уже не встречу, а ведь их тени все еще пересекают в моей памяти и эти улицы и скверы, и я их отчетливо вижу. Я не знаю, где блуждают души, оставляя этот мир, и блуждают ли. Но я знаю другое: они остаются в тех, кто их помнит, — тенью, отсветом — словом, всем, с чем мы соприкасались. Как я хочу, чтобы пришел счастливый миг воспоминаний, когда все прояснится и я увижу опять и запишу, — какое должно быть для того состояние и настроение! За окном — все зеленее, и листва — вот хорошо — закроет землю внизу.

25.8.91.

Утром девятнадцатого в Марьино я видел сон, как меня арестовывают по приказу царя, то есть суют какую-то бумагу об аресте, но говорят, что я могу опротестовать. В начале восьмого, едва встав, я включил телевизор. Передавали заявление этого комитета. В первые мгновения, когда до сознания стал доходить смысл произносимого текста, я решил, что это информация о чем-то таком, что было в Прибалтике (комитеты спасения), и где-то кем-то снова затеялось, но тут же как-то разом воссоединились похоронное лицо диктора и сзади его — похоронный фон и главное — зазвучавшая подпись под текстом: Комитет по чрезвычайному положению. И тут же проснувшаяся Тома сразу все поняла, о чем идет речь. Еще через несколько минут, выслушав весь блок их сообщений, поняли до конца: чей переворот и какие лица во главе. Настроение было тяжелое. Соседи по столику в столовой — работник ЦК РКП (так мы решили, исходя из его разговоров) и его жена — были бодры, веселы, но сдержанны. А следовало ждать откровенной радости: любимое занятие этой пары, как мы уже усвоили, — ругать Горбачева, даже больше, чем Ельцина и «националистов» из республик. Этот человек (отчества его я не узнал, спрашивать не хотелось, но из книжечки заказов на столике узнал фамилию — Беляков, а из уст его жены имя — Анатолий; по возрасту, пожалуй, чуть помоложе меня, но плотен, налит мясом и силой, как бык) упоминал про свою рабо-ту в Кемеровской и Самарской областях секретарем горкома партии, а потом — в Бурятии секретарем обкома партии, может быть, даже и первым. С год

назад это семейство перебралось в Москву, и он даже (возможно, депутат) чуть ли не возглавлял комиссию Верховного Совета по делам кавказских репрессированных народов. Так вот из разговоров — довольно громких, они не стеснялись, — следовало, что в победе над Горбачевым они уверены, и глупая жена принималась не однажды толковать, что Г. или уедет за границу, или покончит с собой. Не раз бывало, что, наталкиваясь на наше неприятие, они замолкали.

26.9.91.

Впервые подумал: придется уходить. Не куда-нибудь, а как в 76-м, просто домой. Вариант сохранения нашего журнала, предложенный А. Н., — через утверждение на ноябрьском съезде Движения (за демократические реформы) и перехода в изд-во «Прогресс» с подразумеваемым превращением в ЦО (не зря же предложил включить в редакционный совет Г. Попова и Шеварднадзе) — меня не устраивает. Нынешний «радикализм» А. Н. — при всем моем к нему уважении — кажется мне избыточным и все менее точным в своей обличительной части. Сегодня он говорил Н. Б., что надо решительнее порывать с прошлым, кончать с ним — т. е. начинать новый журнал, а Н. Б.-то уже поддержал мой текст (вступительный к № 14), а там о том, что мы не хотим перелицовываться и отрекаться от себя. А мне-то куда проще отречься, чем А. Н. Или он не чувствует, что его ответственность за состояние партии такова, что просто так, как пиджак с плеча, ее не скинешь. Все-таки я верно написал, что капитаны покинули корабль первыми, а что это тогда за капитаны?

Я чувствовал, что в А. Н. происходят перемены, но надеялся на тот самый здравый смысл, о котором он так любил напоминать.

Если бы нам удалось сохранить журнал, мы бы постарались вырулить в сторону от политики, предпочтя держать дистанцию от сменяющихся временных распорядителей жизни. Ну а явятся постоянные, то и от них. Но, кажется, порулим мы до конца года, а там — Бог весть.

Иногда не могу понять, что со мной. Присоединиться бы к хору, проклинающему Ленина, революцию, Дзержинского и т. п., — к хору газетному, телевизионному, уличному, — а не могу. Давным-давно — в середине 60-х — я думал про кровь революций и про то, что Россия и без Октября, с одним Февралем многого бы достигла и была бы, стояла бы в мировой иерархии не ниже, чем советское государство. В самый раз бы подключиться к нынешним обличителям, а я вдруг думаю, что тогда все было так же

непросто, как сейчас, и более того — во много раз сложнее, и чересчур легко воспринимать Дзержинского палачом и Ленина злодеем, вырывая их из обстоятельств и усло-вий тех далеких дней, из их логики, невнятицы и т. п. Или кто-то из сегодняшних, обвиняющих, отлавливающих, прокурорствующих, гарантирован от втягивания в жестокость, от приспособления к ней? Боже, сколько героев, знающих, как жить! Боже, где они были вчера? Боже, как неразвито, убого их воображение! Как грубо и бесцеремонно продолжают они худшее из опыта обличаемых своих предшественников!

16.11.91.

Продолжаются славные дни. Позвонил Антипов[337], вычитал в утренних «Известиях», что наша подписка — 20,9 тыс. (экз.) В процентах мы восстановили, кажется, меньше всех; выходит, мы и хуже всех, даже «Партийной (ныне — Деловой) жизни». Понимаем, конечно, что не хуже, но данные-то объективные, и кто нам теперь поможет? Что-то мы делали не так, и средняя наша линия, иногда обозначаемая как линия «реформаторского крыла партии», во времена поляризации, конфронтации и даже остервенения не принесла нам успеха. Мы напечатали в течение года и Полозкова, и Гуренко, а еще раньше Прокофьева[338], и, хотя знающие люди нас понимали (все-таки орган Центрального Комитета, и крупным, по должности, отказать трудно), все равно след оставался. Возможно, не случись августовских событий, положение журнала было бы устойчивее, а в новых обстоятельствах одинаково плохо повлияло на подписку и старое название, обостренно воспринимаемое после августа, да и новое, несомненно воспринятое частью подписчиков как измена. Далее обсуждать эту тему не хочется; в конце концов, сами события побуждают меня вернуться к литературным занятиям, чего, собственно, я и хотел, не так ли? Однако Лацис был прав, оставив наш кораблик вовремя, что, впрочем, не делает ему чести. Хотя мне страшно неприятны многие оттенки внутриредакционных отношений (не на них бы тратить душевные силы), но я продолжаю терпеть: чувство долга во мне, кажется, неискоренимо: все-таки меня не зря воспитывали в этой стране, и воспитывали долго.

А дни славные. Чем дальше, тем больше невольно сравниваешь происходящее с семнадцатым и ближними к нему годами. Я даже не характер событий имею в виду, а состояние тогдашних людей. В брежневские времена ощущение беспомощности было, но оно было инерционным, и с ним свыклись: издалека шло. Но вот после 85-го нарастало иное

чувство: или просто жизнь пошла желанным, совпадающим с твоим умонастроением курсом, и стало казаться, что и при твоем соучастии тоже, — что-то вроде «наша берет!», или в самом деле личная вовлеченность в события стала больше (выборы, всякие митинги и т. п.). Но сейчас я себя ловлю на знакомом ощущении: та же, еще более возросшая, беспомощность, словно физические силы — не духовные, — затеявшие тяжбу и не брезгующие средствами (хотя бы сам способ расчета с партией — подписание на глазах у Горбачева и миллионов телезрителей Ельциным Указа, обнародование, с оттенком садизма, второго Указа накануне праздников и т. п.), безмерно превосходят мои физические и нравственные силы. Разыгрывается старый, испытанный, российский вариант, освя-щенный традицией: на глазах у нации выходящие из-под контроля начальствующие лица управляют (или пытаются это делать) страной, насаждая повсюду себе подобных и лично преданных. Под разными названиями, но восстанавливается, регенерируется все та же структура и система, пренебрегающая строительством жизни снизу. Все сверху и беспрекословно. Другое дело, что теперь прекословят, и сильно, и не всегда этому радуешься. Все чаще задумываешься о том, что в государственном деле сила необходима, но где возьмутся в нашей стране такие искусники, чтобы знать в ее применении точную меру. Знал ли эту меру Столыпин, применяя силу против революции Пятого года? Или тут секрет в твердом признании того, что является преступлением против государства? Против безопасности его жителей? Во всяком случае, применение государственной вооруженной силы должно рассматриваться как наказание за преступление законов, и прежде всего связанное с посягательством на жизнь и дома его граждан, на его жизнеобеспечивающие системы. Еще ярче предстала — уже не теоретически — роль личности в направлении событий; с ролью брежневых и других было проще, теперь же народ сам называл имена и голосованием подтверждал свой выбор (и я, дурак, тоже!) и вроде бы призвал новых людей. Однако поразительно и выразительно не то, что называют «ошибками», «просчетами» и т. п., а другое — масштаб личностей, вдруг представший в своей реальности, некая обнаружившаяся человеческая мелкость, заурядность, наложившая личный отпечаток на принимаемые решения, личный настолько, что государственная мудрость, которая призвана «светиться» в речах и документах, стала все чаще отступать перед транслируемыми на всю страну качествами личного характера и интеллекта, личными претензиями. Отсюда множество решений, обещаний, заявлений, отменяемых чуть ли не на другое утро, и вообще оттенок мелочности выносимых «на

люди» каких-то частных отношений. Несовершенство человека, каждого из нас, несомненно, но государственное — это уже «отсеянное» частное, решительно отодвинутое. Как вспомню про то, как на сессии Моссовета депутаты (чуть ли не с этого начали) таскались с бюстом Ленина (оставить? убрать?), как всплывут в памяти те речи, что воспроизводились в газетах, где элементарное чувство приличия было преступлено, то тоска берет страшная и знакомая беспомощность с нею; почему весь этот вздор непереваренных личных чувств, личной невоспитанности, личных невежественных или поверхностных представлений должен не только обрушиваться на отдельного человека, но влиять на само направление жизни? Или в самом деле демократия не «поспела» и спешит...

25.11.91.

(Бумага из Афин, на ней перепечатывал текст своего выступления по просьбе какой-то англичанки, должно быть, троцкистки (переводчицы); не весь, конечно, а две-три страницы) [339].

Иногда хочется писать на хорошей белой бумаге. Заходил в редакцию Борис Негорюхин со своей бородой Маркса, без которой он не остановит ничьего взгляда. Рассказывал про тяжбы и ссоры костромских писателей. Мишка Базанков, съезжая с квартиры, переходящей к Беляеву, отвинтил даже ручки у дверей. Об этом говорили на собрании. И о тому подобном. От водянки умер Бочарников. Лишь Вася Травкин вышел из СП РСФСР и перешел в союз новый. Я слушал и думал: а если б я остался там, как бы я жил, как бы ходил на эти сборища. Прошло всего четыре года, а перемен бездна, и странное чувство горечи от проходящей жизни, от своего в ней — хотя бы и костромской — неучастия. И одновременно — чувство освобождения или своей переключенности на что-то другое, которое опять же превратилось в несвободу.

Бывает страшно печально: жизнь тащит, тащит и тащит, и хочется никуда не ходить, сидеть на месте, вслушаться в самого себя. <...>

Я знаю, что мне много лет, но почему кажется, что жил мало? И вот с таким чувством — краткости и ясного сознания молодости — люди уходят? Бедные люди, и чем они заняты, и как транжирится, тончает жизнь. Боже, прости мне эти банальности.

26.11.91.

Обремененность души — и жизнь общая повернулась, обернулась каким-то фарсом, обманом, и дни мои заполнены чем-

то все-таки ненастоящим.

А на дворе тепло, снег легкий выпадал, но растаял, к вечеру туман, то ли весна? — наверное, перед снегом...

Бывают счастливые мгновения — неожиданные, на ходу, в метро, в толпе, в троллейбусе, прижатый к задним стеклам, — когда отвлекаешься от всего, уходишь в «глубину» и чувствуешь себя человеком, и все прожитое близко, и что-то всплывает, откликаясь на запахи, блеск трамвайных рельсов, сумрак переулков и т. д.

Я не могу всерьез воспринимать митинги и новые президиумы, когда там знакомые чересчур лица революционеров — Оскоцкий, Нуйкин, — прости меня, Господи, они же мои друзья и вроде единомышленники. Но что-то тут не так...

13.12.91.

Политическое колесо буксует — летит грязь в наши лица. Они хотят, чтобы огромная часть народа вывернулась наизнанку. Жили так — теперь живите, как мы решили.

Кругом — марш!

Иногда так отвратительно — понимаешь, почему уходят люди. На*таких* условиях — не хотят жить.

14.12.91.

Тома вернулась из Костромы. Встречал в метро на пустынном раннем перроне. Настроение тяжелое от новой заведенности — службы, политической тупиковости, от бестолочи и чуши. Опять все оборачивается обманом.

Ты погляди, какая в мире чушь...

15.12.91, нет, уже пошло 16-е.

Начал писать, то ли для себя, то ли думая о журнале, диалог А и Б, сидящих на трубе, о свободе, но кажется, эти А и Б мне помешают, т. к. в конце возникнет вопрос: кто остался на трубе, или придется упомянуть И, который «работал в КГБ». Но шутка шуткой, а без писания, убиваемого каждодневной службой, жизнь уныла и теряет смысл, выходящий за пределы дома[340].

О политике, о новом абсурде писать не хочется. Кажется, все иллюзии рушатся безвозвратно. Побеждает сила, которую невозможно приветствовать.

27.12.91.

Уже «отставленный» и покинутый, М. С. вчера позвонил Н. Б. (сначала Н. Б. звонил и не застал) и, выслушав прочувствованные слова, сказал: «Что это у тебя такой похоронный тон?» И дал

понять, что он еще собирается действовать, и даже попросил то ли сберечь «ребят» (в редакции), то ли удержать, давая понять, что по-прежнему рассчитывает на поддержку журнала.

А предновогоднее это время — смутнейшее. Я все — про смуту и смуту, а что поделаешь — точнее слова нет.

Вот занесло поистине в глубокую колею, и как выбраться? В такие-то времена, когда выработать «прожиточный минимум» литературным трудом (свободным) без службы, кажется, невозможно...

Конечно, нужда заставит — и службу бросишь и как-то спасешься, но ведь я не один.

Наверное, старая привычка невосстановима. Хотя, если не таращиться в телевизор по вечерам, можно попробовать. Но таращишься очень часто, потому что устаешь и хочешь остановиться. Теперь работа съедает все мое дневное время: посылаю в набор, подписываю верстки в печать и так далее. Некоторые тексты приходится сильно править[341]. Сегодня воскресенье, но вместо того, чтобы писать для каких-то других изданий, писал для своего журнала, пытаясь хоть как-то выразить то, что думаю о происходящем (в форме диалога, и в этом дополнительная трудность). Но записывать про это — скучно. Интереснее и полезнее было бы записывать цены на еду, и я как-нибудь это сделаю с точностью до копейки. <...> Примета новой торговли: обилие в магазинах на ролях директоров, продавцов молодых крепких мужчин, похоже, что они вытесняют женщин. Самообслуживание ликвидировано. Книжный магазин в доме, где живут мои родители, за последние месяцы превратился в универмаг: государственная книжная торговля занимает теперь четвертую часть помещения, остальное пространство — т. н. коммерческая торговля вещами и магнитофонными записями, а также продажа книг по договорным ценам. Это и есть прибавление, возрождение духовности. (Кстати, это слово, набившее было оскомину в телепередачах, теперь почти не услышишь, — отдекламировались!)

Смотрю какие-то дикие сны. <...> Жаль, не записал «президентский» сюжет, но тоже — какая-то глупость и чушь. Говорю Никите: сойду с ума на политической почве, хоть природа безумия будет очевидной. Никите надо отдать должное: он от политики отворачивается и редко смотрит теленовости (почти никогда), да и в газетах основную политическую текучку пропускает.

Настроение остается смутным, беспокойным. Политические

свободы в стране сохраняются, но сказать, что действует демократическая государственная система, невозможно. Как и прежде, человека тащит государство, только теперь — в капитализм.

3.3.92.

Сегодня должен был выйти четвертый номер нашего журнала. С моим диалогом («На дороге»), где разговаривают про жизнь А и Б, мои частицы. Не было ни чистых листов, ни сигнального номера. И когда выйдет и выйдет ли вообще — неизвестно.

Что-то подобное происходит в этом марте со многими изданиями. Новое государство не лучше старого. По-другому, но все та же тяжесть. Было подавление политикой, теперь — подавление деньгами.

Жизнь развернулась неожиданно, лишая — пока — душевной ясности и уверенности. А что будет сверх этого «пока»?

Мысль изреченная есть ложь. Что-то мешает писать (записывать) с полной отдачей. Ощущение бесполезности всего (и записей — тоже). Напрасность.

29.3.92.

Очередной перевод стрелок на час вперед. Третий. Ясный солнечный день. Впервые за весну собираемся с Томой пойти погулять на Ленинские горы. Надо бы написать — на Воробьевы, и раньше я, пожалуй, так бы и написал, но не сейчас, в пору мелочной и мелкой реставрации. Две недели назад, на 14 марта, ездили в Кострому — годовщина смерти Виктора. Была суббота, холодно, ветрено, утром хотел было дойти до центра города пешком, но пришлось садиться на троллейбус. В Доме книги (главная цель прогулки) торжествуют торгаши со своим дорогим заграничным барахлом, а книги — всего лишь ютятся. Зато через дорогу, под сводами Красных рядов, на газетках под магазинными витринами выложены сотни ходовых «коммерческих» книг, и возле них топчутся заезжие молодцы. И этак — метров на сто. Возле базара — тоже толпа торгашей, как в Москве теперь на Тверской (на улице Горького, кажется, было бы такое невозможно), — не протолкнешься... Дошел до «Пропагандиста», а там закрыто (никогда прежде по субботам книжные в Костроме не отдыхали), и сквозь витринное стекло видно: и тут книгам долго не жить — большая часть магазинного просторного пространства от них уже очищена.

На кладбище — сильный холодный ветер, отец Георгий (Эдельштейн) долго возжигал благовоние (так ли называю?), вращая энергично кадило, и бумажный (газетный) пепел

разлетался вокруг. Состояние природы подчиняло себе состояние души. Хорошо, что Анохину удалось сговориться с шофером маленького автобуса, и он за сколько-то бутылок водки довез нас до кладбища и оттуда к дому Ларисы. Посидели за столом, помянули Виктора, немного поговорили с отцом Георгием без той отчужденности, что была при знакомстве год назад. Были Документовы, Женя Радченко, Миша Салмов и еще многие. Из приезжих только мы да некто Лялин, московский экскурсовод, тихий человек, может быть, стихший после инсульта... Провожали нас на вокзал целой группой, туда же отец Георгий принес пакет со своими статьями...

От посещения Костромы осталось горькое чувство. Впервые я почувствовал, что отъезд наш случился вовремя и жалеть не нужно. Возможно, если бы мы продолжали там жить, то многое из того, что теперь лезло на глаза, просто бы не замечалось. Но ведь за эти пять лет сколько раз я приезжал-уезжал, и — тоже не замечалось, и только теперь — это обилие торгашей, толчея, мусор, носимый ветром по площади, крошащиеся фасады зданий, того же старого вокзала, — даже дрогнуло сердце... И здания, как люди, беззащитны и столь же за-брошенны... Впервые я подумал, что уехали вовремя. Никогда я так не думал, все жалел в глубине души, и жалел наперекор рассудку и здравому смыслу. И тут — впервые, и горько стало, и бессильно — от невозможности что-либо переменить, помочь, заступиться...

В журнале — та же смута, что и вокруг, что и со всеми. Надо уцелеть, удержаться и — сохранить лицо. Отношения с Н. Б. хорошие и, надеюсь, обоюдно искренние. Наименее приятное — взаимоотношения с А., но много чести описывать то, во что я всегда предпочитал не втягиваться (игра мелкого тщеславия, служебное мелкое интриганство и т. п.). Главная надежда — получить субсидию от правительства без каких-либо обязательств с нашей стороны (посредством В. О. и в расчете на доброе отношение П.[342] к Н. Б. и, возможно, ко мне). Иначе — журнал можно закрывать.

Жаль, что тираж мал и число читателей невелико. Иначе, смею думать, и мой текст в четвертом номере («На дороге») был бы замечен, а в нем — реакция на нашу угнетающую и тоже обессиливающую повседневность.

Господи, помоги всем нам все это перенесть и выжить, — не о журнале думаю сей момент — о нашей семье, о нас всех, о жизни, подвергаемой новой опале и испытанию.

31.3.92.

Тот сон в ночь на 19 августа, не помню, записал ли где?

Вроде было так: живу в атмосфере угрозы и ожидания, какой-то молвы, что ждет арест, и непременный. Но спастись можно, и для этого нужно написать прошение о поми-ловании или надо как-то объяснить, что я ни в чем не виноват, и действительно, чувства вины никакой нет, и в то же время нет в самой угрозе неожиданности, она — угроза — как бы заслуженна. Но я готов написать требуемое, осознавая это как формальность, — нужно от них отписаться, они этим удовольствуются, им нужен знак то ли сдачи, то ли послушания.

Я помню, что у меня есть чистые листы бумаги (я действительно взял в Марьино немного чистой бумаги: вдруг что-нибудь напишется), и я начинаю ее пере-бирать — и, о ужас! на каждой из страниц что-то уже написано (то есть вся моя бумага — исписана!). Не может быть, думаю я, я же брал чистые страницы, и, лихорадочно их перебирая, не нахожу ни одной неисписанной, и — просыпаюсь!

Прошение писать не на чем!

Более всего я хотел бы сейчас написать про жизнь в Костроме в 60 — 70-е годы. Может быть, про так называемое «поколение», а точнее — о восприятии этим поколением того, что происходит с нами сейчас.

Пригодилась бы та птица, что кричала в Марьино из лесу: «Какая чушь! Ка-кая, ка-кая! Какая чушь!»

Эти четыре слога-такта можно было бы наполнить каким-либо другим словесным смыслом, но я почему-то расслышал именно это. И хорошо наложилось — слова хорошо наложились на крик птицы и воспоследовавшую затем действительность.

По отношению к очень многим случившееся в октябре 17-го (начавшееся) было произволом.

То, что происходит сейчас, т. е. проводится как политика власти, является не меньшим произволом, так как распространяется на большинство.

Я даже думаю, что большевики были откровеннее (в лозунгах, например).

Нынешние — лживы и перевертыши, они боятся сказать прямо, куда ведут.

Ведут дрожащими ногами (были бы дрожащие руки — они даже человечнее — вот что думаю сейчас!).

6.4.92.

Сегодня — первый день Съезда народных депутатов России, и впечатления от его начала и каких-то клочков, донесшихся по радио, оставили на душе что-то тяжелое. С тем и домой пришел.

Заезжал к своим, а там — старость, все более беспомощная...

Оглядываюсь вокруг: как беззаботно, как счастливо жили в Костроме!

Были заботы и горести, да те ли?

Вечером по ТВ т. н. «Пресс-клуб». Смотрят короткие документальные ленты, потом рассуждают. Постоянный их автор — режиссер ТВ Комиссаров — снял фильм о любви и добре — такова была «тематика» вечера. В обсуждение по фразе-другой вставили Л. Сараскина, И. Ракша, З. Богуславская и другие интеллектуалы и знатоки вопроса. Я с трудом высидел и фильм (с позволения сказать), и дебаты, ради которых, впрочем, и терпел.

Фильм начинается с вопросов журналистки, молодой женщины, худому, истощенному (истасканному!) парню в очках, редактору некоего г/с журнала, и он рассуждает о политических деятелях (в виду Белого дома) с точки зрения их привлекательности. Идет т. н. «стёб», продолженный графоманскими и патологическими стишками некоего инженера (34-х лет), который мается от своего одиночества и неуспеха у женщин. Потом следуют приставания юных помощников режиссера к прохожим насчет их счастья и с призывом посадить дерево.

Хуже фильма могли быть только разговоры по его поводу. И они были, и дамы из литературной «элиты» сказали по одобрительной и — сверх того — почти восхищенной фразе. Они явно держали экзамен на широту взглядов и глубину знания вопроса. И были далеки от всякой естественности, а от тонкости вкуса и нравственной щепетильности — еще дальше, дальше далекого.

Я иногда представляю себе будущую жизнь в России, — если победят нынешние господа, — и я в ней не хочу быть и, к счастью, не буду.

Если б у меня, как у Людмилы Лядовой, этой музыкальной старухи (героини другого фильма — «про это», менее пошлого), не было детей, а были бы вместо детей — песни (статьи, книги и т. п.), то я был бы спокойнее. Но когда думаю о Володе и Никите, просто так сдавать эту «партию в штосс» не хочется[343]. Все еще не хочется проигрывать. (Не знаю, уместно ли здесь упоминание штосса — как у Пильняка. М. б., и некстати, тогда — все равно: главное — не сдавать партии (в шахматах, картах, политике, литературе, жизни).)

Иногда думаю: зачем пишу? Записываю зачем? Надо ли? Кому? Конечно, надеюсь. Конечно... Все-таки память, и, если российский мир не взорвется в какой-нибудь новой гражданской,

разрушительной, испепеляющей войне, — все-таки формирование памяти семьи, своей родословной... Раньше бы я думал и о чем-то другом: об издании, о какой-нибудь общей пользе, о важности свидетельства, — но теперь посреди этой бестолочи, этого «рывка к капитализму», — я понимаю: до этого никому нет дела. То есть — есть для таких же, как мы с Томой, но в целом — эта жизнь, отбрасываемая назад, еще долго не опомнится, ей еще долго будет не до нас. И будет ли когда — до нас? до нашей памяти? до нашей жизни? нашего удержавшегося идеализма?

Иногда чувствую, что то, что подразумеваю под идеализмом, так называю, — равняется вере, сходной с религиозной или же таковой, т. е. ею и является.

Я давно жалею, что был некогда втянут в обличение костромских священнослужителей. Не понимал, чего они — направляющие — хотели. Но понял все же, понял — и отказался (макарьевская история). Да и когда писал, профессиональные атеисты из «Правды» (был обзор печати, куда попала и «Северная правда») углядели, что статьи не против религии и церкви, но против порока, который проник за церковную ограду, в церковные пределы.

Но оправдание это дурное: не забудь — уполномоченный по делам церкви (а за его спиной КГБ) преследовал одну цель: закрыть еще сколько-то храмов — как можно больше. Осрамил батюшку через газету — вот и повод собрать «двадцатку», сказать: как же вы терпите, он же негодный... (А больше, дескать, прислать некого!) И не присылали — почему? Почему епархия не присылала? Или браковал уполномоченный? Или епархия, кто-то оттуда были в сговоре с полковником? (С бывшим полковником КГБ Кудрявцевым, ныне уполномоченным, с майором Поляшовым, — впрочем, майор — величина малая, он в командировки ездил, начальство не ездило, наблюдало из дома по улице Симановской, рядом с редакцией, там теперь музыкальное училище, оно и тогда было, но и для уполномоченного нашли две комнаты...)

19.4.92.

Опустошающая, всеохватывающая растерянность. Знакомое, прежнее ощущение: беспомощность, ничего от тебя не зависит. Раньше, когда много, почти непрерывно писал и все время что-то печатал, было легче. Я тогда часто говорил себе: кто-то же читает, в ком-то слово твое отзывается. И когда выступаешь, рассказываешь о литературе (а бывало это часто), то тоже в ком-то отзывается. Помнится, с Леоновичем рассуждали о благе одной только человеческой мягкой, неофициальной интонации. И тогда,

и особенно теперь все это легко счесть обыкновенной утешительной иллюзией, но именно рассудком понимаешь, что было что-то помимо иллюзий. Слабо, неглубоко, но слово влияло, что-то смещало в обычном представлении и, очень я надеялся, побуждало критически воспринимать происходящее. Теперь нет даже этих надежд и этих иллюзий. И не потому, что стал мало писать и не о литературе. Что-то же я пишу, и можно писать впрямую про что хочешь. И можно ходить на митинги и разные сборища-собрания, говорить речи, принимать резолюции. Но вот ничего этого не хочется, и ощущение беспомощности нарастает. Я пытаюсь это объяснить, но не могу. Или когда все говорят и кричат, хочется молчать. Или то, что говорят и кричат, страшно неприятно, и участвовать не хочется. Этот сильнейший несущийся политический поток стремится за-хватить и тащить всех. Тогда тоже был поток, сильный, неумолимый, но ровный, освоивший свое русло, и все его повадки за долгие годы были нами осво-ены. Ты мог шагнуть в него добровольно, и он бы тебя вынес на берега повыше и потверже. Но ты мог и сторониться его, и вообще смотреть на него со стороны. Нынешний поток неприятен хотя бы потому, что его образуют нечистые, мелкие, а то и подлые страсти. В нем несутся, размахивая сабельками, те же самые, что были на плаву и прежде. Они прекрасно чувствовали себя тогда и теперь — не хуже, не горше. Только вчера они строили социализм, теперь принялись строить капитализм. Какая-то новая, засасывающая воронка.

21.4.92.

Звонил Федор[344], съезд закончился, завтра — во Владимир. Говорит, что бывали минуты, когда чувствовал, что сходит с ума от нелепицы происходящего, от распала страстей. Еще сказал, что многое перестает воспринимать остро, — сказал: из-за возраста...

Печально. Я иногда думаю об этом — о скапливающейся усталости, нежелании участвовать в том и в этом. Вчера, смешно сказать, вздорили — именно так — из-за земельного вопроса (о частной собственности на землю). Теперь я вроде бы попадаю в консерваторы (якобы возрастное). Зато остальные, надо полагать, молодцы и прогрессисты. Эти марионетки, эти проснувшиеся, прекрасно приспособленные господа... Тот же Валя Оскоцкий, тот же Черниченко, Андрей Нуйкин... Я так не могу. И я не хочу нестись- в потоке. Смогли же не нестись в нем тогда. Не подпевать хору. Зачем же сейчас безголово орать вместе со всеми? Не хочу.

Добром эта сумятица, эта бестолочь, эта чушь — не кончится.

«Все проплевано, прособачено...» — поистине так.

Не хочется и записывать. Опротивели слова.

(Тот, кто уличает меня во мне, говорит опять: неточные слова, — и я соглашаюсь. Но, возможно, какие-то точные слова я знаю, а все равно — говорить их не хочется. Еще и потому, что все — напрасно.)

24.4.92.

Пасха. Вчера — и солнце, и снег порошил. Сегодня чуть теплее, но солнце лишь проглядывает. До половины второго слушали службу из Богоявлен-ского собора. Наш временный вождь, и полувожди, и не вожди вовсе — Руцкой, Попов, хасбулатовский зам. Филатов — поздравляли Алексия с праздником и целовались с ним по-светски, как обычно при встречах-разлуках, — троекратно. Лишь Зорькин, конституционный судья, подошел смиренно и поцеловал руку. (Фальшь сия велика есть... — это я про тех, кто отметился до него.) Получив от Алексия по коробочке с пасхальным яйцом, господа удалились, а операторы заскучавшие сосредоточились на Станкевиче, на его постной- неподвижной физиономии, отвечающей чину, но не празднику воскресения из мертвых и попрания смерти... Но все это надо признать несущественным, хотя и существующим в полную силу.

С утра, еще не встав, усмирял и примирял свою душу и ум, не позволяя им отвлекаться на суету и пошлость недели, на редакционные раздоры и неразрешенности (нет денег, и эта «Мария Ильинична» все мутит и мутит воду...).

Вроде бы усмирил и усмирился; хорошо бы, как вчера: прибрал квартиру, читал Конвицкого — приятный славянский роман — о его бабушке, т. е. о 70-х годах прошлого века: смесь польско-белорусско-литовской плюс русской и еврейской жизни с вкраплением сюжетов из века внука — со злобным лешим Шикльгрубером, полицейским исправником Джугашвили, историей семьи Ульяновых, — роман как скрещение исторических дорог и судеб, как вечное смешение, как вечный состав бытия — этого русско-польского, этой местности с ее родословной и прочим наследием, — этот горький, так до конца и не испитый наш славянский напиток: кто ни пьет — никому не сладок...

Из «Известий» вычитал: в Костроме некая Хапкова, 31-го года от роду, купила за 5,5 млн. рублей пивоваренный завод. Относительно природы ее капитала сказано: муж — предприниматель. Далее — о кознях трудового коллектива завода и его директора, а также о благородной роли нового областного начальства — бывшего первого секретаря шарьинского горкома

партии. Господи, стоило ли огород городить — прожить-промучиться 75 лет, — чтобы некая Хапкова могла купить — хапнуть — пивоваренный завод за неведомым путем полученные безумные — для честного человека — деньги![345]

Иногда чувствую, как разрастается вокруг чужой мир. И — если б не родные мне люди, если б, точнее, не семья — жить не стоило бы.

Какая разница, в какую сторону ломают живое — влево, вправо ли, — смысла не больше...

1.5.92.

Бывший праздник. Где-то на площадях демонстрируют, я поколебался, но не пошел. Лучше, рассудил, почитаю. Собственно, ничего нового — это в Костроме мы могли пойти на площадь в день Первого мая или Седьмого ноября. Здесь ходили только в студенческую пору, не сейчас же... Но интересно: как там? первомайская демонстрация теперь оппозиционная.

Нет, себя уже не переменить и новому типу российского человека, который объявлен новым спасителем и надежей Отечества, не уподобиться. Не смогу. Лацис сможет? — я за него рад, на здоровье. Он больше, чем я, ценит материальное, тем ему проще. Но если б все это касалось отдельных людей, — касается же всей жизни, ее устройства, каждой отдельной судьбы. Зависимость от государства меняют на зависимость от тех, кто владеет богатством. В сущности, ничтожная перемена.

Как мы выберемся из этого грязного омута?..

Ельцин потрясает сжатым кулаком. К какой борьбе он, дурак, зовет? К борьбе за то, чтобы толпа рабочих, стоящая перед ним, перешла в услужение какому-нибудь невесть откуда взявшемуся заводчику? Чтобы ее лишили бесплатного здравоохранения и образования?

Если б он сказал, что государственные здравоохранение и образование нищи и плохи, потому что деньги шли на оружие и содержание власти, и отныне будут богаты... Ну, тогда потрясай кулаком, потому что идешь против силы.

Жест обессмысленный.

Какая чушь! Какая, какая!.. — не зря кричала птица в Марьино.

3.5.92.

Прошлогоднюю весну, — нет, я принялся вспоминать весну 90-го года, а не прошлую, — я не заметил, как бы отсутствуя в ней или не участвуя в общей весне (были тогда в Волынском).

А вспомнил лишь потому, что подумал: сменилась за эти два

года целая эпоха, и смена эта уместилась в этой краткости времени и жизни.

Стоял у окна на кухне — оно без занавесок, широкое, свободное, — а там в один теплый вчерашний день воспрянувшие зазеленевшие деревья.

Я подумал о том, что то, чем занята голова, какое-то бесконечное переживание всего, не отдает меня весне, не отпускает, держит.

И вроде бы просто: вышел на улицу и пошел бесцельно, греясь в этом первом тепле и успокаиваясь зрением на этой траве и листве.

[Б. д.]

Не сходятся концы с концами: проходишь коридором до конца — там трусость. И эта личная философия заканчивается так, и та — этак. Обманываем себя. Других, разумеется, тоже.

Как коротко мы живем: то ли это наш воскресный день, то ли отпуск, но откуда мы отпущены, после чего воскрешены — после какого труда, какого ада, зачем?

10.5.92.

Вчера ездил к своим, гулял с отцом. Память только мгновенна, позади — какие-то смутные островки.

...Надо писать. Но что?.. Раньше помучаешься день-другой, и проясняется, но теперь день-другой — это крохи праздничных дней, только-только что-нибудь понять... Никогда не думал, что случится так: нет зарплаты за апрель и гонорара с четвертого номера, и когда будет, — и вот что еще, — будет ли? — неизвестно. Полторанин что-то темнит, а все остальное вообще темно. Вчера звонил Василь Быков. А Ю. Суровцев звонил, надеясь, что мы еще можем взять кого-то (т. е. его) на работу. Писать про все это скучно и как-то пошло.

16.5.92.

А жил ли я?

...Какой-то ответ, когда пришел из библиотеки Никита. Он есть, значит, я жил.

И жизнь моя из чего-то состояла?

Иногда — трудно поверить.

Лицо растолстевшего Гайдара <...>

Я с удивлением смотрю на это лицо.

В подготовке чего все-таки я косвенно соучаствовал, сидя за

большим овальным столом нашей редколлегии?

6.6.92.

Время — проносится; надо бы — уехать в деревню, в Шабаново, в Демидково, куда угодно — вот в Щелыково бы, да и в Кострому хорошо — приостановить этот бег, опустошающий, бессмысленный. Спускались сегодня с Томой к Москве-реке; на склоне, где старые деревья, тенисто и почти как в лесу, кричат, верещат, свистят и что-то бормочут птицы, и поверх всего, пробивая весь шум — своих собратьев, поезда метро на мосту, проносящейся «Ракеты» — соловей, сильный, зовущий, счастливый... Тогда ты думаешь, что настоящее — это когда спускаешься по тропинке в тишине деревьев и оглушительного грохота птичьих голосов... А ведь бродим, а политика преследует нас своей практической неотвязностью, потому что она отняла у нас уверенность и сократила возможности... Когда-нибудь я напишу, что думаю о них о всех — гайдарах, бурбулисах, ельциных и прочих, кто вознесся или присоединился...

Опять к всеобщему благу — через насилие. Ничего нового. Одно и то же, только разные слова, разная идеологическая упаковка.

8.6.92.

Из вечерних «Вестей» узнали, что президент России, в Нижнем Тагиле будучи, обещал народу по возвращении в Москву немедленно отправить уральцам самолетом 20 миллионов рублей на зарплату. С неделю назад он обещал самолет с миллионами в Бурятии. Истинно — Отец нации и трудовых масс.

Записывать подобное — тоска смертная. Из абсурда — в абсурд, — вот эволюция нашего отечества за последние год-два. Могучий демократический интеллигентский хор наконец-то смолкает. Осанна демократии кончилась, огля-делись: где она? Прокричали всю Манежную площадь, клочья слов облепили гостиницу «Москва», прилипли к стенам Исторического музея и Кремля, к крыше Манежа, — и что толку? Вспоминаю, как объявляют, что у микрофона Валентин Оскоцкий, и он грозится госбезопасности и еще что-то обличает. А забыть ли, как руководил скандированием толпы Бурбулис, как раскачивал ее и организовывал, по слогам выкрикивая и повторяя: «Сво-бо-да! Сво-бо-да!» (Таким же образом единым криком кричали: «Долой! Позор! В отставку!» Менялись только имена.) Почему-то мне было неприятно и на площади, и на писательских пленумах, и по телевидению наблюдать, как ораторствовали иные знакомые люди. Они делали вид, что эта их деятельность продолжает предыдущую, а для меня эти половинки не совмещались. Но это неинтересный предмет: осуждение кого-либо. Во всех этих сборищах я слышал хор, и следовать его воле не хотелось. Вот я сейчас пишу про это, но нехотя, потому что что-то во всем этом кажется мне само собой разумеющимся: в том же моем восприятии послеавгустовского торжества демократии. До — я еще на что-то надеялся и голосовал вместе с большинством, но очень быстро я понял, как убога предлагаемая нам демократия, как примитивно поставлена задача реставрации капиталистического миропорядка. В сегодняшнем мире я чувствую себя отвратительно: деньги объявлены центром и осью нового мира. Вся система — скажем по-казенному — ценностей, которую впитали, несли в себе, постарались передать сыновьям, объявлена новыми велеречивыми идеологами — все вокруг заполнено их настойчивыми агрессивными голосами — напрасной, несостоятельной, наивной. Бог им судья.

Многие, наверное, поняли теперь, что было пережито в России в семнадцатом — восемнадцатом годах: тогда гнули страну в одну сторону, теперь — в противоположную. Если б эта страна была где-то в стороне, а мы бы все сидели и смотрели: вот построят новый дом затейники-кудесники, и мы все вселимся и

будем жить, да куда там — это все из нас строят, из живого человеческого материала, из наших судеб и нашего времени, наших уходящих лет. От того, что я знал Гайдара, работал вместе с ним, то есть близко наблюдал, все предприятие, во главе которого он поставлен, кажется мне какой-то умственной, теоретической затеей: вот приняли на редколлегии его, Гайдарову, статью, и теперь вот печатаем, да не в журнале, а — по живому, впечатываем в тело, плоть России.

9.6.92.

День бесцветный: правил статьи, ждали звонка из Фонда Горбачева. Редакция без зарплаты два месяца и девять дней. Горбачев в четверг обещал Биккенину при встрече выделить сначала два, а потом еще два миллиона для издания нашего журнала. В пятницу я отвозил Черняеву нашу просьбу, на которую Горбачев обещал наложить резолюцию не позднее понедельника. Прошел вторник, а воз и ныне там. Признаться, я надеялся на поддержку со стороны Полторанина. Осенью он обещал ее Биккенину, показывая дружеское расположение и к нему, и ко мне. Теперь же он никак не отреагировал на звонок от Биккенина по «домашнему» телефону в его служебный кабинет (в который из трех? по трем вертушкам добиться его было невозможно). И странно, странно и неприятно, и чувствуешь себя обманутым. Мы не собирались угождать правительству, но и какие-либо нападки на него были исключены. Были бы объективны, — разве этого мало? Боюсь, как бы выходцы из нашего журнала — теперешнее окружение Гайдара — не настучали на нас, обнаружив нашу недостаточную лояльность. Окружение же из наших таково: Николай Головнин, Алексей Улюкаев (давно ли приносил мне почитать черновики своих статей для «МН» и свои стихи?), Сергей Колесников (давно ли, обслуживая Ивана Т. Фролова и Горбачева, через Фролова — боролся с Ельциным и «демократами»?), Евгений Шашков. Жаль всех в нашей редакции, кто поверил в возможности Биккенина и в какой-то мере мои и преданно служит журналу до конца... Что-то давно я не покупал книг, выбрал за это время со сберкнижки тысяч шесть, а книги дорогие, и все уходит на еду. Надеюсь все ж таки что-то получить и, может быть, успею купить третий том Фернана Броделя (рублей 117), воспоминания дочери Вячеслава Иванова (40 рублей) и, может быть, Токвиля (что-то за семьдесят). Нарочно записываю цены, чтобы не забыть. В последние дни — с шестого июня — объявлены свободные цены на хлеб, молоко и т. п. Давно полузабыты хлебные цены: батоны по 13, 18, 25 копеек и черный хлеб по 9 копеек. Теперь батоны по 12 рублей и черный хлеб

дороже 4 рублей.

Давно уже не ездим в столовую (говорят, обеды там в пределах тридцати рублей и больше), пьем чай с бутербродами.

Скучная, господа, материя!

Храбрый педантичный Гайдар с голубоватыми висками (близко сосуды) и тиком и вдруг останавливающимся, отключенным взглядом. В этот миг мне всегда хотелось отвести глаза. Но в нем быстро опять что-то включалось, и он продолжал говорить.

Правильный, расчетливый, равномерный Лацис с его неспешной, переваливающейся, медвежьей — по фамилии — походкой, дотошный в своих рассуждениях и рассказах и — хорошо знающий и отстаивающий свой интерес. Вот он его и отстоял, вовремя уйдя в «Известия» и выбрав там проправительственный курс, а я вот сижу теперь за его столом и трачу время на то, без чего вполне бы мог обойтись. И вся моя беда, что чувство товарищества и протеста взяло верх над всем прочим.

Какая скучнейшая, пошлейшая материя, бывшие товарищи! Александр Николаевич сказал, что только слоны не меняют своих убеждений, а вот люди должны меняться. Слону, думаю я, нельзя менять своих убеждений — иначе он не выживет, погибнет. Пораженно смотрю я на многих нынешних деятелей демократии: они прозрели в пятьдесят пять, в шестьдесят лет, и я мысленно спрашиваю их: а где были ваши геройские головы раньше? Или вы не прозревали потому, что вам и так было вполне хорошо, и вы немало делали для того, чтобы соответствовать правилам жизни, которые резвее всех проклинаете сегодня. Разница между такими, как вы, и такими, к примеру, как я, — что вы делали карьеру, лезли наверх по партийным и прочим лестницам, а я и такие, как я, никуда не лезли и не ценили ни этого верха, ни карьеры, ни жизненных благ, даруемых там, наверху. Это не пустая разница, и потому наше прозрение датируется не 87-м, не 89-м, не 91-м годом, а 53-м и 56-м, и все, что следует дальше, мы додумали сами, как и полагается медленным и упрямым слонам, неохотно сворачивающим с избранного пути...

Я пишу неловко, словно что-то преодолевая — сопротивление этих клавиш, слишком твердых после электрической машинки, или самих пальцев, в которых недостает силы (помнишь Богомолова: силы Вам в руку!), или что-то — вот самое главное — в состоянии духа. Несколько месяцев назад я бы написал: растерянного духа, но теперь дело временами обстоит хуже: духа отчаявшегося, почти готов сказать я. Но и отвердевшего в этом отчаянии. Ни с теми я и ни с другими: ни с «демократами»

властвующими, ни с патриотами антисемитствующими, ни с коммунистами, зовущими за черту 85-го года, ни с теми, кто предал рядовых членов этой несчастной, обманутой, запутавшейся партии... Где-то же есть еще путь, да не один, убереги меня Бог от пути толпы... Очень часто вспоминаю Кострому, свой стол, расположение книжных полок, стопы книг по краям стола и машинку между ними, как в ущелье... И полная сосредоточенность на писанье, на обдумывании происходящего вокруг и в литературе... Что-то побочное вторгалось и существовало всегда (время от времени возобновляющийся мотив переезда в Москву, очень настойчивый после появления Залыгина в «Новом мире»; беспокойство за родных и близких, потом окончание Никитой школы и все ему предстоящее — да и мало ли что еще!), и все-таки разве сравнить с моим нынешним положением посреди московской и политической суеты, посреди этой вдруг обезлюдевшей, обессилевшей литературы, посреди московских человеческих множеств... Господи, прости нас, спаси и помилуй!.. Человек так мал, так утл, но как много всего впитывает он за свою жизнь и все несет это в себе и несет, и это какой-то непостижимо огромный объем жизни, которую непередаваемо жаль, и кажется недопустимым, чтобы ушло вместе с человеком, словно не было никогда. Вот это «словно не было никогда» ужасает, хотя и в этом достаточно точном слове есть слабость преувеличения, потому что преувеличивается трагедия отдельного, одно-го человека, — ведь в том утешение, и новый ужас, и новое примирение, и всё новые и новые круги ужаса и примирения, потому что это касается большинства и даже всех, поскольку оговорка насчет большинства связана с теми, кто наделен художническим даром и вообще способностью хоть к какой-то материализации, реконструкции прожитого, но все равно не забыть, что соперничать с явью, с ее живой полнотой, с целостностью вовлеченного в жизнь мира невозможно, — победы не одержать, остаются — фрагменты, куски, обрывки, конспекты, мгновенья счастья и родства, проблески молнии, выхватывающей нас из тьмы совсем-совсем ненадолго... Какая скучнейшая материя, господа, ваше строительство некоего рынка, его сияющие вершины уже видать кому-то наверху, почему-то отныне все должны рождаться торгашами, предпринимателями, еще кем-то вроде брокеров и биржевиков, но слава Богу, мы-то от этого дела уволены навсегда, нас минует эта сладкая чаша купли-продажи всего на свете, и в нашей памяти ничего этого не будет, и я, если повезет, еще вспомню что-нибудь совсем безденежное, безрыночное, бездельное и, разумеется, совсем бедное, пешее, тихое, далекое, что-нибудь совсем простое: широкие половицы в

горнице шабановского дома, герань на окне, ночные вздохи овец под теми половицами. <…>

21.6.92.

Первую половину дня проездил к своим. Ходил в магазины, гуляли с отцом, сидели на скамейке на бульваре Карбышева. <…> На бульваре неподалеку от винного магазина на скамеечках всегда подвыпившая, безобразного вида публика: и мужчины, и женщины. Никакие цены не останавливают. Какое-то время назад одним из признаков патриотизма было осуждение пьянства как результата намеренного организованного спаивания русского народа. Но и эта волна схлынула, идея как бы свое отработала, есть поактуальнее, позабористее, они-то теперь и в ходу, а та антиалкогольная как бы отложена и когда-нибудь пойдет опять в ход: ельцинское правительство фактически отменило государственную монополию на продажу спиртоводочных изделий и вина. Сейчас — до того ли? Завтра опять сборище в Останкино, и, вполне вероятно, будут столкновения, т. к. митинг пока не разрешен. Но, думаю, московская власть опять отступит (разрешит), и толпа попробует достичь большего, чем в прошлый раз (попробует ворваться). Уже в открытую говорят о возможности вооруженного свержения Ельцина, если не получится конституционным путем. Но откровенная непрочность власти, ее слабая организованность действуют, я думаю, провоцирующе. Власть смирилась с тем, что пишут «День» и газеты этого же толка, и то, что молчаливо сносятся все оскорбления главы государства, говорит лишь о растерянности и немощи власти. Народ, общество начинают чувствовать, что над ними совершается новое насилие, что у них отбирают лучшее из того, что было достигнуто, а худшее продолжает воспроизводиться в едва обновленных, а то и наглых формах. Кроме того, становится очевидным, что т. н. реформы оказались для большинства народа не-ожиданностью, всех этих нововведений не было в предвыборных программах, на них не было получено народного согласия. Недаром изрядно поднадоевшие демократические голоса — благозвучные тенора интеллигенции — смолкли. Что-то не так — они почувствовали. Ельцин в последнее время предстал во всей красе: его обличения коммунистического идола (в американской речи перед конгрессом), заверения, что он мертв, были отвратительны и по сути, и по языку, и по интонации, и по мимике. Боже, мне лень воспроизводить общедоступные и самоочевидные доводы против этого энтузиазма предателя, против этого героического речитатива политического оборотня и пошляка. На языке улицы ему следовало бы получить что-нибудь

вроде того: «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала». В «прозрении» партийных функционеров, прослуживших на высоких постах в аппарате по двадцать и тридцать лет, есть что-то удивительное и фальшивое. У людей моего поколения были шансы прозреть: и в 53 — 62, и в 68-м, но эти господа почему-то тогда прозревать не захотели: они с успехом делали карьеру в комсомоле, в партии, кончали Академию общественных наук, якобы все понимали и с энтузиазмом поднимались все выше и жили, ели и пили все слаще. Что же такое произошло, что они прозрели? Всю запрещенную литературу они читали своевременно, потому что ее издавали для служебного пользования. А если и не издавали, они все равно имели к ней доступ «по работе», и таиться, читая «Архипелаг», им было не нужно. Кравчук объявил, что он узнал о голоде на Украине три года назад — из новых источников. И он хочет, чтобы ему верили? Этот хоть делает вид, что не знал. А московские деятели даже не думают объяснять, что же так поздно прорезалось их передовое зрение. Какую такую новую литературу, какие такие новые документы прочел тот же Александр Николаевич Яковлев, чтобы прозревать столь поспешно, как он это сделал в конце прошлого года? Заметил ли он, что стал похож на Ельцина, то есть на примитивного борца против коммунизма, снабженного текстами не самых одаренных помощников? (Мне не приходит в голову доказывать правоту коммунистического учения, хотя и со счетов действи-тельно разумные головы его не сбросят как некую чушь, как умственный мусор. Но и «свергать» т. н. «коммунистическую идею», угождая настроениям какого-то числа громкокипящих сограждан, получивших власть, отвратительно. Я в таких делах не участник, и не ум, не логика меня не пускают, а элементарное чувство, предостерегающее против чего-то грязного, непорядочного.)

24.6.92.

С сегодняшнего дня метро, автобус, троллейбус — один рубль. Очередной скачок в два раза. Еду на эскалаторе, по радио объявляют, а я и не знал. Те, кто купил проездные на месяц, выгадали. Публика выслушивает объявление молча. Пора удивления прошла. Вот и мы в редакции не удивляемся, уже три месяца без нескольких дней не получая зарплату. Сегодня Антипов ездил в Фонд Горбачева; опять ничего не решилось, и надо ждать завтрашнего дня, когда соберется исполком Фонда, решит... Все это становится унизительным. Как бы то, что началось предательством, предательством не закончилось бы. Забившись под крышу Фонда, эти господа боятся, что мы их

потесним? Но нам не нужна их крыша, мы вообще не просители, а они не благодетели. Если приглядеться и припомнить, мы в журнале, да и лично держались не хуже, а, пожалуй, нередко и лучше этой компании, кочующей вслед и вместе со своим хозяином из Цека в аппарат Президентского совета, а оттуда — в Фонд. Неизвестно одно: куда потом, если Ельцин и иже с ним начнут срывать зло и искать козла отпущения. Возможны и другие варианты, ничуть не более приятные. Мне пока не нравится, как развертывается наш контакт с Фондом; но я сказал себе: вот выбе-ремся из этого финансового тупика — и при первой возможности, если особенно вздумается кому-нибудь нами командовать, — в сторону! Конечно, втянуться в прежнюю литературную работу будет трудновато, но, надеюсь, возможно, тем более что писать хочется и сила в руке не пропала. <…>

События последних дней тревожны и удручающи. Убивают людей почем зря в Южной Осетии, в Нагорном Карабахе и Азербайджане, в Молдавии. Толпы критиков правительства, соединенные силы патриотов-антисемитов, националистов, коммунистов сталинской выучки и сторонников РКП осаждали Останкино и вступали в рукопашную с милицией и омоновцами. 22 июня должен был проходить митинг ветеранов войны на Манежной площади, организованный властями. Я пришел туда к пяти часам (оказалось, раньше времени) и наблюдал необычайное скопление милиции во всех дворах и щелях на подступах к Манежной. Университетские дворы голубели от милицейской формы. А сколько было нагнано автобусов и автомашин с тем же голубеющим содержимым. Боятся, подумал я. Боялся и Горбачев, но эти боятся больше. Только что по ТВ сказали, что в этом году численность внутренних войск возрастет на 43 тысячи человек, а в будущем — еще на 50.

Ельцин не вызывает у меня больше никаких надежд. Когда-то мне даже начало казаться, что он чему-то обучился и поумнел. Теперь я думаю, что он слишком мал и мелок для этой страны. Хотел написать: этой великой. Буду считать, что — написал.

Никто не знает, что будет дальше, но этак можно втащить страну в гражданскую войну, в войну против собственного правительства да еще между собой за чистоту каких-нибудь и торжество очередных безумных идей. Раскачивается старая ненависть и старая злоба.

Наверное, Т. права: я плохо разбираюсь в людях, я всегда надеюсь на лучшее в них и отстраняю худшее. В ином свете вижу теперь и Гайдара, и Улюкаева, а про Колесникова и говорить нечего. С разочарованием поглядываю по ТВ на Полторанина и Бурбулиса. И они ведь мне при знакомстве показались здравыми

и увлеченными, серьезными людьми. Правда, потом множество раз слышал про «минные поля» в политике (Бурбулис) и воспринимаю теперь это как очередную ходко пошедшую пошлость.

25.6.92.

Из Фонда весть: приняли решение перевести для нашего журнала три с половиной миллиона рублей. Ну дай-то Бог, чтобы так и исполнилось. Хоть люди воспрянут и займутся журналом всерьез, да и я буду ходить по книжным магазинам по-старому... Так и хочется продолжить: ...ни в чем себе не отказывая, но будет неправда: отказывая. Цены всё неподъемнее, и книг хороших все меньше. Вчера Никита купил третий том Фернана Броделя («Время мира») на деньги (106 руб.), которые дал ему Володя, услышав наш с Никитой разговор об отложенной — из-за нехватки денег — этой книжной покупке.

Но не буду загадывать. Возможности волокиты бесконечны. Улита едет, когда-то будет.

Ехал в метро и стал думать, почему в молодости выбрал именно эту профессию — журналистику. И сложилась и назойливо повторялась фраза вроде этой: выбрал профессию — чувством, честолюбием, умом, но — не по характеру и сколько из-за того в первые годы принял мучений... Как же я не любил ходить по райкомовским и прочим кабинетам, «являться по начальству» и вообще разговаривать с секретарями, председателями, директорами... То-то я и походил пешком по костромским сельским дорогам — до тридцати километров за раз проходил с утра, чтобы попасть посредине дня в какой-нибудь дальний леспромхоз или совхоз... Так было в Чухломском районе, когда шел в Введенское...

Три вечера потратил, составляя библиографию своих костромских газетных сочинений о кино, театре, литературе и т. д. Набралось более двухсот названий, но всё отыскать пока не сумел. Может, под настроение составлю библиографию и всех прочих моих писаний. Все-таки любопытно, много ли наработал, да и вспоминаешь разное, когда перебираешь старые газеты и вырезки...

На прошлой неделе ходил к Игорю Саркисяну в больницу[346]. Не виделись мы лет двадцать пять, не меньше. Теперь посещать больных просто: входишь с улицы и идешь себе куда надо, без всяких там халатов белых, без какого у кого-нибудь спроса, да и часов посещения ныне нет: пришел — иди и неси что хочешь. Поднялся и я на лифте на указанный шестой этаж, заглянул в четвертую, названную, палату, обнаружил там блок из двух

двухместных комнат, где никаких больных не было. Правда, в одной из комнат лежал на кровати, поджав ноги и закутав голову вафельным полотенцем, какой-то, как теперь все говорят, дюжий мужик, и ничего от Саркисяна в нем я не обнаружил. В некоторой растерянности я вышел в коридор, спросил у проходившей мимо медсестры, не знает ли она, в какой палате Саркисян, но она такого больного не знала... Потоптавшись и рассудив, что других четвертых палат в этом, 11-м терапевтическом, отделении быть не может, я опять заглянул в палату, где правая из комнат по-прежнему была пуста, а лежавший с полотенцем на голове мужик на этот раз повернулся на скрип двери... То и был Саркисян — под капельницей. Оказалось, что у него астма и ночью прошедшей ему было плохо. Приходили и уходили сестры, доливали раствора, звали на обед, спрашивали про самочувствие, приходил и уходил и присаживался на свою койку Игорев сосед — сельский житель из Ступина, то ли зам. директора совхоза (племенного, свиноводческого), то ли какой-то другой совхозный начальник, но из простых... Вот он-то был действительно дюжий и более того — богатырь, широколицый, высокий, выше средней упитанности, и невозможно было бы догадаться, что он после инсульта... А Игорь, отлежав капельницу и проговорив со мной час с лишком, пока тут ходили-уходили, собрался меня проводить и пошел умыться... Вернулся взлохмаченный, мокрый, стал вытираться, и увидел я уже другого Игоря, 60-летнего, подумать страшно, с другими, не с теми, лежащими, глазами, полуприкрытыми, а какими-то большими и светлыми — от прошлого, то есть выцветшими от жизни, и сильно сдавшего в теле, исхудавшего, словно сжавшегося, усохшего, как всегда случается с пьющими... Он был возбужден и много рассказывал, и говорилось нам легко, и мы не выясняли, разделяет ли нас что.

27.6.92.

Звонил Бакланов. То ли скучно было, то ли прознал про наши отношения с Фондом Горбачева, ну а может быть, и в самом деле решил напомнить бывшему своему автору, что его не прочь напечатать. Я же под настроение — после очередного выпуска теленовостей — решил прояснить ему свое отношение к новым властям и к «новой эпохе». Может быть, подействовало и то, что смотрели фильм Занусси «Семейная жизнь» (1971), и я потом сказал Томе, что фильм напомнил мне о моей принадлежности другому времени, другому искусству, и это торговое хищное время, когда торжествуют нелучшие люди, мне чуждо. Да, разумеется, власть и прежде принадлежала нелучшим людям, но

они пытались взывать к лучшему в человеке и по крайней мере делали вид, что на это лучшее надеются. Благодаря этому и наперекор замечаемой фальши множество людей было нравственно ориентировано; и хамство, хищничество, воровство, жадное обогащение и т. п. вынуждены были маскироваться и таиться. Теперь первой общественной и человеческой ценностью объявлена способность к личному обогащению, и этой целью освящены все методы и пути ее достижения.

Стало очевидно, что новая социальная среда почти автоматически вырабатывает, наращивает аморализм и преступность. Честным людям в этой среде тяжело, она не для них.

Теленовости сообщают о все новых и новых убитых и раненых в Южной Осетии, Приднестровье, сегодня — Таджикистане (1000 убитых!), в Нагорном Карабахе. Сегодня рылся в старых газетах, наткнулся на «Известия», где огром-ные фотографии, траурные рамки, кричащие заголовки несут весть о трех погибших в августовские дни прошлого года. Я еще тогда говорил, что из этих трех смертей извлечена максимальная политиче-ская выгода и прибыль. Сколько было произнесено высоких слов, и сколько прозвучало проклятий врагам демократии. Интеллигенция уже почти привычно играла тогда ведущую праведную роль. Совсем недавно в какой-то газете мелькнул снимок той поры: Ростропович с автоматом и рядом привалился толстый малый, тоже защитник Белого дома. С тех пор убиты тысячи армян, азербайджанцев, русских-, молдаван, таджиков. Никто не знает точно, сколько, и никто, никакие средства массовой информации, не уточняют и не стремятся уточнить, сколько же. Но счет идет уже не на сотни, это точно, и округленность, противоречивость цифр свидетельствует о знакомом: до трех, или тридцати, или трина-дцати считать еще умеют, дальше — сбиваются, и острота переживания пропадает, и наши витии, ведущие наши демократы, замолкают. Или те люди погибают в результате не тех конфликтов, не с той политической расстановкой сил, и не вполне ясно, кого жалеть и надо ли жалеть вообще? Беда и огромное разочарование в том, что становится все виднее отвратительная роль политиков и их идеологов во всех теперешних конфликтах. Это они раздувают пламя ненависти и с помощью вооруженных небольших отрядов берутся определять судьбы многих тысяч крестьян и рабочих, женщин, детей и стариков. Роль большинства народа, как всегда, — роль страдательная, пассивная. Что-то не слышно о гибели хоть кого из тех, кто направляет это взаимное брато-убийство. А вот о гибели простых трудовых людей сообщают непрерывно, и это не

чьи-нибудь, а их дома и сады уничтожают снарядами, бомбами и ракетами. Ничего нового. Абсолютно. Новая глупость очередная в новом свете, и хотят убедить нас, что все это безумие неизбежно. Или в самом деле человек столь несовершенен, что его нужно удерживать в твердых рамках несвободы, и тогда по крайней мере не будет литься кровь тысяч, или же мы вступили в сферу какой-то первобытной свободы, которая может стать действительной свободой только при решительных и твердых действиях разумной власти, беспощадно карающей, прерывающей эту первобытность. Множество возникает вопросов, и один из них таков: или это неуправляемость и произвол, превращенные в синонимы свободы, или свобода возможна только тогда, когда жестко поставлена в рамки несвободы, и рамки эти непреодолимы. Переход через них должен осознаваться как разрешение смерти бесчинствовать... Общество должно ответить самому себе: сколько жизней оно готово отдать т. н. свободе?

11.7.92.

Три дня назад получили зарплату за три месяца за счет горбачевского Фонда, увеличив ее всем сотрудникам с апреля приблизительно на тысячу рублей. Таким образом, я получил более четырнадцати тысяч — сумму, которую не мог заработать, то есть точнее — скопить за десятилетие каждодневной литературной работы. Я сравниваю только цифры, показывающие, как обесценены деньги, особенно те, что люди собрали за долгие годы. <...> Теперь эти старые деньги уравнены с безумными деньгами новых цен, зарплат и пенсий.

Позавчера Н. Б. попал на прием к Гайдару, ныне занимающему кабинет Горбачева на Старой площади. Встретил Гайдар нашего Н. Б. приветливо, но разговор, как я понимаю, <был> очень короткий, от делового сюжета не уклонялся: наша «жилищная» проблема, просьба пересмотреть договор с т. н. Дворянским собранием. Ни шага в сторону. Поручение — «проследить» (за выполнением резолюции) — было отдано при Н. Б. Колесникову. На том и расстались, однако Н. Б. сумел сказать Гайдару приятное, заметив, что никогда не сомневался в способности Гайдара остаться самим собой на любом посту высоком.

Написал (и уже прошли редколлегию) заметки о книге О. Меньшикова «Письма к ближним», изданной Воениздатом[347]. Вчера ходили с Томой на день рождения к Хлевнюку (33 года); были еще Антиповы. А накануне были на 70-летии у Олега Алексеевича. Все его родственное окружение нам почти не знакомо. Молодежь хорошо пила: сначала немецкий спирт,

разведенный с клюквой, потом американскую водку из двухлитровой красивой бутыли. Подобными бутылями и бутылками разнообразной формы и яркими наклейками уставлены все «коммерческие» ларьки и магазинчики. Старшее поколение - сверстники Олега Алексеевича — были много умереннее, и настроение у них было много печальнее — не по причине недопития, разумеется, а в связи с переживаниями политического момента, воспринимаемого ими как ужасающий крах всей прежней жизни, ее полное наглое обессмысливание, как ее предательство. Один из стариков (не знаю, чем он занимался, но, судя по разговорам, за границей жил и английский знает) сказал, что пойдет к Анпилову, встанет на учет в райкоме РКП и будет платить взносы. Предлагал мне записать телефоны «Трудовой Москвы», я отговорился, сказав, что в редакции эти телефоны есть. Странное, трудно объяснимое у меня положение: и ни с теми, и ни с этими, а те, с кем мог бы быть, не объединены, рассеяны. Одно повторяешь: этого мы (если угодно — я) не хотели...

В вагоне метро рядом со мной сел высокий седой старик с палкой и с широкой колодкой орденских лент на пиджаке, — вида интеллигентного, а может, и военного, офицерского. Был он чуть навеселе и несколько раз поворачивался ко мне, как бы рассматривая, я-то — какого поколения. Мои седые длинные волосы, вероятно, убедили его, что я немного до него недотягиваю, и он вдруг, повернувшись ко мне в очередной раз, сказал: «Мы, старые большевики...» Я что-то не очень ловкое проговорил ему в ответ — успокаивающее (реагируя на его жест, показывающий, что дела «старых большевиков» плохи), на что он мне ответил движением большого и указательного пальцев — обозначением денег, которых, надо было понимать так, мало или нет... А потом, указывая на дебелых девиц в кратчайших юбках и с мощными ногами, сказал: «Будь мой дед живым, он бы их такой вот палкой...» — и, взмахнув, чуть было не достал этих девиц своей клюкой...

Заходил Негорюхин: ездит по делам своего кооператива, к начальству: насколько я понимаю, скупают у мастеров — «народных умельцев» — их вещи, поделки «на корню», а потом продают через свои или еще чьи-то магазины. Рассказывал, что Корнилов и Ю. Лебедев, вернувшись со съезда, убеждали (было писательское собрание), что съезд прошел прекрасно, с большой пользой[348]. Корнилов опять в переписке с Ю. Бондаревым, и, я думаю, соревнуются в проклятиях Горбачеву и т. д. Я расспросил насчет мадам Хапковой, приобретшей костромской пивной завод.

Оказывается, и она, и ее муж (люди за тридцать) работали в подсобном хозяйстве завода «Рабочий металлист» и якобы чуть ли не завод дал им эти миллионы (по-моему, «Известия» писали о 5,5 млн. руб.). Теперь завод принадлежит Хапковым, и мадам повысила трудящимся зарплату, и все довольны. (Очень просто сделать всех довольными.) А недавно театр (режиссер — некто Константинов, мне не знакомый) поставил «Яму» Куприна, и премьера была откуплена пивзаводом. В партере убрали кресла, поставили столики, накрыли каким-то угощеньем — не на деньги, естественно, театра — и начали спектакль. К чести публики, есть-пить и глазеть на сцену она не сумела и, чинно развернув стулья поудобнее, досмотрела с полным приличием спектакль до конца. Ну а потом, как водится, пили, гуляли до предела. (Уж не знаю, как веселились в бельэтаже, в ложах и на ярусах. Хотя при желании и благосклонности администрации пить-гулять можно всем этим старым театральным залом, снизу доверху, от гардероба до кулис...)

Читаю дневники И. И. Шитца (март 1928 — август 1931), изданные в прошлом году в Париже. А обнаружены в бумагах Мазона в 1986 году (похожая история с дневником Ю. В. Готье в «Вопросах истории»): каким-то образом был вывезен из страны. Выходит, обнаруженных (60 — 70 лет спустя!) дневников и записок повременных мало, а о нашем времени много ли будет? Разве что через лет двадцать откроется. Вроде самое подходящее время — пиши, никто не приглядывает, не нависает за спиной... Но пишут ли? — хотя одна хроника цен какая бы вышла впечатляющая...

23.8.92.

Перечитал некоторые записи — повспоминал... Вчера и сегодня — в субботу и воскресенье — готовил для журнала статью М. С. — т. е. соединял в статью три разговорных текста: два интервью и пресс-конференцию. Опять ничего не писал — для себя, как прежде.

На днях звонил Залыгин, заезжал к нему в «Новый мир» — старая песня: приходите к нам работать. А зачем — в такие-то трудные для журналистики времена? Да и коллектив совсем новый. Зачем это нужно? Время упущено — или им, или мной.

Им.

Надо возвращаться к писанию. М. б., что-нибудь я еще и смогу сказать ко времени.

27.8.92.

Рассказывал Андрей Турков: когда построили театр Красной

Армии, то знакомый актер водил его по ярусам и коридорам, а потом сказал: все равно, Андрюша, здесь есть комнаты, где не ступала нога человека. (Столь запутана была планировка здания.) <…>

Было дело: посмеивался — включи телевизор, а там что ни проповедник демократии или патриотизма, непременно — про духовность, про возрождение. А теперь, как ни включишь, обязательно — про деньги, про миллионы, про шикарные автомобили и т. д.

Мне рассказали, что незадолго до смерти Маргарита Алигер говорила: я чувствую, что меня нет и будто я не жила.

О чем это она пыталась сказать? О жизни, которая уходила и теперь казалась призрачной? Об ощущениях старости?

Я думаю, она пыталась сказать о новом насилии над — не только ее — общей жизнью. Над жизнью ее поколения. И других поколений.

Человек, рассказавший мне об Алигер, принадлежал к другому поколению — помоложе, но фронтовому. Он повторил ее слова, словно говорил о себе-.

Я постарался не смотреть в этот момент в его глаза. Потому что в тот миг во мне тоже что-то дрогнуло. Я был еще моложе — из поколения тех, кто во время войны был мальчиком-школьником. Я еще не готов сказать эти слова о себе, но я чувствую, как силы, возобладавшие в повседневной жизни, к ним подталкивают.

Мы-то дожили, но отчего радость, которая перехватывала горло, все чаще меркнет и подступает тревога? Или не та свобода? Или тревога напрасна? <…>

[Б. д.]

Больное, отмирающее сознание, — что с него взять! А может быть, в самом деле она была никакой поэтессой и это ей запоздало открылось? Да и мало ли кто и что говорит в минуту огорчения или дурного самочувствия? Так что и статью начинать со случайных слов малоизвестного и малоавторитетного человека (какой-то зажившейся на белом свете старухи, не депутата, не властительницы дум, не активистки какой-нибудь симпатичной партии) в высшей степени неосмотри-тельно и даже нелепо. Но, может быть, я хочу этой нелепости, я распространяю ее, потому что другие — лепые, рассудительные, логически-твердые, уверенные голоса политиков, политологов и других златоустов, опостылевших комментаторов бытия, — мы слышим во множестве, и, признаться, им не мешало бы помолчать, и тогда в

наступившей тишине мы смогли бы разобрать, расслышать много простых и отчаянных, последних слов.

Но разве тяжелозвонкое скаканье по потрясенной мостовой россий-ской когда-нибудь кончится?

Меняются седоки, лишь шпоры поострее, а скачка прежняя. Знай посторанивайся, забивайся в свою хижину бедный Евгений, не путайтесь под ногами, старички и старушки, со своими смешными претензиями. Да и то, что требовать с них, если десятилетиями им внушали про высокий смысл жизни, про стыд за бессмысленно прожитые годы, про человека — творца истории и собственной судьбы.

И вот — оборвалось все. Оказалось, что не имеет значения, как ты жил и что делал прежде. Значение имеет лишь то, что ты говоришь сегодня и делаешь, чем клянешься и что проповедуешь. Такой подход упростил дело. Значение имеет лишь ваш ответ на последний вопрос. Ваши предыдущие ответы на ранее поставленные жизнью вопросы — достояние неинтересного прошлого.

[Б. д.]

Я никого не осуждаю и вовсе не предлагаю героям дня заполнить анкету или рассказать о своей прошлой жизни, но когда стоишь на Манежной площади в толпе митинга и слышишь, как расклевывают — ораторы и подхватывающее их лозунги сгрудившееся у трибуны живое множество голов, — как расклевывают семьдесят лет жизни многих поколений, то...

[Б. д.]

При такой злобе — надо забиваться в угол, спасаться. <...>

9.11.92.

Седьмого в двенадцатом часу ночи прилетели из Барселоны[349]. На иловском аэробусе. Лациса, как когда-то нас, ждала машина, и мы благополучно в эту ноябрьскую слякоть под снег с дождем добрались до своих жилищ.

В Барселоне мы приземлились в шесть вечера под сильным дождем и низкими облаками, минут сорок лишних проболтавшись над городом. Долго не было видно земли, а потом показалось море и кромка берега, и мы низко вдоль это[й] кромки пошли к аэродрому. Автобус от самолета подвез нас к зданию аэропорта и высадил у огромной лужи, куда мы все и попрыгали. Разница с барселонским временем — два часа, и мы до ужина (в двадцать тридцать) успели вдоволь втроем (Лацис, Хлевнюк[350]и я) нагуляться под дождем и как следует промочить

ноги. Дождь был то слабенький, вполне сносный, то набирал силу, а возвращаться не хотелось. Дошли от нашего отеля до памятника Колумбу на берегу моря, а назад Лацис нас повел (он в Барселоне уже был, но недолго) по бульвару Рамбла, и мы, возвращаясь, немного поплутали, и пришлось ориентироваться по плану Барселоны с помощью испанцев. Наутро я с ужасом обнаружил, что одна из туфель прорвалась вдоль подошвы... Я, и верно, попробовал найти что-нибудь подходящее, но в продаже обувь по сезону, и летнего нет ничего или что-то сомнительное, а хорошая осенняя дорогая — выкладывать надо половину наличности. Ну, так я и прожил барселонскую неделю — вроде бы российский литератор, и не последнего ряда, заместитель редактора журнала, немолодой человек, что-то обязанный заработать за долгие годы, чтобы чувствовать себя уверенно и обеспеченно, — так и проходил, чувствуя легкий, крошечный холодок своей правой ступней... Однако, убедившись, что неделю-то я непременно дохожу, я успокоился и деньги истратил, что называется, на гостинцы, хотя чуть-чуть практичнее, чем всегда, потому что купил две большие банки кофе и две большие пластмассовые упаковки оливкового и подсолнечного масла... Иногда думаешь — и не ездить бы лучше совсем. (Недаром в свое время я отказывался от многих поездок — впрочем, не эта причина была главной: бывало, что и не знал, в чем ехать, да и работу не хотелось прерывать, а однажды не поехал в Венгрию из-за состава писательской делегации...) Ладно, что про это толковать. До Лацисовой мудрости («Валюта — лучший подарок») я еще не дожил и уже не доживу.

Барселона красива и богата. И разнообразна. Я почувствовал ее лучше, чем Афины: там мы бродили в своей части города, и многое осталось за пределами наших прогулок. Здесь же автобусная шестичасовая экскурсия не только связала между собой те места, где мы уже успели побывать сами (гора Манджерик с олимпийским стадионом, кафедральный собор и т. д.), но и раздвинула наши все-таки скудные пешие возможности, подняв нас на другую гору к парку, созданному Гауди, и спустив к берегу моря и олимпийской деревне. Если же еще сказать, что мы побывали в футбольную среду на матче «Барселоны» и ЦСКА, где наши выиграли (3:2, после 2:0 в первом тайме), то освоенное барселонское пространство окажется достаточно большим. Главное же, что мы много гуляли и смотрели и кое-что, значит, видели. И узнавали — но только через то, что видели. Или — услышали от испанки-экскурсовода. (Насколько я понял, это не была профессиональная водительница экскурсий и, возможно, принадлежала к той барселонской

троцкистской организации, которая нас принимала. Об этом можно было догадаться по ее фразеологии; она употребляла такие выражения, как «мелкая буржуазия», «крупная буржуазия» и т. п. из политического словаря марксистов. Может быть, я и ошибаюсь, но похоже, что так и было.) Но, как и в Афинах, мы почти ничего не узнали про местную жизнь. То есть про то, как здесь живут. Возможно, это особенность всех международных сборищ (симпозиумов и т. д.); интернациональный состав участников, и темы, далекие от местных проблем, и соответствующий круг общения: в сущности, все тот же, наш, российский, потому что русские составляют большинство участников сборища. То есть российские, советские. Следовательно, о характере социальной жизни Барселоны нам оставалось только догадываться и ограничиваться ее внешней стороной. Без языка, в чужой стране, приехав дней на пять — семь — десять, ты поневоле оказываешься наблюдателем, соглядатаем и не более того. Смотри, впитывай, догадывайся! И пытайся унести в своих глазах, в своей памяти, в своем обонянии, осязании — как можно больше, чтобы потом все, что удержится и убережется от рассеяния, когда-нибудь перебирать как что-то дорогое и возвращающее прожитое время с его прекрасными минутами.

Имя Барселоны (до этого — имя Афин и т. п.) казалось сказочным в своей- недоступности и возможность побывать там — фантастической. Так бывает всегда: возникает возможность, потом она превращается во все более и более достижимую реальность; наконец настает день отлета, и ни сказочность, ни фантастичность не тускнеют, они только сильнее, чем прежде, ожидаемы, предвкушаемы, время и расстояние — до прикосновения к ним, до их достижения — начинают сокращаться. И далее — поразительный слом чувства: ты ступаешь на землю, это уже испанская земля, ты стоишь в огромном зале нового, сверкающего стеклом и мрамором барселонского аэровокзала, за стеклянной стеной — суета автомобилей, людей, ты видишь пальмы, и все это вместе значит, что ты уже здесь, в этом мире, и он вокруг тебя, и ты в нем: все ожидаемое случилось, произошло, ты продолжаешь свою жизнь уже здесь, это новая твоя данность, новая реальность, тебя как бы перенесло через черту, и сколько бы ты раз потом ни сказал: «Боже, неужели я в Афинах, Нью-Йорке, Барселоне, Шанхае, Риме!» — ты минуту спустя после этого патетиче-ского внутреннего возгласа — продолжаешь идти по улице, как обычно ходишь, и продолжаешь говорить с товарищами о все той же нашей несчастной России или таращиться на витрины, и чудо, и

вся фантастика — уже только твой новый быт — уличный, гостиничный, деловой и т. д. Но стоит тебе вернуться восвояси, то есть домой, и окунуться в привычную жизнь, сходить разок-другой на работу, почитать газетки, послушать рассказы домочадцев, и ты, по какому-нибудь случаю припомнив, что неделю назад в этот вот час был [в] Барселоне и именно там-то и там-то, вдруг с волнением скажешь себе: «Боже, неужели я в самом деле был в Испании, в этом городе с почти сказочным и фантастическим именем?» И опять, как прежде, почувствуешь, сколь он недостижим и нереален для тебя. Сколько раз, увидев по телевидению места, где я побывал, я недоверчиво говорил себе: нет, не может быть, нет, меня там никогда не было! Это моя невидимая легкая тень там промелькнула и, как водится, как полагается призрачным человеческим теням, не оставила там никакого следа! Я даже думал в такие минуты, сколько же раз надо пройти той улицей и площадью, сколько раз надо туда приехать, чтобы освоить это пространство, чтобы никогда не поднимало голову сомнение: да был ли я там, господи! (Мелькнет иногда на экране какая-нибудь костромская хроника: площадь у каланчи, торговые ряды и спуск у книжного магазина, и я же не сомне-ваюсь: тут был, жил, ходил, — или это и есть особенность обжитого, освоен-ного, стократ исхоженного пространства и его отличие от пространства, пересеченного быстрыми шагами чужестранца с его рассредоточенностью, занятостью своим, невозможностью отключиться от суеты, с его разогнанностью совсем другой, не похожей на здешнюю, жизнью...)

Барселона — спокойное, стабильное богатство, и никаких признаков тревоги (на улицах нет ни полицейских, ни военных — этих не встретили ни одного), но на стенах домов и заборов можно увидеть надписи, призывающие к свободе Каталонии, и рядом пятиконечные звезды (углем или еще чем-то — может быть, краской), — попадалась и надпись в поддержку коммунистов. Но некая каталонская революционность померещилась мне и в склонности города к модернистскому искусству, особенно заметной в уличной скульптуре — яркой и праздничной и, разумеется, дерзкой. Может быть, я обманулся и домысливал что-то несвойственное, но социальный интерес, как мне показалось, присутствовал в барселонском уличном быту сильнее, чем в Афинах: больше книжно-газетной торговли, больше людей у этих киосков, больше людей с газетами на бульварах, на скамеечках. И вообще больше книжных магазинов, чем в тех же Афинах. Да и барселонцев пришло на встречу с участниками симпозиума — надо понимать, по призыву барселонских троцкистов (предъявлялись приглашения при

входе) — человек триста, и среди них — много совсем молодых, но были, впрочем, и люди постарше, седые, не с опытом ли тридцатых годов. И слушали хорошо, или внимательно, с подлинным интересом, или — дисциплинированно. Думаю, что верно и то, и то...

12.11.92.

Все удаляется и заслоняется... И отчаянные бывают мгновения, когда... Словно жизнь уже кончилась. Родина никогда не казалась мне безобразной, она как дом, где все родное — и бедное, и неказистое, и обтрепанное. Тяжело от другого — от нового насилия над людьми, которых с новым энтузиазмом и новой самоуверенностью волокут, подгоняют к новым сияющим вершинам. При этом не устают повторять: вся ваша прошлая жизнь ничтожна и напрасна, вы дураки, потому что утописты-идеалисты, вы еще не поняли, что уже не книга, а «валюта — лучший подарок» и деньги — превыше всего, новое солнце России, именуемой свободной и демократической... Я видел эту новую Россию, призванную заменить таких, как мы, когда она расхватывала багаж в Шереметьеве-2 после прилета из Стамбула. Какие гигантские тюки она волокла, как громо-гласно перекликалась, как глядела, не видя, на людскую мелюзгу, путающуюся под мощными, молодыми ногами и мешающую, мешающую их хищной, жадной прыти... Я поздравляю тебя, родина, с новыми героями, я рад, что меня не будет, когда они окончательно восторжествуют. Я молю Бога, чтобы сыновьям нашим было легче — особенно Никите — пройти через эту новь, с нею не соприкоснувшись, ею не заразившись и что-нибудь сохранив из старого нашего обихода... (Нет, тяжело писать про это, я только-только приближаюсь к точным словам, а в точных словах, уже в самом приближении к ним, есть что-то пугающее, очень холодное, не пускающее дальше...) Теперь-то мы поняли, каково в революцию, нет, еще хуже, мы начинаем понимать, каково в контрреволюцию, устроенную вчерашними ретивыми служителями «рреволюционной» идеи — ельцинымы, бурбулисами, гайдарами и т. п. И снова, как и раньше, за все расплачивается народное большинство. А те, и вчера и сегодня, — среди сытых, поучающих, ведущих, рассуждающих, командующих и всегда — правых. Делали карьеру вчера — и были правы, делают ее сегодня, как бы в противоположном идейном направлении, и снова — правы, и на лицах — никакого румянца стыда, и в голосах — никакой заминки, о, порождение коммунистического монстра, его опора, его строители, его певцы — а теперь его ниспровергатели и герои ниспровержения!.. Хоть

бы кто объяснил это позднее прозрение, хоть бы понять, что они думали и делали и что читали все эти долгие годы — 60 — 80-е? Или ничего не видели, не понимали, или во имя карьеры и успеха давным-давно отпонимались? А впрочем, — может быть, и верно: они уже получают свое, и мы об этом не знаем, и так оно и есть: не думайте о них, не следите за ними, они уже получают свое, и это как дождь падающий, и звук настигающий, и тень падающая... тень накрывающая...

13.12.92.

С шестнадцатого номера наш журнал не выходит, типография больше не хочет печатать в долг. И первый номер в набор не берут — по той же причине. Вся надежда на М. С.; он обещал поддержку, и завтра или в ближайшие дни мы с Н. Б. хотим (обязаны!) к нему попасть. Н. Б. хочет, чтобы в переговорах участвовал и я. На этот раз я более чем заинтересованное лицо: нужна ясность на будущий год — стоит ли нам огород городить или пора расходиться, в очередной раз признав факт предательства; Залыгин настойчиво зовет к себе, и на этой неделе я должен дать ему окон-чательный ответ. По совести говоря, идти на новую службу, хотя и лите-ратурную, и заметную (зам. редактора «Нового мира»), мне не хочется, хотя там и денежнее и проч. Ситуация в литературе и вокруг отвратительная, и окунаться снова в этот омут не очень-то хочется. Я предпочел бы усиливать и усиливать наш журнал, но без поддержки Фонда это немыслимо. Совсем бы уйти со службы, но времена не позволяют: скоро не на что будет кормиться <...>. Никогда не думал — миллионы людей не думали, — что к концу жизнь моя — наша — окажется столь беззащитной и бедной в самом прямом смысле слова.

Приходит в голову простая и грубая мысль: это не справляется с действительностью человеческий ум, надламывается, искажается, «едет крыша», образуется и варьируется умственная массовая болезнь — что-то похожее было в годы революции и позднее. Люди больны — не свинкой, не тифом — а умом. Но больны ли — распространители болезни, носители вируса, — это вопрос, тут надо подумать. Когда распространяется — это болезнь, а вот когда возникает и выявляется?..

Приходит понимание, что переменить направление нынешнего потока, успо-коить течение может только крупная личность или группа согласно действующих личностей. Только в этом случае Россия спасется как Россия, продолжающаяся, а не какая-то новая, подогнанная под западные образцы. Когда я

думаю о будущем, в которое нас тащат всякие «демроссы» и тот же Ельцин с Гайдаром и дружками, то я радуюсь, что я его не увижу. Впрочем, в то, что у них получится эта подгонка под стандарт, я не верю. Сильно не верю, но возможность допускаю. Ставка на худшие приобретательско-потребительские качества человека надежнее, чем ставка на его лучшие и чистые силы. Но маятник все равно качнется в обратную сторону, но вот загадка: достиг ли он или когда достигнет в нынешнем разгоне своей крайней точки, чтобы откачнуть назад? <…>

19.12.92.

Во вторник (15-го) поехали с Биккениным с утра в Фонд, где в десять утра открывалась международная конференция о будущем новой Европы. Уселись так, чтобы оказаться напротив М. С. Он появился в сопровождении охран-ника и корреспондентов. Обнялся с Млынаржем, еще с кем-то из иностранцев. Присев на свое место в президиуме, через короткое время заметил нас и подошел к нам. Разговор был коротким, я успел вставить, что журнал стоит и что в двух из остановленных номеров его тексты. «Сколько нужно?» Биккенин ответил, что три с половиной миллиона. «Хорошо, помогу». Н. Б. успел еще попросить о встрече. «После конференции, в четверг». На том и расстались. Мы выслушали вступительную речь М. С. и уехали.

В четверг нам было назначено на половину шестого, но предупредили, что идет совещание и что мы можем прождать дольше. Мы приехали в начале шестого. Ждали. Объяснявшийся с каким-то американцем или англичанином Лихоталь пообещал нам сказать М. С., что мы пришли и ждем. Мы прождали до перерыва в совещании, когда в коридоре появились наши знакомые, в том числе Логинов, Остроумов, Шахназаров. Н. Б. познакомил меня с В. А. Медведевым, и тот посоветовал нам позаседать вместе со всеми. Прихватив стулья, мы внедрились в небольшой кабинет, где помимо уже названных увидели Черняева, Красина, Галкина, Шостаков-ского, Кувалдина, Батурина, Мушкетерова, Вебера, Млынаржа, Капустина и еще двоих, незнакомых. Оказывается, шло обсуждение итогов съезда и всего, что ему сопутствовало. (Горбачев отсутствовал две недели, побывав в четырех латиноамериканских странах.) Яковлева не было. Как сказал Лихоталь, он «наверху во всех смыслах» (имелся в виду третий этаж здания, мы заседали на втором, и вхождение в правительственный комитет (по реабилитации) на правах начальника). Горбачев начал обсуждение нашего (журнального) положения при всех: «Вот представители Свободной мысли”… Завтра я подпишу, но не нужно думать, что мы возьмем журнал

на содержание». Потом Биккенину, несколько растерявшемуся (господи! генсек ведь! Разве такое забудешь!), пришлось тоже немного порассуждать о съезде, о том, что думают по сему поводу в коллективе редакции. Было девять часов, когда все это закончилось, и М. С. сказал: «Заходите втроем». Разговаривали стоя посреди его кабинета (вместе с нами зашел Медведев, оказавшийся вблизи довольно симпатичным человеком): о политике, Ельцине, о журнале. Опять обещал «завтра» подписать чек или что там еще на три миллиона. Пускаться в длительные объяснения было уже невозможно; пытаясь сохранить какую-то возможность для продолжения обсуждения судьбы журнала, я сказал, что мы напишем свои предложения... Домой я приехал без двадцати десять, все уже беспокоились, куда это я подевался. Под настроение, может быть, опишу впечатления от встреч подробнее. Во всяком случае, в четверг Горбачев выглядел энергичным, уверенным, реагировал на все и говорил остро и в то же время очень обдуманно <...> Мы-то надеялись на более тесное и осознанное сотрудничество, то есть на определенные финансовые гарантии — новый год-то вот он, а как в нем жить? Ну, покроем с помощью Фонда долги, рассчитаемся с издательством и сотрудниками за год уходящий, а дальше что? Думали, станет легче, а ничего не отлегло.

Сижу и ломаю голову, как быть: оставаться и разделить судьбу своих товарищей, выпуская журнал, пока совсем не потонем? Или уходить к Залыгину? Или в «Дружбу народов», куда зовут тоже?

Что говорить Залыгину, не знаю. И соглашаться не хочется, и утратить этот шанс, этот выход — тоже.

27.12.92.

Год на закате. И жизнь. Горбачев в «Итогах» (сегодня): «Все еще впереди». В той же программе повторяют дурацкую фразу Ельцина, сказанную в Китае о себе как «хозяине» страны, который должен поскорее вернуться и навести порядок. Бесконечные толки — по ТВ — о министрах, о людях, имена которых, уверен, ничего не говорят стране. Почему-то предлагают горевать об отставке Авена, чья деятельность никому не известна. Полторанин назначен главой новой чиновничьей конторы: Федеральный информационный центр. Теперь он через ТВ и телеграфные агентства будет проводить «правительственную линию». Ничего нового. Министерство правды или пропаганды. Все это скучно и противно.

Зарплаты так еще и не получили. Антипов делает попытки залучить-получить надежных и богатых арендаторов. Все не ясно.

На днях отказался испытать счастье в роли главного редактора «Дружбы народов». Надо было выставить свою кандидатуру на выборах (Сашу Руденко забаллотировали: 4 против 16). Говорят, что за меня проголосовали бы. Вполне возможно.

Часто всплывает в памяти Кострома и многое другое. Мы живем среди живых, но и в мире теней. Почему-то я вспомнил пишпекскую улицу, ведущую к станции, и огромное поле тюльпанов перед ипподромом. Так вот: там я проходил — весной сорок пятого с мамой и соседями шли в кино на «Шесть часов вечера после войны»: через булыжную мостовую бежали ручьи, и мы через них перебирались. И подумалось: прошли — и нет нас, но мы же рассекали то пространство, тот вечерний волнующий воздух, наши ноги ступали по тем камням — и никакого следа. Никакого следа от присутствия. Жили, думали, переживали, и — ничего. Что же тогда, если не тени? И никаких отражений — в деревьях, в стенах домов, в заборах, в самом воздухе, стоящем над землей? Тени, только тени, и весь смысл в присутствии, продляемом только в потомстве, в творчестве, в каком-то деле. Но и это продление — только утешающее сознание, пока оно само живо; перемена возможна только в том случае, если окажется прав Н. Федоров и его «общее дело» когда-нибудь восторжествует.

Наверное, я все-таки коммунист, и не в смысле принадлежности к политической партии, а по своим чувствам, по тому, что считаю справедливым и подлинно человеческим.

И еще мне противно, что нашу страну, ее великую культуру, ее живой, несломленный дух «подверстывают» под американские мерки, американский стандарт. Мое неприятие происходящего никогда не было столь тотальным.

17.1.93.

Уже открыт новый счет, и семнадцатое число исчезает. Истечение срока.

Минуешь, проживаешь день, как преодолеваешь пространство. От дома до редакции, оттуда — дважды, а то и трижды в неделю — к своим родителям. Да и в редакции тоже помимо времени — пространство, иногда необязательное, но я все иду и иду. Может быть, я ошибся, не уйдя в “Дружбу народов”. Двенадцатого я выступал там с годовым обзором журнала (новые времена: заплатили десять тысяч; дважды я выступал с такими же обзорами “ДН”, но тогда никому — ни им, ни мне — не приходило в голову, что возможна или нужна какая-то оплата), а потом было “угощение”, и мы долго разговаривали, засиделись с Леоновичем, Холоповым, Зайонцом, а до этого с Денисом Драгунским, Медведевым (приехал из Душанбе, ведет

публицистику) и другими сотрудниками. Тут-то я понял, что они избрали бы меня много охотнее, чем Пьецуха. Виделся тогда же с В. Кондратьевым, К. Щербаковым и др. Написал для своего журнала сочинение под названием “Иллюзия чистого листа”. <…> Теперь-то я понимаю, как люди, о которых читал, умирали в бедности. Богомолову понравилась моя фраза из новогодней поздравительной открытки, которую я ему послал. Что-то в таком роде: пламенные строители капитализма не менее отвратительны, чем пламенные строители развитого социализма, но главное — это одни и те же люди.

Часто вспоминаю Кострому и жалею о той жизни. Умом понимаю: что-то бы там в моем положении изменилось бы; может быть, стал бы депутатом или как-то иначе ввязался бы в политические игры <…> В первые январские дни заходила Лариса Бочкова, привезла первый номер “Губернского дома” с моей статьей. Вот, остался бы, выпускал бы журнал или редактировал газету — вполне может быть. А теперь сохраняю верность — из чувства сопротивления, и тут Виталий Семин прав, — едва выплывающему изданию и нескольким людям, которых не хочу бросать. (И ведь понимаю, что некоторые из них, если прижмет нас сильнее, бросят кораблик, и все равно — примера не покажу: пусть глупо, но подыгрывать новым временам с их законами не хочу.)

Читаю В. Астафьева — роман “Прокляты и убиты” (“Новый мир”). Астафьев излишне уверовал, что роман ему по силам. В этом — первое несчастье. Второе — он привнес в изображение далеких дней и тогдашних людей то, что хуже сегодняшнего знания, — сегодняшнюю озлобленность и несправедливость; сегодняшний публицистический обжиг старой, давно затвердевшей глины; его прежние срывы в злобу и мстительность превратились в норму повествования; оснастив же текст подлым матом, он усугубил изображаемое и всячески нагнетаемое, концентрированное непотребство; не умея вести сразу несколько героев, как бывает в романах, и удерживать их на сюжетной привязи, он сочинил скорее тенденциозный “физиологический очерк” (нет, недотягивает даже до уровня Сергея Каледина), чем что-либо художественное; уверенность обличения, с какой он пишет, казалось бы, исключает предположение о какой-либо растерянности, да и здравый смысл редко когда ему надолго (в тексте) отказывал, и тем не менее в “диагнозе” слово “растерянность” должно быть непременно. В таких случаях художника спасает, по-моему, спасательный трос классической традиции: тебя стаскивает ветер, а ты, как на Севере, держишься

за трос и идешь дальше, и потеряться становится невозможно[351].

24.1.93.

Читая Д. Шаховского (“Звенья”):

“Так жить нельзя”, — говорили мы себе тоже, но жили, абсолютное большинство жило, сознавая, что так — нельзя, и пытаясь жить как-то иначе (не все, далеко не все, а наиболее наивные и последовательные...).

20.4.93.

На что сгодилась наша свобода? Теперь я думаю: а нужна ли она нам была?

Помню, в восемьдесят седьмом, на излете года, на Герцена, у старого клуба МГУ, наткнулся на университетского товарища, поэта и журналиста. Я долго жил в другом городе, виделись мы раза два за тридцать лет, обрадовались друг другу, и я сказал ему: “Вот мы и дожили!”, и после всех восклицаний он пообещал подарить мне книжку, только что вышедшую в ФРГ, и мы расстались, побежали дальше по своим делам.

Пока стояли разговаривали, я увидел нас со стороны, и литературная моя память тотчас перебросила мостик в один из трифоновских романов, где герои встречаются летом пятьдесят седьмого, в разгар фестиваля, и, счастливые, полные новых переживаний и неслыханных надежд, разбегаются, не ведая будущего.

Тогда мелькнуло: похоже, похоже, и мостилось, мостилось еще, уже в мой пятьдесят седьмой, тревожный, невнятный, сползающий, выводящий в какую-то новую, неведомую жизнь.

Через какое-то время я прочел в эфэргэвском сборнике моего товарища стихи о железном подснежнике, и там такие строки: “Кузнецы потрудились на славу, и в железо оделась душа”. И еще такие: “А душа, как прозрачный подснежник, исчерпав свою волю до дна, все надеется выбраться к свету. Но всесильна железная тьма!” (в железное время под железным небом).

Я читал про это обилие железа, вспоминал свои далекие ощущения, отыскивал и не находил сходства и чувствовал вдруг, что образ — то ли слаб, то ли блекл, что он — может быть, это и было главным — бессильно уступает другим, наговоренным, напечатанным, выкрикнутым за это время другим сильным, мощным, беспощадным, убийственным словам, словно тем и занимались, что старались покрепче припечатать.

Не забыть, как в приблизительном фильме для американцев про Сталина Юрий Карякин формулировал свою мысль посредством словечка “расстрел”: дескать, то был “расстрел

совести, расстрел культуры, расстрел крестьянства” и т. д.

Как же так, подумал я тогда, мы же долго воспринимали жизнь с ее фокусами, похоже, и то, что он пытается определить, назвать, я не приемлю так же, как он, но почему меня так коробит эта неточность, едва уловимая неточность фразерства, фразы, которая хочет обратить на себя внимание.

Какая огромная неуследимая опасность заключена в словах! Еле-еле избыв одну — вспомните победоносный, не допускающий сомнений газетный стиль брежневской поры, — мы погрузились в нешуточную другую. И самый заметный ее результат — судьба слова “демократ”. Как когда-то иногда говорили “настоящий коммунист”, теперь впору рассуждать о “настоящих демократах”.

И это настолько серьезно, что, встреться мы с моим старым товарищем-стихотворцем снова, я бы, пожалуй, сказал бы ему: “Наверное, мы дожили до чего-то другого, потому что радость наша была короткой”. В сущности, мы дожили до чьей-то победы над такими, как мы, и это, разумеется было бы небольшой печалью, если бы таких, как мы, было бы мало, тем более что победа пока не смертельна, но смириться с этой победой трудно.

А это в самом деле — победа и одновременно поражение идеального момента, стержня, существа нашей прежней жизни, словно отныне со всякими сентиментальностями и тонкостями литературы и жизни — покончено.

3.5.93.

Вот мы и увидели побоище — на Ленинском проспекте — Первого мая с водометами, дубинками, щитами, с кровью, с разбитыми лицами и головами. Они не подчинились власти, блюстителям порядка — вот довод. Я не раз думал о том, что власть должна быть решительной в отстаивании закона и не бояться пролития крови, если другого выхода из ситуации нет. Кажется, это тот самый случай, и надо подтвердить, что власть права. Но возникает вопрос: а точно ли не было другого выхода? И так ли верно, что вместе с законностью на стороне власти и моральная правота? Оказывается, московская и более высокая власть объективно вели дело к драматической, а то и трагической развязке. Захлебываясь антикоммунистической риторикой, российская власть отступила даже от социал-демократических традиций, отказавшись праздновать Первое мая как интернациональный праздник трудящихся людей. С приближением майских дней Ельцин издал указ о запрете демонстраций и митингов на Красной, Старой и Новой, Манежной площадях, а также на каких-то еще прилегающих улицах, с упоминанием даже какого-то переулка. Но, как бывало

уже неоднократно, уступая требованиям профсоюзов, дозволили им митинговать на Манежной площади, двигаясь к ней по улице Горького (Тверской). Там они и митинговали почему-то под голубыми флагами и транспарантами, стыдливо, то есть трусливо, отказавшись от красного цвета. За границей, а также в Минске, Киеве, Алма-Ате и других городах, в спектре первомайских цветов господствовал красный цвет, и главы правительств участвовали в праздновании. Первомайская Москва на этот раз украшена не была. Кое-где над улицами были протянуты транспаранты с поздравлениями москвичам с праздником “весны и труда”, разумеется, тоже голубые. Точно такие же, как вывешиваются теперь к Пасхе или к каким-нибудь фестивалям и т. п. Разумеется, никакие высокие власти в празднике и митинге профсоюзов не участвовали. Судя по скудной информации, речи и лозунги на митинге носили знакомо взвешенный характер: “нет безработице”, “нет повышению цен”, но “да — президенту”, “да — реформам”. Другой первомайской демонстрации — компартии, анпиловской “Трудовой Москве”, Фронту национального спасения — было отведено жалкое, в сущности, пространство: от Октябрьской площади, где памятник Ленину, до выставочного зала художников (Крымский мост был перекрыт милицией и т. н. ОМОНом). Сообразив или зная, что Крымский мост не перейти, митингующие (в первом телерепортаже, наиболее подробном и уже более не повторенном, было слышно, как Анпилов призвал идти на Ленинские горы) двинулись по Ленинскому проспекту и прошли довольно далеко — до площади Гагарина, где им путь преградили всерьез и где произошло столкновение. Сегодня медицинские власти Москвы объявили, что пострадало около 570 человек; среди них — 250 работников милиции. Я уверен, что всех милиционеров, кто получил хоть какие-нибудь ушибы, обязали пройти медицинское освидетельствование. Что касается обычных граждан, то, разумеется, к врачам обратились не все. Столкновение было жестоким, хотя власти — с помощью абсолютно подчиненного им ТВ — убеждают, что налицо провокация “неокоммунистов” и что все устроили их боевики. Однажды даже продемонстрировали оружие боевиков: две заточки и какой-то железный прут плюс ржавую цепь. Однако никто еще не говорил о наличии колотых ран, и сколько мы ни смотрели уже избранные, то есть наиболее выгодные власти, фрагменты побоища, мы видели лишь безоружных демонстрантов, а позднее — вооруженных отнятыми милицейскими дубинками и обломками палок от флагов и плакатов. Сегодня вечером в “Пресс-клубе” (ТВ) обсуждали это событие, и хотя несколько человек осудили действия властей,

многие из журналистов, демонстрируя свою замечательную отстраненность от жизни и судьбы народного большинства, толковали, что такие побоища — норма демократии и что все это нужно воспринимать спокойно. Лишь грузинка сказала, что в Тбилиси с таких побоищ началась гражданская война. Несомненно, если б власть сняла оцепление, демонстрация тихомирно рассеялась бы по пути на Ленинские горы.

18.6.93.

Купил книжку рассказов Ив. Касаткина и Жореса Медведева о Лысенко — т. е. историю биологической науки в СССР (когда-то читал главы в машинописи — в самиздате). Касаткин — 31 руб., Медведев — 75 руб. Для сравнения: мороженое (эскимо) — 75 руб., батон белый (сегодня) — 49 руб., килограмм сосисок — 1600 руб., бутылка молока — 94 руб.

Можно сравнить с соотношением цен прежде: на книги и на прочие товары. Т. е. книги у нас по-прежнему дешевле, чем на Западе. Слава Богу. Но соотношение цен — дикое.

28.6.93.

Уже никто не вспомнит, когда... когда я, маленький, несознательный, чувствующий, но несознательный, непонимающий, бежал, улепетывал, катился по зеленому лугу от деревни, от домов, от отца с матерью, куда-то в сторону, к лесу, к простору, — я помню себя бегущим и окликаемым, но продолжающим бег, нескладный, косолапый, а потом подхватывающие руки отца и молодое лицо матери, не знающих, то ли сердиться, то ли смеяться...

Потом, сопоставляя рассказы отца о предвоенных геологических экспедициях со своими воспоминаниями, я понял, что это было именно тогда, в одной из поездок в деревню к отцу. Или мы были в экспедиции с ним?.. Кто теперь скажет?

Никто уже ничего не скажет. Есть люди, нет памяти. Да и много ли людей? И людей нет.

А мальчик белоголовый знай себе убегает. И молодые красивые родители. И никто ничего не знал о будущем. А я убегал, не шалил, нет. Я серьезно убегал. Будто тянуло меня. Я потом видел, как бегут дети, — именно так, с непонятным упорством, и их ловят, останавливают, а они рвутся вперед — их тянет глубина простора, глубина зеленой воды луга, темная вода леса, синяя вода неба, их общая глубина.

Я убегаю, и как я счастлив, как сильно колотится маленькое сердце! <...>

У Генри Адамса: “Надо бывать везде или нигде” (речь идет о

столичной светской жизни). После возвращения в Москву я очень быстро предпочел второй вариант. Исключений было не много. Если бы первый, то многое могло быть иначе (не лучше или хуже — иначе, но я этого не хотел. Это “везде” было не по мне).

19.7.93.

Кунцевская больница. М. б., я и попался? Завтра-послезавтра — испытания: попался ли? В прежний мой заезд сюда было проще: наутро — операция, и быстро домой. Что сейчас — не знаю. Когда бывает жалко себя, то не то чтобы — себя, — а дольше хочется не расставаться с родными и любимыми, домашними... Тут-то вся и горечь. Нельзя подвести. Здесь — и в прошлый раз было такое ощущение — включаешься в некий конвейер, и там как повезет. Положили, покатили с ветерком...

День разгулялся; в палате пока один, но это — казус. Немного гулял после дождя.

Странное скоростное сокращение мира — до дома, и ничего, ничего, все отступает...

24.7.93.

Июльская гроза. Сегодня, в ночь на 23-е, гремело, грохотало, хлестало по окну, даже брызги долетали, пришлось встать, закрыть форточки. Все вздрагивало и взблескивало, и последний сон — вымученный — пропал. Чего я только не придумывал — вспоминал стихи (“Во весь голос” Маяковского, что-то из Есенина — полубредово) и, главное, чувствовал: приближается утро, надо заснуть, иначе не будет сил, а когда нервничаешь, торопишься — совсем ничего не получается, а померил температуру — 39. Так и съехала операция на вторник...

Сегодня, значит, 24-е, время здесь — числа — не имеет значения: важны события: до операции, операция, после операции. Надо урезонивать свое воображение: все равно все варианты перебрать невозможно. Доверимся судьбе. Ну и выкарабкаться надо будет. Постараться.

Щелыково придется отменить уже сейчас. Даже при самом благоприятном обороте дела — не успеть.

Я что-то хотел написать про июльскую грозу. Вспомнил платоновскую “Июльскую грозу”. Какое счастье быть маленьким мальчиком! Или иметь сына — еще маленького мальчика. Это у меня было.

Писать всерьез невозможно — поднимаются чувства и т. д.

27.7.93.

“Июльское” “утро стрелецкой казни” переименовывается в

утро августовское или сентябрьское.

Сколько раз говорил себе, что всех вариантов предстоящего не пересчитаешь: так было в пятницу, когда меня разобрала высокая температура, так и сегодня, когда сказали, что в таком болезненном состоянии операции делать нельзя.

28.7.93.

Слава Богу, вчера из Крыма вернулся Никита. Как бы из другой страны — если это будет закреплено, то привыкнут к этому только “новые русские” и “новые украинцы”.

Страшная сила воображения! Разоружающая, расслабляющая, томящая, настигающая, убивающая, не знающая ни берега, ни предела!

Ее обещания и выверты могут быть бесподобны, но — как опасна! Какие разочарования они обещают!

29.7.93.

(От Матфея.) ...Вдруг представил себе, как народ тогда — влачился... Это было даже картинно — нечто растительное. (Разум включился и объяснил, напомнил, что время-то — уже новая эра и многое с человечеством уже было: и государственность, и политическая, и философская, и прочая мысль), и тем не менее — среда, внутри которой движется Иисус, — люди, которые бегут за ним, падают к его ногам, которых он ведет со всепобеждающей силой, — все это и неким видением некоего ветвления, стелющегося, колеблемого всяким ветром и всякой силой...

Друг друга спрашивают: ты верующий, веришь, крещен? И часто так все ясно: крещен, я православный, верующий и т. д.

А когда читаешь Евангелие, понятней некуда сказано: живешь по заповедям — значит веруешь, подчиняешься Божьему закону.

В мирской жизни об исполнении заповедей говорят обычно в судах (ага, попались!), да и то как о преступлениях перед людьми.

30.7.93.

Вот где материя берет свое; ее первичностью все пропитано; а где дух? И дух где-то здесь, затаенный, затаившийся, испуганный, ищущий, на что бы опереться, на какую духовную точку. Вчера я пытался опереться, скажем так, на точку, мне не свойственную, но, думалось-то, от меня не закрытую... Хотя бы потому готов без конца повторять, что грешен и виноват; я не могу причислить себя к грешникам, как великим, так и пошлым. Все-таки я старался жить (а иначе и не мог, вероятно, даже и не стараясь) по Его заветам (где-то есть про это в моих стихах).

<…> Бывало — самодеятельно, и здесь тоже, — я проговаривал, выговаривал какие-то скопившиеся, подступающие к горлу слова, и казалось, они совмещались с тишиной жизни и далью ее, к каким я взывал. На этот раз — было странное ощущение какой-то холодной пространственности. Слова были хорошие, универсальные и уже потому обнимающие и выражающие многое, но на них то ли надо было иметь право, то ли еще что.

Холодная пространственность материальности — вот что простиралось и как-то невнятно смягчалось… Или не смягчалось вовсе… Так ли они вылетали, так ли летели, или тайна не в словах, а в том эмоциональном взрыве, которым они выбрасываются?..

30.7.93.

Сколько характеров, столько способов самообороны и самозащиты. Сказать, что разум начинает сдавать тотчас, как получает неприятное известие, нельзя. Но характер, конечно, становится виднее. Это не основание для осуждения одних и восхищения другими. Но — виднее, и это интересно. За своим характером я нового не заметил, но его качества малопригодны для практического успеха в жизни, сказываются и здесь. Я проигрываю всегда, когда нужно быть практичнее, расчетливее, поискать максимально наилучшую для себя возможность, — вот тут я, мы, наша порода — пас, мы доверчивы и неприхотливы, мы исходим, что другие люди наделены тем же чувством ответственности, доброжелательности, честности.

Что-то вроде этого вытаптывалось в полубессоннице: не суди, не умничай, не сравнивай — и еще сверх, из прошлого опыта: не жди, не оглядывайся, не жалуйся, иди…

<…> Тут так: пошел — иди, не мудри, не оглядывайся…

Весь конец июля — в грозах, в громких, шумных, со вспышками света во все окно, в страхах соседа простудиться, в невозможности спать.

Хорошо быть молодым — это я сейчас понял, с остротой не мысли, но — ощущения. Даже не то понял: невозвратность, необратимость пути. Вся остальная необратимость (политическая и прочая) — чушь. Обратимо все, кроме жизни.

17.8.93.

Дома. Вот понимаю, что ничего не надо предугадывать и торопить. И не надо перебирать варианты (все равно может вывернуться непредусмотренный). Но ничего не могу поделать: ум бежит впереди, и следом всякие чувства. В таких случаях уму,

сознанию самое подходящее — военная дисциплина: идти туда, делать то и это. И — никаких уклонений. (Так и легче.)

<…> Зачем я это пишу? Всего, что составляет меня и заполняет меня, не передать. На такую передачу ушла жизнь, и никто мне не скажет, что же передалось и осталось.

Буду читать дальше — Шпенглера, Адамса, Соловьева… как ни в чем не бывало…

22.8.93.

Состояние промежутка: между известным и неизвестным. Хотел как-то ускорить — быстрее миновать — не вышло. Оттянулось на неделю — да все равно скоро. Из-за неизвестности писать не очень хочется. Или надо делать вид, что все как прежде, или считаться, и тогда все окрасится, а мне этого не хочется: зачем скулить? Если время у меня еще будет, то я, конечно, напишу все, что перечислил на первых страницах этой тетрадки, — очень хочется! А Кострома — целая жизнь! — иначе все ускользнет — все, что в дневниках. А в дневниках так мало поэзии жизни, поэзии дома, семьи — самого бесценного, нигде — кроме памяти чувств — не фиксированной. Как тонко это схвачено у Флоренского, при его трудной для меня сфокусированности на себе, на своих ощущениях, на сквозящей, все пронизывающей мистике…

29.8.93.

Хотел ускорить, да не вышло. Все тот же промежуток. Или, может быть, просто жизнь. Непривычная, без сосредоточенности на деле. А состояние мое такое теперь, что можно ходить на работу. Почти как раньше, если, конечно, забыть, что придется возвращаться в больницу.

Прочел за это время Пайпса, введение к “Закату Европы” Шпенглера, почти всю книгу Генри Адамса, первую часть книги Кларка о Ленине, книжечку С. Заяницкого и много чего другого. Надо бы вернуться к писанию. Это сложнее.

Заезжал Н. Б., приезжает Олег, привозят газеты, не забывают — спасибо всем. Звонил Рожанский и после — Гефтер.

Болеть — в такие времена! Впервые занимаем деньги. Мне надо вырваться — не ради себя. Лучше не писать.

30.8.93.

Завтра день рождения отца. Думал, что буду в больнице. Все “удовольствие” растянулось. Перечитываю Ю. Домбровского “Факультет ненужных вещей”. Вроде бы страшное, а сквозь все — очарование жизни, очень простой и ясной, очарование людей

(тоже простых и ясных — вне узилища). Поразительный контраст живого, живущего, красивого, непосредственного — и вдруг проступающего жестокого, беспощадного ядра.

1.9.93.

Дни проходят так быстро. М. б., я еще буду их вспоминать — наши прогулки с Томой к университету, — когда чувствовал себя целым и здоровым. Вчера вместе с Никитой был у моих.

Сегодня — прекрасный солнечный день. Все, что видели вокруг университета сегодня, взывает к воспоминаниям. Тома была вчера на факультете. Печальная информация Засурского. Гнусность власти[352].

Уже 8.9.93.

Волокита еще не окончена, или это теперь норма и я зря сетую?

К тому же не знаешь — спешить или не спешить. Или — по воле волн?

Сегодня услышал: надо суетиться. (Искать другие варианты.) Я же говорю: не надо суетиться.

Стараюсь не думать о финансовой стороне дела. Ну а если у кого-то — нет таких возможностей, у его конторы — нет? Или живу где-нибудь в деревне? Что тогда?

Они сооружают мир, где верховодить будут деньги. Я надеюсь, что в России этот номер не пройдет. Этот призываемый ими мир именуют демократическим. Он мне отвратителен уже сегодня в своих претензиях надвигающейся реальности. (См. хотя бы про “финансовую сторону” человеческого выживания.)

Будничность всего. Я об этом догадывался и, кажется, писал. Не было — есть, и все тут. И надо выкручиваться.

Я не хотел бы подвести вас, мои милые. Вот что меня мучит.

Прочел Роберта Грейвза “Я — Клавдий”... Теперь — читаю о том же — Тацита. (Не завидуйте другим временам и широтам. Разная концентрация одного и того же.)

Дочитал Кларка — о Ленине.

14.9.93.

Жду возвращения в больницу. Долгое оформление (по правилам поликлиники — анализы и проч.) и малоприятное (редакция платит деньги; это и есть приобретение демократии; а если бы не было?). Но закончилось оформление в пятницу, сегодня — вторник... Такова хроника. А хроника души?

То ли надо было выйти на работу, не знаю. Недели две назад, что ли? А с каким настроением ходил бы, сидел бы там,

разговаривал?

Что гадать? Как есть, так и есть. Надо дождаться. И, наверное, не отчаиваться. По крайней мере раньше времени.

Прочитал “Анналы” Тацита, читаю его же “Историю” и параллельно Светония. Почему-то втянулся. Потому ли, что — далекое?

Вероятно, Тацит преувеличивает число войск и жертв. Если преувеличений нет или они невелики, то картина — ужасная. Как за день перебить 80 тысяч людей, потеряв при этом четыреста человек? Или как вообразить 50 тысяч погибших — погребенных под развалинами рухнувшего циркового амфитеатра?

Как бы то ни было, жизнь человеческая тогда ничего не стоила. У человечества XX века были достойные предшественники.

Но — какие говорились речи, какие пробивались временами достоинство и доблесть!

Ныне — речи без достоинства и блеска, люди без доблести и благородства, зато — то же невыводимое племя льстецов, доносчиков, корыстолюбцев, мелких сутяг!

И, подозреваю, случись что — жестоких людей, не гуманнее тех, кого они честят (чекистов, напр.)!

Придумывать ли свое печальное будущее? Прозревать ли? Или подождать? Пока еще жду.

Не стало Ю. Болдырева, В. Лакшина, Г. Комракова — всех я знал. Двух последних я бы хотел проводить, да совпало с моей болезнью. Люди одного поколения и одного, скажем так, крыла в поколении.

Слушаю радио “Эхо Москвы”, телевизор сломался. Вчера давали беседу со славистом из Парижа (Герра? — так послышалось). Рассказывал, как угнетали культуру у нас и как он по возможности ее защищал и спасал (писал о ней, собрал коллекцию живописи и графики). Был включен прямой телефон, и одна из слушательниц сказала, что сегодня на “Эхо Москвы” “неприятная передача”. И тут же благородный, высококультурный гость из Парижа вскричал: “Тем хуже для вас! Пошли к черту!” И после паузы: “Я бы этих старых большевиков...” — и зарычал.

Вот так и приоткрылась глубина культуры и — прорвавшаяся злоба! (И к кому? К неведомому человеку, женщине, сказавшей свои слова очень спокойно?)

Сколько же получили мы европейских и американских учителей и суровых наставников!

16.9.93.

Все по новому кругу. Моя вечная наивность; условность всех

прежних договоренностей (“вернетесь через месяц” и т. п.); одна надежда — что к лучшему. Лишь бы хуже не было.

Я — в другой палате; на троих, но пока нас двое (86-летний старик после операции — можно позавидовать: справился!); особенность палаты — сломанный бачок, который слесарь не чинит, т. к. вся система протекает (надо сливать кувшином), — вот так теперь в ЦКБ. Но это все пустяки. Ничтожное.

18.9.93.

Сегодня впервые, лежа под компьютером, задал тот вечный общелюдской вопрос, над которым днями почти пошучивал (за его бесполезность): за что?

Больше — надеюсь — не спрошу: это слабость.

За что? — спрашивают каждый день миллионы по всему свету: убиваемые в Абхазии, в Сомали, на ночных улицах, погибающие от болезней и разных катастроф.

Ответа нет.

20.9.93.

Вдруг вчера после проливней — солнце и синее небо над еще зеленым парком. А гулять пока не решаюсь — не хочу, чтобы повторилась та пятница.

22.9.93.

Вчера Ельцин попробовал себя всерьез на поприще государственного переворота. Очень надеюсь, что ничего путного из этой затеи не выйдет.

Я словно чувствовал, что, когда буду в больнице, что-нибудь начнется — какая-нибудь городская пальба. Вот нечто похожее и происходит. Или близко к тому.

К несчастью, я частенько догадываюсь о будущем. Лучше сказать — предчувствую. <…>

Господи, не отворачивайся от меня, помилуй и прости.

Солнечные стоят дни — самые любимые мои — осенние… По Тютчеву — “весь день стоит как бы хрустальный” — за окном, где парк, еще зеленый, с едва прочерченной желтизной…

“Прорвемся”, — сказал я кому-то по телефону. Нет, не так: выкарабкаемся, вытерпим, пересилим, переключим себя на жизнь — вот бы так, но пока я все чаще готов повторять: не отворачивайся, Господи, не оставляй… И вот единственная несомненность: я думаю о вас, мои милые, я люблю вас и не хочу вас подвести. Я должен выбраться.

Вечером, думая вперед, просил: чтобы повезло, а сам боялся: уже не повезло и может не повезти еще больше.

И тогда как сделать, чтобы болезнь моя меньше задевала моих милых, меньше их задевала и терзала. Как сделать, Господи! Помоги мне, не оставляй, хотя я и виноват перед Тобой. По молодости, глупости, неопытности и превосходящей опытности и давящей силе государства. Это не оправдывает, но доказывает хотя бы не злонамеренность мою.

28.9.93.

Ну, 24-го я кое-что прошел, и теперь организм успокаивается — не знаю, как долго это продлится, предсказания врачей были нехорошие. Если сбудутся — сколько мне предстоит пройти всего впереди — Бог весть.

Задумался, что когда будет, в каком месяце, вспомнил про Новый год и т. п., а потом сказал себе твердо:

ничего ни о чем не загадывай, не предугадывай, не торопи, не забегай вперед — все мнимость, все легко опрокидывается, отменяется и т. п.;

научись жить по-новому, от ситуации к ситуации, и как-то из них выбираться, если тебе повезет и от тебя не отвернутся.

Иногда человек чувствует, что подчиняется какому-то высшему раскладу, и вдруг открывает это для себя.

Кажется, они хотят взять Белый дом силой. По ТВ нарочно с подробностями прощания показывали похороны офицера милиции, убитого боевиками. Это как бы взывало к отмщению, к наказанию виновных. Вокруг Белого дома — кольцо: никого не впускают, только выпускают. Федор[353] уехал уже дня три, как бы я поступил на его месте?

Все происходящее — даже в мелочах — отвратительно. Это и в самом деле диктатура, но кого? Кто движет Фигуру или Туловище?

Клинтон теперь — наш старший брат!

Вот он позвонил, вот он сказал!

Будет возможность и настроение — е. б. ж. (если буду жив), — напишу по записочке Оскоцкому и Нуйкину, чтобы хотя бы знали, как я на все их хлопоты и демократию смотрю.

Боже, а Черниченко — народный заступник — забыл, должно быть, когда держал в руках перо. И не стыдно торчать каждодневно на экране ТВ.

29.9.93.

Думал, что смогу ждать спокойно, что я достаточно подготовлен Гришиным[354] к худшему известию, но не получается.

Читаю Мережковского “Леонардо”, а все время отвлекаюсь, думаю, хотя все уж передумал и себя уже уговорил... Ничего удивительного — все как у людей. С их последними надеждами. Но воля к жизни должна преодолеть и это.

Прочитал вчера переписку Е. Трубецкого и М. Морозовой (“НМ”, № 9). Дочитываю 1-й том Мережковского — романы, за которые никогда прежде не брался. (Пишу коряво — потому что полулежа.)

Слушаю радио и опять думаю: у власти — мелкие люди с мелкими чувствами и мыслями. И как легко журналистика перешла (уже давно переходила) на язык ненависти к “врагу” — официальная послушная холуйская журналистика!

Снег с дождем, а деревья еще не облетели. Второй день дождь стучит по подоконнику.

7.10.93.

Я вернулся домой 1 октября. Как спокойна и свободна была душа моя первые два-три дня дома. После всего — успокоилась. Это теперь в нее возвращается вся полнота жизни — полнота ее сумятицы, тревоги и горечи.

3 — 4-го — стрельба. Российский парламент в очередной раз упразднен. Торжествуют мои бывшие друзья и единомышленники (давние, былые, — Оскоцкий, Черниченко, Карякин, Нуйкин и т. д.) — стыдно. Перебито много народа.

Когда я был в больнице, застрелился В. Л. Кондратьев. Анфиногенов, разговаривая со мной по телефону, осудил его (В. К. был пьяный). Обстоятельства жизни — не в счет.

[Б. д.]

Если искусство в самом деле — а это так — преодолевает смерть, то только тогда, когда являет собой жизнь и сберегает ее и воскрешает человека. Это вечное открытие жизни и человека, его глубины, разнообразия, богатства.

Этим кажется, что все они знают, но знать можно — книги, фильмы, картины, но жизнь — никогда.

(Они увидели во всем, что им померещилось: что Толстого едва помнят, что Залыгин — серая скука и т. д. и т. п.)

Конец истории — конец литературы. Но если первое — неправда? И тотальная победа западного либерализма — миф? А если б и победа, то взрыв этой благополучной истории от скуки?

Это рассуждают люди, когда думают, обретаясь в Москве или в сфере ее тесного общения, что все кончено. Они не учитывают, что остается страна и ее народ, уже в ста верстах от Москвы — другой.

Припомним: что противостояло идеологическому мифу, внутри которого нам предлагалось жить? (Нет, мы должны были там жить, если не хотели неприятностей и вообще собирались как-то сносно просуществовать.)

Так что же противостояло?

Ответ простой: жизнь.

Не та, что в газетах, по радио, на экранах, в речах начальства, в романах, а другая, никуда не попадавшая, оттесненная, отодвинутая, как бы невидимая. Она мешала и раздражала своим несовершенством, разрушала столь совершенный миф.

И эта жизнь должна была прорваться. Некогда она составляла содержание и смысл искусства. Это про Николая было сказано, что он через Чехова узнал, какой, собственно, страной он управляет, какие в ней живут люди.

Над этим стоит задуматься: представим себе условия воспитания наследника, его образ жизни, почитаем дневник и переписку царя и сообразим, какую Россию он знал и в каком соотношении она была к реальности, к этой огромной стране.

Литература 60 — 80-х годов оказала немалое влияние на духовную атмосферу страны, потому что она вернула жизнь и подчинилась жизни как Богу.

Наставшая эра свободы наконец убрала все преграды, и жизнь предстала — посредством и искусств, и документалистики — открытой. (Стали ликвидировать “белые пятна” и раскрывать разные темы.)

Эра свободы продолжилась и далее. Очень скоро оказалось, что свобода более всего нужна для “целей” не высоких, а низких. Разумеется, взялись за то, что полегче.

Теперь мы оказались там же, где и были. То есть вроде бы совсем не там, не в царстве коммунистического рабства, а в стране буржуазной свободы, но, в сущности, там же.

И первый, вернейший признак — исчезнувшая реальность, нарастающее отсутствие жизни [нрзб.]. (Там: страх. Здесь: а нам все равно.)

Жизнь неугодна, когда она не совпадает с мифами. А новые мифы не замедлили явиться. Особенно это видно по журналистике.

Возник литературный промежуток, может быть, он естествен и был бы преодолен. Но волна критики разрушительной заполнила его; т. н. коммерция — тоже форма критики и паразитирования на плохо или хорошо сделанном предшественниками.

Энтузиасты разрушения своим криком и грохотом,

торжествующим визгом постарались заполнить все печатно-визуальное пространство.

Ёрничество и беспощадность.

Почему же они говорят: поменьше жизни и подальше от правды?

Они не знают того, что знали про жизнь Абрамов и Трифонов, Астафьев и Носов, Панова, Семин, Казаков...

Оголтелость РАПП (“напостовцев”) — ЛЕФа была политически обоснована; оголтелость постмодернизма (высокомерие его адептов, наглость) менее очевидна, но укоренена на политической почве <...>

Заявление о себе, любимом, или сладчайшее самовыражение, заставляющее думать, а нужна ли нам четвертая власть — не чересчур ли много властей? (Отношение к “простому” человеку.) Человек перед любой властью чувствует себя беззащитным.

И четвертая — не исключение.

21.12.93.

Опять — здесь. А здесь — совсем другой круг мыслей. Как в ловушке. Иногда понимаешь, что и здесь надо как-то устраиваться, — и люди, думаю, некоторые, устраиваются. Я же — просто иду и, что будет, не знаю.

Все — проза, все — будни.

Тяжелый день.

Так и было: полное крушение иллюзий. Мы полагаем, Он располагает.

24.12.93.

В послеполуденной декабрьской тьме вылежал: нельзя сдаваться, нельзя сдаваться, нельзя! Сдаться-то успеешь всегда. В год-то Собаки сдаваться совсем не годится. Я все же — собака, верный пес, домашний, неуклонимый от своего собачьего служения.

25.12.93.

Фильм Голдовской (“Повезло родиться в России”) — я понял, какое лицо у Стреляного... Когда познакомился — в 87-м, — под обаянием имени — понять не мог, что же меня в нем настораживает. Тогда он говорил: журнал (“Новый мир”), каждую книжку — делать как последнюю. Чуть позже меня равно настораживало в нем (и в Адамовиче, кстати) — беспощадность (не к себе, разумеется) — к тем, кто сочтен противником. Бестрепетная беспощадность — на это меня никогда бы не хватило...

В фильме Голдовская все спрашивала про “смысл жизни”.

Раньше я знал, что это такое. Теперь я заметил, что боюсь этого слова. Оно мне неприятно. Раньше для меня такого вопроса не было.

Еще заметил в этом фильме: Голдовская снимала в квартире своей подруги — жены Красавченко. Та говорила мужу по телефону (разумеется, не такому, как у нас, а — с антенной, не знаю, как он называется) и настаивала, что надо решительнее штурмовать Белый дом. Но записываю не для этой подробности, а для другой: в интерьере квартиры, в какой-то из комнат мелькнул большой фотографический портрет С. Красавченко, одного из героев “президентской команды”.

Любопытно: на столе О. Румянцева — собственное фотоизображение, и здесь — в доме — тоже, много крупнее — никак не могут на себя насмотреться, налюбоваться. Такие пришли к власти люди. (Ну, О. Румянцев оказался честнее многих, у него нашлось в душе что-то поважнее любви и тяги к власти.)

25.12.93.

Нам хотят сказать, что все, чем мы руководствовались в жизни, чему следовали в поступках, — ничто.

А вот они нас превзошли. Они — откровенно богатые, откровенные приобретатели, банкиры, дельцы, собственники, — скучно перечислять...

Да, с детства, с юности и дальше я помнил, что кроме меня есть нечто большее, чему я принадлежу, — это родина, ее народ, его большинство. Меня воспитали — все, особенно книги, — что есть другие и о них надо помнить. С этим чувством — необходимости соучастия и помощи — я ездил работать в колхоз (в университете), потом поехал по распределению, и так до конца — всегда держа в голове и душе верность долгу... (Нет, это я написал плохо — лежа, словно спеша.)

Некая дама, выше средней упитанности, дорожная попутчица Голдовской (в упомянутом фильме), лет пятидесяти с чем-то, неопределенной внешности, охотно рассказывала, что у нее три квартиры, два дома, десять тракторов и т. п.

Разумеется, рядом с такими достойными людьми наше поколение — глупцы. Но пусть нас рассудят Бог и время...

26.12.93.

Воскресенье, и утром — время посещения. Такая радость и такое испытание. Трудно говорить. Завтра все решится, и как про это забыть. <...>

В Льюисе — много утешения и чистого света, и, когда я читаю, как-то легчает на душе...

Мама спрашивает по телефону, не болит ли у меня голова и как меня кормят...

И я не должен — не смею — отчаиваться. Если есть даже щель. Ко всему остальному больница готовит прекрасно... Но если щель есть, то почему она не для меня?..

М. б., писать — вообще лишнее. Но что-то заставляет.

Божественный Лев со сверкающей солнечной гривой, приходящий на помощь слабым, помоги и мне!

Но в какой рог выдохну я свою просьбу? Свой не слышный никому крик?

Болеть ведь неприлично и жаловаться на судьбу — неприлично. Прилично — терпеть и делать вид, что все идет как надо. По плану. Пока можешь делать вид и держать лицо.

...Я беру с пояса, снимаю с пояса волшебный рог Сьюзен и выдыхаю в него со всей силой своих легких сигнал, призыв, крик о помощи!

2.1.94.

Одно хорошо: ко мне можно приезжать — праздничные дни, — и каждое утро, сегодня — третье, я со своими, милыми. А дальше — опять неведомое, и ты не в своих руках.

В сущности, что такое — мы?

Встретившиеся в бесконечности бытия маленькие живые звездочки — и родители, и дети, и близкие, — встретившиеся и сколько-то пребывшие в счастье и печали... — скажем красиво — просиявшие! — для нас самих ведь так!

Господи, помоги мне!

10.1.94.

Вчера не стало Анны Алексеевны, “бабы Ани”, Томиной мамы. Я ее любил.

И чуть ли не в тот же день в Ярославле умерла Люся, сестра Томы.

Вот так — это уже не где-то спереди рвутся снаряды, а — среди нас. Пришла беда — отворяй ворота — держи круговую оборону.

Господь когда-нибудь да поможет нам — неужели в нас настолько сошлось зло? Или — “слабое звено в цепи”?

Надо решить для себя: записывать что-либо или не записывать ничего.

Надо найти в себе какое-то равновесие.

Когда-то я писал о том, что самая большая и страшная

неожиданность мгновенно становится фактом быта, бытовым явлением, как бы вживляется, и все уже у нее в плену, и начинается новый отсчет времени и всему.

Равновесие? В самой возможности, уверенности, что можно и нужно еще побороться. Но без некоторого везения, без поддержки — как? И все равно — выхода нет — держаться и держаться.

Если б я был один, было бы проще...

Вечером по телефону Тома напомнила: “Уныние — грех”.

Все верно: надо так,

надо так —

изо всех сил.

12.1.94.

Господин Б. Е. в тронной речи упоминал политиков, постигших “тайны власти”, и радовался, что их много среди новых парламентариев.

Тот, кто сочиняет речи этого ренегата из обкомовских секретарей, не понимает, что значит — “тайны власти”. Не понимает, что через упоминание “тайн” идет худшая аттестация политика и самой существующей системы власти.

14.1.94.

<...> Как глубоко и не контролируемо разумом оседают в сознании важнейшие впечатления и переживания!

Именно сегодня ночью видел во сне <...> бабу Аню — Анну Алексеевну — и вспомнил, что я не поздравил ее с чем-то — то ли с именинами, то ли со старым Новым годом (как раз была эта ночь). И — поздравил и поцеловал в щеку.

Когда проснулся — удивился сну.

И силе внутреннего, потаенного переживания!

25.1.94.

Какое-то дикое, дикое невезение! <...> Неужели все собралось, сосредоточилось, чтобы со мной покончить?

Мало одной хвори — так еще, еще!

Упаси меня, Господи, от этих щедрот зла!

Все-таки собрался с духом и пошел гулять под вечер — два часа побродил под соснами. И думал: пока гуляешь, не чувствуешь себя больным. Конечно, помнишь, но все равно — ощущение жизни совсем не то, что в палате, когда лежишь на койке. Или правда — воздух целебен и могуществен!

И еще стоял у сосен, прижимая ладонь к их теплым стволам — живым!

27.1.94.

Вчера вечером: не стало Адамовича. В одночасье.

Снаряды рвутся вокруг.

За Кондратьевым — Алесь Михайлович.

Глядя на его лицо на телеэкране (в последнее время это было редко), я предполагал, что он нездоров. Была в лице какая-то одутловатость. И активность его упала.

Где-то в каком-то суде — значит, на пределе переживаний.

Проклятое время!

29.1.94.

— Понимаешь ли, что с тобой?

— Понимаю. Абсолютно ясно.

— Готов ли ты, понимая, противостоять до конца?

— Готов.

— Но не все же в твоих силах. Вспомни, к кому ты обращался в заснеженном парке, под соснами?

— Да. Не все. И, может быть, не так уж много в моих. Но если бы немного везения — у меня давно его не было. И главное — быть

помилованным,

поддержанным,

укрепленным...

Другого ответа у меня нет и другой надежды тоже. Только эта.

Не загадывай, не считай, не предполагай, не планируй, не верь, не надейся, не слушай — иди вперед...

Не мечтай, не заглядывай в дальние дни, не рассчитывай, не утешай себя — иди вперед...

3.2.94.

Утро. Почему-то вспомнил, как вечерами в Костроме сидели на диване и я читал тебе книжки. И засыпал, читая, и, засыпая, читал, и получалась какая-то ерунда. И ты толкал меня в бок: “Папа, не спи!”

4.2.94.

Ну вот — жалею, что не ушел домой на субботу-воскресенье. Из-за чего не ушел? Из опаски что-то нарушить, ухудшить в своем состоянии?

Да, я хочу спокойно дотерпеть — т. е. сделать то, что могу и что от меня зависит!

Если б все остальное зависело так же от меня! Только уповать остается, что что-то изменяется в мою пользу, т. е. полезно мне и

помогает.

После чтения “НГ”:

виновата сама интеллигенция (ее наиболее активная, шумная, заметная часть), что все так вышло: как всегда, спешили, как всегда, красовались, поглядывая на себя в телеэкран, как всегда, думали, что истина на их стороне, в кармане, — и крушили, высмеивали, топтали то, что следовало всего лишь изменять и перестраивать...

Они дружно убивали социалистическую идею и теперь оказались пустыми, бессмысленными, ничего не имеющими за душой — осталось все чужое, скучное, эгоистическое... “Народ” в устах этой интеллигенции — запретное, почти бранное (Ю. Карякин) слово.

Когда это произошло, права называть себя интеллигенцией не стало.

Сосед по палате отправился домой. Одному хорошо. Сосед попался неплохой — не чересчур разговорчивый — здесь это великое благо. Но когда один, еще лучше. Хотя нагрузка на душу — скажем так — сильнее: ничто не отвлекает и не заставляет с собой считаться. Я запретил себе считать, но считаю и зачеркиваю дни с сеансами...

Читаю “Войну и мир”, уже третий том. Прекрасно. Читаешь — будто живешь другую жизнь; или по крайней мере участвуешь в ней, наблюдаешь ее — не как хаос и бессмыслицу и пошлость, а как исполненную и смысла, и красоты, и значения, и блага — после растерзанной этой нашей жизни, у которой пытаются отнять и порядок, и смысл, и красоту, и достоинство, и благородство...

Оставлены: деньги и пошлость. Взамен всему, что было: погоня за деньгами, их культ и — пошлость, пошлость, бесцеремонность, их гнет!

[Б.д.]

То, что происходит, — это поражение.

Я не знаю, чувствуют ли те, кто истратил много слов, ускоряя перестройку, разгоняя, т. н. “прорабы” и среди них люди, которых люблю и ценю по сей день, что мы все, кто хотел обновления жизни, потерпели поражение?

Чувствует ли это Марк Захаров, может быть, открывший для себя, что в его иронии и патетике появилась и разрасталась фальшь?

Входили в прорыв и потеряли там друг друга.

И по сей день — одно и то же: кого бы еще обвинить из тех,

кто давно знаком, и стать рекордсменом обвинений.

5.2.94.

Документальный фильм “Остров мертвых” — о русском искусстве начала века (так называется одна из работ О. Берд?).

Без авторского и всякого текста — документальные кадры и фрагменты из фильмов той поры (Вера Холодная и т. д.).

Доходит и до мировой войны: одни танцуют и веселятся, другие — пригибаясь, бегут в траншеях.

Эта вечная параллельность, вечная несправедливость, и насколько больше настоящего, живого — во фронтовых кадрах (перебежки, бои, братание, солдатские митинги...).

И сколько надежды в лицах, выхваченных (оставленных!) камерой на улицах Питера (демонстрации, революционное возбуждение толпы).

Морозно сегодня. Хорошо. Гулял. Только бы выдержать...

Какая-то лестница без перил, ведущая вниз с откоса, напомнила вдруг Хосту, санаторий на высоком берегу, где был Никита... Вспомнил, как я прилетел, как встречала меня Тома с букетом цветов, как мы жили в странном доме под какой-то горой, как ходили к Никите, как гуляли с ним, как переживали за него, как спускались вниз по похожей лестнице к морю, минуя ж.-д. полотно.

Господи, думаю теперь, какие мы были счастливые...

...теперь вспоминаю как счастье... вечерние прогулки, поездки в Сочи, все настроение тех дней и вечеров, и весь необычный ландшафт, и множество деталей быта... Написать бы и это подробнее...

6.2.94.

День встреч — на прогулке по морозу. Сначала окликнула женщина паролем “Кострома” и Дедков. Я не узнал, оказалась — Торопова, жена В. И. Торопова. Когда-то мы жили в одном доме на ул. Димитрова. Торопов тогда был первым секретарем обкома ВЛКСМ. Я передал привет ее мужу. Она сказала, что он будет звонить в понедельник. Т. е. она здесь “поправляет здоровье”. Она права: тогда, на ул. Димитрова, мы начинали жизнь, а сейчас, мягко говоря, “поправляем здоровье”.

Потом меня еще раз окликнули, и опять я не узнал, кто это. И немудрено: не виделись более 30 лет. Оказалось, Андрей Полонский, более 20 лет проработавший за границей от АПН (Камбоджа, Бразилия, Испания).

Поразговаривали. У него стенокардия. В палате — телефон.

Платит тысячу за день. Такое мне не по карману. Журналистику он оставил. Вместе с женой Ирой Шнейдер — организовал маленькую туристскую фирму для “новых русских” (Испания, Португалия, где сохранились связи и знакомства). Да, в самом деле в Андрее появилось (зацепилось) в облике нечто испанское. Ну что ж, у него вполне благополучная жизнь — можно сказать, на дистанции он обошел меня. Другое дело, что мы бежали разные дистанции; во всяком случае, не одну и ту же.

Он, как можно предположить, бежал свою с помощью госбезопасности. (АПН, особенно в ту пору — своего начала и расцвета, было хорошей крышей для агентуры.)

7.2.94.

Прочел Сараскину в “МН” (№ 5) про народ. Среди мотивов народного раздражения (“одурение”) рассматриваются многие, но главный, м. б., связанный с инерцией социального воспитания и социальных взглядов (справедливость!), ею опущен. Сараскина думает, что поминаемый ею народ новую мифологию (деньги как главная цель и собственность как основа благой жизни, счастливая) принял. Но, кажется, это не так, и “серые зипуны” (Достоевский в эпиграфе) еще могут кое-что сказать сами. Сараскина же думает, что сами они ничего сказать не могут.

18 февраля утром умер отец. <…>

Я запомню: как вечером собирался уходить домой и стоял у притолоки дверей той комнаты, где на диване лежал отец, и он попросил: “Не уходи”.

Казалось, в тот вечер ему было все равно: он почти не разговаривал, т. е. вообще не говорил. Говорили мы с Ирой, уговаривали поесть каши и т. п., а он отказывался. И тут вдруг неожиданно: “Не уходи”.

И я, понятно, задержался, что-то сверх всего почувствовав — нашу связь.

Когда я ездил к ним по три раза на неделе, уставая и, в сущности, больным, лишь отец, словно пробуждаясь от своей отключенности, беспамятства, провожал меня до лифта, жалел меня, — нет, не говоря, а ясно давая понять, что он видит, как я урываю это время, отнимая от своего, чтобы быть с ними, стариками.

Сквозь все ужасающее это беспамятство, такое бытовое уже, привычное, не способное уже напугать, вдруг в редчайшие моменты, мгновения проступало в отце — из глубины, из остатков сознания — понимание своего положения, своей обреченности.

Для себя он уже был чем-то только сиюминутным; его память перешла к нам — в меру нашей памятливости, и я на прогулках напоминал ему его жизнь: Смоленск, войну, послевоенную Ухтомку...

Теперь его нет совсем. И “сегодняшнего”, “сиюминутного”. Я не испытываю потрясения; я был к этому готов; за время больницы я подготовлен ко всему.

Я не потрясен, но с ним перешла в абсолютное прошлое часть моей жизни. Это что-то дорогое, уходящее на дно моей души. Туда, где уже многое — многие памяти — скопилось.

В ночь на 19 февраля.

Бедный мой папа!

Было что-то фатальное в том, как уходила память. Наверное, если б в свой час мы сильно бы вмешались в вашу с мамой жизнь, можно было бы помочь.

Но человек — растение в своей почве. Почву эту невозможно было изменить.

Эта сильная последняя тяга — как в трубе: с нею не справиться.

У меня сухие глаза; я это знал, и я был бессилен тебе помочь с двадцатых чисел декабря. Прости меня...

Мои сухие глаза ничего не значат. Все во мне.

Я бы не хотел спешить за тобой. Может быть, Господь Бог мне поможет. Это же не война, чтобы косить всех подряд. Это же жизнь, и она должна продолжаться.

Я буду помнить только лучшее. Твою позднюю гордость за меня. После всех разочарований во мне. И твою любовь к литературе, перешедшую ко мне. Стена неизбежности. Вот на что надо тратить свои упрямые лбы!

22.8.94.

Пребывая в Кронштадте, А. Н. Яковлев (он привез кронштадтскому командованию радостную весть о скорой реабилитации мятежников 1921 года) беседовал с корреспондентом ленинградского ТВ о разных умных вещах. “Ну вот, — говорил А. Н., — многие жалуются, что не стало идеалов. Чепуха. Разве не прекрасный идеал — свобода?! Разве мало этого идеала?” И глаза одного из вдохновителей перестройки молодо вспыхнули...

Услышь я эти слова где-нибудь в году восемьдесят шестом — восемьдесят седьмом, может быть, и мои глаза в ответ тоже вспыхнули бы. Но сегодня ничто во мне не отозвалось. Слова были веселы не в меру; они исходили из какого-то другого,

сановного опыта — не моего, не моих близких, — из опыта какой-то благополучной и сытой свободы, из чувства превосходства над людишками, не понимающими своего счастья...

Я не понимаю счастья быть одним из участников перехода к капитализму. Я к ним не принадлежу.

Свобода оказалась двуликим Янусом: она повернулась блудливой мордой к большинству моего народа.

Свобода требовала бережного обращения, но после августа 1991 года политическая ставка была сделана не на лучшие, а на худшие качества человека, и свобода на то и сгодилась: на оправдание блуда, наглости, насилия, хамства, цинизма, агрессивной безответственности.

Это, конечно, приятная новость: вот-вот реабилитируют кронштадтских мятежников; на очереди, говорят, полное оправдание русского крестьянства (сподвижников Антонова, т. н. “кулаков”, “подкулачников” и т. д.); потом, возможно, придет черед Фаины Каплан и т. п. Не могу понять Временного правительства, особенно его министров юстиции, почему они для пущего торжества свободы в России не реабилитировали, к примеру, декабристов, моряков “Потемкина” и “Очакова”, или Желябова с Перовской, или Каляева? Да и ленинский Совнарком мог прославиться на том же славном поприще. Что-то им мешало, и тем, и другим. Не хватило истинного осознания своего исторического могущества, своей безграничной власти над прошлым...

...Боже, как они пинают мертвых, мужчин и женщин!

Откуда у них это чувство превосходства? Будто они больше знают, понимают, видят? Трутся в коридорах власти, ждут в передних, ловят слухи, сплетни, жмутся к тем, кто сегодня сильнее и выше. Юра Карякин, возгласивший: “Россия, ты одурела!”, давний мой знакомец (или приятель), что ты знаешь о России, когда ты в последний раз ее видел? Это Солженицын ее видел, хотел увидеть и выслушать, и теперь заступничает за всех услышанных и пытается докричаться до тупого слуха царующей в России “демократии”. Он несет весть о России, а она власти не нужна, не нужна Москве и Кремлю. Как можно было проплыть всю Волгу и лишь дважды сойти на берег! Пропустить такие города — саму Россию — как?[355] Это все равно, что Солженицын бы в своем путешествии дважды сошел с поезда, а остальное наблюдал бы в окошко. Екатерина Великая... Борис Михайлович Кустодиев перед смертью, прикованный к креслу, плыл на пароходе по Волге в последний раз — он прощался с Родиной, с Россией. Подумаешь: сантименты! У нас другие возможности: в любой момент на самолете туда-сюда; у властвующих нет

времени на посторонние чувства... Россия не в чести — это так!

Обкомовские чиновники в своем большинстве были важны и как бы заключали в себе некое преимущество перед прочими. Это было писано на их лицах: они знали и ведали то, что не знали и не ведали мы. Я тоже мог оказаться среди них — где-нибудь посредине 60-х, — но мелькнувшая эта идея быстро погасла по своей, думаю, несовместимости с моей личностью. Т. е. по здравом размышлении решили, предложив как бы между прочим, не настаивать...

В обкомовских судьбах, как бы ни были несхожи человеческие индивидуальности, много общего: решающе общего. Особенно если говорить о секретарских чинах. Особенно если они воспитанники аппарата.

Уже после моего ухода из газеты взяли сотрудником активного автора — сельского учителя из близлежащего района. Проработал он недолго и оказался в инструкторах отдела пропаганды и агитации обкома. Получил право поучать и наставлять своих недавних товарищей. Я видел его в новом качестве — заматеревшим, с неподвижным лицом. Он мог бы работать в газете — чем плохо, но предпочел другое. Так делают выбор, и хотя можно потом уклониться, но непросто. Когда-то такой выбор сделал А. Н. Яковлев. Фронтовика-инвалида не осудишь, но потом, окрепнув и оглядевшись, он мог уклониться, но, возможно, и в голову не пришло. Начался подъем “наверх”, и он таки дошел до самого верха, чтобы потом, когда сооружение рухнуло, отречься от всего, чему служил. Иногда меняют благополучие на гонения или гонения — на благополучие, он “менял” одно благополучие на другое, один “верх” на другой “верх”. Это змея, говорят, сбрасывает кожу; может ли человек? Может ли человек, дожив до старости, забыть, как жил до сегодняшнего утра, и объявить, что с нынешнего утра он все понял, пересмотрел и т. п. и от прежних своих взглядов отказался?

Конечно, может. Но пусть тогда объяснит, что означала его предыдущая жизнь. Или он жил в неведении и тумане — обманутым, одураченным, или то было лицемерие и лицедейство? Ладно бы, речь шла о чем-то глубоко личном: верил человек в одного Бога, потом разуверился, поверил в другого... Но он-то в некотором роде был священником, митрополитом, почти патриархом, вел за собой паству. Вина, если подумать, огромная... И — непризнанная... И осознана ли?

25.10.94.

Я ничего не хочу писать. Я заболел от запахов расцветшей

“демократии”.

Это фантастика, но, м. б., я даже бы выздоровел, если бы эта вся “президентская рать” куда-нибудь исчезла и вместе с ней всосались бы назад, в темные глубины, эти хамство и наглость, — черная жижа т. н. свободы.

6.11.94.

Куда не ездил, не летал, отказываясь под разными предлогами? Не хотелось нарушать привычное течение жизни, работы и т. д. Так вот куда же? На Кубу, в Чехословакию, Венгрию, Марокко, Индию.

Евтушенко (по ТВ) говорил, что побывал в 93 странах.

У Л. Гроссмана прекрасно написано о Пушкине, который дальше Молдавии не бывал, который мог бы беседовать где-нибудь в Европе с тамошними знаменитостями искусств и философии, а вынужден был обходиться знакомством и беседами с какими-нибудь молдаванами и цыганами (кажется, так у него написано, а впрочем, смысл ясен: не на той орбите вращалась пушкинская планета, не на той высоте, а вот поди ж...).

А вчера — солнечный, мартовский день — гуляли с Томой до смотровой площадки Ленинских гор и потом к университету — я шел и говорил себе: благодари за каждый день, такой или не такой, — благодари за счастье идти рядом с родным человеком и видеть над собой это ясное голубое небо и слепящие полотнища снега, за каждый миг жизни благодари!

Это прекрасно понято Т. Уайлдером в “Городке”. Незабываемо понято.

7.11.94.

Солнце, то ли снежок, то ли иней, нулевая температура, хорошо хоть люди не замерзнут — те, кто пойдет сегодня на митинги и демонстрации. И мне бы пойти, да грехи не пускают. Праздник полуотмененный-полупридушенный. Это французы отмечают день взятия Бастилии как национальный праздник, наши же “демократы” по сей день захлестнуты ненавистью.

Вот благо и преимущество: судить других, особенно дельных, мертвых. Как стая ворон — расклевывают...

11.11.94.

Немало прошло дней, а забыть невозможно... Могли бы ведь и встать, подумал я, когда Солженицын поднимался на трибуну Государственной Думы. Могли бы и подзабыть на минутку свои несогласия, несовпадение взглядов и прочее. Могли бы отдать должное этому человеку, его писательскому таланту и огромному

труду, его духовной стойкости и храбрости, его исторической роли в преобразовании России. Могли бы и встретить его приветственной речью председателя Думы. Но до того ли, до таких ли тонкостей?.. Встретили жидкими аплодисментами, слушали с кислыми лицами и проводили теми же жидкими хлопками. Не пятая это Дума, Александр Исаевич, а какая — не знаю, да и Дума ли?.. Но уже книжка кратких биографий с портретами выпущена, а на обложке — Пятая! Понравилось, что они наследники и продолжатели, но под силу ли им наследовать Родичеву, Маклакову, Шульгину, Муромцеву, Милюкову?

В конце концов, вовсе не в том дело, сколь уважительной и сколь сознающей значение момента была Дума. Существеннее другое — отзвук, отклик слушавших, нашедшие отражение в т. н. СМИ. Особенно интересен отклик со стороны демократической и литературной. Тут есть над чем подумать...

2 дек. 1994.

<...> Наше молодое безумство: отъезд ночным поездом в Кострому (с Октябрьского поля, тогда — Первой улицы). Плацкартный вагон: наше переглядывание, касание пальцев — сверху (я на верхней полке) — вниз, снизу — вверх. Утром на вокзале Володя Ляпунов с цветами. И отплытие — до Сандогор, и карта, которая нас подвела... И ночевка в каком-то деревенском доме на полу... И переживания, и томление... И утренний выход в путь к Любиму... Не знаю, принес ли я тебе счастье, ты мне — да! Другого не хотел, не воображал, не искал. Без тебя моя жизнь, все лучшее и достойное в ней не состоялось бы. Ты всегда была моей единственной.

Это последняя запись в дневнике. 27 декабря 1994 года Игорь Александрович Дедков скончался.

***

Публикация и примечания *Т. Ф. ДЕДКОВОЙ.*
Опубликовано в журнале «Новый мир»,
1996, № 4 — 5;
1998, № 5 — 6;
1999, № 9, 11;

2000, № 11 — 12;
2001, № 11 — 12;
2003, № 1 — 4.

Фрагменты дневниковых записей 1987 — 1994 годов были опубликованы журналом «Свободная мысль» (1995, № 9 — 10).

notes

Примечания

1

Речь идет о вечере поэзии, посвященном 60-летию со дня рождени В. В. Маяковского.

2

Июньский Пленум ЦК КПСС, о котором упоминает здесь автор дневника, вывел из состава Центрального Комитета так называемую "антипартийную группу" Маленкова - Кагановича - Молотова, что означало победу линии Н. С. Хрущева на демократизацию в стране.

3

Сам В. Овечкин, несколько позднее в письме от 11.11.57 одному из своих корреспондентов, сообщал: "Пусть Вас не смущает то, что моей фамилии больше нет в составе редколлегии "Литературной газеты". Я сам этого добился <...> Я не могу по-настоящему участвовать в работе редколлегии, живя в пятистах километрах от Москвы" (см.: Овечкин В. Статьи. Дневники. Письма. М. 1972, стр. 180).

4

Флорентьев Л. Я. - первый секретарь Костромского обкома КПСС с 1956 по 1965 год.

5

Козлов Ф. Р. (1908 - 1965) - секретарь ЦК КПСС в 1960 - 1964 годах.

6

9 марта 1953 года - похороны Сталина.

7

Шабаново - деревня в Вологодской области, ныне не существующая, где был дом родственников.

8

Колотилов Н. Ф. (1919 - 1967) - костромской писатель, участник Великой Отечественной войны.

9

Время Карибского кризиса.

10

Т. А. Львова-Макеева, журналист, однокурсница И. Дедкова по университету.

11

Грин Г. Суть дела. Роман. Перев. с англ. М. 1961.

12

Бочков В. Н. (1937 - 1991) - историк, краевед, друг И. А. Дедкова.

13

Речь идет о 4-й книге воспоминаний И. Г. Эренбурга "Люди, годы, жизнь".

14

Белый А. Дневник писателя. М. "Записки мечтателей". 1919, No 1; 1921, No 2 - 3.

15

Фильм польского кинорежиссера Витольда Лесевича по роману Юзефа Хена (1961). В нашем прокате - "Незабываемая весна".

16

В демобилизации отца из армии неблаговидную роль сыграл Особый отдел, обвинявший А. С. Дедкова в недостаточно идеологически выдержанном воспитании детей.

17

И. Дедков работал над книжкой под условным названием "На перевале" - об А. Воронском, известном литературном критике и редакторе журнала "Красная новь".

18

Турков А. Салтыков-Щедрин. М. "Молодая гвардия". 1964 (серия "Жизнь замечательных людей").

19

Никитин А. И. — костромской писатель.

20

Статья И. Дедкова “Жребий Акакия Акакиевича” (о “маленьком” человеке в современном мире, о прозе Ф. Кафки и др.), отвергнутая в 1967 году отделом критики “Нового мира”, была опубликована в кн.: Дедков Игорь. Обновленное зрение. М. “Искусство”. 1988.

21

Дедков И. Страницы деревенской жизни. Полемические заметки. — “Новый мир”, 1969, № 3.

22

Предложение перейти на работу зам. зав. отделом обкома КПСС.

23

Дедков И. Великие предметы. Политическая проза юбилейного года. — “Литературная газета”, 1967, № 24.

24

Автор дневника работает над статьей “Герои современной драмы”. Статья 1968 года опубликована впервые двадцать лет спустя в кн.: Дедков Игорь. Обновленное зрение. М. “Искусство”. 1988.

25

На партийном собрании редакции газеты “Северная правда” осудили публикацию И. Дедковым статьи в журнале “Новый мир”.

Малышев В. — костромской журналист.

27

А. К. — спортивный журналист (Москва).

28

Речь идет о студенте Яне Палахе, который сжег себя на одной из пражских площадей в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию.

29

Военный конфликт с Китаем на острове Даманском.

Хромченко — сотрудник Костромского УКГБ.

31

Валерий З. — работник музея, на которого КГБ вел “дело”.

Епихин — сотрудник Костромского УКГБ.

Дедков И. О провинции — без иронии. — “Комсомольская правда”, 1970, № 68.

34

Дедков И. Там, у далекого озера... (К/ф “У озера”, реж. С. Герасимов). — “Северная правда”, 1970, 30 апреля. С. Герасимов откликнулся на эту рецензию письмом Дедкову.

35

Архипов Б. С. — секретарь Костромского обкома КПСС по идеологии в те годы.

36

Обком партии посылал журналистов на курсы повышения квалификации в Высшей партийной школе в обязательном порядке.

37

Шелест Г. И. (1903 — 1965) — русский писатель, печатался с 1924 года; был репрессирован. Лучшие рассказы и повести, посвященные Гражданской войне, собраны в книге “Горячий след” (1-е изд. — 1958, 2-е изд. — 1966).

38

Похороны космонавтов В. Н. Волкова, Г. Т. Добровольского, В. И. Пацаева, погибших при завершении полета “Союза-11” и орбитальной станции “Салют”.

39

С 16 сентября 1971 года по 20 февраля 1976-го И. Дедков работал заместителем главного редактора газеты “Северная правда”.

И. Дедков главным редактором журнала “Проблемы мира и социализма” К. Зародовым был приглашен на работу в Прагу. В обкоме КПСС уже оформили выездные характеристики, но поездка была приостановлена, скорее всего Комитетом госбезопасности в Москве и аппаратом ЦК КПСС.

Тупиченков В. А. — редактор “Северной правды” в те годы; Александров В. С. — ответственный секретарь газеты; Бочарников В. А., Шапошников В. И. — местные писатели.

42

Виноградова М. С. — старый член партии; муж ее, Я. Кульпе, руководитель крупной стройки на Дальнем Востоке, был репрессирован в 1937 году.

43

Имеется в виду дневник военного корреспондента ТАСС и связного Коминтерна при руководстве ЦК КПК в Яньани П. Владимирова (“Особый район Китая. 1942 — 1945”. М. 1974).

Дедков И. Последние штрихи. О творчестве В. Шукшина. — “Дружба народов”, 1975, № 4.

45

Письмо сотрудника журнала “Проблемы мира и социализма” о мотивах отказа И. Дедкову в праве работать в этом периодическом издании.

Гашин И. А. — заведующий отделом пропаганды и агитации в газете “Северная правда” (Кострома).

47

Грибов Ю. Т. — в 70-е годы главный редактор еженедельника “Литературная Россия”, один из секретарей правления СП РСФСР и СП СССР.

Дедков И. На вечном празднике жизни. О творчестве В. Астафьева. — “Вопросы литературы”, 1977, № 6.

Дедков И. Василь Быков. Очерк творчества. М., “Советский писатель”, 1980.

Дедков И. Полежаевские истории. (Л. Фролов. Во бору брусника. М., 1977). — “Литературная газета”, 1977, № 34.

Оскоцкий В. Богатство романа. Многообразие и единство. М., 1976.

Дедков И. Возвращение к себе. Литературно-критические статьи. М., “Современник”, 1978.

Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Т. 1. М., “Наука”, 1976.

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

55

Борис Вайль 9 февраля 1993 года писал И. Дедкову из Копенгагена: “Читали ли Вы мемуары А. Гидони — вышли в Канаде лет 15 назад, — где, в частности, и о Вас (автор получал задания стучать на Вас в Костроме, а вот стучал ли — насколько я помню, — не признается)”.

А. Гидони в 70-е годы преподавал в Костромском пединституте им. Н. А. Некрасова, выехал на Запад .

56

Как стало известно в последнее время, зам. зав. Отделом ЦК КПСС по работе с заграничными кадрами и выездам за границу в те годы А. К. Долуда заявил представителям Костромского обкома партии: Дедкова выпустить не можем. Знаете ли вы его историю в МГУ?

Долуда пришел в ЦК КПСС из КГБ, был в охране Н. С. Хрущева.

Редактор журнала “Свободная мысль” Н. Б. Биккенин в послесловии к посмертно изданной книге Дедкова “Любить? Ненавидеть? Что еще?” вспоминает: “Хотя на дворе был второй год перестройки, для его (Дедкова. — *Т. Д.*) работы в журнале “Коммунист” потребовалась санкция М. Горбачева”.

57

В молодежном лагере “Волгарь”, близ Костромы, состоялось Всероссийское совещание молодых писателей.

Стасик — Лесневский С. С., литературный критик, литературовед.

Дедков И. Не щади себя. — В кн.: Овечкин В. Районные будни. Воронеж, 1980.

60

Мартынов — герой очерков “Районные будни”, противостоящий сталинисту Борзову.

61

Фильм снят в 1969 году режиссером Роблесом Годоем.

62

Чумаков М. М. — балетмейстер спектакля “Роза и крест” (по пьесе А. Блока), поставленном зимой 1920 года в Костроме режиссером Ю. М. Бонди.

63

Рязановский И. А. — искусствовед и юрист, друг А. Ремизова, М. Пришвина, Б. Кустодиева, основатель Костромского музея (1913).

64

Речь идет о Собрании сочинений Г. Троепольского в 3-х томах (Центрально-Черноземное книжное издательство, Воронеж, 1977). К этому трехтомнику Дедков написал предисловие.

65

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

69

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

71

Бочковы — костромские друзья Дедкова и его семьи.

Дедков И. А. Василь Быков. Очерк творчества. М., “Советский писатель”, 1980.

73

В письме писателя А. Адамовича шла речь об очередной (неосуществившейся) попытке друзей Дедкова перетянуть его в Москву на постоянную литературную работу.

74

Имеется в виду статья писателя Ф. Абрамова (1920 — 1983) “Люди колхозной деревни в послевоенной прозе” (“Новый мир”, 1954, № 4), в которой критиковался роман С. Бабаевского “Кавалер Золотой Звезды” и ряд других произведений за идеализированное изображение жизни послевоенного колхозного села. На статью Ф. Абрамова резко отреагировала официальная советская критика.

Дедков упоминает полемические статьи литературных критиков и публицистов Ю.Селезнева, В. Кожинова, В. Лакшина и Ю. Карякина о творчестве Достоевского, появившиеся в ту пору в периодической печати к столетию со дня его смерти.

Быков В. В. — белорусский писатель, автор романов и повестей “Мертвым не больно”, “Атака с ходу”, “Круглянский мост”, “Сотников”, “Карьер” и др. Ныне живет в Финляндии.

Лазарев Л. И. — литературный критик, ныне главный редактор журнала “Вопросы литературы”.

78

Николаев П. А. — академик РАН, литературовед, историк литературы. В 50-е годы читал лекции по русской литературе на факультете журналистики МГУ, был научным руководителем дипломной работы Дедкова.

79

Богомолов В. О. — писатель, автор повестей “Иван”, “Зося”, романа “В августе сорок четвертого...” (“Момент истины”). Далее в тексте упоминается как В. О. — Владимир Осипович.

Дедков И. А. Во все концы дорога далека. Литературно-критические очерки и статьи. Ярославль, 1981.

81

Оскоцкий В. Д., Сидоров Е. Ю., Аннинский Л. А. — литературные критики.

82

Переиздания книги Дедкова “Возвращение к себе” не было.

83

Фролов Л. А. — писатель, директор издательства “Современник”.

84

Селезнев Ю. И. (1939 — 1984) — литературный критик, литературовед, автор книг “В мире Достоевского”, М., 1980, “Достоевский” (серия ЖЗЛ), М., 1981. В 1981 году стал первым заместителем главного редактора журнала “Наш современник”.

Бочарников В. А. — костромской писатель.

Баландин Ю. Н. — первый секретарь Костромского обкома КПСС в те годы.

87

Грамши Антонио (1891 — 1937) — основатель и руководитель Итальянской компартии. В 1926 году был арестован и приговорен (в 1928 году) фашистским судом к двадцати годам тюрьмы. Освобожденный из заключения в 1937 году, через несколько дней скончался. В заключении Грамши занимался разработкой проблем философии, политики, истории. Его заметки, статьи, наброски, сделанные в фашистском застенке, после смерти Грамши были изданы в Италии в нескольких томах под общим заглавием “Тюремные тетради”. Перевод “Тюремных тетрадей” издавался и на русском языке.

88

Воронский А. К. (1884 — 1937) — литературный критик, мемуарист, прозаик, свою литературно-критическую деятельность начинал в Иваново-Вознесенске. Основатель и ответственный редактор толстого литературного журнала “Красная новь” (1921), которым он руководил до 1927 года. Позже Воронский был обвинен в троцкизме, репрессирован и расстрелян. Дедков работал несколько лет над книгой о Воронском, которую не успел завершить.

89

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1979. Это ротапринтное издание ЛГУ было депонировано Всесоюзным институтом научной и технической информации, и его можно было заказать на производственно-издательском комбинате ВИНИТИ в Люберцах. Книга была издана “нормальным” типографским способом только в 1989 году и позже неоднократно переиздавалась.

Дедков И. Тотальные аргументы Александра Проханова, или Жизнь по-новому. — “Литературная учеба”, 1980, № 3.

91

Дедков И. Долгая память Зимнего берега. О творчестве В. Личутина. — “Дружба народов”, 1981, № 3.

Куняев С. Ю. — поэт, публицист, литературный критик, ныне главный редактор журнала “Наш современник”.

93

Кузнецов Ф. Ф. — литературный критик, литературовед, доктор филологических наук, ныне директор ИМЛИ.

XXVI съезд КПСС.

95

Леонович В. Н. — поэт, автор книг “Во имя”, “Нижняя Дебря”, “Хозяин и гость” и др., переводчик грузинской поэзии. Родился в Костроме, в 70 — 80-е годы работал в Костромской области.

Григорьян Л. Г. — поэт, живет в Ростове-на-Дону.

Костромская ГРЭС.

98

Адамович А. М. (1927 — 1994) — писатель, публицист, общественный деятель. Автор дилогии “Партизаны”, “Хатынской повести”, книг “Я — из огненной деревни” (совместно с Я. Брылем и В. Колесниковым), “Блокадная книга” (в соавторстве с Д. Граниным), “Каратели” и др.

Дедков И. Когда рассеялся лирический туман... О “московской прозе”. — “Литературное обозрение”, 1981, № 5.

100

Сикорский Владислав (1881 — 1943) — польский генерал, премьер-министр польского эмигрантского правительства в 1939 — 1943 годах, подписал (30 июля 1941 года) договор с СССР о возобновлении дипломатических отношений. Погиб в авиакатастрофе. В 1981 году в польской прессе поднимался вопрос о перенесении праха Сикорского из Англии на родину.

101

Речь идет о книге Дедкова “Василь Быков” (М., 1980) .

Енишерлов В. П. — литературный критик, член редколлегии журнала “Огонек” в те годы. Ныне главный редактор журнала “Наше наследие”.

103

Яновский Н. Н. — литературный критик, литературовед .

104

Ядринцев Н. М. (1842 — 1894) — выдающийся общественный деятель, публицист, ученый, исследователь Сибири, автор книги “Русская община в тюрьме и ссылке” и др. Дедкова интересовало творчество сибирских писателей Г. Н. Потанина, А. Е. Новоселова, А.П. Щапова, все “сибирское областничество”

105

Ланщиков А. П. — литературный критик, автор книг “Времен возвышенная связь” (М., 1969), “Славься, Отечество” (М., 1975), “Чувство пути” (М., 1983) и др.

Дедков И. Простор рассказа, воспарение души, или За какую команду вы играете? О прибалтийском рассказе. — “Дружба народов”, 1981, № 9.

107

Турков А. Энергия справедливости. — “Литературная газета”, 1981, 3 июня.

108

Редактором “Литературной России” в те годы был Ю. Т. Грибов.

109

Семин В. Н. (1927 — 1978) — писатель, автор повестей “Семеро в одном доме”, “Женя и Валентина”, романов “Нагрудный знак OST”, “Плотина” (не окончен).

Володя и Никита — сыновья Дедкова.

111

Валентин — В. Д. Оскоцкий.

112

Речь идет о Седьмом съезде Союза писателей СССР, который проходил в Москве с30 июня по 4 июля 1981 года.

113

Быков В. В., Адамович А. М., Брыль Я. А., Колесник В. А. — белорусские писатели, поэтому Дедков сохраняет в дневнике белорусское написание фамилии Колесника — Калесник. Далее в дневнике А. Адамович, Я. Брыль и В. Калесник фигурируют как авторы книги “Я из огненной деревни...” (Минск, 1975).

Нинов А. А. (1931 — 1998) — ленинградский литературный критик и литературовед. Ниже он обозначен в дневнике инициалами А. Н.

114

А. И. Солженицын.

Дедков И. О творчестве Федора Абрамова. — “Вопросы литературы”, 1982, № 7.

Дедков И. О судьбе и чести поколения. — В кн.: Бакланов Г. Собр. соч. В 4-х томах, т. 1. М., 1983.

117

В. В. Быков.

118

Гришин В. В. (1914 — 1992) — первый секретарь Московского горкома КПСС и член Политбюро ЦК КПСС в 1967 — 1985 годах.

119

Ю. Б. и Ю. Н. Б. — инициалы тогдашнего первого секретаря Костромского обкома КПСС Баландина Ю. Н.

120

Документальный роман Д. Гусарова об одном из драматических эпизодов Великой Отечественной войны в Карелии; был опубликован в журнале “Север” (1976, № 7 — 9).

121

Зазубрин В. Я. (1895 — 1938) — сибирский писатель, автор известного романа “Два мира” (1921). Творчеству Зазубрина посвящен второй том “Литературного наследства Сибири” под редакцией Н. Н. Яновского и том в серии “Литературные памятники Сибири” (Иркутск, 1980).

Скатов Н. Н. — доктор филологических наук, директор Пушкинского дома.

123

Дедков И. А. Во все концы дорога далека... (Обложка у книги неудачная, ярко-желтого цвета.)

Газета “Северная правда”, г. Кострома.

125

Богданович Владимир Петрович.

126

Волнения крестьян Казанской губернии в апреле 1861 года в ответ на земельную реформу. Центр волнений — село Бездна. Крестьяне требовали раздела всей помещичьей земли. Толпа была расстреляна войсками.

127

Каня Станислав — первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии в 1981 году.

128

Бочков В. Н. (1937 — 1991) — историк, краевед, писатель, друг И. Дедкова. В это время КГБ вел “дело” Бочкова, его нигде не принимали на работу.

129

Марков С. Н. (1906 — 1979) — поэт, писатель, автор книги “Юконский ворон”, исторических повестей “Идущие к вершинам”, “Люди великой цели” и др. Родился в посаде Парфеньево Костромской губернии.

130

Виноградов А. Т. — выпускник Петербургской медико-хирургической академии, земский врач, с 1878 по 1905 год работал в посаде Парфеньево, был его почетным гражданином, умер, простудившись в поездке по деревням.

131

Максимов С. В. (1831 — 1901) — русский писатель-этнограф, академик Петербургской академии наук, автор книг “Лесная глушь”, “Бродячая Русь”, “Крылатые слова”, “Нечистая сила” и др. Родился в Парфеньеве. Речь идет о портрете Максимова работы Н.В.Шувалова.

132

Озеров В. М. — литературный критик, в ту пору один из секретарей Правления СП СССР.

133

Кондратович А. И. (1920 — 1984) — литературный критик, заместитель главного редактора “Нового мира”, когда его возглавлял А. Т. Твардовский, автор “Новомирского дневника (1967 — 1970)”. Отдельным изданием “Новомирский дневник” вышел в 1991 году под общей редакцией И. Дедкова (М., “Советский писатель”).

134

Буртин Ю. Г. — литературный критик, публицист, сотрудник журнала “Новый мир” при А. Т. Твардовском.

135

Григоров А. А. (1904 — 1989) — костромской краевед, исследователь генеалогии дворянских родов. В 30-е годы был репрессирован.

136

Варлам Шаламов скончался 18 января 1982 года.

137

В областной газете Дедков проработал почти восемнадцать лет — с 1957 по 1975 год.

138

Травкин В. В. — писатель, автор деревенских повестей, живет в Судиславле. Повесть В. Травкина “Новоселье”, откуда взята цитата, публиковалась в журнале “Дружба народов (1985, № 7) с послесловием Дедкова.

139

Сухарев Д. А. — ученый–биолог и поэт, автор целого ряда стихотворных сборников, таких, как “Главные слова”, “Ковчег”, “Читая жизнь”, и др.

Негорюхин Б. Н. — сотрудник Костромского отделения СП РСФСР.

141

Маймонид Моисей (Моше бен Маймон; 1135 — 1204) — еврейский философ. Родился в Испании, жил в Египте, стремился синтезировать библейское откровение и арабский аристотелизм. Взгляды его оказали влияние на развитие схоластики XIII — XV веков.

142

Друцэ И. П. Белая церковь. Бремя нашей доброты. Романы. М., 1983. Послесловие И. Дедкова.

143

Юра — Туулик Юри, эстонский прозаик, драматург.

Федоров Н. Ф. Сочинения. М., “Мысль”, 1982 (серия “Философское наследие”).

145

Матвеевич Предраг — известный хорватский поэт.

Дедков И. Ирония вместо анализа. — “Литературная газета”, 1982, 11 августа.

Дитерихс М. К. Убийство царской семьи и членов Дома Романовых. Т. 1 — 2. Владивосток, 1922.

148

В журнале “Вопросы литературы” (1982, № 7) была опубликована статья Дедкова “О творчестве Федора Абрамова”.

149

Лощенков Ф. И. — первый секретарь Ярославского обкома партии в те годы.

“Наш современник”, 1982, № 7.

151

Щапов А. П. (1831 — 1876) — русский историк демократического направления, автор трудов по истории церковного раскола и старообрядчества, общины, Сибири. Учился в Казанской духовной академии, в 60-е годы читал лекции в Казанском университете.

152

Воейков А. И. (1842 — 1916) — русский климатолог и географ, основоположник климатологии в России.

Мочалов И. И. Владимир Иванович Вернадский (1863 — 1945). М., “Наука”, 1982.

154

Унт Мати — эстонский писатель.

155

Речь идет о переводе романа К. Воннегута “Сирены Титана”.

“Коммунист” — саратовская областная газета.

157

Дядя Витя — Дедков В. С. (1913 — 1982), брат отца Дедкова, Герой Советского Союза.

Имеется в виду писатель Богомолов В. О.

159

Червяков А. Г. (1892 — 1937) — партийный, государственный деятель Белоруссии, с 1924 года председатель ЦИК БССР, член ЦК КП(б) Белоруссии; действующее лицо в повести В. Быкова “Знак беды”.

160

Лугинин В. Ф. (1834 — 1911) — ученый–термохимик, прототип одного из героев романа Н. Г. Чернышевского “Пролог”, владелец большого поместья в с. Рождественское Костромской губернии.

161

Кинофильм “Объяснение в любви” по автобиографической повести Е. И. Габриловича “Четыре четверти” (режиссер И. А. Авербах, 1978).

Часовников А. М. — костромской поэт.

163

Недогонов А. И. (1914 — 1948) — поэт, участник Великой Отечественной войны. За поэму “Флаг над сельсоветом” получил Сталинскую премию (1948).

164

Камянов В. И. (1924 — 1997) — литературный критик и литературовед, участник Великой Отечественной войны, много лет проработал сотрудником отдела критики журнала “Новый мир”, на страницах которого опубликовал целый ряд статей и рецензий о современной русской литературе, автор книг: “О романе Л. Н. Толстого Война и мир””, “Доверие к сложности. Современность и классическая традиция” и др.

165

Секретарем ЦК КПСС по идеологии после смерти М. А. Суслова стал Ю. В. Андропов.

166

Кириленко А. П. в 1962 — 1982 годах — член Политбюро ЦК КПСС.

167

Корнилов В. Г., Гуссаковская О. Н. — костромские писатели.

Березюк И. И. — директор Алтайского книжного издательства в те годы.

169

Гребенщиков Г. Д. (1882 — 1964) — русский сибирский писатель, автор книг “В просторах Сибири” и др. С конца 1920 года пребывал в эмиграции.

Быков В. Повести. Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1982. Послесловие И. Дедкова.

171

Повесть А. Солженицына “Один день Ивана Денисовича” впервые была опубликована в ноябрьском номере журнала “Новый мир” за 1962 год.

172

Баруздин С. А. (1926 — 1991) — писатель, главный редактор журнала “Дружба народов” в 1966 — 1991 годах.

173

Семин В. Что истинно в литературе. Литературная критика. Письма. Рабочие заметки. Составители В. Н. Семина–Кононыхина и И. А. Дедков. М., “Советский писатель”, 1987.

В Костромском отделении Союза писателей РСФСР.

175

Шапошников В. И. — костромской поэт и прозаик.

176

Богданович А. В. — солист Большого театра, заслуженный артист республики в 30-е годы, двоюродный дед Дедкова. Жена А. В. Богдановича, М. Г. Гукова, — солистка Большого театра.

177

1 января 1983 года ведущая команда НХЛ “Монреаль Канадиенс” проиграла заключительную игру суперсерии московскому ЦСКА.

178

Бочков В. Н. (1937 — 1991), историк, краевед, писатель, друг Дедкова.

179

Здесь и далее идет речь о работе над книгой “Сергей Залыгин. Страницы творчества”. М., “Современник”, 1985.

180

Розанов Василий Васильевич — русский писатель, публицист, религиозный мыслитель.

181

Корнилов В. Г. — ответственный секретарь Костромской организации СП РСФСР в те годы.

Белов В. И. Лад. Очерки о народной эстетике. М., “Молодая гвардия”, 1982.

183

Алексеев М. Драчуны. Роман. — “Наш современник”, 1981, № 6, 7, 9.

Честертон Г.-К. Чарльз Диккенс. М., “Радуга”, 1982.

Аннинский Л. А. Лесковское ожерелье. М., “Книга”, 1982.

Пржиалковский А. Г. — костромской журналист.

187

Хоххут Рольф — немецкий драматург и публицист. Имеется в виду: Хоххут Р. Юристы. М., “ВААП-Информ”, 1983.

188

Баландин Ю. Н. — первый секретарь Костромского обкома КПСС в те годы.

189

Малый театр гастролировал в Костроме.

190

Лазарев Л. И. — литературный критик, ныне главный редактор журнала “Вопросы литературы”.

191

Кондратьев В. Л. (1920 — 1993) — писатель, автор повестей “Сашка”, “Отпуск по ранению”, “Встречи на Сретенке”, романа “Красные ворота” и др.

192

Институт литературы им. Я. Купалы АН БССР и Союз писателей Белоруссии проводили научную конференцию “Литература о войне и проблемы века”. В конференции принимали участие писатели Москвы, Ленинграда и других городов России.

193

Внезапная болезнь.

Алесь Савицкий, автор партизанских повестей, отстаивал “марксистско-ленинскую методологию анализа войны” и выступал с нападками на видных военных писателей, обвиняя их в “капитулянтстве”. Алесь Адамович горячо отстаивал творчество писателей, показавших античеловеческую сущность войны.

195

Жена В. В. Быкова.

Дедков Игорь. Верность родному берегу. — В кн.: Афонин Василий. Чистые плесы. М., “Молодая гвардия”, 1986.

197

Богомолов В. О., писатель, автор романа “Момент истины”, рассказов “Иван”, “Зося” и др.

198

Павлова Е. Е. — костромская писательница, репрессированная в 1930-е годы.

199

Имеются в виду статьи: “О провинции с признательностью” (“Журналист”, 1983, № 5) и “О судьбе и чести поколения. (О прозе Григория Бакланова)” (“Новый мир”, 1983, № 5).

200

Салмов М. А. — костромской художник, в тот год писал портрет Дедкова.

201

Леонович В. Н. — поэт, друг Дедкова.

202

Горбовский Я. А. — учитель, отец поэта Глеба Горбовского, уехал из Ленинграда в 40-е годы, работал в костромской сельской школе. О встрече с ним Дедков писал в книге “Во все концы дорога далека” (Ярославль, 1981).

203

Проханов Александр. Дерево в центре Кабула. М., “Советский писатель”, 1982. См.: Дедков И. “Тотальные аргументы” Александра Проханова, или Жизнь по-новому. — “Литературная учеба”, 1980, № 3.

И. Дедков начал работу над книгой: “Живое лицо времени. Очерки прозы семидесятых — восьмидесятых” (“Советский писатель”, 1986).

Адамович Алесь. Ничего важнее. Современные проблемы военной прозы. М., “Советский писатель”, 1985.

Шелл Джонатан. Судьба земли. М., “Прогресс”, 1982.

207

Неприятие творчества тогдашних “сорокалетних” прозаиков нашло свое выражение в нашумевшей статье Игоря Дедкова “Когда рассеялся лирический туман” (“Литературное обозрение”, 1981, № 8).

Володя — сын Дедкова.

На самом деле в Джамбуле, в Таджикистане; на Украине она работала на заводе по обогащению урана.

210

В. О. Богомолов во время войны лежал в одном из костромских госпиталей. В 1983 году он собирал сведения для нового романа о войне.

211

Переговоры о сокращении ракет среднего радиуса действия в Европе.

212

Дом Акатовых — архитектурная достопримечательность Костромы. Мухин А. — костромской художник.

213

По телевидению в передаче, посвященной С. П. Залыгину, был показан спектакль Малого театра по повести Залыгина “Комиссия”.

Воронов Г. И. в 60-е годы был членом Политбюро ЦК КПСС.

215

Марков Г. М. (1911 — 1991) — писатель, в те годы первый секретарь Правления Союза писателей СССР.

216

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

217

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

218

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

219

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

221

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

222

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

223

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

225

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

226

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

227

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

“Литературная газета”, 1984, 19 декабря.

229

Пржиалковский А. Г. (1930 — 1985) — костромской журналист.

230

Преподаватель Костромского высшего военно-командного училища химической защиты Е. Б. Шиховцев переписывал сочинения В. В. Набокова в Ленинской библиотеке и распространял их в виде самиздата с собственным предисловием.

231

Повесть была опубликована в журнале “Знамя”, 1987, № 3 — 4.

232

Штыков Я. А. (1930 — 1984) — костромской художник.

233

Дедков Игорь. Наше живое время. — “Новый мир”, 1985, № 3, стр. 217 — 241. При подготовке к печати эта статья подверглась существенным изменениям из-за вмешательства цензуры.

234

Имеются в виду фрагменты из книги “Автобиография”, опубликованные в кн.: Честертон Гилберт Кит. Писатель в газете. Художественная публицистика. М., 1984.

235

Кондратьев В. Л. (1920 — 1993) — писатель, автор книг “Сашка”, “Красные ворота” и других.

Громов И. А. — начальник Отдела юстиции Костромского облисполкома в те годы, знакомый Дедкова еще по университету.

237

Баландин Ю. Н. — первый секретарь Костромского обкома КПСС в 70 — 80-е годы.

238

Муренин Н. В. — костромской журналист, поэт, в то время — главный редактор газеты “Молодой ленинец”.

239

См.: Дедков Игорь. Наше живое время. — “Новый мир”, 1985, № 3. Карпов В. В. — писатель, в то время главный редактор журнала “Новый мир”.

240

Речь идет о книге: Дедков И. А. Сергей Залыгин. Страницы жизни. Страницы творчества. М., “Современник”, 1985.

241

Шувалов Н. В. (1929 — 1984), Шувалова Т. В. (1929 — 1980) — костромские художники.

242

Пьеса Эдуардо де Филиппо; Шиманский В. Ф. (1937 — 1987) — режиссер Костромского драматического театра им. А. Н. Островского.

Мигель А. де. 40 миллионов испанцев 40 лет спустя. М., 1985.

244

Героиня повести Д. Гранина “Еще заметен след”. — “Новый мир”, 1984, № 1.

Зульфикаров Т. К. Таттабубу. Поэмы. М., 1984; Зульфикаров Т. К. Эмиры. Поэты. Мудрецы. Душанбе, 1983.

Прыжов И. Г. (1827 — 1885) — русский историк, этнограф, автор книг “История кабаков в России...”, “Нищие на святой Руси” и др.

Готовился к изданию сборник: Дедков Игорь. Живое лицо времени. Очерки прозы семидесятых — восьмидесятых. М., “Советский писатель”, 1986.

Дедков Игорь. Вертикали Юрия Трифонова. — “Новый мир”, 1985, № 8.

249

Литвинов В. М. — в те годы зав. отделом критики журнала “Новый мир”.

250

Речь идет о совместной работе И. А. Дедкова и В. Н. Кононыхиной-Семиной над подготовкой к печати книги: Семин Виталий. Что истинно в литературе. М., “Советский писатель”, 1987.

251

Воробьев К. Д. (1919 — 1975) — писатель, автор книг “Убиты под Москвой”, “Крик”, “...И всему роду твоему” и др. Книга о нем И. А. Дедковым написана не была.

Тупиченков В. А. — секретарь Костромского обкома КПСС по идеологии.

253

Корнилов В. Г. — ответственный секретарь Костромской организации СП РСФСР в те годы.

Костромское отделение Союза писателей РСФСР. Далее речь идет о костромских писателях.

Блянк Р. Р. — костромской журналист.

Горбачев М. С. Бессмертный подвиг советского народа. Доклад на торжественном собрании в Кремлевском Дворце съездов, посвященном 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 8 мая 1985 г. М., “Политиздат”, 1985.

257

Этот роман В. Д. Дудинцева был опубликован позднее под названием “Белые одежды”.

Фролов Л. А. — директор издательства “Современник”.

259

Воротников В. И. — в то время председатель Совета Министров РСФСР, член Политбюро ЦК КПСС.

Скопина К., Гуськов С. Найти героя. Размышления о новом романе Ю. Бондарева “Игра”. — “Комсомольская правда”, 1985, 22 июня.

То есть Героям Социалистического Труда.

262

Рукописи Юрия Баранова, поэта из Буя, ушедшего на фронт сразу после школы и погибшего в Великую Отечественную войну, собранные Е. Старшиновым, были изданы с предисловием И. А. Дедкова в 1988 году (см.: Баранов Ю. Голубой разлив. Дневники, письма, стихотворения. 1936 — 1942. Ярославль, 1988).

263

В шестидесятые годы Б. С. Архипов был секретарем Костромского обкома КПСС. Речь идет о письмах из личной переписки И. А. Дедкова, хранившихся в деле, которое вело на него управление КГБ по Костромской области с первых дней приезда Дедкова в Кострому после окончания Московского университета.

Имеются в виду роман В. Дудинцева и его герои.

265

В Костроме, в центре города, до шестидесятых годов существовали кинотеатры “Малый” и “Художественный”.

266

А. И. Солженицын в начале Великой Отечественной войны учился в Костроме, в артиллерийском училище.

267

В 1958 и 1959 годах костромские гэбисты вызывали И. А. Дедкова. Официально закрывалось “университетское дело” 1956 — 1957 годов.

Афонин В. Е. — писатель из Томска.

269

Дедков Игорь. Чьи же это голоса? К дискуссии на тему: “Современная проза: правда и правдоподобие”. — “Литературная газета”, 1985, 31 июля.

Воробьевы Г. Н. и Ж. В. — одноклассники, друзья И. А. Дедкова.

Лапшин В. — костромской поэт, живет в г. Галиче.

“Контекст”. Литературно-теоретические исследования. Ежегодник. М., “Наука”, 1985.

Дедков И. А. Сергей Залыгин. Страницы жизни. Страницы творчества. М., “Современник”, 1985.

Голубев А. А. — начальник Костромского областного управления культуры в тот год.

Алексиевич С. А. Последние свидетели. Книга недетских рассказов. М., 1985.

Планировалась поездка Дедкова в Индию в составе группы писателей для чтения лекций по советской литературе.

277

Баландин Ю. Н. — первый секретарь Костромского обкома КПСС; Горячев Г. А. — председатель Костромского облисполкома в те годы.

В. Г. Корнилов был удостоен Государственной премии им. М. Горького.

279

Нольман М. Л. — писатель, профессор Костромского педагогического института им. Н. А. Некрасова в те годы.

280

Шестой съезд писателей РСФСР прошел 11 — 14 декабря 1985 года. Дедков был его делегатом.

281

Выступление Е. А. Евтушенко на Шестом съезде писателей РСФСР («Литературная газета», 1985, 14 дек.).

282

Пьяных М. Ф. — кандидат филологических наук, доцент, автор книг и многих статей о русских поэтах XX века, друг Дедкова.

283

В журнале «Вопросы литературы» готовилась к публикации рецензия Дедкова «Перед зеркалом, или Страдания немолодого героя» на роман Ю. В. Бондарева «Игра». Рецензия напечатана в № 7 за 1986 год.

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

285

{СНОСКА В ТЕКСТЕ ПРИСУТСТВУЕТ, НО СОДЕРЖАНИЯ В ПРИМЕЧАНИЯХ НЕТ, ОШИБКА ЖУРНАЛА.}

286

Абрамов Федор. Чем живем-кормимся. Очерки. Статьи. Воспоминания. Литературные портреты. Заметки. Размышления. Беседы. Интервью. Составитель Л. В. Крутикова. Л., 1986.

Басаргин Н. В. Воспоминания, рассказы, статьи. Восточно-Сибирское издательство, 1986.

288

В Костроме, в торговых рядах, был специальный продуктовый магазин, который обслуживал поминки, что и послужило поводом для горькой шутки.

Второе издание, точнее, новый вариант книги о Василе Быкове вышел в 1990 году под названием «Повесть о человеке, который выстоял».

Дедков Игорь. Живое лицо времени. Очерки прозы семидесятых — восьмидесятых. М., 1986.

291

28 июня — 1 июля в Москве состоялся Восьмой съезд Союза писателей СССР.

Озеров В. М. — секретарь правления Союза писателей СССР.

293

На улице Лавровской в Костроме стоит храм Иоанна Златоуста. В 1986 году в стране разрешили церковные колокольные звоны.

С. С. Лесневский, литературовед, литературный критик. «Литературная газета» не опубликовала этот протест. Журнал «Вопросы литературы» напечатал «Письмо в редакцию "Литературной газеты”» в девятом номере за 1986 год. Редколлегия писала, что В. Кожинов «судит о том, чего он еще не мог прочитать: июльский номер "Вопросов литературы” только печатается, а когда В. Кожинов писал свою заметку, сигнальный номер журнала не был подписан в свет».

Никифоров А. Бехтерев. М., «Молодая гвардия», 1986 («ЖЗЛ»).

296

Одинец М. Заботясь о чести мундира. Как в Черкассах реагировали на критику. — «Правда», 1986, 24 авг.

Повесть «Зубр» была опубликована в «Новом мире» (1987, № 1 — 2).

Яковлев А. Н. — в те годы секретарь ЦК КПСС.

299

Дедков Игорь. Во всем дойти до сути. — «Известия», 1986, 10 августа.

300

Федь Н. Горький вкус истины. Размышления о романе Юрия Бондарева «Игра». — «Наш современник», 1985, № 10.

301

В. Н. Бочков (1937 — 1991), историк, краевед, писатель, друг Дедкова.

302

Дедков Игорь. Былое и настоящее. К 175-летию со дня рождения А. И. Герцена. — «Знамя», 1987, № 4.

303

Архипов Б. С. в то время был ответственным секретарем журнала «Коммунист».

304

Фролов И. Т. (1929 — 1999) — ученый, политический деятель, академик РАН (1987). В 1986 — 1987 годах — главный редактор журнала «Коммунист», позднее — помощник Генерального секретаря ЦК КПСС, в 1989 — 1990 годах — секретарь ЦК КПСС.

305

Лацис О. Р. — публицист, в 1986 — 1991 годах — 1-й зам. главного редактора журнала «Коммунист», в 1993 — 1996 годах — член Президентского Совета; ныне зам. главного редактора «Новых Известий».

Корнилов В. Г. (1923 — 2002) — ответственный секретарь Костромской писатель-ской организации в 60 — 90 годах.

307

Дедков Игорь. Обновленное зрение. Из шестидесятых — в восьмидесятые. М., «Искусство», 1988. В книгу вошли нигде до того не публиковавшиеся статьи Дедкова 60-х годов, написанные «в стол»: «Жребий Акакия Акакиевича», «Как это случилось», «Герои современной драмы», новомирская статья 1969 года «Страницы деревенской жизни» в ее авторской, а не журнальной версии. Критический дневник 80-х годов представлен был рецензиями и статьями Дедкова не только о литературе, но и о кино.

308

В тот год студентов вузов призвали в армию после первого курса.

309

Биккенин Н. Б. — философ, член-корреспондент РАН (1987), в 1987 — 1991 годах — главный редактор журнала «Коммунист», с августа 1991 года — главный редактор журнала «Свободная мысль».

310

Виктор, Лариса — друзья Дедкова: Бочков В. Н. (1937 — 1991) — историк, краевед, писатель; Бочкова Л. В. — его супруга, музеевед.

311

Дедков Игорь. Хождение за правдой, или Взыскующие Нового града. Критика. Проза в 1987 году. — «Знамя», 1988, № 2.

312

Песков Г. С. — доцент факультета журналистики МГУ, университетский товарищ Дедкова.

313

Без даты.

314

Балязин В. Возвращение. К 100-летию со дня рождения А. В. Чаянова. — «Октябрь», 1988, № 1.

Чаянов А. В. (1888 — 1937) — экономист-аграрник, литератор, основатель первого в стране Института сельскохозяйственной экономики и политики, директор его в 1922 — 1928 годах. Писатель-утопист.

315

Гроссман Василий. Жизнь и судьба. — «Октябрь», 1988, № 1 — 4. О прозе В. С. Грос-смана: Дедков Игорь. Жизнь против судьбы. — «Новый мир», 1988, № 11.

316

Фролов И. Т.

Здесь и далее — Биккенин Н. Б.

Журналисты, в то время сотрудники журнала «Коммунист».

319

Бреза Тадеуш (1905 — 1970) — польский писатель, автор романа о Ватикане «Бронзовые врата» (1960), где есть образ Лабиринта.

320

Яковлев А. Н. — в 1986 — 1990 годах — секретарь ЦК КПСС, с 1987 года — член Политбюро ЦК КПСС. Бумага за подписью Кручины имела, вероятно, отношение к квартирным делам.

321

Байбаков Н. К. с 1965 по 1985 год был председателем Госплана, зам. Председателя Совета Министров СССР.

322

Минц И. И. (1896 — 1991) — историк российского революционного движения, академик АН СССР (1946).

Здесь и далее — А. Н. Яковлев.

Чикин В. В. — главный редактор газеты «Советская Россия».

325

Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго» был прочитан Дедковым в 60-х годах. В 1988 году «Новый мир» публикует «Доктора Живаго» в первых четырех номерах. Вероятно, Дедков перечитывал роман по этой журнальной публикации.

326

Окетта Акиле — в ту пору председатель Демократической партии левых сил Италии; М. С. — здесь и далее — Горбачев М. С., Генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР.

327

Повесть Л. К. Чуковской «Софья Петровна», написанная в конце 30-х годов, была впервые опубликована в журнале «Нева», 1988, № 2.

Буртин Ю. Г. — литературный критик, публицист.

329

В фантастическом романе шведского писателя Пера Вале (1926 — 1975) «Гибель 31-го отдела» (1964) рассказывалось о пресс-концерне, который собрал под своей крышей самостоятельно мыслящих писателей, журналистов, критически настроенных публицистов. Их правдивые статьи оплачивают, набирают, но не печатают. В конце концов концерн их убивает.

Колесников С. В. — экономист, член редколлегии.

Гайдар Е. Т. — в 1987 году — заведующий отделом редакции журнала «Коммунист». Позднее Гайдар перешел на работу в газету «Правда».

331

Адамович А. М. (1927 — 1994) — писатель, публицист, член-корреспондент АН Бе-лоруссии, общественный деятель.

Известные публицисты 80-х годов.

333

В декабре 1988 года Дедков вместе с Тенгизом Абуладзе, Василем Быковым, М. А. Захаровым и другими деятелями культуры присутствовал на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. На заседании Ассамблеи выступал с речью М. С. Горбачев. Визит советской делегации был прерван из-за катастрофического землетрясения в Спитаке.

Шахназаров Г. Х. (1924 — 2000) — юрист, член-корреспондент РАН (1987), помощник Президента СССР М. С. Горбачева.

Петраков Н. Я. — экономист, академик РАН (1990).

Ермонский А. Н. — журналист, сотрудник аппарата ЦК КПСС, университетский товарищ Дедкова.

335

Речь идет о XXVIII съезде КПСС.

Черняев А. С. — в то время помощник Президента СССР М. С. Горбачева.

337

Антипов А. И. — ответственный секретарь журнала «Свободная мысль» в 1991 — 1992 годах.

338

В то время видные функционеры Российской компартии.

339

В Афинах в 1990 году состоялся Международный симпозиум «XX век и права наций на самоопределение». Дедков участвовал в том симпозиуме.

340

Дедков Игорь. На дороге. Умонастроения. — «Свободная мысль», 1992, № 4.

341

Дедков согласился стать первым заместителем главного редактора журнала «Свободная мысль».

Вероятно, М. Н. Полторанин, который возглавлял тогда федеральное Министерство печати и информации.

343

«Штосс в жизнь» — посвященная гибели М. Ю. Лермонтова повесть Б. А. Пильняка (1928).

Федор — Ф. В. Цанн-Кайси, профессор Владимирского педагогического университета, в то время народный депутат РСФСР.

345

Пивоваренный завод и сами новые его хозяева Хапковы давно разорились. Как выяснилось позднее, они были подставными лицами.

Саркисян И. А. (1933 — 2001) — радиожурналист.

347

Дедков Игорь. И к дальним — тоже... — «Свободная мысль», 1992, № 12.

Съезд Союза писателей РСФСР.

349

С международного симпозиума «XX век и права наций на самоопределение», на котором Дедков выступил с докладом «Трагедия интернационализма».

Хлевнюк О. В. — историк, в 90-х годах — член редколлегии журнала «Свободная мысль».

351

О романе В. Астафьева “Прокляты и убиты” см. статьи И. Дедкова в журналах “Дружба народов”, 1993, № 10 и “Свободная мысль”, 1993, № 14.

352

У факультета журналистики пытались отобрать здание на Моховой.

353

Друг Дедкова Федор Васильевич Цанн-Кайси был народным депутатом Верховного Совета РСФСР от Владимирской области.

354

Врач-хирург.

355

Речь идет о поездке по Волге Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина.